

IN MEMORIAM

Сборник памяти
Владимира Аллая



IN MEMORIAM

IN MEMORIAM



IN MEMORIAM

Сборник памяти
Владимира Аллоя

ФЕНИКС–ATHENEUM
Санкт-Петербург – Париж
2005

ББК 63.3
УДК[947+957]
И-57

Составители Т.Б.Притыкина, О.А.Коростелев

И-57 In memoriam: Сборник памяти Владимира Аллоя. СПб.:
Феникс–Atheneum, 2005. 600 с., ил.

Сборник посвящен памяти известного издателя, основателя и главного редактора историко-документальных альманахов «Минувшее» и «Дiasпора» Владимира Ефимовича Аллоя (1945–2001). В книгу включены его воспоминания о жизни в эмиграции и в России, а также статьи и воспоминания о нем. Во второй части сборника – статьи и публикации российских и зарубежных исследователей, ряд из них объединен в разделе «Интеллигенция и власть».

На вклейке – иллюстрации из архива В.Аллоя.

Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся историей XX века.

ББК 63.3

ISBN 5-85042-074-6

© Феникс, 2005



Владимир Ефимович Аллой. 1945–2001

От составителей

Эта книга посвящена памяти человека, который очень не любил патетику: имея безупречный нравственный слух, он сразу же чувствовал фальшь, а так как был награжден еще и взрывным темпераментом, резко обрывал высокопарную фразу, особенно если она была направлена в его адрес. Поэтому в статье, открывающей сборник его памяти, постараемся обойтись без превосходных степеней и лестных сравнений. Пусть «на образ» работают цитаты из его писем и воспоминаний, а о деле, которому он отдал половину жизни, – свидетельствуют изданные им книги.

* * *

Дело, которым мне посчастливилось заниматься, поглощало целиком, неизменно оставаясь любимым и желанным, никогда не приедаясь, не переходя в простую привычку и составляя, пожалуй, самую большую привязанность моей жизни.

Владимир Аллой¹

Владимир Ефимович Аллой (7.06.1945, Ленинград – 7.01.2001, Санкт-Петербург) – журналист, издатель, основатель и главный редактор альманахов «Минувшее» и «Диаспора». Список изданных им книг² насчитывает почти 200 позиций – в среднем по 10 в год. Значительная часть этих томов целиком подготовлена Аллоем: он рабо-

¹ Цитаты из воспоминаний В.Е.Аллоя «Дым отечества» и «Записки аутсайера» приводятся без отсылок. Тексты воспоминаний включены в настоящий сборник.

² Приведен в «Материалах к библиографии» Владимира Аллоя в настоящем сборнике.

тал с авторами, а также сам находил документы и готовил их к публикации, составлял сборники и редактировал их, сидел за наборной машиной (мало кто мог сравниться с ним в скорости набора!), держал корректуры, отслеживал типографский цикл и занимался реализацией книг. Работать он умел как никто другой, называл себя «трудоголиком» и умел заразить своим азартом окружающих. «С радостью мог вкалывать до изнеможения, отдавая всего себя делу, в которое верил, где ощущал себя соработником, но ни шестерить, ни отбывать повинность от звонка до звонка был не в состоянии...», – напишет Аллой в «Записках аутсайдера».

В ряду книг, изданных Владимиром Аллоем, более полусотни архивно-публикаторских томов. Особое место среди них занимает исторический альманах «Минувшее». Вот как отзываяется об этом издании известный историк литературы А.В.Лавров:

«Минувшее» ввело в читательский оборот огромный пласт неизвестных ранее текстов – воспоминаний, дневников, писем, документальных материалов и исследовательских работ. Текстологическая тщательность, научная основательность комментариев, объективная строгость и выверенность публикаторских оценок и интерпретаций – такова сумма основных критериев, которым отвечают самые разнообразные публикации, появившиеся под этой серийной обложкой. Добросовестно изучать российскую историю XX века, историю русской литературы и общественной мысли без обращения к «Минувшему» теперь уже невозможно. С годами такие книги не стареют, а лишь обретают благородную патину времени. Альманах появлялся в течение всего лишь двенадцати лет, но по значимости обнародованного на его страницах он выдерживает сопоставление с таким прославленным серийным изданием как «Литературное наследство», выходящим в свет на протяжении многих десятилетий и аккумулировавшим в себе результаты деятельности сотен исследователей.³

В «Минувшем» публиковали свои работы многие отечественные и зарубежные ученые. Появился даже термин «круг авторов “Минувшего”». Причастностью к этому кругу гордились, как научной степенью. Эти тома в строгих черных обложках сейчас имеются почти во всех крупных российских книгохранилищах; в залах Государственной исторической библиотеки, например, они стоят в открытом доступе, рядом со словарем Брокгауза и Ефрона.

* * *

³ Новая русская книга. 2000. №6(7). С.87-88.

Что за странная все-таки судьба: периодически бросать построенное ломовым трудом и начинать с нуля?

Владимир Аллой

Пожалуй, нет смысла подробно излагать биографию Аллоя – он сам рассказал то, что счел необходимым, в «Записках аутсайдера» и «Дыме отечества»: внимательный читатель узнает о детстве, прошедшем на Васильевском острове в доме, который напоминал аксе-новскую «Барселону» из «Звездного билета»; и о том, что автор обожал историю и в продолжение шести или семи лет по два раза в неделю ходил в эрмитажный Клуб юных археологов – в среднеазиатский и русский отделы; и о поступлении на физфак университета, и о службе в армии (три с лишним года на Крайнем Севере); и о том, как в 1967, вернувшись из армии, пришел в газету «Смена» со своими стихами и прозой, «написанными, но еще более ненаписанными»; потом, заразившись «вирусом бродяжничества», полгода мотался по стране... Затем – снова университет, теперь уже филфак; чтобы заработать на жизнь, устраивается рабочим сцены в Александринский театр, летом для заработка «шабашит» в стройотрядах, работает ночным сторожем в Зоологическом институте...

Сейчас кажется удивительным, что до отъезда в эмиграцию единственный вид издательской деятельности, которой занимался Аллой, – это размножение фотоспособом самиздатской литературы.

Покидая СССР осенью 1975, как тогда казалось, навсегда, Владимир Аллой не имел представления о том, чем будет заниматься в эмиграции. В качестве возможного варианта, он мог получить место в косметической фирме «Ревлон», куда его пригласил двоюродный брат, занимавший там одно из управленческих кресел. Случись так, мы бы, наверное, не досчитались сотни-другой замечательных книг. Хорошо, что история не знает сослагательного наклонения...

Вот краткая биографическая канва, относящаяся к событиям 1976–2000 гг.:

Лето 1976 – приезд в Париж, знакомство с Н.А.Струве, с издательством «УМСА-Press»; переводческая деятельность.

1977 – член Совета РСХД, одновременно зам. редактора «Вестника РХД» (до июня 1981); начало преподавательской деятельности в Институте политических наук / Institut d'études politique de Paris (до 1990).

С 1978 до конца 1981 – директор «УМСА-Press»; одновременно с конца 1979 – сотрудничество с «Русской мыслью».

С 1 июля 1982 по конец января 1984 – директор издательства «La presse libre».

С начала 1983 до середины 1989 – парижский корреспондент «Би-би-си» в двух программах «Current affairs» – «Глядя из Лондона» и «Уик-энд».

Весна 1984 – создание издательства «Atheneum». В тот же год – начало работы на Французском международном радио (RFI) (до лета 1991); одновременно – парижский корреспондент «Нового русского слова» (до 1986).

Конец 1985 – вышел первый том альманаха «Минувшее».

1989 – создание в Москве советско-французского издательства «Феникс».

1991 – переезд в Россию на постоянное жительство.

1992 – создание издательства «Феникс» в Санкт-Петербурге.

1999 – возвращение в Париж.

2000 – создание издательства «Athenaeum» в Париже.

* * *

Неизменным оставалось лишь одно: жизнь вне социума, совершенно однозначная, осознанная и привычная уже маргинальность нашего существования в эти годы. Маргинальность отнюдь не в смысле результатов, – но в полной и безоговорочной исключенности из любых структур, государственных или общественных, для которых мы всегда оставались чужаками.

Владимир Аллой

Воспоминания Аллой обрываются на событиях 1992 года. За рамками повествования остались еще восемь лет жизни, которые в основном прошли в его родном городе, уже переименованном в Санкт-Петербург. Аллой полагал, что едет в Россию на три-четыре года, чтобы поставить издательство «на ноги». Довольно скоро стало понятно, что «ловушка захлопнулась», и дело требует его постоянного участия. Пришлось в полной мере погрузиться в мерзости постперестроечной российской реальности. Однако «Феникс» устоял, смог даже расширить дело, и хотя тиражи «Минувшего» с каждым годом снижались, пока не достигли прежних парижских показателей, рейтинг изданий оставался неизменно высоким. В 1995 «Феникс» первым получил петербургскую литературную премию «Северная Пальмира» в номинации «Книгоиздание».

Несмотря на безусловное признание заслуг, маргинальность издательства только возрастала. «Перед нами все снимают шапку, как перед покойником, – часто говорил Аллой, – и забывают, как только выйдут из помещения». И само издательство, и его создатель были чужды социуму, потому что не играли по общепринятым правилам,

казались странными и чаще всего – подозрительными. Что касается чужих, Аллой принимал это сравнительно легко – не привыкать ему было; значительно болезненнее он переживал разрыв с теми, кого считал своим – в частности, с теми, кто стоял у истоков «Памяти». События 93-го, писал Аллой, развели многих, дальнейшие события, как видно, лишь формализовали «развод».

Оставалось лишь крепить ряды внутри своей «команды». Девиз «делай что должно, и будь что будет» – на годы стал руководством к действию для маленькой группы из шести человек. Уход любого почти неминуемо означал крушение всей постройки.

Гром грянул в начале 1998, когда тяжело заболел Александр Иосифович Добкин – самый близкий Аллою человек, с которым они вот уже пятнадцать лет делили все тяготы и редкие радости дела. Аллой метался в поисках врачей и клиник. Когда расстали надежды на традиционную медицину, обратился к знахарям и колдунам; убедившись, что они шарлатаны, в июле забрал Сашу к себе домой, чтобы вместе бороться с болезнью... Добкин умер в августе, задав перед смертью Аллою разрывающий сердце вопрос: «Подвел я тебя, старичок?..».

24-й том «Минувшего» заканчивали уже без Саши. В некрологе «Памяти друга» Аллой пишет, что «остается лишь дотащить наш общий воз до конечной станции...». Выпустив 25-й, «симфонический», том с содержанием всех выпусков альманаха и сводным именованным указателем, летом 1999 он вернулся в Париж.

В Париже Аллой провел полтора года. Чувствовал он себя там, пожалуй, еще более одиноко, чем в Петербурге, говорил: «Живу как на кладбище». Тех, кого он считал друзьями, и так-то было немного; из них кто-то уехал в Россию, кто-то умер... Что до остальных – то в большинстве случаев общий язык был утрачен: за восемь лет его отсутствия кардинальные перемены произошли не только в России, но и в эмиграции. «Для существования диаспоры, – писал Аллой, – необходима разность потенциалов с метрополией, лишь она может гальванизировать искусственную эмигрантскую активность. Сегодня такой разности потенциалов нет, а следовательно, нет и рассеяния как компактной социальной среды. Есть отдельные люди». Вот и общался – с немногими милыми «отдельными людьми». Даже, вспомнив далекие времена, когда он вел театральную группу в РСХД, вместе с Хвостом (Алексеем Хвостенко) летом 2000-го поставил спектакль «Иона» в русском культурном центре на rue de Paradis.

И, конечно, продолжал работать: подготовил и издал сборник памяти Александра Добкина и занялся новым проектом – альмана-

хом «Диаспора», собрал и сверстал первый том. В поисках грантов для исследователей разослал запросы в различные западные фонды и получил неожиданное предложение: организовать научно-исследовательский институт по изучению эмиграции, с солидным годовым бюджетом. Казалось бы, лучшего и желать нельзя, но, как писал Аллой в «Дыме отечества», «что-то внутреннее исчезло, словно кончился завод, и “le cœur n’y est plus”».

Умирать он вернулся в Питер.

* * *

Чудовищная по масштабам издательская деятельность Аллой вызвала на Западе кризис перепроизводства русскоязычной литературы, парализовала деятельность других эмигрантских издательств и сплотила все три волны эмиграции в единодушной ненависти к нему.

Александр Добкин

Этим пассажем заканчивался шуточный некролог, написанный Сашей Добкиным в июне 1995 к 50-летию Аллоя. Кто бы тогда мог предположить, что буквально через несколько лет придется писать некрологи уже не в шутку! Сначала, в 1999, Аллою – к сборнику памяти Добкина, затем, спустя всего полтора года, нам – Аллою...

По «гамбургскому счету», у Владимира Аллоя получилось все, чего он хотел. Те 55 с половиной лет, которые он себе отпустил, вместили в себя не одну, не две и даже не три жизни. «Цель должна быть за пределами жизни, – часто повторял он, – потому что, если она достигнута – это катастрофа». Конечно, можно придумать новую цель, но сколько раз можно начинать с начала? – это вопрос энергетики, интереса к жизни. И если этого интереса больше нет, хорошо бы, по меткому выражению Л.Я.Гинзбург, «уметь кончать периоды жизни по звонку времени».

Аллою было дано слышать то, что недоступно многим другим, – очередной «звонок» для него прозвенел в 1996, и он засел писать воспоминания. Сколько раз ему тогда приходилось сталкиваться с недоумением окружающих: не рановато ли итоги подводить, ведь только-только «полтинник разменял»? Формально, наверное, и рано, но ведь у каждого свое ощущение времени. Владимир Аллой это чувствовал так: «Сегодня и этот перегон близится к концу, поезд, так сказать, подходит к станции, и я уже стою на подножке, держась за поручень. Осталось лишь разжать пальцы (выпустить десяток книг) и шагнуть на платформу...». Это было написано в конце 1997-го.

Работая на историю, Владимир Аллой и сам стал ее частью – как выдающийся издатель. Остался и главный труд его жизни – исторический альманах «Минувшее», и добрая сотня других его книг. Инерция делания, заданная Аллоем, продолжается и сейчас, когда его уже четыре года нет с нами: выходит основанный им альманах «Диаспора», посвященный истории русской эмиграции, одним из ярких представителей которой был этот незаурядный человек, один из последних романтиков нашего, увы, слишком прагматичного времени.

* * *

Настоящий том состоит из двух разделов. Первый из них – мемориальный, в нем мы поместили воспоминания Владимира Аллоя, которые были опубликованы в 1997–2000; а также некрологи и воспоминания об Аллоем. Завершает раздел библиография изданий Аллоя, его статей, рецензий на его книги. Во втором разделе собраны статьи и публикации, которые отечественные и зарубежные исследователи посвятили памяти своего издателя. Часть из них объединена под рубрикой «Интеллигенция и власть».

Приносим свою глубокую благодарность всем, кто помогал нам – и советом, и действенным участием – продолжать дело, начатое двадцать лет назад Владимиром Аллоем. Это парижане Валерий Зверев (особая благодарность), Михаил Архипов, Александр Гинзбург, Алина Гладилина, Татьяна Гладкова, Ирина и Дмитрий Гузевичи, Нина Ермакова, Юрий Николаев, Фаня Фишер, Людмила Шапрон, Илона-Луиза Эрхардт; петербуржцы Евгений Белодубровский, Татьяна Буланина, Татьяна Павлова и Александр Лавров, Александр Марголис, Наталья Махняева, Евгений Прицкер, Наталья Цендровская; Алексей Гаранин (Москва).

I.

IN MEMORIAM

Владимир Аллой
ЗАПИСКИ АУТСАЙДЕРА*

Я строю, строю, строю,
Но все не Рим, а Трюю,
И Шлиман на холме
С лопатой и с лоханью,
Дрожа от ожиданья,
Сидит лицом ко мне.

Н.Горбаневская

I

Среди накопившихся за неделю отпуска писем я обнаружил приглашение на почту. Подобная бумага ничего хорошего не сулит – заказное, да еще с уведомлением о вручении отправляет или судебный исполнитель, требуя уплаты штрафов за неправильную парковку, или налоговое ведомство, или другая официальная инстанция. В любом случае предстоит трата времени, денег и изматывающая бе-

* Эти воспоминания писались для последнего выпуска альманаха, который было решено составить из мемуаров людей, имевших прямое отношение к «Памяти» и «Минувшему». Опасаясь «перебора», мы хотели было остановиться на 21-м томе. Однако вышел двадцатый выпуск – и стало ясно, что отказаться от альманаха мы пока не в состоянии. Он будет продолжаться. Что же до воспоминаний, то они неожиданно разрослись, и потому я решил, не меня первоначального плана, поместить в настоящем томе первые главы; следующие увидят свет в других выпусках «Минувшего». – *Примеч. В.Аллой.*

От составителей: Тексты публикуются с небольшими исправлениями, сделанными по рукописи воспоминаний, по изд.: Минувшее: Исторический альманах. Вып.21. М.; СПб., 1997; Вып.22. СПб., 1997; Вып.23. СПб., 1998.

готня по присутственным местам... Но делать нечего, я отправился на бульвар Вольтер. Оказалось, я ошибся, по крайней мере в отношении отправителя. На почте меня ждало письмо из «Русской мысли». Мадам Боже, редакционный бухгалтер, сообщала, что собрание акционеров решило прекратить издательскую деятельность из-за ее убыточности, в связи с чем издательство «Presse Libre» уже закрыто, а я уволен по экономическим мотивам. Разумеется, мне предоставлены три оплачиваемых месяца, предусмотренные законом, но, понимая, что поиск новой работы требует времени, дирекция готова выдать мне деньги вперед и избавить от необходимости являться на службу. Чек на причитающуюся мне сумму прилагается. За сим следовали уверения в совершеннейшем почтении и дружеских чувствах.

На службу я все-таки отправился, как-то не осознав до конца, что ее, собственно, уже нет и идти некуда. Дверь редакции оказалась запертой, и, сунув ключ в замочную скважину, я обнаружил, что за шесть дней моего отсутствия замки поменяли. На звонок появилась Ниночка Прихненко – редакторский секретарь и по совместительству заведующая персоналом, милейшая, несколько запуганная женщина, дорабатывавшая в газете до пенсии и явно тяготившаяся своей обер-фискальной ролью и унижительной необходимостью постоянно врать по телефону. Ключи от входной двери имелись у нее, у главного редактора и у меня, поскольку, кроме будних дней, я работал по субботам и воскресеньям.

- Здравствуйте, Нина Константиновна.
- Володенька... – она была явно смущена.
- У нас поменяли замки?
- Да, вот, сломался...
- Ирина Алексеевна здесь?
- Нет... то есть она у мадам Боже и, кажется, надолго.

Я прошел в кабинет. Собственно, назвать это помещение кабинетом можно было лишь с определенной натяжкой. Мы делили с Кириллом Померанцевым один стол в семиметровой комнатке, некогда служившей ванной. Стол был огромен, занимал все пространство, носил кличку «бегемот» и принадлежал Сергею Константиновичу Маковскому, а по его смерти водворился в «Русской мысли». Стоял он в самой дальней комнате, где и помещались ведущие журналисты. Однако полгода назад ее освободили под некий компьютерный центр, дверь заперли, журналистов пересадили в общий салон, а престарелого Кирилла задвинули в ванную, каким-то чудом втиснув туда еще и «бегемота». Поскольку у меня вообще не было своего места в редакции, исключая разве что закуток с наборной машиной,

Кирилл благородно предложил разделить его новую резиденцию. Так мы оказались вместе.

Кирилл Дмитриевич Померанцев был существом замечательным. Ученик и друг Георгия Иванова, завсегдатай русского Монпарнасса, поэт и антропософ, в свои без малого восемьдесят он сохранял удивительную душевную чистоту и живость восприятия. Длинный, неуклюжий, вечно забывающий что-нибудь, готовый спорить по любому поводу и помогать всем на свете, он напоминал вдруг постаревшего мальчика из сказки Шварца и никак не мог смириться с грузом накопившихся лет. К тому же он плохо видел и отчаянно переживал этот вполне естественный для его возраста дефект, стесняясь слепоты, глуховатости и прочих неперемненных атрибутов старения. В редакции Кирилл казался странным анахронизмом, осколком прежнего баснословного Парижа, не слишком уместным в нынешней газете. Сотрудники его любили, начальство терпело, держа на длинном поводке и оказывая внешние знаки внимания, вроде участия в заседаниях редколлегии, столь же неперемненных, сколь и бессмысленных. Так что по средам Кирилл являлся в газету с утра и в ожидании ареопага коротал время в ванной, болтая с кем-либо из журналистов или просматривая бумаги. В остальные дни он был на свободном расписании. Жил он в двухкомнатной холостяцкой квартире на рю Эрланже в одном из некогда знаменитых «русских» домов. Когда-то окраина Отей считалась довольно дешевым районом, и эмигранты, обладавшие хоть небольшим достатком, селились здесь во множестве, создав целый русский анклав со своими магазинами, школой, неперемненной церковью на бульваре Эксельманс и даже небольшим музеем былой воинской славы. Более обеспеченные предпочитали жить ближе к центру – в Пасси, менее – на окраинах южных районов, четырнадцатого и пятнадцатого, совсем бедные – в Бианкуре. В соседнем с Кириллом доме жила Екатерина Андреевна – мать Никиты Струве, приютившая меня на первые месяцы, когда я только появился в Париже и, не имея ни работы, ни даже вида на жительство, скитался по знакомым. Квартирка Кирилла была крошечной, с тем особым налетом запустения и неухоженности, который сопровождает одинокую старость. Жил он довольно замкнуто, в гости приглашал редко, но тем сильнее радовался всякому, нежданно зашедшему на огонек. Откупоривалась бутылка вина, и начинались бесконечные разговоры, чаще всего о России и о политике, перемежаемые воспоминаниями. Вспоминать Кирилл любил, правда, рассказы его были довольно своеобразны – не законченные и многократно опробованные на слушателях новеллы, как у большинства мемуаристов, а какие-то растерзанные, клочковатые

обрывки былых встреч, разговоров, событий – беспорядочных, никак не связанных, отстоящих друг от друга иногда на целые десятилетия, – но из всего этого крошева непостижимым образом возникала живая атмосфера эмигрантского быта, проступали моментальные фотографии живых и ушедших людей... Он корил себя за то, что не вел дневников, не собирал документов, а теперь память ослабела, и прошлого уже не восстановить... – и тут же начинал вытаскивать, а часто и раздаривать книги с автографами, редкие издания парижских поэтов, старые журналы, фотографии... Как-то, уже через несколько лет, он подарил и мне синюю школьную тетрадку – рукопись стихов Георгия Иванова...

Мы сошлись на мемуарах Одоевцевой. Тогда я только что появился в газете, издательство существовало лишь формально, а я занимался собственно «Русской мыслью» и готовил первые книги. Среди них были воспоминания Андрея Белого о Штейнере, и Кирилл как старый штейнерианец, друг Аси Тургеневой и участник антропософского кружка в Париже, постоянно интересовался работой и ворчал на Фредерика Козлика – комментатора текстов, обвиняя его в излишней академичности. Сам Козлик тоже был антропософом, к тому же еще профессиональным математиком и филологом, и было забавно наблюдать неискоренимую разницу в восприятии – славянский поэтический темперамент никак не мог смириться с сухим картезианским мышлением француза.

Как-то Кирилл прибежал взъерошенный и решительный.

– Володя, надо срочно издавать мемуары Одоевцевой, иначе старуха может не дотянуть до их появления.

– Очень плоха?

– Да, и на этот раз, кажется, серьезно.

Мы поехали к Ирине Владимировне на рю Касабланка. Она была, и правда, не в лучшей форме: съехавший на бок паричок, блуждающий взгляд, явно затрудненный контакт с окружающим и столь же явная утрата памяти: вы могли выйти из комнаты на десять минут и, возвратившись, должны были вновь представляться ей, ибо она вас уже не узнавала. «Сенильность», – ворчал Кирилл на обратном пути, вспоминая, какой ослепительной была Одоевцева в прежние годы.

Рукопись, переданная нам, представляла собой неполный свод статей из «Русской мысли» и несколько разрозненных мемуарных фрагментов. Кирилл на чем свет ругал Рене Герра, который давно обещал издать воспоминания и без толку продержал у себя материалы. Мы договорились дополнить рукопись мемуарными очерками, появлявшимися в других газетах и журналах. К сожалению, делалось это уже без участия Ирины Владимировны: недели через три

она попала в больницу с переломом шейки бедра и пролежала там несколько месяцев, так что к появлению ее дома книга была практически закончена. Обложку работы Голлербаха отдал мне Герра, явно обиженный тем, что мемуары выходят не у него и без его участия. Это, по-видимому, и сыграло основную роль в дальнейшем развитии сюжета, испортившего наши отношения с Одоевцевой. Книгой она осталась довольна, однако ее убедили в том, что «На берегах Сены» станет бестселлером и издательство наживет миллионы за счет бедного автора. Никакие попытки воззвать к простой логике или к ее собственному опыту эмиграции и объяснить, что практически ни одно русское издание при тираже в тысячу-полторы экземпляров не может даже окупиться, не привели ни к чему. Ирина Владимировна, крайне чувствительная в этом вопросе, оставалась глуха к любым доводам и жаждала мифических миллионов. Остается надеяться, что она дождалась их, когда вернулась в Россию, а книга через семь лет вышла пятисоттысячным тиражом в «Худлите». Кирилл, который чувствовал себя невольным виновником случившегося, еще долго кипятился, проклинал старческий маразм, произносил филиппики по адресу «интриганов», но после бутылки «Божоле» и неперменной рюмки «Амбасадора» – любимого аперитива Георгия Иванова – философски замечал: несмотря ни на что все-таки замечательно, что книга увидела свет...

Когда я вошел в ванную, Кирилл спорил с Димой Рыбаковым. Спор как всегда касался политики, на этот раз французской. В сущности, Дима, Арина Гинзбург да Нина Прихненко, с которой Кирилл связывала многолетняя дружба, были едва не единственными сотрудниками газеты, с кем он мог легко и доверительно общаться. О закрытии издательства ни один из них не знал, и сообщенная мною новость вызвала поистине гоголевскую немую сцену. Продолжать после нее политические баталии казалось неуместным. Мы договорились позавтракать вместе, и Дима, чувствовавший себя неловко, ретировался, а я попробовал разобраться в издательских бумагах, хранившихся тут же, на необъятной спине «бегемота». Их было не так уж много. Почти все новые рукописи лежали дома, равно как и шестой том «Памяти» вместе с версткой – по ней делался именник. Забирать разрозненные тома «Воли России», по которым составлялся двухтомник Газданова, было бессмысленно: первый том полностью завершен и находится в типографии, а второй едва ли увидит свет в нынешних обстоятельствах. Фаине Дмитриевне – вдове Газданова, давшей мне часть книжек, – можно было их не возвращать, поскольку это был подарок. Аскольдов также целиком отработан и отдан типографу. Этот том статей и писем философа год назад под-

готовил с комментариями и вступительной статьей Борис Андреевич Филиппов. Что же до рукописи Поплавского, то она необъяснимым образом исчезла, равно как и «Потерянная драхма» отца Дмитрия Дудко... Оставались бумаги. Я разобрал договоры, забрал папку переписки...

Зазвонил телефон. Это был Ив Флок, типограф, он находился в Париже и обязательно хотел встретиться со мной. Мы назначили свидание на вокзале Монпарнас, откуда Флок уезжал к себе в Майен.

Делать, в сущности, было больше нечего. Иловойская по-прежнему пропадала у бухгалтера, и ждать ее появления становилось бессмысленно. Кирилл, который в необычных обстоятельствах всегда чувствовал себя крайне дискомфортно, помалкивал. Арина еще не появлялась. Я отправился выпить чашку кофе и в коридоре столкнулся с Александром Моисеевичем Некричем. Он только что прилетел из Бостона выпускать очередной номер «Обозрения» и, как всегда в начале своей парижской жизни, лучился довольством и благожелательностью. Обычно к выходу журнала настроение кардинально менялось: переругавшись со всеми по поводу бесконечных задержек, ошибок, неуплаты гонораров за предыдущие номера, Некрич мрачнел и ностальгически вспоминал спокойный Кембридж и свой кабинет в Русском исследовательском центре. Но до этого оставалось еще две недели, пока же Александр Моисеевич состоял из сплошной фарфоровой улыбки, морщинок вокруг глаз и ласкового голоса. Он бросился ко мне с объятиями. Вероятно, моя перевернутая физиономия была достаточно красноречива, поскольку после первых же приветственных фраз он вдруг осекся и осторожно спросил, здоров ли я. В ответ я предложил ему отправиться вместе попить кофе. Мы вышли из редакции.

Кафе «Бокур», расположенное на углу Фобур Сент-Оноре и авеню Ош, было настоящей штаб-квартирой сотрудников газеты и входящих в нее авторов. Здесь обсуждались все новости и сплетни, изливались накопленные обиды, завязывались и рвались отношения. В углу у стойки почти всегда можно было увидеть Наташу Горбаневскую или Юру Николаева, остервенело доламывающих потрепанный флиппер. За столиком обычно сидел кто-либо из сотрудников, а в день сдачи номера число вечерних посетителей многократно возрастало.

Мы устроились на закрытой террасе, заказали кофе, и после нескольких дежурных фраз и расспросов об общих знакомых в Штатах я сообщил Некричу свои новости. Реакция его была столь же лапидарна, сколь и неожиданна. Александр Моисеевич побледнел, по-

том покраснел и после долгого молчания произнес всего лишь одну фразу:

– Ну что ж, Володя, значит, вы не смогли найти правильной линии поведения.

Раскрывать смысл несколько загадочного определения «правильная» он не счел нужным, впрочем, я и не настаивал. Было ясно, что мысли его ушли в иную область: он лихорадочно обдумывал, каким образом закрытие издательства может отразиться на судьбе «Обозрения» и что за всем этим стоит: локальный конфликт или общее изменение американской политики в отношении газеты. Бедный Александр Моисеевич, его единственно верная и предельно эластичная «линия поведения» все же не спасла журнал: через полтора года «Обозрение» было закрыто в одночасье, а Некричу даже не удосужились об этом сообщить, и лишь прилетев из Бостона выпускать очередной номер, он узнал о судьбе своего детища. Впрочем, «правильная линия поведения» в конце концов устояла и тут: после скандалов, разрывов отношений и жалоб по инстанциям Александр Моисеевич счел за благо вернуться в «Русскую мысль» и до самой кончины усердно присылал в газету редакционные статьи...

Мы допили кофе и расстались: Некрич заторопился в редакцию. Я заказал еще чашку и, поглядывая в окно – не идет ли Арина, безрезультатно пытался собрать мысли. Арины не было. Пора идти завтракать с Димой и Кириллом. Завтраки эти носили ритуальный характер: в день появления Кирилла в газете он вместе с кем-либо из близких сотрудников отправлялся на авеню Ваграм в брассри «Савойя», где в продолжение многих лет заказывал одно и то же блюдо: жареную форель с миндалем. Трапеза сопровождалась кувшинчиком вина и обсуждением редакционных новостей. На сей раз тема была очевидна, и потому завтрак прошел довольно вяло. В ситуациях деликатных Кирилл прибегал к обычной тактике: разносил американцев, ничего не понимающих в русской культуре и политике, – это давало возможность излить раздражение, не слишком углубляясь в детали и не касаясь болезненных точек. Димка же за прошедшие три часа уже нарисовал себе точную картину происшедшего, и переубеждать его не имело смысла (интересно, что и через десять лет, когда мы встретились в Москве, он, сидя за столиком в «Пекине» и углубившись в воспоминания, повторил ту же первоначальную версию – слово в слово). Высказанная мною мысль, что закрытие издательства – видимо, всего лишь отложенный на время финал моего ухода из ИМКИ, – вызвала удивленное молчание обоих. Я понял, что совершил бестактность, и пускаться в дальнейшие объяснения не стал...

До встречи с Флоком оставалось еще почти два часа. Возвращаться в редакцию не хотелось. Я дошел с Димой и Кириллом до зала Плейель, распрощался, свернул на рю Дарю, прошел мимо русской церкви, чертыхнулся по поводу очередной квитанции на штраф, торчащей из-за дворников моей машины, запаркованной возле храма, и, не слишком понимая, что делать, отправился в парк Монсо: надо было хоть как-то сосредоточиться и попытаться обдумать положение.

Сказать, что все это случилось совершенно неожиданно, я не мог. Какая-то развязка должна была наступить. Последние четыре месяца были мучительны: я оказался в некоей полосе отчуждения – Иловайская со мной практически не разговаривала, редакционные дамы, тонко чувствовавшие погоду, шарахались, как от прокаженного, Инка Ракузина – моя наборщица – нервничала и молчала. С маниакальным упорством я гнал новые книги, уповая в душе на то, что скандал никому не нужен и после очередной партии хороших книг направиться с издательством будет труднее. Весь вопрос лишь в выигрыше времени. В какой-то мере успокоил меня Серафим Милорадович. В октябре 83-го мы участвовали с ним во Франкфуртской книжной ярмарке, выставлялись вместе. Продукция «Presse Libre» пользовалась успехом, главным образом, у славистов и представителей ВААПа. Для последних я каждую ночь оставлял на стенде стопку книг, к утру регулярно исчезающих. Однажды, придя пораньше на выставку, я застучал вааповцев, уносивших свою добычу в полиэтиленовых мешках... Так вот, на мой прямой вопрос о возможности редакционных перемен Милорадович уверил, что издательство уже сделало себе имя и беспокоиться мне не о чем. Серафим Николаевич был «хорошо осведомленным источником». Его называли комиссаром при Шаховской, а с приходом в газету Иловайской, совместившей и редакторские, и комиссарские обязанности, американцы переиздали Милорадовича в Лондон, отдав ему «Оверсиз» – небольшое издательство, раньше специализировавшееся на выпуске польской литературы, а теперь осиротевшее за смертью директора (в дальнейшем повествовании мне часто придется употреблять этот термин – американцы, и я сразу хотел бы оговорить, что он означает отнюдь не только ЦРУ, но и Русский отдел Госдепартамента, и Совет по национальной безопасности, и вообще все службы, занимающиеся Россией и впрямую связанные с администрацией Соединенных Штатов). Тем не менее, Серафим Николаевич и его супруга оставались акционерами «Русской мысли», обладая к тому же контрольным пакетом акций. Разумеется, все это было только юридической игрой: газета полностью существовала на американские субсидии –

при тираже в три с половиной тысячи экземпляров, из которых продавалось менее полутора тысяч, она могла бы выпустить на собственные, заработанные ею деньги лишь три-четыре номера в год. Но Милорадович по-прежнему оставался доверенным лицом деньгодателей, и если он искренен... Так прошло еще три месяца. Лишь в январе 84-го, сдав типографу все оригинал-макеты, кроме одного – шестой «Памяти», именная к которой еще не закончила Наташа Горбаневская, – я решил прервать гонку: отправил в отпуск Инну, а сам на неделю уехал с женой в Ниццу. И вот...

Все надежды на нежелательность скандала оказались беспочвенными, чтобы не сказать просто детскими. Скандала не произошло. Приговор был вынесен и немедленно приведен в исполнение, только и делов. По-видимому, именно эта быстрота, анонимность и окончательная бесповоротность случившегося угнетали больше всего. Правда, впоследствии, раскапывая эту историю, я узнал, что приговор был вынесен еще в октябре, а в ноябре Никита Струве обратился к Филиппову с предложением передать в ИМКУ рукопись сочинений Аскольдова, поскольку «*Presse Libre*» все равно закрывается, а Аллой «*est un homme mort*». О последнем рассказал мне сам Борис Андреевич, когда в феврале я приехал в Вашингтон. Весной Иловайская действительно отдала оригинал-макет Аскольдова в ИМКУ, где, пролежав несколько лет, он благополучно сгнил, а книга так и не вышла в свет. Что же до «Потерянной драхмы», она вышла у Милорадовича...

В половине пятого я был на Монпарнасском вокзале. Флок прибежал как всегда взмыленный, с неизменным чемоданом, набитым рукописями, в сбившемся галстуке и расхристанном плаще. Мы работали с ним вот уже восемь лет, с имковских времен, и довольно хорошо знали друг друга. Начинать я еще при его отце, Жозефе, возглавлявшем крупное семейное дело. Ив, которому уже тогда было за сорок, еженедельно мотался в Париж, обегая клиентов и привозя новые заказы. После смерти родителя он возглавил типографию, но по-прежнему сам ездил в столицу, тратя по семь часов на дорогу в оба конца, но упорно не желая отдавать кому-либо из подчиненных столь деликатную вещь, как общение с клиентами...

Мы зашли в бар, сели за столик. Ив вынул из чемодана папку, из нее письмо и протянул мне. Письмо было из «Русской мысли». В нем Флоку запрещалось выдавать мне оригинал-макеты или фильмы находящихся в производстве книг под угрозой невыплаты денег, причитавшихся за уже исполненные работы.

Помолчали.

– Поверьте, мсье Аллой, я чрезвычайно смущен, такое случается впервые в моей практике... но они должны мне больше ста тысяч...

– Конечно, вы абсолютно правы.

Все было ясно. У Флока находилось четыре книги. По счастью, я не успел передать ему «Память» – мы затагнули с именником. На остальном можно было поставить крест...

Домой я добрался в совершенной истерике и тут же сел за письмо акционерам. Я доказывал, что мотивировка закрытия издательства не выдерживает никакой критики, что книжное дело было единственным, приносящим хоть минимальный доход, в то время как газета и бесплатно распространяемое приложение к ней – аналитический журнал «Обозрение» – действительно убыточны, что решение акционеров обрекает на гибель восемь книг, четыре из которых созданы в России... В общем, я много чего доказывал, ломаясь в открытые двери и пытаясь убедить пайщиков в том, что они прекрасно знали сами. Через неделю, когда небожители согласились все-таки принять меня, адвокат «Русской мысли» Посохов спокойно и холодно объяснил мне, что мотивировка закрытия издательства не играет никакой роли, она может быть любой, важно лишь решение юридических владельцев, оно принято, и мои lamentации на моральные темы неуместны. В сущности, вся эта странная встреча исчерпывалась монологом Посохова. Ни Иловайская, ни находившийся тут же Серафим Милорадович не проронили ни слова. Первая сидела с каменным лицом, второй упорно смотрел в пол, избегая встречаться со мной взглядом...

* * *

И все же мои конвульсивные попытки вернуть стрелки часов назад продолжались. Арина в тот же вечер позвонила Алику, который ездил по Америке с очередным туром лекций. Наташа Горбаневская, как и следовало ожидать, немедленно заявила: «Надо идти к Володе». Мы пошли к Максиму.

На рю Лористон я попал в первый же день своего приезда в Париж. Знакомых в городе почти не было, я оставил вещи в камере хранения Лионского вокзала и позвонил по едва ли не единственному имевшемуся у меня телефону – Володе Марамзину. Он жил на той же рю Лористон, в двух шагах от Максимова и «Континента». Небольшую двухкомнатную квартирку нашли ему Ниссены, опекавшие Максимовых, – служа для последних переводчиками и ведя все финансово-юридические дела журнала. Что до Марамзина, он зарабатывал хлеб на «Свободе», писал в «Русской мысли» и зани-

мался делами «Ассоциации друзей “Континента”». В Париж он приехал месяцев девять назад и был в том смешанном состоянии эйфории и подавленности, которое сопровождает эмигранта в начале «новой жизни»: первое чувство вызывается новизной впечатлений, второе – отсутствием языка, неуверенностью в завтрашнем дне и острой нехваткой средств. Со временем эйфория проходит, а нехватка денег становится хронической и не воспринимается столь болезненно... Вероятно, желая пресечь любые поползновения на свое жилище, буде таковые с моей стороны последуют, Марамзин с порога заявил, что ночевать у них негде, а потому мне придется найти на первое время какой-нибудь отельчик. Видит Бог, я и не собирался навязываться гостем, тем более, что жили они с Татьяной действительно крайне стесненно. В «Русской мысли» у меня лежал какой-то гонорар, около полутора тысяч франков, что по тем временам давало некоторую свободу маневра, а дальше... – что будет дальше, я не гадал. От Марамзина я ждал скорее информации, объяснения элементарных реалий парижской жизни и того эмигрантского пятачка, на котором обречен толкаться некоторое время любой неопит. Володя сделал беглый обзор русского Парижа, сказал, что отведет меня в газету, но прежде всего надо, конечно, идти в «Континент». И мы пошли...

С Максимовым я познакомился в Риме, куда он приезжал с Женей Терновским на какую-то конференцию. Встретились мы на виа Лютетция, где находилась контора Международного литературного центра, которую возглавляла тогда... Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и начальницей конторы была американка Кэрол, – в те времена я был слишком глуп и возторжен и мало вникал в тонкости чиновничьей субординации подобных учреждений, правда, и в дальнейшем жизнь научила меня этому лишь отчасти. Во всяком случае, она там работала и была явно на особом положении: через ее кабинет проходили все хоть чем-то интересные эмигранты, оказавшиеся в Риме. Отбор осуществляла она сама, по каким-то только ей ведомым критериям: некоторые появлялись лишь однажды, другие заходили постоянно – поболтать и отправить в Союз посылки с художественными альбомами и книгами, третьи – становились предметом постоянной заботы и опеки. Впоследствии для меня несколько прояснились критерии отбора: когда через шесть лет Иловайская сообщила, что издательство «Presse Libre» создано и я назначен его директором, – в ответ на мой недоуменный вопрос, как такое могло произойти без единого разговора или даже простого контакта со мной, Ирина Алексеевна возмущенно выпалила: «Неужели вы не понимаете, Володя, – это я бы-

ла вашим контактом?» Впрочем, последнее обстоятельство ничего не меняет в сказанном выше: для тех, кто в 70-е прошел через Рим, она была «крестной матерью». Здесь нет никакой иронии и уж тем более недоброжелательства: Ирина Алексеевна действительно стала для многих десятков, если не сотен людей, потерянных в новой реальности, – настоящим ангелом-хранителем. По каким-то соображениям в третью категорию – опекаемых – попали и мы с женой: если в продолжение всей дальнейшей жизни мы вспоминали те месяцы как «римские каникулы», то в огромной степени было это благодаря Ирине Алексеевне. Именно она устроила нас в крохотный католический пансион «Про фамилия», находившийся при небольшой женской общине в двух шагах от пьядца Навона. И в то время как подавляющее большинство эмигрантов вынуждено было ежедневно совершать поездки Остия–Рим, мы с Радой провели четыре месяца в самом сердце средневекового города, на берегу Тибра, прямо напротив замка Сан-Анджело, к тому же избавленные от всех бытовых хлопот, составлявших основу эмигрантской жизни. О пьядца Навона и Кампо де Фиори, о виа делла Скрофа и пьядца Сан-Панталео, где находилась тогда Гоголевская библиотека, – обо всем этом дивном районе можно написать целую поэму, но стыдно пытаться делать это после Муратова и Вейдле. Именно там я навсегда влюбился в Вечный Город, который и сегодня представляется мне лучшим из городов мира, с кем соперничает лишь Венеция... Все та же Иловайская помогла мне получить документы – Титуло ди виаджо пер страньери – временный паспорт для иностранца, дававший право на пересечение границы и въезд во Францию. Ей обязан я знакомством с отцом Нилом Кадонна и маленьким братством «Руссия кристиана», состоявшим из нескольких священников и журналистов католической ориентации, увлекавшихся Россией и выпускавших на итальянском книги русских философов начала века. Резиденция их находилась в Сериато – пригороде Бергамо, в небольшом поместье, некогда принадлежавшем русской семье, видимо, в память о России засадившей березами весь крохотный парк, примыкающий к огромному сырому и обветшалому двухэтажному дому. С отцом Нилом мы настолько сблизились, что к концу нашего пребывания в Риме он предложил мне остаться в Италии и возглавить римский филиал «Руссия кристиана», который братство собиралось открыть. Но было уже поздно: меня тянуло на север, в Париж. О возможности осесть во Франции впервые сказал мне еще в Вене Ефим Григорьевич Эткинд, развивая глобальные и, конечно же, неосуществимые планы создания русского университета, куда можно было бы стянуть все эмигрантские силы, – нечто вроде пражского Русского института. Была забы-

та лишь одна деталь: для создания Русского института в Праге нужен был Томаш Масарик и его давние связи с Россией и русскими. Президентом Франции был Валери Жискар д'Эстен, социалистов не любивший и особых чувств к России не питавший, да и находились мы в 1975, а не в 1921 году. И все-таки мысль о Париже застряла тогда в моей голове, превратившись со временем в твердое убеждение – ехать во Францию. Иловойская его поддерживала. Рада была категорически против: сворачивать с проторенной уже американской тропы и бросаться в неизвестное место, без знания языка, без друзей, которых было полно в Штатах, без каких-либо реальных перспектив в стране, уже давно уставшей от эмигрантов со всего света... – она считала безумием и блажью. Она, конечно же, была права, но это ничего не меняло. В результате Рада отправилась в Филадельфию к Алику Мильштейну, жившему там уже два года, а я, как только была получена виза в Штаты, – сел в поезд и уехал в Париж...

Максимов принял нас с Володей в своей квартире на втором этаже. Редакция журнала находилась на пятом, но большинство неформальных встреч происходило именно здесь – в гостиной его трехкомнатной уютной квартирки. В сущности, разговор был абсолютно бесплоден: Максимов повторил приблизительно то, что часом раньше говорил Марамзин, присовокупив несколько общих фраз типа: да, мы рассчитывали на Запад, но никому здесь Россия не нужна, или: эмиграция – штука жестокая, непредсказуемая, это – море, но если ты решился – прыгай и барахтайся, и коли Бог даст, выплывешь. Он любил широкие обобщения... Меня не покидало чувство нелепости и униженности всего происходящего. Зачем я здесь сижу, сотый или пятисотый проситель, от которых он давно и смертельно устал, и если тратит время на очередного Растиньяка, то лишь потому, что не может в силу своего положения да и из простого человеколюбия не поддерживать соотечественника, хотя бы морально. Казалось, он сейчас вынет из кармана десятку и предложит мне – в знак понимания и сочувствия... Наконец и Марамзин осознал полную исчерпанность ситуации, мы отклонялись...

И вот теперь мы с Наташей снова шли к Максиму. За эти годы отношения переживали разные периоды: мы то сближались, то отдалялись. Эта волнообразность абсолютно точно соответствовала моему, так сказать, социальному положению. После той первой встречи на рю Лористон мы долгое время виделись лишь эпизодически, затем, когда я стал директором ИМКИ, у Володи начался прилив дружеских чувств, выражавшихся в разговорах исповедального характера и затевании всевозможных совместных проектов. Но

стоило мне подать в отставку – отношения мгновенно похолодали. Новый прилив любви точно совпал с началом работы в газете и пиком нашего «романа» с Иловайской, закономерно сменившись отчуждением последних месяцев. Владимир Емельянович всегда ощущал себя генералом и мыслил исключительно тактико-стратегическими схемами. Помню, как поразила меня его реакция, когда мы с Наташей зашли к нему летом 81-го года, и в разговоре я сообщил, что подал в отставку из ИМКИ. Первое, что произнес Володя, был обращенный к себе самому вопрос: «Кого же они ищут в союзники?» – имелись в виду Струве и Солженицын.

Памятуя все это, я не слишком надеялся на успех нашего похода. Но Наталья настаивала, свято веря, что Володя может все разрешить. Он был для нее одновременно и Богом и пророком Магомедом. Я всегда удивлялся, насколько сильно это влияние, при том, что Горбаневская обладала очень тонким нравственным чутьем, словно в душе у нее был некий камертон, дававший чистый правильный звук. Но здесь он почему-то молчал, и что бы ни происходило, Наташа готова была драться и грызть кого угодно, защищая любые максимовские выходы, находя оправдание всему и убеждая оппонентов, а, возможно, и саму себя в его правоте.

Володя, конечно, уже был в курсе происходящего. Он сказал, что готов ввязаться в эту историю, но лишь на определенных условиях: создается издательский совет, в который войдут, скажем, он сам, Володя Буковский, Михаил Яковлевич Геллер, Некрич, Иловайская, ну, и, допустим, Милорадович. Совет обладает всей полнотой власти в вопросах административных и творческих и осуществляет внешнее прикрытие издательства.

Из предложенной персоналии было очевидно, что Максимов все обдумал заранее. Он решал очередную стратегическую задачу: укрепление собственных позиций в отношении с американцами и создание нового фронта, который мог бы успешно противостоять давлению солженицынской армии... Мне предлагалось подтянуть ремень и занять место в строю: Отставить разговоры! Смирно! Шагом-арш!.. Но причем здесь «говнюшка» (так в закрытых письмах именовалась «Память»), причем здесь ребята, которые ждали и надеялись там, за бугром, и которых, что было яснее ясного, также попытаются затянуть в эту возню и использовать помимо их воли в добывании очередных кусков?..

Изложенная схема обсуждению не подлежала, это подразумевалось само собой. Единственная возможность корректировки была скрыта в персоналии. И тут я повел себя как слон в посудной лавке. Это несчастное качество, стоившее мне бесчисленных шишек, поте-

ри множества друзей и создавшее репутацию человека с дурным характером, – я протащил, как горб, через всю жизнь. Я спросил Володю, почему состав предполагаемого Совета именно таков, если мы проектируем литературно-историческое издательство довольно широкого профиля, почему, скажем, не Бродский вместо Буковского или не Серман вместо Геллера... После упоминания имени Ильи Захаровича Сермана началось нечто невообразимое: Максимов кричал, дергался, бегал по гостиной, размахивая руками и произнося нечленораздельные обвинения в адрес толкущихся в передней у Синявских людишек, всех этих профессоров и отставной козы барабанщиков, которым тщеславие не дает спокойно умереть или тихо доживать свой век, и они все лезут, лезут, лезут... Таковую страсть я видел, пожалуй, еще только раз – в Бергамо. Там Нина Каухчишвили устроила в университете международный конгресс по Флоренскому. И вот, во время вполне заурядного выступления Долгополова, сидевший рядом со мной Палиевский шептал мне в ухо: «Вот они, наши либералы, наши демократы!..» Мы находились среди ученой благопристойной публики, и он вынужден был шептать, но страсти в этом шепоте было столько, что он буквально задыхался... Сейчас то же самое происходило с Максимовым: он вошел в режим самовозбуждения и абсолютно не владел собой. Кажется, я тоже перешел на крик. Наталья сидела бледная и испуганная, переводя взгляд с одного безумствующего мужика на другого и не зная, как прекратить ссору.

Баталия закончилась без постороннего вмешательства – просто за отсутствием противника, поскольку через десять или пятнадцать минут обоюдного крика я хлопнул дверью и покинул квартиру на рю Лористон, чтобы уже никогда больше в ней не появиться...

* * *

Вечером мы сидели у Арины и «раскидывали картишки». Ситуация была пиковая, на кого рассчитывать – неизвестно. Ясно, что никто не захочет ввязываться в склоку, где на одном краю сосредоточена вся тяжелая артиллерия: Солженицины, Струве, Иловайская, а на другом... на другом, собственно, не было ничего, кроме некой группы молодых историков из России, общих рассуждений о морали, культуре, объективности научного исследования... и еще – странного типа, почему-то претендующего на представительство этой группы, не желавшего играть по общепринятым правилам и уже заработавшего себе твердую репутацию troublemaker'a.

Непонятно было даже, чего хотел этот тип. Разумеется, он хотел справедливости, но справедливости в его собственном понимании... Ну, как же, уничтожено великолепное издательское дело, под фиктивным предлогом, в результате грязной интриги, гибнут книги, присланные из России... Все так очевидно: необходимо восстановить разрушенное... Он жаждал третейского суда.

Когда-то, уходя из ИМКИ, я написал совету акционеров, что, наученный горьким опытом, не хочу никаких разбирательств между мной и Никитой, а просто выхожу в отставку и возвращаю свои акции. Но в разговоре с самим Никитой признался, что существуя некий третейский суд, состоящий, скажем, из отца Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа и Владыки Сильвестра, – я был бы готов предстать перед ним, защищать свою точку зрения и полностью принять любой его приговор. Никита пристально на меня посмотрел и жестко произнес: «Не надейтесь. Третейского суда не будет»...

Теперь я добивался именно его, вопреки всякой логике и здравому смыслу. Ведь очевидно, что ни один чиновник не отменит собственного решения, ибо не захочет дезавуировать себя. Кроме того, если в ИМКЕ я обращался к конкретным людям, то теперь передо мной была гигантская абсолютно анонимная машина, этакий черный ящик, подходов к которому не было никаких. Ведь не игрушечные же акционеры «Русской мысли» принимали решение о закрытии издательства. Ясно было одно: пытаться сделать что-то из Парижа – бессмысленно. Надо ехать в Штаты. Но появляться там без предварительных разговоров, без минимального выяснения обстоятельств – невозможно. Алик Гинзбург должен был добраться до Вашингтона только недели через две. Тогда и надо лететь. А пока – запастись всевозможными письмами, экспертными записками, заявлениями в поддержку и прочим. . .

Пожалуй, лишь моей невменяемостью в те дни можно объяснить столь наивный ход мыслей и поступков. Никого не интересовали детали, содержательная часть моих претензий, да и вообще суть дела. Замечательная сталинская фраза: «А сколько у папы римского дивизий?» – полностью описывает ситуацию, давая алгоритм действия государственной машины, будь то американской, советской, французской или любой иной. Дивизий у меня не было, а значит – не о чем и говорить...

На следующий день я написал Пайпсу, рассказав ему всю историю. В душе я рассчитывал на Дика едва ли не больше, чем на Алика: он всегда относился чрезвычайно заинтересованно и благожелательно к тому, что мы делали. Само знакомство наше началось с его письма в редакцию «Памяти». В четвертом выпуске сборника по-

явилась рецензия Шанецкого на книгу «Россия при старом режиме», за которую Солженицын объявил Пайпса «руссофобом». Под псевдонимом «Шанецкий» скрывались четверо: Яков Соломонович Лурье и молодые ленинградские историки: Сеня Рогинский, Лева Лурье и Саня Добкин – фактические редакторы сборника. И Пайпс, никогда не вступавший в полемику с эмигрантскими публицистами, неожиданно откликнулся и попросил разрешения ответить на рецензию. Разумеется, все были только рады, и в пятом номере статья Пайпса появилась, сопровождаемая кратким редакционным послесловием. С тех пор мы поддерживали связь, я посылал ему выходящие книги, а бывая в Кембридже, всегда заходил в его гарвардский кабинет. На сей раз я просил его выяснить обстоятельства закрытия «Presse Libre» и степень, так сказать, «закопанности» всего дела. У него было для этого достаточно каналов и связей даже после ухода с поста советника Рейгана по национальной безопасности. Пайпс откликнулся мгновенно, выражая возмущение по поводу происшедшего и обещая при первой же возможности узнать все, что сможет.

Мои попытки получить хоть какие-то письма в поддержку издательства потерпели полное фиаско: ни Эдик Кузнецов, возглавлявший тогда русскую редакцию новостей на «Свободе», ни Володя Буковский, ни Эткинд, ни Некрич, да и вообще никто из эмигрантских деятелей, к которым я обращался, влезать в историю не захотел: слишком неравны были силы и результат заранее ясен. Единственным человеком, который сразу и без всяких разговоров составил нужную бумагу, оказался, к моему величайшему изумлению, Джордж Минден. Это было уже в Нью-Йорке. Джордж руководил тем самым Международным литературным центром, о котором я упоминал. Эта контора была создана американцами и занималась отправкой литературы в Россию. Одновременно это был способ поддержки эмигрантских издательств, у которых Джордж покупал книги. Цены он назначал бросовые, едва превышающие себестоимость, но для нищих эмигрантских издателей это была весомая помощь, особенно для тех, кто умудрялся продать Джорджу большое число книг. Наконец, контора была едва ли не самым крупным отстойником информации, поскольку, кроме эмигрантов, желающих отправить книги в Союз, ее украдкой посещали почти все приезжающие на Запад советские визитеры, запасаясь перед отбытием на родину редким и, что еще существеннее, – бесплатным тамиздатом. Короче – одна из многочисленных контор, созданных американцами в целях контрпропаганды, с тою оговоркой, что она стала едва ли не самой успешной и действительно делала серьезную работу. Литературный

центр имел филиалы в Париже, Риме, Лондоне и нескольких других городах, главное же его бюро находилось на Парк-авеню в «мидлтауне» Нью-Йорка. Стоит ли говорить о том, какую роль в социальной жизни эмиграции играли начальники местных отделений. В неписаной табели о рангах руководитель филиала Литературного центра занимал одно из первых мест, а могущество его ограничивалось лишь размерами бюджета, спускаемого из главной конторы. Парижский филиал возглавляла Анита Рутченко, и имя Анны Анатольевны с уважением или открытым подобострастием произносилось буквально всеми – от безвестных эмигрантов до главных редакторов. Оно было одним из первых, услышанных мною от Марамзина в его обзоре русского Парижа. Увы, и в этом случае я повел себя как слон в посудной лавке...

С Минденом я познакомился где-то через полгода по своему появлению в ИМКЕ: он приезжал с инспекционными целями в парижский филиал, мы встретились, довольно долго проговорили и расстались, кажется, довольные друг другом. После этого мы виделись постоянно: когда я приезжал в Нью-Йорк, то непременно заходил к нему раза два-три решить дела и просто поболтать, а когда он появлялся в Париже, мы завтракали в ресторане или «файв-оклокничали» в его любимом чайном салоне на рю Риволи. На первый взгляд, Джордж напоминал хрестоматийного голливудского шпиона в исполнении Питера О'Тулла: мягкая шляпа-панамы, твидовый пиджак, туфли на толстой подошве, длинная поджарая фигура... Он любил говорить о вещах, никакого отношения к делу не имеющих: о философии истории, о литературе, о национальном характере, о политической или финансовой ситуации; любил вкусно поесть и знал толк в парижских и нью-йоркских ресторанах; наконец, в отличие от той же Аниты или римской Кэрл, – знал и любил книгу и выбирал закупаемое не только на основании политической конъюнктуры и личных симпатий или антипатий к предлагаемому товару, но и по более глубоким мотивам. Это не мешало ему срезать цены до неприличия, и когда я начинал жаловаться на то, что он хочет нас разорить, Джордж философски замечал, что банкротство – лишь стиль жизни, и лично он существует так всегда. Как-то во второй или третий мой приезд в Нью-Йорк я предложил ему изменить систему закупок: сделать ее централизованной – и ему проще, и нам лучше. Джордж внимательно на меня посмотрел, помолчал – и принял предложение. С тех пор он сам делал заказы на имковские, а позже и на все последующие мои книги, оставляя на долю местных отделений лишь прием и распространение. Боже, куда я влез! Там, где все ходили на пуантах, я обязательно должен был вломиться в

кирзовых сапогах... Предложение свое я сделал Джорджу без всякой задней мысли, просто из рассуждений о пользе дела: у нас был хороший контакт, и логичнее было общаться с одним начальником, чем с пятью его подчиненными. Я даже не подумал, что этим замахнулся на святая святых: самые основы могущества руководителей местных отделений. При этом удар пришелся в особенно болезненную точку – финансовую: если центральное бюро само делает заказы и само оплачивает их, то местный бюджет урезается именно на такую сумму. Кроме того, я создал прецедент, и, естественно, все издатели, бывшие по тем или иным причинам не в ладах с местными бюро, – бросились по моим следам... Думаю, что в Париже у меня не было более непримиримого врага, чем Анита Рутченко, при том, что лично мы виделись с нею за все годы лишь пять-шесть раз и никаких размолвок между нами не возникало...

Когда я попросил Джорджа составить отзыв о работе издательства, качестве выпускаемых книг и спросе на эти книги из России, он без всяких разговоров написал нужное письмо. Для человека, впрямую связанного с «черным ящиком», куда я пытался проникнуть, бывшего, как минимум, тем, что в России принято называть офицер действующего резерва, человека очень умного и прекрасно знающего положение, – это был довольно необычный поступок. И каковы бы ни были его мотивы, я до сих пор ему чрезвычайно признателен. Забегая вперед, отмечу, что в продолжение всех последующих лет лишь два человека безусловно поддерживали меня во всех ситуациях: Ричард Пайпс и Джордж Минден...

После Джорджа я зашел к Веронике, которая пригласила меня вечером к ним поужинать. Вероника Штейн, Вероня, как ласково ее называли, работала у Джорджа, кажется, с начала эмиграции и была всеобщей мамой, снабжавшей книгами появлявшихся в Нью-Йорке новичков, опекавшей кучу эмигрантов и, главное, советских визитеров. Собственно, все, что происходило в Международном литературном центре и вокруг него, – совершалось в ее кабинете. Здесь почти всегда толпились люди, кто-то звонил по телефону, кто-то рассказывал последние новости и сплетни, а Вероника, сидя за своим столом и заполняя какие-нибудь бумаги, ласково ворчала, что ей не дают работать, но при этом вставляла в разговоры вполне точные реплики. Она всегда была в курсе любых событий и новостей, не только нью-йоркских, но и парижских, и мюнхенских, и московских, всегда имела о них свое мнение, которое могло не полностью совпадать с мнением Вермонта. И она, и Юра, ее муж, были «без лести преданы» Солженицыным – здесь играли роль и родственные отношения, и вся предыдущая, да и нынешняя жизнь, но ес-

ли Юра и вправду походил на Аракчеева, то Вероника была много тоньше, изящнее, наконец, просто умнее. Вероятно, именно поэтому она и занимала кабинет на Парк-авеню – место «ока и уха государева»...

Была она всегда какая-то чистенькая, уютная, прямо сдобная, ни дать ни взять – попадья. Ну, если не попадья, то староста церкви на 72-й улице, где служил отец Михаил Мейерсон-Аксенов, а настоятельствовал Иоанн Мейендорф и куда стекалось множество новых эмигрантов. По воскресеньям все многочисленное семейство отправлялось в храм, а застольные разговоры на их огромной кухне с одинаковой легкостью касались и глобальных тем, и чисто бытовых, общинных сплетен.

Наши отношения были несколько странными: теплыми и я бы даже сказал дружескими, но с примесью какой-то легкой фальши. Видимо, это было связано с двойственностью моего положения. Впервые я появился в ее кабинете и в их доме осенью 1978-го, будучи директором ИМКИ и воспринимаемый как alter ego Никиты, а следовательно, как «однопольчанин». В тот раз я и остановился у них. Они жили в собственном доме в Джерси-сити, городке, находящемся в пятистах метрах от нижней части Манхэттена – на другом берегу Гудзона.

В те годы там обосновалось довольно много эмигрантов, и городок даже называли «Маленький Ленинград», в противоположность «Маленькой Одессе», как окрестили район Брайтон Бич. Правда, столь лестно называли его лишь те, кто там жил. Вообще топография расселения выходцев из России в семидесятые годы была довольно пестрой. Большинство селилось на южной окраине Бруклина, на бесчисленных авеню, помеченных буквами алфавита, вплоть до самого океана – до Брайтон Бич. Чуть более престижным считался район Куинза, куда стремилась интеллигенция. Еще более преуспевающим был Верхний Манхеттен, и попасть туда удавалось далеко не всем. Ну и, наконец, особые счастливицы, вроде Аркаши Львова или Саши Сумеркина, обосновались в даун-тауне – нижней части Манхэттена (я не беру людей, уже составивших себе имя в Штатах, таких, как Иосиф Бродский или Михаил Шемякин, также живших в даун-тауне, речь идет об общей массе выходцев из России). Кроме того, существовала довольно большая группа эмигрантов, селившихся в Нью-Джерси, по другую сторону Гудзона, в небольших городках, разбросанных в полчасе или часе езды от Нью-Йорка. Что же касается Джерси-сити, то его население было смешанным, городок только осваивался. Власти были рады притоку русских, которые могли изменить расовую ситуацию: раньше, да и

теперь в большинстве районов город заселен черными и латиноамериканцами, с соответствующими особенностями любого гетто: разрухой, грязью, нищетой, наркотиками, насилием... Появление «russian born jews», вполне активно входивших в жизнь и стремившихся к обретению респектабельности, – обещало изменить положение. А потому и муниципальные власти, и даже некоторые зажиточные горожане, типа банковского маклера Арье Голдберга, – всячески поддерживали русскую общину, участвуя в ее жизни, помогая организовать русский культурный центр и музей неофициального искусства в Джерси-сити, наконец, сдавая эмигрантам квартиры и способствуя в получении государственного жилья.

В таком полугосударственном доме обосновался и Саша Серебренников, мой приятель еще по римским временам, историк и архивист, друг Вероники и Юры, денно и нощно пахавший на Солженицына, накачивая фактами его «колеса». Жил он в небольшой двухкомнатной квартирке, заполненной аппаратурой и книгами. Аппаратура была особого свойства: конечно, у Саши имелись и телевизор и стереоустановка, но главным достижением был, например, аппарат для чтения микрофильмов. По стенам стояли справочные издания, типа «Всей Москвы» и «Всего Петербурга», эмигрантская периодика и историческая литература. Когда бы я ни появлялся в Нью-Йорке, первый, к кому я заезжал, был Саша: там всегда ждал меня крепкий, сваренный в джезве кофе, французский коньяк, до которого хозяин был большой охотник, и нью-йоркские новости...

От ужина у Вероники я отказался, сославшись на то, что сегодня уезжаю в Бостон, а уж по возвращении – всенепременно. Уезжал я, правда, не в Бостон, а в Вашингтон. Прилетев прошлым вечером, я сразу позвонил Пайпсу, но его не оказалось дома – он отдыхал на своей нью-хемпширской даче. Терять время было невозможно: Алик уже третий день находился в Вашингтоне и скоро должен был отправляться в продолжение своего лекционного турне. И потому, не дожидаясь предварительного разговора с Диком, я решил ехать. Веронике об этом лучше было не сообщать, – скорее всего, через пару часов новость стала бы известна в Вермонте, а уж это совершенно ни к чему...

Спустившись с 21-го этажа небоскреба на Парк-авеню, я забрал со стоянки машину и отправился к Канал-стрит, где был въезд в туннель, пересекавший Гудзон и выведивший в Нью-Джерси. Дальше – Торнпайк и 95-я национальная дорога – напрямик до Вашингтона, часов за пять-шесть буду на месте. Путь известен, это был главный маршрут моих поездок в Штаты: Нью-Йорк–Бостон–Нью-Йорк–Филадельфия–Вашингтон–Нью-Йорк. Ездил я довольно регу-

лярно, в то время раз в год, позднее – дважды в год: встречи с авторами и «нужными людьми», поиск новых материалов, если хватало времени и сил – архивные штудии. Правда, хватало его редко: приезжал я обычно дней на десять, почти все время проводил за рулем и в разговорах, выматывался предельно и часто валялся спать там, где заставлял меня последний разговор. Наличие машины давало свободу передвижения, что при таком плотном графике и полном незнании городского транспорта было крайне существенным. Наем машины входил в стоимость авиабилета: лет пять назад эту формулу – самолет плюс машина – подсказал мне приятель из Штатов, удивленный дремучестью европейца. С тех пор я регулярно ею пользовался, это было очень удобно: прилетаешь в аэропорт Кеннеди, автобус отвозит тебя на стоянку одной из компаний, где ждет автомобиль, возвращаешь его там же за два часа до отлета в Европу...

На сей раз дорога заняла почти восемь часов. Я забыл, что на дворе февраль, и погода может быть не лучшей. Стоило мне выехать на Торнпайк, как хлынул буквально тропический ливень, сопровождавший меня почти до Делаварского моста, т. е. верст двести. Дворники не справлялись, видимость была нулевая, оставалось встать где-нибудь на обочине или ехать в сплошном молоке, молясь, чтобы не врезаться в любую из идущих где-то рядом невидимых машин. Я выбрал второе, но старался не гнать – автомобиль и без того несло по водному слою на шоссе. В Вашингтон я добрался лишь к позднему вечеру. Позвонил Маркишам, у которых обычно останавливался Алик. Подошел Юра – Алик отсутствовал. По словам Маркиша, они с Юрой Геричем должны быть у отца Виктора. Делать нечего – я отправился на Пайн-роад к Потаповым...

С отцом Виктором Потаповым и его женой Машей я познакомился в один из приездов в Вашингтон. Виктор был настоятелем русского храма, принадлежавшего синодальной церкви. Поскольку храм был единственным в городе, прихожане составляли большую и довольно пеструю группу, а сам Виктор, являясь центром общественной жизни, нес еще и массу иных обязанностей: кроме священнических на него ложились и разнообразные социально-общественные функции – он участвовал во всевозможных образовательных программах, занимался помощью малоимущим русским, в том числе и верующим в России, вел свою передачу на «Голосе Америки» и т. д. Был он чуть моложе меня, русоволосый, высокий, статный, очень спокойный и уверенный в себе. Об отце Викторе я слышал буквально ото всех: с усмешкой от Никиты, взхлеб от Арины и Алика, которые часто останавливались у них в Вашингтоне, с нежностью от Вероники, называвшей его ласково Витя и вспоминаявшей времена, когда он работал у

Джорджа, наконец, от Маши Хананье, в девичестве Струве – Никитиной племянницы, старой подруги Маши Потаповой... Дом их – я имею в виду быт, уклад, очаг – производил впечатление устойчивости, основательности, какой-то налаженной, осмысленной жизни, заполненной ежедневным трудом и сознанием приносимой пользы. В нем было тепло и уютно, и если сегодня мне не слишком хотелось туда ехать, то лишь потому, что нынешняя моя ситуация вносила явный диссонанс в этот добропорядочный мир. Но выбора не было...

Алик и Юра Герич действительно сидели у Маши, отец Виктор еще не вернулся. Появление мое было не вполне неожиданным, – я все же предварительно позвонил из какого-то бара. Маша немедленно принялась меня кормить, на столе появилась даже бутылка «Красного Патриарха» – любимого вина хозяев, что было большой редкостью, учитывая пребывание в доме Алика, чья слабость к спиртному была всем известна. Разговор естественным образом крутился вокруг истории с издательством. Маша была крыльями, возмущалась, строила планы немедленных наступательных действий, называла массу каких-то имен – людей, которых надо подключить... Вот только вернется Виктор... Алик спокойно слушал, задавая вопросы и дорисовывая картину, сложившуюся из телефонного разговора с Ариной. Он явно оценивал ситуацию гораздо трезвее. Юра удивленно молчал, не слишком понимая суть происходящего. Он вообще был далек от эмигрантских дел. Безработный музыкант, кормившийся редкими уроками, сын эмигрантов «второй волны», он выполнял роль переводчика при Алике во время его лекционного турне – это давало возможность хорошо подработать и заодно поездить по Штатам. Мы решили, что утром Алик обзвонит всех, кого возможно, – пока он еще ничего не предпринимал. Маша между тем посоветуется с отцом Виктором, тогда и надо будет решать, как и куда обращаться. Пока же отправились спать к Геричам. Юра жил с матерью в Silver Spring, на северо-западе, за кольцевой дорогой в небольшом двухэтажном стандартном доме...

Первое, что я увидел, проснувшись утром, были белки, сидевшие на подоконнике и прыгавшие по деревьям в саду. Ночью шел дождь, но сейчас небо очистилось, и все вокруг было мокрым и блестящим от солнца. И за окном, и в доме царила полная тишина. Я встал и отправился искать ванную. Алик и Юра, видимо, еще спали. На первом этаже я натолкнулся на пожилую женщину: надо полагать, это была Юрина мама. Мое появление ее не удивило, значит, Юра успел предупредить ее о нашем вторжении. Она показала цель моих поисков. Пока я мылся, она исчезла – уехала на работу, зато поднялись ребята. Мы попили кофе на кухне. Юра отправился совершать ут-

ренную пробежку, а мы с Аликом уселись в гостиной. По размышлении он назвал лишь три адреса, где можно было произвести разведку и попытаться выяснить ситуацию: Совет по национальной безопасности, некий ЦРУшный знакомый по фамилии Капасте и третий – кажется, сенатор Мойнихен, с секретаршей которого Алик был в хороших отношениях, правда, гарантий, что ее шеф нас примет, не было никаких. Он позвонил по всем местам, договорился о встречах, и мы отправились...

Все, что происходило потом, до сих пор вызывает у меня тягостные воспоминания. Целый день мы бегали с Аликом по приемным: из Совета по национальной безопасности в здание Конгресса, оттуда – опять в Совет. Везде – вежливые улыбки, рассказы о том, какие программы для России проводят их отделы и подотделы, участливые расспросы, обещания навести справки и приглашения завтра или послезавтра позвонить... Вечером мы отправились домой к Капасте, оказавшемуся при ближайшем рассмотрении Капустой. Все повторилось, но уже в более непринужденной обстановке – стакан виски, показ русских коллекций хозяина дома, расспросы, обещания в ближайшие же дни навести все справки... Со следующего дня – полный провал. Утром я позвонил Маше, и она, смущенная и растерянная, сообщила, что отец Виктор очень твердо заявил ей: этот случай выше его компетенции, он ничего не сможет сделать и не хочет, чтобы она сама предпринимала какие бы то ни было шаги. К вечеру Алик, дозвонившись наконец до Капусты, после недолгого разговора повесил трубку, помолчал и сказал: этот номер телефона можно забыть. В остальных местах отвечали только секретари: соединиться с начальниками было нельзя, нас вежливо просили оставить номер телефона, нам отзвонят при первой же возможности. Была пятница. В воскресенье Алик с Юрой улетали в очередной университет для продолжения своего лекционного тура. Я оставался в Вашингтоне...

Следующая неделя прошла мучительно: бесконечное ожидание у телефона, заранее обреченные на неудачу звонки и попытки пробиться хоть к кому-то, – словом, полный вакуум. Целыми днями я болтался по дому Геричей, наблюдая за пируэтами белок в саду и прислушиваясь – не зазвонит ли телефон, вечерами беседовал с Юриной мамой, слушая ее рассказы о жизни эмигрантов в сороковые-пятидесятые годы... Иногда выбирался к кому-либо из знакомых, но видеть никого не хотелось, кроме, пожалуй, Филиппова. Воскресным вечером я отправился к нему.

Мы познакомились лет за пять до того в ИМКЕ: Борис Андреевич привез рукопись первого тома собрания стихов Волошина. Пом-

ню, как поразило меня несоответствие образа, составленного еще в Союзе – при чтении тамиздатских собраний Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Клюева, на титуле которых стояло «Под редакцией Г.П.Струве и Б.А.Филиппова», – с тем, что я увидел: в кабинет вошел, даже не вошел, а буквально ворвался низенький плотный человек, в клетчатых брюках, в бобочке, с коротким седым ежиком волос на голове, волосатыми руками и огромным портфелем в них. Не знай я, кто это, я принял бы его, ей-Богу, за коммивояжера. Он плюхнулся в кресло, вытащил из портфеля толстенный фолиант и грохнул его на стол. Говорил он громко, смеялся и рассказывал старые анекдоты. В Париж он приехал с женой – Евгенией Жиглевич, мелодраматической чтицей и сочинительницей совершенно невозможных литературных эссе. Одно из них – «Три Александра: Пушкин, Блок, Солженицын» – она прочла с придыханиями и всхлипами на следующий день в Зале инженеров, где был устроен, не помню уж по какому поводу, может быть, в связи со стовосьмидесятилетием со дня рождения Пушкина, литературный вечер. Борис Андреевич был от жены без ума и все, что она делала, включая ее литературное творчество и манеру исполнения, считал вершиной таланта и вкуса...

Жили они в уютном домике в юго-западном предместье Вашингтона. Поскольку я приехал на машине, мы отправились ужинать в ближайший итальянский ресторанчик, а затем, уже у них, пили чай и беседовали в его кабинете. Филиппов выслушал мой рассказ о том, что произошло в Париже, и о том, как развиваются события здесь, вздохнул и произнес: «Да, уж если царь-жопа на кого садится, то плотно – не продохнешь». Имелась в виду Иловайская. Борис Андреевич любил сильные выражения и рискованные метафоры... Сам он, увы, помочь не мог, не смог даже сказать, к кому следовало обратиться: «Года два-три назад, я бы, конечно, сделал все, а теперь... я ведь больше даже не эксперт, там все новые люди... Конечно, жалко, дело шло прекрасно... Но, вы знаете, я ведь и сам несколько раз переживал подобное, и, поверьте моему опыту, здесь сразу ничего изменить нельзя, нужно дли-инное дыхание...» Филиппов был первым, кто сказал мне, что вся эта история долго готовилась и затянется тоже надолго.

Где-то через пару дней я видел Буковского. Встретился с ним случайно: отправился к Эдику Лозанскому и налетел на Володю, приехавшего из Калифорнии по каким-то своим делам. Лозанский был его лобби в столице, фиксировал randevu, обзванивал нужных Буковскому людей, выполнял всевозможные поручения. У них с Татьяной, в квартире чрезвычайно respectable дома на Массачусеттс,

чусетс авеню, Володя обычно и останавливался, появляясь в Вашингтоне. Он, естественно, был полностью в курсе дела, и на мой вопрос, захочет ли он помочь, ответил односложно: «Помиришь с Максимовым». Попытка объяснить, что в основе ссоры находится предложенный Максимовым вариант, который только усугубляет ситуацию, не вызвала у Буковского никакой реакции, он лишь повторил все ту же фразу...

Прошло еще несколько бесплодных и мучительных дней. Вакуум рос, ответы секретарей в телефонной трубке становились все более односложными, надежды выйти хоть на кого-либо из тех, с кем мы говорили с Аликом в первый день, полностью иссякли. Я чувствовал, что Никита, сообщая Филиппову о моей гражданской смерти, был не так уж далек от истины... Делать в Вашингтоне становилось решительно нечего. В конце недели я распрощался с Юриной мамой, поблагодарил ее за гостеприимство, сел в машину и поехал в Кембридж.

Пайпс жил в собственном доме на Беркли Стрит – тихой зеленой улочке в десяти минутах ходьбы от Гарвард Ярд. Сидя в его гостиной и попивая апельсиновый сок, я вторично услышал, что дело это имело довольно длинную предысторию и было лишь побочной ветвью более сложной и разветвленной интриги, главным героем и жертвой которой должна была стать сама Иловайская, а одним из условий ее спасения в редакторском кресле – закрытие «*Presse Libre*», что издательство, как и я сам, не просто закопано, но над ним двухметровый слой земли, что раскопки могут вообще ни к чему не привести и, возможно, придется искать иную форму продолжения дела. В любом случае, процесс будет долгим, и мне надо запастись терпением, если я действительно хочу продолжать... «Правда, вы и сами виноваты», – закончил Дик с ухмылкой заговорщика. Что он имел в виду – так и осталось для меня тайной. В тот раз я был слишком подавлен, чтобы задавать вопросы, а когда через несколько лет я напомнил Пайпсу этот разговор, он уже не смог восстановить его деталей. Он был чрезвычайно мил, пытался всячески поддержать и ободрить меня, убеждая в том, что при твердом отстаивании своих взглядов подобные камуфлеты неизбежны и не надо падать духом, что есть множество более тяжелых ситуаций, например, случай Миши Михайлова, который после статьи «Возвращение Великого Инквизитора», чью роль он отвел Александру Исаевичу, – несколько лет вообще ходил без работы, занесенный в черные списки. В целом же он уверил меня, что не бросит этого дела и, как только прорежет-ся хоть какая-то возможность...

В Париж я возвращался совершенно разбитый. Кроме отчаяния по поводу вашингтонского фиаско и мучительного чувства бессилия перед совершившейся подлостью, меня терзала мысль о «Памяти». Куда я тащу ребят? Как слепой поводырь, я завел их в тупик, из которого нет выхода. И это в ситуации, когда Сенька гниет в лагере, а все остальные ждут появления книги со дня на день – ведь они знают, что работа практически завершена и оригинал-макет уходит к типографу...

Через несколько дней я написал в Питер подробное письмо, в котором излагал положение, определяя его как катастрофическое и предлагая ребятам самим сделать выбор: гарантировать быстрого выхода книг я не могу, вообще не могу больше ничего гарантировать, знаю лишь, что не брошу этого дела ни за что на свете и когда-то, как-то, не знаю как и когда, но начну заново издавать. Если при всем изложенном они готовы на такую неопределенность и согласны ждать туманного и проблематичного возобновления дела – я буду счастлив. Если нет, что было бы вполне понятно и оправданно, – я готов немедленно передать рукописи туда, куда они укажут.

Ответ пришел месяца через полтора. Ребята писали, что согласны ждать, ситуация, конечно, ужасная, но, в конце концов, она не первая в нашей жизни, раньше вылезали, как-нибудь пробьемся и теперь, уж если мы и создали что-либо за эти годы, то именно команду, и менять ее из-за внешних, пусть даже тяжелых обстоятельств, – было бы последним делом... Стиль был Сани Добкина, несомненно, он весь в этом: спокойный, рассудительный, мягкий в обращении и совершенно стальной внутри. Я ведь понимал, чего стоит это решение, какое давление оказывалось на них отсюда, какие истерические письма шли в Питер и в Москву... Впрочем, об этом когда-нибудь расскажет он сам, я ведь только догадывался обо всем творившемся вокруг или слышал отголоски из уст Арины.

Наташа Горбаневская после нашей ссоры с Максимовым делиться со мной новостями практически перестала. Вернувшись из Штатов, я узнал, что она написала очень резкое письмо в Вермонт, открыто обвинив Наталью Солженицыну, ее мужа и Никиту Струве в уничтожении «Памяти». Само письмо она показать мне отказалась, равно как и ответ Солженицыной, хотя и рассказала содержание обоих. Разумеется, та оправдывалась, с преувеличенным пафосом заявляя, что никогда бы ее рука не поднялась на сборник, созданный в России... Впрочем, все это напоминало уже «разбор полетов». Дело было сделано, и теперь прения сторон приобретали лишь академический интерес. Некоторое время Наталья пыталась строить фантастические проекты, например, обращение к соотечественникам с призывом собрать нужные средства на издание сборника и еще что-

то в этом роде. Здесь уже пришлось проявлять жесткость мне, и на этом наши отношения, увы, сломались. Тем более, что Наташу сознательно откалывали от меня, откровенно покупая, к тому же на самую тонкую из наживок: творческое честолюбие. Ей внушалось, что именно она делает и должна делать газету. И, поначалу уйдя из «Русской мысли» в знак протеста против закрытия издательства, Горбаневская со временем вернулась туда, и все вошло в нормальную, внешне вполне благопристойную колею...

Мне до сих пор чрезвычайно жаль потери Натальи: я любил ее как человека, любил и люблю ее стихи. Мы славно дружили, и до сих пор с нежностью вспоминаются наши бесконечные прогулки по Парижу, с чтением стихов и обсуждением всевозможных планов, с ритуальными заходами на пляс Фюрстенберг, или в «Мэйфлауэр» – ее любимое кафе неподалеку от пляс Контрескарп, или к «Дьюри» – в маленький рестораник у Сен-Сюльпис, где можно было даже не ужинать, а просто посидеть и выпить в тесном и дымном подвальчике, в углу которого на импровизированной эстраде хозяин-венгр целыми вечерами пел под гитару всевозможные песни, в том числе и русские... Однако сердцевиной этих теплых отношений являлось, по-видимому, все-таки дело, которое объединяло нас в продолжение почти десятка лет. И когда дело разрушили, из этой дружбы выпал стержень, и она рассыпалась. Мы никогда не ссорились, не рвали отношений, да и формального даже повода к этому не возникало, не говоря уж о чем-либо реальном и серьезном. Мы просто отделились, а со временем со стороны Наташи отдаление переросло без всяких объяснений в какую-то холодную отчужденность. Думаю, произошло это в значительной мере под влиянием ее окружения – и в «Русской мысли», и в «Континенте»...

* Этот выпуск уже был сверстан, когда мне показали статью Натальи Горбаневской в «Русской мысли» (Примечание к примечаниям. – РМ, 6-12 февр. 1997).

Ответы на ее вопросы давались неоднократно во многих изданиях, но сделаю это еще раз. Что касается «анонимности» Арсения Рогинского и его, якобы, «прямо высказанного желания» называться редактором «Памяти», то напомним, что Рогинский был арестован и проходил по уголовной статье («подделка документов») с возможным сроком от 2 до 5 лет. Разумеется, истинные мотивы процесса были секретом полишинеля, такие методы использовались властью постоянно (дела М.Мейлаха, К.Азадовского и др.), – и мы все время говорили о них, бегая по редакциям французских газет и журналов в те месяцы. Но открытое обвинение Рогинского редактором сборника означало перевод его в другую – куда более тяжелую категорию «политического преступника», с другим сроком и последствиями. Да, Н.Горбаневская и С.Дедюлин требовали объявления, я же был против этого, не разделяя их убеждения, что «дело свято, когда под

Как-то после панихиды, не помню уже по кому отслуженной на рю Дарю при стечении парижского бомонда, мы сидели с Ариной в кафе на Фобур Сент-Оноре. Арина вдруг сказала: «А ведь к тебе на похороны никто не придет». Это было настолько неожиданно, что внутренне я вздрогнул. Вероятно, она была права, не так конкретно, конечно, но определенный смысл в этой фразе был очевиден и соответствовал моим собственным ощущениям: я неотвратно вываливался из социума – отпадали люди, исчезали – не разрывались, а именно исчезали без всяких видимых причин многолетние связи... Я становился неудобен, словно нес в себе какую-то неотчетливую опасность для окружающих, создавая напряженность и ощущение дискомфорта одним фактом своего присутствия или даже существования. На память снова приходили слова Никиты...

ним струится кровь», особенно кровь чужая. Но окончательные решения принимались не нами, а внутрисоюзной редакцией, которая, по счастью, сама приняла позицию неразглашения, о чем Рогинскому сообщил на свидании адвокат и получил ответ: «решает редакция». Почему шестой том «Памяти» не вышел в 84-м году, подробно рассказывается в этих воспоминаниях. Причины невыхода его в следующем – 85-м – изложены в предисловии к 11-му тому «Минувшего» и в ряде других публикаций, они же являются темой одной из следующих глав мемуаров. Здесь же могу повторить: том был полностью готов (в украинской типографии на рю дю Сабо – со старого линотипа, а не с мифических «дискет») летом 85-го, когда союзную редакцию вызвали в УКГБ и дали понять, что если он появится, срок Рогинскому будет продлен. Поэтому редакция в июле запретила выход тома и отказалась от дальнейшего продолжения сборника. Готовый том по договоренности с редакцией был переделан в третий раз (в той же типографии), и его материалы легли в основу первого выпуска «Минувшего», вышедшего в свет к Рождеству. Надеюсь, я ответил на заданные в статье вопросы.

Не могу не сказать о странности самой статьи, о катастрофическом числе нелепостей и ошибок в ней, просто невообразимых в здравом уме и трезвой памяти. Не буду разбирать ее подробно, тем более – делить объем производимой тогда работы. Отмечу лишь две нелепицы: а) 6-й том «Памяти» не вышел в свет вовсе не из-за «увольнения Владимира Аллоя», а из-за закрытия по экономическим мотивам издательства «Presse Libre». По французским законам это означает, что «Русская мысль» могла возобновить издательскую деятельность не ранее, чем через два года, и то – лишь предложив пост директора тому же Владимиру Аллою, что, естественно, даже не рассматривалось; б) вопреки утверждению Горбаневской, в «Presse Libre» вышло не 4, а всего один – 5-й том «Памяти»; 1-й вышел в Нью-Йорке, а 2, 3 и 4-й – в «ИМКА-Пресс», где Аллой тогда директорствовал. Официальному зарубежному представителю исторического сборника, кем была Горбаневская, стоит помнить хотя бы такие вещи. Впрочем, не сомневаюсь, что она их прекрасно помнит, как знает и ответы на свои риторические вопросы. Статья-то явно «заказная», что уж тут заботиться об «исторической истине»... – *Примеч. В.Аллоя.*

* * *

И все же я сделал еще две попытки восстановить дело. Первую – в начале лета, обратившись к Эткинду, а затем к Синявским с предложением о создании совместного кооперативного издательства. Идея была проста: сложить пай, купить наборную машину и – попутного ветра. Готовить книги брался я сам, разумеется, бесплатно, и поскольку накладные расходы сводились до минимума, книги должны были окупаться. Подобный опыт у меня уже был еще с имковских времен, когда, приобретя компокарт и переведя издательство на собственное изготовление оригинал-макетов, я сам набирал первые рукописи. Так что от «кооператоров» требовалось лишь внести первоначальный пай. Ефим Григорьевич сразу же заявил, что денег у него нет, а потому при всем сочувствии самой идее он никак не может принять в ней конкретного участия. На том все и кончилось: на нет и суда нет. Я отправился к Синявским. Правда, на сей раз, учтя неудачу с Эткиндом, несколько изменил суть проекта: Синявским предлагалось купить в складчину наборную машину и использовать ее совместно, по времени, соответствующему внесенному паю. Когда-то Мария Васильевна, собиравшаяся строить собственное издательство, подолгу просиживала у меня в ИМКЕ, наблюдая за работой наборной машины, а затем приобрела точно такую же. Старенький компокарт по прозвищу Марфуша до сих пор стоял у нее на первом этаже. Он давно уже требовал замены, и, казалось, мое предложение должно было ее устроить. Предварительный разговор внушал некоторый оптимизм: Маша не просто заинтересовалась, а вроде даже загорелась. Условились встретиться через неделю для обсуждения конкретных деталей. Когда я приехал в Фонтене-о-Роз, то сразу почувствовал, что обстановка изменилась. Вместо жены говорил Андрей Донатович, что само по себе было крайне необычным. Он заявил, что покупать машину на паях не хочет, что деньги у них есть и у самих и они готовы приобрести машину, но на одном условии: я беру на себя дела издательства «Синтаксис». Фактически я приглашался к ним на работу. Меня не покидало ощущение, что я вернулся на полгода назад и сижу на рю Лористон в квартире Максимова: все тот же зов боевой трубы, то же непереносимое требование занять место на баррикадах, правда, уже с противоположной стороны... По счастью, мне хватило ума просто отклонить оказанную честь, не вступая в словесные баталии, и тем самым не разрушить нормальных отношений. Правда, Мария Васильевна все-таки сделала пробный выстрел: «Мы должны быть уверены, Аллой, что вы не переметнетесь», – как будто я предлагал им не

простую коммерческую сделку, а создание некоего Священного Союза против Солженицына. Выстрел остался без ответа, но было ясно, что и эта попытка окончилась провалом. Оставалось лишь откланяться...

Второй заход был предпринят в августе–сентябре. Тогда в Париж приезжали сначала Мелик Агурский, а затем Дима Сегал. К тому времени я был уже на грани нервного срыва: время шло, Пайпс молчал, из чего следовало, что никакого движения в деле нет, а соответственно – никаких перспектив. Мои собственные попытки хоть как-то сдвинуть все с мертвой точки были безрезультатны. Я уже готов был продать или заложить нашу с Радой квартиру и купить сам наборную машину. Но на одном этом издательство не построишь: необходимо ее куда-то поставить – мы жили на четвертом этаже и поднять ее к нам домой не представлялось возможным. Помню, как в «Русской мысли» моего мастодонта втаскивали через окно редакционной квартиры на второй этаж с помощью подъемного крана – при том, что в доме была прекрасная широкая лестница. Значит, надо снимать квартиру на первом... Однако это было отнюдь не все: необходимо достать денег на типографские расходы хотя бы на первые две-три книги. Я крутил и так и сяк, высчитывая все до франка. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, если Флок согласится ждать оплаты месяца три-четыре, а Джордж поможет, купив полтиража, для начала необходимо было 70-75 тысяч долларов, меньше не выкрутиться. И тут появились ребята...

С Меликом мы познакомились в 76-м, когда, будучи в Париже, он пришел в ИМКУ предлагать для издания свой «Национал-большевизм». В то время он работал над Устряловым, защищая по этой теме докторскую диссертацию, и был готов переделать ее в более обширную книгу, основанную на архивном материале. Через пару лет книга действительно вышла у нас. С Димой я встретился полугодом позже, когда впервые приехал в Израиль. И тот и другой преподávalи в Иерусалимском университете. Отношения были прекрасные, историко-архивная направленность наших книг была обим близка, оба восторгались «Памятью»...

При Иерусалимском университете существовало небольшое издательство, часть продукции которого составляла россияка. Мы договорились о создании совместного проекта: парижское издательство «Atheneum» готовит оригинал-макеты своих и университетских рукописей, а иерусалимское – берет на себя печать и распространение готовых книг. Это давало возможность обойти проблему начального капитала – на мою долю оставалось лишь приобретение наборной машины и, естественно, дальнейшая работа.

Что касается «Atheneum'a», я создал его еще летом, используя тот самый чек, что предусмотрительно вложила в письмо об увольнении мадам Боже. После вашингтонского фиаско и слов Пайпса о том, что, возможно, придется искать другую формулу для продолжения дела, ничего иного просто не оставалось. Я отправился к Ширман, которая согласилась помочь в составлении бумаг, необходимых для открытия новой издательской фирмы. Любовь Абрамовна Ширман была очаровательной женщиной и довольно известным адвокатом, имела кабинет в очень respectable доме на рю Леон Делиб в шестнадцатом районе и, кроме основных своих обязанностей, вела дела многих эмигрантов. Не думаю, чтобы они приносили ей какой-либо доход, занималась она этим скорее из дружеских чувств, интереса к русскому Парижу и определенной привычки: вышла она из культурной еврейской семьи, активно участвовавшей в жизни эмигрантской общины первой волны, и эти семейные и дружеские связи сохраняла в продолжение десятилетий, распространив их со временем на новых переселенцев из России. Среди прочих, Ширман вела юридические дела семьи Набоковых и Зинаиды Алексеевны Шаховской.

На вполне анекдотическом происшествии, связанном с Набоковыми, мы и сошлись ближе, до того знакомство носило светский характер. Когда скончался Владимир Владимирович, я поместил в «Вестнике РХД» некролог, написанный Шаховской, и рассказ «Истребление тирана». Недели через две после выхода номера в свет я получил рассерженное письмо от Зинаиды Алексеевны и телефонный звонок от Ширман: Любовь Абрамовна просила зайти к ней. Оказалось, что Вера Евсеевна Набокова, крайне чувствительная к самой возможности проявления антисемитизма, заподозрила некий подвох в том, что рассказ Набокова был опубликован на страницах православного журнала, да еще в сопровождении статьи Шаховской, сожалевшей об арегиозности писателя. Любовь Абрамовна объяснила ей, что поместивший этот материал Владимир Аллой – сам еврей, хоть и крещеный, и об антисемитизме не может быть и речи. Вера Евсеевна свои претензии сняла, а впоследствии вместе с Дмитрием Владимировичем даже предоставляла мне для публикации набоковские письма. Что же до Ширман, то после той забавной истории я часто заходил к Любви Абрамовне, пользуясь ее советами и по имковским и по более поздним делам.

Чтобы закончить сюжет, – два слова о Шаховской. Зинаида Алексеевна тогда писала книгу «В поисках Набокова» и в качестве некролога дала в журнал практически не переработанный фрагмент рукописи, в котором было больше о ней самой, нежели о покойном.

Поскольку жанр некролога предполагал обратное, мне пришлось несколько подчистить текст, удалив значительную часть местоимений первого лица и некоторые пассажи. В письме Шаховская возмущалась тем, что ее, носителя нескольких культур, подвергают редакторской правке, и желала мне «освоить хотя бы французскую культуру». Правда, в дальнейшем она включила в книгу именно журнальный вариант текста, подарив мне экземпляр с надписью: «Надеюсь, вы откроете здесь нечто новое и для себя»... Отмечу, что подобные литературно-издательские *qui pro quo* принесли мне немало замечательных встреч, в частности, многолетние теплые отношения с Ниной Николаевной Берберовой и дящуюся по сей день дружбу с ее учеником – профессором Джоном Мальмстадом...

Создание «Atheneum'a» было лишь юридической формальностью, необходимой, конечно, но проблемы не решавшей. Это была всего только крыша, наполнить реальным содержанием административные бумаги могла лишь производственная деятельность, т. е. выпуск книг. Договор с Димой и Меликом мог, наконец, сдвинуть все с мертвой точки. Увы, после трехмесячных ожиданий, бесконечных перезвонов с Иерусалимом и писем этот проект так же, как и все остальные, пошел ко дну.

Осенью в Израиль отправился Володя Максимов. Среди прочего, ему устроили встречу с преподавателями и студентами Иерусалимского университета. И когда на коктейле после встречи ему задали вопрос о том, что же все-таки случилось с «Presse Libre», Володя не нашел ничего лучшего, как с видом осведомленного человека заявить, что в это дело он не суется сам и не советует лезть никому, ибо за конфликтом стоят такие силы, что можно с легкостью сломать себе шею... Разумеется, после столь авторитетных разъяснений никаких разговоров о совместном издательском деле с Иерусалимским университетом, да и вообще о реальной работе с Израилем – вести уже было нельзя.

Провал последнего проекта, который вот-вот должен был осуществиться, тем более провал из-за ничтожной случайности – нескольких фраз, сказанных главным редактором «Континента», да и сказанных-то просто так, походя, из желания показать свою причастность к «большой политике», – меня окончательно доконал. Узнав от Мелика о случившемся, я в буквальном смысле выпал в осадок: в ноябре у меня началась жесточайшая депрессия, длившаяся более полугода, а когда я наконец выбрался из нее, все было уже по-другому...

II

В России, по крайней мере в последние полвека, депрессию считали не столько болезнью, сколько неким моральным пороком, признаком душевной распушенности, невоспитанности воли, предпочитая трактовать ее не в медицинских, а в нравственных категориях. Собственно болезнь начиналась лишь с неврозов. И потому профессия психотерапевтов была в загоне, не говоря уже о психоаналитиках, каковых просто считали шарлатанами... Так объяснял мне еще в 81-м году нью-йоркский знакомый, бывший до эмиграции неплохим психиатром и вынужденный, по прибытии в Штаты, переучиваться, пройти квалификационные экзамены по своей профессии, а теперь работавший ординатором в Лонг-Айлендском госпитале. Валера рассказывал, как в конце 70-х, в самый отъездной пик, все нервные отделения нью-йоркских клиник были забиты выходцами из России, ломавшимися от колоссального стресса первых лет эмиграции. Подавляющее большинство его пациентов страдало именно депрессией. Теория Валеры была проста, или, вернее, он упрощал ее для наглядности, беседуя с полным профаном в сфере медицины, каким я всегда был, да и остался по сию пору. По его мнению, депрессия – это перегоревший предохранитель, выключающий определенные цепи человеческого организма. Она следует за серией более или менее серьезных нервных срывов, из которых каждый обычно выбирается своим способом: один – работой, другой – алкоголем, третий – еще каким-либо анестезирующим средством. Но все это лишь паллиативы: волевой принцип не лечит, а скорее усугубляет ситуацию, оттягивая короткое замыкание. Оно все равно происходит, когда накапливается избыточное напряжение в сети и волевые методы перестают давать эффект. С тою разницей, что при коротком замыкании может вылететь не только предохранитель, но и вся цепь. Именно поэтому американцы предпочитают постоянно общаться с психоаналитиком, это не блажь, а обычная профилактическая мера, такая же, как визиты к стоматологу... У эмигрантов такой привычки нет, нет языка общения, да и лишних денег тоже, а непрерывная изматывающая гонка, особенно в первые наиболее трудные годы, заставляет их все время держать себя в шенкелях. И потому даже при самом благоприятном стечении обстоятельств психика эмигранта неизбежно исковеркана, надломлена, и опасность депрессии подстерегает его в любое время...

В тот раз я беседовал с Валерой вовсе не о себе: консультация требовалась по поводу Алика Гинзбурга, который страшно пил, не находил себе места, мучился сам и мучил других, полагая, что вы-

сылка из России для него смертельна, а потому – уж коли жечь све-чу, так с двух концов...

Теперь, вспоминая лекцию, прочитанную в госпитальном парке, я пытался приложить ее к самому себе. Общаться я почти ни с кем не мог – любой контакт причинял буквально физическую боль. Так что к телефону старался не подходить, почти все время лежал на диване у себя в кабинете или бродил как лунатик по Венсенскому лесу, благо тот был рядом.

Правда, надо было еще и зарабатывать на жизнь. От пособия по безработице я отказался почти сразу. В мае, когда истекли три месяца, оплаченные «Русской мыслью», – я отправился в Агентство по занятости. Принявший меня инспектор, узнав мою профессию и прошлую должность – директор издательства, – покачал головой и заметил, что вряд ли я скоро смогу найти подобный пост. Это был вежливый эвфемизм: очевидно, что найти такой пост через Агентство просто невозможно. Поэтому инспектор дал мне рекламку, где рассказывалось о том, как государство помогает желающим основать свое дело, на случай, если...

По закону мне полагалось полное пособие по безработице в течение полутора лет. Ежемесячно необходимо было отмечаться в районном агентстве. Придя туда пару раз и простояв в длиннейшей очереди перед окошком, я испытал столь острое отвращение к этому месту и к самому себе, что на третий раз просто не явился. Впоследствии система была изменена: безработные должны теперь отправлять заполненные бумаги по почте, это не так унижительно. Но в 84-м году личная явка еще была обязательна: если вы не приходили, компьютер автоматически вычеркивал вас из списка – со всеми неизбежными в таком случае последствиями: вы лишались пособия, бесплатного социального страхования и прочих благ – одним словом, окончательно выпадали из социума...

Самой безработицы я не слишком боялся: после десятилетия жизни на Западе при определенной активности становишься в некотором смысле непотопляемым, т. е. в любой ситуации понимаешь, что надо делать, где и как можно заработать на жизнь.

Тем более, что последние четверть века я получал фиксированную заработную плату не более четырех с небольшим лет: последние два года в ИМКЕ и недолгую жизнь в «Русской мысли». Все остальное время был «вольным стрелком». В это привычное состояние я и вернулся: продолжал преподавать в Институте политических наук и работать парижским корреспондентом Би-Би-Си, начал сотрудничать на Французском международном радио и писал бесчисленные статьи в «Новое русское слово», где Яков Моисеевич Цви-

бак (он же Андрей Седых) предложил мне вести особую рубрику «Письма из Парижа». До того сотрудничество в нью-йоркской газете было лишь эпизодическим, но Седых относился ко мне хорошо, материалы для заполнения ежедневных восьми полос нужны были позарез, и постоянные корреспонденции из Европы пришлось как нельзя более кстати. Яков Моисеевич настолько расщедрился, что даже дал мне высшую ставку за статью, присовокупив в качестве поощрения, что платит столько лишь Некрасову... В общем получалось ничуть не меньше, чем в «*Presse Libre*», так что хотя бы с этой стороны можно было не паниковать. К тому же Рада по-прежнему работала в ИМКЕ, Никита уволил ее лишь через два года, откровенно заявив, что «новые акционеры, и в частности Наталия Дмитриевна Солженицына, не понимают, как можно продолжать сотрудничество с женой конкурента». Но об этом несколько позже...

И все-таки материальные вопросы были отнюдь не главными. Мне никогда не удавалось просто жить частной жизнью, зарабатывая на хлеб насущный и деля время между службой и досугом. Повидимому, я относился к той категории людей, которую в России называют фанатиками дела, а на Западе – «workoholics» и которые из дилеммы «работать, чтобы жить, или жить, чтобы работать» – не задумываясь выбирают второе. Сегодня я вряд ли мог бы с уверенностью утверждать правильность подобного выбора. Но тогда...

Как-то раз, еще в имковские времена, отец Александр Шмеман после обсуждения издательских дел лукаво на меня посмотрел и вдруг спросил: «А знаете, Володя, кто первым окажется в аду? – и сам же, посмеиваясь, ответил: – Активисты»... Не знаю про ад, но в том, что касается моей характеристики, он безусловно был прав. На такое определение я наталкивался несколько раз, искренне удивляясь, почему активность в работе может восприниматься как отрицательное или, в лучшем случае, неудобное качество. Помню, как поражала меня способность Никиты заниматься верховой ездой и игрой в теннис в то самое время, когда ИМКА была на грани банкротства и мне казалось естественным вкалывать по двадцать четыре часа. А Никита спокойно отвечал, что я слишком драматизирую ситуацию, и чрезмерная активность еще никогда не приводила к решению проблем. То же самое повторилось, когда мы стали выпускать не по восемь-десять книг в год, как раньше, а по восемнадцать-двадцать: несмотря на то, что издательство наконец вылезало из финансовой дыры, Никита вновь заметил, что я слишком быстро гоню коней и что столь напряженная деятельность мешает жизненному уюту... «Героем труда» называла меня в начале нашего знакомства Нина Николаевна Берберова, что даже вызывало во мне некоторую

обиду, по-видимому, из-за нелюбви к Брюсову... Как-то Саша Тимофеев, мой приятель еще с римских времен, один из старейших и влиятельных посевовцев, рассказал, что когда умер Горачек и в «Посеве» стоял вопрос о выборе нового директора издательства, кем-то была предложена и моя кандидатура. Отверг ее Евгений Романович Романов, в качестве главного довода опять же сославшись на мою «гиперактивность» (личный момент в его позиции Саша исключал, полагая, что «Романыч» относился ко мне хорошо).

Вероятно, иначе вести себя я просто не умел. Конечно, все это справедливо лишь с одной, но крайне важной оговоркой: в продолжение этих десяти лет мне колоссально везло – я занимался делом, которое не просто любил, но ощущал судьбой, смыслом жизни и, вполне естественно, уходил в него целиком. Все остальное воспринималось как неизбежные издержки: плата за любовь.

Сегодня такого дела больше не стало.

Помню, как в школе на уроках физкультуры мы совершали какие-то марафонские забеги по аллеям находившегося рядом Соловьевского садика. Где-то на четвертом или пятом круге приходило второе дыхание, бег становился автоматическим, и казалось, что ты можешь двигаться часами. Как-то раз во время такого автоматического бега я влетел в фонарный столб, упал, на какое-то мгновение, видимо, потерял сознание, а придя в себя, долгое время не мог подняться и тупо сидел на земле под фонарем: все тело сделалось ватным, ноги не слушались, в голове гудела пустота, из глаз текли слезы...

Нечто подобное испытывал я теперь. Лежа зубами к стенке, я, словно киноленту на монтажном столе, бесконечно прокручивал последние десять лет жизни, пытаюсь осознать, что же произошло, какой органический дефект, сидящий, по-видимому, во мне самом, неизменно приводил к развалу то, что я строил, к разрыву с теми, кто мне дорог, к потере того, что я любил, в чем видел смысл и оправдание своих действий. Ответа, увы, не находилось. Я лежал на диване и тупо глядел в пространство. Со стены, где были приколоты фотографии, грустно улыбались ребята – Витька и Яков, Жанночка и Валерка, Наташка и Кузя, Сенька и Толя...

* * *

Это были отъездные фотографии, прощальные снимки, сделанные в аэропорту перед тем, как мы ушли за стеклянные двери таможни, 29 октября 1975 года. В то утро в Ленинграде впервые пошел снег, он падал обильно и ровно, и последний кадр, навсегда

врезавшийся мне в память, был связан именно с ним: в белых хлопьях мы с Радой и Юркой Щеценым поднимаемся с летного поля по трапу в самолет, а на эстакаде у здания аэровокзала засыпанная снегом толпа провожающих нас друзей машет руками...

Отъезд решился как-то сразу и неожиданно. В те годы вопрос «ехать – не ехать» обсуждался в каждом интеллигентном доме, а новенький Пулковский аэропорт сделался столь же привычным и обжитым, как кофейня на Малой Садовой или курилка в Публичной библиотеке. Проводы происходили постоянно, и помню, как таможенная дама, которой я, по-видимому, смертельно намозолил глаза, как-то раз бросила мне со злостью: «Когда же вы сами-то наконец уедете?» Жизнь между Боковым и Набоковым, – шутили отъезжанты: генерал Боков возглавлял тогда ленинградский ОВИР, ардисовские книжки Набокова читал весь город. Знакомые все больше делились на ожидающих, отъезжающих и отказников. Последние пользовались особым авторитетом и статусом борцов с режимом. Журнал «Евреи в СССР» переходил из рук в руки, наряду с «Хроникой» и другим «горячим» самиздатом. Письма из Иерусалима или Нью-Йорка читались вслух при большом стечении людей, разумеется, «своих». Правилom хорошего тона считалось иметь на руках вызов из Израиля, каковой служил страховым полисом – на случай, если власти начнут слишком уж прижимать...

При постоянных разговорах об эмиграции ехать мы с Радой в общем не собирались, разделяя известное утверждение Эткинда, что шепот здесь важнее крика там, и галичевские слова: «Уезжайте, а я останусь: кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых беречь покой». Правда, и Ефим Григорьевич, и Александр Аркадьевич уже находились на Западе... Но в целом все это было немножко литературой, игрой. Об отъезде мы думали и рассуждали скорее отвлеченно, как о чем-то происходящем с другими, очень близкими, но все же другими людьми.

Перелом произошел в декабре 74-го, перед судом над Володей Марамзиным. Его взяли, кажется, в августе, когда он вернулся из Москвы, чтобы зарегистрировать брак с Татьяной перед отъездом на Запад. В Москву он отправлялся из нашей квартиры. Мы жили тогда в коммуналке на Гончарной, 13, проходной двор выводил к платформам Московского вокзала, и Володя, за которым уже давно ходили топтуны, воспользовался нашей комнатой, чтобы уйти от слежки. Ушел он, правда, не надолго: по возвращении его ждали. Тогда-то я впервые ощутил реальность собственного отъезда и неразрешимость личной дилеммы, ранее воспринимавшейся скорее как логическая задача. Помню, как Яша Виньковецкий убеждал ме-

ня в неверности самой постановки вопроса: ехать – не ехать. Он предлагал другую оппозицию: куда или откуда. Если важен вопрос «куда» – ехать вообще не имеет смысла. Если же вопрос «откуда», то он решается однозначно: куда угодно, лишь бы можно было дышать – в России это становилось все менее реально, а режим казался вечным. Милый, несчастный Яков – через десяток лет он покончит с собой в Хьюстоне, штат Техас, где дышать, по-видимому, станет еще менее возможно. Но это будет еще не скоро. Тогда же, в 74-м, его доводы казались довольно убедительными, особенно на фоне происходящего. Все вокруг двигались, ощущение незаполнимых пустот росло неимоверно, создавая иллюзию того, что абсолютно весь круг общения и знакомств, «свой круг» – перемещается на Запад и переместится неизбежно, вопрос лишь во времени. Любимой темой застольных разговоров становился подсчет, кого среди нас уже нет по сравнению с прошлым годом, или рассказы об ошеломляющих успехах новых эмигрантов. Ко всему прочему действовал и «эффект воронки»: начиная интересоваться чем-либо, поневоле втягиваешься в проблему все глубже, а ее размеры и значимость приобретают все более гипертрофированный характер...

Как бы то ни было, в декабре я попросил приятеля-американца Виктора Родвина сделать нам с Радой израильский вызов, а потом написал Тэду – двоюродному брату со стороны матери, нью-йоркскому врачу-онкологу. Один из маминых братьев уехал из России еще в начале двадцатых и осел в Америке. Три его сына жили там и сейчас. Никаких связей ни в тридцатые, ни после войны семьи не поддерживали. Но в 65-м году братья Тэд и Майкл приезжали в Ленинград в поисках родственников и встречались с нашими. Я служил тогда в армии, никого из них не видел, но впоследствии получал иногда от братьев приветы через одну из общих знакомых – американку Лизу де Коско, изучавшую русский язык и часто бывавшую в Питере, вначале студенткой-слависткой, затем стажеркой и руководительницей студенческих групп. Тэду я сообщил, что, по всей видимости, скоро покину страну...

В январе состоялся суд над Марамзиным: ему дали условный срок и освободили прямо в зале, а кураторы из Большого дома были столь внимательны, что предложили не отказываться от идеи отъезда и даже обещали поддержку и содействие в преодолении неизбежных бюрократических формальностей. В мае он улетел с Татьяной в Вену... В том же мае нам позвонил еще один американец – Джерри Пэнхарст, который привез письмо от Виктора, о чем и сообщил с уморительными «мерами предосторожности». Это был вызов от нашей «израильской тетки».

Далее события развивались по известной схеме (схему эту в виде «Памятки для отъезжающих» раздавали активисты из отказников, постоянно дежурившие на втором этаже дома на улице Желябова перед входной дверью в ОВИР): уход с работы по собственному желанию, дабы избежать «пятиминутки ненависти» – неизбежной в те годы процедуры ритуального оплевывания сослуживцами «рenegата» перед выдачей ему характеристики, которая была необходима для представления документов; сбор бесчисленных бумажек, также указанных в «памятке»; визит к инспектору ОВИРа – один, второй, третий (каждый раз вас заворачивали за отсутствием или неправильным оформлением бумаг)... Затем – ожидание. Оно могло длиться сколь угодно долго, это была передышка, своеобразный «глаз циклона», где вы отсиживались до вердикта властей, нарушавшего хрупкое равновесие. В случае запрета на выезд вы становились «отказником» с автоматическими «оргвыводами» системы: визитами участкового с требованием устроиться на службу при полном запрете на работу по специальности; вызовами к районному оперу или на Литейный, если вы проявляли излишнюю, с точки зрения властей, активность; наконец, разнообразными «мерами физического воздействия», если не помогали душевные разговоры. В том случае, когда разрешение давалось, вы попадали в иную категорию – уже не враг, а просто отрезанный ломоть, обращение «товарищ» или «гражданин» исчезало, вы становились «лицом без гражданства», и игра шла по другим правилам: виза была действительна в продолжение месяца-двух – начиналась последняя гонка: перевод и легализация документов, отправка наиболее важных бумаг через иностранных дипломатов и стажеров, посещение голландского консульства в Москве, представлявшего интересы Израиля, приобретение билетов, арьергардные стычки с местными чиновниками и, конечно, – прощания, прощания, прощания...

Большинства унижений, сопряженных с «финишной» прямой, мы с Радой, к счастью, избежали. Документы прошли через ОВИР на редкость быстро: после подачи мы ждали ответа всего три месяца и получили разрешение на выезд. Об этом сообщал уже не инспектор, а лично один из заместителей Бокова. В нашем случае это был Суворов. Вся сцена была предельно нелепой: подполковник КГБ напутствует навсегда выезжающих из страны людей, уже не граждан, уже не подчиненных ни ему, ни системе, – так, как если бы они собирались в обычную туристическую поездку... Неприятностей с таможей я не опасался: единственное, что мы везли, были книги. Что же до кассет с песнями бардов, то, памятуя происшедшее с Володиной Фрумкиным, у которого на таможе просто стерли записи, – я

переслал всю коллекцию заранее с Виктором и Джерри. Они же перевезли и нашу копию самиздатского собрания стихов Бродского, за подготовку которого был арестован Марамзин, а позже осужден Михаил Хейфец. Да еще папку с подлинниками документов, некоторыми фотографиями и несколькими черновиками рукописей Бродского мы передали голландскому консулу (последнее оказалось наименее удачной затеей, и папку эту в совершенно расхристанном виде мы получили в израильском посольстве в Париже лишь через три года). Вот, собственно, и все. Вещей у нас не было: решая, что взять с собой, мы остановились лишь на том, без чего не обойтись: книги и магнитофонные записи. Помню, как в самый день отъезда, брезгливо копаясь в наших чемоданах и оглядывая сложенные в них пожитки, таможенный чин глубокомысленно изрек: «Кто здесь ничего не нажил, тот и там не разбогатеет». Он был, вероятно, прав, если только считать это целью отъезда...

Гораздо мучительнее оказались прощания. Легко было расставаться лишь с теми, кто собирался ехать: традиционное «В следующем году в Иерусалиме» звучало как обещание встречи – земля кругла и воспринималась как нечто единое за пределами «Родной шестой», потому и расстояние от Тель-Авива до Сан-Франциско, Нью-Йорка или Парижа казалось несравнимо меньшим, нежели от Москвы до Ленинграда, а братство «Новых Робинзонов» – почти нерушимым (наивность такого взгляда обнаружилась совсем скоро – уже в Риме).

С теми, кто уезжать не собирался, расставание было совсем иным: рвалось по живому и, вероятно, навсегда. Только суматоха и безумие последних недель притупляли ощущение утраты и легкий привкус вины перед остающимися. Этот привкус оказался чрезвычайно стойким, и отбить его не смогли ни логические рассуждения о свободе выбора и личной ответственности за этот выбор, ни лихорадочные действия по налаживанию материальной помощи «оттуда» – «сюда», ни даже многолетняя совместная работа. Он мог слабеть в обычное время, мог становиться нестерпимым, когда что-нибудь случалось с оставшимися друзьями и близкими, но полностью не исчезал никогда. Не исчез он и сегодня, после десятка лет «второй жизни» в России, – сколь странным и даже нелепым ни покажется такое утверждение...

Всю предотъездную неделю двери нашей квартиры не закрывались – друзья шли постоянно, а в последний день пришлось даже вынести часть мебели, оставив лишь столы, стулья и рояль. Это сильно расшатывало представление о том, что «свой круг» переместился на Запад... Кажется, Яше Назарову пришла в голову идея про-

щальных фотографий: мы с Радой сидели за столом, а справа и слева менялись люди. Целый ящик таких снимков сопровождал нас все последующие годы. Он и сегодня стоит в парижской квартире.

Последние дни я и сам бегал по знакомым прощаться и записывать бесчисленные поручения на Запад. Придя к Эре Коробовой, я налетел на Наташу Горбаневскую – она, в свою очередь, тоже приехала прощаться с Ленинградом: до 5-го декабря, дня Советской Конституции, ей предложено было покинуть страну. Наталья, одна из очень немногих, твердо знала не только «откуда», но и «куда» едет: в Париже ждал Максимов и место секретаря редакции «Континента». В тот последний ее приезд и состоялся разговор об издании «Памяти» на Западе. Впрочем, я в нем участия не принимал: в это время мы были уже в Вене...

* * *

Самолет коснулся посадочной полосы, кто-то произнес: «Лица еврейской национальности без гражданства поздравляют с благополучным прибытием в свободную Австрию». Шутка... Народ заплодировал. Основную массу пассажиров составляли именно «лица без гражданства». Прилетели мы на день позже срока. В те годы маршрут следования был определен очень жестко: «Аэрофлотом» до Будапешта, там почти сразу пересадка на немецкий боинг – и до Вены. Наш рейс оказался нестандартным, словно предвосхищая нестандартность всей дальнейшей эмигрантской жизни: в Будапеште был снегопад, аэропорт закрыли, и наш ТУ-134 отправили в Варшаву. Там мы застряли на сутки. Пассажиров немедленно разделили: полноценные граждане – обладатели паспортов – отправились в гостиницу. «Лица без гражданства» были отведены на балкон второго этажа международного зала. Спуститься вниз было невозможно: на последней ступеньке лестницы занял место польский пограничник с автоматом. Его фигура в куцей шинели и шапке-ушанке вполне точно определяла границы нашей свободы. «Нормальные» пассажиры внизу с удивлением посматривали на нашу странную группу. Ночь мы провели в креслах на этом балконе, лишь нескольких женщин с младенцами поселили в аэропортовской гостинице. Наутро пограничника сняли, видимо, дикость ситуации стала очевидна даже полякам. Долго велись какие-то переговоры между представителями «Аэрофлота» и местными властями, наконец, уже к вечеру, нас посадили в польский самолет и отправили в Австрию.

Машина подрулила к стоянке, нас выгрузили на поле и под усиленной охраной полицейских с автоматами повели к зданию аэро-

порта – не в главные, а в какие-то боковые двери. Около них стоял смешной, очень домашнего вида человек лет шестидесяти с длинными седыми волосами, тонкой полоской усиков над верхней губой, в теплой куртке, с кипой бумаг под мышкой. «Дети, не бойтесь, ничего дурного с вами больше не случится. Сейчас мы пойдем получать багаж, а затем отправимся в гостиницу», – человек говорил с сильным польско-еврейским акцентом, и это усиливало ощущение домашности происходящего. Устроили переключку, после которой всю группу – нас было человек тридцать пять – отвели в багажный зал, затем к автобусам. Было около восьми вечера, совершенно темно, полное безлюдье, изморозь и холодный пронизывающий туман. В этом молоке мы часа полтора какими-то закоулками добирались до «отеля».

В те годы система венской «пересылки» состояла из трех гостиниц («Беттина», «Цум Тюркен» и еще одна, названия которой я уже не помню), принадлежавших некой мадам Беттине и превращенных в общежития для беженцев. Впоследствии структура была изменена, и когда в конце семидесятых – начале восьмидесятых я неоднократно приезжал в Вену «вызывать» друзей и знакомых, всех эмигрантов уже селили в едином центре для беженцев Международного Красного Креста, сильно напоминавшем родную «зону»: вокруг колючая проволока, на каждом углу полицейские с автоматами, вход в здание запрещен... В середине семидесятых эмиграция только набирала силу, палестинцы еще не осознали ее угрозы для себя и не начали шантажировать австрийские власти, а потому и порядки были гораздо либеральней: мы пользовались полной свободой, а наша «воронья слободка» при всех прелестях общаги выглядела много симпатичней и уютней, нежели грязно-кирпичное тюремного вида здание Красного Креста.

В Вене народ не задерживался. Здесь происходила лишь сортировка эмигрантов и их багажа: отправлявшиеся в Израиль почти сразу покидали Австрию; тех же, кто собирался в другие страны (в те годы беженцев из Советского Союза принимали Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия), перебрасывали в Рим, где уже и шло собственно оформление документов, поиски гарантов на местах и прочее. Эта процедура длилась месяцами, а в некоторых случаях (как у Фимы Славинского) годами, и жизнь в Италии приобретала для эмигрантов какие-то черты оседлости – с наймом жилья, налаживанием элементарного быта, созданием более или менее постоянного круга общения... Венский же этап все стремились проскочить как можно быстрее. Мы с Радой не спешили, да и обстоятельства сложились так, что мы прожили в Австрии больше месяца, о чем совершенно не жалели.

На следующий по приезде день эмигрантам предлагалось с утра прибыть в Еврейское агентство, где их распределяли между «Сохнотом» – для едущих в Израиль, и «Хиасом» – для тех, минуя «родину предков», отправлялся за океан. Последних называли «прямыми», и число их неуклонно росло. В нашей группе в Израиль ехало, кажется, всего две или три семьи. Мотивацию своего решения необходимо было изложить чиновнику «Сохнута». Процедура была вполне формальной, однако в нашем случае вышло по-иному. Кроме сохнотовца, в кабинете оказался еще один человек, поначалу участия в разговоре не принимавший. Наш довод считался «железобетонным»: наличие близких родственников в Штатах и отсутствие таковых в Израиле. Однако во время беседы черт дернул то ли меня, то ли Раду упомянуть имена нескольких израильских знакомых, в том числе Борю Рубинштейна. И здесь в разговор вмешался молчаливый интеллигентного вида господин, сидевший в противоположном конце кабинета: «Так что же мне сказать Боре по возвращении? Я увижу его через три дня». – Вопрос был настолько неожиданным, что беседа сломалась, сразу выйдя в неформальное русло, от чего нас пуще огня предупреждали «опытные прямые». В результате сорок минут нам рассказывали, как нужны в Израиле именно такие люди, как мы, и насколько разочарованы наши друзья, видя, что советские евреи, особенно интеллигенция, предпочитают сытую жизнь в Штатах работе на «исторической родине»... Я лепетал что-то жалкое о моральных обязательствах перед оставшимися в России, о желании заниматься русской историей и культурой... В конце концов мы «устояли», но, выходя из кабинета, я испытывал на редкость гнусное чувство – словно совершил некую подлость или предательство израильских друзей. Впоследствии мне часто доводилось присутствовать на подобных коллективных беседах или просто общаться со знакомыми, приезжавшими от израильского министерства абсорбции с такою же пропагандной целью, правда, угрызений совести я больше не испытывал.

После «Сохнута» мы отправились к хиасовцам, где нас ожидал новый сюрприз: оказалось, что в моем деле лежало прямое приглашение из Нью-Йорка от Тэда, так что мы могли вообще не ехать в Рим, а получить американскую визу здесь же, в Вене, что «Хиас» брался сделать довольно быстро. Нам дали заполнить анкеты. В графе «вероисповедание» я отметил: «православный». Принимавший нас мистер Томпсон, чрезвычайно элегантный господин в белоснежной сорочке с бабочкой и с безукоризненным пробором седеющих волос, дойдя до этой записи, поперхнулся и почти закричал: «Зачем? Зачем вы мне это сообщаете?» – ощущение было такое, что ему на-

несено личное оскорбление. Я попытался объяснить, что не хотел бы начинать со лжи свои отношения с западными властями, но он ничего не желал слушать. «Вы не должны были этого делать, ни в коем случае не должны», – он явно был огорчен гораздо больше нас с Радой, и объяснил, что теперь «Хиас» не может взять нас под свое покровительство, поскольку в его функции не входит поддержка инверцев, а посему нам придется обращаться в какую-либо иную из находящихся в Вене гуманитарных организаций – скорее всего, в Международный комитет по беженцам или в Толстовский фонд. Он чрезвычайно сожалеет о таком повороте дела, наш случай был на редкость простым и удачным, но теперь... Мистер Томпсон дал нам визитные карточки упомянутых организаций и обещал лично туда позвонить. На этом беседа закончилась, мы поблагодарили и откланялись, навсегда расставшись с ним и с еврейскими благотворительными фондами...

В «Цум Тюркене» моя эскапада вызвала единодушное осуждение: выбиваться из стада, да еще с самого начала путешествия, было признано, мягко говоря, неосторожным. Нас откровенно жалели. Сколько раз впоследствии мне приходилось становиться объектом подобной жалости, и сколько раз действия, совершенно неразумные с точки зрения обычной житейской логики, определяли мою судьбу, приводя к непредсказуемым результатам...

История с «Хиасом» подарила мне многолетнее знакомство с замечательным человеком, тонким, интеллигентным, добросердечным, чьей помощи обязано нынешнее благополучие по крайней мере полутора десятков русских французов, американцев, канадцев – говорю лишь о тех, кого знаю лично и кого в разные годы приводил к нему в Париже и Вене...

На карточке Международного комитета по беженцам стояло: «Doctor Faust». Очевидно, что после такого имени никаких разговоров о Толстовском фонде быть уже не могло. На следующее утро мы с Радой отправились по указанному адресу, где минут через сорок ожидания и были приняты самим «магом и волшебником». Марсель Фауст возглавлял одновременно венское и парижское бюро Комитета по беженцам при Организации Объединенных Наций. С героем Марлоу и Гете его роднила разве что фамилия, да еще легкий и, по видимому, неизбежный скептицизм человека, умудренного возрастом и многолетним опытом общения с людьми в предельно нестандартных ситуациях. Был он бельгийцем по происхождению, и мягкое фламандское «l» его английского языка, равно как и грустная извиняющаяся улыбка – усиливали впечатление какой-то застенчивости и хрупкости, исходившее от всего его облика. Невысокого

роста, сухощавый, одетый совершенно «по-домашнему» – в свитере и твидовом пиджаке поверх него, в полукруглых очках, сидевших на кончике носа, со спокойным умным взглядом, тихим голосом и тихим смехом, с неизменной сигаретой в пальцах маленькой руки, – он удивительно отличался от всех виданных нами прежде западных чиновников и подходил больше к петербургской гостининой или даже московской кухне, чем к международному офису. Уже одно это располагало к нормальному человеческому разговору. Рассказ о причинах нашего визита и об истории с анкетами его позабавил, а решение отказаться от прямого оформления американской визы в Вене – немного удивило, однако наш довод: желание хоть немного пожить в Италии, неизвестно, когда представится подобный случай, – он признал вполне разумным. (Решили мы это с Радой накануне, шатаясь по городу после столь «неудачного» посещения «Хиаса»). Фауст расспросил нас о жизни в России, о перипетиях отъезда и дальнейших планах, сказал, что берет нас к себе, и отправил к секретарше заполнять очередную кучу бумаг. Через пару часов мы покинули Комитет, обретая вполне легальный статус – беженцев в поисках страны проживания, находящихся под защитой ООН.

* * *

Описывать впечатления от первого западного города, увиденного нами в жизни, да еще если этот город – Вена, крайне сложно. В основном они касались бытовых сторон. Конечно, мы сразу помчались в Национальную галерею и в художественный музей, где совершенно ошалели от Кранаха, почти отсутствующего в Эрмитаже, от Босха и раннеитальянской живописи. Конечно, мы облазали все венские достопримечательности – от Святого Штефана до Гринцига и от голубого Дуная до Оперы и Венского леса...

Но главным было все же не это, а именно быт: сам город, его архитектура, его воздух, его повседневный пульс, его цветовая гамма, столь резко отличающаяся от привычной грязноватой однотонности российских городов. Целыми днями шатался я по Вене, упиваясь ее красотой и удивительно спокойным ритмом жизни, при том, что это была нормальная будничная жизнь старой европейской столицы: бесконечные автомобильные пробки на Грабене, толпы людей на центральных улицах, постоянно ремонтируемые дороги в районе Ринга. Но при этом поражала чистота и полное отсутствие суетливости, столь характерной для питерской или московской толпы. Потом наша австрийская знакомая скажет, что это все черты «мертвого города», каковым для нее и является Вена. Тогда я даже не понял, о

чем она говорит, и лишь много лет спустя, в спокойной, сытой и чистой французской провинции до меня дошел смысл ее слов. Но в те первые недели западной жизни Вена казалась удивительно живой, полнокровной и уверенной в себе – что, по-видимому, и создавало ощущение несуетности. Суеты не было даже на рынке. Вообще «наш-маркт», находившийся неподалеку от Еврейского агентства и ставший местом паломничества новоприбывших, потрясал воображение советского человека неслыханным изобилием продуктов и почти хирургической чистотой – не только каждый фрукт или овощ, названия которых по большей части мы просто не знали, но и каждая продаваемая картофелина была завернута в отдельную гофрированную бумажку – белую или голубую... Главные темы разговоров в «Цум Тюркене», помимо оформления документов, сроков отъезда в Рим и обменного курса, касались именно изобилия и чистоты. Ошалевший от всего этого народ ходил на рынок и в супермаркеты, как в музеи, – в прямом смысле, поскольку купить что-либо на наши куцые деньги было крайне трудно...

Почти все пособие я тратил на кофе: погода стояла ужасная – мокрый с утренней изморозью пронизывающий ноябрь, на мне был единственный и первый в жизни джинсовый костюм и плащ, полученный месяца за два до отъезда в «гуманитарной» посылке, пришедшей с Запада, почему-то от А.Синявского (полагаю, что Андрей Донатович об этом не подозревал, – использование любых имен от правителей считалось правилом, и столь необычный обратный адрес был, вероятно, проделкой какого-либо шутника из чиновников, занимавшихся помощью). Окончательно посинев от холода, я заходил в какое-нибудь из бесчисленных венских кафе, просил «айне-кляйне-шварце-кофе», брал подшивку «International Herald Tribune» и полчаса, а то и больше грелся за столиком, потягивая горьковатый напиток и просматривая единственную газету, которую мог читать (немецкого я не знал). Потом снова шатался по городу – до следующего захода в кафе. Другим местом, где можно было согреться, являлись книжные магазины. Я обшаривал полки с литературой на английском и русском языках, просматривая десятки книг и радуясь, что никто мною не интересуется и не ставит в безвыходное положение, поскольку объясниться по-немецки я бы не смог. Эта ненавязчивость продавцов и официантов была столь же непривычна и поражала не меньше продуктового изобилия и окружающей чистоты.

Несмотря ни на какой холод, город был поистине сказочен, особенно сильным ощущение это сделалось к концу месяца, когда венцы стали готовиться к Рождеству. Сказочным хотел казаться и

Зальцбург, куда нам с Радой тоже удалось выбраться, но он был совсем иным: каким-то парфюмерно-кондитерским, приторно сладким – этаким рай для туриста в городе Моцарта. Вена же оставалась собой, употребляя праздничную косметику в очень умеренных дозах: расцветали лишь витрины магазинов, да на площади перед Святым Штефаном выросла громадная елка... Кроме бесконечных блужданий по улицам, было у нас и несколько чудных прогулок со знатоками. «Настоящую» Вену показала нам молодая пара австрийских филологов, адрес которых дали мне друзья еще в Питере, и Лева Квачевский, к которому мы с Радой наведались по поручению Сени Рогинского. Лева жил здесь уже несколько лет, занимался химией и шахматами, растил дочерей и, по его словам, сильно отошел от русских дел. Тем не менее, он постоянно общался с новоприбывшими, поскольку был едва не единственным крупным правозащитником, осевшим в Вене, и его адрес имелся у массы отъезжантов. В маленькой квартирке Квачевских мы познакомились с Ирой и Вадиком Делоне, только что прилетевшими из Москвы и ожидавшими французской визы. От Левы же узнал я телефон Эткинды, приехавшего в Вену на какую-то конференцию. Он остановился с Екатериной Федоровной в гостинице квартирного типа. Именно в этой квартире Ефим Григорьевич и поколебал мои американские планы, заявив, что ехать в Штаты – безумие, что там я задохнусь, и вообще пора создавать большой центр и университет в Париже, где издавна существует русская традиция, а сегодня скапливается все больше людей, нужных для такого дела...

Эмигранты первой волны, с коими нам довелось познакомиться в Вене, держались иного мнения: по-видимому, перипетии десятилетий европейской истории, невольными участниками которой им привелось стать, сильно подточили любовь к Старому Свету. Пожилой инженер Дерюгин убеждал нас в том, что только Америка дает возможность полноценной жизни и работы, нормальных человеческих условий, что лишь там можно реализовать себя, в Европе же все будет гораздо труднее. Не столь категорично, но также склонялись к американскому варианту и родители Маши Разумовской, милойшей сорокалетней женщины, русистки, которая работала в венской Публичной библиотеке и активно общалась с новоприбывшими, с удивлением наблюдая абсолютно незнакомое ей племя советских интеллигентов. До той поры она имела дело в основном с чешской эмиграцией, заполнившей Вену после событий 68-го года. С Машей, сотрудничавшей в «Wiener Slavistischer Almanach», мы эпизодически общались и в дальнейшем, когда я уже осел в Париже и занимался редакторско-издательскими делами. Что же до ее матери,

с которой Маша познакомила нас, пригласив на «семейный обед», то она стала первой моей западной «любовью». В эту старуху просто нельзя было не влюбиться, до того она была очаровательна – спокойна, естественна, открыта, дружелюбна и при этом удивительно жива и остроумна, а ее рассказы о довоенной русской Праге, о немецкой, а затем и советской оккупации были столь колоритны, что я помню их и через четверть века...

Как ни затягивали мы отъезд, в начале декабря документы были оформлены, и нам все же пришлось покинуть Вену. Погрузив на Хаупт-Банхофф свои пожитки в поезд, идущий на Рим, мы с Радой всю ночь заворожено смотрели на снежные Альпы, а утром проснулись от шума и криков в коридоре, от хлопанья дверей, от мелодичной речи новых пассажиров, а главное – от ослепительного солнца, заливавшего купе и все пространство за окном: мы ехали по Италии...

III

– Вы – Аллой?..

Я стоял в коридоре «движенческого» дома на рю Оливье де Серр, рассеянно изучая расписание церковных служб и всевозможные объявления о поисках жилья и работы, деятельности кружков, занятиях русской школы, записи детей в летний лагерь... Здание было неказистое, маленькое, двухэтажное, зажатое обычными доходными домами. Контора РСХД находилась наверху, в нее попадали по узкой винтовой лестнице. На первом этаже располагался небольшой зал с роялем и портретами отцов-основателей по стенам, за ним – крохотная, почти домовая по размерам, Введенская церковь да по другую сторону коридорчика несколько служебных помещений, где хранились церковная одежда и всевозможный движенческий реквизит. Перед домом маленький дворик и флигель – со стороны улицы там помещалось бюро Кирилла Ельчанинова, со стороны двора – собирались кружки и проходили занятия русской четверговой школы для эмигрантских детей. Четверговой (вместо воскресной) она называлась лишь по местной традиции – у французских школьников неделя разбита выходным, который раньше приходился на четверг.

В Русское студенческое христианское движение я попал буквально через несколько дней по приезде в Париж. Жил я тогда в крохотной арабской гостинице на рю Леон Жост, куда устроил меня Дима Рыбаков. ОТЕЛЬЧИК находился всего в нескольких кварталах от «Русской мысли». В первый же день моего появления в Париже после неудачного похода к Максиму мы отправились с Володей Марам-

зиным в газету, где были благосклонно приняты Шаховской, которая в конце аудиенции пригласила меня к продолжению сотрудничества и выплатила причитающийся гонорар, после чего мы откланялись и зашли к журналистам. В их числе был и Дима, взявший на себя труд пристроить только что прибывшего соотечественника в известном ему отеле. Гостиничка состояла всего из десятка комнат на втором этаже да стойки администратора при входе. В маленьком узком номере, напоминавшем школьный пенал, помимо кровати обнаружались шкаф, столик и раковина, окно выходило в глухой колодец, отличавшийся от ленинградских разве тем, что был светлее – стены большинства старых парижских домов выкрашены в белый цвет. Достоинств у своего нового жилища я насчитал лишь одно, зато неоспоримое: цена – 30 франков в день. Жара в то лето в Париже стояла совершенно африканская, и самую душную часть дня я проводил в раковине, сложившись вчетверо и поливая себя водой из-под крана. Остальное время бродил по городу или бежал по людям, пытаюсь завести хоть какие-то связи и понять, чем заниматься дальше.

Среди телефонов, данных при первом свидании Марамзиным, были номера Кирилла Ельчанинова и Никиты Струве. Сам Володя с ними, кажется, не общался, но Татьяна нередко навевывалась к Кириллу, который возглавлял фонд помощи верующим, созданный при РСХД и занимавшийся в основном посылкой в Россию литературы и медикаментов. Надо сказать, что поначалу мысль о налаживании материальной помощи друзьям и знакомым приобретает у эмигранта почти маниакальный характер. Возможно, это связано с привкусом вины, о котором я упоминал, присутствующим постоянно, даже если он не всегда осознан, возможно – с желанием хоть в минимальной степени разделить с близкими то сказочное, совершенно непредставимое в России богатство мира, какое обрушивается на эмигранта при пересечении границы и какого лишены оставшиеся на родине (имеется в виду не конкретное материальное богатство, само наличие которого тоже, конечно, оглушает, но скорее – неопишуемая гамма впечатлений от распахнувшегося перед новичком многоцветия, многозвучия, удивительной насыщенности и праздничности нового мира, даже если сам он пока имеет ко всему этому лишь косвенное отношение). К тому же внутреннего отрыва от родины еще не произошло, пуповина, связующая тебя с прошлым, еще не отрезана окончательно, и за каждым углом ты натыкаешься на знакомый профиль или затылок, видишь знакомое платье или походку, родное лицо в окне автобуса или поезда метро, а все происходящее с тобой, тобою увиденное, открытое – постоянно примериваешь на друзей,

пытаясь представить себе их реакцию и продолжая непрерывный диалог с ними. Часто это странное ощущение преследует тебя годами, слабея лишь по мере вхождения в новую жизнь, новую языковую, культурную, бытовую и человеческую среду. Кажется, я избавился от него лишь на исходе третьего года, когда, возвращаясь из любимой Италии в не слишком любимый Париж, неожиданно ощутил, что приехал домой.

Но все это пришло после. А в те первые дни парижской жизни я был совершенно потерян. Я бродил по городу без карты, исключительно литературными маршрутами, знакомыми из книг, и не узнавал ничего из прочитанного, привычного и, казалось, столь отчетливо представляемого мною. Париж был совсем иным, это несоответствие угнетало, раздражало, даже вызывало обиду, словно он в чем-то обманул мои ожидания, и потребовалось несколько лет, чтобы привыкнуть, а затем и полюбить реальный, а не вымышленный город...

Еще из Рима я послал в «Вестник» пару статей, которые Никита так и не напечатал, но, по-видимому, запомнил мое имя, судя по первому телефонному разговору. Он назначил мне встречу в РСХД, куда я и отправился с некоторым душевным трепетом. Такое состояние объяснялось просто: Никита представлялся личностью легендарной, а «Вестник РХД» последние годы был одной из наших настольных книг, номера журнала появлялись на две-три ночи, немедленно прочитывались и фотографировались, затем следовало уже повторное, более внимательное чтение. На дворе стоял конец «догутенберговской эпохи», и съемка входила в непременный ритуал самиздатской деятельности: создание библиотеки негативов считалось едва ли не первой заповедью «серьезного самиздатчика» тех лет. Сама библиотека хранилась у одного из наших друзей – Юры Булучевского, в «мирской жизни» скромного редактора издательства «Музыка». Пленки наиболее интересных книг затем печатались на тонкой «документной» фотобумаге, полученное таким образом «издание» переплеталось и в дальнейшем служило «обменным фондом». Чаще всего печать происходила в фотолаборатории Зоологического института Академии Наук, где я тогда служил сторожем, а Рада лаборанткой и где всю ночь моего дежурства кипела работа по проявке и просушке. Последнее осуществлялось самым примитивным способом: мокрые листы наклеивались на стекла гигантских шкафов с коллекциями, и необходимо было собрать еще влажные фотографии до восьми утра, когда могли явиться первые сотрудники. Помню, как, печатая «Сдачу и гибель советского интеллигента» Аркадия Белинкова, мы с Радой едва не сожгли фотолабораторию и

до утра пытались замести следы своего вторжения, отмывая столы и стены от копоти. По счастью, народ в ЗИНе был довольно флегматичным, интересовался больше сплетнями, тряпками и лабораторным спиртом, нежели состоянием вверенного ему государственного имущества, и наше преступление осталось безнаказанным...

– Вы – Аллой?

Я обернулся. У дверей стоял невысокий человек в очках, со светлыми, коротко стриженными седеющими волосами, с седоватой бородкой клинышком, в кургузом пиджачке, сбившемся галстуке, взмокшей сорочке и волокущихся чуть не по земле серых брюках. (Не совсем обычные отношения с последним аксессуаром мужской одежды я постоянно замечал в дальнейшем у старых эмигрантов: либо, как у Никиты, брюки вечно свисали, либо, как у Глеба Петровича Струве, Николая Михайловича Зернова или Бориса Николаевича Лосского, – были непомерно задраны, начинаясь где-то на уровне груди и завершаясь много выше лодыжек, чуть не на середине голени, – эта забавная деталь придавала старикам несколько неуклюжую, но чрезвычайно уютную, какую-то диккенсовскую внешность.) В руках вошедший держал портфель и полиэтиленовый мешок. Несмотря на взъерошенный вид, отчасти объяснявшийся парижской жарой, он вполне соответствовал фотографии, помещенной в сотом – юбилейном выпуске «Вестника».

– А вы – Никита Алексеевич? Здравствуйте.

– Здгавствуйте, – Никита сильно грассировал, голос у него был довольно высокий, с какими-то мальчишескими, немного странными для моего слуха модуляциями (интересно, что через два десятка лет в Москве мне тоже скажут о необычности моей русской интонации).

– Ну, вот, – он подал мне руку, освободив ее от мешка, и улыбнулся. – Давайте сделаем так: подождите меня минут десять, я зайду наверх, а потом поеду к нам ужинать, там и поговорим.

Через полчаса мы уже парились в пробке на окружном бульваре. Несмотря на опущенные стекла, снятые пиджаки, расстегнутые рубашки – раскаленный белый «Пежо-504», недавно подаренный Никите семейством Солженицыных, напоминал пыточную. По счастью, Никита, сам не куривший, любезно открыл пепельницу, приглашая не стесняться, чем я немедленно и воспользовался, засмолив свой «Житан». Это были единственные местные сигареты, по крепости напоминавшие привычный «Беломор». Я ужасно мучился, покупая их в кафе, поскольку французские гласные оставались для моего варварского произношения недосыгаемы; бармены презрительно вздергивали бровь: «comment?» либо совали мне в руки жетон для

телефона, но я упорствовал, и месяца через три мое упорство было вознаграждено – то ли бармены привыкли, то ли я улучшил произношение. В сущности, мне еще повезло – рассказывали, что Олега Щелкова долгое время вообще принимали в кафе за глухонемого, поскольку объяснялся он исключительно жестами...

Жил Никита с женой Машей (дочерью отца Александра Ельчанинова, сестрой Кирилла) и тремя детьми в Villebon-sur-Yvette – деревушке километрах в тридцати к юго-западу от Парижа, в небольшом очень скромном доме, основную прелесть которого составляла, по-видимому, его дешевизна. О скромности жилища и некоторой безалаберности жизни его обитателей говорит уже то, что ванна стояла прямо на кухне за занавеской, в соседней комнате на столах и стеллажах валялись кисти, доски и незаконченные иконы (Маша занималась иконописью), а в следующей – рукописи вперемежку с детскими вещами и бельем для глажки... Домик этот нашла семейству Струве Вера Николаевна Ильина, вдова философа, занимавшаяся посредническими услугами по найму жилья и числившая среди постоянных своих клиентов множество русских парижан. Впоследствии мне тоже приходилось неоднократно прибегать к ее помощи, одновременно уклоняясь от настойчивых просьб об издании работ Владимира Николаевича. Целый шкаф рукописей покойного мужа стоял в коридоре ее старой, запыленной квартиры, но, перебрав их, я так и не нашел ничего возможного к изданию. Впрочем, это обстоятельство никак не отразилось на наших отношениях, и Вера Николаевна, никогда не смешивавшая дела коммерческие и семейные, с готовностью откликнулась на любую мою просьбу о поиске квартиры или комнаты для новоприбывших...

Дом же в Villebon-sur-Yvette стал для меня родным на четыре последующих года, сюда приезжал я каждую неделю, а иногда и вовсе ежедневно, здесь нашел, может быть, самого близкого за годы эмиграции друга, а поначалу и единомышленника, здесь, как и на рю де ла Монтань Сент-Женевьев, где помещалась ИМКА, восстановилась для меня атмосфера нормального дружеского, делового, человеческого общения – одним словом, здесь сосредоточилась утраченная с отъездом из России вселенная... Я сказал на четыре года, потому что в октябре 80-го именно здесь, в Никитином доме, произошел разговор, обозначивший трещину в наших отношениях, ту трещину, которая в конце концов их разрушила, а меня самого еще через год с небольшим привела к уходу из ИМКИ и из «Вестника»...

В тот первый раз мы проговорили далеко за полночь, я даже остался у них ночевать – Маша постелила мне на тахте в столовой у книжной полки с томами сочинений Хомякова, Данилевского, Лес-

кова. Трудно, если вообще возможно, восстановить, о чем велась беседа: как всякий первый разговор – ни о чем и обо всем сразу. Такой разговор либо случается, либо нет, главное – не в его содержании, а в обоюдном интересе участников, в той искре, которая иногда проскакивает меж собеседниками, создавая чудо душевного контакта... Никита много расспрашивал, сам рассказывал об эмиграции, о Солженицыных, о встречах с Ахматовой (ставил на магнитофон пленки с записями ее голоса), о Бродском. С Иосифом мы с Радой виделись всего два месяца назад: он приезжал в Италию, созвонились, и, выгуливая нас по «своему» Риму, Бродский на правах старого умудренного опытом эмигранта поучал, как следует выбирать страну проживания, как привязаться к ней, как освоить язык...

Говорили, конечно, и о дальнейших планах. Мой временный паспорт для иностранца был действителен в продолжение трех месяцев. За это время надо было как-то определиться. Но наступал мертвый сезон отпусков, и Никита посоветовал мне не пережидать его в Париже, а отправиться на месяц-полтора в летний лагерь РСХД – руководителем студенческой группы. «Познакомитесь со здешней публикой, осмотритесь, да и заработаете немножко... Ну, а осенью будет видно...» В моем положении это, пожалуй, и вправду был выход: несмотря на дешевизну отеля, долго продержаться в нем мне бы не удалось, так что имело смысл отложить оставшиеся деньги на осень – неизвестно, как все обернется, а пока ехать в лагерь. На том и порешили...

* * *

Летний лагерь РСХД находился в Сен-Теофре – горном местечке между Греноблем и Гапом, недалеко от старой наполеоновской дороги через Альпы. На небольшом участке, который местный фермер сдавал в аренду Движению, стояло в ряд несколько длинных палаток, где жили воспитанники – дети от девяти до шестнадцати лет, чуть поодаль, ближе к самой ферме, – одиночные палатки для обслуживающего персонала и гостей; за ними – еще пара шатровых среднего размера – для студентов и для классных занятий. Ну и, разумеется, походная церковь, столовая и всевозможные хозяйственные службы.

В советском пионерлагере мне лишь однажды пришлось провести две недели (после чего меня вышибли за поправку юннатской клубники), так что воспоминаний о нем почти не осталось. По видимому, здешний лагерный быт мало отличался от быта соответствующих российских заведений, разве что своей идеологической

направленностью: непременными молитвами – утренней, вечерней и перед едой, церковными службами, преподаванием Закона Божия, летним «малым» движенческим съездом. В остальном же – походы, купания, костры, дежурства, кружки, академические занятия языком и русской историей, бесконечные посиделки...

Окормляли молодую паству в те годы отец Борис Бобринский, бывший настоятелем нижней церкви на рю Дарю, и отец Николай Озолин. С последним мы очень подружились и многие годы – вплоть до моего отъезда в Россию и даже после – сохраняли теплые отношения. А отец Борис, с которым впоследствии мы вместе оказались в Совете РСХД, долгое время уговаривал меня поступать в Свято-Сергиевский богословский институт, от чего я, однако, уклонился, отрицательно решив для себя этот вопрос еще в Питере, когда на рубеже 70-х обдумывал возможность поступления в семинарию, – не умея навести порядок в собственной душе, я никогда не мог представить себя в роли пастыря. По-видимому, отец Василий Лесняк, некогда меня крестивший и вплоть до самого отъезда бывший моим духовником, держался того же мнения. Был он книгочеем и работником, ко всякого рода экзальтации, особенно неофитской, относился с недоверием и строгостью, предпочитая трезвение, исполнение правил, книжные занятия и ежедневный труд, – что и внушал своим духовным детям. Полагал, что твердый прихожанин лучше нерадивого или дурного попа. Недаром из всей нашей тогдашней компании благословил на священнический путь лишь Костю Смирнова (ныне отца Константина – настоятеля «пушкинской» Спаса Нерукотворного образа церкви на Конюшенной)...

В Сен-Теофре я пробыл немногим больше месяца, но эта неожиданная «лагерная интерлюдия» стала решающей для моей парижской жизни. Думаю, Никита это учитывал, предлагая мне «познакомиться со здешней публикой»: смотрины, видимо, были обоюдными. Преподавание истории и языка, репетиции и постановка спектакля силами студентов, постоянное общение с движенческой молодежью и взрослым составом руководителей и «гостей» (в прошлом бывших такими же «лагерниками»), чуть не еженощные бдения до петухов в моей палатке, куда набивалось по десять-пятнадцать человек, – все это незаметно и естественно ввело меня в круг РСХД, почти непроницаемый для новых эмигрантов.

В те годы парижская «третья волна» была несколько особой. Осеть во Франции было непросто, и в Париж ехали в основном люди определенной идеологической ориентации: «общественные деятели», оппозиционно настроенные литераторы, неофициальные художники – т. е. гуманитарии, в прошлом политически активные и

своей активности при переезде границы оставлять не желавшие. С предыдущими волнами эмиграции они почти не смешивались, за исключением разве что «возвращенцев» – тех, кто после войны, взяв советский паспорт, покинул Францию (или был из нее выслан) и репатрировался в Россию, а теперь вновь вернулся сюда. Такие тоже были (Кривошеины, Остен-Сакены, Сеземаны, Щетинские), но оставались скорее исключением. В целом же контакта меж «новыми» и «старыми» не получалось, а когда он происходил, то бывал довольно болезненным. В сущности, это легко объяснимо: эмиграция по сути своей бесплодна – ее второе, а тем более третье поколение почти полностью ассимилируется, сохраняя свои национальные особенности лишь в бытовом и религиозном планах. Реальными детьми эмиграции становится, таким образом, следующая волна, и проблема «отцов и детей» возникает неизбежно, уже в силу различий воспитания, жизненного опыта, ценностной шкалы, представлений о покинутой родине. Особенно резкими столкновения делаются, когда и те и другие оказываются на крохотном пятачке «работы на Россию» и стремятся влиять на события в метрополии. Помню, когда я впервые спросил Володю Максимова об отношениях с Никитой и «Вестником», он ответил кратко, но выразительно: «Вооруженный нейтралитет». Зинаида Алексеевна Шаховская, в свою очередь, писала мемуары под многозначительным названием «Невстреча». Когда через пару лет мы вместе с «Континентом» и «Русской мыслью» в попытке объединить русскую общину устроили «Вечер трех эмиграций» – громадный зал Mutualité, находившийся рядом с ИМКОЙ, оказался забит до отказа, но в целом зрелище получилось довольно жалким: никто не слышал друг друга, выступления превратились в череду монологов, единственной связью меж ними было слово «Россия», но при этом понимаемое каждым по-своему: для первых – град Китеж, для вторых – царство зла, для третьих – политический режим, требовавший разрушения. По-видимому, Георгий Иванов все-таки прав: «Что связывает нас? Всех нас? – Взаимное непонимание...»

Определенную роль играли здесь, конечно, национальная принадлежность «третьих» и глубокий внутренний атеизм большинства из них. Это вполне естественно: правила игры, навязанные властью, обусловили легальный выезд из страны в подавляющем большинстве случаев лишь для еврейско-русской интеллигенции, а воспитание советского человека почти исключало наличие у него церковной культуры.

Первое обстоятельство усиливало неизбежную напряженность в отношениях «новых» и «старых» (помню, как на весеннем движен-

ческом съезде 77-го года, где я выступал с сообщением о положении церкви в России, отец Александр Шмеман, ведущий заседание, обратился к аудитории с предложением задавать вопросы докладчику, и первый, если не единственный, вопрос последовал от патриарха местного клира – престарелого отца Александра Ребиндера, который, поднявшись со своего места и приблизившись к кафедре, чтобы лучше слышать ответ, спросил: «Вы меня извините, но кто вы по нации будете – уж больно фамилия у вас необычная»).

И тем не менее, настоящим водоразделом стала не столько первая, сколько вторая особенность новых эмигрантов. Несмотря на определенную моду на «религиозные искания», возникшую в семидесятые годы в России, и на естественное стремление новоприбывших прибиться к общей массе родных по языку людей – они либо усваивали чисто внешнюю, ритуально-обрядовую сторону: крещения, реже венчания, посещения храма на Пасху или на Рождество, либо – что было еще хуже – превращались в неофитов со всеми комплексами, свойственными этому состоянию. Но и в первом и во втором случае новички оставались абсолютно чуждыми самому внутреннему механизму жизни «старых» эмигрантов, в значительной мере связанному с церковью. Не стоит принимать сказанное за какой-то оценочный критерий, в мои намерения не входит судить тех или других, я лишь пытаюсь пояснить одну из причин «неслиянности». Для большинства «первых» церковь тоже являлась скорее клубом, местом национальной идентификации, нежели храмом в прямом смысле. Различие скрывалось в другом: религиозная культура прививалась им с детства – в семье, в четверговых школах, лагерях, церковных хорах, в обязательном посещении воскресной литургии с личной, а не общей исповедью и следовавшим за ней причастием – все это естественным образом определяло систему координат их мировосприятия, даже если в дальнейшем они полностью уходили от церкви. У «третьих» такая система координат в быту напрочь отсутствовала: они любили порассуждать за водочкой о Булгакове, Бердяеве или Флоренском, могли зайти в храм на панихиду, перекрестить лбы, зажечь свечку и даже встать на колени при возгласе «Со святыми упокой...», могли при случае постоять на литургии, но спеть праздничный тропарь, прочесть ежедневное правило или объяснить расположение икон в храме – подавляющему большинству из них было явно не по силам, да и внутренней потребности в этом не ощущалось.

Тот же поверхностный по своей сути процесс «оцерковления» происходит и в нынешней России, где православие стало *de facto* официальной государственной религией, где Патриарх говорит о

церкви как о самой массовой (наряду с профсоюзами!) организации страны, батюшки кропят святой водой милицейские «воронки», церковные купола превратились в обязательный атрибут государственной символики, а новая номенклатура, включая президента, считает неременным долгом по двенадцатым праздникам отстаивать церковные службы – в свете юпитеров и под объективами снимающего их телевидения...

Пребывание в лагере имело и чисто практические следствия. Из Гренобля я возвращался с одним из постоянных «гостей» Мишей Сологубом, моим сверстником, внуком Бориса Константиновича Зайцева, экономистом, преподававшим в университете и писавшим тогда свой докторат. Жена его Катя Лопухина с детьми оставалась в лагере, и, зная о моей бездомности, Миша предложил мне на время своей холостяцкой жизни поселиться у них в Бур ла Ренн – южном предместье Парижа. Я принял это с благодарностью и почти три недели провел в их доме, после чего Никита устроил меня к своей матери Екатерине Андреевне, в старую, потемневшую от времени запущенную квартиру на рю Эрланже, где вырос и он сам. В его детской я и поселился. Что же до Миши, то он впоследствии стал моим гарантом при найме первой собственной квартиры – крохотной меблированной студии у подножия Монмартра, рядом с лицеем Кондорсе (гаранта требовали хозяева, поскольку я не мог доказать своей платежеспособности, да и документы у меня были еще временные...).

Никите я позвонил сразу по возвращении и на следующий же день отправился в Villebon-sur-Yvette. И он, и Маша были полностью в курсе лагерных дел – по рассказам Кирилла, совершавшего постоянные поездки Гренобль–Париж и обратно. Оба весело подтрунивали над моими «романами», над тем, что я окончательно спил всех «гостей» и приучил их к варварским песням Высоцкого, но в целом было видно, что «смотрины» удались...

Сами они наавтра уезжали отдыхать на Лазурный берег, правда, ненадолго – недели на две. Что до меня, то лагерная моя эпопея завершилась, и я снова провисал, не слишком понимая, как жить дальше. Формально я еще мог вернуться в Италию к отцу Нилу, до истечения срока моего временного паспорта оставался месяц. Но делать этого не хотелось. Да и Никита уговаривал оставаться в Париже, убеждая, что все как-то образуется – есть Земгор, и можно будет достать у старушки Недошивиной стипендию на первое время, есть Давыдов – и можно попытаться найти преподавательскую работу в каком-нибудь лицее... главное – не падать духом, в конце концов все устроивается. Отбив на отдых, он передал мне записку, развивавшую ту же тему: «Дела много, делателей мало...»

И я решился. Прежде всего это означало, что надо легализоваться – получить беженский статус во Франции. Я отправился на бульвар Капуцинов, 33, где находилось тогда бюро Международного комитета по беженцам. Фауст встретил меня с удивлением и в ответ на высказанное желание остаться во Франции – назвал сумасшедшим. (Через пятнадцать лет, когда я сообщу приятелю – Ричарду Дэвису, британскому слависту и хранителю русского архива в Лидсе, о своем намерении переехать в Россию, – Ричард ответит более развернутой формулой: «Володя, по-моему: а. вы сошли с ума, б. полностью сошли с ума и в. окончательно сошли с ума».) Но поскольку желание было высказано вполне твердо, Фауст запросил мое дело из Рима. Оказалось, однако, что оно уже ушло в Штаты, куда мы с Радой получили въездную визу и где я давно должен был находиться. Ситуация становилась нестандартной, что затрудняло любые демарши перед французскими властями. Ко всему прочему, в Италии у меня украли сумку с выездной визой из Союза – единственным документом, подтверждавшим мое советское происхождение. Теперь на руках у меня был лишь итальянский паспорт, хоть и временный, хоть и для иностранца – но все же вполне официальный документ, выданный властями западной демократической страны, в которой я, по существующей практике, и должен был просить убежище.

Тем не менее, я отправился в городскую префектуру, находившуюся против Нотр-Дам, и на последующие три месяца почти ежедневные хождения туда, выстаивание в громадных очередях, состоявших из таких же иностранцев – по большей части черных и арабов, мучительные беседы с полицейскими чиновниками, не желавшими говорить по-английски, и заполнение бесчисленных анкет – стали непременным ритуалом моей парижской жизни. В конце концов мне удалось получить временный вид на жительство, а затем и статус политического беженца, но должен сказать, что даже в такой открытой и в целом доброжелательной стране, как Франция, процедура эта чрезвычайно тяжела и унижительна. В последующие годы мне часто доводилось ходить в Парижскую префектуру с новоприбывшими друзьями и знакомыми, служа для них переводчиком, и посещения эти не раз завершались слезами, а то и настоящими истериками раздавленных собственной беспомощностью новичков, которых приходилось отпаивать в ближайшем кафе, успокаивая и приводя в чувство. Все остальное время я продолжал бегать по людям, пытаясь найти хоть какое-то занятие. Это оказалось не просто. Журналистские заработки были смехотворны, если вы не состояли на штатной службе, получить же постоянное место в «Русской мысли» или на «Свободе» (Международное французское радио, закрытое в

74-м году, тогда еще не возобновило своей деятельности) считалось практически невозможным. Что до преподавания языка, то на ближайший год оно исключалось, поскольку заявки на такую работу претенденты подают в Управление лицеев и университетов до конца апреля, а результаты конкурса становятся известны в августе, то есть на предстоящий учебный год все вакансии уже были заняты. К тому же до полной легализации и получения французских документов об этом не приходилось говорить всерьез. Пообщавшись со старожилами, я несколько скис: ни Ефим Григорьевич Эткинд, сильно остывший к планам создания Русского университета, ни Мария Васильевна Синявская, которая в то время вела на «Свободе» собственный журнал «Мы за границей», ни Александр Аркадьевич Галич, ни Володя Максимов – ничего конкретного посоветовать не могли. Еще более скептически смотрели на мою парижскую будущность эмигранты первой волны, занимавшие «официальные» посты. Виктор Ризер, начальник парижского бюро «Свободы», принял меня чрезвычайно ласково, был мил и обходителен, накормил прекрасным обедом в ресторане у Сен-Жермен де Пре и даже обещал помочь в получении вида на жительство, но в том, что касается работы, ограничился лишь общими советами и жалобами на трудность нынешней ситуации. Куда более категорично высказался Макс Ефимович Раллес, возглавлявший исследовательский отдел «Свободы». После часовой беседы в своем просторном бюро на бульваре Распай, великолепно обставленном мягкой кожаной мебелью, – он вполне откровенно заявил, что не видит для меня места в Париже и советует отправляться в Штаты, пока моя въездная виза еще действует...

Рассчитывать на работу в чисто французской среде без знания языка не приходилось. Оставалось либо попробовать прибиться к какой-нибудь крохотной и нищей русской организации, которых тоже было в городе наперечет, – библиотеки, антикварные и книжные магазины, рестораны, – либо искать технические переводы. Последний вид заработка был довольно распространен среди эмигрантов в 70-е; кажется, он не утратил своей привлекательности и до сего дня.

Такая работа вполне прилично оплачивалась, а в удачном случае давала реальную финансовую независимость. Правда, рынок труда был крайне ограничен (торговля с Советским Союзом в те годы переживала не лучшие времена), так что пробиться на него считалось почти невозможным. Подавляющее большинство заказов от французских фирм сосредоточили в своих руках несколько крупных переводчиков, давно занимавшихся этим делом, наладивших личные

контакты с большими компаниями и державших целую армию «рабов» из новоприбывших, которым за половину, а то и за треть цены отдавали «субподряды». Последним оставалось соглашаться на работу по-черному, к тому же почитая ее за счастье. Такое положение объяснялось просто: непосредственные связи с западными компаниями возможны лишь на легальной основе, что предполагает оформление статуса независимого переводчика, регистрацию в бесчисленных фискальных и социальных ведомствах, уплату всевозможных налогов и сборов. А это, в свою очередь, требует наличия официального вида на жительство, беженских документов, постоянного жилья и, естественно, приличного знания французского языка – одним словом, массы вещей, недостижимых для новичка в первые год-два. Поэтому даже статус «негра» считался необычайной удачей, и за него велась непрерывная борьба: предложение значительно превышало спрос, и если вам везло, и вы получали работу, то шла она буквально на износ. Переводы осуществлялись в последний момент, после заключения контрактов и непосредственно перед поставками оборудования, а потому необходимо было выполнять их крайне быстро, и когда на вас сваливался серьезный заказ, вы пахали буквально сутками, засыпая на диктофоне и просыпаясь на пишущей машинке. Это отнюдь не метафора, и чтобы пояснить ритм подобной работы, замечу, что в последующие годы нам с Радой приходилось делать до пятисот страниц в месяц. Нечего и говорить о том, что отказываться от предложенного перевода не рекомендовалось, поскольку вместо вас работу тут же получал кто-либо другой, а вы почти автоматически выпадали из числа постоянных «негров» – и оказывались в исходной точке...

Переводческой деятельностью подрабатывал в то время и Марамзин, получавший заказы от Нины Деранти – несколько странной и чрезвычайно прижимистой дамы, с которой в дальнейшем сотрудничала и Рада, а одно из замечательных mots которой вошло у эмигрантов в поговорку: не желая расплачиваться за выполненную работу и всячески оттягивая этот мучительный для нее момент, Нина любила повторять: «Понаехали тут всякие евреи и считают, что я им деньги должна». Мне с ней сработаться не удалось, зато с другим крупным переводчиком – Володей Слепяном – мы вполне сошлись. Его телефон дал мне все тот же Марамзин, чьи переводы Слепян когда-то забраковал.

Эта фигура, необычайно колоритная даже на парижском фоне, заслуживает более подробного рассказа. Московский художник-авангардист, возглавивший депутацию таких же, как он, неформалов к Давиду Бурлюку, когда «отец русского футуризма» приезжал в

Советский Союз, Володя Слепян появился в Париже еще в шестидесятые, когда ни о какой эмиграции и речи не было. Помыкавшись годик-другой среди художников и осознав, что спроса на его живопись нет и не предвидится, он вспомнил о своей «доисторической» профессии на покинутой родине, записался в Сорбонну, прослушал курс математических лекций, а затем начал заниматься техническими переводами, в значительной мере связанными с информатикой. Сам он переводил с французского, однако не отказывался ни от каких работ, и когда попадались тексты на английском и иных языках, отдавал их на сторону.

Жил Володя в гигантской, чуть не двухсотметровой квартире, занимавшей почти целый этаж в доме на бульваре Сен-Жермен, неподалеку от Национального собрания. Адрес в одном из самых аристократических районов Парижа, по-видимому, поднимал престиж переводческой конторы, а ее хозяину должен был придать некоторую уверенность в себе, каковая была ему явно необходима. Когда я встретился с ним впервые, он чрезвычайно боялся консьержки и соседей по дому, избегал ближайшего кафе, где официанты казались ему слишком заносчивы и недружелюбны, предпочитая более демократическое – чуть не за квартал, и вообще производил впечатление человека крайне робкого, напуганного чем-то на всю жизнь и явно не понимающего, как он оказался в этой квартире. Последняя тоже являла собой зрелище довольно необычное: огромные гулкие комнаты, куда почему-то забыли завезти мебель. Звуки скрадывались лишь толстым пушистым ковролином красного цвета, покрывавшим весь пол.

Поднявшись на третий этаж, вы попадали в абсолютно пустой холл с прекрасной свисавшей с потолка люстрой; далее – в приемную, с колченогим журнальным столиком и одним креслом, затем шел кабинет – письменный стол и два стула, в соседней комнате – китайский лаковый шахматный столик с расставленными фигурами и более ничего, в гигантской столовой – необъятных размеров обеденный стол и один стул, на котором сидел маленький, сгорбленный, заросший, небритый человечек, с черными обкусанными ногтями, в поношенном вельветовом пиджаке и несвежей сорочке, и куда *femme de menage* время от времени приносила из таинственных глубин необъятной квартиры тарелку с очередным блюдом... Кстати, разделить с ним трапезу дома Володя за все годы знакомства и совместной работы так ни разу меня и не пригласил – то ли за отсутствием второго стула в комнате, то ли из соображений экономии...

При всех своих странностях, бесчисленных маниях и фобиях, был он человеком добросердечным, совестливым, честным

и безусловно творческим – набор качеств, которые не слишком способствуют успешным занятиям коммерцией. В конце концов это его и погубило. К сожалению, косвенно приложил в этому руку и я.

Кажется, летом 79-го Володя как-то пришел ко мне в ИМКУ со странным предложением: купить его дело. Сам он просто физически не мог больше заниматься переводами – при взгляде на текст у него начинались головокружения и к горлу подступала тошнота. Такое бывает, я знал это по себе: каждый раз, получая новый заказ, два или три дня я должен был уговаривать себя взяться за перевод, преодолевая отвращение к лежащему на столе фолианту и чуть ли не привязывая себя к стулу. Правда, когда работа все-таки начиналась, тошнотворное чувство отступало – до следующего раза. У Слепяна был явный перебор, причем столь сильный, что он вообще хотел сменить профессию. Володя готов был за сравнительно небольшую сумму уступить свою клиентуру и создать новую фирму, куда сам он собирался войти лишь на ролях соучредителя и начальника маркетингового отдела, что было крайне важно при его многолетних связях с крупными французскими компаниями и чиновниками, от которых зависело распределение заказов.

К тому времени я уже отошел от постоянной переводческой деятельности, сохранив связи лишь с бюро Организации Объединенных Наций в Женеве, для которого изредка выполнял заказы. Сделавшись директором ИМКИ, я, исключая преподавание в Институте политических наук, полностью отдавался редакционно-издательской работе, которую любил безмерно и которая занимала все свободные валентности. Но я вспомнил о Марамзине, в то время отчаянно бедствовавшем и готовом даже переехать в другую страну (речь, помнится, шла об Италии), если там найдется приличная работа. Для него создание совместного со Слепяном дела было бы спасением. Я предложил Володе создание фирмы «на троих», где Марамзин стал бы управляющим и вел повседневную работу, Слепян занимался бы своим делом, а я, внося первоначальную сумму, имел бы гарантированные заказы, если таковые когда-нибудь потребуются (Рада, уже работая в ИМКЕ, продолжала делать переводы). Володя ухватился за этот вариант. Мы отправились к Марамзину, который, конечно же, с восторгом принял предложение. До юридического оформления предприятия в течение почти месяца мы колесили по Франции, и Слепян везде представлял его как нового директора переводческого бюро. Происходило это, кажется, в сентябре. Затем я вернулся к издательским обязанностям, а в начале декабря Слепян прибежал ко мне до крайности взвинченный и стал жаловаться на Марамзина: тот

тратит казенные деньги, как свои, противится разделению банковских счетов, не ведет никакого бухгалтерского учета – так дело вести невозможно, все неизбежно кончится банкротством и скандалом, надо срочно что-то предпринимать... Попытка «что-то предпринять» завершилась полным разрывом отношений. После разговора с Марамзиным тот прислал мне на редкость грубое, едва ли не матерное письмо, в котором уведомлял, что дальнейшее сотрудничество не считает возможным, возвращает внесенные мною деньги и прекращает всякие контакты. В начале года такое же уведомление получил Слепян, а поскольку до юридического оформления компании соучредители так и не добрались и все договоренности – в лучшей русской традиции – носили лишь устный характер, изменить он уже ничего не мог: дело полностью перешло к Марамзину, а бывший его владелец остался без работы и практически без средств к существованию. О квартире на бульваре Сен-Жермен можно было лишь вспоминать, жил теперь Володя в микроскопической комнате для прислуги – семиметровой мансарде со скошенным потолком, абсолютно пустой, если не считать валявшегося на полу матраса, колченогой тумбочки у окна да каких-то остатков одежды, висевших на вбитом в стену гвозде. Бедствовал он ужасно, но к переводам возвращаться не желал или не мог решиться начинать все сначала. Иногда заходил ко мне в издательство – несчастный, оборванный, жалкий – поговорить, выпить чашку кофе или позавтракать, стрелкнуть три-четыре сотни франков... Помочь ему чем-то более существенным я, увы, не мог. Одно время он пытался стать фоторепортером, затем я иногда встречал его на террасе «Клозери де лила», где Володя часами сидел перед чашкой кофе или стаканом лимонада, постоянно записывая что-то в блокнот. Результатов этого творчества à la Хемингуэй мне видеть не приходилось, во всяком случае, в печати. К концу восьмидесятых Слепян окончательно исчез из поля моего зрения... Что же до Марамзина, то, спровадив Самсона Силыча в долговую яму, наш Лазарь Елизарыч купечествовал всласть, забросив литературные труды и сменив ценности духовные на более осязаемые – материальные. Кажется, он продолжает, хотя и сильно полиняв, купечествовать по сей день, во всяком случае, несколько моих знакомых на него по-прежнему работают.

Но тогда – в первый год моей парижской жизни – Володя Слепян был еще в зените своей переводческой карьеры. Он дал мне на пробу несколько страниц английского текста, остался доволен результатом, но предупредил, что сможет предоставлять работу более или менее постоянно лишь при наличии у меня пишущей машинки IBM: форма переводов стандартизована, и необходимо либо иметь собст-

венную IBM со съемными головками, либо пользоваться услугами профессиональной машинистки. Сам Володя советовал приобрести машинку и диктофон, объяснив, что несмотря на относительную дороговизну оборудования (то и другое стоило около двух с половиной тысяч долларов), я почти ничем не рискую: фирма IBM полностью компьютеризована, и первые полгода после покупки напоминания об оплате будет автоматически выдавать машина, а к тому времени, когда дело дойдет до реального инспектора, я уже достаточно заработаю, чтобы расплатиться за все сразу. Трудность заключалась лишь в том, чтобы найти организацию, которая согласится сделать заказ вместо меня, и тем самым избавиться от необходимости предварительной оплаты. Такой организацией после разговора с Никитой стала ИМКА, закупившая все оборудование, и, водрузив машинку на письменный стол в детской на рю Эрланже, я часами тренировался в слепой печати – практика, необычайно пригорадившаяся впоследствии, когда пришлось самому набирать книги... Володя оказался совершенно прав: к концу года я смог не только полностью расплатиться за оборудование, но снять собственную квартиру, наладить минимальную помощь в Союз и даже отправлять деньги в Филадельфию, где жизнь оказалась отнюдь не столь безоблачной, как представлялось Раде в Италии.

К марту 77-го Рада наконец решила и переехала во Францию, чему была несказанно счастлива, с первого взгляда и навсегда влюбившись в Париж. Почти сразу включилась она и в нашу переводческую деятельность, в коей очень быстро меня превзошла, что вообще характерно для Рады: будучи по природе консервативной и предельно в себе неуверенной, она мучительно и с каким-то суеверным ужасом входит в любой новый род занятий, но чрезвычайно быстро и хорошо его осваивает и до следующей перемены чувствует себя в нем, как рыба в воде, после чего история обычно повторяется. Так было с переводами, которые в первые месяцы она воспринимала как наказание Господне, так было в издательстве, где она поначалу всего боялась, так было и на Французском международном радио, когда после увольнения из ИМКИ и задолго до начала реальной работы у микрофона мне приходилось чуть не силой заставлять ее делать для тренировки обзоры печати или сводки последних известий по приносимым домой депешам...

К лету мы уже переехали в нормальную трехкомнатную квартиру в замечательном месте – на рю Паскаль – южной оконечности Латинского квартала, в двух шагах от Тургеневской библиотеки и двадцати минутах ходьбы от ИМКИ, причем ходьбы самым живописным путем: по рю Муфтар, чьим продолжением, собственно, и явля-

лась наша улица, а началом (после крохотной, огибавшей Политехническую школу rue Декарт) – улица горы Святой Женевьевы, где расположено издательство. Это район сорбоннских студентов и артистической богемы. Он дивно описан Хемингуэем в «Празднике, который всегда с тобой», и хотя с двадцатых годов он сильно изменился, а в последние лет пятнадцать очень подорожал и сделался отвратно респектабельным, нам еще довелось застать его почти в нетронutom виде, со старыми прокопченными домами, с чудной и запущенной пляс Контрескарп, где у фонтана под деревьями на теплых вентиляционных решетках круглый год жила компания клошаров, с россыпью маленьких ресторанчиков и кафе, с разрушенным ныне старым «Театром Троглодитов» в центральной части улицы и, вероятно, самым красочным парижским рынком Муфтар в южном ее конце. На пляс Контрескарп по праздникам устраивались народные гулянья и танцы, на воздвигавшейся по случаю эстраде играл импровизированный муниципальный оркестрик, а в конце улицы в церкви Сен-Мидар весь год почти еженедельно проходили концерты старинной музыки... Именно здесь, в греческих ресторанчиках, куда после работы мы заходили с Радой и Юрой Николаевым выпить реттины и закусить острым овечьим сыром, в кафе «Мэйфлауэр», на рынке, где в рыбных лотках ползали живые крабы и омары, а молочные, мясные и зеленные лавки ломались от всех умопомрачительных чудес французской гастрономии, где в африканском ряду, сегодня напрочь исчезнувшем, мы учились отличать маниоку от папайи и таро от макабос, – я окончательно примирился с городом, почувствовал и полюбил его. Здесь прожили мы, возможно, самые счастливые парижские годы, когда окружающий мир еще сохранял ослепительную свежесть и красочность, иллюзии оставались в самой поре цветения, предельно наполненная жизнь ощущалась как праздник, а любимое дело было только в радость, не омрачаясь никакими посторонними обстоятельствами...

Переводческая работа имела и еще один плюс: в ней отсутствовала регулярность, то есть вам не требовалось постоянно ходить в присутствие и высиживать от звонка до звонка: вы либо пахали сутками, либо были совершенно свободны до получения следующего заказа, а поскольку плата за страницу текста, даже уполовиненная, была довольно высока (в те годы Слепян платил 65 франков), то крупный перевод обеспечивал два-три месяца нормальной жизни.

Все свободное время я целиком посвящал ИМКЕ и Движению, а также разбору шестовского архива, который младшая дочь философа – Наталья Львовна – готовила тогда к сдаче в библиотеку Сорбонны. Жила она с мужем Владимиром Николаевичем Барановым в

Robinson, маленьком местечке в южном предместье Парижа, где старики имели собственный двухэтажный дом с великолепным спускавшимся по склону холма садом, откуда открывался, особенно в ясную погоду, восхитительный вид на город. В Шестова я тогда (да, пожалуй, и теперь) был просто влюблен, почитая его, может быть, наряду с Розановым, самым блестящим из русских мыслителей нынешнего века. Еще в Питере настоящим откровением стали для меня «Добро в учении Толстого и Ницше», «Афины и Иерусалим» и «На весах Иова», а уж затем в Италии я буквально проштудировал все, что было собрано в Гоголевской библиотеке.

Находилась библиотека в самом чудном районе Рима: на пьядца Сан-Панталео – крохотной площади прямо на Корсо Витторио Эмануэле между пьядца Навона и кампо ди Фьоре. На последней, оправдывая ее название, располагался цветочный и зеленой рынок, а в центре площади стояла черная, закопченная фигура Джордано Бруно, у ног которого ежедневно сжигали мусор, заставляя несчастного еретика гореть буквально на вечном огне.

Управлял библиотекой Василий Николаевич Дюкин – милейший семидесятипятилетний старик, в прошлом врангелевский артиллерист, затем – галлиполиец, чернорабочий на греческих и итальянских шахтах, солист казачьего хора и еще бог знает кто. Теперь, на склоне лет, он делил жизнь между заботами о библиотеке и о русской церкви на виа Палестро, где подвизался регентом и чью маленькую общину раздирали нешуточные страсти – в борьбе за влияние на престарелого отца Виктора Чернышева.

Был Василий Николаевич высок и строен, сохранял офицерскую выправку и твердые принципы, например, никогда не пил раньше полудня – времени, когда он обычно появлялся в библиотеке, перед чем непременно заходил в бар на Корсо Витторио Эмануэле за чашечкой кофе и рюмкой-другой граппы. Библиотеку он обожал, ухаживая за ней с такою же трогательной и ревливой заботливостью, как за своей женой Евгенией Альбертовной: полы в комнатах всегда были навощены, на столах – ни пылинки, книги расставлены по ранжиру на полках и в шкафах, портреты Государя-императора и всей царской фамилии – в подобающем порядке развешаны на стенах. Особую заботу проявлял Василий Николаевич о переплетах, которые ему, человеку военной закалки, казались, видимо, столь же непременно принадлежностью книги, как для офицера – застегнутый на все пуговицы мундир. В отдельной укромной комнатке, куда посетители обычно не допускались, на столах были сложены стопки книг и журналов, предназначенные для переплетных работ, а на стеллажах стояли убранные с глаз подальше книги Солоневича, Ди-

кого и всевозможные брошюры антисемитского содержания. Нечего и говорить о том, что Василий Николаевич был монархистом до глубины души и последнего вздоха и в начале массовой эмиграции никак не мог опомниться, когда в библиотеку в качестве постоянных читателей и посетителей повалили всевозможные рабиновичи, каценельсоны и блюмштейны. Правда, к моменту нашего появления в Риме он уже успел смириться с этой странной неизбежностью и даже начал различать в массе новоприбывших отдельные лица, а в Раду, которая, по просьбе Саши Тимофеева, входившего в правление библиотеки, привела в порядок генеральный каталог, – просто влюбился, буквально оплакивая ее приближавшийся отъезд в Штаты.

В прохладных комнатах библиотеки с деревянными резными потолками, гулкой тишиной и каким-то особым запахом, настоящим на воске и старых книгах, проводили мы почти ежедневно время римской сестры, когда раскаленный город замирает до четырех пополудни, чтобы вновь ожить в предвкушении вечерней прохлады. Рада занималась библиографическими карточками, я кропал какую-нибудь очередную статью, просматривал журналы и книги, либо просто потягивал вино с Юрой Николаевым – ленинградцем, жившим в Риме уже два года, работавшим здесь библиотекарем и фактически заместителем Дюкина...

Увы, недолге после нашего отъезда патриотические чувства попечительского совета возобладали, что и стало несколько лет спустя причиной гибели одного из старейших книгохранилищ русского зарубежья, существовавшего с начала века и включавшего в свое собрание около двадцати тысяч томов. Кажется, году в 77-м или в конце 76-го в Риме появился Евгений Вагин, проходивший некогда по делу ВСХСОН, – монархист, истинный патриот, молодец, удалец и вообще рубаха-парень, окладистой бородой и горящим взором напоминавший не то Федора Михайловича Достоевского, не то Григория Ефимовича Распутина, а рассказами об Игоре Огурцове и «русской идее» будивший в попечителях надежды на «скорое духовное возрождение России». Для характеристики его образа мыслей приведу лишь один анекдотический эпизод. В домике при русской церкви во Флоренции была пара комнат, где иногда с разрешения княгини Олсуфьевой останавливались приезжавшие в город эмигранты. Сторож церкви, американец Филлипс, держал специальную книгу, в которую необычные гости заносили свои благодарственные записи. Естественно, подбор фамилий в те годы был соответствующим. В этом альбоме Вагин расписался следующим образом: «Стопроцентному американцу от стопроцентного русского»...

После описанной выше ситуации с каценельсонами и рабиновичами появление «стопроцентного русского» было воспринято римской общиной как знамение, а Вагин, оставшись с женой и дочерью в Италии и устроившись работать на радиостанции «Голос Ватикана» и в венецианском университете, сделан был сначала заместителем, а затем, в связи с болезнью Василия Николаевича, кажется, году в 81-м, – и директором Гоголевской библиотеки. Для последней это оказалось фатальным. Вначале до нас доходили лишь смутные слухи о резком снижении читательского состава и странности новой обстановки на пьядца Сан-Панталео да во время наших наездов в Рим жаловался на полную невозможность работы Юра Николаев и грустно вздыхал старик Дюкин. Несчастный Юра с горя запил сильнее обычного, а к концу семидесятых и вовсе расстался с Римом и перебрался в Париж, куда я пригласил его заниматься книжным антиквариатом при ИМКЕ. В 84-м, когда Василий Николаевич совсем сдал, разразилась катастрофа, принявшая уже отчетливо уголовную окраску. Вагин отказался признавать попечительский совет, закрыл библиотеку, сменил замки в дверях и начал тайком переправлять книги, иконы, картины и бронзу в Германию. После бесконечных скандалов и выяснения отношений дело дошло до вмешательства полиции. Когда в августе попечители во главе с Дюкиным и Тимофеевым в присутствии комиссара римской квестуры взломали дверь, перед ними предстали пустые полки, картонные коробки с книгами и стопроцентный патриот Вагин с пятидесятипроцентным помощником Немчиновым, паковавшие остатки библиотечных фондов. Через несколько дней полиция произвела обыск у Вагина дома, обнаружив около полутора тысяч еще не отправленных за рубеж книг, часть картин, бронзу и иконы. Более пяти тысяч томов пропало бесследно...

Но, пожалуй, самым запредельным во всей этой дикой истории оказалось то замечательное обстоятельство, что и после разграбления библиотеки Вагин как ни в чем ни бывало остался работать на «Голосе Ватикана» и по-прежнему просвещал своих слушателей на предмет христианских добродетелей, патриотизма, нравственности и русской идеи...

Еще многие годы после этих событий, приезжая в Рим и бродя по любимому городу, мы с тоской глядели на запыленные, мертвые окна второго этажа дома на пьядца Сан-Панталео – бывшие окна Гоголевской библиотеки...

Если вернуться после этого грустного отступления в Robinson, то работа моя с шестовским архивом состояла главным образом в составлении аннотированного каталога рукописей, а заодно – копиро-

вании всех неизданных фрагментов, которые я незамедлительно тащил в «Вестник». Что же до Натальи Львовны, то с ней и с ее мужем мы подружились и в дальнейшем поддерживали самые теплые отношения: уже после ухода из ИМКИ я издал подготовленную ею двухтомную биографию отца по шестовской переписке и воспоминаниям современников, а позже опубликовал в «Минувшем» неизданного «Плотина» и гершензоновские письма к Шестову. Еще в «Вестнике» хотел я напечатать и брошюру Льва Исааковича «Что такое русский большевизм?», весь тираж которой в двадцатые годы сразу по выходе в берлинских «Скифах» был уничтожен директором издательства Евгением Лундбергом, перепугавшимся остроты шестовской книги. Однако в те годы Наталья Львовна воспротивилась изданию, сославшись на то, что у Владимира Николаевича родственники в Союзе, что они туда время от времени ездят и не хотели бы слишком портить отношения с властями. «Вот перестанем ездить – тогда и опубликуете...» К сожалению, это уже не осуществилось. После смерти Баранова родственники Натальи Львовны переселили ее в дом престарелых в Кошан, и все вопросы об издании материалов постепенно перешли в их руки, что обычно затрудняет любые деловые контакты. Это, впрочем, естественно: если дети ощущают недавнее прошлое вполне живым и нередко посвящают жизнь разбору и публикации наследия великих отцов, то третье поколение чаще всего оказывается в иных условиях: с одной стороны, уже мало понимает в существе дела, а с другой – убеждено, что «сидит на золоте»... Кончилось все тем, что брошюру по одному из немногих сохранившихся экземпляров напечатал в Мюнхене Кронид Любарский, кажется, даже не испрашивая разрешения у наследников...

Но основным занятием оставались для меня, конечно, Движение, «Вестник РХД» и ИМКА. В Движении я вел театральную группу и историко-литературный кружок, собиравшийся раз в две недели сначала на рю Оливье де Серр, а затем на рю де Бернарден – меж бульваром Сен-Жермен и набережной Сены, в доме, принадлежавшем католическому колледжу.

С театральной группой мы подготовили к весне тургеневского «Нахлебника», которого и представили в мае в большом зале в Issy les Moulinaux, вызвав некоторый ажиотаж в русской публике и прессе. (Последнее, правда, свидетельствовало скорее не о качестве постановки, а об общественном голоде на подобные события. Что же до качества, то после представления Толя Шагинян заметил, что предпочел бы вовсе ничего не ставить, нежели выпускать подобные спектакли. С профессиональной точки зрения, он, вероятно, был прав и в полном согласии со своими убеждениями все парижские

годы ограничивался «режиссурой» на «Свободе»... Но что же делать, если с актерами-профессионалами в Париже в то время было туго: ни Круглые, ни Саша Курепов, ни Толстый еще не появились, да и после их приезда о русских театральных постановках ничего не было слышно – вплоть до того, как за дело в начале 90-х взялся такой же любитель Алеша Хвостенко, устроивший несколько веселых представлений в созданном им художническом сквате. По-видимому, один профессионализм еще не решает проблемы...)

Что до историко-литературного кружка, то на его заседания публика собиралась вполне разношерстная: от молодых движенцев до самых древних стариков, приходивших либо по многолетней привычке посещать все культурные мероприятия русской общины, делавшиеся за последние годы все более редкими, либо из любопытства – послушать захожих знаменитостей (вроде Пьера Паскаля, Володи Максимова, Алика Гинзбурга и т. д.), коих я приглашал время от времени для поддержания интереса слушателей...

Вообще кружки являлись одним из главных направлений работы РСХД: они помогали собирать вокруг Движения довольно значительную группу людей не только на время летних каникул, но и в продолжение всего года, вовлекая их одновременно и в круг движенческих идей, и в каждодневную деятельность по их непосредственной реализации, – как бы воссоздавая тем самым живую, саморазвивающуюся среду, что некогда принято было называть в России христианской общественностью. Среди кружков были и патристический, и социальной помощи, и иные. Устраивались и общедвиженческие мероприятия: осенний и весенний съезды, киносеансы, всевозможные лекции и праздничные сборища... Если добавить к этому приходскую работу, имевшую четкую церковную направленность, но так же органично входившую в движенческую жизнь, добавить возглавлявшийся Кириллом Ельчаниновым фонд, четверговую школу, издание журнала и всю деятельность ИМКИ, стоявшей несколько поодаль, но юридически и идейно принадлежавшей Движению, то делаются ясными роль и место РСХД в русскоязычном Париже.

Особенно очевидным становилось это на фоне общего угасания «староэмигрантской» общественной жизни. Не говоря уже о баснословных предвоенных временах, когда Париж был столицей русского рассеяния, даже пятидесятые годы казались цветущими в сравнении с более поздними. Причины тут были и чисто биологического свойства – старение и физический уход из жизни множества социально активных людей, и демографические – переезд значительной массы эмигрантов из нищей и разоренной Европы в Соединенные Штаты в первые послевоенные десятилетия.

Появление «третьей волны» в начале семидесятых и ее активные попытки наладить собственную социальную жизнь оказались не слишком успешными: малочисленность новой эмиграции не давала возможности реально возродить русскую общественность, а специфический состав ее – в основном люди творческие – приводил к заведомой ущербности всевозможных затей: существование культуры требует наличия отнюдь не одних творцов, но в не меньшей степени и потребителей. Отсутствие последних создает безвоздушное пространство, в котором культурная жизнь неизбежно задыхается и вместо естественных путей развития обречена на паллиативы. Для «первых» это оборачивалось либо полным замыканием на себе (как было, например, с Русским морским собранием: наведавшись туда несколько раз в поисках биографических справок, нужных для подготовки колчаковских материалов, я обнаружил в прекрасном, отлично сохраненном доме лишь нескольких глубоких стариков – бывших гардемарин, почти ничего не помнивших и ничем связанным с покинутой родиной не интересовавшихся; единственным, кто смог дать мне хоть какие-то сведения, оказался сын адмирала Развозова, хранивший память об отце), либо – в лучшем случае – попытками наладить связи с «единомышленниками» в метрополии. Для «третьих», наоборот – стремлением к интернационализации, когда региональный анклав заменяется всемирным, издания на иностранных языках ценятся больше, чем на своем собственном, а любимым конференциям или собраниям натужно придается статус международных съездов и симпозиумов (чтобы убедиться в сказанном, достаточно взглянуть на состав редколлегии парижского «Континента» или на провалившуюся попытку создания «Интернационала сотрудничества»).

Отсутствие собственной компактной среды, включающей массового потребителя культуры и своих же меценатов, неизбежно приводит еще к одному, поистине роковому обстоятельству: финансовой удавке и поискам «спонсоров» в иноязычном окружении, чаще всего государственным или достаточно тесно с государством связанным (в большинстве случаев – с Соединенными Штатами как страной, наиболее богатой и по геополитическим соображениям заинтересованной в подобного рода деятельности). Чем это оборачивается, нетрудно понять: выколачивание грантов и дотаций становится условием *sine qua non* самого существования эмигрантских органов печати или общественных организаций и настолько прочно входит в сознание, что представляется уже естественным порядком вещей, а социальная значимость самих изданий определяется в большой мере стабильностью и размерами добываемых субсидий, которые, понят-

ное дело, редко бывают совершенно бескорыстными. Нет нужды говорить и о том, насколько это противоестественное положение разлагает эмигрантскую среду, ломает людей, уродует и мертвит весь культурный процесс...

В РСХД, во всяком случае, в середине семидесятых, когда я в нем появился, – ситуация была несколько иной: хотя упомянутые биологические факторы чувствовались и здесь, – оно еще не окончательно заостенело. Вероятно, причины столь необычной для эмигрантской организации «живучести» следует искать в самой изначальной идее Движения, заложенной еще отцами-основателями – Булгаковым, Бердяевым, Зандером, Зеньковским – и восходившей к русскому религиозному возрождению начала века, вслед за Владимиром Соловьевым осознавшему вселенскость церкви и вселенскость христианской культуры, воспринимаемой как процесс ежедневного воцерковления жизни. Сочетание религиозной и культурной составляющих, понимаемых таким образом, спасало Движение от двух самых распространенных опасностей: ухода в национальную замкнутость, столь обычного для множества «первоэмигрантских» организаций, и крайней политизации любых культурных начинаний, характерной для «вторых» и «третьих».

Хотя деятельность Движения со времен войны сильно сузилась географически (отпали все прибалтийские и центральноевропейские его ветви), в семидесятые годы оно еще чувствовало себя вполне интернациональным. Поддерживали это ощущение и постоянные встречи с экуменическими организациями во Франции и во всей Европе, и контакты с зёрновским Содружеством святомученика Албания и преподобного Сергия Радонежского в Англии, и тесные связи с Американской автокефальной церковью (достаточно сказать, что владыка Сильвестр – архиепископ Монреальский и Канадский, был председателем Движения, а отец Александр Шеман – декан Свято-Владимирской семинарии под Нью-Йорком и один из фактических строителей православной церкви в Соединенных Штатах – его вице-председателем)... Это вполне естественно: перечисленные выше лица (и не только они) были в прошлом, да и в настоящем – активными движенцами (скажем, Николай Михайлович Зернов – одним из первых редакторов «Вестника») и сохраняли верность своей молодости и движенческим идеалам. К этому добавлялись дружеские или родственные связи, с давних лет соединявшие большинство из них. По существу, Движение составляло как бы одну большую, разбросанную по всему свету семью, ощущавшую свою кровную (или духовную) связь с парижским центром и при всей неровности отношений, при всех коллизиях и драмах, разрывах

и отпадениях, неизбежных в любой семье, эту связь любовно хранившую...

Именно такое ощущение «семьи» было для меня наиболее сильным в те годы. Возникло оно уже в лагере, а по возвращении в Париж укреплялось с каждым днем – по мере общения с Никитой и все более тесного вхождения в РСХД. (Впоследствии мне пришлось познакомиться и с обратной стороной этого «семейного» уклада...) Помню нашу первую довольно едкую пикировку с Марией Васильевной Синявской – в кафе на авеню Рапп, где находилось тогда парижское бюро «Свободы». Она только что закончила монтаж своего журнала, а я вышел от Ризера. Мы отправились чего-нибудь выпить, и в продолжение часа Маша на правах старожилки доказывала мне, сколь отвратительны «первые», в особенности «клерикалы и ханжи, как ваш Струве», и насколько важно противопоставить им свои культурные начинания. А я, только недавно вернувшийся из Сен-Теодре, с горячностью неопита защищал честь вновь обретенной семьи, пытаясь убедить собеседницу в том, что сеять при дороге бессмысленно, и гораздо плодотворнее найти общие точки с Движением и ИМКОЙ, за которыми полувековые корни, философская традиция и едва ли не единственная на сегодня конструктивная идея, возможно, более всего нужная в России...

И все-таки даже столь необычные внутренние связи, скорее всего, не уберегли бы Движение от неизбежной судьбы эмигрантских организаций, не будь еще одного обстоятельства: попытки выхода за собственные пределы – «открытие» в сторону метрополии. Это не поиск мифических «единомышленников», чаще всего подставных (на чем горели все: от Шульгина и Савинкова, евразийцев и младороссов – до НТС), а поиск реальной страны во всей ее непохожести ни на град Китеж, ни на империю зла, и в ней – отыскание и поддержку всего живого, что могло вселять хоть какую-то надежду на ее будущее, особенно в сфере христианской культуры...

В этой попытке «открытия к России», безусловно, неопределима роль Никиты Алексеевича Струве. Начиная с середины шестидесятых годов, с поразительным упорством рыхлил он движенческую почву, отыскивая пути в метрополию и доказывая Совету РСХД и акционерам издательства, что без постоянной живой связи с Россией Движение обречено, – мысль, ставшая в последующие годы для большинства зарубежных организаций азбучной, хотя и недостижимой истиной. Но в 60–70-е такая направленность чаще всего встречала у старой эмиграции полное непонимание: для одних РСХД, а в особенности ИМКА и «Вестник», представлялись «масонской ложей», для других – приложением к церковно-приходским журфик-

сам (как называли некогда острословы бердяевские домашние собрания). Если учесть, что и само рождение ИМКА-Пресс было связано с иноверческой – протестантской – организацией (Young Men Christian Association), то для ревнителей чистоты православных риз в деятельности издательства всегда ощущался привкус какой-то неортодоксальности и уже в силу этого – подозрительности...

Много раз задавался я вопросом: почему именно Никита стал настоящим мотором этого процесса открытия в сторону метрополии? Ну, допустим, счастливое стечение обстоятельств: семейная традиция (дед и дядя), знакомство с Ахматовой, через нее, а затем в еще большей степени через Надежду Яковлевну Мандельдельштам – выход на Солженицына, на московских и питерских интеллигентов... Ну, крушение Чеховского издательства, пришедшее на эти годы и буквально вытолкнувшее ИМКУ из того круга интересов, что описывался ходившей по Парижу эпитафией «...отвечает ИМКА – мы издаем одни псалмы»... Но все эти внешние обстоятельства еще ничего не объясняют. Ахматова встречалась в ту зарубежную поездку со множеством людей, в Европе и Штатах действовали и другие русскоязычные издательства, да и тех, кто ощущал необходимость связи с метрополией, было в эмиграции немало, в том числе и в самом Движении...

Никита не был харизматиком, как Солженицын, златоустом, как отец Александр Шмеман, крупным ученым, как Глеб Петрович Струве, или даже работягой, как Борис Андреевич Филиппов. Он плохо говорил, волновался до заикания, выступая перед большой аудиторией, мучительно писал передовицы для «Вестника», любил посибаритствовать, не слишком легко сходилась с людьми, обладая репутацией человека едкого и высокомерного, да еще и интригана... Но несмотря на все это, именно ему суждено было на рубеже 60–70-х превратить скромный движенческий бюллетень в серьезный, наиболее читаемый и почитаемый в России тамиздатский журнал, а небольшое, даже по заниженным эмигрантским понятиям, книгоиздательское дело – в легендарную ИМКУ...

Иногда мне казалось, что в основе этого феномена лежала как раз личностная «сглаженность», отсутствие ярко выраженного таланта, темперамента и пристрастий, которые неизбежно увели бы Никиту в научную, общественную или церковную область. Ему всегда было мало какого-либо одного рода занятий, он любил жизнь целокупно, получая удовольствие от самых разных ее проявлений и не зацкливаясь ни на каком. Я сказал бы, что в нем открывались черты образованного русского барства (толстовско-левинского типа), хотя Никита был скорее разночинцем (интеллигентом) по своим пристра-

ствиям и склонностям. Но определенная приподнятость над событиями, ровный и довольно поверхностный интерес ко всему, какая-то «онегинская» легкость перехода от одного к другому, определенный гедонизм – не только желание, но и умение получать удовольствие от жизни, – этими качествами (отмечу в скобках: совершенно мне недоступными) он был наделен сполна. По существу, он всегда оставался дилетантом, не в pejоративном, а в нейтральном значении этого слова, или скорее тем, что во французском языке называется «*touché a tout*» – человек, берущийся за все. Здесь нет ничего ужасного, наоборот, для профессиональной «общественной деятельности» такой склад личности, по-видимому, необходим, даже если по «гамбургскому счету» он остается поверхностным. В сущности, Никита был не творцом, а, скорее, популяризатором. При этом, в силу своего дилетантизма, в любом тексте (письменном или устном) он всегда поднимал планку как можно выше – туда, где детали, требующие практического знания, делаются малоразличимы, зато полет мысли становится упительным, слова – завораживающими, а любое утверждение приобретает некий метафизический привкус. Это, на мой взгляд, – вообще глубоко русская черта, в огромной степени свойственная отечественному «образованному обществу» уже в эпоху Великих реформ, а в нынешнем веке – и подавно. Как удалось эмигранту, родившемуся во Франции, сохранить это «посконно-русское» качество – особый вопрос, но оно было присуще ему в высшей степени, равно как и какое-то инстинктивное ощущение России, как бы «поверх реалий». (Вот лишь маленький пример: сидим у нас дома, я ставлю на магнитофон записи Жванецкого – еще молодого, целиком построенного на абсурдистском синтаксисе и лексике брежневских времен; Маша вежливо молчит, не в состоянии уловить смысла, Никита – от хохота сползает со стула...)

Может быть, именно здесь – в этом инстинктивном, «поверх реалий», ощущении страны – и следует искать причины «попадания в десятку», здесь объяснение той необычайной популярности, какой пользовался «Вестник» в 70-е годы у советских интеллигентов, после полувековой амнезии открывавших для себя заново русскую религиозную философию. Имена Бердяева, Флоровского, Булгакова, Франка, Федотова служили паролем для вхождения в «приличное» общество, копавший немного глубже (т. е. читавший Флоровского, Карсавина, Вышеславцева, о.Киприана Керна или Зеньковского) почитался духовным авторитетом, а ссылавшийся на отцов церкви – чуть ли не классиком... Казалось бы, все это – самые обычные «подростковые» явления, но для российской общественности, по сути необычайно молодой, они остаются едва ли не главной родовой чер-

той, постоянно и роковым образом воспроизводясь с каждым новым поколением, с каждым новым пересмотром интеллигентских взглядов и ценностей... Для такого сознания популяризаторская деятельность «Вестника» была альфой и омегой: она открывала совершенно иной угол зрения, давала пищу для размышлений и анализа, информацию о прошлом и настоящем, а заодно с этим – набор имен, ссылочный аппарат и прочие атрибуты «серьезно и патриотически мыслящего человека»...

Все эти рассуждения отнюдь не призваны умалить достоинство журнала или его редактора. В продолжение многих лет «Вестник» оставался моим любимым чтением, а годы работы в нем и в ИМКЕ я до сих пор вспоминаю как самые счастливые в своей жизни. Просто я отношу себя к тем же дилетантам, но уже из поколения «поздних шестидесятников», и теперь, по прошествии четверти века, когда очевидны плоды этой деятельности, пытаюсь определить реальную, а не мифологизированную ее суть. Безусловно нужная в те годы, работа ИМКИ и «Вестника», тем не менее, оставалась в значительной мере популяризаторской, если не по интенции, то по своему общественному восприятию. Возможно, для издательства и журнала такое направление и следует считать нормальным (поклоняются же нынче в России Сытину или даже Суворину), однако мне всегда казалось, что здесь все зависит от точки отсчета. «Литературное наследство» – ведь тоже было «всего лишь» издательским проектом, но если что и останется от культурно-исторических начинаний советского периода, то именно такого рода книжная деятельность, по сути своей гораздо более творческая, нежели популяризаторская. Мы часто спорили с Никитой на эту тему, особенно когда он приводил в оправдание очередного ляпа привычный довод: «ну что же вы всем недовольны, оглянитесь на других, у них еще хуже», – а я никак не мог взять в толк, почему мы обязательно должны оглядываться, а не смотреть вперед...

В целом же сегодня я склонен думать, что хотя ИМКА считалась «культурным издательством» (и, бесспорно, была таковым), подняться выше этого уровня ей в 70–80-е годы так и не удалось, несмотря на все опубликованные бестселлеры. И как любое популяризаторское дело, она обречена была постоянно бежать за временем и общественными вкусами и в конце концов проиграть эту гонку – при изменении условий в метрополии и появлении новых, всегда более радикальных взглядов и отражающих эти взгляды изданий...

«Блюдайте как опасно ходите...» – начиналась одна из передовиц «Вестника» (№124). Обращена она была к ленинградскому журналу

«37», который мы представили в предыдущем номере отдельным разделом: «журнал в журнале». По существу же это предостережение относилось ничуть не в меньшей степени и ко всему Движению, что стало очевидно несколько лет спустя, да и к самому автору передовицы, в конце концов так и не разглядевшему опасности, позабывшему, что острота ощущений с годами притупляется, а харизма (особенно, если это харизма мести) – отнюдь не графский титул, что дается его обладателю раз и навсегда...

* * *

Впервые попав в ИМКУ, я был поражен несоответствием «союзных» представлений о ней с открывшейся реальностью: небольшой книжный магазинчик, да три с половиной издательских комнатки на втором этаже, тринадцать человек персонала, из которых едва ли не половину составляли «божьи одуванчики», мало понимавшие в том, что происходит, испытывавшие скорее дискомфорт, нежели интерес от расширения издательской деятельности, появления новых авторов, странных отношений с ними (большинство авторов ведь были чужаками, «советскими», да и жили за «железным занавесом», что вносило в работу дополнительный и особо пугающий элемент конспирации).

Представления мои об издательской или журнально-редакционной работе базировались тогда исключительно на советском опыте: миллионные тиражи, громадные типографские комплексы, редакции журналов с десятками служащих – от литсотрудников до курьеров и непременных вахтеров, – словом, хоть и второсортное, но вполне номенклатурное царство. Здесь же обстановка напоминала скорее о мемуарах начала века, ощущение было таким, как если бы вы оказались в каком-нибудь «Мусагете», чудом пережившем полувековые потрясения, но при этом изрядно польсевшем, заросшем паутиной и плесенью... (По-видимому, это было не только мое впечатление: как-то через несколько лет, когда Толя Гладилин пришел в магазин получать деньги за отданный на комиссию «Большой беговой день», – милейшая Мария Вадимовна, наш бухгалтер, явно желая ему польстить, поздравила автора с успехом: продано двадцать экземпляров, – на что Гладилин задумчиво и печально ответил: «Это успех?! О чем вы говорите? В Москве у меня были полумиллионные тиражи, которые расходились, как горячие пирожки...»)

Издательство и магазин составляли единый комплекс, к которому примыкал и «Вестник», формально относившийся к ведению РСХД.

В те годы в Париже, если не считать антикварных лавочек, было три крупных русских книжных распространителя: «Дом книги», «Глоб» и «Les Éditeurs Reunis» («Объединенные издатели»). Естественно, каждый имел свою специфику.

Оптовую продажу советской литературы монополизировал «Дом книги», основанный Михаилом Капланом еще в 30-е годы, а в 50-е ставший главным контрагентом советской Межкнига. Каплан обслуживал университетские и публичные библиотеки по всей Европе, отчасти даже в Соединенных Штатах, где конкурировал с книготорговой фирмой Камкина. В семидесятые годы «старик», правда, уже отошел от активной работы и лишь «отсиживал в лавке», общаясь с покупателями или просматривая новинки. Реально делом управляли его сыновья: Георгий и Борис. Располагался «Дом книги» в помещении бывшей русской читальни, находившейся здесь еще с прошлого века, в тихом крошечном дворике на rue l'Érepon, в двух шагах от старейшего медицинского факультета Сорбонны. Лавка имела вид вполне патриархальный, состояла из двух комнат, от пола до потолка набитых самыми разнообразными книгами, точного перечня коих никто толком не знал. Как-то, копаясь в завалах верхних полок, Юра Николаев обнаружил несколько первоизданий Набокова, на которых стояла смехотворная для таких раритетов цена, правда, купить их он так и не смог, ибо хозяин, мгновенно оценив находку, заявил, что книги не продаются...

Впрочем, лавка оставалась лишь данью традиции и представительским помещением. Настоящая жизнь кипела на складе – гигантском подвале на Монпарнасе, где царствовал Георгий Михайлович и где, собственно, и осуществлялась перекачка советской печатной продукции в западные библиотеки. Здесь велась работа по приему, сортировке и отправке книг, составлялись каталоги новых поступлений, ежемесячно рассылаемые покупателям, принимались и делались заказы. Сам Жорж дважды в год ездил в Москву – для заключения договоров и отбора книг по издательским планам. Был он чрезвычайно жизнелюбив, бодр, всегда элегантен, весел и прямо-таки излучал деловую энергию, в отличие от своего антипода, старшего брата Бориса – человека тихого, медлительного, застенчивого и грустного, уступавшего Жоре и в темпераменте, и в коммерческой хватке, и в знании книги. Впоследствии Борис заменил отца в магазинчике на rue l'Érepon, полностью оставив бразды правления немалому брату...

«Дом книги» разорился незадолго до моего переезда в Россию, летом 90-го года, когда лопнула Межкнига, немедленно прекратившая выплату денег кредиторам. Неудачная попытка спасти если не

все дело, то хотя бы помещение на rue l'Éreçon, издавна принадлежавшее русским, – было последнее, чем довелось мне заниматься в Париже. Вместе с Николаем Васильевичем Вырубовым, возглавлявшим Земгор, и Марией Васильевной Синянской мы попытались составить ассоциацию для возрождения русской лавки-читальни. Братья Капланы готовы были уступить помещение за сравнительно небольшую сумму, с тем условием, что Борис останется служащим в лавке (Жора решил вовсе расстаться с книжным делом). Выкупить аренду магазина в одиночку, тем более в столь дорогом районе, оказалось затруднительным, и потому решено было действовать вскладчину, создав некоммерческое общество, которое управляло бы читальней.

Объединение усилий представлялось тем более важным, что предприятие обещало навсегда остаться «планово-убыточным» – рассчитывать на последующую прибыль от продажи книг не приходилось. Вырубов привлек к делу племянника – Никиту Лобанова-Ростовского, однако тот поставил условием своего участия в затее привлечение к ней также и Советского фонда культуры, интересы которого представлял бы журнал «Наше наследие». Когда все уже было оговорено, а документы практически готовы – случилось непредвиденное: таинственная гибель британского газетного магната «красного миллиардера» – Роберта Максвелла, издававшего журнал. В результате «Наше наследие» исчезло из ассоциации столь же стремительно, как и появилось в ней, а Лобанов-Ростовский и вслед за ним Земгор приостановили свое участие в деле... Все начинание рухнуло, по сути так и не начавшись, магазин отошел к французам, а несчастная Маша, приобретшая у Капланов множество книг со склада, еще долго хранила их во флигеле в Фонтене-о-Роз. Часть этих книг, запакованных в полиэтиленовые мешки для мусора, и сегодня лежит у нее во дворе...

Другим русским магазином в Париже был «Глоб» – местный вариант советской «Березки», созданный при участии французской компартии. Если подводной частью «Дома книги» оставался склад на Монпарнасе и комплектация библиотек, то профиль «Глоба», помимо книготорговли, определяла квазикультурная деятельность совместно с Обществом франко-советской дружбы и другими организациями подобного толка. О подводной же части этого «айсберга», если таковая существовала, лучше не думать... Занимал «Глоб» роскошное двухэтажное помещение на rue Бюси, все в том же Латинском квартале. Здесь продавались советские книги и единичные эмигрантские издания, а первый этаж отведен был под художественные альбомы, путеводители, пластинки и россику.

Наконец, третьим были «Объединенные издатели» вместе с ИМКОЙ. Хотя небольшая часть помещения отводилась под советские книги, основу деятельности магазина составляло распространение эмигрантской литературы, а с 79-го года к этому добавился и антикварный отдел, открытый нами в крохотном магазинчике на соседней rue de Sèvres. (Последний, увы, просуществовал недолго: вскоре после моего ухода из ИМКИ в начале 82-го покинул «Объединенных издателей» и Юра Николаев, что фактически привело к свертыванию антикварной работы.)

Но сердцевиной всего дела была, несомненно, книгоиздательская активность, с начала семидесятых годов постоянно возрастающая.

Управлял ИМКОЙ и «Les Éditeurs Reunis» Иван Васильевич Морозов, ставший директором издательства еще в 62-м году, когда оно переехало с Монпарнаса в Латинский квартал – на улицу горы Святой Женевьевы. Правда, когда я появился в Париже, директорство это было уже в значительной мере формальным, распространяясь скорее на магазин, чем на деятельность ИМКИ, которую реально возглавлял Никита, сосредоточивший в своих руках все связи с авторами, особенно в метрополии. Здесь Иван Васильевич просто не тянул, не понимая ни специфики, ни даже сути новых отношений, стремительно расширявшихся и полностью проходивших мимо него.

Уроженец Печорского края на Псковщине, до войны входившего в состав Эстонии, Ваня Морозов приехал в Париж в 38-м году поступать в Свято-Сергиевский богословский институт и застрял на подворье из-за начавшейся войны. После освобождения Франции и возобновления деятельности РСХД он стал его секретарем и первым редактором послевоенного «Вестника», а впоследствии, когда Международная УМСА решила передать Движению свое издательство, – возглавил книжное дело. В его представлении оно полностью идентифицировалось с той движенческой семьей, в которую он вошел с юности, к которой привык и которой отдал большую часть жизни, а книгоиздание ограничивалось публикацией пятитомного Закона Божия, служебников, требников, трудов подворской профессуры и отчасти философов начала века. Появление рукописей совершенно иного направления (а в число авторов входили не только Солженицын, но впоследствии и Войнович, и Веничка Ерофеев, и Кормер...), изменение масштабов, а главное – самого характера издательской деятельности оставалось ему абсолютно недоступным, пугало и раздражало, никак не укладываясь в привычные, десятилетиями не менявшиеся представления. К тому же, новые издательские программы несли в себе осязаемый материальный риск, а это – при резком со-

крашении финансовой помощи со стороны Международной YMCA – представлялось Ивану Васильевичу уже совершенно недопустимым...

Патриархальные нравы, царившие в издательстве, не смогло серьезно изменить даже появление солженицынских книг. Конечно, это было необычно – и по содержанию, и по общественному резонансу, конечно, пушечный успех «ГУЛага» внушал надежды на неопределенное, хотя и довольно приятное будущее, в котором новой России, а вместе с нею и ИМКЕ, принадлежала бы совсем иная роль... Но в сущности эта новая Россия была далеко и во времени и в пространстве, а парижская повседневность – здесь, под боком: и надо было ежемесячно выплачивать персоналу хоть и нищенскую, а все же зарплату, снимать складские помещения, выписывать бесконечные чеки типографам, налоговому ведомству, бумажным фирмам... Да и Солженицын оказался вовсе не такой уж высокоудойной короной. Ну, первый том «ГУЛага» действительно стал бестселлером: за ним – едва ли не впервые в послевоенной эмигрантской истории – стояли очереди в магазин. Но второй уже пошел похуже, а на третьем и вообще пришлось думать о сокращении тиража. Не говоря уже о «Теленке», тридцать тысяч экземпляров которого почти полностью гнили на складе...

Столь разный подход к издательской деятельности, к самому пониманию задач и смысла ее, вызывал постоянное глухое противостояние Никиты и Ивана Васильевича. Один твердил о «новом вине» и «новой крови», все больше ориентируясь на «союзных» авторов, вводя в орбиту издательских интересов неизвестные доселе темы и рукописи, другой – отстаивал традиционное направление дела, считая Никитину политику, как минимум, авантюрной. Бороться в открытую с Никитой и стоявшим за ним к тому времени Солженицыным он не мог, но на уровне повседневной работы это сказывалось постоянно. Никита преподавал в университете Нантера и появлялся в ИМКЕ два-три раза в неделю, а подписывать чеки, делать заказы, заключать договоры приходилось ежедневно... Нет, Иван Васильевич вовсе не саботировал Никитину деятельность, он просто ужасался ее, панически боясь банкротства и обмирая при одной мысли о своей ответственности в этом случае. А ужасаясь – совершал действия либо бессмысленные, либо просто убийственные, на исправление или хотя бы смягчение которых уходило время, нервы, деньги, силы... Как говорил отец Игорь Верник – настоятель женской церкви и старый Ванин друг – «ça lui derasse»... Страх этот усугублялся душевной болезнью, которую Иван Васильевич перенес в 70-м году и от которой так никогда и не оправился. Он

мучился, страдал, ощущая, как дело, которому отдана жизнь, в буквальном смысле выезжает из-под него, но страдание это было не катарсическим, а скорее – разрушительным, все больше загоняя его в замкнутое, мертвое, отгороженное от всего мира пространство. Появляясь в издательстве, он поднимался на второй этаж, запирался у себя в кабинете и почти не выходил из него, разве что на обед или покидая ИМКУ.

Большинство персонала относилось к несчастному Ване полупрезрительно, полуснисходительно, полагая настоящим своим лидером Никиту, а Ивана Васильевича воспринимая как печальную неизбежность. Лишь однажды – осенью 76-го года – это отношение приняло более резкие формы, когда сотрудники магазина устроили забастовку – в связи с покупкой Ваней нового «Рено» для «издательских нужд» и снятием дорогого подземного паркинга, – в то самое время, когда платить жалование было почти нечем, а о повышении его все забыли и думать...

Если на подворье, где Иван Васильевич преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте историю Русской Церкви, у него еще сохранялись старые дружеские связи, то в издательстве он был совершенно одинок. Одиночество и ужас усугублялись недавней историей, когда после высылки Солженицына из Союза в 74-м году и первого появления его в издательстве Александр Исаевич потребовал немедленного удаления Морозова с поста директора, поставив это условием дальнейшего сотрудничества с ИМКОЙ. Тогда Совет РСХД отверг ультиматум, в результате чего Солженицын на короткое время перешел в «Посев», который немедленно объявил собрание сочинений писателя и сильно на том погорел, ибо непредсказуемый автор вскорости вернулся в ИМКУ, уполовинив свои требования: отныне он не настаивал на немедленном снятии директора, но оговаривал, что ведет дела лишь с Никитой, и никто другой не может в них вмешиваться. Компромисс был принят, однако история эта окончательно показала Ване, по ком звонит колокол...

* * *

По-видимому, для понимания дальнейшего необходимо сказать несколько слов о структуре Движения и ИМКИ и о юридических взаимоотношениях их.

Повседневная жизнь РСХД направлялась Советом, который выбирался общим съездом. Кроме избранных членов, в Совет автоматически входили настоятель движенческой церкви, руководители фонда и молодежного отдела, редактор «Вестника» и директор

ИМКИ. Совет имел право кооптации новых членов (в частности, меня, по предложению Никиты, кооптировали в начале 77-го года).

Что же до издательства – оно представляло из себя обычное акционерное общество, управляемое комитетом пайщиков. Бывший владелец его – Международная УМСА, – приобретя помещение в Латинском квартале, передала Движению большинство акций, оставив лишь небольшую часть за своими представителями – Титболом и Андерсоном.

Некоторая трудность заключалась в несовместимости статуты двух организаций. Движение являлось некоммерческой ассоциацией, подчинявшейся законам, принятым еще в начале века и запрещавшим РСХД любую торговую или промышленную деятельность. Чтобы обойти это ограничение, Совет выделял несколько человек, которым передавались издательские акции и акции на недвижимость. Эти люди, собственно, и представляли РСХД в книжном деле. Тонкость состояла в том, что акции оформлялись юридически как частная собственность получавшего их лица (то есть могли передаваться по наследству, дариться, продаваться и т. д.), и вернуть их легальным образом Движение не имело никакой возможности. Так что все строилось на полном доверии. Но, с другой стороны, эти доверительные отношения обуславливали и то, что влиять на направление книгоиздательской политики РСХД могло лишь в самой общей и расплывчатой форме, а контроль за публикаторской и книготорговой деятельностью осуществлялся вполне формально – в виде общих годовых отчетов о состоянии магазина и утверждения приблизительных планов, которые затем обычно менялись...

Финансовое положение ИМКИ к середине семидесятых было катастрофическим. Передав акции Движению, Международная УМСА практически устранилась от субсидирования издательства: небольшие вливания были спорадическими, все более редкими и мизерными. Магазин, который должен был материально обеспечивать книгоиздание, своей функцией явно не выполнял. Несколько облегчал положение фонд Кирилла Ельчанинова, закупавший книги для пересылки в Союз, но даже при том, что Кирилл умудрялся добывать финансовую помощь от швейцарских протестантов, от католиков и от Джорджа Миндена, – его закупки никак не покрывали расходов. В начале 70-х несколько поправило ситуацию появление книг Солженицына: и «Август 14-го», и «В круге первом», и в особенности «ГУЛаг» на некоторое время стали для ИМКИ кислородной подушкой, но состояние больного улучшилось не надолго. После второго тома «ГУЛага» его русская продажа сильно упала, а издание тридцатитысячным тиражом «Теленка» и вовсе оказалось убыточным. От

иностранных же переводов издательство не имело ничего: международными публикациями ведал Клод Дюран, и хотя после его ухода из «Seuil» бюро мировых прав на солженицынские издания разместилось в ИМКЕ, материально это ей ничего не давало. Правда, существовали еще гонорары за радиопередачи на русском языке («ГУЛаг» читали все западные радиостанции), которые оседали в ИМКЕ и из которых нередко черпались средства для затыкания дыр. Но это была палка о двух концах, и второй ее конец Иван Васильевич ощутил в 78-м году, когда вновь встал вопрос о снятии его с должности директора..

Справедливости ради надо сказать, что почти таково же было и финансовое положение РСХД. Самообложения его членов катастрофически не хватало для оплаты всевозможных трат. Киносеансы, спектакли и прочие затеи давали крохи, а лихорадочные поиски средств на стороне успеха не приносили. Едва ли не каждая встреча Совета начиналась с дискуссий о том, где найти деньги на содержание движущегося дома. Дело доходило до анекдота. Помню, как на одном из заседаний всерьез обсуждался вопрос о покупке сена и последующей его перепродаже – операция почему-то должна была принести крупные барыши, во всяком случае, так полагал один из сыновей отца Александра Ребиндера – Серафим, работавший в банке и выступавший в данном случае финансовым экспертом... Все это уже сильно напоминало сцену из мюзикла Саши Журбина и Асара Эппеля (по бабелевскому «Закату»), когда евреи обсуждают в синагоге цены на овес...

* * *

Осенью 76-го, получив наконец от своих американских друзей переправленную через них коллекцию бардов, я предложил Никите издать ее. Собрание было достаточно обширным и представительным, а советская авторская песня оставалась на Западе практически неизвестна: посековская пластинка Галича, два французских диска Володи Высоцкого да несколько пластинок Булата Окуджавы, выпущенных «Мелодией», – вот и все, чем располагал в то время рынок. Здесь же было более тысячи песен, десятки авторов, различные школы и направления – словом, вполне целостный срез неофициальной песенной культуры, столь популярной в Союзе. В общем, можно было рассчитывать на успех, если не у западного слушателя, то уж наверняка у советских эмигрантов, которым не хватало привычной культурной среды. Да и не только у советских – та же Мария Вадимовна, когда впоследствии Володя Высоцкий, появляясь в Па-

риже, заходил за гонорарами, смотрела на него почти влюбленными глазами. С удовольствием слушал его и Никита, а кассету Бори Алмазова и несколько песен в исполнении Валеры Агафонова (главным образом, на слова Юрия Борисова – «Все теперь против нас, словно мы и креста не носили...», «Пятый год, эсеры жгут хлеба...», «Все февраль на душе. ...», «Прощание») даже попросил записать отдельно – «для отправки Исаичу в Вермонт...»

Главное же заключалось в том, что ИМКА практически ничем не рисковала: я предложил сначала смонтировать все издание, подготовить и набрать тексты, что брался осуществить сам, а затем объявить подписку с предварительной оплатой. Таким образом, тираж делался на полученные деньги и в том объеме, какой определялся подпиской. В случае успеха ИМКА зарабатывала немалые средства, в случае неудачи – не теряла ровным счетом ничего. Полагаю, что последнее обстоятельство и стало решающим: Никита полностью принял и саму идею, и план ее реализации, а я засел за магнитофон и машинку.

К весне 77-го монтаж и перепечатка текстов были завершены, пора было переходить к изготовлению матриц.

Совершенно не помню, как я познакомился с Жилем Бернаром, кажется, это произошло в студии какого-то художника на Монмартре. Бернар был личностью абсолютно для меня необычной. Эстрадный певец, начинавший свою карьеру рядом с Джонни Холидеем и Эдди Митчелом как исполнитель роковых композиций, он впоследствии полностью от них отошел и, обратившись, стал исполнять исключительно религиозную музыку, в протестантском, довольно широко в те годы распространенном понимании: сочинял и пел песни, славящие Господа, Его творение и радость созданного Им мира...

Жил он в восточном предместье Парижа с женой – милейшей, вероятно гостеприимной и добросердечной сорокалетней женщиной, и двумя детьми, один из которых, Даниэль, был инвалидом – страдал от последствий полиомиелита и практически не передвигался. Кажется, именно болезнь сына послужила причиной обращения Жилья в христианство. Супруги имели небольшой уютный коттедж и рядом громадный двухэтажный сарай, превращенный в студию, где Бернар записывал и размножал кассеты со своими песнями, хранил оборудование для концертных поездок и изредка выполнял заказы со стороны по изготовлению кассет. Гастрольные выступления проходили постоянно, и, набив старенький «Пежо-404» акустической аппаратурой, Жиль почти каждую неделю исчезал из дома на два-три дня, оставляя дела на жену и своего единственного помощника –

семнадцатилетнего несколько странного, болезненно заторможенного парня, которого, при всей его очевидной беспомощности, в семье очень привлекали.

В Высоцкого Жиль влюбился сразу, окрестив его «советским Брелем». По-русски Бернар не понимал ни слова, но ухо музыканта безошибочно выделило Володю из других исполнителей. Он согласился не только произвести за не слишком высокую плату весь тираж, но и предоставил мне студийную аппаратуру для окончательного монтажа и подготовки матриц. Почти три месяца провел я на втором этаже его сарая за двумя громадными стационарными магнитофонами, бесконечно переписывая и переклеивая пленки, стараясь придать им более представительный вид. Здесь же совершил я и первую ошибку, свойственную всем новичкам: качество некоторых записей было не самым лучшим – ведь производились они в России, часто на совершенно допотопной аппаратуре во вполне диких условиях. Однако хотелось сделать издание как можно более полным. Часть некачественных записей удалось переделать здесь же: Александр Аркадьевич Галич перепел десяток своих песен в студии на «Свободе», и хотя лично мне старое исполнение было гораздо ближе, чем его новая «концертная» манера, – я, естественно, заменил плохие варианты. Гораздо хуже оказалось дело со знаменитым «политическим» концертом Юлия Кима и с некоторыми записями совсем еще молодого Володи Высоцкого. Здесь деться было просто некуда, приходилось выбирать: полнота или качество. Я выбрал первое. (Точно такую же ошибку повторил я через несколько лет – в начале своей работы на радио, когда в семиминутный скрипт хотелось воткнуть как можно больше информации, поэтому приходилось говорить очень быстро, – и о том, что оставалось после такого рода скороговорок в голове у слушателя, можно было лишь догадываться.) В результате после выхода собрания в свет мы получили несколько возвратов и рекламаций от заказчиков. По счастью, во втором издании удалось эти просчеты устранить – благодаря доброму ленинградскому знакомому, страстному коллекционеру Володе Ковнеру, который сидел в то время «в отказе» и по выходе «Собрания песен русских бардов» составил полный перечень ошибок в текстах и переправил мне лучшие варианты записей. Так что при новых изданиях мы уже не имели претензий со стороны заказчиков...

К концу весны все было готово, и в мае мы объявили подписку на собрание песен, дав рекламу в «Новое русское слово» и в «Русскую мысль». Обложку четырех томов с текстами сделал Лева Нусберг, некогда довольно известный питерский художник, живший тогда неподалеку от меня, на рю Рошешуар, с двумя роскошными

русскими борзыми, привезенными из Питера. Впоследствии он переехал в Штаты, где осел под Нью-Хевеном, занявшись исключительно разведением борзых и изготавливая «для души» рисованные ручной работы книжки в единственном экземпляре, а «для тела» – попивая «смирновку» и парясь в сауне в компании Эдика Штейна и Юза Алешковского...

Заказы пошли незамедлительно, и к концу июня уже было понятно, что издание себя оправдало.

Мы принялись за тираж. Его изготавливал Жиль, а мы с Радой прослушивали каждую кассету – технология изготовления была достаточно примитивна, а поскольку Жиль не знал ни слова по-русски, при ракордировании начала и конца дорожки мог возникать брак: потеря слов. Уж не знаю, сколько тысяч раз прослушали мы с Радой «То ли шлюха ты, то ли странница...», «Сидели, пили вразной...» и прочие начальные строки каждой дорожки на кассетах. Но к октябрю тираж «Собрания песен русских бардов» был готов.

Подписка давно завершилась, а заказы все шли, и, несмотря на некоторое число возвратов, становилось ясно, что придется делать второй завод. В исправленном и дополненном виде мы выпустили его в следующем году, присовокупив тираж десятка отдельных авторских кассет наиболее популярных исполнителей, что, по существу, составило третье издание. (Одновременно ИМКА объявила подписку на полное собрание сочинений Солженицына, и мы с Никитой заключили шуточное пари о том, кого эмигрантский народ любит больше. Весь год по числу заказов лидировали барды, и лишь в следующем – 79-м, когда подписка на «Собрание» завершилась, – Александр Исаевич начал постепенно, но уверенно выходить вперед, правда, уже в отсутствие конкурента...)

В целом успех всей затеи – сорокачасового собрания и отдельных кассет – оказался неожиданно велик, ИМКА заработала где-то около восьмисот тысяч франков, что позволило ей, хотя бы некоторое время, дышать гораздо свободней.

Правда, деньги за подписку приходили постепенно, и по мере поступления исчезали в черной дыре текущих трат и долгов. Я требовал от Никиты открыть отдельный счет, чтобы сохранить хоть часть полученной прибыли, но сделать это оказалось крайне сложно ввиду противодействия Ивана Васильевича: деньги нужны были каждый день. В результате первое издание оказалось полностью проедено, и лишь на втором мы смогли пустить заработанное в дело: приобрели наборную машину и постепенно перевели издательство на собственное изготовление оригинал-макетов, что сэкономило почти треть в расходах на производство книг...

Наезжавший в Париж Володя Высоцкий очень радовался выходу Собрания – впервые и наиболее полно (более четырехсот песен) представившего его творчество. Ликовал и Александр Аркадьевич, после неудачи с посевовским диском потерявший надежду увидеть все свои песни изданными. Он сам выверял тексты (непоправимо уродуя верстку, поскольку вносил поправки гигантским фломастером), прослушивал записи, рассказывая при этом массу сопутствующих баек и веселясь, как ребенок. Увы, радость оказалось недолгой. 15 декабря 77-го года Галича не стало. Погиб он дико, нелепо – от электрического разряда, закоротив розетку при установке новой, только что приобретенной им антенны. Нюша позвонила в три часа дня, совершенно вне себя, из крика и рыданий можно было вычленишь лишь одно слово: «Саша»... Я прыгнул в машину и помчался к ним – на пляс Виктор Гюго. В квартире была Таня Максимова, пытавшаяся хоть как-то унять бившуюся в истерике вдову. Александр Аркадьевич лежал на полу своего кабинета, на спине, в распахнутом халате, держа в руках антенну. Рядом валялась инструкция по ее установке и упавший с ноги тапок... Приехали Максимов, Некрасов, кто-то еще... Потом явилась полиция. Тело забрали для судебно-медицинской экспертизы. Лишь незадолго перед этим разразился скандал с «болгарским зонтиком» (убийство журналиста «Свободной Европы» Маркова, осуществленное агентом болгарской спецслужбы с помощью зонта с отравленной иглой на конце), и все искали в происшедшем след КГБ. Тем более, что в момент несчастного случая Галич был в квартире один: Нюша вышла за покупками... Потом – панихида на рю Дарю, похороны на Сент-Женевьев де Буа, долгие, прочувствованные и бессмысленные речи. Все были потрясены: Галич стал первым из «наших», кто ушел из жизни, едва переехав на Запад. Вторичное потрясение испытал я через две недели, когда в новогодней передаче «Свободы» неожиданно услышал его голос: Александр Аркадьевич рассказывал о том, как счастливо сложилась его жизнь в 1977-м: концерты, поездки, бесчисленные встречи с людьми, выход книги в «Посеве», а к концу года – бесценный подарок издательства ИМКА-Пресс, выпустившего практически полное собрание его песен...

* * *

В том же 77-м пришла из Питера и рукопись второго тома «Памяти». Первый Наташа Горбаневская отдала Чалидзе еще полтора года назад. У Валерия Николаевича он оказался по причинам вполне очевидным: «Континент» книг не печатал, а при моем отъезде из

Ленинграда никому (и мне первому) не могло прийти в голову, что через год я окажусь в Париже, в ИМЖЕ, и смогу издавать сам. Что же до Натальи, то для нее сомнений не существовало: Чалидзе – плоть от плоти диссидентского движения, к тому же старый «хроникер», и опубликовать пришедшую из Союза самиздатскую рукопись, совершенно естественно, следовало ему.

Неприятность заключалась в том, что «князь» (прозвище Чалидзе) гробил буквально каждую рукопись, оказавшуюся в его руках. Вид выпускаемой им продукции был таков, что книгу неприятно было даже взять в руки: серая или белая «слепая» обложка, просвечивающая бумага, неопрятная печать, отвратительная верстка и макет, дикое число ошибок с переставленными или утерянными строчками, явной абракадаброй в тексте – создавалось впечатление, что корректуру в издательстве Валерия Николаевича держит он сам, да и то лишь в свободное время. (На всю жизнь запомнил я слова нашего типографа – многому меня научившего милейшего Леонида Михайловича Лифаря: «корректуря требует смирения»; впрочем, о нем – несколько позже.) Не исключаю, что столь странное отношение к выпускаемым книгам осталось у Чалидзе от старой самиздатской деятельности, где значимость «Хроники текущих событий» определялась ее информативной стороной, а не полиграфическими изысками, которых «Эрика» все равно не давала. Но как бы то ни было, результат его работы оказывался катастрофическим: книга почти не могла дойти до читателя, тем более вызвать серьезный отклик, оставаясь предметом изучения лишь для узкой группы советологов и заполняя полки минденковского Международного литературного центра – в ожидании отправки в Россию. Возможно, для самиздатской и правозащитной публицистики такая судьба была допустимой, но «Память»-то претендовала на совершенно другой статус – научного, почти академического труда...

Следить за ходом работы через океан Наталья не могла, попытка забрать у Чалидзе рукопись окончилась провалом: «князь» заявил, что уже сильно вложился в нее материально и намерен довести книгу до конца. В результате первый том «Памяти» вышел в совершенно непотребном виде, ребята были расстроены и даже решили было, что издание окончательно загублено и никогда не сможет выйти из обычного самиздатско-диссидентского рьяда.

По счастью, со вторым томом все случилось иначе. Правда, когда я приволок его в ИМКУ, Иван Васильевич засомневался, стоит ли вообще браться за шестисотстраничную махину, коммерческий успех которой отнюдь не обеспечен, а имена авторов и публикаторов практически никому неизвестны. Но после успеха «Собрания

песен русских бардов» приводить этот довод стало значительно труднее, да и Никита полностью поддержал книгу, сразу оценив содержание рукописи и поняв, что издание открывает целую серию историко-культурных работ и обеспечивает выход на совершенно новые круги внутрисоюзных авторов...

Обложку для сборника сделал Аркадий Мошнягер – кишиневский художник, эмигрировавший с матерью в Израиль, а затем перебравшийся в Париж и пытавшийся в те годы закрепиться во Франции. Для нас он выполнил несколько заказов, но бесспорно лучшая его работа (и вообще едва ли не лучшая обложка всех изданных мною книг) была связана именно с «Памятью»: строгая, чрезвычайно благородная шрифтовая надпись в правом верхнем углу, а в нижней половине – серебряный прямоугольник, представлявший собой разорванный и сложенный по линиям разрыва лист бумаги. Все это было сделано «вывороткой», то есть белой и серебряной краской, проступавшей на темном фоне (черном, синем, бордовом – в зависимости от тома), что усиливало ощущение лаконичности и вместе с тем изысканности книги, при этом без нажима, но вполне четко и однозначно определяя ее смысл.

Печатали мы «Память» в украинской типографии на рю дю Сабо. Была она крошечной: три лино типа, кассы ручного набора и одна старенькая печатная машина (брошюровка производилась в другом месте); выпускала на «рідной мове» газету умеренно националистического направления «Украинский голос», печатала сочинения самостийных авторов, но в основном работала на заказ, чтобы сводить концы с концами, поскольку финансовая помощь, приходившая от американо-канадской украинской общины, была крайне нерегулярной и недостаточной. Управлял типографией тогда еще совсем новый директор – Малинович – человек милый, хотя и ничего не понимающий в деле, за которое взялся. Правда, были у него и несколько «зубров», тавивших на себе все дело: старейший парижский наборщик Жозеф, печатник Зебио и заместитель Малиновича – «мсье Александр», который, став года через три-четыре директором, руководил типографией до осени 96-го.

В те времена в Париже было четыре «русские» типографии (конечно, русские книги не были их основной продукцией, но эта цифра сама по себе достаточно говорит об издательской активности эмиграции): наиболее крупная – совместное дело Березняка и Лифаря; кроме него, небольшая печатня на улице Акации в шестнадцатом арондисмане; типография Шарля на Менильмонтан, где печаталась «Русская мысль»; и украинцы. Фотонабор еще только входил в обиход, и подавляющее большинство русских книг делалось горячим

способом – в металле, на линотипах. При небольших тиражах эмигрантской литературы такой способ изготовления был значительно дешевле, да и вообще работа с металлом имеет свою прелесть: по богатству гарнитур горячий набор далеко опережал только зарождавшиеся электронные машины, а сам вид металлической гранки несравним с бромюром и вызывает забытое ныне ощущение избранности типографского труда, недаром же печатники всегда составляли рабочую элиту... Кстати, даже перейдя полностью на фотонабор, я впоследствии не раз пользовался ручными кассами украинцев для изготовления шмуцов «Минувшего» или набора титульных листов...

Корректуру держала Наташа, после неудачи первого тома чувствовавшая себя виноватой. Она же выверяла по верстке подготовленный ребятами именной указатель. Последняя корректура делалась прямо в типографии, ибо при горячем наборе для исправления одной ошибки переливается вся строка, что может дать целую кучу новых ляпов...

В результате книга получилась отличной, и выход ее вызвал очень сильный резонанс. По существу, «Память» сразу же сделалась единственным самиздатским сборником, воспринятым научными кругами на Западе как полноценное академическое издание, без ссылок на которое отныне считалась невозможной ни одна серьезная работа по советской тематике. Ребята были счастливы, написав несколько восторженных писем о качестве новой книги, о том, что издание, кажется, спасено, и о том, как все чудесно складывается: «говнюшка», она же «лапочка» (клички «Памяти») – под присмотром от начала до конца, и за судьбу ее можно теперь не бояться. Мне они предложили поставить свое имя рядом с Натальей в качестве официального представителя редакции на Западе, от чего я тут же отказался: во-первых, слишком дорожил нашими отношениями, а для Наташи, крайне чувствительной к подобным условностям, это стало бы выражением недоверия и публичным оскорблением, а во-вторых, совершенно не стремился к тому, чтобы красоваться на обложке. Надо сказать, что долгое время видеть свое имя напечатанным было мне крайне неприятно и вызывало совершенно аллергическую реакцию. Даже на «Минувшем» я впервые поставил свою фамилию вынужденно – лишь потому, что по французским законам для периодических изданий обязательно указание имени редактора, что и пришлось сделать со второго тома, когда стало ясно, что альманах «пошел» и будет продолжаться...

Вообще, эти годы были для меня временем какого-то необычайного подъема, почти перманентной эйфории. Я успевал делать тысячу дел, и, как ни странно, все удавалось: переводов вполне хватало, чтобы нормально жить, не задумываясь о завтрашнем дне и обеспечивая помощь в Союз; работа в ИМКЕ и «Вестнике» доставляла в буквальном смысле наслаждение; в РСХД я вошел полностью и ощущал себя полноправным членом семьи; с осени 77-го начал преподавать в Институте политических наук, что дало выход на дипломатические круги и позволило наладить прямые связи с Питером.

Последнее было одним из самых главных и труднорешаемых вопросов: пересылка книг и денег в Союз, получение рукописей оттуда, постоянное письменное общение – по вполне понятным причинам все это являлось неперенным условием нормальной совместной работы. С журналистами становилось общаться на сей предмет все труднее: если раньше неприятности с КГБ или высылка из России почитались большим плюсом в профессиональной биографии и могли даже способствовать продвижению по служебной лестнице, то к концу 70-х положение резко изменилось, и «проштрафившегося» в Москве корреспондента могли задвинуть в какой-нибудь второсортный отдел надолго, если не навсегда... Поэтому они все с большим трудом соглашались на контакты или на перевозку книг, рукописей, почты, денег. Но даже тут мне везло.

В Институте политических наук я преподавал среди других студентов и людям, готовившимся держать конкурс в МИДе. Через них познакомился с несколькими служащими французского консульства в Питере, а затем, уже через последних, – и с самим генеральным консулом. Период конца 70-х – начала 80-х стал «золотым веком» в смысле регулярности и безопасности общения через бугор. На нас «работала» едва ли не половина французского представительства в Ленинграде, и даже генеральный консул Лёгрэн чуть не ежемесячно приносил лично стопку книг, письма и деньги к одному из наших ближайших друзей – Валере Звереву, бывшему основному «почтовым ящиком», и забирал от него рукописи и корреспонденцию. После Питера Лёгрэн («зернышко», по нашей тогдашней терминологии) сделался французским послом в... Монголии, ездил из Улан-Батора в Париж через Москву каждые три месяца и регулярно вез с собою в оба конца «отдельный груз». Досматривать на таможне господина посла и создавать дипломатический инцидент госбезопасность вряд ли решилась бы, по крайней мере, без особого указания с самого верха... (Забавно все-таки, как неискоренимо въелась в нас та, советская, жизнь – с ее конспирацией, особыми законами и табу: даже сегодня, рассказывая о «технологии» работы тех лет, я испы-

тываю некоторый страх и инстинктивный внутренний дискомфорт, хотя времена вроде бы полностью изменились, Лёгрэн давно скончался, а Валерка – много лет живет во Франции...)

В любом случае такое «везение» было ненормальным и уж всяко небесконечным. Известное ведь дело: на полдороге в рай нас поджидает дьявол. Что-то должно было случиться. Правда, в то время я об этом не задумывался, а когда это «что-то» произошло, даже не заметил поданного мне знака, еще долго не понимая, во что все выльется...

С начала 77-го года Никита предложил мне стать заместителем редактора «Вестника», тогда же меня, по его представлению, кооптировали в Совет РСХД. Собирался Совет ежемесячно в большом зале движенческого дома. Отец Игорь произносил молитву Святому Духу, все подпевали, затем шло обсуждение движенческих и издательских проблем, после чего устраивалась общая трапеза – народ ведь собирался вечером, после работы, то есть проголодавшимся. Си-бемоль (очаровательная Наташа Зимина, движенческая секретарша) протоколировала заседания, девочки из конторы приносили бутерброды, печенье, соки, вино. Обстановка домашности, семейности. Почти все были прихожанами движенческой церкви, тоже составлявшей вполне «семейное» ощущение.

Еще в Питере предпочитал я маленькие храмы, крайне редко посещая Преображенский, Никольский или Свято-Владимирский. Кладбищенская церковь на Охте или шуваловская церковка были гораздо уютней, теплее, и внутреннее чувство пробуждалось в них легче и естественнее, чем под высокими, какими-то очень уж официальными и анонимными сводами соборов, в толпе совершенно незнакомых людей, стоящих перед алтарем или ожидающих очереди, после общей формальной исповеди, подойти под омофор...

Естественно, что и в Париже пошел я во Введенскую церковь, крохотную, под плоской стеклянной крышей, в пристройке движенческого дома. Да и отца Игоря Верника, настоятеля храма, очень полюбил. При обычной своей благожелательности и какой-то простоватой веселости был он на редкость строгим духовником, и идти к нему на исповедь каждый раз оказывалось мукой мученической.

Это качество у знакомых священников мне приходилось встречать довольно редко. Отец Александр Шмеман (как и раньше, еще в бытность мою в Союзе, отец Александр Мень или даже самый строгий из них – отец Василий Лесняк) исповедовал людей знакомых, к которым относился хорошо, – легко, если не формально, то во вся-

ком случае снисходительно, не углубляясь в детали и как бы стараясь не касаться наиболее интимных отношений исповедуемого с Богом. Отец Игорь вынимал тебя до желудка, до аппендикса, не признавая общих покаянных разговоров и постоянно требуя конкретики. После исповеди ты выходил от него, как из парной, – мокрым с головы до пят, но облегченным. Служил он просто, без затей, проповеди читал спокойно и, опять-таки, основываясь на вполне конкретных вещах и деталях, хорошо известных присутствующим...

Обычно после воскресной литургии мы ехали завтракать к Никите, иногда целой компанией...

Однажды, кажется, в конце 77-го, во всяком случае, была зима, холод и дождь с промозглым ветром, – после литургии к нам с Никитой подошел Борис Юльевич Физ, не часто появлявшийся на рю Оливье де Серр. Борис Юльевич возглавлял комитет акционеров ИМКИ, входил в попечительский совет Сергиевского подворья и еще в массу каких-то советов и комитетов. «Boris est devenu quelqu'un», – говаривал о нем отец Игорь, имея в виду служебную карьеру, сделанную Физом, его обеспеченность, респектабельность и неперемное членство в руководстве всевозможных общественных институций. А Никита, намекая на наши общие иудейские корни, любил повторять, что Борис Юльевич передал мне свою мить...

На этот раз Физ был до чрезвычайности взволнован и попросил нас выйти: нужно побеседовать.

Мы отправились в ближайшее кафе, где Борис Юльевич сообщил, что говорил с финансовым экспертом ИМКИ, что тот вне себя и отныне отказывается работать с Морозовым, а потому Ваню надо срочно убирать.

– Кто-то из вас должен взять на себя обязанности директора, – закончил Физ, обращаясь главным образом к Никите.

Воцарилось довольно долгое молчание. Потом Никита сказал, что, будучи государственным служащим (профессором с кафедрой в Нантере, то есть чиновником министерства просвещения), не может стать директором.

– Значит, придется вам, Володя, – Физ повернулся ко мне. Я взглянул на Никиту, ожидая помощи или хотя бы совета. Никита молчал.

– Как вы себе это представляете, Борис Юльевич? – спросил я.

– Очень просто. Внешне все пока останется как было, только к вам перейдут все подписи и вы будете вести реальную работу. С Ваней я поговорю сам и этот вопрос улажу. А потом мы все решим на Совете...

Я снова взглянул на Никиту.

Он по-прежнему молчал, явно устранившись и оставляя выбор за мной.

Я помедлил – и ответил «да».

Зачем?!!

Множество раз впоследствии я спрашивал себя об этом. Положение мое в издательстве было идеальным. Принеся туда деньги и рукописи, приведя новых авторов, я мог издавать все, что хотел, при этом в финансовом смысле оставаясь полностью независимым от ИМКИ, что делало мою позицию в моральном отношении «absolument intouchable». Даже Никита оплачивал телефонные разговоры с Вермонтом и свои американские поездки – за счет ИМКИ. Я не брал от издательства ни гроша, а лишь приносил... Тщеславие? – надеюсь, что нет, во всяком случае, я всегда совершенно искренне отрицал в себе этот порок. Честолюбие? – возможно, поскольку никогда не считал это свойство дурным, полагая его едва ли не главным двигателем человеческого прогресса: сделать лучше других, добиться большего результата... Гордыня? – может быть...

Однако все эти вопросы приходили в голову потом, когда я пытался отразить события.

Тогда же единственным (во всяком случае, единственно осознанным) мотивом ответа – была неожиданно представившаяся возможность реформировать издательство, сделать из него настоящее дело, о каком мы мечтали с Никитой, какое нам обоим в те годы представлялось (или мне казалось, что представляется нам обоим)...

В общем, так или иначе, я ответил «да», не заподозрив ни на секунду, что это и был «первый звонок». Куда там... Когда я вернулся из церкви домой, ни о чем не ведавшая Рада, женщина вполне проницательная, открыв мне дверь, сказала: «Здравствуйте, господин директор», – по-видимому, на моей физиономии все было написано, как в школьных прописях...

Знать бы тогда, во что выльются последующие события, чем обернется фраза Бориса Юльевича «а потом мы все решим на Совете», каким мучительным, долгим, для всех унижительным и все разъедающим станет процесс реорганизации издательства... И еще знать бы, что всего через год, когда мы с Радой таким же дождливым промозглым вечером 8 ноября вернемся из Амстердама, я позвоню Никите, он скажет: «Приезжайте немедленно», и когда я приеду, сообщит о том, что Ваня 6 ноября покончил с собой, а затем – в качестве резюме долгого разговора – произнесет первую из нескольких своих убийственных фраз: «Меня простят, хоть и не сразу; Вас – никогда»...

Впрочем, не берусь утверждать, что такое «знание» изменило бы ход событий...

IV

«Есть блуд труда, и он у нас в крови...» Смысл удивительного мандельштамовского определения доходит до меня лишь теперь, когда притягательность этого сорта «блуда» начинает с возрастом ослабевать. Многие годы не ощущал я очевидной амбивалентности поэтического образа, вернее, не задумывался о ней (и уж, конечно, не воспринимал другого мандельштамовского тропа – «совестный деготь труда»). Отношу это исключительно на счет собственной легкомысленности и необычайного своего везения: дело, которым мне посчастливилось заниматься, поглощало целиком, неизменно оставаясь любимым и желанным, никогда не приедаюсь, не переходя в простую привычку и составляя, пожалуй, самую большую привязанность в моей жизни. Даже женщины не занимали в ней столь важного, а главное – столь протяженного места. Чаще всего работа воспринималась как праздник, иногда – как панацея от сыпавшихся бед и несчастий, порою (если несчастья переходили в область внутреннюю) – как наркотик, но всегда оставалась вожаделенной, сохраняя при этом успокоительную осмысленность, давая ощущение упорядоченности мира и представляясь едва ли не единственной опорой – тем камнем, на котором можно было не только устоять, но и пытаться что-то построить...

Что же до бед и несчастий, то они начали сыпаться довольно скоро после того памятного разговора с Физом в кафе, когда я согласился стать директором ИМКИ. Борис Юльевич, как выяснилось, смотрел на ситуацию с излишним оптимизмом, по старинке веря в логику и рациональное мышление. Здесь же, как и во всякой «семейной драме», включились совершенно иные механизмы, и дальнейший ход событий определялся чем угодно, но только не логикой.

Беседа с Морозовым оказалась, сколь это ни парадоксально, самым простым и удачным из действий Физа. Иван Васильевич, правда, без энтузиазма, но все же принял новые условия игры, согласившись на роль «почетного директора» и передав реальное управление делом в другие руки.

Однако все это необходимо было закрепить решением РСХД, без него ситуация становилась предельно двусмысленной. В то же время Совет после предварительных разговоров Физа с руководителями Движения – раскололся, представив весь спектр возможных мнений

по поводу реформирования издательства. (В этом «раскладе сил» я не рассматриваю нашу «команду» – Бориса Юльевича, Никиту и меня, инициаторов всего дела, а также примыкавшего к нам отца Александра Шмемана, – здесь позиция очевидна. Речь идет лишь об остальной массе членов Совета.)

Небольшую, но вполне сплоченную и активную группу «фронта отказа» возглавил отец Алексей Князев – ректор парижского Свято-Сергиевского богословского института, председатель французского отделения РСХД и старый Ванин друг. Для него за прошедшие четыре года ничего не изменилось, и Совет не имел права принимать условия Солженицына, так же как не принял их в 74-м году. А в том, что за новой попыткой отстранения Ивана Васильевича от должности стоит Солженицын, отец Алексей не сомневался ни минуты. Он же стал инициатором обращения к писателю, в котором «группа старых движенцев» доказывала преданность Морозова делу духовного возрождения России и «лично классику» и смиренно просила его пересмотреть свое отношение к Ване.

Другая группа склонялась к тому, чтобы принять предложение Физа, разумеется, при соблюдении приличий, совершении всех формальных шагов для «сохранения лица» и при создании условий для наиболее достойного выхода из положения.

Наконец, третью – самую многочисленную – составляло «болото», главной мотивацией действий, а вернее, полного бездействия которого сделался страх – чувство вполне иррациональное и, прежде всего, парализующее волю. Как часто бывает, именно «болото» и оказало определяющее воздействие на ход событий. Попытки оттянуть любое решение, уйти от неизбежных и неприятных разбирательств, где все пришлось бы называть своими именами, спрятаться от реальности, сделав вид, что проблемы просто не существует, – это «по-человечески» понятное, но оттого не менее пагубное поведение привело к самому печальному исходу: возникновению патовой ситуации, тянувшейся около полугода, превратившейся и без того болезненный нарыв в настоящую гангрену и создавшей для всех, а особенно для Вани, невыносимо унижительную обстановку...

Вот лишь маленький пример: раз в два-три месяца в ИМКЕ устраивались производственные собрания, на которых – по крайней мере, в идеале – предполагалось обсуждение персоналом и начальством повседневных издательских и магазинных дел. Были они вполне бессмысленными, но составляли безобидную и даже милую традицию, призванную символизировать участие служащих в управлении предприятием. Совещания эти обычно проводил Иван Ва-

сильевич. Теперь же председательское кресло в качестве главы акционеров занял Физ, который по любому поводу подчеркнуто обращался ко мне как к новому директору издательства – при том, что несчастный Ваня сидел рядом с ним за председательским столом и официально оставался руководителем дела...

Ситуация становилась уже не просто неприличной, но совершенно невозможной. Я ощущал себя на раскаленной сковороде и не знал, как смотреть в глаза Ивану Васильевичу. После второго собрания я не выдержал и сказал Физу, что не в состоянии продолжать эту убийственную для всех игру. Либо надо собирать Совет и как-то разрешать проблему, либо я отказываюсь от совершенно не нужного мне директорского поста. Разговор происходил в громадной квартире Бориса Юльевича. Он долго вздыхал, мялся, ходил по гостиной, подбирая слова, а затем признался, что переоценил роль формальной логики в делах «семейного типа». С грустью рассказывал Физ, что в крупных французских компаниях первое действие новоназначенного генерального директора состоит в подписании чистого листа бумаги – его прошения об отставке, которое затем кладется в сейф и извлекается в случае надобности. Это, может быть, и не слишком гуманно, но во всяком случае рационально и преследует интересы дела, а главное – с первого дня определяет для всех участников четкие правила игры. В делах же «домашних» главенствующим становится «отношенческий момент», чрезвычайно сложный, отягощенный опытом многих лет совместной жизни, с ее радостями и обидами, дружбой и враждой, – и с этим приходится считаться... Конечно, он понимает всю нелепость и неприятность моего положения, но необходимо потерпеть, дать время Совету привыкнуть к мысли о неизбежности издательской реформы и смены поколений... В целом из его пространных рассуждений я понял, что Борис Юльевич сам не знает, как выбраться из ловушки, в которую мы попали... И все же маховик раскручивался, остановить его стало теперь невозможно, тем более, что в игру вступила «третья сила» – Вермонт (с Солженицыными Никита в то время перезванивался каждый день). Здесь отец Алексей Князев был не так уж и неправ, основывая свой анализ происходящего не на внешней картине, а на старом принципе римского права: *qui prodest*. В Вермонте шутить не любили. Впоследствии мне довелось увидеть рукописную страничку текста с инструкциями по ведению всей баталии... Главный довод за немедленное снятие Морозова был прост и ясен, как орудийный ствол: четыреста тысяч франков имковского долга Солженицыну – за радиопередачи на русском языке. В те годы любые произведения писателя читались едва не ежедневно всеми западными радиостанциями, и гонорары за

эти чтения выливались в немалые суммы. Я уже упоминал, что финансовое положение ИМКИ к середине семидесятых было катастрофическим, и Иван Васильевич частенько пользовался для затыкания дыр средствами из солженицынских радиогононароров. Но это была палка о двух концах, и теперь второй ее конец пришел в движение. В середине весны Никита передал вердикт: если Совет не решит судьбы Морозова, Солженицын не только покидает ИМКУ, но забирает все свои деньги и, главное, требует немедленной выплаты долга. Понятно, что удовлетворить подобное требование сразу издательство было не в состоянии.

С этим «убойным» доводом в кармане и прислал Александр Исаевич на главную баталию своего полномочного министра иностранных дел – жену. Насколько помню, из Канады и Соединенных Штатов приехали владыка Сильвестр и отец Александр Шмеман – соответственно председатель и вице-председатель РСХД (правда, за присутствие владыки ручаться боюсь). Столь долго откладываемое собрание Совета проходило в мае 78-го. Тянулось оно почти шесть часов, было «закрытым», причем настолько, что несчастного Ваню, судьба которого решалась столь драматичным образом, большую часть времени даже не допускали в зал заседаний. Отец Александр старался поднять планку на нормальный уровень обсуждения, пытался обосновать неизбежность перемен, говорить о деле, о жизненных перспективах издательства и всего Движения... Однако даже при его фантастическом красноречии и способности убеждать – получалось это плохо: страсти были слишком накалены. О том, насколько бурно проходило собрание, можно судить уже по тому, что для многих оно завершилось если не формальным, то фактическим разрывом отношений. Отец Алексей, и раньше не часто появлявшийся на Совете, вовсе перестал ходить на его встречи. Я в том заседании потерял духовника: отец Игорь, прекрасно все понимавший, разделявший полностью наши с Никитой взгляды и поддерживавший их в начале заседания, в последней его части, когда Ваню все-таки допустили в зал, не выдержал и высказал совершенно обратное тому, что говорил два часа назад. Когда после Совета я спросил его, как же мне теперь идти к нему на исповедь, отец Игорь с горечью ответил: «Ах, Володя, вы ничего не понимаете! Здесь ведь вся жизнь позади...» Страсти страстями, а «убойный» довод, привезенный Натальей Дмитриевной, свое дело сделал. В конце концов Совет закрепил сложившееся к тому времени положение: Иван Васильевич вышел в отставку с сохранением полного жалования до достижения им пенсионного возраста, я был официально назначен его преемником (без зарплаты, в которой, к счастью, не нуждался), издательский ко-

митет реформирован: освободившееся в нем по смерти Титбола место занял отец Александр Шмеман. Зимой, после смерти Ивана Васильевича (и предшествовавшей ей смерти Бориса Юльевича Физа от сердечного приступа), Совет реформировал и общество имковских пайщиков: отныне акции делились между отцом Александром Шмеманом, Павлом Францевичем Андерсоном, Кириллом Ельчаниновым, Никитой и мной. Следующий «передел», когда в состав акционеров вошли Солженицины, состоялся уже через несколько лет после моего ухода из ИМКИ, после смерти Павла Францевича и отца Александра – ближе к середине восьмидесятых...

* * *

Я столь подробно описываю морозовскую историю, ибо для меня она стала в большой мере поворотной, хотя проявилось это и не сразу. Да, мы «победили», «новое вино», о котором неустанно твердил Никита, отныне получало и «новые мехи», можно было реформировать издательскую деятельность, строить «настоящую» ИМКУ. С нами был и отец Александр (сам в 62-м году совершивший подобную революцию в Свято-Владимирской семинарии, – сменив в качестве декана престарелого отца Георгия Флоровского и резко омоложив преподавательский состав. В сущности, его примером Никита в значительной степени и вдохновлялся, а сам отец Александр всегда являл для него предмет дружеского обожания). Поддерживал перемены и владыка Сильвестр. Да и большинству членов Совета, вне зависимости от их формальной позиции, необходимость происшедшего была очевидна. Речь шла не столько о сути, сколько о форме, точнее – о цене этих перемен...

Мне вовсе не хотелось бы показаться всезнающей черепахой Тортиллой. Логическую стройность события обыкновенно приобretaют лишь *post factum*. При этом восприятие мира у человека, находящегося в поезде и на станционной платформе, – различно. Я был в движущейся системе. К тому же был в ней самым молодым, да еще, что называется, «на подъеме». Конечно, «наш лагерь» ощущал происшедшее как победу. Когда на следующий после Совета день Никита с Машей и Натальей Солженициной пришли к нам домой «праздновать» ее, все думали и говорили только о будущем: какие открывались блистательные перспективы, как можно будет сделать наконец свободное, крупное издательство, которое потянет к себе все живое из России, превратится в материальную базу того, что нарождается в ней... Главное – долгое дыхание (на последнем особенно настаивала изрядно «поддавшая» Наталья Дмитриевна)...

Александр Исаевич даже придумал новое название для чаемого книжного дела: «Взъем» или «Стяг» – на выбор... Впоследствии мы с Никитой очень потешались над этим предложением (тогда Никита еще сохранял нормальные реакции и способность иронизировать по поводу благоглупостей «классика»)...

Осенняя катастрофа все изменила, снова и уже в трагическом ключе поставив вопрос о цене перемен. Смерть одного из участников событий обычно фиксирует ситуацию навечно, переводя ее в другое измерение. Тем более такая смерть и после всего описанного выше. В событиях последнего года не было ничьей злой воли – только желание или нежелание реформ, страх неловких положений, боязнь неприятных разговоров... Но теперь это не играло никакой роли, поскольку смерть уже не оставляла места полемике о том, что и как делать, а «убойные» доводы теряли свой смысл и силу. Зато на поверхности выходил второй извечный русский вопрос: «кто виноват?»...

Вопрос этот никогда не обсуждался открыто – даже в некрологе Ване отец Алексей Князев спрятался за туманный эвфемизм: «всем памятно обстоятельство, при которых покойный Иван Васильевич покинул любимое им дело...» Но фигурой умолчания отделаться было невозможно: виноватыми в той или иной мере чувствовали себя все, по крайней мере все причастные к ситуации и решению Совета. Уйдя из жизни, Ваня присутствовал в ней едва ли не более явственно, чем раньше. И это немое присутствие рождало «*crise de conscience*», постепенно перераставший в общий движенческий кризис.

Отец Александр мог писать блистательные передовицы, посвященные «преодолению кризиса» (128-й номер «Вестника»), можно было сколь угодно красноречиво, логично и обоснованно доказывать неизбежность и правильность перемен – этого никто больше и не оспаривал. Но все рассуждения оказывались «не о том», шли мимо цели. Семена уже упали в почву, оставалось лишь ждать всходов...

Внешне это почти никак не выражалось. Все так же собирался Совет с обсуждением текущих дел и общими трапезами, так же велась движенческая работа, выходили новые книги, издавался «Вестник» – вроде бы, все как всегда. Исчезла лишь самая малость – ощущение «семьи», та теплота отношений и домашний дух, что отличали для меня Движение с первых парижских дней... Их сменила какая-то вполне деловая, корректная и даже доброжелательная... пустота, когда все разговоры и действия призваны не прояснить, а скорее скрыть нечто – постоянно за ними стоящее, но никогда не называемое.

Та же пустота воцарилась и в храме. Отношения с отцом Игорем даже не разладились, а как-то внутренне выхолостились: отлетел тот теплый дух, что скреплял и оживлял маленькую общину... В конце года я ушел из Введенской церкви, сменив ее на собор Александра Невского на рю Дарю. Туда же перешел и Никита.

После крохотной движенческой церковки, где все было своим, знакомым, «надышанным», храм на рю Дарю напоминал вокзал: чужие, хотя в большинстве и знакомые люди, неизбежная анонимность, когда ты, как и основная часть молящихся, не являешься членом тесной общины, а лишь приходишь в гости, выяснить собственные, персональные отношения с Богом. Стоя на своем обычном месте – в левом приделе храма у колонны, я едва ли не каждый раз вспоминал рассуждения Андрея из чеховских «Трех сестер»: «Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает...»

Все сказанное отнюдь не означает мгновенного распада той вселенной, какую я пытался описать ранее. Процесс лишь начинался и по первости был даже не слишком заметен, особенно со стороны. К тому же для подавляющего большинства русскоязычной общины Парижа драматические события в маленькой эмигрантской организации находились на периферии интересов, составляя в лучшем случае тему сплетни, но никак не предмет раздумий или волнений. Вокруг было множество другого – живого, блестящего, значительного, интересного, нужного, занимавшего сердце, голову и руки... Но я-то пишу мемуар не о времени, а о своей собственной жизни и, хотя она тоже вовсе не исчерпывалась движенческими проблемами, естественно, отсекаю массу вещей внешних, пытаюсь сосредоточиться на событиях и душевных переживаниях, в значительной мере эту жизнь определявших...

Безусловно, и для меня за пределами описанного оставалось в этой вселенной еще очень многое, а самое главное – конечно, дело, по-прежнему любимое и спасавшее от всего. Так было на протяжении всех последующих лет, исчезло, пожалуй, лишь одно: какая-то внутренняя музыка, непрерывный малиновый звон, сопровождавший первые парижские годы...

Реформирование ИМКИ выразилось в сокращении ее персонала и резкой активизации книгоиздательского процесса. Первое позволяло избавиться от балласта и поднять заработки оставшихся, второе – при небольшой прибыли от каждой книги увеличить общий оборот и тем самым превратить все дело в рентабельное предприятие. Правда, это требовало напряженной работы, вовсе не похожей на ту, что была привычной. Сделать из «тихой заводи» нормальное изда-

тельское дело можно было лишь собственным трудом, и отныне смотреть на службу в ИМКЕ как на синекуру становилось затруднительно. Далеко не все оказались готовы к такому повороту. Ушел из магазина Андрей Савин, открывший на полученное наследство собственную букинистическую лавку на рю Ламартин. Ушел Женя Чаплюк, ранее деливший работу продавца со службой дьякона в женской церкви; теперь он стал священником и перешел служить на рю Дарю. Ушел и другой продавец – Владимир Николаевич Хохолуш, перешедший в контору Аниты Рутченко. Теперь всю работу в магазине вел практически лишь Алик Хананье (уроженец Литвы, некогда эмигрировавший в Израиль, а затем появившийся в Париже и приведенный сюда Борисом Юльевичем) – муж Никитиной племянницы Маши, дочери о. Петра Струве. Он и сегодня тащит на себе повседневную деятельность «Les Éditeurs Reunis»...

Что же до собственно издательской активности – она постоянно расширялась. За 1978–81 годы мы выпустили едва ли не сотню книг. Среди них были и «Факультет ненужных вещей» Юрия Осиповича Домбровского (который, по счастью, успел перед смертью поддержать в руках «главную книгу» своей жизни – уже не в рукописи, а в виде увесистого тома), и «Претендент на престол» и «Путем взаимной переписки» Войновича, и «Москва–Петушки» Вени Ерофеева, и «Крот истории» Кормера, и все книги Лидии Чуковской, и «Неизданный Гумилев», и «Жизнь и житие архиепископа Луки...» Марка Поповского, и воспоминания Гессена, Роскиной, владыки Василия Кривошеина, и очередные тома «Памяти», и множество других литературных, исторических, богословских работ.

«Историей русского либерализма» Леонтовича началась и солженицынская серия ИНРИ. Переводила Леонтовича с немецкого Ирина Алексеевна Иловайская, бывшая тогда секретаршей у Солженицына, а я, готовя издание, редактировал перевод, избавляя его от особо тяжелых словесных оборотов. (Такого рода «литературное сотрудничество» у нас уже бывало – еще в Риме, когда Иловайская переводила на итальянский книги Володи Максимова и «консультировалась» у меня по поводу непонятных ей мест и выражений: скажем, она никак не могла уразуметь смысл максимовской фразы «Девушки, он любил вас, будьте бдительны», – что, впрочем, естественно, ведь имя Юлиуса Фучика, «на слуху» у любого советского человека, не говорило ей ровным счетом ничего...)

Началось и издание полного собрания сочинений Солженицына. Занимался им Никита и перешедшая в ИМКУ из «Seuil» секретарша Клода Дюрана Наташа Шмеман (племянница отца Александра). Правда, здесь работа заключалась, главным образом, в над-

зирании за действиями типографа и в бесконечных пробах – бумаги, картона, переплетной ткани, оттисков солженицынского вензеля и прочего и прочего. Текст же самих книг полностью набирался и макетировался в Вермонте, так что в ИМКУ приходила коробка с абсолютно готовым оригинал-макетом очередного тома, который и передавался для фотографирования и последующего тиражирования Флоку.

Сам Никита года на полтора как бы отошел в тень, по-видимому, в ожидании времен, когда страсти поулягутся. Формальный повод для этого был вполне уважительным. Никита занимал место профессора с кафедрой в Нантере. Однако в это время вышел указ министра о том, что для подобной должности необходимо иметь докторскую диссертацию. У Никиты же степени не было, он лишь прошел «agregation» – конкурс министерства просвещения. Нужно было срочно писать докторат, в противном случае он мог лишиться места, с его коллегой по факультету это уже случилось. За писание докторской Никита и засел, сменив тему диссертации, которая отныне касалась жизни и творчества Мандельштама. Все упрощалось тем обстоятельством, что через него шел мандельштамовский архив, пересылаемый на Запад Надеждой Яковлевной, которая впоследствии сделала Никиту своим душеприказчиком. В результате в качестве доктората появилась книга о поэте и четвертый, дополнительный к филипповским, том собрания его сочинений, куда вошли еще не изданные тексты и незавершенные фрагменты.

Для меня Никитин докторат обернулся необходимостью крайне быстро входить в практические тонкости издательского и книготоргового дела: пришлось осваивать премудрости бухгалтерского учета, общаться с оптовиками и типографами, представителями бумажных фирм, т. е. залезать в совершенно новые и неизвестные области, да еще при вполне поверхностном знании языка, что, особенно поначалу, было до предела мучительно. Впрочем, «отделка щенка под капитана» оказалась чрезвычайно полезной, а приобретенный таким образом опыт очень пригодился впоследствии, когда пришлось самому строить новое дело от нуля.

Уже в 78-м мы купили компокарт – первую, еще вполне допотопную наборную машину с памятью на магнитных картах, выпущенную фирмой IBM, и начали постепенно переходить на собственное изготовление оригинал-макетов. Надо сказать, что при обычных тиражах в тысячу-полторы экземпляров, стоимость набора в общей смете на книгу занимала почти треть, и экономия была очевидной. Первый год набирал книги я сам – «Архиепископа Луку» Марка Поповского, роман Феликса Светова и т. д. (Вот уж когда пригодилась

практика слепой печати, приобретенная в детской на рю Эрланже.) Со следующего года взял помощницу и обучил ее работе на машине. Оля Остен-Сакен и сегодня набирает «Вестник» и все имковские книги (правда, последних, увы, почти не осталось)...

До перехода на собственное изготовление оригинал-макетов, что в основном было завершено к концу 80-го года (кроме «Вестника», первый «свой» номер которого вышел в 81-м), мы распределяли заказы по самым различным типографиям – парижским, провинциальным и зарубежным: так, на упоминавшейся уже печатне Шарля делался «Факультет ненужных вещей»; Флок, не имевший русского набора, взял на себя все офсетные работы; в Бельгии у Россельса выпускался «Национал-большевизм» Мелика Агурского; у украинцев – книги Лидии Чуковской и «Память»; наконец, Лифарь печатал «Трагедию русской церкви» Регельсона, произведения Солженицына (до собрания сочинений) и, главное, – занимался «Вестником». В связи с такой рассредоточенностью заказов мне приходилось часто мотаться по типографиям, иногда довольно далеким: скажем, до Россельса, в Лёвэн под Брюсселем, добираться на машине надо было часа три-четыре, а до Флока в Бретань – и все пять.

Из перечисленных выше печатников наиболее преданным и близким к ИМКЕ был Леонид Михайлович Лифарь, брат танцора и балетмейстера. Его и Березняка типография находилась в Шарль-ле-Руа – восточном предместье Парижа. Еще в 71-м выпускал Лифарь «Август 14-го», а затем и «ГУЛаг» (который, кстати, завещал положить по смерти себе в гроб), а уж к журналу относился как к своему собственному детищу. Появлялся он обычно к концу рабочего дня, часов в шесть, – всегда в одном и том же плаще, аккуратный, скромный, с неизменной застенчивой улыбкой и постоянной шуткой-приветствием. Приносил пачки корректурных листов, забирал новые рукописи для набора, обсуждал материалы, коих был первым страстным читателем. «Вестник» набирался не цельным корпусом, а по статьям, и часто – если сваливался «горячий» материал – приходилось менять содержание в последний момент, отправляя в «мрамор» одни и срочно вставляя другие куски. Фактически номер закрывался лишь написанием передовицы, когда все было уже не только набрано, но и сверстано, до того возможны были любые перестановки.

Лифарь никогда не роптал, с улыбкой принимая нашу безалаберность. Был предельно тихим и незаметным, как-то ступшевываясь на всех имковских сборищах и тем самым подчеркивая свою сугубо «техническую роль», но при этом знал полиграфию блистательно, до тонкостей. Оставался, кстати, безоговорочным сторонником горяче-

го набора, обожая металл, и с недоверием относился к входившим тогда в моду электронным машинам. Если я чему-то и научился в печатном деле, то обязан этим в большой степени Леониду Михайловичу...

Что же до Никиты, то уход в тень вовсе не означал, что он полностью устранился от издательских дел. Кроме солженицынских томов он курировал и некоторые другие книги, конечно же, вел «Вестник», занимался «политическими эззерсисами», общаясь с Вермонтом и московскими авторами. Просто в эти годы Никита гораздо реже стал бывать в ИМКЕ, как бы отпустив повседневную редакционную деятельность и сосредоточившись лишь на «стратегических» направлениях. Зато мы чаще виделись у него дома, постоянно обсуждая и производственные, и движенческие, и монжеронские дела...

V

Монжерон – старый замок в восточном пригороде Парижа, километрах в двадцати пяти от города – издавна принадлежал русским. Когда-то там находился приют для русских детей-сирот, созданный Милицей Зерновой. Приют давно закрылся, но сам замок, сильно обветшалый и пришедший в запустение, по-прежнему существовал, постепенно превращаясь в обузу для управлявшего им общественного Комитета. Деньги, в свое время положенные под проценты, давали возможность поддерживать жизнедеятельность поместья, но даже на это их хватало с трудом, а о возможности ремонта или реконструкции говорить всерьез не приходилось. Комитет и так уже не удовлетворялся процентами, а проедал основной капитал, особенно в ситуациях непредвиденных, как, скажем, наводнения – территория почти ежегодно затоплялась, и надо было чинить канализационную систему, заново штукатурить и красить помещения. Но главное – оставалось совершенно непонятным, к чему приспособить достаточно отдаленный от города огромный замок. Изредка его парадный зал сдавался под какие-нибудь коллоквиумы и конференции, там же проходили движенческие съезды, но 95% времени он пустовал...

В 75-м году тогдашний секретарь Комитета (а в прошлом культурный атташе французского посольства в Москве) Степан Татищев пригласил в Монжерон Александра Глезера с его собранием картин русских неофициальных художников, вывезенным из Союза. Когда мы познакомились с Сашей в Вене, он как раз ждал получения французской визы. Татищев согласился с идеей Глезера организовать музей свободного российского искусства, для чего отводил в стенах замка целый этаж одного из четырех зданий, составлявших

громадное каре. В первой части дома помещалась небольшая квартира, в которой жил Глезер с женой Майей и ее сыном от первого брака. Далее следовал сам музей – анфилада комнат, где экспонировались картины и находилось служебное помещение издательства «Третья волна», созданного Глезером и выпускавшего одноименный альманах, книги и каталоги художников.

Увы, надежды на большую посещаемость музея, равно как и на появление толпы меценатов, заинтересованных в поддержке русских неформалов и их постоянной экспозиции, не сбылись. Время от времени Саша Глезер устраивал групповые или персональные выставки отдельных художников, на которые собиралось тридцать-сорок эмигрантов, иногда (далеко не каждую неделю) в Монжерон приезжал какой-нибудь именитый гость или потенциальный покупатель живописи по дешевке – посмотреть коллекцию, но в целом блистательная идея русской Третьяковки под Парижем умерла, даже не приблизившись к реализации.

Сам носитель идеи был бессребреником, человеком быстро, хотя и не надолго увлекающимся любыми новыми идеями и как-то совершенно по-детски тщеславным. К тому же – крайне неуравновешенным: регулярно переходил от совершенно безудержной активности (если в кармане заводилась лишняя копейка или хотя бы надежда на нее) к долгим депрессивным состояниям, когда он неделями не вылезал из Монжерона, а в доме пили чай без сахара...

Неудачный роман чаще всего кончается взаимными обвинениями и склокой. Разочарование Комитета в связи с неслучившимся чудом усиливалось и раздражением по поводу того, что количество картин росло, и музей постепенно, но уверенно распространялся по всему зданию. К тому же пример Глезера оказался заразительным: в дальнейшем ему последовал и ленинградский фотограф Валентин-Мария Тиль, которому, по его появлению в Париже, Комитет сдал за символическую плату комнату в другом флигеле, а теперь с ужасом наблюдал превращение комнаты в мастерскую, точно так же расплывающуюся по всему дому...

К 79-му взаимные упреки Комитета и его квартиросъемщиков уже вылились в столь же взаимные обвинения в сотрудничестве с КГБ (обычный в эмиграции метод ведения полемики). Степан Татищев требовал от Глезера «выйти вон», а тот, в свою очередь, кричал об уничтожении единственного и уникального музея художников-неконформистов. Постепенно в склоку втягивалась и тяжелая артиллерия: появились «открытые письма» в защиту музея, под которыми среди прочих стояли подписи Максимова, Буковского и т. д. Я уже упоминал о болезненности столкновений между «первыми» и

«третьими» во всем, что касалось метрополии. Монжеронская история – лишь еще один тому пример. Комитет видел в происходящем наглое посягательство на подчиненную ему общественную собственность со стороны довольно сомнительных новых эмигрантов и черную их неблагодарность в ответ на оказанную помощь. Для Максимова же вопрос заключался не столько в самом Глезере, сколько в стоящих за ним московских художниках, другими словами – в злостном неприятии эмигрантскими «носорогами» новой, свободной культуры...

Попытка разрешения конфликта и «влезание» ИМКИ в монжеронские дела связаны с событиями, казалось бы, никакого отношения ко всему, о чем говорилось выше, не имевшими.

Весной 1979-го советское правительство обменяло нескольких своих провалившихся разведчиков на группу политических заключенных: Гинзбурга, Кузнецова, Дымшица, Мороза и пастора Винса. Объяснять, кто такой Александр Гинзбург и вдаваться в историю его провозащитной деятельности не имеет смысла: она вполне известна – от возникновения маленького поэтического самиздатского журнала «Синтаксис» до сегодняшнего дня. Перед своей последней посадкой Алик возглавлял в России солженицынский фонд помощи политэнкам. С семьей Солженицыных его связывали не только деловые, но и многолетние дружеские отношения. Теперь, оказавшись в Штатах, он, вполне естественно, был приглашен пожить в Вермонте – поправить здоровье после лагерной отсидки и определиться, что делать дальше. Однако, по-видимому, пребывание его в доме довольно скоро стало тяготить хозяев: Алик сильно пил, общался с кем ни попадя и нес вещи, совершенно выпадавшие из ортодоксальной солженицынской линии, по крайней мере, так рассказывал Никита, постоянно общавшийся с Вермонтом. Все это создавало положение неприятное и вполне щекотливое. Необходимо было искать выход...

Выходом этим и стал Монжерон: с одной стороны, он находился на другом материке, за тысячи километров от Вермонта, что снижало неприятный эффект от поведения и высказываний Алика, с другой – Париж был одним из ключевых мест в начинавшейся «военно-полевой кампании», и присутствие там лишнего «своего» человека не могло помешать делу. Тем более, что к Алику должна была приехать семья: мать, Людмила Ильинична, и Арина с детьми – им тоже находилось место во вновь создаваемой системе.

План очередной баталии был окончательно одобрен уже летом. В замке предлагалось создать Русский культурный центр с библиотекой, архивом, местом постоянных встреч и т. д. Идея, в сущности, не представляла собой ничего нового – в те годы подобные центры соз-

давались повсюду, начиная с самого Вермонта, когда Солженицын обратился к эмиграции с просьбой присылать ему на хранение личные архивы, рукописи, документы – как в главный «депозитарий», откуда они со временем переедут в «свободную Россию». (Забавно, до чего все-таки иронична жизнь: в конце 80-х, когда Россия испытывала гипертрофированный и сугубо временный интерес к своему прошлому, подобные карликовые и, в сущности, совершенно бессмысленные «народные архивы» расцвели по всей стране, способствуя разве что более скорому насыщению интереса к истории и последующему его угасанию. По-видимому, «народное архивное дело» так же бесперспективно, как и «народное богословие», а в научном смысле – столь же беспомощно, как «народная этимология» в лингвистике. Сапоги все-таки лучше тачать сапожникам...)

Руководителем вновь создаваемого центра и должен был стать Алик Гинзбург, «под которого» предполагалось достать деньги у американцев. Последний довод, собственно, и составлял основу предложений Комитету, тем более, что за фигурой Гинзбурга явственно проступал Вермонт, а уж здесь сомнений в удаче быть не могло, и предвкушение манны небесной внушало членам Комитета приятные надежды на обеспеченное будущее... (Мне уже приходилось говорить, насколько сама идея постоянных дотаций разрушительна для эмигрантского сознания. Помню, как в припадке ипохондрии Володя Максимов жаловался: на что уж, дескать, прекрасный человек и светоч демократии Андрей Дмитриевич Сахаров, а попробуй под него достать денег – никто ведь ни гроша не даст, а вот под Солженицына, при всем его национализме и антизападничестве, – сколько угодно. Почему?! – Володя откровенно не понимал ситуации и до черных запоев страдал от несправедливости мира...)

Естественно, что Комитет согласился на столь заманчивые предложения. Окончательное слово принадлежало общему собранию попечительского совета Монжерона, куда входило человек тридцать (в том числе из упоминавшихся выше – Николай Васильевич Вырубов, Володя Максимов и мы с Никитой). Созванная Комитетом чрезвычайная ассамблея приняла план устройства Культурного центра и – для лучшего ведения работ по его созданию, а также для улаживания конфликта с «квартиросъемщиками» – переизбрала Комитет, в новом составе которого Никита сменил Степана Татищева на посту секретаря. (На собрании попечителей мы сидели рядом с Володиным Максимовым, и после объявления результатов голосования он хмыкнул и заметил, что мы превращаемся в «профессиональных революционеров», – имея в виду недавние перемены в издательстве...)

По принятому плану, реальное устройство центра ложилось на Алика, который и поселиться с семьей должен был в Монжероне, для чего на втором этаже главного здания предполагалось отремонтировать несколько комнат и устроить нормальную жилую квартиру. Что же до Арины – для нее в новом, пока не афишируемом раскладе было уготовано место в редакции «Русской мысли».

* * *

По-видимому, самое время сказать несколько слов об упомянутом наступлении Вермонта на сложившуюся систему эмигрантских институций. Отношения с «третьей» эмиграцией у Александра Исаевича были достаточно сложными. Обвинив практически всех уехавших в дезертирстве и предав анафеме «демдвиж», Солженицын всячески подчеркивал свою неприязнь к самим принципам и идеям правозащитников, а тем более к идее свободы выезда из страны, – что, естественно, не могло вызвать сочувствия в среде эмигрантов. Соответственно воззрениям Александра Исаевича, следовало менять и всю систему контрпропаганды, построенной на совершенно чуждых ему началах. А для этого надо было прежде всего подчинить структуру, за нее ответственную, и уж затем решать «кадровые вопросы».

Насколько последняя идея претворилась в жизнь, судить не берусь, но в 1978–81 годах Солженицыну действительно удалось поставить своих людей в немалой части русских культурных учреждений. Ситуацию в ИМКЕ я уже описал. Начальником радиовещания на Восточную Европу был сделан Шекспир, а директором «Свободы» – Джордж Бейли. Наконец, Зинаиду Шаховскую, отправленную на пенсию, сменила Ирина Алексеевна Иловайская. Весной 79-го она приехала из Вермонта в Париж знакомиться с редакцией, а осенью – уже приступила к работе.

К Франции Иловайская относилась крайне настороженно и откровенно ее недолюбливала. Видимо, это было связано с какими-то событиями и переживаниями прежних лет, когда Ирина Алексеевна жила некоторое время в Париже. Во всяком случае, соглашаясь на работу в «Русской мысли», она понимала, что вторгается в совершенно не знакомый ей местный анклав с давно сложившейся иерархией отношений и связей, при этом появляется в нем совершенно одна, без какой-либо своей «команды». Боясь не найти опоры в старой эмигрантской общине, Иловайская, чтобы не оказаться в полном вакууме, строила свои расчеты в основном на новоприбывших и на

их связях с авторами в метрополии. В определенной мере это было оправдано: отношения свои с «третьими» она пестовала долго и терпеливо – еще в римский период (об этом я рассказывал в начале воспоминаний). Уже в первый свой приезд она взяла с меня слово отдавать часть времени газете и всячески ей помогать.

Случилось так, что и перевозить ее в Париж довелось мне: той осенью я как раз собирался в Италию, и мы заранее уговорились, что приеду я без машины, а на обратном пути захвачу Ирину Алексеевну. Так и сделали. Погрузив Иловайскую с ее пожитками в привезенный из Америки маленький «плимут», я погнал машину в Париж, по дороге едва не убив нового главного редактора: путь из Рима в Париж не близкий, и чтобы успеть проделать его за день, я гнал всю дорогу со скоростью 160–170; где-то недалеко от французской границы, едва не проскочив поворот на заправку, слишком резко тормознул – и метров пятьдесят нас крутило по шоссе вокруг своей оси. По счастью, дорога была пустынной, а асфальт сухим – автомобиль не перевернулся, и к часу ночи после всех пережитых волнений Ирина Алексеевна оказалась в целости и сохранности доставлена по месту назначения...

Отношения с парижской общиной действительно складывались у нового руководителя «Русской мысли» непросто, и первые годы Иловайская ощущала себя крайне одинокой. Основная масса аборигенов смотрела на нее с недоверием: во-первых, она была «чужаком», во-вторых – «католичкой», в-третьих – ставленницей Вермонта. Даже люди, на которых Ирина Алексеевна рассчитывала, оказывая ей всяческое внимание и уважая ее личностные качества, с точки зрения профессиональной относились к ней скорее снисходительно, как-то не слишком всерьез – никто не воспринимал ее как настоящего редактора. Ну, журналистка «Свободы», ну, неплохая переводчица, но ведь не литератор же и даже не настоящая газетчица... Да и в самой «Русской мысли» сотрудники говорили о смене начальства с явной осторожностью и опаской. Интересно в этом смысле высказывание Кирилла Померанцева. Как-то, уже через несколько лет, мы обсуждали с ним положение в зарубежной печати, и Кирилл выдвинул следующую теорию: парижская эмиграция пережила период доисторический (мифологический, или героический) – когда в газетах в качестве редакторов и ведущих журналистов работали Милюков, Струве, Ходасевич, Иванов, Берберова; период исторический (послевоенный), когда их сменили люди типа Водова, Шаховской, Бахраха, Вейдле, Терапиано – уже не герои, не крупные творцы, но все же люди культуры, в ней воспитанные и ее боготворившие; и, наконец, сейчас нам довелось жить в период постисторический, ко-

гда вместо эпигонов к власти пришли уже просто чиновники, для которых культурная деятельность – лишь род служебной карьеры... Никаких «постисторических» имен Кирилл, конечно, не называл, но общий ход его рассуждений вполне симптоматичен...

Старый авторский актив, связанный многолетней работой с Шаховской, от газеты, естественно, отделился. Для значительной части «третьих» Иловайская была слишком явно «клиширована», и для людей типа Эткинда или, тем более, Синявских – сотрудничество с «солженицынской» газетой представлялось маловероятным. Оставалось рассчитывать на «однопольчан», «попутчиков» и старые связи на радио... Пришел в газету Михаил Яковлевич Геллер, начал постоянно присылать материалы Некрич; тесно сотрудничала с «Русской мыслью» и группа «Континента» – Володя Максимов, Наташа Горбаневская, Виолетта Иверни, Вася Бетаки; наконец, пришли и журналы со «Свободы». (Как мог, выполнял данное Иловайской слово и я: постоянно заезжал в газету, читая и обсуждая с Ириной Алексеевны материалы; писал и переводил какие-то статьи, позже – возился с макетированием, из поездок в Штаты привозил всевозможные интервью, приносил самиздатские материалы – из приходившего от ребят из Питера...) А кроме того, от Марио Корти (итальянца, в прошлом – корреспондента в Москве, члена упоминавшегося ранее братства «Россия христиана», теперь работавшего в Мюнхене в Архиве самиздата «Свободы») стали регулярно поступать все материалы исследовательского отдела радио... На этом поначалу и приходилось строить газету.

Из сказанного понятно, с каким нетерпением ожидала Иловайская переезда в Париж Гинзбургов, особенно появления Арины. Последнее должно было дать ей свой – прямой и непосредственный – выход на Москву, возможность расширения круга материалов за счет новых самиздатских авторов, причем спектр их обещал стать чрезвычайно широким – от сахаровского и общедемократического направления до «изподглыбовцев» и нового солженицынского «табунка»...

Осенью 79-го Алик приезжал из Штатов «знакомиться» с Монжероном. К началу 80-го появилась и Арина, правда, пока лишь проездом в Америку. А через несколько месяцев Гинзбурги окончательно въехали в замок.

* * *

Увы, «нам не дано предугадать»... Идиллические планы создания нового культурного центра, процветания на американских хлебах

Монжеронского замка и всеобщего братания парижской русскоязычной общины рассыпались довольно быстро. Алик, обожавший всякую рукодельную работу, сам сделал стеллажи для вновь создаваемой библиотеки, набил их книгами с имковского склада, газетами из «Русской мысли» и материалами из Архива самиздата «Свободы», но на этом все и застопорилось. В целом деятельность центра оказалась очень вялой, а через год-полтора и вовсе свелась к редким посиделкам в Монжероне, когда в Париж наезжал кто-либо из эмигрантских генералов. Замок не стал ближе к городу, добираться туда было по-прежнему хлопотно, а сырость и некоторая необжитость дома создавали ощущение дискомфорта, не способствуя наплыву посетителей: народ предпочитал самый заштатный парижский ресторанчик, либо – в случае действительно крупных событий – аренду привычного Зала инженеров или какого-то другого места, куда можно было приехать на метро, а после сборища – посидеть в любом из ближайших кафе...

Не сложились и отношения Гинзбургов с Никитой: Алик оказался вовсе не таким покладистым и слабохарактерным, как предполагалось поначалу; ситуация с Ариной получилась еще более напряженной.

Зато Саша Глезер с появлением «своих» вполне воспрял духом, ощутив поддержку и развив бурную деятельность по проведению выставок и изданию книг, к тому же сделав ее интернациональной. В первой части мемуара я упоминал о «маленьком Ленинграде» – городке Джерси-Сити, находившемся неподалеку от Нью-Йорка, по другую сторону Гудзона, как раз напротив нижней части Манхеттена. Там с помощью муниципальных властей и банковского маклера Арье Голдберга Глезер и открыл свой американский музей свободного русского искусства. Там же снял он небольшую квартирку и отныне делил время между Старым и Новым Светом. Последнее обстоятельство, не разрешая конфликта с монжеронским комитетом, внешне его как бы снимало, разводя противников по разным континентам и делая военные действия бессмысленными...

Что же до Гинзбургов и Никиты, здесь растущее взаимное неудовольствие пока не прорывалось наружу, царила светская любезность. Алик и Арина участвовали во всех имковских «тусовках» (периодически издательство устраивало сборища по самым разным поводам: скажем, переехал на Запад Войнович, и мы дали прием в честь своего автора; наезжал из Штатов Бродский, организовывали его чтения – в театре de la Plain, в Ecole Normale и т. д. – с фушеттами после выступлений; выходила книга Михаила Яковлевича Геллера об Андрее Платонове – и в ИМКУ собирався парижский бомонд

отпраздновать событие...). И все-таки напряженность ощущалась. Ситуация пока еще не стала взрывоопасной, в значительной мере ее спасало частое отсутствие Алика: два-три раза в год он отправлялся в лекционное турне по Штатам, куда его охотно приглашали для выступлений в университетах. Интересно, что из всех крупных диссидентов лишь Алику удалось удержаться в качестве «лектора» предельно длительное время: едва ли не пять лет. Вообще организация лекционных туров была обычной при переезде на Запад крупных деятелей советской оппозиции. Она как бы входила в систему западного «политпросвета», удовлетворяя интерес общества к советским диссидентам и любопытство в отношении «империи зла», а самим новоприбывшим давала возможность хорошо заработать, осмотреться и завести необходимые в дальнейшем связи. Неприятность заключалась в том, что подавляющее большинство новичков сразу начинало учить аудиторию, как и что делать и чего не делать в отношениях с СССР, т. е. занималось как раз тем, чего вполне преуспевающий средний американец не выносит, особенно со стороны людей, в сущности, проигравших, а ведь именно так рассматривают любую эмиграцию аборигены. В результате ни Буковского, ни Кузнецова, ни Любарского, ни других «героев» зал почти не воспринимал. Алик же (сознательно или бессознательно) выбрал диаметрально противоположную позицию – «антигероя», приехавшего не учить, а учиться у демократии, и это сработало безошибочно: год за годом объезжал он Штаты, выступая по нескольку раз в одних и тех же университетах, а число заявок на его лекции не уменьшалось, несмотря на то, что он уже давно не был «на новенького»...

Описанный отношенческий *statu quo* продержался менее года. Разочарованный в перспективах культурного расцвета Монжерона Никита бросился в область духовную, пытаясь переместить акценты в работе создаваемого центра. Тогда во Францию с Афона возвратилась небольшая монашеская община, перешедшая из католичества в православие. Возглавлял ее отец Пласид Десей. Сам факт перехода в иную конфессию и особенно необычные его условия (повторное крещение) вызвали довольно бурную реакцию католического епископата, создав «отраженную волну» даже в русской диаспоре (Свято-Сергиевский богословский институт получал небольшие стипендии от католиков, и мнение епископата было для институтского начальства далеко не безразлично). Община, насчитывавшая, кажется, всего шестерых монахов, обосновалась в Альпах, в сыром и довольно мрачном ущелье, а в Монжероне Никита решил устроить ее парижское подворье, придав центру не просто культурный, но культурно-духовный характер – с постоянными службами в монжерон-

ской церкви, находившейся в глубине территории, религиозными семинарами и налаживанием иконописной мастерской (в то время Никита переживал период «миссионерства» – явного увлечения развитием православия во франкоязычной среде, по-видимому, по примеру отца Александра Шмемана и всей деятельности Американской автокефальной церкви, сделавшей упор на иноязычную паству)... Для укрепления «духовной составляющей» монжеронского центра в последнем, четвертом здании замка – бывшей трапезной – отводилось на втором этаже несколько комнаток-келий для приезжавших монахов, а в зале первого этажа устраивались лекции отца Пласида...

Справедливости ради следует отметить, что последнее мало сочталося с периодическими крупномасштабными попойками в том же помещении – по случаю дней рождения Саши Глезера или кого-то из парижских художников, при открытии выставок и праздновании иных событий в жизни «третьей волны». Каждый раз подобная эскапада вызывала совершенно эпидермическую реакцию Комитета, а Никита морщился и нудил по поводу бестактности и имморализма Глезера, да и вообще новых эмигрантов, жаловался повсюду на бесхозяйственность Алика, которого почему-то считал ответственным за поддержание порядка в замке, и потихоньку интриговал в Вермонте...

Но в целом ситуация в Монжероне стагнировала, обоюдное неудовольствие копилось исподволь, и хотя с лета 80-го отдельные его всплески прорывались наружу, настоящий «переход количества в качество» произошел уже летом 81-го, после смерти Людмилы Ильиничны и переезда Гинзбургов в Париж, где Алик с Ариной нашли просторную четырехкомнатную квартиру с выходом во внутренний садик – в новом доме на бульваре Вольтер, совсем рядом с нами.

К тому времени мы с Радой уже покинули благословенную rue Pascal, так как хозяйка наша, разведясь с мужем, захотела вернуться в собственную квартиру. Перед нами стал выбор – снимать или покупать новое жилье. Надо сказать, что для эмигрантов, особенно в Новом Свете, приобретение своего жилища является навязчивой идеей, и говоря с любым «новым американцем» или канадцем, вы можете почти безошибочно определить срок его эмиграции: первый год речь идет исключительно о поисках работы, второй-третий о марках автомобилей, а с четвертого – о «мортгейджах», «лоунах» и прочих финансовых атрибутах приобретения недвижимости. Большинство наших знакомых из Штатов говорили об этом непрерывно, и хотя подобная тема предельно утомительна и затрудняет всякое нормальное общение, она, по-видимому, откладывается в подсознании. В результате, по размышлении, мы остановились на покупке и

после двухмесячных поисков обрели первое собственное жилье – четырехкомнатную квартиру на улице Промышленных зданий в одиннадцатом аррондисмане, неподалеку от пляс де ля Насьон. Столь непоэтичное название места нового жительства вовсе не отражало его сути: просто крохотная, тихая и очень милая улочка, отходившая от бульвара Вольтер, была застроена в конце прошлого века совершенно одинаковыми по архитектуре домами, что и стало поводом для придания ей не слишком благозвучного для русского уха имени. Район был вполне чистым и цивилизованным, а квартира казалась необычайно просторной и светлой, и хотя для ее покупки нам пришлось взять в банке кредит на совершенно грабительских условиях, – мы ощущали себя respectable домовладельцами, ничуть не хуже, чем наши заокеанские друзья...

* * *

Осенью восьмидесятого по сложившейся уже традиции мы на недельку отправились в Биарриц – погостить к «попу Ивану». Отец Иоанн Байков был настоятелем биаррицкой церкви. Уроженец все той же Эстонии, он, так же как и Иван Васильевич Морозов, приехал некогда во Францию учиться в Свято-Сергиевский богословский институт. Всю жизнь проработал на заводах «Рено», сначала простым рабочим, потом экспедитором, затем – начальником экспедиторского отдела на одной из бесчисленных фабрик компании, сочетая это с разнообразной службой при церкви на бульваре Экзельманс, где настоятельством архимандрит Александр (Семенов-Тянь-Шанский). С выходом на пенсию – рукоположился в священники и получил в качестве прихода биаррицкую церковь, бывший настоятель которой – отец Александр Ребиндер – переехал в столицу, возглавив приход в Аньере, северо-западном предместье Парижа. Обретенная сана в столь почтенном возрасте – вещь в Европе вполне обычная и объясняется чаще всего причинами сугубо материальными: «парижская» юрисдикция – Западноевропейский экзархат Вселенского патриархата – бедна, как церковная мышь, а приходы столь малочисленны, что по большей части не в состоянии содержать собственного священника. Поэтому многие батюшки, рукоположенные в молодости, вынуждены подрабатывать в других местах и обслуживать по несколько приходов сразу, а кроме того, довольно частым является рукоположение людей пожилых, уже обеспеченных финансово и свободных, но еще вполне бодрых физически. (На фоне этой эмигрантской скудости особенно впечатляющим выглядело материальное положение клира «гонимой» церкви в Советском Союзе.

Помню, как еще в 75-м, в Риме, поразило меня поведение «никодимовских» студентов, присланных на стажировку в «Руссикум»: двое из них, чтобы посмотреть галерею Уффици, ничтоже сумняшеся наняли такси из Рима во Флоренцию и обратно – эскапада, недоступная даже большинству западных, вполне обеспеченных туристов. Приблизительно то же, хоть и в более скромном масштабе, наблюдал я и в Бергамо, на упоминавшемся уже международном конгрессе по Флоренскому, куда прибыло аж три советских делегации: от Союза писателей, Академии наук и Патриархии. Ни Вячеслав Всеволодович Иванов, ни Петр Васильевич Палиевский, ни Сергей Сергеевич Аверинцев, ни Леонид Константинович Долгополов – не могли позволить себе на куцые советские «суточные» не то что сходить в ресторан, но даже купить какой-нибудь дешевенький сувенир семье, и лишь бесчисленная монашеская братия все три дня деловито сновала из зала и в зал заседаний – с огромными пакетами, баулами, сумками и полиэтиленовыми мешками, упоенно отовариваясь в местных супермаркетах...)

Было в отце Иоанне нечто неизживаемо крестьянское – и во внешности, и в поведении. Коренастый, плотный, с седой квадратной бородой, широкой улыбкой, зычным голосом и раскатистым смехом, он напоминал хрестоматийного эстонского фермера; по призванию же своему был скорее не проповедник, а чрезвычайно деятельный строитель, твердо стоявший на ногах, любивший простой здравый смысл, порядок и свято веривший в заученные с детства правила, как в катехизис. Храм свой, построенный еще в прошлом веке, обожал, и в продолжение многих лет расчищал авгиевы конюшни, оставленные предыдущими управителями: полностью отремонтировал подвал, превратив его в «гостиницу» для приезжавших на летние каникулы православных парижан; на получаемые таким образом средства, а также на «выбиваемые» от городских властей субсидии – починил и заново покрасил ветхий церковный купол, через который осенью и зимой стекали по стенам потоки воды; оштукатурил притвор и левый неф... Да и разговоры его касались больше строительных и бытовых тем, нежели богословских. Пофилософствовать отец Иоанн любил лишь после стакана-другого сангрии и сытного обеда, сидя в гостиной за рюмкой ликера, в которых был он большой знаток. За ликером, да и вообще за провизией и вином ездил на испанскую границу, где на нейтральной территории находилось три-четыре tax-free магазина и несколько кафе для туристов. Там батюшку знали и любили все, и немедленно по его появлении бармен принимался смешивать специальные коктейли для отца Иоанна и его гостей. Емкости для этого использовались гигант-

ские: стаканы граммов по двести пятьдесят или триста, и наполнялись они до краев, при этом, как водится, отказаться от возлияний не было решительно никакой возможности... Набив багажник машины байонской ветчиной, сырокопчеными колбасами, иными мясными и спиртными беспошлинными редкостями, отец Иоанн отправлялся обратно. Каким образом после двух-трех стаканов принятого коктейля умудрялся он вести машину по дороге, петлявшей на почти отвесных склонах, – до сих пор остается для меня загадкой. На границе Pège Jean был столь же известен, и французские полицейские, не досматривая машины с контрабандной провизией, весело салютовали православному батюшке... Подъезжая к пограничному посту, отец Иоанн обычно замолкал, сбавлял скорость и принимал вид сосредоточенный и неприступный, и лишь миновав опасный участок, вновь весело смеялся, а вернувшись в Биарриц и разгружая машину, описывал приключения церковному старосте, гордясь, как ребенок, удавшейся «операцией» и своей известностью у власть предержащих таможенников. Роль старосты исполняла милейшая Наталия Ивановна Эррандоне – женщина еще вполне крепкая, бодрая и веселая, хоть и было ей тогда уже сильно за пятьдесят. Происходила она из «второй» эмиграции, точнее, из угнанных немцами на работы; жила неподалеку от Биаррица, в небольшом курортном местечке Saint Jean de Luze, у самой испанской границы; работала femme de menage (или попросту уборщицей) в нескольких компаниях и делила время между работой, уходом за больным сыном и заботами о церкви...

Собственно, всю общину храма практически составляли священник и церковный староста. Времена, когда Биарриц был населен русской аристократией, когда Шаляпин и Ивановы имели здесь собственные виллы, – давно ушли в прошлое, теперь постоянная колония отсутствовала, и только летом наезжали русские туристы, к тому же не слишком многочисленные. Для «третьих» отдых в Биаррице часто оказывался не по карману, и они предпочитали пансион «Пляж де колин» на Лазурном побережье или, если отправлялись на океан, – лагерь «Орел»: небольшое поместье в Ландах, километрах в шестидесяти к северу от Байоны, на берегу океана. Это было даже не поместье, а кусок земли, принадлежавший русской семье Непрежецких, которая, понастроив небольшие бунгало и домики, вполне рационально использовала недвижимость, сдавая сарайчики на лето русским отдыхающим и устраивая для них «общий стол». В биаррицкую же «гостиницу» отца Иоанна приезжали в основном пенсионеры из «первых», да в начале сентября на пару недель собиралось в старом гнезде многочисленное семейство Ребиндеров –

с детьми, внуками и самим патриархом – отцом Александром... Зимой же и осенью церковь пустовала, разве что иногда приезжали друзья отца Иоанна, мы с Радой или кто-нибудь из случайных гостей – вот и все. Так что литургию батюшка частенько служил под аккомпанемент магнитофонной записи, исполнявшей роль церковного хора, – картина, которой мне нигде более наблюдать не доводилось...

Вообще в те годы, несмотря на сильную загруженность в издательстве, мы с Радой умудрялись много ездить по Франции и по всей Европе, утоляя накопившийся за всю предшествующую жизнь голод на путешествия: Бельгия и Голландия, Испания, Швейцария, Австрия, Германия и, конечно, любимая Италия, куда мы ежегодно выбирались хотя бы разок.

Отдыхать в общепринятом смысле этого слова – с лежанием на пляже, прогулками по окрестностям, с игрой в карты или шахматы (что, в сущности, безразлично) и бесконечным трепом по вечерам – я никогда не умел, на второй день начинал сходить с ума от скуки, а потому предпочитал короткие поездки по новым местам. Даже в Биаррице мы почти никогда не оставались на месте, ежедневно отправляясь в горы, по океанскому побережью, в Ланды, в близлежащие городки, чаще всего без путеводителя, просто с дорожной картой – наугад. Однажды, блуждая таким образом, мы совершенно неожиданно заехали в дивное поместье-музей Эдмона Ростана, чрезвычайно почитаемого во всем юго-западном краю – от Гаскони до Беарна и Лангедока...

С отцом Иоанном мы встретились впервые на движенческом съезде, кажется, весной 77-го года, когда он приезжал по делам в епархиальное управление, а в свободное время заходил на заседания съезда. (Ездил в Париж он исключительно на собственном «рено», который, как бывший служащий компании, покупал со скидкой и раз в два года менял на новую модель, чем необычайно гордился. На нем объезжал и другие свои приходы, посещал живущих в отдаленных местах прихожан, путешествовал по Пиренеям.) Осенью того же года мы отправились с Радой в поездку по Франции, добрались до Биаррица и, гуляя по городу, естественно, зашли в храм, который просто невозможно миновать: великолепная церковь расположена в одном из самых живописных и видных мест – на горе, прямо над морем, напротив дворца императрицы Евгении, в котором ныне устроено казино. Отец Иоанн встретил нас как старых знакомых и пригласил приезжать почаще, заявив, что снимать городской отель нет никакого смысла, ибо у него самого есть гостиница в подвале, и в любое время, кроме летних месяцев и первой половины сентября,

– она полностью в нашем распоряжении. Этим предложением мы в дальнейшем пользовались довольно часто. В «историю» же нашей семьи отец Иоанн, кроме всего прочего, вошел как единственный человек, сумевший напоить трезвенницу Раду до положения риз. Случилось это в один из приездов в Биарриц, естественно, после посещения испанской границы, где ей пришлось осушить пару коктейлей, а затем, по возвращении, многократно добавлять, по настоянию батюшки, за обедом, так что в конце концов мы с хозяином должны были отнести бесчувственную Раду в нашу комнату в подвале...

Через много лет, когда в самом конце восьмидесятых во Францию наконец перебрались наши ближайшие друзья Зверевы (о Валере я уже упоминал как о главном «почтовом ящике» в Ленинграде), я отвез Жанночку и Наталью Николаевну – Валеркиных жену и тещу – к батюшке, который встретил их столь же радушно, а установившаяся между всеми троими дружба продолжалась до самой смерти – сначала Жанночки, потом отца Иоанна...

* * *

Вернувшись из Биаррица, я позвонил Никите. Он говорил довольно вяло и казался чем-то расстроенным, но вдаваться в подробности по телефону не стал, а пригласил нас с Радой на завтра к ужину. Мы отправились в Villebon-sur-Yvette, не подозревая, чем закончится вполне заурядный визит. За столом все было как обычно, разве что шутки выглядели несколько вымученными. Зато после ужина, когда дети ушли, Никита неожиданно завел разговор о только что появившемся в «Русской мысли» интервью со мной. Идея его принадлежала Арине и Иловойской. Само интервью было совершенно банальным: история ИМКИ, издательская направленность в прошлом и теперь, выходящие книги, ближайшие планы... В общем, совершенно проходной материал, придавать значение которому казалось смешно... Однако сейчас мы услышали, что «Вермонт возмущен, Александр Исаевич не понимает, почему подобное интервью исходит не от Никиты, а Наталья Дмитриевна считает его появление грубой бестактностью»...

Вообще, за последний год словосочетания типа «Вермонт недоволен», «Александр Исаевич не одобряет», «Наталья Дмитриевна не согласна» – сделались своеобразным рефреном при любых спорах с Никитой. Надо заметить, что спорили мы постоянно с первых же дней общения, но это никогда не были стычки, а лишь обычный обмен мнениями, при котором любой эмоциональный всплеск остается

всего только индивидуальной манерой выражения, никак не затрагивая существа обсуждаемого вопроса, и уж тем более не задевая собеседника, – просто дружеские перепалки, неизбежные даже у единомышленников, хотя бы из-за различий темперамента и жизненного опыта.

Первый серьезный спор, выходявший из такого ряда, произошел в начале 80-го, когда Никита сообщил, что нам «кажется, удалось» получить постоянную субсидию для издательства – 70 тысяч долларов в год (на то время – 350 тысяч франков), причем она будет приходиться в виде наличных денег. Постоянство и форма дотации совершенно однозначно указывали ее источник (крупные суммы наличными выдают лишь стратегические службы, имеющие свои секретные фонды и предпочитающие не оставлять следов), понятно было и каким образом ее «удалось получить». В ответ на выраженное мною сомнение, стоит ли связывать себя с такой организацией: ведь за все придется когда-нибудь платить и еще неизвестно чем, – Никита неожиданно резко вспыхнул: «Что вы все морализируете? Думаете, мне приятно встречаться с этими людьми? Если я стал делать это, то лишь для пользы издательства»... Последнее означало, что слово «кажется» – явный анахронизм, и «субсидия» на 80-й год уже получена, а деньги лежат у Никиты в сейфе. Продолжать спор смысла не имело. Но впервые разговор оставил крайне неприятный осадок: Никита явно начинал какую-то иную – свою или, скорее, солженицынскую игру, и в ней мы уже не были соратниками и единомышленниками, во всяком случае, не стопроцентно, как в предыдущие годы. А сама игра далеко выходила за пределы издательства и всего круга вещей, с ним связанных...

В том же восьмидесятом необычайно усилилось влияние Вермонта на направленность и даже на сам отбор журнальных и издательских рукописей. ИМКА все круче забирала вправо, уходя от идеалов вселенских к ценностям национальным, а «советы» Александра Исаевича уже стали напоминать едва скрытую цензуру. С этим, а по сути – все с тем же вопросом о независимости издательства связан и второй всплеск, переведивший обычный спор с Никитой в совершенно иную плоскость. Как-то раз, весной того года, сидя в гостинной дома в Villebon-sur-Yvette, я заметил, что ни Достоевский, ни Толстой, будучи великими писателями и постоянно публикуясь в «Отечественных записках», все-таки не определяли политики журнала, и что, двигаясь в нынешнем направлении, мы рискуем серьезно сузить и круг авторов, и круг читателей, сделавшись слишком ангажированными, причем в сторону совершенно очевидную и далеко не для всех приемлемую. И тут Никита буквально взорвался,

необычайно резко и запальчиво ответив, что ангажированность – вовсе не порок, равно как и объективность – еще не добродетель, а присутствовавший при разговоре его старший сын Данилка с отроческим простодушием спросил: «Ну, а если не Солженицын, то кто же тогда? Все равно лучше ведь никого нет...» Никита, очень довольный вмешательством сына, его немедленно поддержал: «Да, кто же еще? Назовите...» Мысль о том, что у ИМКИ своя традиция, свой путь, и лучше следовать ему, нежели становиться в кильватер кому угодно, в том числе и любому «великому», – даже не рассматривалась. По-видимому, окончательный выбор – и идейный, и материальный – был уже сделан...

К концу лета начались трения и по поводу Гинзбургов. Я уже упоминал, что отношенческий *statu quo* в Монжероне продержался недолго: переход «от культуры к духовности», а главное, устроенная Солженицыными дотация, да еще в той форме, о которой я только что сказал, делали присутствие Гинзбургов в замке вполне бесполезным, и копившееся исподволь раздражение все чаще находило выход. Напряженность росла день ото дня, особенно с конца 80-го года, а вечная Никитина склонность к интригам все больше придавала ей форму коммунальной склоки, где в ход пускался старый, как мир, принцип: «клеветайте, клеветайте, что-нибудь останется»... В результате атмосфера сделалась настолько взрывчатой, что Алик с Ариной покинули Монжерон. В этом конфликте я занял сторону Гинзбургов, чего Никита никогда не мог мне простить...

Одновременно стычки с Гинзбургами изменили и взаимоотношения Никиты с Иловайской. Особой сердечности здесь и раньше не наблюдалось, однако поначалу они были вполне светскими и доброжелательными – оба оставались «однополчанами» и ощущали себя в единой связке, к тому же Ирина Алексеевна в описанной выше ситуации парижского дебюта не могла позволить себе потерю влиятельного союзника. Теперь же вполне отчетливо стало ощущаться появление соперничества между ними за влияние в Вермонте, того самого соперничества, что со временем привело к открытой войне, завершившейся поражением Иловайской, а заодно и закрытием издательства «*Presse Libre*»...

И все-таки до описываемой поездки в Villebon я еще пытался верить, что мы стоим «спина к спине», по-прежнему оставаясь соратниками, и даже возникновение явных расхождений не меняет главного: одинакового видения цели. Разногласия носили, как мне казалось, тактический характер...

Мы все так же сидели в столовой, Никита уже битый час нудил об интервью, о «политическом такте», о трудности поддержания

ровных отношений с Вермонтом, но было ясно, что вся эта история – лишь повод, что ему надо высказать нечто совсем иное, на что он никак не может решиться... И здесь прозвучала вторая из его «убийственных» фраз: «Володя, дайте нам поцарствовать, мы так долго этого ждали...» Совершенно очевидно – фраза была одной из «домашних заготовок» для разговора, но произнесла ее Маша, как бы спасая Никиту, который никак не мог вымолвить этих слов – мешали обычный слух и чувство вкуса: слишком уж диссонировали они со всем, что говорилось до того. Маша сделала это с солдатской прямоотой...

Воцарилось молчание. Совершенно непонятно было, что можно ответить на столь откровенную просьбу. Говорить, что я никогда не претендовал на ненужный трон, более того, что мне даже в голову не приходило рассматривать наше дело с такой точки зрения, – было глупо. Вообще после этих слов любой ответ выглядел глупо, дико, бессмысленно.

Беседа окончательно сломалась... Мы обменялись какими-то ничего не значащими фразами и очень скоро откланялись. Вышли на улицу. Никита отправился нас проводить. Молча сели в машину, отъехали от дома. Моросил дождь. Мы оба чувствовали себя раздавленными. Рада плакала. За всю дорогу она произнесла только одну фразу: «Теперь остается лишь покончить с собой...»

VI

Разговор у Никиты стал тем, что французы называют *point de non-retour*. Все обесмысливалось, а вопрос о цене перемен превращался теперь уже в гораздо более общий – об их цели; если драматические события, пережитые нами: издательская реформа, смерть Вани, последовавший за ней отношенческий и общедвиженческий кризис, наконец, трехгодичные усилия по вытаскиванию ИМКИ из финансовой ямы и созданию настоящего дела, – выродились лишь в проблему «престолонаследия» и обретения более высокого места в социальной иерархии, то становилось совершенно непонятным, как и для чего продолжать эту игру. Да и сама игра отныне полностью менялась: о реальной независимости издательства не могло быть и речи. Александр Исаевич и раньше, видимо, полагал, что, обеспечив «кадровые перестановки» в ИМКЕ, он вправе определять и издательскую политику. Но ни мы с Никитой, ни отец Александр так не считали, и до восьмидесятого года, во всяком случае, удавалось держать равновесие, а давление Вермонта встречало мягкий и ди-

пломатический, но все-таки довольно стойкий отпор. С появлением «дотаций» расстановка сил делалась иной, а последний разговор показал, что Никита не смог устоять перед искушением и окончательно увяз в новых вермонтских играх, вполне удовлетворившись положением фаворита при дворе «классика» (мне до сих пор не хочется думать, что вопрос о «царствовании» лежал в основе всего еще и до восьмидесятого года)...

Ситуация становилась безнадежной. Произнесенные слова обретают самостоятельную жизнь, и вытравить их из сознания уже нельзя. Некоторое время мы были в состоянии шока, выходя из него лишь постепенно, но бог знает, с какими душевными потерями... Общаться после того разговора стало тяжело, а про откровенные дружеские беседы можно было и вовсе забыть. Их сменила какая-то «протокольная» и внешне вполне доброжелательная манера обсуждения издательских проблем. Негласно были разграничены и сферы деятельности: Никита вел свои книги, я – свои... Последних было еще немало, но и ИМКА, и «Вестник» все более откровенно правили. В ИНРИ вполне умеренного Леонтовича сменил Катков с рассуждениями о масонском происхождении революции, в журнале – все настойчивее звучала тема «русофобии», да и авторский состав постепенно сдвигался в сторону солженицынского «табунка», вполне наглядно показывая, что «ангажированность – вовсе не порок, равно как и объективность – еще не добродетель»...

Перспектива развития издательства обозначилась предельно четко. Дело еще не доходило до гротеска, как это случится несколькими годами позже, когда магазин, например, откажется принимать к распространению книгу Войновича «Москва, 2042» – за слишком явную схожесть одного из героев романа с Александром Исаевичем. Но все шло к тому, и в одиночку изменить наметившуюся тенденцию я был не в силах, более того, ощущал себя уже вполне лишним элементом в этой новой, возникающей на моих глазах системе. Идеология ее, равно как и солженицынское дидактическое понимание истории, были мне абсолютно чужды. Стремление сделать ИМКУ вполне независимым, стоящим на собственных ногах издательством – после подключения к «американскому денежному крану» выглядело смехотворным. Что же оставалось? – стать служащим, каптенармусом по интендантскому ведомству, удовлетворяясь подачками начальства или уворовывая лакомые куски и раздуваясь перед прочими от сознания собственной причастности к играм «великого человека»?.. Этого я никогда не умел и не хотел учиться отворотительному для меня ремеслу. С радостью мог вкалывать до изнеможения, отдавая всего себя делу, в которое верил, где ощущал

себя соратником, но ни шестерить, ни отбивать повинность от звонка до звонка был не в состоянии...

Кстати, по той же причине не сложились и наши отношения с Володей Буковским. Как-то во время одного из его наездов во Францию сидели мы небольшой компанией (кажется, были там Наташа Горбаневская, Володя Дремлюга и еще кто-то) в «Эльзасской таверне», рядом с несуществующим уже «чревом Парижа». Буковский как всегда вещал, на сей раз о необходимости прорыва информационного железного занавеса. Заговорили о книгах, о финансовых трудностях их издания.

– Да что там книги, – вдруг произнес Володя, обращаясь ко мне. – Готов ли ты и твоя команда обеспечить переброс в Россию видеомagneтофонов и компьютеров, но только до полного насыщения – в промышленных количествах.

– А зачем?

– Неважно зачем. Готов? Под это могу достать любые деньги.

Как всегда, я ляпнул лишнее:

– Видишь ли, я могу что-то делать, только если понимаю зачем и принимаю саму идею: то есть быть соратником, союзником, но вот шестерить не умею.

Буковский посмотрел на меня «по-зэковски» – пристально и чуть-чуть исподлобья – и переменял тему...

Своими переживаниями поделился я, естественно, и с Иловой-ской. В «Русской мысли» я бывал теперь все чаще, видимо, из-за тяжести обстановки в издательстве. Возился с макетированием, составлял номера газеты, редактировал материалы, больше переводил и писал сам, иногда даже передовицы, правда, под чужим именем или под псевдонимами. Ирина Алексеевна, выслушав меня, попросила тайм-аут на пару месяцев (по-видимому, требовалась консультация в Вашингтоне), пообещав вернуться к этой теме. В конце весны она сделала это сама, предложив мне построить издательство при «Русской мысли», которое было бы вполне независимым и продолжало линию, проводившуюся ранее в ИМКЕ. Sporадически (раз в несколько лет) газета и прежде издавала книги. Теперь же этот род деятельности предлагалось серьезно расширить, сделав его постоянным. Покупку наборного оборудования «Русская мысль» брала на себя, а для запуска собственно книгоиздания американское начальство готово было со следующего финансового года (т. е. с октября – в Штатах он начинается осенью) предоставить «кредит» в 60 тысяч долларов. Ирина Алексеевна была довольна: собственное издательство повышало значимость газеты, а заодно и ее вес в Вермонте.

«Володя, – убеждала она, – вы никогда не будете иметь таких возможностей, как здесь...» В последнее я готов был поверить, пугал скорее сам источник «возможностей», делавший обещанную независимость проблематичной... К тому же я еще не окончательно свыкся с мыслью об уходе из ИМКИ. Словом – колебался...

Скептическая и проницательная Рада, услышав о предложении, отреагировала однозначно и вполне ядовито: «Продадут тебя твои бабы...» Сама же она, крайне тяжело пережив тот разговор с Никитой, сделала иной, недоступный мне вывод: превратилась в обыкновенную служащую издательства, вполне квалифицированную и безотказную, но не более того...

В мае мы завершили подготовку оригинал-макета четвертого тома «Памяти», который и отдали Флоку для тиража. Рукопись следующего выпуска должна была вот-вот появиться (правда, пересылка сорвалась, и пришла она лишь в октябре). Надо было что-то решать...

В июне 81-го я написал комитету пайщиков и членам Совета РСХД письмо о своей отставке. Срок директорства, на который я был избран, истекал в декабре того года, и с января 82-го я покидал ИМКУ (из «Вестника» ушел одновременно с отправкой письма), предлагая найти мне на замену человека, которого брался за оставшееся время полностью ввести в курс работ; ну, и, конечно, выражал готовность немедленно вернуть Совету принадлежавшие мне издательские акции. Решение об отставке мотивировал возникшими расхождениями в стратегии дела, что мешает его нормальному развитию, – не раскрывая деталей и отказываясь от публичного обсуждения. История с Морозовым на всю жизнь отучила меня от любых разборок: ни одна рукопись, должность или даже институция не стоили такой драки. В дальнейшем мне пришлось строить четыре издательства, постоянно бороться с безденежьем, со всевозможными внешними обстоятельствами, с самим собой, наконец, – но никогда с людьми; если ситуация делалась неразрешимой, я предпочитал отойти в сторону и строить заново – на пустом месте. Так было все последующие годы в Париже, так было и в России...

Объявление об отставке вызвало некоторую волну: Никита, удивленный решительностью моего шага, но явно чувствовавший в душе облегчение, произнес свою последнюю эпохальную фразу: «Не надейтесь. Третьего суда не будет»; Наталья Солженицына письменно порвала со мной отношения; Совет РСХД срочно заинтересовался издательскими делами, и с сентября по вечерам в ИМКЕ начал собираться синклит для обсуждения дальнейших шагов. Я на этих собраниях не присутствовал, да и вряд ли был

бы допущен, даже если бы захотел. Такова изнанка «семейного уклада»: сделав шаг к выходу из семьи, я становился «чужаком» со всеми из того вытекающими последствиями и малоаппетитными деталями...

В сентябре мы с Радой в первый раз ушли в «долгий» отпуск: отправились с друзьями по Испании. Встретиться должны были в Севилье. Поездка оказалась совершенно замечательной, хотя и началась со всевозможных бедствий: в Валянсе у нас сломалась машина, и ее пришлось бросить, поскольку автомеханик заломил за ремонт гигантскую сумму и сказал, что закончит его не раньше, чем через две недели. Выбора не было, мы продали ее за бесценок, взяли внаем другую и продолжили путешествие. В Барселоне, пока мы лазали вокруг соборов и парковых построек Гаудио, у нас вскрыли багажник и вытащили мой чемодан – со всеми вещами, по счастью, у Радинога оторвалась ручка, и воры его оставили, не захотев, вероятно, привлекать внимания. И все же мы стойко двигались на юг, раздумывая, что еще может с нами случиться по дороге... Добравшись наконец до Севильи, встретились с друзьями, прилетевшими из Штатов, и все дальнейшее сторицей вознаградило нас за пережитые неприятности. В Севилье как раз начинался сезон корриды, и мы с Радой превратились в настоящих «афессинадос». А затем, покинув Гвадалквивир, две недели поднимались к северу, петляя по всей стране – от Гренады до Валенсии, от Кордобы до Толедо, от Мадрида до Сан-Себастьяна, и потом уже по Франции через Биарриц и Бордо вернулись в Париж...

Еще летом нашел я по каталогам фирму «Compugraphic» и среди ее продукции – нужную для работы наборную машину. К нашему возвращению из Испании она была уже заказана, а в декабре ее доставили в газету.

В том же декабре я покинул ИМКУ. Вслед за мной уходил из антикварного отдела магазина и Юра Николаев. На последний мой рабочий день Никита в издательство не явился, уж не знаю, что это было: тактичность или трусость. Прощаясь с нашими милыми дамами, я не мог говорить – в горле стоял ком, в глазах слезы, а слова благодарности, к ним обращенные, абсолютно не могли выразить того, что я чувствовал. Завершался период ИМКИ и «Вестника» – время, которое, при всех коллизиях и драмах, его наполнявших, я до сих пор считаю самым счастливым и радостным в своей жизни...

* * *

Опасения по поводу независимости нового издательства при «Русской мысли» подтвердились почти сразу: Иловайская предло-

жила снять копии с готовившихся к публикации рукописей – для экспертной оценки в Вашингтоне, разумеется, «чисто формальной, которая ничему не помешает...» Безграмотность полученного заключения оказалась вполне выдающейся: скажем, рукопись Андрея Белого «Воспоминания о Рудольфе Штейнере» отклонялась на том основании, что «антропософия Штейнера послужила теоретическим фундаментом для идеологии немецкого фашизма». Остальные суждения таинственного эксперта были не менее глубоки и столь же однозначно напоминали советские «внутренние рецензии». Из четырех книг безоговорочно принимался лишь очередной, пятый выпуск «Памяти». Пришлось сразу ставить точки над «i»: я напомнил Ирине Алексеевне, что мы договаривались о строительстве независимого издательства, а потому о копировании рукописей и отправке их в Штаты больше не может быть речи, да и учитывать уже высказанное мнение, ввиду его полного идиотизма, я тоже не собираюсь. Полагаю, разговор этот не доставил Иловойской особого удовольствия, однако в дальнейшем ни о какой предварительной цензуре вопрос больше не ставился. Естественно, кроме «Памяти» я издал все книги, отклоненные экспертом, со временем и это лыко было поставлено в надлежащую строку...

В остальном же все начиналось и оканчивалось работой: строить дело нужно было от нуля, к тому же издательство «Presse Libre» насчитывало тогда всего одну «штатную единицу» – меня (второго человека – Инну Ракузину – я взял обучать набору лишь через год), так что пахать приходилось изрядно: по семь дней в неделю и по десять-одиннадцать часов в день. Корректуру держали вечерами мы с Радой, помогала и Наташа Горбаневская, а в работе над «Памятью» к ней присоединился приехавший в Париж весной 81-го Сергей Дедюлин. Правда, последнее сотрудничество продлилось очень недолго – уже на шестом томе его сменил появившийся в редакции Анатолий Копейкин...

Кроме того, я продолжал преподавать в Институте политических наук, а с начала 83-го стал работать на Би-Би-Си. В январе того года в Париж приезжали руководитель русской службы Бари Холланд и шеф культурной программы Фрэнк Вильямс – в поисках постоянных корреспондентов с материка. После встреч, разговоров и пробных скриптов Холланд предложил мне регулярно сотрудничать в двух программах «Current affairs» – «Глядя из Лондона» и «Уик-энд» (для «Features» – культурной программы Вильямса – работал Ефим Григорьевич Эткинд). Последнее тоже занимало определенное время, правда, не слишком большое, особенно с накоплением опыта. К тому же, бюро Би-Би-Си находилось на той же rue Faubourg Saint-Non-

ого, что и «Русская мысль», всего за два квартала от газеты, и это очень облегчало работу: вся процедура прямой передачи материала в Лондон занимала от силы двадцать минут. Служба на станции очень помогла в дальнейшем, когда я вновь сделался «вольным стрелком», а сотрудничество с ней продолжалось вплоть до ухода Бари Холланда в конце восьмидесятых, когда на Би-Би-Си, всегда считавшейся наиболее солидной и взвешенной радиостанцией, возобладала тенденция к легким или откровенно «клубничным» темам. В результате я отказался от корреспондентства, оставшись только на Французском международном радио...

Но все это были лишь побочные занятия. Главным, как всегда, оставались книги, которые, наконец, пошли. К лету мы выпустили пятый том «Памяти», за ним последовали упомянутые уже воспоминания Андрея Белого, собрание философских работ Александра Александровича Мейера, двухтомник «Жизнь Льва Шестова», двухтомник Владислава Ходасевича, мемуары Ирины Одоевцевой и Евгения Шварца, неизданные произведения Ремизова и Одарченко, работа Владимира Зелинского о церковной общественности и книга Якова Соломоновича Лурье об Ильфе и Петрове, стихотворные сборники Владимира Нарбута, Юрия Кублановского, Вадима Делоне и другие издания...

Однако общая нестабильность при этом сохранялась и даже росла, несмотря на выход книг. Ни о какой реальной независимости (кроме творческой – то есть отбора и публикации рукописей) говорить не приходилось, прежде всего потому, что она предполагает самостоятельность финансовую, а надежд обрести ее не было.

Генеральным распространителем нашей продукции стал мюнхенский магазин Ореста Нейманиса, входивший в ту же самую систему, что и «Русская мысль», и упоминавшийся в первой главе мемуара лондонский «Оверсиз», возглавляемый Милорадовичем. Основная часть тиража направлялась к Нейманису прямо от Флока. Расплачиваться же за книги он не спешил: заведения были родственными, и отношения меж ними строились отнюдь не на коммерческой основе. Даже отчетов о продаже я не мог добиться от него месяцами, а если они приходили, то предъявлялись мне лишь после повторных и настойчивых просьб.

Кроме того, отдельный издательский счет, обещанный по первоначальному договору, так и не был открыт, все операции осуществлялись через «Русскую мысль», при полной бухгалтерской тайне, поэтому чаще всего я даже не в состоянии был выяснить, какие платежи сделаны, а какие нет, что получено за книги и т. д. Иловайская, проводившая с бухгалтершей по полдня, ничего ответить мне не

могла или не хотела, мадам Боже, ласково улыбаясь, несла совершенную околесицу, при этом не отвечая ни на один конкретный вопрос, или просто лгала.

Вообще финансовая тема и все, что хоть каким-то образом с ней соприкасалось, – были раз и навсегда табуированы, сотрудники не знали абсолютно ничего, даже сколько получают их коллеги по редакции или как распространяется газета. Этот «финансовый психоз» являлся лишь внешним проявлением полной и всеобщей зависимости от начальства, создавая в газете атмосферу помещицкой людской, где все основывается на слухах, сплетнях и степени «близости к барину». Справедливости ради надо сказать, что подобная практика господствует не только в «Русской мысли», но во всех организациях, стоящих на полном материальном обеспечении американцев, ибо здесь действуют не коммерческие, а «политические» законы. Да и в газету принесла эту практику отнюдь не Иловайская: то же самое было и при Шаховской, а возможно, еще и при Водове. Разница заключалась не в существе, а скорее в форме: более или менее культурной, более или менее унизительной – словом, «постисторический» период давал о себе знать и здесь... Чтобы не вдаваться в малоприятные детали редакционного быта, отмечу лишь одну, но вполне характерную: телефоны в «Русской мысли» объединялись общим коммутатором, а на столе у главного редактора стоял аппарат со специальной кнопкой, нажав которую можно было слушать любую телефонную беседу любого сотрудника...

Эта обстановка полностью отличалась от того, к чему я привык в ИМКЕ, где персоналу доверяли и все сотрудники знали, по крайней мере в общих чертах и основных цифрах, каково материальное состояние дела и его перспективы. Положение стало меняться лишь с получением «дотаций», но вскоре после этого я и покинул ИМКУ. Теперь же старался не влезать в слишком уж неаппетитные детали, все более сосредоточиваясь на издательских делах, отстаивая прозрачную независимость «Presse Libre» и занимаясь самой «Русской мыслью» лишь в силу данного Ирине Алексеевне слова – сотрудником газеты в прямом смысле я не являлся. К тому же, теперь особенно выбирать и не приходилось, единственное, что можно было сделать – это быстрее и успешней развивать книгоиздание, зарабатывать издательскую марку и тем самым снижать общую уязвимость ситуации. Тем более, что такая перспектива вполне укладывалась и в планы Иловайской, стремившейся к расширению деятельности: вскоре после «Presse Libre» было создано и аналитическое приложение к «Русской мысли» – журнал «Обозрение», – которое возглавил Александр Моисеевич Некрич. (В отличие от Никиты, полностью

сдавшего дело Вермонту, Ирина Алексеевна пыталась играть сразу на нескольких досках, с тем, чтобы превратить газету в своеобразный общий знаменатель всех оппозиционных течений – от демократов до националистов. Последнее должно было оградить ее от обвинений в «просолженицынской» позиции и одновременно повысить статус у вашингтонского начальства, в Москве, у «классика»...)

Увы, четкие логические построения отнюдь не всегда приводят к желаемым результатам. Впоследствии я часто вспоминал слова Бориса Юльевича Физа о слабости формальной логики в делах «семейного» типа: в сущности, ведомство контрпропаганды – дело тоже вполне «семейное»...

Начавшийся «сеанс одновременной игры» завершился почти так же, как в Васюках. Первая крупная атака на Иловайскую последовала со стороны «радикальных демократов»: Любарского, Эткинды, Синявских, Чалидзе... Развивалась она совершенно в советском духе – жалобами и докладными по инстанциям. В меморандуме, ими составленном, утверждалось, что газета стала выразителем лишь одной – национальной тенденции, в то время как демократическая ветвь оппозиции осталась практически без какого-либо крупного органа печати. По мнению авторов, следовало такой орган создать, либо изменить направление газеты, что возможно было лишь со сменой ее руководства...

С другой стороны, противоположный лагерь также не выражал большого энтузиазма по поводу активности редактора «Русской мысли». Стремительное развитие «*Presse Libre*» нарушало установившуюся, вполне контролируемую систему книгоиздания, внося в нее элемент «нездоровой конкуренции» и тем самым непредсказуемости. Уже переход «Памяти» из ИМКИ в «*Presse Libre*» вызвал чрезвычайно бурную реакцию Никиты и еще более нервную – Натальи Солженицыной (собственно, письменный разрыв отношений, о котором я упоминал, в значительной мере связан с этим). По существу, обсуждать здесь было нечего: внутрисоюзная редакция никогда не заключала договоров ни с одним издательством, так что все права принадлежали только ей, и вполне естественно, что с моим переходом в новое место сборник уходил туда же, тем более, что Наташа Горбаневская, кроме «Континента», начала работать и в «Русской мысли». Но кого может интересовать существо дела, если колеблются иерархические устои...

Ситуация усугублялась еще и тем, что поток рукописей в «*Presse Libre*» усиливался с выходом каждой новой партии книг – по видимому, начинало срабатывать то, о чем я предупреждал Никиту еще в 80-м: нежелание значительной части авторов быть связанны-

ми со слишком ангажированным делом. Это ощущалось даже в области, где ИМКА всегда сохраняла монополию, – религиозно-философской: из Москвы пришла рукопись Зелинского «Приходящие в церковь», а от отца Дмитрия Дудко (через Толю Кузнецова, старого моего приятеля, редактора отдела критики «Вопросов литературы», некогда нас с отцом Дмитрием и познакомившего) – «Потерянная драхма»; в Париже Наталья Львовна Баранова-Шестова отдала мне двухтомную биографию отца, а в Соединенных Штатах Борис Андреевич Филиппов подготовил для нас собрание сочинений Аскольдова... В общем, положение грозило выйти из-под контроля, надо было принимать меры...

В 82-м умер Леонид Михайлович Лифарь. Для меня его смерть окончательно опускала занавес над годами работы в ИМКЕ, по которой я безумно тосковал. На кладбище я хотел было подойти к Никите, но не решился: вокруг него клубились неизвестные молодые люди в рясах. Вернувшись домой, написал ему «прощальное» письмо, в котором благодарил за годы дружбы и за все хорошее, что у нас было, совершенно не рассчитывая при этом на ответ. Но через несколько дней Никита ответил, жалуясь на всевозможные напасти и замечая, что за последние месяцы моя записка – единственное светлое пятно... Кто бы мог тогда подумать, что «красное колесо» уже набирало обороты...

В начале следующего года ситуация полностью определилась. Весной Иловайская получила письмо от Натальи Солженицыной с первым и последним серьезным предупреждением: в любом эвентуальном конфликте Вермонт будет на стороне Никиты. По-видимому, Ирина Алексеевна заколебалась: именно к концу весны 83-го наступили первые «заморозки» в ее отношении к издательству. Дальнейшее развивалось по обычным законам жанра: разогреть котел до состояния неизбежного взрыва, а затем – на определенных условиях – выпустить излишний пар. Летом того же года нужная температура была достигнута: Вашингтон принял предварительное решение о замене Иловайской на Марка Поповского в качестве редактора газеты. В конце августа – начале сентября Марк Александрович даже приехал в Париж знакомиться с персоналом, но вел себя при этом настолько вызывающе, что «служебное несоответствие» с первого взгляда стало очевидным для «куратора» из американского посольства, находившегося в тот день в редакции, и кандидатуру Поповского в нужный момент с легкостью удалось потопить... Сама же Иловайская безоговорочно капитулировала, приняв от победителей все условия для открытия клапана и выпуска пара...

Детали этого настолько малопривлекательны, что рассказывать о них не хочется. Что же до результата, о нем говорилось в первой части мемуара: издательство «Presse Libre» было закрыто, через весьма непродолжительное время исчезло и аналитическое приложение к газете, а «Русская мысль», вполне перековавшись, заняла свое, точно определенное ей место во вновь контролируемой системе пропагандного ведомства. Таким образом, все вернулось в нормальную колею, правда, не надолго: через несколько лет началась «перестройка», развивавшаяся не только в России, но и на Западе, а вместе с ней – изменение политических приоритетов и, как следствие, смена «объектов финансирования»...

ЭПИЛОГ

Весной 85-го я стал постепенно вылезать из депрессии. Давили обстоятельства: надо было на что-то решаться – рукопись шестого тома «Памяти» лежала без движения уже более года, и тянуть дальше становилось невозможно...

Возобновление моей «активности», кажется, совпадало с новым периодом «везения». В марте я получил письмо от Пайпса. Дик общал о том, что Госдепартамент выделил на нынешний год Гарвардскому университету средства на исследовательские стипендии, и он полагает, что сможет устроить мне такую стипендию в размере двадцати пяти тысяч долларов. К сожалению, других источников нет и на ближайшее время не предвидится. Сам он полагал, что надо начинать с этого, а потом – по ходу работы, если она пойдет, – пытаться найти какой-нибудь частный фонд: благотворители не любят давать деньги под идеи, но под уже существующее реальное дело выбить грант будет проще...

Я опять вернулся к вычислениям: с обещанной стипендией стоило рискнуть. Правда, реальные деньги должны были прийти лишь к осени, но это уже вторично...

Весной мы продали нашу квартиру, сменив ее на крошечную (в два с половиной раза меньшую по размеру) двухкомнатную – в довольно скверном северном районе Парижа, на rue Vauvenargue, у самого Внешнего бульвара, рядом с Порт де Сент-Уэн. Располагалась она на втором этаже обычного доходного дома: две маленькие комнатки с окнами в колодец узкого двора, совсем крохотная кухня и совмещенный санузел. На этот раз покупка являлась мерой, вполне вынужденной: я по-прежнему оставался безработным, причем даже таковым официально не числился, почти все заработки – и в «Новом русском слове», и на Би-Би-Си – оплачивались «по-

черному», поэтому никаких стабильных доходов подтвердить я не мог, так что о найме квартиры и речи не было...

Кроме денег, полученных на разнице в метраже (за вычетом всех расчетов с банком), принялся собирать в долг по друзьям. Самую большую помощь оказал мне в этом Гарик Суперфин. После выезда из Союза он обосновался в Мюнхене, работал в Архиве самиздата «Свободы» и жил вместе с семьей Василия Семеновича Франка (младшего сына философа) – в большом двухэтажном доме с чердаком, где чердачная квартира-скворечник и принадлежала Гарику. По его просьбе Василий Семенович согласился предоставить мне на два года беспроцентную ссуду, если не изменяет память, в пятнадцать тысяч марок. Помогли и другие друзья... В общем, можно было начинать.

В середине мая отнес я рукопись шестого тома «Памяти» к украинцам на рю дю Сабо. Заказов в типографии оказалось в то время немного, и набор осуществляли сразу два линотиписта, корректуру мы с Радой читали непосредственно вслед за ними, так что к середине лета книга уже версталась...

На исходе июля разразилась катастрофа: пришло письмо от ребят из Питера. Они рассказывали, что в конце весны их вызвали в ГБ и, вполне «благожелательно» побеседовав о «Памяти», в заключение разговора предупредили, что выход следующего тома повлечет за собой продление срока Сене Рогинскому – срок истекал в августе. Это был очевидный шантаж, но шантаж беспроегрешный: рисковать жизнью друга не решился бы никто. Поэтому после совещаний и обсуждений в самом разном составе – редакция пришла к выводу о невозможности дальнейшей публикации сборника...

В ожидании абсолютно твердой оказии письмо добиралось крайне долго – почти два месяца, т. е. как раз в то самое время, когда книга набиралась и версталась на рю дю Сабо...

Не берусь описывать моего состояния: даже если не учитывать ужаса по поводу крушения «Памяти», которая все эти годы была едва ли не самым дорогим для меня делом и последний том которой я так и не смог довести до выхода в свет, сама ситуация становилась катастрофической: книга была практически готова, и хотя я немедленно застопорил все работы, – деньги оказались почти целиком потрачены, вне зависимости от того, появится сборник или нет. При этом возразить что-либо на сообщенное решение я, естественно, не мог – по вполне понятным причинам.

После двухнедельных размышлений я написал ответ, предлагая ребятам сделать из рукописи новое издание, которое, формально никак не будучи связано с «Памятью», стало бы ее продолжением.

Оказия для отправки письма представилась довольно скоро, но ответ пришел лишь в октябре, когда Сенька давно уже вернулся в Питер. Редакция соглашалась на новый альманах, но при этом ставила условием, чтобы его никоим образом нельзя было идентифицировать с почившим сборником. Поэтому в написанном мною предисловии к первому выпуску «Минувшего» жизнь «Памяти» обрывалась 82-м годом (т. е. появлением в свет ее пятого тома) и даже содержалась мягкая, как бы «западная», критика сборника за его временную и географическую локализованность. Обложку пришлось делать самому: необходимо было, с одной стороны, не повторять «Памяти», а с другой – чем-то напоминать о ней. Поэтому квадрат был изменен на косой параллелограмм, перенесен в верхнюю часть и построен не из разорванного листа, как придумал некогда Аркадий Мошнягер, а из коллажа различных фрагментов рукописей и фотографий.

Что же до имен на обороте титула, я предложил Гарику Суверфину стать соредактором нового издания, однако он отказался, совершенно не веря в его жизнеспособность, называя меня не иначе как «Оптимистенко» и посмеиваясь над моими планами. Обращаться же к западным ученым до выхода хотя бы одного выпуска было просто нереально.

Со второго тома после разговоров с людьми удалось составить вполне компактную западную редколлегию, куда вошли известные американские, европейские и израильские слависты: Ричард Пайпс, Марк Раев, Джон Малмстад, Жан Бонамур, Дмитрий Сегал. Согласился войти в нее и Гарик, однако буквально через три-четыре месяца, еще до выхода следующего тома, неожиданно устроил совершенно дамскую истерику и покинул редакцию, разразившись странным, сугубо ерническим письмом, в котором уведомлял всех, что по своему душевному и интеллектуальному складу не выносит «коллегиальной» научной работы, предпочитая индивидуальное творчество...

В октябре, когда от ребят пришло «добро» на переделку тома и создание нового альманаха, я отправился к украинцам и опять запустил производственную машину. Часть материалов была отложена в «мрамор» – для использования во втором выпуске. В результате тома как бы разделились тематически: первый стал «белым», сконцентрировав в себе материалы о судьбах «проигравших», второй – «красным», то есть касался в основном «победителей», судьбы которых через несколько лет оказались столь же трагическими...

Правда, «мрамор» так и не понадобился, ибо второй выпуск делался уже не в типографии украинцев, а у Флока и с оригинал-макета, полностью подготовленного в издательстве «Atheneum» – на

Монмартре, в чудном месте: на тихой rue Duhesme, которая спускается от rue Lamarck, в пяти минутах ходьбы от венчающей холм церкви Сакре-Кер. Там с начала года я снял помещение бывшего магазина, состоявшее из трех комнат и необычайно поместительного подвала, в дальнейшем используемого под склад. Найти его удалось лишь по случаю – так сказать, на чужом несчастье: предыдущий хозяин разорился, а потому сдавал магазин срочным порядком, без каких-либо доплат и за сумму, практически не отличавшуюся от старой аренды.

Весной в новое помещение была доставлена и наборная машина – точно такая же, как некогда в «Русской мысли», только подержанная (наша «кормилица» и сегодня жива, правда, стоит она не в Париже у Сакре-Кер, а в питерском помещении «Феникса», рядом с растреллиевским Смольным собором, куда вместе со всем прочим оборудованием я перевез ее на арендованном грузовике из Франции летом 92-го года, и на ней все так же выпускаются и «Минувшее», и «Лица», и другие наши книги). Старенький «Edit-writer» удалось приобрести на пришедшую из Гарварда от Пайпса «исследовательскую стипендию» и на оставшиеся от типографских расходов деньги.

Дик оказался прав и в других своих умозаключениях: той же весной «Atheneum» получил грант в пятьдесят тысяч долларов от National Endowment for Democracy – нового американского фонда, образованного крупнейшими негосударственными учреждениями: Конфедерацией американских профсоюзов, Международным институтом торговли и т. д. Фонд этот и в дальнейшем помогал издательству. Первый грант Карл Гершман, президент фонда, решил представить «Atheneum'у» лишь после настойчивых рекомендаций Пайпса. Помог и Володя Буковский, имевший самое непосредственное отношение к созданию National Endowment for Democracy. И Карлу, и обоим моим «ходатаям» я чрезвычайно признателен за помощь, ибо с момента получения гранта стало окончательно ясно, что дело наконец пошло, и теперь остановить его уже никому не удастся...

Впрочем, все это было уже потом. А в октябре 85-го я дневал и ночевал у украинцев, сверяя последнюю корректуру, набирая на ручных кассах шмуцы и отсматривая вместе с Зебио чистые листы, – в надежде как можно скорее выпустить первый том «Минувшего» и сделать его, по крайней мере, не хуже, чем предыдущий сборник.

К Рождеству книга наконец вышла в свет – в двух вариантах: в переплете с супером и в мягкой обложке. Не берусь описывать свои ощущения, когда я взял в руки увесистый том и принес домой первые сигнальные экземпляры. Ребята, которым я немедленно отослал

книгу в Питер, тоже были вполне довольны, беспокоясь разве что о дальнейшей судьбе издания. Это было вполне нормально: ведь, по существу, никто не верил в самую возможность «чуда» – после всего, описанного ранее. Так что выход книги оказался совершенно неожиданным, а уж в длительности новой авантюры убежден был в то время, пожалуй, только я сам. Помню, как через месяц в Нью-Йорке (куда я приехал, главным образом для беседы с Джорджем Минденом – договориться о распространении альманаха) Саша Сумеркин, которому я подарил книгу при встрече, отреагировал на подарок: «Господи, Володя, неужели удалось преодолеть сопротивление материала?..»

* * *

Появление первого тома «Минувшего» открывало совершенно новый период жизни, который длится вот уже почти пятнадцать лет и пока не завершился. По своей внутренней насыщенности он стал, вероятно, еще более плотным, нежели описанное в этих мемуарах: в нем и Париж, и, начиная с 87-го года, поездки в Россию, и строительство совместного франко-советского издательства «Феникс», и переезд в метрополию, и Москва с неудачной попыткой возродить «Всемирную литературу» при фонде Джорджа Сороса, и перебазирование «Феникса» в Питер, и, конечно, новые рукописи, альманахи, книги...

Неизменным оставалось лишь одно: жизнь вне социума, совершенно однозначная, осознанная и привычная уже маргинальность нашего существования в эти годы. Маргинальность отнюдь не в смысле результатов, – но в полной и безоговорочной исключенности из любых структур, государственных или общественных, для которых мы всегда оставались чужаками, в лучшем случае – странными, гораздо чаще – подозрительными и неприятными, но в любом варианте – не игравшими по общепринятым правилам, «непрозрачными» (в набоковско-цинцинатовском смысле), а потому неуправляемыми и уже в силу этого – органически иноприродными любой установленной иерархии, любому социальному контексту...

Впрочем, такая жизнь имела и свои положительные стороны, избавляя от светских обязанностей, от участия в бессмысленных «тусовках», необходимых для поддержания «имиджа», от высиживания на встречах и обсуждениях, позволяя сосредоточиться лишь на любимом занятии и тем самым – резко повышая коэффициент полезного действия. Начиная «Минувшее», я продумывал два возможных пути – программу-минимум: пятнадцать томов альманаха (число

выпусков лучшего, на мой взгляд, послевоенного эмигрантского журнала «Мосты») и программу-максимум: двадцать два тома (столько удалось сделать Иосифу Владимировичу Гессену, издававшему в Берлине «Архив русской революции»). Действительность оказалась куда богаче: к сегодняшнему дню мы выполнили больше двух намечавшихся максимальных программ (а если учесть и «Память» – число только архивно-публикаторских томов, нами изданных, переваливает за полсотни), да, кроме того, почти реализовали и минимальную – в форме «толстого» литературного журнала «Постскрипtum». Не берусь судить, много это или мало, но полагаю, что при той дикой обстановке, какая царит сегодня в России, сделать больше наша команда, пожалуй, была не в состоянии...

С самой же командой мне необычайно повезло. Правда, сложилась она отнюдь не из тех людей, на которых я рассчитывал вначале, но, раз сложившись, – полностью идентифицировала себя с делом, ощутив его в буквальном смысле своим, кровным. Конечно, это обрекало на аутсайдерство и всю команду, но это же являлось едва ли не главным условием жизнеспособности вполне авантюрной затеи – создать по-настоящему независимое издательство в стране всеобщей и полной зависимости, да еще сделать это столь маленькой группой (шесть человек), где невозможно деление на «своих» и «чужих», на пристяжных и коренников, где все делают всё, дерутся «спина к спине» и друг друга поддерживают...

Тот факт, что подобное «чудо» совершилось и длится уже почти десять лет, – иногда представляется мне как бы подтверждением старых ощущений, когда происходившее в Париже и рассказанное в этих мемуарах казалось необъяснимым, но единственно возможным ходом событий, – словно какая-то сила, находившаяся вне рационального знания, тащила меня, заставляя совершать поступки и действия, вполне безрассудные с точки зрения обычного здравого смысла. Число получаемых при этом шишек не играло никакой роли: просто в эти годы волею случая я оказался на авансцене, и вполне естественно, что мне досталось несколько больше тухлых яиц и гнилых помидоров, чем пришлось на долю тех, кто оставался в глубине или за кулисами. На присутствие «внешней силы» реакция публики никак не влияла. Исчезло это ощущение лишь однажды – в период упомянутой депрессии. Потом оно возвратилось, но провал, разрыв, чувство пережитой покинутости надолго застряли в памяти. И лишь сегодня, наезжая в Париж, с грустью наблюдая распад и гниение всех эмигрантских институций, общаясь с Аликом и Ариной, встречаясь с постаревшими имковскими девочками, наконец, сталкиваясь с Никитой, я вполне ясно ощущаю, что весь описанный

процесс целиком и даже само выпадение из социума были пусть и не осознанными тогда, но вполне правильными и необходимыми, – в какой-то иной перспективе, которая начинает просматриваться и обретать если не логическое объяснение, то хотя бы цельность, – лишь теперь, в очень долгом масштабе времени...

Чтобы почувствовать цельность перспективы, по-видимому, нужно было проделать пятнадцатилетний путь, находясь все в той же «движущейся системе». На нем, конечно, была масса смешных и грустных эпизодов, множество иллюзий и разочарований, изрядное число потерь и, главное, как всегда, – было наше дело... Сегодня и этот перегон близится к концу, поезд, так сказать, подходит к станции, и я уже стою на подножке, держась за поручень. Осталось лишь разжать пальцы (выпустить десяток книг) и шагнуть на платформу...

Но пока маршрут все-таки еще не завершился, а значит – и рассказывать о нем рано. Может, когда-нибудь потом...

II. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА*

По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь.

В. Маяковский

I

Я сижу в кафе «Au Petit Poucet» на плас де Клиши и жду Зверева, который должен заехать за мной, чтобы везти к себе. Встречаемся здесь, потому что Валерка не знает адреса: в этот приезд я живу у друзей, одолживших мне квартиру, – на крохотной рю Нолле, всего в нескольких домах от площади. Автомобильное движение на этих улочках одностороннее, попасть туда без привычки непросто, а уж запарковать машину и вовсе нельзя, потому свидание назначено в кафе. Сама квартира, несколько обветшавшая, но очень светлая и уютная, заставлена книжными полками, набита подрамниками, холстами, старыми работами, заполонившими не только гостиную, но и спальню и даже громадную ванную комнату. Хозяева моего временного пристанища уже лет шесть как обосновались в Москве, вполне довольны своим положением и возвращаться не хотят, во всяком случае, в ближайшее время. Что до меня, то нынешний приезд в Париж – начало третьей и, вероятно, последней в моей жизни эмиграции, вернее сказать – рекогносцировка. Через две недели надо лететь в Питер, но всего на несколько месяцев: запустить в тираж последнюю партию книг, раздать по библиотекам наш склад, попро-

* Главы из второй части «Записок аутсайдера». – *Примеч. В.Е. Аллоя.*

Публикуются по: In *memoir*: Сборник памяти А.И.Добкина. СПб.; Париж: Феникс–Atheneum, 2000. С.49-89. – *Сост.*

щаться с людьми... Позади десятилетняя работа «Феникса», позади восемь лет жизни в России со всем, что ее наполняло. Впереди – туман, в котором не слишком понятно, куда же плыть...

На родину? – я ведь все-таки французский гражданин, по крайней мере, по паспорту. Или опять в эмиграцию? – но она закончилась, во всяком случае та, в которой мне однажды приходилось жить. Для существования диаспоры необходима разность потенциалов с метрополией, лишь она может гальванизировать искусственную эмигрантскую активность. Сегодня такой разности потенциалов нет, а следовательно, нет и рассеяния, как компактной социальной среды. Есть отдельные люди. Вполне вероятно, что классическая эмиграция возникнет снова – с Россией ни в чем нельзя быть уверенным. Но, в любом случае, это будет уже иная среда, иные взаимоотношения с метрополией, иные мотивировки: какие-нибудь Собчаки станут претендовать на роль Милюкова; Березовские, Чубайсы или просто паханы бандитских групп – делить кресло Гукосова, а лауреаты государственных и негосударственных премий, коим несть числа, – соответственно роли Ходасевича и Иванова...

Что ж, каков поп... В этой компании нам места нет, разве что в качестве музейных экспонатов. Да ведь и «kozyрей в колоде немного»: предпенсионный или пенсионный возраст, усталость, отсутствие иллюзий, свежих идей, а вместе с этим – и сил для новых авантюр.

Вероятно, я пересидел в стране. Поначалу все было предельно просто: ехал на три-четыре года (срок, необходимый для реализации любого проекта), чтобы построить дело с друзьями и для друзей. Оказалось совсем иначе. Уже через пару лет стало ясно, что ловушка захлопнулась: развивать академическое, заведомо неприбыльное дело среди всеобщего распада, когда страна, а вместе с ней и ее культура летят в пропасть, библиотеки разорены и давно не приобретают книг, твой потенциальный читатель – научная интеллигенция – объят ужасом последнего дня Помпеи и превращен в люмпена, – почти невозможно. И хотя мы все-таки создали «Феникс», но очень скоро осознали, что стоит он на песке, даже не на песке – на болоте. Чтобы утлое строение наше держалось на плаву, приходилось все эти годы подпирать его собственными плечами, погружаясь чуть не с головой в мерзкую жижу нынешней российской реальности. Уход любого из нас почти неминуемо означал крушение всей постройки. Однако мы устояли, смогли даже расширить дело вопреки очевидности. Можно, конечно, и продолжать: «Феникс» отстроен, издательская марка заработана, материалов полно. Но что-то внутреннее исчезло, словно кончился завод, и «le cœur n'y est plus».

Все постепенно превращается в рутину, и уже не слишком понятно, зачем это нужно и для кого...

Что за странная все-таки судьба: периодически бросать построенное ломовым трудом и начинать с нуля? У Лидии Яковлевны Гинзбург, великой умницы, где-то в записных книжках есть заметка о том, что хорошо бы «уметь кончать периоды жизни по звонку времени». Сколько раз со мной подобное уже случилось – четыре, пять?..

Для человека «нормального» такое поведение необъяснимо, для человека «советского» – тем более. Презумпции невинности в этой стране не существует, никто никому не верит, и за каждым твоим шагом, сколь бы искренен он ни был, постоянно ищут корысть, выгоду, которую ты более или менее искусно скрываешь. Когда мы еще только начинали дело, любой из чиновников, с которыми приходилось общаться для подписания бесчисленных бумаг Сане Добкину и Толе Смелянскому, немедленно спрашивал: «А чего он, собственно, хочет, этот ваш Аллой?», как бы изначально полагая, что издательство – лишь формальное прикрытие для достижения каких-то иных, скорее всего меркантильных целей. Ничего не изменилось за прошедшее десятилетие, разве что еще больше выросли всеобщая коррумпированность и недоверие, потому все непонятное, не объяснимое простым материальным интересом, отмечается сходу, либо заносится в разряд явлений заведомо подозрительных, имеющих скрытую логику и тайные, непременно порочные цели.

То же самое происходит с моим отъездом: никто не в состоянии осознать, как можно оставить вполне налаженное дело и отправиться неизвестно куда, неизвестно зачем, без каких-либо реальных перспектив... Даже близкие друзья не верят в то, что я окончательно перебираюсь во Францию, не говоря уже о людях «внешних». Витя Семенюк, к примеру, полагает, что я вернусь в Питер через несколько месяцев, убедившись, что в Париже для меня нет места и что жить без России я уже не смогу, будучи окончательно и навсегда ею отравлен. Здесь он, скорее всего, ошибается, хотя насчет «отравленности» страной прав.

* * *

Я знал, вернее, чувствовал это еще тогда, в апреле 87-го, впервые собираясь в Питер после двенадцатилетнего отсутствия...

Странное то было время, дымное, мутное: горбачевская перестройка, цветение иллюзий, первые, робкие еще попытки наладить связи между советской либеральной интеллигенцией и эмигрантами,

проводимые с этой целью встречи и colloquiums о путях России, о судьбах русской культуры (одна или две?!); будущие демократы и номенклатурные антикоммунисты защищали на этих сборищах политику партии от колкостей правозащитников и нападков эмигрантских литераторов, пресекали «провокации», возможные со стороны последних, не забывая при этом передать за рубеж свою рукопись, заручиться приглашением в Париж или Нью-Йорк, а еще лучше – ангажементом на прочтение лекций о новом мышлении, гласности, духовном возрождении страны и грядущих в ней переменах. Через год-другой волны вырвавшихся на Запад «прорабов перестройки» станут напоминать цунами, вагоны поезда Париж – Москва будут лопаться от количества багажных мест уже отбывающих на родину «лекторов», а к самим визитерам навсегда прилипнет кличка «пылесос».

Но в середине 80-х это было еще в новинку. Границы страны приоткрывались, вслед за номенклатурной когортой стали появляться и не слишком чиновные литераторы, журналисты перестроечных газет и журналов, режиссеры, в том числе и знакомые. Они захлеб рассказывали о неслыханном ослаблении цензуры, о возвращении множества имен в культурный и научный обиход, о неизбежном пересмотре всей истории страны, обновлении, да что там обновлении – настоящей революции, происходящей в творческих союзах...

Даже с поправкой на известную экзальтированность неожиданно вырвавшихся на Запад людей, рассказы эти оставляли ощущение если не реальных перемен, то совершенно очевидного и напряженного их ожидания. Пожалуй, именно это чувство было определяющим во всем, что касалось России в те первые перестроечные годы. Не говорю о газетно-журнальных статьях, каковые мне приходилось штудировать «по долгу службы» на радио и в Институте политических наук, но ожидание перемен превалировало и в личных разговорах с людьми, и даже в письмах ребят, отнюдь не склонных к восторженности. Если уж Сенька, только недавно вышедший из лагеря, сообщал, что «конечно, не все, но многое будет напечатано», значит, в стране действительно происходит не только внешняя, показная либерализация, но и более глубокие сдвиги. В общем, надо было видеть это самому...

Для всякого эмигранта первая после многолетнего отсутствия встреча с исторической родиной – испытание не из легких. Этот ящик Пандоры и притягивает, и страшит. Страшит даже не сама страна, но возможность потерять то элементарное душевное равновесие, без которого нельзя жить. Слишком дорогой ценой достигается оно в эмиграции, и слишком жутко его вновь утратить.

Кроме того, отправлялся я в Россию едва ли не первым из «активной части» парижских эмигрантов. Даже Алик с Ариной относились к этим намерениям с большой осторожностью. В целом же общественное мнение оценило поездку вполне однозначно: как присвоение очередного звания по известному ведомству. Следующую звездочку мне нацепили четыре года спустя, вслед за переездом в Россию, совсем недавно – после выхода мемуара в «Минувшем» – очередную, а окончательное возвращение в Париж, надо полагать, будет отмечено уже генеральскими погонами...

Обычную туристическую визу мне оформляли в советском консульстве недели три. Вероятно, вопрос решался не в Париже, а в Москве. Как рассказал по приезде сын, которого не раз и в армии, и на гражданке «дергали» из-за меня в ГБ, в эти самые дни с ним встретился для беседы некий подполковник, сообщивший, что мне будет разрешен въезд в страну, поскольку «данный случай признан более сложным, нежели чистая антисоветская деятельность». Сергею он предложил повнимательнее присмотреться к возникающему из небытия папаше...

Наверное, присматривались и «компетентные органы», хотя открытой слежки за собой я не замечал. Правда, доверял я себе мало: несомненно, сказывалась отвычка от родных нравов за парижские годы, да и методы сыска, по-видимому, усовершенствовались. Но и Сенька, сопровождавший меня буквально везде в тот первый приезд, топтунов не видел, а уж чему можно было доверять, если не его «ззковскому» опыту.

Удивительное и вполне забытое чувство вернулось в первое же мгновение – как только самолет коснулся посадочной полосы: это не страх, скорее какая-то непроизвольная, безотчетная внутренняя дрожь, такое возникает на ринге в самом начале боя – то ли от напряжения, то ли от ожидания первого удара. Вероятно, чувство это неистребимо в советском человеке, даже если в кармане у него иностранный паспорт, а за плечами многолетний опыт свободной жизни.

Впрочем, уже один вид солдат-пограничников с автоматами на изготовку рядом с самолетным трапом настраивает на соответствующий лад...

Автобус. «Накопитель». Паспортный контроль. Каменное лицо прапора, сверлящего тебя глазами и что-то бесконечно долго переписывающего из твоих документов:

– Можете идти.

Полутемный, обшарпанный багажный зал, столь же бесконечное ожидание у ленты транспортера...

Кроме сумки, я нагло вез еще целый ящик, набитый книгами: тома «Минувшего», воспоминания Эммы Герштейн о Мандельштаме, книга Якова Соломоновича Лурье об отце...

Таможня. Моя очередь. Запихиваю в рентгеновскую машину свою поклажу.

– Что это у вас?

– Книги.

– Раскройте ящик.

Ставлю коробку на отдельный стол.

В дверях служебного помещения в ту же секунду возникает капитан:

– Надя, можно тебя?..

Таможенная дама прицеливается в меня любопытным изучающим взглядом:

– Ладно, проходите...

Так и не раскрыв ящика, начинаю снимать его с досмотрового стола. Но тут и его, и мою сумку, и меня самого уже подхватывают чьи-то руки. Друзья...

На трех машинах отправляемся из аэропорта к Валерке. Московский проспект. Первое, предельно странное впечатление от города: полное отсутствие красок. Везде один цвет: грязи. И пыль, совершенно неистребимая грязно-песчаная пыль. Она поднимается облаками из-под машинных колес, осаждается на фасадах зданий, на окнах, на деревьях, на лицах... А ведь на дворе конец апреля, в эти дни весь город выглядел промытым, а вода в Неве становилась неправдоподобно синей, когда по ней начинал идти ладожский лед. Как будто поливальных машин больше нет в природе. Это даже не грязь, а какой-то застывший навеки «культурный слой», в котором любой окуроч, любая оберточная бумажка или осколок стекла – археологические экспонаты.

То же самое и в Валеркином районе, некогда считавшемся престижным, недаром здесь, у залива, строили жилища диккорпуса. Отдельным страшным блокгаузом возвышается громада «Прибалтийской» гостиницы. Все остальные здания в руинах. Щербатая, полурассыпавшаяся облицовка домов, выбитые стекла, ободранные двери подъездов, развалившееся крыльцо, искореженный лифт, покрытый надписями и похабными рисунками...

– Что происходит с городом?

Ребята даже не понимают, о чем я.

– Да брось ты, старик, так было всегда, ты просто запомнил там, за бугром.

Лишь несколько дней спустя кто-то впервые согласился со мной, что раньше все-таки было иначе и что Питер разваливается. Кажется, это был Саня. А потом мне довелось услышать и несколько версий того, что происходит. Наиболее мрачная исходила от знакомых из «Ленпроекта»: виной всему дамба. Эта циклопическая стройка последнего Романова в продолжение десятка лет съедала почти все городские ресурсы. Страдала в первую очередь коммунальная служба: изнашивалась техника – от снегоуборочных и поливальных машин до автобусов и такси, гнили и разваливались инженерные коммуникации, десятилетиями не ремонтировались здания. Еще более страшное происходило под землей: возведение дамбы изменило сток Невы и уровень грунтовых вод. Залив в результате этого зацвел, а в городской почве возникли пустоты, что, по видимому, неустранимо, а для исторической части города и вовсе смертельно: возводился-то он на болоте, на сваях, обработанных для длительного пребывания в воде и не приспособленных к нахождению в воздушных ямах, вот и начинают постепенно гнить... Так что «песчаные бури» – лишь одно из незначительных проявлений все того же процесса: зимой снег практически не убирается – нечем, его предпочитают посыпать песком и солью. Потому в оттепель горожане месят грязь, а весной и летом Питер задыхается от песка, который с таянием снега ведь никуда не исчезает...

Квартира, набитая людьми до предела. Объятия, поцелуи, родные лица, стол во всю длину гостиной...

Дальше – все в тумане. Мы втроем – Сенька, я и Санек – надрались почти мгновенно, что называется, строевым шагом, после чего праздник проходил некоторое время без нас. Рогинский спал в кресле в прихожей, я – на хозяйской зверевской кровати, Саня – в детской. Потом застолье продолжалось едва ли не до утра, с периодическими отключениями и включениями участников. Основное ощущение: Господи, как же все постарели...

Наутро отправились в гостиницу, куда следовало явиться еще вчера. Приехал я в страну по индивидуальной туристической визе, включавшей Ленинград и Москву: не хотелось подставлять кого-либо из друзей просьбой о присылке гостевого приглашения. Статус «индивидуала» предполагал немедленную явку в гостиницу и получение некоей бумаги под непонятным и пугающим названием «валчер». Сей документ должен был сопровождать вас повсюду. В Питере гостиницей моей числилась «Москва», располагавшаяся напротив Александро-Невской лавры. Обычный номер с тараканами и отсутствующей горячей водой стоил сто девяносто долларов в сутки,

но любовь к отечеству, как известно, цены не имеет. Справедливости ради надо сказать, что в этом отеле я не провел ни одной ночи, а «валчер» потерял буквально на третий день пребывания в городе, о чем ни здесь, ни в Москве никто и не вспомнил, тем более, что в московскую гостиницу я вообще не являлся. По-видимому, единственной целью всех этих бюрократических ухищрений была предварительная оплата гостиничного номера при получении визы в Париже, а где вы собираетесь жить – тогда уже не имело для властей принципиального значения.

Вечером у Рогинских на проспекте Гагарина собралась «Память»; на следующее утро у Феликса Перченка – она же, но в более узком составе: только самые близкие – редакция. Совершенно не могу восстановить содержания разговоров. Главным образом – распросы о людях там и здесь, о судьбе рукописей, переправленных на Запад, и, конечно, уточнения: за десятилетие ocasionных или «закрытых» писем накопилось столько недосказанного или неверно понятого...

Настоящие разговоры начались лишь дня через три-четыре, когда я немного пришел в себя от первого шока и уже полностью утратил голос. Это была чисто нервная реакция, я говорил настолько громко, что ребята постоянно удивлялись: «Почему ты кричишь?». Сам я этого, конечно, не замечал. Естественно, через пару дней голос сел окончательно и надолго – уже вернувшись в Париж, я месяца два не мог нормально говорить, а на связках выросла опухоль, которую пришлось удалять в госпитале.

Первая серьезная беседа происходила в Сосновском парке, по которому мы гуляли втроем с Сеней и Саней перед очередными «смотринами». В тот приезд Рогинский постоянно водил меня по самым разным домам и компаниям, в которых я практически никого не знал. Вероятно, для него это было важно по каким-то своим, тактическим соображениям. На сей раз предстояло держать православно-патриотический экзамен в компании Вити Антонова, Саши Кобака, Бори Останина и Димы Северюхина, но приехали мы раньше назначенного срока и пару часов бродили по парку, слушая лагерные воспоминания Рогинского, обсуждая текущие дела и планы на будущее.

В Россию я тогда привез две идеи, в моем представлении неразрывно связанные: создание всесоюзной ассоциации молодых историков – на основе небольшой московской правозащитной группы «Мемориал» и независимого издательства, которое могло бы стать базой неофициальных исторических исследований. Группу Нины Брагинской, добивавшуюся открытия в Москве памятника жертвам

политических репрессий, подсказал мне Алик Бабенышев, когда мы беседовали в Бостоне о возможности дальнейших действий. Было ясно, что происходящее в Союзе полностью меняло и природу и направленность эмигрантской работы, которая отныне могла легализоваться в метрополии, превратившись из хрупкого мостика, связующего западных и советских историков, во вполне естественную часть общего научного процесса внутри страны.

Ребята отнеслись к моему предложению довольно скептически. Сенька отрезал сразу:

– Забыл ты, милый, куда приехал. Всесоюзная организация – да это же вторая часть статьи: преступное сообщество. А уж про издательство и вовсе загнул. Давненько, однако, ты на родине не был.

Тем не менее, посев оказался вполне удачным, выяснилось это через неделю, когда мы отправились в Москву...

* * *

В промежутках между бесчисленными разговорами и посещением людей я днем и ночью лунатически бродил по городу, отыскивая следы прошлой своей жизни, и с каким-то до колотья в горле болезненным чувством сравнивал то, что видел, с тем, что сохранялось «на внутренней поверхности век». Сравнение было явно не в пользу сегодняшнего дня.

Питер не просто постарел, он развалился, просел, ушел в землю, словно начали сбываться гоголевские пророчества. Если Невский еще отдаленно напоминал о начале семидесятых, то уже соседние улицы – Плеханова ли, Софьи Перовской, набережные канала или Мойки – выглядели ужасно: окна подвальных этажей зияли дырами или были забиты грязной покоробленной фанерой. Чугунные решетки на набережных поломаны, иногда гранитные плиты просто выворочены с места. Васильевский остров или Петроградская еще более убоги: те же мертвые глазницы окон, обвалившаяся штукатурка на домах, загаженные подворотни, какие-то страшные дыры в почве, из которых торчат остовы канализационных люков... Дороги разбиты, земля, особенно вокруг трамвайных путей, просела, асфальт вздыбился, рельсы буквально висят в воздухе, и когда трамвай проходит по любому стыку, они с лязгом опускаются вниз, вызывая предчувствие неминуемой аварии. Уличного освещения почти нет даже в центральных районах...

Иногда чувство погружения города в землю становилось абсолютно материальным: скажем, при входе на филфак мне показалось, что добавилась еще одна ступенька вниз...

Я пытался убеждать себя, что все это лишь обычная аберрация памяти, но поверить не мог: слишком уж разительны были перемены, и тем сильнее, чем ближе к району моего детства...

Александровский сад загажен и превращен в громадный общественный туалет. Проход у Кронверка затянут рваной колючей проволокой, на берегу протоки валяются бутылки, какие-то коробки, алкаши без признаков жизни. Сама Петропавловка внутри предельно обшарпана, вход на полуразвалившиеся бастионы загорожен металлической сеткой, на которой висят предостерегающие таблички. Господи, сколько же здесь, на этих бастионах, выпито «Гурджиани» и «Мукузани», прочитано стихов, обсуждено, проговорено, сколько раз встречено в пять утра солнце питерских белых ночей...

Менделеевская линия вдоль здания Двенадцати коллегий, некогда сплошь засаженная сиренью и кустами жасмина, благоухавшего по весне, выстрижена «под ноль». Дом Олеши Михайлова на набережной, рядом с Академией тыла и транспорта, – разрушен полностью: пожар. Это лишь страшный мертвый каркас – здание поставлено на капитальный ремонт, но когда его еще начнут... Волховской переулок вспорот почти по всей длине, вероятно, ожидается прокладка трубопровода. Здания, словно пьяные, валятся друг на друга, совсем как на картинах Калинина...

Наверное, именно тогда осознал я смысл отвратительного слова «застой» – едва ли не главного определения предшествующего десятилетия во всей советской прессе...

Войдя во двор своего дома, я даже присвистнул от неожиданности: гигантское пространство внутри старого особняка оказалось полностью залито асфальтом, вырублены почти все деревья, ни аллеи, ни газонов, ни столов, ни скамеек – все мертво. Посередине металлическая горка и несколько ржавых детских качелей; детишек нет, на качающихся железных скамеечках сидят старухи в драных ботах, толстых нитяных чулках, перелицованных трижды пальто и поролоновых куртках, в платках или вязаных шапочках. Некоторых я узнал...

Этот дом напоминал аксеновскую «Барселону» из «Звездного билета». Построенный на рубеже века Цейдлером, он выходил фасадом на набережную Малой Невы; сзади находился огромный сад, замыкавшийся с противоположной стороны бывшими дворовыми службами, соседним доходным домом и тыльной частью института «Гипроцемент», что располагался по Волховскому переулку.

Сад был великолепен: с липами, кленами, акацией, зонтичными вязами, боярышником, с яблонями и грушами, черемухой и бесну-

ющейся в начале июня сиренью. Охапки влажной одуряющей сирени, наломанные поутру, таскали мы на школьные экзамены в конце учебного года. Плодовые деревья к тому времени уже одичали, но я еще помню, как в самом начале пятидесятых по квартирам носили в корзинах собранные в сентябре яблоки...

Гигантские дореволюционные квартиры были превращены в пеналы, разделенные тонкими, едва ли не фанерными перегородками. От былого великолепия оставалась лишь лепнина на потолке, проходившая через две, а то и три комнаты. Мы жили в бельэтаже, в одном из таких пеналов стандартной коммуналки: шестнадцать квартир-съемщиков, сорок семь человек, бесконечный коридор, огромная кухня, общая ванная, два туалета. Семнадцать электросчетчиков (у каждого индивидуальный и один – «общего пользования»), десяток «личных» стульчаков на стенах уборной (внешние признаки семейного процветания), график пользования ванной и дежурств по квартире, полчища клопов... Наша комната была первой от входной двери: шестнадцать метров площади на четверых.

Разумеется, основным законом коммунального быта являлся полный промискуитет – все знали о соседях всё: служебное положение, гастрономические вкусы, круг друзей, сексуальные предпочтения, число аборт и приводов в милицию... На входной звонок, как по команде, открывались двери комнат, и пришельца сопровождали любопытные взгляды обитателей квартиры. Тонкие стены вздрагивали от любого неосторожного движения и не могли сдержать ни единого звука, исходившего из соседней комнаты: вечерами оттуда неслись пьяные крики соседа, ночами я с любопытством прислушивался к страстным всхлипам и стонам его жены... В шестидесятые, к концу моего пребывания здесь, роли поменялись: теперь в «слушательницу» превратилась подросток дочка наших соседей, обсуждавшая с подругами сравнительные качества знакомых девиц, которые приходили ко мне в дневные часы, когда родители были на работе, а я «проматывал» лекции в университете...

Но, конечно, настоящая социальная жизнь проходила во дворе или на набережной, в те годы еще не одетой в гранит. По ней до самой Стрелки Васильевского с криками и улюлюканьем носилась ватага подростков, игравших в «попа-загонялу», здесь же вечерами, особенно в 53–54-м, после амнистии, происходили разборки местной шпаны, иногда со стрельбой, на этой набережной, уже в конце пятидесятых, выгуливали мы после школы своих девочек. По весне, когда начинала открываться Нева, пацаны катались на льдинах, отталкиваясь длинными шестами от дна и в конце концов неизбежно проваливаясь в холодную, с ледяной крошкой воду, после чего про-

мокших мальчишек отмывали дома в тазу, поливая горячей водой из чайника и понося всеми возможными словами... Весной и летом подростки ловили металлическими сетками рыбу: мелкую плотву, красноперку. До голавлей и крупных окуней не поднимались, с завистью поглядывая на взрослых рыбаков, вооруженных спиннингами и – мечта любого мальчишки – безынерционными катушками...

Двор представлял собой целую вселенную, жизнь в которой почти не затихала, разве на несколько преддуртренных часов. На скамейках целыми днями сидели старухи, обсуждая свои и соседские дела; в песочницах возились дети; в середине сада располагался теннисный стол, с начала дня занятый школьниками, учившимися во вторую смену. Для футбольных и волейбольных баталий обычно использовали соседний дворик, принадлежавший «Гипроцементу», если его не занимали сотрудники института. За столиками играли в домино или в карты, опустошая очередную бутылку и травя анекдоты. В продолжение суток компания несколько раз менялась: днем – пенсионеры и инвалиды, после трех-четырёх появлялись тридцатилетние «хозяева» двора, к которым через пару часов присоединялись вернувшиеся с работы «мужики», а вечером, после того, как жены загоняли податых сожителей по домам, их место занимало «среднее звено» – ребята лет по двадцать-двадцать пять. Лестничные площадки отдавались молодым: из окон парадняков неслись гитарные аккорды и девичий визг. Пацаны совершали бесконечные экспедиции по овощехранилищу, расположенному в подвале особняка, а на долю подростков оставались дровяные поленицы, окаймлявшие сад; там поверялись сердечные тайны, выкуривались первые «бычки», полным ходом шло сексуальное воспитание юношества...

Отопление чуть не до середины шестидесятых было печным, и поленицы составляли неотъемлемую часть дворового пейзажа. В начале сентября народ запасался дровами, и едва ли не весь месяц по субботам под окнами визжала циркулярная пила, а отцы семейств, вооружившись топорами, кололи березовые и осиновые чурки.

Вслед за тем наступал сезон квашения капусты, столь же коллективный, как и вся наша жизнь: каждое семейство держало в подвале специальную кадку, и в октябре они извлекались из небытия, пропаривались, а вся квартира наполнялась стуком ножей, женским смехом и покрякиванием мужчин, которым полагалось мять руками нашинкованную капусту и морковь для большей сочности. На долю детей оставались сладкие кочерыжки и, время от времени, подзатыльники взрослых: не путайтесь, дескать, под ногами...

Зимой жизнь во дворе несколько затихала – все-таки сказывались морозы. Зато в парадняках, особенно со стороны набережной,

где подоконники были гораздо шире, она по-прежнему была ключом, и каждая площадка превращалась в клуб, гайд-парк или расписочную, смотря по составу облюбовавшей ее компании...

Разумеется, наше существование не ограничивалось двором. Была, конечно, и школа, были у каждого и свои особые привязанности: кто занимался музыкой, кто спортом, кто рисованием. Мой сосед и друг Витюша увлекался лепкой и шахматами, посещая кружки во Дворце пионеров; я обожал историю и в продолжение шести или семи лет по два раза в неделю ходил в эрмитажный Клуб юных археологов, в среднеазиатский и русский отделы. И все же средоточием того коммунального мира, беспорно, оставался двор...

Эта жизнь кончилась с уходом в армию: за три с половиной года моей службы поразъехались соседи, родители тоже перебрались на Пороховые, где получили двухкомнатную квартиру, и на Васильевском уже не появлялись. После демобилизации я мало жил с ними: либо бродяжил по стране, либо снимал углы и комнаты в других районах города. И хотя несколько лет ежедневно приезжал в университет рядом с нашим старым домом – он как-то закрылся для меня, и двор отошел в прошлое...

Иногда мне кажется, что именно хрущевская строительная программа – каждой семье по отдельной квартире! – пробила первую реальную брешь в толще советского режима. Давая «простому человеку» чуть более приемлемые условия существования, она в то же время уничтожала коллективизм, на котором и строилось это общество, расшатывая его даже не как идеологию, а как повседневный быт, как норму жизни, нищенскую, конечно, но «общинную», совместную, где уродливое и страшное соседствовало с добрым и человечным...

Жизнь новоселов замыкалась в крохотных клоповниках, столь же нищих, но зато своих. Все, что происходило за стенами «хрущобы», касалось их уже не напрямую, а лишь опосредованно, на уровне плохого отопления, протечек или повышенной звукопроницаемости. В том доме, где жили мои родители, я даже не знал, как зовут соседей по площадке. Да и сами они лишь здоровались с другими жильцами.

Бытие коллективное постепенно вытеснялось бытом частным, индивидуальным, к тому же отброшенным за пределы города в безликие «спальные» районы, вытеснялось советским ублюдочным изводом того самого «privacy», на котором стоит западный мир и который отнюдь не обязательно подходит миру здешнему, точно так же, как не по размеру да и не по нутру ему жизненные нормы, вы-

работанные веками протестантизма и западной цивилизации, если, конечно, иметь в виду не внешнюю их атрибутику, а мировоззренческие основы. Но это уже особая тема, и касаться ее здесь вряд ли стоит...

* * *

В Москву мы ехали на «Стреле». Всю ночь Сенька говорил о том, как задыхается в Питере, давно уже ставшем глухой провинцией, как тяжело пробить хоть что-нибудь дельное в этом городе, и о том, насколько отличается от его кладбищенского покоя столичная жизнь с ее кипением и разнообразными возможностями.

Происходило кипение на Ленинском проспекте, в академическом доме, в квартире Кати Великановой, сделавшей мне при очном знакомстве вполне куртуазный комплимент: «Впервые вижу отмытого еврея»... В тот же вечер у нее собралась московская часть редакции «Памяти», для которой «дорогой друг» (постоянное обращение в «закрытых» письмах) материализовался в бородатого, усталого с недосыпу, а потому довольно быстро напившегося француза.

Количество встреч за эту неделю действительно превышало питерские едва ли не вдвое. Утро начиналось с бесчисленных телефонных звонков и переговоров, а затем мы до позднего вечера метались по городу.

Первым, кто отнесся к идеям, привезенным из Парижа, не как к безумным, – оказался Михаил Яковлевич Гефтер. Он только что перенес инфаркт, был еще слаб, но, как всегда, весел, обаятелен, мил и предельно конкретен в практическом отношении. Мысль его была проста: даже если сегодня это и рано, то уже завтра будет возможно, а потому стоит начинать немедленно. После недолгого раздумья он снял телефонную трубку и позвонил Афанасьеву – тогда ректору Историко-архивного института.

– Юрочка, завтра к тебе придут двое молодых людей, прошу тебя, прими их, внимательно выслушай и помоги...

Михаил Яковлевич обладал в то время непререкаемым авторитетом, и наутро мы с Рогинским уже сидели в кабинете ведущего «прораба перестройки».

Но еще до этого мне предстояло изложить свой план на заседании «малого диссидентского совнаркома», куда мы отправились после Гефтера. Проходило оно в квартире Ларисы Богораз на том же Ленинском проспекте. Присутствовали сама хозяйка квартиры, Сергей Ковалев, супруги Лавуты, Таня Великанова, Катя, Саня Даниэль. Началось все с неловкости: приобретение выпивки лежало на нас,

но, когда мы покинули Гефтера, уже стемнело, и найти водку в районе Новых Черемушек оказалось совершенно нереально (горбачевская антиалкогольная кампания). Ехать же в центр и заведомо опаздывать на встречу Рогинский не решался. В результате мы явились всего лишь с несколькими бутылками плохого вина, вызвав всеобщее молчаливое осуждение, а разговор проходил «всухую» и довольно вяло. Сенька, игравший роль оппонента, вновь заявил, что после лагеря не может слышать слова «организация», тем более с эпитетом «всесоюзная». Остальные задавали вопросы, теоретизировали на предмет осуществимости предложенного в нынешних условиях, но в целом преобладал скептицизм, как по поводу своевременности затеи, так и в отношении ее заведомо научной ориентации. Да, конечно, архивные изыскания нужны, но попасть в секретные, тем более лубянские архивы все так же невозможно, да и стране гораздо важнее сегодня не академические разработки, а широкая общественная деятельность, политические реформы и создание гражданского общества... В любом случае, стоит подождать завтрашнего визита к Афанасьеву и выслушать его мнение...

Мнение свое Юрий Николаевич выразил весьма осторожно. Пришли мы к нему, естественно, с сумкой книг, но оказалось, что томики «Минувшего» уже стоят на полочке в кабинете ректора.

Разговор велся в контексте столь популярных в те годы высказываний о необходимости изучения «белых пятен» советской истории, правда, границы этих «пятен» проступали вполне четко: история страны по-прежнему идентифицировалась с историей партии, а предметом изучения должны были стать внутривнутрипартийные баталии – воскрешение Бухарина и Троцкого, осуждение массового террора, коллективизации и иных «сталинских преступлений» – т. е., по существу, развитие традиций времен хрущевской «оттепели», которым вполне отвечали пьесы Шатрова, рыбаковский роман или фильм Абуладзе... Все, что выходило за эти рамки, как минимум, оставалось полулегальным – в ожидании более либеральных времен. Потому, вполне благосклонно рассматривая возможность объединения усилий западных и советских историков, Юрий Николаевич отнесся довольно скептически к идее независимого издательства, тем паче – на базе эмигрантского, предложив в качестве альтернативы использовать близкое ему и давно существующее – «Прогресс». Там можно было бы репринтировать тома «Минувшего», разумеется, не целиком, а в выборке (скажем, о публикации работы Пайпса «Создание однопартийного государства в России», конечно, речи быть не может), а в дальнейшем продолжать исследования в тесном сотрудничестве с Истархом...

К плану создания всесоюзной ассоциации молодых историков Юрий Николаевич проявил интерес гораздо более живой и вполне конкретный. Конечно, такая организация была бы чрезвычайно полезна, особенно сегодня, когда тяга к осознанию прошлого в обществе столь велика, а необходимость в его объективном изучении вполне назрела. Ректор был готов лично включиться в эту работу и подключить своих студентов и преподавателей...

За сим аудиенция завершилась, договорились связаться в ближайшее время.

Выйдя от Афанасьева, кажется, еще в коридоре института, мы в первый раз поругались: я назвал принимавшего нас прораба «вторым секретарем райкома» – тем, который «по идеологии», а Сенька набросился на меня, доказывая, что я просто не понимаю, насколько удачно прошел наш визит, и как важно, что именно ректор Истарха готов принять участие в создании нового движения...

Трудно сказать, насколько искренен был Афанасьев, но в его политическом чутье сомневаться не приходится. По-видимому, идею признали многообещающей для «раскачки улицы» – крайне выгодной тогда новой власти и ее идеологам, которые нуждались в возможно более широкой общественной поддержке. Уже через несколько месяцев инициативная группа «Мемориала» возникла в Москве, а к весне – в Питере и других городах. Естественной частью влилось в него и ядро правозащитников, а демонстрации и митинги «в поддержку демократии» и, конечно, ее лидеров стали обычным мемориальским хлебом. Когда осенью я вновь приехал в страну и зашел к ректору Историко-архивного института, Юрий Николаевич мог беседовать уже только о новой организации и через каждые две минуты разговора восклицал: «Где Арсений?», «Мне необходим Арсений!», «Куда исчез Арсений?»... К маю 88-го, появившись очередной раз в Москве, я увидел, что работы по подготовке учредительного съезда идут полным ходом, а в состав оргкомитета входят уже и Адамович, и Карякин, и прочие «прорабы». А два месяца спустя на 19-й партконференции сам Горбачев открыто произнес фразу о необходимости изучения прошлого и санкционировал создание «Мемориала».

Правда, ассоциацию молодых историков все это напоминало крайне слабо, зато более чем подходило к понятию «широкой общественной деятельности»... Интерес к истории действительно был тогда чрезвычайно велик, хотя и имел вполне поверхностный, даже немного магический характер – ожидания чуда: вот откроются архивы, узнаются последние тайны режима – и все пойдет по-иному... Долго продлиться это не могло, но, разумеется, конъюнктуру следо-

вало использовать, что и проделали блистательно политики «новой волны». К серьезной постоянной работе по восстановлению прошлого весь этот шум касательства не имел. Уже года через три начался неизбежный отлив, а с 92-го, когда несчастного отца перестройки предали и фактически отстранили от власти его же соратники, развалив для этого страну, а в оставшейся ее части начался гайдаровский эксперимент, – интерес к истории и вовсе угас, сменившись гораздо более активными поисками средств к выживанию, сначала профессиональному, а затем и откровенно биологическому...

Сам «Мемориал» при этом не только выжил, но и утвердился, вполне органично войдя в структуру нового общественно-политического устройства. Созданный при нем Научно-исследовательский и просветительский центр разместился в уютном особнячке в гуще старой Москвы – с тыльной стороны печально знаменитой Петровки, 38. Архив, библиотека, небольшой конференц-зал – словом, все, что отличает порядочное, уважающее себя учреждение от всяких там маргинальных групп. Активисты его сделали помощниками депутатов и советниками уполномоченных по правам человека, вошли в руководство всевозможных общественных организаций и частных благотворительных фондов, а создатели центра даже были допущены к работе в лубянских архивах...

Впрочем, все это происходило гораздо позже, в начале девяностых, и сам я ко всему этому касательства уже не имел. Будучи человеком предельно неструктурным, я никогда не разделял стремления абсорбироваться в «порядочное общество», войти в «коридоры власти», а потому от деятельности вновь созданной организации уклонился почти сразу – как только стали очевидными тенденции ее развития – и всецело сосредоточился на осуществлении второй из привезенных в Москву идей – издательской... Отошел от практической работы и Санек, хоть и сохранял до конца жизни теплые личные отношения с «мемориальцами» и, естественно, принимал самое непосредственное участие в их публикаторской деятельности...

II

Вернулся я в Париж из той поездки, конечно, полностью «отравленным» – и физически, и психически. На уровне физическом это выражалось просто: боль в горле, отсутствие голоса и полная вымотанность после трех недель, проведенных почти без сна. Что до психики – она пострадала гораздо серьезней: все мысли крутились вокруг России, и в последующие четыре года «заболевание» лишь про-

грессировало. Никакая питерская грязь и убожество, никакое жлобство поднимавшихся к власти московских демократических лидеров не в состоянии были снять или хоть ослабить эту «интоксикацию». Скорее даже наоборот. Привкус вины, о котором мне уже приходилось упоминать в первой части мемуаров, необычайно обострился, а в дальнейшем, когда я стал чаще появляться в стране и в конце концов переехал в Москву, к нему присоединилось еще и чувство постоянного жгучего стыда – при виде всеобщей нищеты, которая крепчала с каждым днем. Рассовывая трешки и пятерки в протянутые руки старух, инвалидов (а пару лет спустя – и просто десятилетних беспризорных детей) – я ощущал себя без всякого преувеличения мерзавцем. Избавиться от этого гнусного чувства удавалось лишь после нескольких стаканов алкоголя...

И все же главным приобретением поездки стала перспектива работы в естественной, на сей раз уже вполне открытой связке с друзьями. Это перевешивало всё.

Парижская жизнь на таком фоне не то что бы тускнела, но гораздо отчетливее проступали в ней негативные стороны эмигрантского бытия. Не исключая, что связано это было в значительной мере с изоляцией последних лет, которая после возврата из России лишь возросла и ощущалась особенно остро – по контрасту с Питером. Но не только...

Перестройка вносила полную сумятицу в отношения метрополии и рассеяния, в установленную раз и навсегда идеологическую схему, где первой отводилась роль «империи зла», эмиграция же ощущала себя «не в изгнании, а в послании»... Теперь схема эта начинала трещать по швам, обещая в недалеком будущем, если дела пойдут в ту же сторону, полностью лишить рассеяние политического и даже культурного смысла: вместе с противостоянием для диаспоры исчезал и ее «raison d'être».

Интерес к происходящему в Союзе колебался между надеждой и недоверием, особенно в первые годы. Скажем, Кирилл Померанцев, если при нем заводились разговоры о переменах в России, любил рассказывать байку Сергея Милича Рафальского – одного из старейших журналистов «Русской мысли»: «Когда только начиналась хрущевская оттепель, все поверили в изменение режима, а я так сразу и сказал: “Ах, оттепель? Ну, теперь завоняет”»... Это, конечно, всего лишь бутада, но довольно точно передающая тогдашний настрой.

Изменения проявились где-то к концу 88-го и особенно в 89-м – перед съездом народных депутатов, когда в стране удалось реально «раскачать улицу», множество неподконтрольных власти групп и

движений вышло на поверхность, а навстречу потоку рвущихся на Запад «прорабов перестройки» в Москву устремился встречный, правда, еще не поток, а пока лишь ручеек эмигрантов... До того положение сохранялось неустойчивое, а эмигрантская печать предпочитала вполне жестко критиковать действия властей и отечески поучать неопытных реформаторов, не забывая при этом отстаивать свой приоритет в «деле демократизации общества»... Реальный же перелом произошел в 91-м, на гребне той мутной волны, что захлестнула страну, а вместе с тем окончательно погребла остатки благосостояния эмигрантских организаций, газет, журналов, издательств, – когда поток западной финансовой помощи изменил направление, будучи полностью переключен на метрополию... В январе следующего года, уже переехав в Россию и проведя осень в Москве, я вернулся на несколько недель в Париж – закончить дела и забрать от Флока давно готовый тираж двенадцатого, последнего французского тома «Минувшего». Когда я позвонил в Нью-Йорк Джорджу Миндену договориться о распространении книги, тот меланхолично ответил: «Господь с вами, эта эпоха кончилась, забудьте о ней. Считайте, конторы уже нет. Мы, старики, уходим на пенсию, а вам совету, пока не поздно, менять род занятий»...

Впрочем, анализ общих процессов не входит в задачу данного мемуара. К тому же весной 87-го обо всем этом еще не было речи, да и не раздумывал я над глобальными проблемами. Задача стояла вполне конкретная: нужно было приниматься за строительство параллельной «Atheneum'у» структуры в Союзе, хотя как это сделать, я совершенно не представлял. Единственным реальным способом оставалось в те годы создание совместного франко-советского предприятия. При этом вставал естественный вопрос: с кем его создавать? Афанасьев явно не проявлял интереса к идее, достучаться до Академии наук казалось практически невозможным, я понял это после осторожных разговоров с Палиевским на конгрессе по Флоренскому в Бергамо и безуспешных попыток связаться с Лихачевым в Питере. Рассчитывать на возникавшие в то время кооперативные книжные предприятия было глупо: эти эфемериды и сами дышали на ладан, а уж о реальных возможностях совместного дела с эмигрантским издательством всерьез говорить не приходилось. Вот разве что творческие союзы, о «революции» в которых твердили и знакомые, приезжавшие в Париж, и друзья в России...

Главную роль в реализации безумной затее сыграл Толя Смелянский, так что своим возникновением «Феникс», как минимум наполовину, обязан ему. Смелянский появился в Париже, если не изменяет память, в конце 87-го как участник театроведческой конфе-

ренции, на которой выступил с блестящим докладом о пореволюционной судьбе Художественного театра. Приезжал он и вместе с труппой МХАТа, гастролировавшего во Франции.

Надо сказать, что наезды советских театральных коллективов в те годы были постоянными, не только на авиньонский фестиваль, но и в столицу.

В «Одеоне» выступала Таганка с блистательной Ольгой Яковлевой, выглядевшей каким-то инородным телом в любимовском оркестре. С Малой Бронной ее привел с собой в труппу Анатолий Эфрос, и эта инородность актрисы ощущалась и на сцене, и особенно за кулисами, вне спектаклей. Сам Анатолий Васильевич только что скончался, и в продолжение всех гастролей в фойе театра стоял его большой портрет с траурной лентой, а представление горьковского «Дна» посвящалось его памяти.

В Бобиньи показывал «Серсо» Васильев, вслед за ним выступал Юрский, и с собственными чтениями, и в качестве одного из актеров французской труппы. Додин привозил свой театр с абрамовскими «Братьями и сестрами»...

МХАТ давал представления в Пале де Шайо. Стандартный набор: «Чайка» и «Дядя Ваня» со Смоктуновским и Евстигнеевым.

Анатолий Миронович Смелянский был завлитом театра, а вместе с тем – еще и профессором, и проректором по науке Школы-студии МХАТ, и третьим секретарем Союза театральных деятелей, и одним из самых популярных московских критиков... При всем том оставался настоящим ученым, прекрасным архивистом и театроведом...

До сих пор не понимаю, зачем ему, человеку вполне преуспевающему во всех отношениях, понадобилось влезать в дело, по тем временам совершенно невероятное, а не исключено – и опасное. Но Толя влез, да еще, что называется, по уши. Причем сделал это после первого же разговора с глазу на глаз в помещении «Atheneum'a» на rue Duhesme. Без колебаний. Объяснив свое решение простым перифразом из Пушкина: «Я помочь тебе хочу...»

Уже весной я получил приглашение от Союза театральных деятелей РСФСР приехать в Москву для переговоров. Союзов было два (как и МХАТов): республиканский возглавлял Ульянов, общесоюзный – Шатров. Оба они, в результате проведенных Смелянским бесед, согласились войти в соучредители франко-советского книгоиздательского дела. А кроме них в учредительском совете были представлены Институт искусствознания Академии наук и, уже вполне естественно, табакоская Школа-студия МХАТ. В качестве единственного французского партнера выступал «Atheneum».

Собственно, после этой поездки в Союз вся дальнейшая парижская жизнь стала определяться визитами на историческую родину, которые постепенно взламывали устоявшийся круг занятий: их делалось все труднее сочетать с жестким институтским расписанием – и в 90-м я покинул «Sciences Politiques»; еще до этого перестал писать в «Новое русское слово» – времени едва хватало для главного: работы над книгами. Оставалось лишь Французское международное радио, поскольку работа внештатника не связана непременно условием присутствия в редакции. Так что здесь я продержался до лета 91-го года, т. е. до отъезда в Россию...

* * *

Открытие переговоров с «партнерами» изменило и сам характер поездок: туризм завершился, началась конкретная работа по созданию «Феникса»...

Директором его согласился стать Саня Добкин, отреагировавший на мое предложение столь же однозначно, как и Смелянский: «Вся твоя»...

Жили мы в тот приезд в гостинице «Россия», причем Саня оставался в ней совершенно нелегально: мне дали почему-то двойной номер, в котором мы вполне нагло поселились вместе. Саня проходил в гостиницу по моему «пропуску постояльца», а я предъявлял свой французский паспорт, что в то время производило магическое действие на охрану. Естественно, все коридорные знали о нашем «сожительстве», но никаких мер гостиничное начальство не предпринимало, даже белье аккуратно менялось на обеих кроватях.

Столь необычное гостеприимство мы отнесли тогда на счет «компетентных органов», поскольку все разговоры в номере велись вполне открыто, что облегчало их прослушку, если, конечно, такая имелаась...

А разговоры были нескончаемы, и с приходившими друзьями, и особенно между собой: ночами напролет обсуждали мы прошлое и настоящее, восстанавливали детали совместной работы, спорили...

Это был удивительный случай заочных отношений с попаданием в десятку. Правда, Санек уверял, что мы дважды встречались до моего отъезда в 75-м – в январе на процессе Марамзина и летом, когда наши с Радой документы уже находились в ОВИРе. Вполне возможно, так оно и было, но почему-то я этого не отметил. Зато совершенно отчетливо помню, как в первый раз увидел его на присланной ребятами групповой фотографии: Сенька, Саня и Сергей Дедюлин.

Если Рогинский оставался организатором и распасовщиком идей, то Саня и Феликс Перченко были тягловыми лошадьми «Памяти», выполняя значительную часть черновой работы по реализации блестящих Сенькиных проектов. На них лежало и общение со стариками, и редаKTура, и перелопачивание груды материалов, необходимых для подготовки комментария к текстам, и связь с машинистками... Санек кроме того осуществлял в большинстве случаев функции «письмоводителя», а после Сениного ареста – эта обязанность легла на него целиком. Именно переписка и послужила основой отношений: при всех недомолвках, совершенно неизбежных для «закрытых» писем, она в продолжение многих лет выявляла удивительную близость общих оценок событий и людей, что казалось особенно невероятным при полном несходстве наших характеров. Появление мое в Союзе и дальнейшее личное общение это сходство лишь подтвердило...

Представить себе Добкина генеральным директором издательства, да еще «совместного», можно было разве что в ночном кошмаре. Человек тихий, кабинетный, предельно законопослушный, необычайно мягкий в обращении и панически боявшийся начальства, он воспринимал любой поход к советскому чиновнику как катастрофу. По существу, так оно и было: всем своим интеллигентским видом Саня неизбежно вызывал ненависть, полное и окончательное неприятие со стороны всякого «кувшинного рыла», и пока он произносил нескончаемые вежливые обороты, формулировка отказа уже складывалась в голове хозяина кабинета...

Оставаясь во Франции, помочь ему я не мог: истерические звонки из Парижа, факсы и письма Смелянскому или в СТД, вероятнее всего, давали обратный эффект; лишь во время кратких наездов в Москву мы вместе отправлялись «по инстанциям», все остальное время нескончаемый бумажный воз тащить приходилось Сане.

Он мучался, страдал, но покорно писал заявления и письма, ходил по бесчисленным ведомствам, просил, объяснял, получал отказы и снова отправлялся по каторжному своему кругу... Это упорство, иногда переходившее в настоящее упрямство, и редкая внутренняя твердость отчасти компенсировали интеллигентные манеры, и с третьего или четвертого захода чиновники все-таки дослушивали его и даже ставили положительную резолюцию, по-видимому, проникаясь уважением к столь безграничному терпению просителя. Но до самого конца московского «Феникса» он так и не смог привыкнуть к своей директорской роли.

После открытия питерского отделения и фактического перевода туда всей издательской деятельности Саня с облегчением передал

административные функции Тане Притыкиной – директору здешнего филиала – и сосредоточился лишь на редакторской работе и связи с авторами...

В той гонке с препятствиями, что представляло собой открытие издательства, договор с советскими партнерами стал шагом наиболее простым и безболезненным: Шатров, Ульянов, Табаков и Котовская (директор Института искусствознания) без каких-либо возражений подписали «протокол о намерениях», а затем и соглашение об организации франко-советского книжного дела и все связанные с этим документы. Конечно, основой столь дружественной реакции явилась предварительная работа Толи Смелянского. Но, в сущности, риск был невелик: репутация «Atheneum'a» к тому времени уже вполне устоялась, его книги покинули полки спецхранов даже в Ленинградской библиотеке, а когда отдельные томики «Минувшего» появились у букинистов, цены на них назначали совершенно умопомрачительные (в Питере, если память не изменяет, по сто сорок рублей за том – месячная зарплата инженера). К тому же почти все финансовые расходы по созданию нового дела ложились на западного партнера: внесение во Внешэкономбанк уставного капитала, оплата регистрационных сборов, покупка издательской лицензии...

Что до советской стороны, ее материальное участие выражалось в предоставлении двух помещений – для книжного склада и для конторы «Феникса». Главным же образом она выступала «гарантом солидности» нового предприятия в глазах властей.

По-видимому, гарантий оказалось недостаточно. Почти год не могли мы пробить регистрацию в Министерстве юстиции и Минфине. При этом мотивированного отказа никто не давал. Вопрос, как всегда, решался вне легально установленных учреждений, и КГБ держал наши бумаги мертвой хваткой, явно не будучи в состоянии переварить саму идею пересадки эмигрантского издательства на отечественную почву. Запросы секретарей СТД оставались без ответа, в лучшем случае мы получали невразумительные отписки со ссылками на постоянные изменения, вносимые в законы о совместных предприятиях, и трудности, с этим связанные...

(Чтобы понять, насколько тяжело пробивалось тогда любое нестандартное дело и как изменилась ситуация за какие-то три-четыре года, отмечу, что утверждение документов соросовского фонда примерно в то же время проходило на специальном заседании Совета Министров, а резолюцию на них ставил Николай Рыжков. Зато уже в 92-м, когда мы решили открыть питерское отделение «Феникса», – Тане Притыкиной потребовалась всего неделя для оформ-

ления бумаг и регистрации нового издательства. Сделали мы это, чтобы уйти от проклятого клейма «совместного предприятия», вызывавшего у любого, особенно московского чиновника представление о долларом дожде: подобные конторы рассматривали исключительно как баранов, предназначенных для постоянной стрижки – и официальной, и приватной, а Москва уже становилась полностью коррумпированным, чтобы не сказать уголовным, городом... Помню, как весной 91-го, во время одной из бесчисленных перерегистраций, в которой Добкину дважды отказали, мы с Саней пробились на прием к начальнику Московской регистрационной палаты, и тот, проникшись почему-то симпатией к благородному начинанию, поставил разрешающую подпись, долго говорил о бедственном положении культуры, а перед самым прощанием неожиданно задал доверительным тоном вопрос: «И сколько мои ребята с вас хотели снять?...»)

Неизвестно, как долго длилась бы эпопея регистрации «Феникса», не лопни терпение у Толи Смелянского. Нацепив все свои регалии – профессора, проректора, секретаря, – он отправился к Губенко, бывшему тогда министром культуры. Николай Николаевич, выслушав историю наших мытарств, снял трубку и в Толином присутствии обзвонил по вертушке всех, кто имел отношение к этому делу, включая самого Крючкова. По-видимому, столь явная заинтересованность министра произвела надлежащий эффект. А может, просто сработало «вертушечное право». Во всяком случае, через пару недель мы получили вожделенные подписи и печати на всех учредительных документах.

Легальное существование «Феникса» началось...

* * *

К тому времени девочки из секретариата СТД уже сделали мне годовую многократную визу, так что в страну я мог летать в любое время, минуя унизительные походы в советское консульство, где приходилось выстаивать многочасовые очереди, да еще, как минимум, по два раза: для подачи документов, а через несколько дней – для получения самой визы.

В связи с изменением «статуса» необходимость гостиницы отпадала, к тому же в «Украине», где я последнее время останавливался, нравы были не столь либеральны, как в «России», и Добкину во время наездов в Москву приходилось жить на совершенно птичьих правах в крохотной комнатке секретаря «Мемориала» Лены Жемковой, заставленной чуть не до потолка коробками, чемоданами и про-

чим общественным скарбом. Потому мы стали снимать небольшую квартиру на Масловке, рядом со стадионом «Динамо». Хозяйка нашего жилища, Мария Степановна, пенсионерка лет шестидесяти с небольшим, была счастлива заполучить «интеллигентных» жильцов, не торговавшихся о цене, к тому же «иностранцев», готовых платить в валюте. Правда, последнее обстоятельство ее немного смутило – окончательной долларизации страны еще не произошло, и, подумав, она предпочла советские рубли, за что тут же получила нагоняй от дочери, гораздо дальше продвинутой по части «бизнеса».

Нас с Саней квартирка вполне устраивала: тихая улочка, рядом с метро, почти центр города... А главное – после мотания по гостиным и чужим комнатам собственное жилье давало ощущение оседлости, подобие размеренного, установившегося быта и, что не менее важно, – вполне уютное место для встреч и общения с людьми, которое в России всегда происходит вокруг стола...

Чего в ней только не проговаривалось: и материалы очередных томов «Минувшего», и содержание первых «Звеньев», и неосуществленное – разработка энциклопедии русского кино, планы создания «Исторических тетрадей» – двухмесячника на основе материалов из ГАРФА, Истпарта и как раз создававшегося тогда Центра хранения документации по новейшей истории...

Здесь же в самом конце 90-го, если не изменяет память, собрался ареопаг московско-петербургских филологов для первого обсуждения «Лиц». Наша единственная комната была забита народом, а мы с Саньком в качестве хозяев едва успевали заваривать чай.

Идея альманаха принадлежала Борису Лаврентьевичу Бессонову, сотруднику Пушкинского Дома и Словаря писателей, очередной том которого уже несколько лет гнил в «Советской энциклопедии». Надежд на его скорый выход, а уж тем более на публикацию следующих томов было немного. К тому же словарная статья спрессована до предела и по объему несоизмерима с материалом, который нужно перелопатить для ее написания. Борис Лаврентьевич предлагал создать новый альманах, посвященный, главным образом, «деятелям второго ряда культуры», – на основе словарных разработок и архивных находок. Кажется, единственными, кто поддержал идею, оказались, опять-таки, мы с Саней...

Здесь же, на Масловке, провел я удивительную ночь в общей камере местного отделения милиции. Произошло все на редкость банально. После разговоров о «Звеньях», естественно, в некотором подпитии, часа в три ночи отвез я домой, на Смоленский бульвар, Никиту Охотина. А возвращаясь, у разворота перед мостом на Су-

щевку налетел на милицейский патруль. Молоденький лейтенант, видимо, лишь недавно выпущенный из школы МВД, а потому еще не окончательно ссученный, был непреклонен: никакие разговоры о том, чтобы разойтись ко всеобщему удовлетворению, действия не возымели. Явно посчитав себя оскорбленным намеками на материальное вознаграждение, он забрал мои документы и велел следовать за «раковой шейкой», благо ехать до отделения не более пятисот метров. История выглядела настолько глупо, что я развеселился и по приезде в дежурную часть отказался говорить по-русски, заявив, что являюсь иностранным гражданином и требую присутствия переводчика из французского консульства. Лейтенант, с которым мы десять минут назад беседовали на родном языке, несколько опешил, но дежурный старлей, уразумев мои требования, посмотрел на «иностранца» довольно скептически и сказал: «Ну, что ж, переводчика, так переводчика. Консульство открывается, кажется, в девять утра, а до того времени прошу...» И распахнул дверь гигантской железной клетки позади своего стола – общая камера для задержанных...

По периметру клетки шла сплошная скамья. Постояльцев вроде немного: на полу, притулившись к скамейке, спал мужчина в разодранном пальто, напротив что-то непрерывно бормотал поддатый и облевавшийся старик, рядом с ним – женщина неопределимого возраста с заплывшим глазом, тоже полупьяная. Вот, кажется, и все.

Я сидел сбоку от входа в камеру, наблюдая происходящее, слушая ленивый треп блюстителей закона и вспоминая другое отделение, где четверть века назад мне тоже пришлось заночевать...

Было это в Кзыл-Орде весной 68-го, во время первого опыта «бичевания» (доармейские археологические экспедиции не в счет). Нас с Комаровым сняли с площадки товарняка и препроводили в отдел дорожной милиции.

В тот год мы оформили на физфаке справки об академическом отпуске, сложили рюкзаки и рванули на юг. Оба пытались писать, бредили Заболоцким и Хлебниковым, обоим осточертела ежедневная канитель и беспросветка, оба мечтали «дервишествовать». Чего было здесь больше: наивной романтики в стиле Джека Лондона и Паустовского или простой неприкаянности – судить не берусь. Помню лишь, что оставаться в городе стало вдруг не по силам, неудержимо тянуло в дорогу, куда угодно, лишь бы не сидеть на месте...

Денег на билеты хватило только до Ртищево. Оттуда, уже товарняком, добирались к Пензе. Прыгать в состав пришлось на ходу, времени приглядываться не было, так что лишь оказавшись на площадке, мы обнаружили впереди несколько открытых вагонов с углем. Естественно, в Пензу приехали совершенно черные и на

окраине города несколько часов отмывались и отстирывались у колонки.

Отдышавшись, двинулись дальше, теперь уже вновь на пассажирских, но используя более хитрую методику: билет брали до ближайшей станции, вещи забрасывали на верхнюю полку, а сами отправлялись в вагон-ресторан, где и отсиживались за стаканом чая. Главная опасность заключалась в проводниках, время от времени курсировавших через помещение ресторана. За Актюбинском нас все-таки засекли. Последовала разборка в купе начальника бригады. Врали мы напропалую: дескать, физики, работаем с археологами по определению возраста предметов, найденных на раскопках, отстали от экспедиции, группа уже в Коканде, а мы вот застряли, оказавшись без билетов и без денег... В конце концов в милицию нас сдавать не стали, просто остановили поезд в казахской степи, открыли дверь вагона и выкинули вон. Следом полетели рюкзаки...

Надо сказать, что Мугоджары даже весной являют зрелище не из самых веселых: песчано-каменистое голое пространство, без воды, без растительности, если исключить редкие заросли жесткой травы да верблюжью колючку, этакая хвостенковская «полупустынь-полупустыня»...

Поезд ушел. Мы сидели на рельсах и размышляли, что делать. Рядом валялась перерезанная колесами полуметровая гюрза, вдаль у насыпи жевал колючку верблюды, еще дальше, километрах в двух, виднелось несколько казахских юрт... Добравшись до них и с грехом пополам объяснившись, мы узнали, что единственный транспорт здесь – маленький паровичок, который дважды в неделю развозит почту, хлеб и прочий провиант для пастухов. На нем можно добраться до Эмбы или до Челябинка, и хотя большинство поездов на этих полустанках не останавливается, найти средство для дальнейших передвижений там будет гораздо легче.

Так и сделали, сев через сутки на почтовую платформу, а затем, уже в Челябинке, на товарняк, идущий в Ташкент...

Просмотрев документы и выслушав историю несчастных студентов из Питера, кзыл-ординский сержант отнесся к нам не просто благожелательно, а с каким-то отеческим сочувствием: ничего, мол, ребята, бывает, не горюйте, что-нибудь придумаем... Спать нас отправили не в камеру, а в служебную комнату отдыха, где оказался даже бильярд. Правда, нам было не до игры. Попечение на этом, однако, не кончилось. Проснувшись поутру, я обнаружил на бильярдном сукне пиалу со сметаной и четыре свежайших, еще горячих лепешки, а когда после мытья и завтрака мы появились в дежур-

ке, сержант встретил нас и вовсе как родных, сообщив, что уже договорился с бригадой уходящего через пару часов товарняка подбросить нас до Чимкента...

Что это были за дивные месяцы! Конечно, ни о каком реальном «бичевании» говорить не приходилось. Мы жили среди бичей, но жили иначе: зарабатывали, путешествовали, а когда кошелек истощался, останавливались и работали там, где заставал финансовый кризис.

У настоящих бичей мы вызывали недоверие, а чаще – в «трудовые» периоды – открытую враждебность. Прежде всего потому, что вкалывали как сумасшедшие, в то время как нормальный бич лишь «проводит время». Когда мы устроились в Коканде на местную овощебазу грузчиками, аборигены нас просто возненавидели: вдвоем с Комаровым мы заменяли восьмерых. Поначалу мы грузили ящики с капустой в машины, отправлявшиеся на вокзал, но после того, как вокзальная бригада взвела от навязанного ей темпа, нас поменяли местами. В результате восемь человек работали на базе, а мы вдвоем – на станции, загружая за день сорокатонный вагон-холодильник. Гонка была адская, причем на тридцатиградусной жаре. Времени между машинами хватало лишь на то, чтобы ополоснуться под колонкой. К ночи мышцы гудели от напряжения, иногда мы валились спать прямо на капустные горы, не в состоянии доползти до общаги пединститута, куда устроил «питерских студентов» местный проректор, расчувствовавшись от нашей очередной леды...

База специализировалась на отправке свежих овощей на Север – в Кандалакшу, Мурманск, Архангельск, Воркуту. Хозяева ее жили буквально миллионные состояния: молодая капуста, приобретаемая в конце мая – начале июня по сорок копеек за килограмм, продавалась в северных районах по три рубля, а то и дороже. Больше года директор на своем месте не задерживался: слишком опасно, можно и «присесть». За один рабочий сезон строилась квартира, дача, приобреталась «Волга», а дальше – следовало уносить ноги. Нерасторопных (по рассказам старожилов, таких лишь за последние годы было двое) прихватывало ОБХСС...

К нам, своим главным и единственным «ударникам», директор благоволил: угощал пловом и лагманом, а в конце рабочего дня еще и пивом, приносимым из ближайшего ларька в трехлитровых полиэтиленовых мешках – посуда в кокандских пивных явно была дефицитом. За три с половиной недели он выписал нам почти по пятьсот рублей, чем привел в восторг: сумма заработка намного превышала оклад заведующего кафедрой, и мы чувствовали себя «людьми»...

На поездах, в автобусах, просто на попутках исколесили мы в тот год весь Узбекистан и Туркмению, от Шархисябза до Хивы и Ургенча, от Коканда и Ферганы до Краснодарска. Ночевали в караван-сараях и студенческих общежитиях, у добросердечных суфиев и православных священников, в брошенных домах и под открытым небом... Попадали в самые невероятные истории, из коих выбирались столь же невероятным путем. Мы были молоды, сильны, здоровы и предельно любопытны к жизни, столь непохожей на оставленную в Питере...

Добравшись до Каспия, переправились на пароме в Баку и двинулись по Кавказу...

Расстались мы с Комаровым в Ростове-на-Дону, где Генка застрелял у знакомой женщины, ставшей впоследствии его первой женой. Дальше я отправлялся один: нанялся грузчиком в Армавире, а затем, подзаработав, переместился в Крым – через Тамань, Керчь, Феодосию.

Вернулся в Питер в самом конце октября. Из Симферополя позвонил домой и узнал, что отец совсем плох: метастатическая стадия рака. В январе его не стало...

Вероятно, главным результатом поездки оказалось то, что на физфак я уже не вернулся, уйдя на филологический и восточный и окончательно сменив «физику на лирику». Что же до «вируса бродяжничества», он на многие годы поселился в крови, таская меня по Союзу, а затем, после выезда, – и по всему свету...

Воспоминания прервал дежурный, вызвав меня к появившемуся на службе начальнику масловского отделения: на часах половина девятого. Подполковник был явно раздосадован чрезвычайным присутствием: присутствием в камере иностранца, перспективой общения с дипломатической службой и неизбежной за всем тем головной болью при разбирательстве дела в вышестоящих кабинетах. Посему старлей получил взбучку за свою принципиальность, а меня – после отеческой беседы о нравах на французских дорогах, различиях в законодательстве и трудностях советской милиции – отпустили с миром, вернув документы, машину и даже не взяв положенного в таких случаях штрафа...

* * *

Париж меж тем все более заполнялся советским людом. В этом, как и во многих иных отношениях, 89-й год стал переломным. Двери страны полностью открылись, иногда создавалось ощущение, что

их просто вышибла волна всевозможных «прорабов»: новоизбранных депутатов, правозащитников (заслуженных и не очень), феминисток (молодых и не слишком), общественников всех цветов и оттенков, научных работников, литераторов, режиссеров...

Поехали уже и близкие друзья. Летом Витя Семенюк привез на кинофестиваль в Бобур «Казенную дорогу», за которую и получил первый приз. За ним последовали Галя Кузнецова, Яша Назаров. Бедная Кузечка поначалу впала в ступор, панически боясь выходить на улицу и предпочитая городским красотам подчитку корректуры громадного тома документов эсеровской партии, который я тогда готовил к печати. Витька уже бредил «Домом Романовых» и полной разработкой документального киноархива в Красногорске, так что все окружающее воспринимал лишь «вполглаза». И только Яков оставался благодушным и невозмутимым, чувствовал себя в Париже как рыба в воде, почти не уделял внимания фестивалю, куда тоже привез свою картину, и сутками блуждал с фотоаппаратом по городу...

В том же 89-м, после тринадцати лет «отказа», получил разрешение на выезд из страны Валерка и к концу года вместе с Жанночкой, сыном и Натальей Николаевной перебрался во Францию. Увы, Жаннета приехала в Париж совершенно больной: головокружения и обмороки, которые отечественные эскулапы объясняли исключительно климаксом, при ближайшем рассмотрении оказались симптомами злокачественной опухоли мозга. Оперировавший ее хирург был вполне откровенен: максимум три года жизни, и то при благоприятном стечении обстоятельств...

Потянулся в образовавшуюся брешь и ручеек эмигрантов. Отправились в Москву Синявские. Помню необычайно светлое, какое-то мальчишеское лицо Андрея, когда он с удивлением рассказывал, вернувшись в Париж, о поездке и встречах: «Всегда считал себя вне советской литературы, и вдруг обнаружилось, что я не только присутствую в ней, но никогда и не выпадал...»

Двинулись и другие. Видимо, признание в отечестве составляет одну из самых глубоких и затаенных потребностей эмигранта, особенно если он человек творческий. Здесь и реванш за неудачу первой любви, и сама любовь, мучительная, неутоленная, которую поддерживают и разогревают годы жизни в диаспоре, связанной с метрополией тысячью нитей: культурой, памятью, да и просто способом мышления. Если человек покидает страну вполне сложившимся, взрослым, ему уже никогда не стать французом, канадцем, американцем или израильянином. Можно привыкнуть к новой среде,

войти в нее, принять умом и даже сердцем. Но на самом глубоком, подсознательном уровне ты несешь в себе «генетический код», который не в состоянии стереть никакой жизненный успех, никакая «абсорбция», никакие годы. Скорее наоборот: как сходство с родителями, этот код со временем проявляется лишь отчетливее. Политические взгляды при этом вторичны: они определяют только насыщенность диалога с оставленной родиной, но не его наличие. Шаляпин мог завещать: «К этой сволочи ни живым, ни мертвым»; Набоков в «Других берегах» язвить: «советская энциклопедия словно крови в рот набрала» – все эти филиппики лишь подчеркивали присутствие у обоих постоянной разности потенциалов с Россией, того электрического напряжения, что определяет понятие эмиграции, наделяет его смыслом, а может быть, и самой жизнью...

Помню, как Мелик Агурский восторгался во время горьковской конференции в Нью-Хэвене общением с Александром Овчаренко, а вернувшись из Москвы, с упоением рассказывал о приеме в ИМЛИ, который устроил ему Феликс Кузнецов. Казалось бы, «что ему Гекуба?»: Мелик был к тому времени профессором университета, крупным деятелем рабочей партии и одним из наиболее уважаемых политологов Израиля. К тому же, на обоих упомянутых персонажах, что называется, клейма ставить негде, того же Овчаренко за руку ловили в Бахметьевском архиве на краже документов. А вот, поди ж ты... При этом Мелик был совершенно искренен, вполне скептически настроен и не настолько тщеславен, чтобы не понимать реального масштаба и смысла происходящего. Здесь чувствовалось иное – тот сплав эмоций, который определяет в большой мере эмигрантское сознание и о котором я говорил выше. Мелик умрет в 91-м, в Москве, во время «путча», приехав в страну на Конгресс соотечественников. Воистину, открывший ящик Пандоры должен понимать, что его ждет...

В квартире Алика Гинзбурга одна из стенок в гостиной к тому времени окончательно приобрела вид промышленно-футуристический: факсы, магнитофоны, видео, телевизоры... Бесперывные звонки из Москвы, передачи текстов для «Русской мысли» от Подрабиника, Сендерова, Тимофеева... Первые полосы газеты уже прочно заняли «Вести с родины», которые Алик составлял на основе полученных материалов, а сама «Русская мысль» (как, впрочем, и Синявские, Любарский, Никита Струве, Максимов, Перельман и т. д.) – постепенно принималась подыскивать в России партнеров для издания в метрополии. Жизнь диаспоры начинала все более ориентироваться на Россию...

Внутри страны «вышибание дверей» проявлялось уже и в иной, обратной форме: стремительного поглощения всего, что выработала за семьдесят лет эмиграция. Началось, конечно, с религиозной философии, затем пришел черед литературы. При этом, по обыкновению, качественный критерий полностью отсутствовал: никакой разницы между Ходасевичем и Перелешиним, Зайцевым и Лукашом, Ивановым и Кленовским, важен был лишь ярлык «эмигранта» – в общем, почти по Галичу: «все одной зеленкой мазаны». Битва шла, скорее, по принципу «проходимости» книги через не отмененную пока цензуру, которая ужесточалась в основном с приближением издаваемого автора к сегодняшнему дню. В этом отношении «Несвоевременные мысли» Горького стали более ходким товаром, чем бунинские «Окаянные дни», а исторические романы Алданова пробились несравнимо легче солженицинского «Архипелага». Естественным результатом такого подхода стало полное «несварение желудка», а культурное наследие диаспоры, наспех заглоченное, так и осталось «непереваренным»...

И уж совсем мерзким выглядело приспособление эмигрантских авторов для «нужд политического момента»: неперемное сюсюканье по поводу ностальгии изгнанников, столь же обязательной их нищеты и, конечно, патриотизма и любви к оставленной родине... Кладбище в Сент-Женевьев де Буа наводнили бесчисленные съёмочные группы: ритуальное возложение тряпич с родной землей, крупные планы русских могил, особенно свежих – Галича, Тарковского, Некрасова, похороненного в чужом семейном склепе... Пароксизма своего эта некрофилия достигла в операции по вывозу «уходящей натуры» (к примеру, экстренной отправкой Одоевцевой руководил лично академик Лихачев) и в кампании по перезахоронениям, ограничившейся, на счастье, лишь переносом с Батиньольского кладбища шляпинского праха. Последнее действие являло сцену совершенно мамлеевскую: развороченная могила, дождь, крохотная группа перепуганных эмигрантов, бледный, разве что сознание не теряющий Федор Федорович, полное отсутствие французских представителей, выражавших тем самым протест против изъятия останков, и беснующийся вокруг посольский люд...

В области издательской дело доходило до абсурда, вернее – до вывернутого наизнанку все того же советского принципа: раньше западная публикация на десятилетия хоронила возможность выхода книги в Союзе, теперь положение становилось зеркально противоположным: чтобы напечататься на родине, желательно было «пробить» книгу на Западе. Скажем, не успел я выпустить мемуары Олега Волкова, как старику позвонил директор «Худлита» Георгий Ан-

джапаридзе с предложением немедленной, внеочередной публикации книги...

При этом лихорадка охватила огнюдь не только издателей: советские авторы, в том числе и вполне уважаемые, умудрялись одновременно предлагать свои рукописи и в отечестве, и на Западе, заключая по несколько сделок сразу, усиливая общий хаос и не желая брать в толк, что по традиции подобные переговоры ведутся только последовательно, но никак не параллельно. (Помню, как Ричард Дэвис принес мне рукопись стихотворений Даниила Андреева, которую просил опубликовать; лишь закончив работу, я узнал, что вдова поэта «заслала» ее одновременно в три зарубежных издательства, после чего, естественно, отказался от выпуска книги, передав Ричарду готовый оригинал-макет. Таких примеров можно привести сколько угодно.)

Нет смысла говорить и о том, что в самой России пиратские издания и перепечатки стали в эти годы общим законом, тем более когда в дело включилась масса возникавших, как грибы, кооперативных издательств, для которых понятия «копирайт» не существовало вовсе...

При желании этот хаос, наверное, можно объяснить предшествующими десятилетиями советской власти, системой искусственных запретов, железным занавесом. И все же таких доводов явно недостаточно. В лихорадочной деятельности рубежа 80–90-х, во всеобщей спешке, что выражена уже в самом названии шатровской пьесы «Дальше, дальше, дальше...», – чувствовалась какая-то изначальная внутренняя фальшь, которая неизбежно должна была проявиться в будущем. При этом о самом будущем никто не думал. Возникло ощущение, что слово «послезавтра» напрочь исчезло из лексикона, даже «завтра» стало малоупотребимым, осталось лишь – сегодня, сейчас. Жили сиюминутным, воистину злобой каждого дня.

Сильнее всего проявлялось это, конечно, в области политики. «Раскачивание улицы», наконец, дало плоды: страна митинговала. На демократических трибунах можно было встретить столь естественное для нормального взгляда сочетание ораторов, как прокурор Гдян, академик Сахаров и недавний член политбюро Ельцин. На патриотических – полубезумный фашист Васильев стоял рядом с писателем Распутиным и художником Глазуновым...

Митинговая стихия охватила и прессу – газеты, еженедельники, солидные «толстые» журналы: Анатолий Стреляный призывал перепрыгивать пропасть не в два, а только в один прыжок, не удосуживая ни себя, ни читателя размышлениями по поводу того, что бу-

дет со страной, если прыжок все-таки не удастся. Нина Андреева не желала поступаться принципами и разбирала «пышность пирогов» в России и на Западе, требуя определиться, куда же идти. И уж разве самый ленивый не пинал издыхающий режим, доказывая свою приверженность демократии хлесткостью формулировок.

Съезды народных депутатов заслонили все остальное. Казалось, жизнь замирала на время заседаний, транслировавшихся по телевидению.

Заходя к Ольге Всеволодовне Ивинской, жившей рядом с нами на Масловке, у Савеловского вокзала, я каждый раз поражался ее и Митиной эмоциональной вовлеченности в происходящее на экране. Куда там футбольным болельщикам моей юности. Те могли, да и то лишь в случае крайнего разочарования, устроить драку с милицией или погромить несколько пивных ларьков. Здесь же разыгрывалось действо, сравнимое разве что с античным боем гладиаторов. «Уберите же с трибуны эту дрянь!», «Что еще за ископаемое выпустили!», «Да отключите ему микрофон!» – Ольга Всеволодовна, восседая в кресле перед телевизором, чувствовала себя если не на капитанском мостике, то, по крайней мере, в первом ряду Колизея. Выражала мнение по поводу любой реплики из зала или из президиума, комментировала любое выступление... Я ходил для нее в «ретроградах» и «розовых», любого другого за скептические высказывания в адрес новых демократических кумиров она бы просто испепелила, но мне везло, и ядовитые замечания – исключительно из любви ко мне – вызывали не слишком громовую реакцию или просто не принимались в расчет... Разве что в разгар последующего застолья она могла напомнить, что я оскорбил ее «гражданские чувства»...

Эта зрелищность, постоянное ощущение разворачивавшегося перед глазами изумленной страны спектакля, когда с трибуны проносились вещи, еще вчера невообразимые, невозможные ни при какой погоде, – совершенно завораживала людей, часто лишая их способности здраво воспринимать самую мысль оратора, обычно сводимую к банальности или откровенно демагогическому лозунгу, типа говорухинского «так жить нельзя». (Поразительно при этом, что сам Станислав Сергеевич был искренне убежден в эпохальной роли, которую сыграл его фильм, и где-то через год-полтора, сидя в парижском помещении «Atheneum'a», на полном серьезе доказывал мне, что именно показ его киноленты депутатам позволил избрание Ельцина...)

Дым первых лет перестройки переходил уже в откровенный угар. Несчастный Горбачев продолжал твердить о «социализме с человеческим лицом», о демократизации и прочем, изредка пытался

жать на тормоза, но после второго съезда делать это становилось все труднее: «прорабы» открыто меняли «машиниста» и безостановочно подбрасывали уголек в топку: дальше, дальше, дальше... Страну несло под откос...

* * *

При всем том, надо было развивать «Феникс». Вопрос о партнере для конкретной работы встал еще до легализации издательства. Было совершенно очевидно, что Саня, страдавший от бумажной волокиты, с производством не справится вовсе. Простым терпением и выносливостью здесь не обойтись: производственная деятельность целиком строилась на взятках и личных связях, на умении «пробивать» и «доставать», причем совершенно не обязательно речь шла о бумаге, картоне, типографской краске – т. е. о вещах, имевших прямое отношение к полиграфии. В той цепочке, где на выходе появлялась книга, на входе могло быть что угодно: итальянская обувь, японские видеомэгафтоны, древесно-стружечные плиты или мясо по низким ценам... Путем сложнейших обменов, которые потом назовут стыдливо «бартером», все это превращалось в необходимые материалы. Страна жила по талонам, понятие дефицита охватывало буквально все сферы жизни, и «комбинаторика» такого рода становилась главным элементом производственного процесса.

Исключение на этом всеобщем блошином рынке составляли пока лишь мастодонты – крупнейшие советские издательства, с отлаженной полиграфической базой, государственным снабжением материалами, собственной распространительской сетью. Зато и падение их всего через два-три года, когда страна вступила в гайдаровский эксперимент, – оказалось особенно стремительным и ужасающим...

Правда, в 89-м такой сценарий еще не был очевиден: считалось, что запас прочности у этих гигантов вполне достаточный, чтобы пережить неизбежную ломку. Что касается «Феникса», тут выбирать особенно не приходилось: начинать в этом хаосе совершенно одним, без солидного партнера – мы полагали нереальным.

Из крупных московских издательств к совместной работе оказались готовы, по крайней мере на словах, «Книга», «Прогресс» и «Книжная палата». В конце концов мы остановились на «Прогрессе», поскольку директор его – Александр Авеличев обещал нормальные тиражи, в то время как «Книжная палата» явно осторожничала, предлагая вовсе не пускать книги в свободную продажу, а распространять их по подписке лишь в библиотеки и учебные заведения...

Вообще говоря, Авеличев обещал все что угодно и соглашался на любые предложения. Лишь недавно придя в «Прогресс», он явно не понимал, куда направить доставшийся ему корабль. А корабль был не маленький: гигантский бункер на Зубовском бульваре почти не уступал по размерам и численности персонала АПНовскому. Только штатных сотрудников насчитывалось более полутора тысяч. В основном это была армия переводчиков, доносивших любую партийную чушь до народов Азии, Африки и прочих континентов. Теперь издательский профиль приходилось срочно менять, при этом «указания сверху» носили столь противоречивый характер, что несчастный директор был совершенно сбит с толку и бросался во все стороны сразу. Если учесть при этом, что гигантские производственные возможности казались вечными, цензура слабела день ото дня, а гособеспечение и распространительская сеть пока сохранялись – понятно, что ощущение всесильности кружило голову.

Масштаб планов, равно как и их бессмыслица, потрясали: полный русский перевод энциклопедии «Британика», многотомная серия мировой философии, пухлые и абсолютно пустые сборники всевозможных «прорабов» – от Собчака до Баткина и от Старовойтовой до Гранина. Один из таких шедевров под названием «Через тернии» Саша Авеличев подарил и мне, снабдив его чудовищным инскриптом: «Володе Аллою – человеку и издателю, пришедшему к нам через тернии...»

С нами Авеличев заключил договор на совместный выпуск исторической серии, куда входили тома «Минувшего», разумеется, без изъятий, на которых еще пару лет назад настаивал Афанасьев, и новый альманах «Звенья», готовившийся тогда «Мемориалом». Интерес к любым архивным публикациям был очень велик, и тиражи директор «Прогресса» предлагал гигантские – от ста тысяч экземпляров (я едва удержался от реплики, которую Муссолини адресовал Мережковскому: «Пьяно, маэстро, пьяно»). В конце концов сговорились на пятидесяти тысячах, но на третьем томе и эта цифра оказалась слишком велика.

Столь неоправданное завышение тиражей уже говорило о полном непонимании ситуации. Страна менялась на глазах, появление множества кооперативных издательств резко увеличивало номенклатуру выпускаемых книг, давая читателю выбор. Времена, когда все население читало один-единственный бестселлер или один журнал, кончились, а вместе с ними уходила в прошлое и тиражная политика советских издательств. Мастодонты понять этого не могли и не хотели. Весь стиль работы «Прогресса» напоминал о «благословенных семидесятых»: над обычным репринтом (а речь шла именно

о репринтах томов, уже вышедших в Париже) трудилась почти год целая редакция, при этом вся работа заключалась лишь в изменении титула и библиографического описания на его обороте. Несчастный Саня чуть не ежедневно звонил Олегу Зимарину, руководившему историческим отделом, но расшевелить эту неповоротливую махину не мог: Олег отвечал лишь за свой «сектор», а далее шли экономисты, плановики, производственники и еще бог знает кто, при том, что все вместе они составляли лишь редакционно-издательский цикл, за которым следовала собственно полиграфия, где концы уже полностью и навсегда терялись...

В каждый свой приезд я шел ругаться к Авеличеву, директор неизменно угощал коньяком, рассказывал о новых планах, вспоминал поездки в Париж и встречи в «Atheneum'e», обещал все что угодно, но воз не двигался...

Терпение лопнуло на выпуске первых «Звеньев». Оригинал-макет, подготовленный в Париже, я сдал в «Прогресс» летом или ранней осенью 90-го, а появившись в Москве весной следующего года, обнаружил, что книга все еще не вышла в свет. Причина задержки была смехотворна, но очень показательна для понимания того, как действовала система: тираж книги печатался в седьмой типографии на Патриарших прудах, а вклейка с иллюстрациями – на Можайском полиграфкомбинате. Уже несколько месяцев все было готово, но... отсутствовал транспорт для перевозки вклейки из Можайска в столицу. На мой разъяренный вопрос, сколько этот бред еще продлится, Олег ответил просто: «Понятия не имею, да и не интересуюсь. Я свою часть работы сделал, а за типографию отвечают другие...».

Кончилось тем, что, поругавшись в издательстве, мы с Саней нелегально отправились в Можайск (30-километровая «зона» для иностранцев официально еще не была отменена), получили на комбинате вклейку, загрузили ее в наш «жигуленок», вернулись в Москву и, минуя «Прогресс», поехали непосредственно в типографию на Трехпрудный, где без затей «дали на лапу» мастеру и договорились с рабочими. Уже на следующий день у нас в руках были сигнальные экземпляры книги, а еще через неделю появилась и первая часть тиража...

Эта история окончательно показала, что работать с мастодонтами невозможно: они навязывали свои законы, свои допотопно-советские правила игры, подчиняться которым мы не хотели. К тому же, искусственно разогретый интерес к истории уже начинал спадать, а отработанная система гособеспечения и книготорговли рассыпалась, и теперь Авеличева гораздо серьезнее беспокоила перспектива сокращения персонала, добывания средств, сдачи помеще-

ний в аренду западным фирмам и прочие проблемы, мало связанные с книгой. Еще через несколько лет это завершится крахом «Прогресса» как издательства, два этажа бункера на Zubovskom бульваре займет супермаркет, книготорговля сожмется до размеров крохотного отдела, а сам Саша Авеличев окажется во Франции...

Справедливости ради нужно отметить, что материальные вопросы тревожили не только директора «Прогресса», но буквально всех «бюджетников», особенно в сфере культуры. Она и раньше-то финансировалась «по остаточному принципу», теперь же государство и вовсе отказывалось от ее поддержки. Можно было удивляться лишь скорости распада и быстроте, с которой открытый цинизм захватывал всю управленческую структуру. Через год-другой в глазах чиновника любого ранга можно было прочесть лишь один вопрос: сколько и в какой валюте? Скажем, беседа с директором ленинградской Публички Зайцевым (в совсем недавнем прошлом секретарем Куйбышевского райкома партии), я мог битый час убеждать его в необходимости докомплектации фондов эмигрантской периодики, слабо представленной и в отделе редкой книги, и даже в спецхране, мог предлагать различные способы сделать это бесплатно, – директора волновали не книги, а состояние крыши, чердачных перекрытий, фановых труб, и говорить он мог только о деньгах, о «спонсорах», об «инвесторах». И это еще не самый скверный вариант: Зайцев на доступном бывшему секретарю уровне, по крайней мере, заботился если не о книгах, то хотя бы о «вверенном ему» здании Публички. Куда омерзительнее было вести переговоры в Главном архивном управлении или в самих архивах, чьи руководители полагали себя не столько хранителями, сколько владельцами (пусть и временными) фондов и готовы были за соответствующую сумму предоставить что угодно и для чего угодно. Степень важности материалов измерялась лишь цифрой, чаще всего пятизначной, в случае сенсационности – шестизначной, разумеется, в долларах... Любые договоры с любыми организациями (к примеру, со складами или типографиями) отныне включали особый пункт: «финансовое участие в социальной жизни коллектива» – т. е. почти не завуалированный рэкет. Счетчик коррупции буквально зашкаливал. (Помню, как жаловался мне в ресторане пожилой австриец-протестант, лет двадцать занимавшийся благотворительностью в африканских странах, а теперь привезший медикаменты в Россию. Чтобы передать бесплатный груз, он вынужден был совать взятки буквально каждому чиновнику – от таможи до медуправления, при том, что сам груз впоследствии не раздавался старикам, а продавался в аптеках, к тому же по баснословным ценам...)

На таком фоне несчастный выдвиженец Авеличев, разваливший крупнейшее издательство, выглядел просто неудачником, но уж никак не бандитом...

В нашем случае это, правда, ничего не меняло. Надо было уходить, сколачивать настоящую команду и отстраивать дело самим.

Для меня это означало неизбежный переезд в Москву. Если раньше думать и говорить о подобном исходе можно было лишь в сослагательном наклонении, то после разрыва с «Прогрессом» повторная «эмиграция» уже превращалась в императив...

НЕКРОЛОГИ
СТАТЬИ
ВОСПОМИНАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Лавров
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЛОЯ*

Владимир Аллой ушел из жизни утром 8 января 2001 года. Уход был следствием продуманного до мелочей и долго вынашивавшегося решения. Для него самого уход стал – при всей неизмеримой мучительности этого акта – скорее всего, желанным освобождением.

О его смерти оповестили многие петербургские и московские газеты, сообщили по радио и телевидению. Кажется, только в эти январские дни впервые стали отчетливо различимы контуры и масштаб личности покинувшего нас человека. При жизни ему не досталось и малой толики того внимания, которое он по праву заслужил. Ибо все, что было осуществлено Аллоем для познания российской истории, для русской культуры – единолично или при содействии небольшой группы соратников и единомышленников, – сопоставимо с результатами деятельности многих солидных и уважаемых учреждений. Свои воспоминания о пережитом он назвал «Записками аутсайдера», но «аутсайдером», конечно, могли считать его только те, кто в бытии культуры способен воспринимать лишь поверхностные всплески, а не глубинную сущность.

Владимир Аллой был прежде всего книгоиздателем и редактором. Работал он с такой неумной энергией, что приходилось удивляться, как ее способен вместить обычный человеческий организм. Ретроспективно осмысляя результаты его работы – более сотни выпущенных в свет книг, – начинаешь осознавать, что эти книги – не только арифметическая совокупность самостоятельных и самодостаточных

* Опубл.: Новая русская книга. 2000. №6(7). С.87-88.

единиц: каждая из них – составляющая некоего цельного проекта, призванного утверждать историческую память и подлинные культурные приоритеты. Изготовление печатной продукции и вся будничная рутина, сопряженная с этим процессом, тем самым предстают одной из форм реализации определенной сверхзадачи; не будет преувеличением сказать: миссии.

Владимир Ефимович Аллой родился в Ленинграде 7 июня 1945 года. Детство провел на Васильевском острове, там же, в Университете, получал образование – сначала на физическом факультете, затем на филологическом, курса не завершил ни там, ни там. Отслужил в Советской армии, переменял множество работ, объездил всю страну, включая самые экзотические ее зоны, с лихвой обогатился жизненным опытом и в 1975 году эмигрировал. Отечественные «университеты» закончились, начался труд. В самые глухие и сумрачные годы, пережитые нашим поколением, он, оказавшись в Париже, становится одним из руководителей знаменитого издательства «YMCA-Press», основывает издательство «La Presse Libre», затем – издательство «Atheneum». Выпускает в свет книги, у которых тогда не было никаких шансов на опубликование в России: «Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого, «Философские сочинения» А.А.Мейера, «Жизнь Льва Шестова» Н.Барановой-Шестовой, «Погружение во тьму» Олега Волкова, «Воспоминания» Лидии Ивановой, дочери Вяч. Иванова, многие другие. Пожалуй, наибольший резонанс из осуществленных Аллоем изданий тогда получили исторические сборники «Память» (5 томов, увидевшие свет в 1976–1982 годах) – результат деятельности группы независимых ленинградских и московских исследователей, осмелившихся тогда работать без оглядки на советскую цензуру. В результате шантажа со стороны КГБ издание «Памяти» пришлось приостановить, но на смену ей в 1986 году появился первый выпуск исторического альманаха «Минувшее» – главного издательского детища Аллоя, которому он уделил более всего усилий и забот в последующие годы жизни.

Первые 12 томов «Минувшего» были изданы в Париже (позднее переизданы в Москве), последующие выпуски выходили уже в России, под маркой двух издательств – «Atheneum» и «Феникс» (основанный в Москве, но функционировавший в основном в Петербурге, где Аллой вновь поселился в начале 1990-х годов, «Феникс» в 1995 году стал лауреатом петербургской литературной премии «Северная Пальмира»). «Минувшее» ввело в читательский оборот огромный пласт неизвестных ранее текстов – воспоминаний, дневников, писем, документальных материалов и исследовательских работ. Текстологическая тщательность, научная основательность комментариев,

объективная строгость и выверенность публикаторских оценок и интерпретаций – такова сумма основных критериев, которым отвечают самые разнообразные публикации, появившиеся под этой серийной обложкой. Добросовестно изучать российскую историю XX века, историю русской литературы и общественной мысли без обращения к «Минувшему» теперь уже невозможно. С годами такие книги не стареют, а лишь обретают благородную патину времени. Альманах появлялся в течение всего лишь двенадцати лет, но по значимости обнародованного на его страницах он выдерживает сопоставление с таким прославленным серийным изданием, как «Литературное наследство», выходящим в свет на протяжении многих десятилетий и аккумулировавшим в себе результаты деятельности сотен исследователей.

Помимо 25 томов «Минувшего», в издательстве, возглавляемом Вл. Аллоем, публиковались биографические альманахи «Лица» и исторические альманахи «Звенья», историко-краеведческие сборники «Невский архив», сборники памяти коллег – историков и филологов (серия «In memoriam») и многие другие издания, среди которых – книги стихов современных поэтов (серия «Мастерская») и литературный журнал «Постскриптум», основной задачей которого было привлечение внимания к именам, в писательской среде еще не примелькавшимся. Многие из выпущенных им книг Аллой создавал в буквальном смысле слова собственными руками. Так, в выходных данных огромного тома переписки Андрея Белого и Иванова-Разумника, подготовленного Джоном Мальмстадом и автором этих строк, Аллой обозначен как «редактор», в то время как на деле он осуществил единолично набор всего текста книги. В последние дни 2000 года появился том «Дiaspora. I. Новые материалы» – первый выпуск новой серии альманахов, посвященных освоению культурного, философского, политического, художественного наследия русской эмиграции, последний проект Аллоя, осуществлять который теперь предстоит уже без него. Нам необходимо продолжить начатое им новое дело.

Будучи исключительно яркой и цельной личностью, он весь был соткан из противоречий. Он был подлинным европейцем: по четкости действий, целеустремленности, инициативности, организованности, обязательности – и подлинным россиянином: по безудержности эмоций и интенсивности переживаний, по способности быть игровым и бесшабашным. Он жил то в Париже, то в Петербурге, но нигде не мог найти себе места, не мог обрести спокойствия и уюта. Париж так и не стал для него родным городом, а постсоветская Россия вызывала не больше иллюзий и надежд, чем когда-то Россия советская. «Дым отечества» (так озаглавил он вторую часть «Записок аутсайдера»), уродливые гримасы посткоммунистической эпохи, гремящую смесь нового

со старым он воспринимал воистину «обнаженными нервами» (избитое декадентское клише способно, кажется, в этом случае отразить подлинность и остроту переживаний). В 1998 году скончался его близкий друг и один из руководителей «Феникса» Александр Добкин; Аллой так и не смог оправиться после этой утраты, преодолеть ее в самом себе.

Смерть Володи Аллоя не просто уход, это – поступок. Для него, глубоко религиозного человека, православного, это даже не поступок, а дерзание против духовного канона, на которое он рискнул отважиться. Для тех, кто был одарен радостью общения с ним, это – знаковое событие в надвигающейся на нас неведомой эпохе. Возможно, для него, наделенного глубокой внутренней чуткостью, достаточно отчетливо зазвучал тот «голос из хора», который артикулировал в свое время Александр Блок и который довелось другим услышать и разгадать лишь годы спустя:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Володя не захотел жить в двадцать первом веке. Нам, переступившим порог, придется без него работать, общаться, совершать, вероятно, какие-то поступки: время и место не сулят нам безмятежной жизни, – но нам, пока живым и грешным, дарованы теперь поддержка и надежда. Рядом с нами навсегда остается подлинный праведник.

Псой Короленко
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЛОЯ*

16 января в 12:30 состоялись похороны Владимира Ефимовича Аллоя – в Петербурге, в соответствии с его предсмертными пожеланиями. Аллой, один из значительнейших представителей современного русского зарубежья, покончил с собой 7 января.

Уход из жизни в день Рождества Христова – трагический жест. Этот праздник Аллой чтит, будучи православным христианином. Владимир Аллой – воплощение своего поколения, настоящий ровесник эпохи, вместе с которой ему суждено было не только родиться, но и умереть. В этом году ему бы исполнилось 56 лет.

Вехи жизни Аллоя чрезвычайно символичны. Родился сразу же после войны, 7 июня 1945 года. В тридцать лет уехал из «застойного» диссидентско-брежневского Ленинграда в европейскую эмиграцию, в Париж «Синтаксиса», «Континента» и «Русской мысли». На волне «перестройки» вернулся в Россию, где в течение нескольких лет активно занимался издательской деятельностью.

К середине 90-х Аллой начинает разочаровываться в переменах, пишет грустные мемуары с грустным названием «Записки аутсайде-ра». Часто ездит по работе в Париж, пытается снова жить там, но безуспешно. Наконец возвращается в Питер, на Петроградскую сторону, но теперь уже – вместе с веком – умирать.

В качестве издателя легендарных исторических альманахов и книг Владимир Аллой стал одной из значительнейших фигур современного русского зарубежья. Под эгидой издательства «Atheneum» (Париж) и «Феникс» (Петербург) он выпустил многотомные сборники «Память», «Минувшее», «Лица», «Звенья», «Невский» и «Ярославский» альманахи, журнал «Постскриптум». Скоро в продаже

* Опубл.: Вести.ru. 2001. 16 января.

появится последний труд Владимира Аллоя, альманах «Диаспора», целиком посвященный эмигрантской теме.

Шесть лет Аллой возглавлял легендарное издательство «ИМКА-Пресс», выпустившее за это время, помимо научно-исторической и мемуарно-эпистолярной литературы, книги стихов Галича, Высоцкого, Окуджавы, восьмитомник Солженицына. Некоторое время Аллой возглавлял и другое издательство – La Presse Libre при «Русской Мысли». Владимир Аллой – автор множества критических и публицистических текстов.

Но самым главным и любимым детищем Владимира Ефимовича были исторические альманахи, особенно «Минувшее». Работе над ними отдавался беззаветно, как вспоминают друзья, «горел», был страстен и неутомим, вкладывал в их создание огромную энергию. Нередко ему приходилось одному не только добывать материалы и тщательно готовить их к изданию, но и делать контрольную правку, а также самому набирать текст. Он был своего рода предстоятелем русской эмиграции перед лицом Истории. Его монументальный труд – поистине *ktêma eis aei*, достояние на века.

Близкие друзья Аллоя говорят, что для него важно было жить и умереть по-мужски. Возможно, это выразилось в той аккуратности, с которой он перед смертью привел в порядок все свои дела. Про него говорят, что это был мизантроп, одинокий волк, что он ссорился часто с людьми, был неуживчивым, вспыльчивым человеком. По-видимому, у него было очень много нерастроченной любви.

Самому мне так и не довелось узнать Аллоя близко. Мы познакомились летом 1999 года в Париже на моем концерте в клубе-мастерской Алексея Хвостенко «Симпозион». Аллой оказался первым человеком «поколения родителей», сразу и безоговорочно принявшим мои песни. После концерта он сказал мне, что встретил родственную душу и что нам обязательно надо поговорить. На следующий день он несколько раз назначал мне встречу, но я по своей неаккуратности так и не смог добрался до него, потерявшись в дебрях Парижа. Перед отъездом в Москву я позвонил ему и сказал в свое оправдание то, что думал: «Простите, меня водил бес». «Что ж, – с досадой ответил он, – парижские бесы действительно очень изобретательны. Видно, им не хотелось, чтобы встретились две родственные души». С тех пор мысль о нем не давала мне покоя, я постоянно помнил о нашей не-встрече и утешал себя тем, что у нас еще много времени впереди.

Так мы больше и не увиделись – ни в Париже, ни в Питере, ни в Москве.

Даст Бог, еще встретимся.

Николай Крышук
СТЕПНОЙ ВОЛК*

Трагически ушел из жизни красивый и сильный человек, издатель, редактор, литератор – Владимир Аллой. Имя его не слишком было на слуху, но это характеризует только состояние неблагодарного сообщества наших читателей и скромность самого Аллоя. Потому что сделанное им для отечественной культуры неоценимо, и оно проживет много дольше, чем было отмерено издателю и автору в его земном существовании. Было Владимиру Аллою 55 лет.

Первая половина его жизни говорит о поисках себя или же мучительных метаниях и не обещает в нем подвижника, которым он останется в памяти. Так случается.

Учился на трех факультетах – физическом, восточном, филологическом – и ни одного не закончил. Быть может, из-за неуживчивости характера, о чем говорили многие. Или из-за неумения ужиться с Системой (это в нем осталось до последних дней). А возможно, и просто от избытка молодости. Не знаю.

Работы перепробовал разные – грузчика, кочегара и даже униформиста в цирке. Но, впрочем, уже просиживал часами в малоизвестных тогда литературных и исторических архивах. Так или иначе, когда в 75-м Аллой эмигрировал во Францию, он уже был готов к тому делу, которое стало главным в его жизни.

С 1976 года он начинает издавать исторический альманах «Память». Материалы приходят из России, книги издаются в Париже и по каналам самиздата переправляются на родину. Затем были аль-

* Опубл.: Час пик. 2001. №3(157), 17–23 января. С.15.

манахи «Минувшее», «Звенья», «Лица», «Невский архив»... Десятки книг, сотни, если не тысячи впервые опубликованных материалов из политической истории России, из истории философии, культуры, быта, литературы. Он был не только вдохновителем этого грандиозного предприятия, но издателем, редактором, автором. И так длилось четверть века.

В начале 90-х, почувствовав возможность работать на родине, Аллой вернулся в Петербург. Он реактивно относился к любому предприятию. Случайно узнав, что нам для издания «Петербургского журнала “Ленинград”» не хватает денег, тут же откликнулся и стал соиздателем этого, пусть и единственного номера. Буду помнить это всегда.

Спустя некоторое время Аллой затеял собственный журнал «Постскриптум», печатавший только живую современную литературу. Возможно, хотел как-то компенсировать глубокую и, вообще говоря, опасную для человека поглощенность прошлым. Продолжали выходить «Минувшее», «Невский архив», мемуары Анциферова, переписка Андрея Белого и Иванова-Разумника, но рядом с ними, например, и книги молодых поэтов. В 1995 году Владимир Аллой стал лауреатом премии «Северная Пальмира».

Задыхаясь уже в новой России, в конце 90-х Аллой вновь возвращается в Париж. Там выходит последняя сделанная им книга «Дiasпора» – об истории русской эмиграции. В наших магазинах она появится, к сожалению, после его смерти.

В Петербург он приехал снова несколько недель назад, перед Новым годом. Сказал: «У меня собака умерла. Тошно стало. Собрался и приехал». Теперь ясно, что приехал с уже готовым роковым решением.

Было в нем что-то непроницаемое. Вернее так: в Володе чувствовалась не всегда понятная, потаенная, категоричная твердость. Она воспринималась многими как резкость и упрямство и делала трудным общение.

В нем жила сильная душа, но душевности, этого сладкого и обманного чувства, я в нем не замечал. Он мог быть без фамильярности добр и не оскорбительно суров, но не душевен, нет. И почему-то, несмотря на огромный круг друзей и знакомых, казался иногда одиноким гессеновским волком.

Тягостна тайна ухода, еще тягостнее чувство вины, которое в таких случаях приходит всегда.

Дмитрий Сегал
ВЕРНОСТЬ*

Ушел из жизни Владимир Аллой. Весть эта невероятна, бессмысленна, особенно для меня, знавшего Володю еще совсем молодым, полным жизни, энергичным и заражавшим всех своей энергией человеком. Его открытый смех, сверкающие глаза, буйная цыганская шевелюра наполняли надеждой, вселяли бодрость. Самым замечательным качеством Володи была его внутренняя верность – верность друзьям, себе, своему многолетнему делу. А делом этим было свободное русское слово – сначала за границей, в Париже, а потом в России. Володя вернулся в Россию из Парижа в 1991 году, где я его и повстречал вновь, но в последние десять лет Володиной жизни и деятельности в Петербурге и Москве наши контакты становились все реже и реже по разным причинам: возраст, расстояние, среда, а вот в последней трети 1970-х годов и в 1980-е мы были сначала хорошими знакомыми, потом близкими друзьями и, наконец, соратниками, сподвижниками по одному общему делу: созданию свободной историографической и источниковедческой базы по русской истории XX века. Меня охватывает скорбь, грусть, но одновременно и чувство радости, чувство хорошо поставленной и, главное, выполненной задачи, когда я сейчас вспоминаю эти годы «бури и натиска» и особенно Париж, который тогда был немыслим без Володи, без его обители – помещения издательства «Atheneum» в цокольном этаже старого парижского доходного дома у подножья Монмартра,

* Опувл.: Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.78-79.

на rue Duhesme. Туда входили прямо с улицы в обширную комнату, где стоял композер (а потом компьютерная наборная машина – предмет Володиной гордости), где все было заставлено пачками «Минувшего» – исторического альманаха, над созданием которого работали в советском Союзе в подпольных условиях Володины друзья: молодые историки А.Добкин и Ф.Перченко (оба уже покойные, увы...), Г.Суперфин, А.Рогинский, Б.Равдин и люди более старшего поколения – М.Гефтер и другие.

Склоняю голову перед памятью тех, кто уже ушел от нас, и мысленно обнимаю всех Володиных друзей и соратников, всех, кто в труднейших условиях чекистской слежки и преследований создавал «Минувшее», этот воистину живой источник памяти о потаенной в то время русской истории.

«Минувшее» – замечательный памятник борьбы и трудов третьей русской эмиграции и ее связи с активно боровшимися соратниками в России, сравнимый по своей исторической, интеллектуальной и духовной значимости с «Архивом русской революции» Гессена, выходящим в эмиграции в 1920-е годы. «Минувшее» – это и нечто несравнимо большее. Это образец научной объективности и добросовестности, но одновременно это и человеческий подвиг, отражающий уникальную жизненную позицию его создателя, Владимира Аллоя. При сравнении с той массой новых источниковедческих публикаций, которые начали появляться в России, «Минувшее» поражает своей толерантностью, объективностью – «кафоличностью». В нем можно найти материалы о самых разных политических, социальных, национальных, культурных и человеческих пластах русской истории XX века, от самых ортодоксальных коммунистов до истовых монархистов. В этом смысле «Минувшее» выгодно отличается от публикаций солженицынского фонда, не говоря уже о «подпостсоветских» публикациях под эгидой нового варианта старой чеки. «Минувшему» можно верить, чего совсем нельзя сказать о российских публикационных проектах.

Володя Аллой был гарантом этой честности, ее рыцарем без страха и упрека. Он воевал за нее со многими и, прежде всего, с кругом Солженицына, с парижской «Имкой». Володя стоял за своих российских сотрудников горой. Все для них и ничего для себя – он никогда этого не говорил, потому что это подразумевалось само собой, но каждое его движение было об этом, для этого, на эту тему. Я уверен, что Володя не мог вжиться в современную Россию с ее воровским шиком и воровской же экспроприацией той свободной, неподроссийской, русской культуры, которую Россия же столь лакейски душила и давила при коммунистах. Я уверен, что у него внутри

все переворачивалось, когда он слышал, как очередной тамошний пахан цитирует, перевирая, Пастернака.

Тем более страшно, что уже нет Володи, чье одно присутствие отпугивало всю эту нечисть. Но вспоминается не это. Вспоминается вечно молодой Володя в одном из парижских бистро, которые он так любил и так хорошо знал, его горячая, увлеченная речь о своем новом детище, новом замечательном проекте, новой серии: «Пойдем, Димыч, покажу новые материалы из России, разберем здесь же, что куда».

Прощай, друг.

Евгений Прицкер
ИХ БЫТ, ИХ ПРАВЫ*

Удивительно, что мы с Володией не познакомились до его эмиграции. Компании были процентов на сорок общие, интересы явно пересекались, да и жили-то в одном городе, по одним улицам ходили.

Нет, про существование друг друга мы знали: друзья информировали, так что хоть заочно, но по именам и фамилиям были обоюдно наслышаны.

Потом я знал, чем он занимается в Париже, а он, получая под разными псевдонимами мои, правда, редкие, тексты для «Памяти» и «Минувшего» тоже представлял себе примерно, с кем имеет дело.

Познакомились же мы лично уже году в 1988–89-м, когда Володя впервые за много лет расставания вновь приехал на «историчку». Это было у Сени Рогинского на ул. Фрунзе, собрались практически все, имеющие отношение к парижским изданиям, и вылилось все в веселую, несколькодневную пьянку, где вдруг высказываемые, еще фантастические для тех времен Володиной проекты воспринимались восторженно и через 20–30 минут представлялись уже осуществленными, требуя новых, еще менее реалистичных и смелых начинаний.

Так что, когда в мае 1990 года я, в свою очередь, первый раз в жизни пересек границу СССР и оказался на два месяца в Париже, я мог сказать себе, что и знаком и не знаком с Владимиром Аллоем. Я предпочел считать, что знаком, и отправился на Монмартр в издательство «Атенеум».

* Опувл.: Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.80-82.

Все, абсолютно все было мне внове. В парижском метро я уже поездил и привык было к его безэскалаторности (в паре случаев эскалаторы имели место, но не вертикальные, а горизонтальные), здесь же, на монмартрских станциях, подъем пассажиров на поверхность происходил на лифтах – горы все же! – и улицы носили несколько «киевский» вид: спуски, подъемы.

Состояние души было эйфорическое. «В Париже, ночью, в ресторане – шик подобной фразы, праздник носоглотки!» Накануне в «Русской мысли» я встретился с Гариком Левинтоном и Ларисой Степановой и пожаловался им на парижских карманников, вытащивших мой кошелек со всеми отпущенными на Париж средствами. В ответ они восторженно рассказали, как прямо на Гар дю Нор у них из-под носа лихо украли чемодан со всеми парижскими нарядами. Это совпадение жизненных линий так обрадовало нас, что, проводив Ларису по делам, мы понеслись выполнять общую давнюю идею – распить бутылку виски из горла в парижском парадняке. Виски купили без проблем, но в парадняк попасть оказалось невозможно: все на кодовых замках. Пошли под Триумфальную арку, где и осуществили задуманное. Так что, настаиваю, похмелья не было. Была эйфория, когда от двух разных монмартрских станций метро мы с Левинтоном шли к одной и той же заветной точке – двери издательства «Атенеум».

И надежды наши оправдались сторицей. Была откупорена бутылка «ред лейбла», появились орешки и шоколад, баночное пиво, и что еще более удивительное и эйфоричное могло произойти с двумя советскими людьми, недавно приехавшими из страны не только довольственными, но и водочных талонов и пьяных углов.

По-моему, вскоре после этого первого визита повел меня Володя в расположенный неподалеку от издательства славный итальянский ресторанчик. На стене заведения в обрамлении цветов красовался фотопортрет молодого жгучего южанина в характерных усиках. Володя объяснил, что именно таким в 30-е годы был основатель этой пищеточки.

– Вот если нас сочтут достаточно почетными гостями! – загадочно произнес он. – И через некоторое время удовлетворенно: «Сочли!»

Три дюжих итальянца, преисполненные торжественности, внесли в зал роскошное кресло, на котором, едва заметный, затерялся маленький старикашка, почти ничем не напоминающий упомянутую фотографию. А, между тем, это был именно он. Благодарные потомки и наследники предъявляли своего отца-основателя особо почетным посетителям. Старичок производил впечатление мало чего понимающего, но покататься вроде бы любил.

Так что получалось, что мы с Володей Аллоем знакомы. И достаточно хорошо.

Вскоре я в этом убедился и на собственной шкуре.

Дело в том, что я человек ленивый. Нужны какие-то, желательно чрезвычайные, обстоятельства, чтобы заставить меня самоотверженно трудиться. А тут еще в Париже, как я упоминал выше, лишился я без того мизерных средств к существованию. Пришлось напрячься. Публикации о русских писателях 30-х годов в «Русской мысли» и выступления о них же на «Свободе» сильно поправили мое финансовое положение, а ироничное похваливание Алика Гинзбурга укрепило сомнение. Короче, я вполне достиг состояния

«Все, что мог, я уже совершил

.....

И духовно навеки почил».

Но не таковы были планы Володи. Сначала он беспрерывно упрекал меня в сребролюбии.

– За презренные франки, – говорил Аллой, – ты лишил «Минувшее» хороших, гораздо более подробных, чем в газете, комментированных материалов.

А на оправдание, что жизнь заставила и есть хочется, возражал: «Вот бы рассказывал им о кочегарке, в которой работаешь, о культуре сторожей и истопников, а литературные публикации – в литературный альманах».

Про кочегарку ничего такого ужасного я вспомнить не мог, но чувство вины возникло. Тем более что своим примером Володя мог доконать кого угодно. Тома «Памяти» и «Минувшего», книги Я.С.Лурье и Лидии Ивановой, кассеты всех практически советских бардов, а еще и французское радио, и преподавание в Сьянс По, и все издательство «Атенеум» – это именно он и только он. Работоспособность и предприимчивость для (даже бывшего) советского человека невозможная, невероятная.

Вначале возникла иллюзия, что можно отделаться малой кровью. Физическими действиями. Звонит с утра Аллой.

– Тут приехали из Москвы NN. Хотят остаться в Париже. Квартирку мы им присмотрели: XX уехали на полгода в США, а вот мебель?! Надо бы съездить, кажется, у Гладиллина есть газовая плита и холодильник.

Казусов таких было несколько, и я катался к разным людям, таскал плиты и холодильники, кровати и шкафы и считал, что исполняю свое жизненное назначение. Но, по мнению Володи, это была обычная, нормальная жизнь, данная нам в дополнение к тому, что делать мы должны. И пришлось-таки засесть за публикацию, ком-

ментирование, вступительную статью и т. д. для десятого «Минувшего», может быть, 1/50 того тома, который полностью-то собирал, набирал, монтировал, оформлял и т. д. и т. п. в то же самое время сам Аллой. Вот так с ним было всегда: только почувствуешь себя героем, только вознамеришься слегка припочить на лаврах, ан, поглядишь на него и устыдишься. Ведь тоже выпивает, по гостям ходит, людям помогает, все, что вокруг происходит, знает, а выход продукции – несопоставим.

Этот – десятый, словом, номер «Минувшего», вместе с несколькими комплектами всего вышедшего в «Атенеуме», я благополучно увез в Ленинград. Время псевдонимов кончилось. Все авторы, уже ничего не опасаясь, публиковались под истинными именами. Впереди была издательская деятельность в Москве и Ленинграде, может быть, еще более впечатляющая, чем в Париже, и новое возвращение во Францию. Впереди были успехи и разочарования. Но это тема для другого рассказа.

Вячеслав Нечаев
ПАМЯТИ ВОЛОДИ АЛЛОЯ*

Смерть всегда неожиданна.

Несколько месяцев тому назад мы с Володей обсуждали последующие тома нового, задуманного им, издания «Дiasпора». И хотя знаю, что уже не увижу его, не смогу поговорить с ним, открыться навстречу его улыбке... думать об этом невозможно.

Володя не был ни писателем, ни ученым, ни общественным деятелем. Но как издатель он оказал огромное влияние на многое в русской жизни.

Мне довелось познакомиться с Володей в начале ноября 1988 года в Центре Помпиду, где проходил симпозиум «Век Станиславского». Уже тогда он подарил массу книг, изданных им в Париже, Московской театральной библиотеке. Тогда же он пригласил меня участвовать в сборниках «Минувшее». На первых порах я не имел возможности активно включиться в работу, поэтому передал Володе для публикации имеющиеся в моем распоряжении рукописную запись выступления И.М.Гронского о крестьянских писателях и магнитофонную запись К.Л.Зелинского о встрече писателей у Горького (26 октября 1932 года). Вскоре они увидели свет на страницах альманаха. Только спустя год я подключился к публикаторской работе в «Минувшем».

Издательские инициативы и творческие интересы Володи были необыкновенно многообразны. Сам же Володя был и составителем, и распространителем книг... После переноса (по совету и содействию

* Опубли.: Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.82-83.

вию Анатолия Смелянского) издания альманаха в Москву основным помощником Володи стал мягкий, добросердечный Саша Добкин. Работа закипела. Рождались замыслы, один грандиознее другого: и воспоминания Н.П.Анциферова, и книга Л.Н.Андреева, и трехтомник переписки А.В.Амфитеатрова, и издание театральных воспоминаний, и журнала, и поэтических сборников, и «Лица», и «Невский альманах», и «Звенья», и... Мне кажется, что Сашина смерть подкосила Володю. Кто видел или знал, как Володя заботился о Саше в последние месяцы его жизни, тот поймет, что и это сыграло какую-то роль в уходе Володи из жизни.

На протяжении нескольких десятилетий Володя вел жизнь подвижника. Он сохранил внутреннюю свободу, независимость суждений и поступков. Володя не имел себе равных в разыскивании материалов по истории русской культуры не только в России, но и за рубежом. Он всегда был в работе. Казалось, что его энергии и замыслам не будет конца...

У каждого, кому довелось хоть немного знать Володю, сохранится в памяти его яркая личность, бурный темперамент, острый ум, неукротимая воля к достижению цели.

Теперь его имя принадлежит истории отечественной культуры.

Анатолий Смелянский
ДЕЛО АУТСАЙДЕРА ВЛАДИМИРА АЛЛОЯ*

То, что сделал Володя Аллой со своей жизнью, не должно заслонять того, что он успел сделать в самой жизни. Он брался за все, занимался журналистикой, газетной и радио, преподавал, работал в архивах, писал мемуары. Но его истинным призванием стало издательское дело, к которому у него оказался редкостный талант. На почве этого дела мы с ним и познакомились в Париже в конце 80-х. Время было странное, прекрасное и больное. Еще была советская власть, но уже была свобода. Побочным результатом этого исторического состояния стало массовое заболевание интеллигенции, известное под названием эйфория. Это было, конечно, заболевание, но я тогда этого не понимал и в словарь не заглядывал. «Неоправданное реальной действительностью благодушное, повышенно-радостное настроение, отмечающееся при прогрессивном параличе, атеросклерозе, травмах мозга и др.». Именно в таком состоянии я стал уговаривать Аллоя переехать из Парижа в Москву и продолжить свое издательское дело в Советском Союзе. Эйфория дело заразное, Аллой поддался моему напору и началась эпопея его возвращения. Легко сказать: продолжить издательское дело в СССР. Надо было создать совместное советско-французское предприятие, уговорить разные советские организации стать нашими учредителями, найти юридический адрес и т. д. и т. п. Года полтора я занимался этим делом, Аллой нетерпеливо звонил из Парижа. Дело решил звонок тогдашнего Министра культуры СССР Н.Губенко куда-то на самый

* Опувл.: Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.83-85.

верх. Вот Николай Николаевич Губенко образца 1989-го года и по-мог. Аллой вместе со своим верным другом Сашей Добкиным на несколько лет расположились по юридическому и физическому адресу в проезде Художественного театра, в Школе-студии МХАТ. Комнатенка была микроскопической, Добкин курил свой «Беломор», дым стоял коромыслом, а в том дыму различались лица разных московских и питерских бородатых людей, которые начали готовить московские выпуски «Минувшего». Аллой распрощался с Парижем, снял в Москве квартиру. Он был необычайно энергичен, возбужден, работоспособен. Все напасти того времени переживал легко. До тех пор, пока не понял, что его книги никому не нужны или нужны очень узкому кругу людей. Новая Россия не хотела больше читать про «минувшее», люди были ударены настоящим.

Он не был издателем в привычном смысле слова. Он творил книгу от начала и до конца, сам ее набирал, верстал, выводил чистые листы, редактировал, комментировал, собирал авторов, выпускал в свет, привозил ее из типографии, работал одновременно шофером и такелажником, устраивая свое детище по книжным лавкам и т. д. Когда смотришь на полку, где стоят в ряд 25 томов «Минувшего», трудно вообразить, какой труд вложен был издателем Аллоем в одну только эту серию.

Во всем этом был не только труд и пот, но и чувство некоей призванности. Без этого невозможно сотворить то, что он сотворил. Он один работал более продуктивно, чем иные гуманитарные институты, выдававшие на гора так называемый «листаж». Маяковский гордился: «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье». Аллой не чувствовал себя ни советским, ни заводом. Он и гордости особой не чувствовал. Его каторжный труд приносил ему столько же радостей, сколько и огорчений. Постоянное чувство непризнанности, неблагодарности, оторванности от «основного потока», ну, всего того, что заставило его назвать свои предсмертные мемуары «записками аутсайдера». Он был заряжен отрицательным переживанием жизни. Оно не исчезало ни в эмиграции, ни в России. Ему везде было плохо, он был в постоянном внутреннем конфликте с тем, что его окружало. Я был, кажется, одним из очень немногих, с кем он не успел поругаться. Издательское дело, многосоставное и бесконечно хлопотное, держало его на плаву. Казалось, он жил от книжки до книжки, пытаюсь уверить себя в том, что выполняет некую миссию или обет. Когда это чувство совсем пропало, ему нечем стало жить.

Москва ему скоро опостылела, так же как в свое время Париж. Его тянуло в родной Питер, куда в конце концов он и вернулся вме-

сте с Добкиным. Затеял серию «Невского архива», стал обдумывать выпуск боевого литературного журнала, начал его издавать и какое-то время казалось, что он обрел твердую почву под ногами. Потом внезапно умер Саша Добкин. Это подкосило Аллоя. Чудесный, светлейший Саша, конечно, его уравнивал, придавал устойчивость всему делу. Дело сильно накренилось. Склонный к мистическим истолкованиям своего пути, он решил, что судьба подает ему некий знак. Вскоре он заявил, что возвращается во Францию, что в России все кончено и исчерпано. Говорил со мной об издании «Диапоры», для которой нужны были материалы, просил помощи. Его броски из одной страны в другую казались мне естественной реакцией этого человека на тот огонь, что его пожирал изнутри. Переменой мест, как изданием книг, он продлевал себе жизнь.

Меньше чем за два месяца до рокового дня мы увиделись в Париже. Он пригласил меня с Инной Соловьевой в гости, решил сам соорудить ужин. Стал пытаться за ужином, интересно ли мне заниматься ремонтом Школы-студии МХАТ, ректором которой меня избрали. Он поражался, что в облагораживании пространства можно тоже найти некую радость или даже жизненный якорь, предложил за это выпить. Опять стал говорить о том, что все исчерпано, что здесь плохо, а там невозможно. Даже его огромный пес по кличке Сидоров, предки которого сторожили отары овец в Шотландии, даже Сидоров не может прижиться на берегах Сены. «У него нет тут социальной среды, – совершенно серьезно говорил Аллой. – Маленькие местные собачонки шарахаются от него во все стороны». Сидоров при этом лежал рядом, внимательно слушал, и глаза его сверкали из-под густой шерсти, покрывавшей морду добродушнейшего животного.

У него самого не было социальной среды. Вернее, у него не было защитных механизмов, которые необходимы для долгой жизни и противостояния социальной среде.

Уезжали из Парижа в противный денек, моросил мелкий дождик, Аллой предложил пройтись напоследок по Латинскому кварталу, посидеть в кафе. Прошлись и посидели. Он был печален и как-то отстранен. Сообщил, что у Сидорова только что обнаружил огромную шишку за ухом и решил, что это рак. Мы стали его вдвоем уговаривать, что это не так, что надо разобраться, вызвать ветеринара. Но он с каким-то странным упорством настаивал на крайнем диагнозе. Простились, он торопился вернуться к одинокой собаке. Обещал объявиться в начале января 2001 года в Москве. Не объявился. Под православное Рождество в Петербурге, так и не доехав до Москвы, решил добровольно уйти из жизни. Близкие к нему люди го-

ворят, что ушел просветленным и чуть ли не счастливым. Не очень в это верится. Говорят также, что его добровольный уход был связан с нежеланием жить в новом веке. Красиво, но как-то явно отдает литературой. Что известно точно, так это то, что замечательного пса Сидорова пришлось все-таки усыпить. Это и было последним делом издателя и аутсайдера Владимира Аллоя в городе Париже.

Виктор Топоров
УЖ ЕСЛИ ПОКОЙ, ТО ВЕЧНЫЙ
К сороковинам со дня гибели Владимира Аллоя*

Книгу эту – 750-страничный том «Дiasпора», датированный 2001 годом, – Володя Аллой вручил мне 27 декабря, в последнюю нашу встречу. Естественно, подразумевалось, что я о ней напишу. И когда мы оба были уже порядочно пьяны, прозвучало несколько неожиданное: «И напиши, Витя, в “Литературку”, а не куда ты обычно пишешь. Пусть прочтут те... (здесь последовало слово, которое я опушу), которые ничего, кроме “Литературки”, не читают». На встречу Нового года я прийти к нему не смог; несколько дней собирался, но так и не собрался позвонить, а 8 января позвонили уже мне: Владимир Аллой ушел из жизни. Несколько часов я пребывал в скорбном неведении: в 55 лет сильно пьющий и глубоко верующий воцерковленный человек может «перебраться» на Рождество, думал я. Но потом новый звонок: Володя повесился. Повесился, не будучи ничем серьезным болен, не испытал ни любовной драмы, ни финансовой катастрофы, повесился из, так сказать, философских соображений. «Античным уходом» назвал я его смерть на похоронах и «искупительной жертвой» – искупительной жертвой за нас, ровесников, друзей и единомышленников (включая бывших), «за всю среду», безвольно существующую, но отчаянно сопротивляющуюся, не желая «сойти со сцены». Но что искупит эта жертва, кому она принесена и почему принесена именно Аллоем – одним из, без-

* Опубл.: Литературная газета. 2001. №8(5823), 21–27 февраля. С.11.

условно, самых живых людей в изрядно омертвевшем кругу? У меня осталась только книга, на которую надо было написать рецензию.

Володя Аллой эмигрировал в середине семидесятых и развил, оказавшись в Париже, бурную, главным образом издательскую деятельность. Несколько лет проработал директором ИМКА-пресс. Выпускал альманахи «Память». В самом начале девяностых вернулся в Россию – сперва в Москву, потом в Санкт-Петербург, основал издательство, выпустил 25 томов «Минувшего», несколько томов «Лиц», «Звеньев», двенадцать номеров триквотерли «Постскриптум», несколько сборников малоизвестных на тот момент поэтов. После смерти (в августе 1998-го) своего друга и соратника Александра Добкина прервал все серии, выпустил только мемориальный сборник и, оставаясь гражданином Франции, вернулся в Париж. Впрочем, и там тут же затеял выпуск «Диапоры». Все ожидали, что он не усидит во Франции, что вернется в Россию самое позднее через полгода. Он вернулся через полтора – и вернулся, как выяснилось, чтобы умереть.

«Диапору» я успел просмотреть еще перед Новым годом. И остался, скорее, разочарован. Нет, конечно, безупречная культура издания, обилие каждый по-своему любопытных материалов, замечательные имена – и среди публикуемых, и среди публикаторов – все это бросалось в глаза. Но в целом ощущение новизны, а значит, и нужности отсутствовало: передо мной был пухлый том «Минувшего» и «Лиц», как теперь говорят, в одном флаконе, разве что замкнутый исключительно на эмигрантскую тематику. Овчинка стоила выделки – усилий по сбору средств, по подготовке издания, по – чисто филантропической теперь – дистрибуции. Овчинка не стоила сверхусилий – метаний между тремя столицами, «малой смерти», связанной с приобретением каждого билета в один конец, экзистенциальных уходов и возвращений на парижские и петербургские набережные, с каждой из которых нельзя сойти в одну и ту же реку дважды... Так думалось мне тогда, и мысль об обязательной рецензии тяготила, как всякое добровольно взятое на себя обязательство, и не без постыдного полусогласия вчитывался я в ехидные слова рецензента еще на предыдущий, памяти Добкина, сборник: вот, мол, не вписался Аллой в виражи постперестроечной филологии и историографии; Ирина Прохорова со своим «НЛО» вписалась, а Аллой не вписался... Хотя на самом деле не вписался Аллой (не сумел или не пожелал вписаться, это уж вопрос отдельный) в новый литературный истеблишмент, как до того – в эмиграции – не вписался в парижский.

И вот я прочел «Диапору» заново, прочел по-настоящему, прочел «с последней прямой», какую предполагали и требовали сло-

жившиеся обстоятельства, – и сборник статей, исследований, писем и воспоминаний открылся мне как автопортрет Владимира Аллоя, автопортрет потаенный, но окончательный и во всех своих внутренних противоречиях единый и цельный. Аллой написал – и раскидал по томам «Минувшего» – свой, как он сам выражался, мемуар «Записки аутсайдера», и хотя ключевое слово «аутсайдер» было найдено уже там, сами по себе эти записки во всем их моральном бесстрашии оказались чересчур деловитыми, чтобы не сказать, суховатыми: Аллой приводил факты, давал (далеко не всегда) оценки и категорически (причем сознательно, мы обсуждали с ним этот момент) избегал какой бы то ни было психологизации. Люди в его «мемуаре» представляли хорошими или плохими, но почему они хороши (или как хороши), почему и как плохи – это оставалось за рамками. Что, впрочем, не помешало одному из персонажей «Записок...» – детскому и порнографическому (именно так!) писателю Марамзину – смертельно обидеться и выплеснуть обиду в помойной воды памфлет, опубликованный на страницах «Звезды» как раз в те дни, когда Аллой, свернув издательскую деятельность в Петербурге, засобирался во Францию. С Аллоем предпочитали не связываться, а если бить, то в спину, и только в спину.

Центральный и сквозной сюжет «Диаспоры» – мотив двойничества. И составитель сборника Аллой ищет – осознанно или нет – свои отражения, пусть и частичные, в судьбах и мыслях героев тома, и у самих героев (порой на соседней странице, а порой – в предыдущей или последующей публикации) появляются «близнецы», и, наконец, «плюрализм в одной голове» (и в одной душе), именуемый нашими юмористами шизофренией, на деле оказывается всего лишь (!) имманентным признаком отечественного интеллигента. Тогда как эмиграция со своими специфическими нравами выглядит зеркальным (подчас и опережающим) отражением жизни в метрополии.

Бесхитростные «Воспоминания парижского шофера такси», которыми открывается «Диаспора», напоминают о библейском проклятии: о необходимости добывать свой хлеб в поте лица своего. Лейтенант Военно-Морского Флота России без усталости колесит по парижским улицам, повествует о щедрых и о нечестных клиентах, доставляет в участок проститутку, отказавшуюся расплатиться с ним иначе, как натурой, и со вкусом описывает, как ажан извлекает у нее из-под юбки «зачащенные» деньги. Актрису императорских театров, оказавшуюся в эмиграции, подстерегают, напротив, не финансовые, а творческие трудности: ей приходится переигрывать заново уже отработанный репертуар. Еврейский мальчик еще в родной Одессе начинает переводить Рильке, да так и переводит его всю долгую

жизнь сперва во Франции, потом в США, и переводит недурно, вот только маститые коллеги расщедриваются на положительную рецензию только после третьего униженного напоминания.

Мотив двойничества впервые звучит на полную мощность в публикации о двух Эренбургах – Илье Григорьевиче и Илье Лазаревиче. Судьбы и интересы двоюродных братьев Эренбургов не раз парадоксально скрещиваются, у читателя создается впечатление, будто Илья Лазаревич (глухо и таинственно погибший или исчезнувший в гражданскую) умней, честней, принципиальней, да, не исключено, и талантливей прославленного Ильи Григорьевича. Прославившись скандальными воспоминаниями, художник Юрий Анненков переделывает их в роман и публикует его под названием «Повесть о пустяках» (заранее прокладывая дорогу последователям типа Наймана). В Париже, как и везде, суетен и поверхностен Максимилиан Волошин, значение которого подцензурное советское литературоведение либерального толка самым нелепым образом на коктейльских дрожжах раздуло. Незаслуженной славы не бывает? Разумеется, не бывает! Но не означает ли это, что кое-кто из обойденных славой заслуживает не ее, а чего-то неизмеримо высшего? Но чего именно? Мысль, как парижское такси в сторону Пляс Пигаль, вновь устремляется по направлению к Владимиру Аллою.

Наряду с двойничеством и в дополнение к нему сквозной сюжет сборника – примирение с Россией. С СССР, который нужно (или нельзя – об этом и спорят) воспринимать в качестве двойника великой России. «Попытки примирения» прославленного В.А.Маклакова и неутомимого Аллоя, понятно, несопоставимы, и все же здесь можно усмотреть известные параллели даже в отрыве от краха обеих (в случае с Аллоем – краха неоднозначного): кто вы, победители гитлеровских полчищ, вопрошает Маклаков, освободители Европы или новые поработители? Кто вы, старо-новые русские интеллигенты, спрашивает Аллой, можно ли вам верить, вчерашние диссиденты и отсиденты, или же свобода, долгожданная и неожиданная, развратила вас столь же стремительно, как наступила? Маклаков будоражил эмиграцию; Аллой, вернувшись в Россию, будоражил нас, окончательно разойдясь с доморощенными горе-либералами в оценке событий осени 1993 г., – здесь он был на стороне обездоленных и обманутых, а вовсе не «новых сытых» из числа интеллектуалов, лояльных к режиму. Аллой не возобновил издания «Постскриптума», но замыслил превращение его в общественно-политический журнал. «Теперь уже нельзя говорить только о литературе!» – неоднократно восклицал он.

Оставался, конечно, третий путь, оставалось двойничество в варианте, предложенном еще одним персонажем «Диаспоры» – «евразийцем» Сувчинским, полностью ассимилировавшимся в западноевропейской Ойкумене в качестве космополитического музыкального критика. Оставался «Мир на почетных условиях» в эмигрантской среде – хоть между начинающим филологом Марковым и козырным тузом эмиграции Вишняком, хоть между вальяжным и важным издателем Гринбергом и внезапно (для самого Гринберга!) бесконечно превзошедшим его писателем Набоковым. «Мы можем быть только летописцами», – внушал М.Осоргин А.Полякову из одного полуза-стенка в другой. «И третейского суда не будет!» – как заявили однажды вознамерившемуся было разобраться «по совести» Аллою парижские старейшины. Третейского суда не будет и здесь, в России.

Аллою искал бури. Искал, скорее, стихийно – состояние покоя казалось ему нестерпимым: уж если покой, то покой вечный. В сборнике «Диаспора» он поселил всех своих двойников и анти-двойников, он столкнул их лбами, он устроил гоббсову войну всех со всеми, он сделал живую книгу о таком заведомо мертвом феномене, как эмиграция. Да и нет сегодня никаких эмигрантов, есть мигранты, зарабатывающие в Америке, отдыхающие в Европе, оттягивающиеся в России; летят перелетные куры, как в недавнем романе Татьяны Толстой. Аллой, в отличие от большинства из нас, знал, ради чего живет, и жил, пока это знал. А потом ушел. Оставив тщательные распоряжения, в том числе и по выпуску «Диаспоры»: практически готов второй сборник, на подходе – третий; научный авторитет Александра Лаврова и Джона Мальмстада, человеческие и профессиональные качества вдовы Аллоя Татьяны Притыкиной (в выходных данных «Диаспоры» она значится выпускающим редактором), наконец, завещание самого Аллоя – порукой тому, что издание будет продолжено.

Так почему же он все-таки ушел? На поминках давний друг Аллоя и, пожалуй, тайный недоброжелатель сказал мне в подпитии: «Всю жизнь он стремился нас всех уестествить – и вот наконец уестествил!»

Как причина – сомнительно, а как эпитафия, на мой вкус, весьма недурно. Да и Володе понравилось бы.

Дмитрий Северюхин
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЛОЯ*

В ночь с 7 на 8 января 2001 года в Петербурге на 56-м году жизни добровольно ушел из жизни книгоиздатель, редактор и историк Владимир Аллой. Человек глубокой внутренней культуры, исключительно собранный и целеустремленный, он успел сделать невероятно много. Издательские проекты, осуществленные им за последние два десятилетия при участии небольшой группы единомышленников, – более пятидесяти архивно-публикаторских томов, не считая других изданий, – настолько значительны, что, кажется, это было под силу совершить только солидному государственному учреждению.

Издательский путь Владимира Аллоя во Франции и в новой России расценивался им самим как «чудо». Он писал: «Словно какая-то сила, находившаяся вне рационального знания, тащила меня, заставляя совершать поступки и действия, вполне безрассудные с точки зрения обычного здравого смысла. Число получаемых при этом шишек не играло никакой роли: просто в эти годы, волею случая, я оказался на авансцене, и вполне естественно, что мне досталось несколько больше тухлых яиц и гнилых помидоров, чем пришлось на долю тех, кто оставался в глубине или за кулисами».

В конце октября 1975 года Аллой выехал из Ленинграда в Вену, намереваясь оттуда перебраться в США. Однако встреча с эмигрировавшим годом ранее ленинградским литературоведом Ефимом

* Опубл.: Иерусалимский библиофил: Альманах. Вып.2. Иерусалим: Филобиблон, 2003.

Эткингом поколебала его планы и заставила остаться в Европе. После недолгого пребывания в Риме он обосновался в Париже, где начал работать в газете «Русская мысль», а в 1977 году, по предложению Никиты Струве, стал заместителем редактора «Вестника русского христианского движения» и около пяти лет возглавлял издательство YMCA-Press.

По собственному признанию Володи эта литературная работа, которую он почитал за счастье, не приносила дохода – в течение нескольких лет он был вынужден зарабатывать техническими переводами с английского для местных фирм. Впрочем, уже один из его первых издательских проектов – четырехтомное «Собрание песен русских бардов», выпущенное в 1976 году на основе вывезенной им из Ленинграда коллекции магнитофонных записей, – принес издательству ощутимый доход и помог справиться с финансовым кризисом. В 1979 году, в том же издательстве, под его руководством стали выходить исторические сборники «Память», подготовленные группой ленинградских и московских исследователей и распространявшиеся в СССР в самиздате.

В 1982 году Володя был вынужден уйти из YMCA-Press, не встретив поддержки учредителей по ряду идейных и организационных вопросов. По предложению редактора «Русской мысли» Ирины Иловайской он основал новое издательство «La Presse Libre», которое всего за два года смогло выпустить около двух десятков книг, в том числе мемуары Ирины Одоевцевой и Евгения Шварца, воспоминания Андрея Белого о Рудольфе Штейнере, полное собрание стихотворений Владислава Ходасевича, неизданные прежде произведения Алексея Ремизова, книгу Якова Лурье об Ильфе и Петрове, 5-й том «Памяти», собрание философских работ Александра Мейера и двухтомник «Жизнь Льва Шестова» (по материалам личного архива философа, исследованного Аллоем). Однако, в силу внешних обстоятельств, издательство неожиданно было закрыто, несмотря на готовность к выпуску нескольких книг, в том числе присланных из России.

Для Володи это послужило толчком к реализации давней мечты о независимом издательстве, каковым стало основанное им издательство «Atheneum». В числе выпущенных им книг упомянем «Погружение во тьму» Олега Волкова и «Воспоминания: Книга об отце» Лидии Ивановой с комментариями Джона Мальмстада. Однако важнейшим его проектом стал выпуск многотомного исторического альманаха «Минувшее», пришедшего в 1985 году на смену «Памяти». Альманах позволил ввести в читательский оборот мощный пласт дотоле неизвестных материалов по отечественной истории

XX века – писем, дневников, воспоминаний, важных исследовательских работ, построенных на уникальных архивных документах. Многие материалы для «Минувшего» Володя подготовил лично, например: перевод с английского книги Ричарда Пайпса «Создание однопартийного государства в Советской России», публикация писем Зинаиды Гиппиус, Андрея Белого, Михаила Гершензона, Николая Бердяева и др.

В числе авторов «Минувшего» были ленинградцы Александр Добкин, Феликс Перченко, Валерий Сажин, Револют Пименов, Лев Лурье, Олег Лейкинд, автор этих строк; неофициальным руководителем ленинградской редакции был историк Арсений Рогинский. В связи с упоминанием здесь его имени, кратко напомним об обстоятельствах прекращения выпуска сборников «Память»: в августе 1981 года, по указанию КГБ, Рогинский был арестован; суд приговорил его к 4-м годам лагерей по надуманному обвинению в подделке документов – имелись в виду письма с просьбой о допуске к работе в библиотеках и архивах; летом 1985 года, когда Володя готовил к выпуску 6-й том «Памяти», срок заключения Рогинского истекал, но гэбисты пригрозили в случае продолжения издания переквалифицировать его дело в политическое и продлить лагерный срок. Именно эта ситуация побудила Володю спроектировать новый альманах, формально не связанный с предыдущим.

Помня о судьбе Рогинского, все мы печатались в «Минувшем» под псевдонимами – содержание публикуемых материалов и комментариев к ним, да и само участие в столь значимом эмигрантском издании оставляли мало надежд на «добродушие» со стороны охранительных органов. Только в 1991 году редакция «Минувшего», видимо, совершенно успокоенная наступившей в СССР демократией, решила наконец раскрыть наши псевдонимы в очередном 11-м выпуске (по иронии судьбы этот выпуск попал из Парижа в Петербург за день до рокового 19 августа, когда история нашей страны имела реальный шанс повернуться вспять!).

Вскоре после августовских событий 1991 года Владимир Аллой вернулся в Россию (впервые после эмиграции он побывал в Ленинграде еще в 1987 году). Сохранив в Париже издательство «Atheneum», он основал в Москве и Петербурге новое издательство – «Феникс». Здесь им были переизданы и продолжены выпуски исторического альманаха «Минувшее» (издание прекратилось в 1999 году на 25-м, справочном томе), начали выходить исторические альманахи «Звенья» и «Лица», историко-краеведческий сборник «Невский архив», «толстый» литературный журнал «Постскриптум», вышли воспоминания Николая Анциферова «Из дум о бы-

лом», сборники («In memoriam») памяти Александра Добкина и Феликса Перченка. В последние дни 2000 года появился первый выпуск из серии книг «Дiasпора: Новые материалы», посвященной культурному наследию русской эмиграции.

Последние годы Аллой жил то в Париже, то в Петербурге, но Франция так и не стала для него второй родиной, а новая Россия вызвала глубокое разочарование и отторжение. В одном из интервью он пенял российской интеллигенции: «Вместо того, чтобы делать свое, от века положенное ей дело, она занимается чем угодно. И вот результат: старая шкала ценностей рассыпалась, а предложить ничего другого взамен она оказалась неспособна, кроме апологии “рынка”, представляемого ей как провинциальный западный супермаркет, и наспех сколоченной “идеологии практицизма”, в которой отсутствуют любые нравственные категории, а единственным мерилом всего является материальный успех». Состояние депрессии, столь выразительно и страшно описанное в его мемуарах, возможно, не раз в эти годы стучалось в его дверь.

Свои мемуары, опубликованные в последних номерах «Минувшего» (вып. 21-23), он назвал «Записки аутсайдера», подразумевая под этим свою полную исключенность из государственных или общественных структур, свое ощущение чужеродного элемента в любой иерархии, возводимой обществом. Но чужаками и аутсайдерами с полным основанием считали себя все мы – все, кто был причастен к неофициальной культуре 1970–80-х годов, кто в эти глухие годы принадлежал к интеллектуальному поколению истопников и дворников, творивших без оглядки на социальный успех или коммерцию. В глазах же большинства из нас Владимир Аллой всегда был отнюдь не аутсайдером, но одним из бесспорных лидеров нашего поколения, в значительной мере оправдавшим возложенные на него надежды.

Он не захотел жить в новом веке, оставив нам право теплого сочувствия или горького осуждения своего последнего поступка. Для нас же, переступивших порог третьего тысячелетия, его жизнь останется светлым примером вдохновенного и самоотверженного служения отечественной культуре.

А.Самойлов
ПАМЯТЬ, ОГНЯВШАЯ ЖИЗНЬ*

ПО ЗВОНКУ ВРЕМЕНИ

«Что за странная все-таки судьба: периодически бросать построенное ломовым трудом и начинать с нуля? – писал Владимир Аллой в мемуаре «Дым отечества». – У Лидии Яковлевны Гинзбург, великой умницы, где-то в записных книжках есть заметка о том, что хорошо бы “уметь кончать периоды жизни по звонку времени”. Сколько раз со мной подобное уже случилось – четыре, пять?..»

Жизнь человека – тяжба с временем. Исход этой тяжбы предопределен, отдельный человек в конечном счете всегда в проигрыше, но у человечества есть средство, единственное, по слову Иосифа Бродского, средство, чтобы справляться с временем – память.

Трагична судьба реставратора памяти во времена распада («распалась дней связующая нить – как нам обрывки их соединить?»). Ломовой подвижнический труд по восстановлению порушенной годами общегосударственного беспамятства цепи времен надсаживает сердце, надламывает душу.

Владимир Аллой, мечтавший научиться кончать периоды своей жизни по звонку времени, оборвал в восьмой день нового столетия – по звонку времени? – нить жизни.

Он жил в двадцатом веке, он жил двадцатым веком, невероятно понизившим ценность человеческой жизни. Он не хотел жить в двадцать первом веке.

* Опубл.: Дело (СПб.). 2001. №11, 2 апреля. С.14-15; №12, 9 апреля. С.13.

Конец одного века, начало другого (не просто века – тысячелетия) – на сломе времен человечество заглядывает в эсхатологические бездны, человек преступает пределы отчаяния, хрупкая душа не выдерживает тяжбы с временем. Как писал Андрей Белый, постоянный собеседник-советчик Аллоя: «Мы не конец века, не начало нового, а схватка столетий в душе».

Человек, чувствующий течение истории как коллективной памяти, осознающий «свое» как часть «общего», сосредоточенный, зацикленный на «общем» минувшем, прошлом, признающий его могущество, становится жертвой этой схватки столетий в душе.

«Если что и будет причиной моей смерти, так это моя память».

«...Память отнимает у тебя твою жизнь – хотя бы тем, что будет превращать ее в заведомое вечное прошлое, в тот самый момент (или же задолго до него), когда вершится настоящее».

Это, если угодно, – случай Аллоя (причина моей смерти – моя память), но написал эти строки не Владимир Аллой, а человек в чем-то схожий с ним судьбы Манук Жажоян, критик, переводчик, поэт, с октября 1992 года работавший в Париже литературным обозревателем газеты «Русская мысль» – его жизнь оборвалась июньской ночью 1997 года на Невском проспекте в Петербурге.

Его книга «Случай Орфея» вышла в нашем городе незадолго до смерти Аллоя.

ДОМ РАССЕЯННЫХ

А последняя книга Владимира Аллоя «Дiasпора: новые материалы. Выпуск первый» увидела свет всего за несколько дней до 8 января 2001 года...

У текстов, собранных под белую шелковистую обложку фолианта, разные авторы. В роли публикаторов воспоминаний, писем, дневников этих и других русских эмигрантов выступают авторитетные отечественные и зарубежные литературоведы, искусствоведы, слависты.

И все-таки эта книга, вышедшая в издательстве «Atheneum–Феникс» в Париже – Санкт-Петербурге в 2001 году, – прежде всего книга Владимира Аллоя, прежде всего книга Владимира Аллоя, представленного в альманахе как ответственный редактор (выпускающий редактор – его жена Татьяна Притыкина).

Прежде чем выпустить «Дiasпору», этот том, нет – дом рассеянных (diaspora – по-гречески рассеяние), Володя стал оторвавшимся от ветки родимой листком diasпоры.

Изгнание – удел всякого эмигранта, даже покинувшего родину по доброй воле. И можно сколько угодно утешать себя тем, что рассе-

янные, живущие вдали от России, находятся не в изгнании, а в послании, хлеб чужбины не становится от этого слаще. Изгнанник не перестает ощущать себя изгоем, сиротой, он живет с отчаянием в душе, вечно напряженной, мятущейся в трагических поисках выхода, спасения.

Воспоминания Аллоя – «Записки аутсайдера» в четырех томах «Минувшего» и «Дым отечества» в «In memoriam», историческом сборнике памяти А.И.Добкина, названы рецензентом «Нового мира» болезненными, трагическими (журнал «Новый мир», № 1, 2001 г.).

Журнал поступил к петербургским подписчикам через две недели после гибели Володи, и слова критика приобрели характер сбывшегося мрачного прогноза о судьбе человека, словно несшего, по собственной самооценке, какую-то неотчетливую опасность для окружающих, создававшего напряженность и ощущение дискомфорта одним фактом своего присутствия или даже существования.

Двумя годами ранее «Новый мир» опубликовал очерки изгнания Александра Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов», где нобелевский лауреат, вспоминая, как «третьеземigrant Аллой» занял пост директора парижского издательства «ИМКА пресс», дал такую характеристику начинающему тогда (в середине 70-х) издателю: «Я никогда его не встречал. Но издали глядя – от деятельности его в “ИМКЕ” осталось ощущение возбужденной лихорадочности, темпа как цели».

ВОДОЛАЗЫ, ПОДЫМАЮЩИЕ ПРАВДУ

Своя своих не познаша...

Переехав из Европы в Америку, великий изгнанник, автор «Архипелага ГУЛАГа», задумал создать свое издательство, но сразу же увидел – им одним не возмочь: «Как всегда во всяком русском деле: нет людей».

Никита Струве, направлявший деятельность «ИМКИ» (Солженицын вел с ним переговоры об издании своего собрания сочинений) был того же мнения: «Дела много, делателей мало...»

Сказал Струве об этом Владимиру Аллою, осенью семьдесят пятого эмигрировавшему из Советского Союза, после нескольких месяцев жизни в Вене и Риме очутившемуся в Париже, на третий день своего парижского пребывания познакомившемуся с Никитой Струве, направлявшим деятельность знаменитого эмигрантского издательства «ИМКА пресс», главным редактором «Вестника РХД» (Русское студенческое христианское движение было основано отцом Сергием Булгаковым, а издательство «ИМКА» – другим знаменитым

русским философом Николаем Бердяевым). Даже не сказал, а написал: уезжая на Лазурный берег и, продолжая разговоры о возможной работе Аллоя в «Вестнике» и издательстве, он и оставил своему новому русскому другу записку, начинавшуюся словами о деле и делателях.

Судьба, с которой Владимир Аллой, как всякий «рассеянный», круто изменивший течение своей жизни, вступил в поединок, словно давала ему возможность отрешиться. Предложение Струве было и подарком, и вызовом. Он принял дар с благодарностью, а вызов – с бесстрашием.

Несколько десятилетий назад, избавляясь от страха, мы пытались самоопределиться в новом для нас пространстве – поле свободы. Мы читали сам и тамиздат, кое-что прорвавшееся через рогатки цензуры, – и правда открывалась нам, казалось, она всплывает со дна, придавленная до поры глыбами несвободы – однако тот же Белый не верил в «самовсплытие правд; если что и всплывает, то благодаря подымающим водолазам; можно утопить ценность в океан, не оставив следов и для водолазов; непобедимая Армада канула без следов с миллионами золота».

К подымающим правду водолазам могут и должны быть отнесены противостоящие лжи и мертвечине официальной историографии молодые ленинградские историки, задумавшие в начале 70-х исторический альманах «Память», – Арсений Рогинский, Феликс Переченок, Александр Добкин, Лев Лурье. С ними был и Владимир Аллой, который хотел только одного – быть самим собой и нырять за золотом правды на дно памяти-истории, где лежат все Армады мира, в том числе и та, что более всего интересовала – Россия. Россия прошлого, минувшего, в том числе и рассеянная по миру...

Мир представлялся ему и океаном, в котором он и нырял, и тонул, и берегом, на который выбирался. И на Запад уехал, потому что хотел свое дело делать, к другому берегу приблизился, ибо со своего берега водолазные, эпроновские работы по подъему правды тогда были невероятно затруднены.

Через двадцать лет после своего отъезда в эмиграцию, через пять лет после возвращения из нее в Петербург успешный издатель исторических альманахов Аллой скажет:

Никто нас никуда не посылал – ни в семнадцатом, ни в сорок пятом, ни в семидесятых, ну, может быть, за исключением нескольких десятков действительно высланных. Ехали от ужаса, от невозможности смириться, от желания самореализоваться – причин была масса. Но ехали или бежали сами. Конечно, в продолжении всего этого века у эмиграции была своя роль, менявшаяся с годами: сначала – хранительницы культурных традиций, потом –

свидетельская. В мое время мне казалось, что основная ее задача – служить материальной базой того живого, что происходило в России, ну, скажем, издание книг, созданных здесь без надежды быть напечатанными.

ЧЕЛОВЕК ПУТИ

Общесоветская матрешка – это одна клетка, встроенная в другую клетку, а та – в третью... Коммуналка, в которой в доме на Васильевском острове, близ Стрелки, живет семья Аллоя – та же клетка площадью 16 квадратных метров для четырех жильцов, а всего 16 квартиросъемщиков, 47 человек. Общая ванна, два туалета, 17 электросчетчиков, полчища клопов... Но всюду жизнь – и в клетке, и на Неве, и на набережной, и в парадных, и особенно во дворе (послевоенные дворы – родился Володя в июне сорок пятого – непременно с пленницами). Рыбалка, футбол, волейбол, игра в «попа-загонялу», выгуливание девочек по набережной, катание на льдинах по Малой Неве – все это у него, как и у всех василеостровских пацанов, но есть и то, что обнаруживает в нем человека Пути: обожание истории с младых лет, семь школьных лет без пропусков переходит два раза в неделю Дворцовый – занимается в Эрмитажном клубе юных археологов, в среднеазиатском и русском отделах...

Потом будут археологические экспедиции, осуществленная после армии мечта дервишествовать – объехал и обошел Среднюю Азию, Кавказ, Крым, Ростовскую область: грузчик, железнодорожный рабочий, цирковой униформист – чем только не зарабатывал на пропитание. Учился в университете – сначала на физическом факультете, потом на восточном, на филологическом, мечтал писать, бредил Хлебниковым и Заболоцким, читал Шаламова, Солженицына, Платонова, Пастернака, Мандельштама, (русских религиозных философов прочел уже в Риме и Париже), работал ночным сторожем в Зоологическом институте (в фотолаборатории там по ночам печатали самиздат), летом снова дервишествовал. В пути, в ночных музейных бдениях, в нескончаемых спорах о Пути в своем кругу таких же обожателей истории, одержимых поиском правды, готовил себя к делу, которому отдаст жизнь.

Суфийский мастер Санаи из Афганистана, учитель Руми еще в 1131 году наставлял: «Перестаньте заниматься болтовней перед людьми Пути, лучше преодолите себя. Если вы стоите вниз головой по отношению к Реальности, ваше знание и религия извращены. Человек сам запутывает себя в своих цепях. Лев (человек Пути) разбивает свою клетку на части».

Мало разбить свою персональную клетку на части. Надо помочь сделать это своим согражданам, помочь им стать с головы на ноги в историческом времени и пространстве.

ДЕЛАТЕЛЬ

Поэты, художники, химики, физики, математики, биологи – все они уходили в историю: пытались докопаться до источников, скрытых за дверьми «спецхранов», отыскать если не документы, то хотя бы свидетелей этих страшных и страстных лет, понять, как же все было, делались составителями и комментаторами самиздатских собраний сочинений авторов, выброшенных из советской истории.

«Станный поиск» (как назвал его Аллой), которому учителя, инженеры, младшие научные сотрудники, сторожа, операторы котельных отдавались душой, сердцем, умом, приносил массу неприятностей на работе, приводил к увольнениям, слежке, обыскам, порой и лагерным срокам. Но подъем затопленной правды, вспоминал Аллой, давал им и осмысленность жизненного пути, тесный дружеский круг, ощущение локтя и столь важное для тех лет сознание «общего дела».

Поздние шестидесятники политически и мировоззренчески озабочены более, чем ранние шестидесятники. Недоуменный вопрос известного ленинградско-московского писателя нашего, шестидесятилетнего поколения: «И почему я так вовлекся не в свое, а в общее?», заданный им в декабре 1991-го, выдает в вопрошающем человека, сделавшего первый глоток свободы двадцатилетним, в 1956-м, рьяно оберегающего с той поры свою участь человека частного, старающегося держаться подальше от какой бы то ни было общественной деятельности, всякого «общего дела».

Дервиш, скиталец, лев-разрушитель клеток, горячий неистовый спорщик, отстаивающий суверенность своего внутреннего мира от любых посягательств, отвергавший клановую, цеховую, полковую, партийную, классовую и прочую стадную этику, настаивающий на своем, личном «private» как краеугольном камне самостояния личности, Володя по своему душевному устройству, по натуре был человеком частным, приватным, шестидесятником скорее ранним, нежели поздним. Отсюда прокламируемое им аутсайдерничество, принципиальное нежелание идти под стягом какого-либо движения, примыкать к какому-то течению, направлению. Но по своей по доброй воле он с молодых лет вовлекся в «общее» и перепрограммировал себя так, что служение «общему делу» стало для него содержанием и смыслом жизни.

Для души подобное перепрограммирование даром не проходит: живешь, постоянно себя осаживая, стреножа, подчиняя беззаконное, вольное сердце догмам идеи, веры, долга. Но делу, работе это все только во благо. Рожденный для жизни артистически-легкомысленной, с душой поэта, забияки, гуляки, он не дал ничему и никому, включая свое естество, натуру, сбить себя с панталыку, с Пути истинного и выковался в такого делателя-подвижника, каких всегда на Руси привечали особо («Делатель нивы и делатель почвы умственной равно почтенны») и о дефиците которых сокрушалась в двадцатом веке вся русская интеллигенция – от С.Н. Булгакова и других авторов «Вех» до А.И.Солженицына и Н.А.Струве.

Делатель почвы умственной в наших широтах, особенно тот, кто занят подъемом правды, поиском того, как же все было на самом деле, – непременно человек с большой совестью, ибо потребность узнать правду о прошлом России (жизнь ее, по словам одного историка, отличает исключительно мощное облучение прошлым) есть потребность столь же умственная, сколь и сердечная, душевная, совестная: у нас совесть, чувство побуждающее к истине и добру, называют прирожденной правдой. И тем успешнее идет работа по подъему памяти, эта совестная работа, чем сильнее развито в человеке чувство прирожденной правды, чем сильнее его ответственность перед насельниками Страны Памяти, чем глубже его вовлеченность в общее-свое.

На каком-то глубинном уровне «общее дело» Аллоя и других делателей пересекается, смыкается с «философией общего дела» оригинальнейшего русского мыслителя Николая Федорова.

Собирание и восстановление общей исторической памяти, реанимирование прошлого, сокращающее нам опыты быстротекущей жизни, самим реаниматорам жизнь сокращает. Как чернобыльские ликвидаторы, они работают в опасной для жизнедеятельности зоне, зоне жесткого облучения прошлым, на границе смерти и жизни.

Выдающийся отечественный историк Михаил Гэфтер, помогший, кстати сказать, в конце 80-х перебазировать Аллоя его издательство из Франции в Россию (главную роль тут сыграл завлит МХАТа Анатолий Смелянский), называл Страну Памяти «миром живых мертвых» и вполне по-федоровски утверждал, что обязанность историка обращать смерть в жизнь, смертных в живых.

Жертвенное занятие: работать постоянно в такой среде, в такой зацикленности на прошлом – самоубийственно, но как личность ты укрупняешься, облучаясь историей, как человек растешь вместе со своим делом. Предваряя сборник памяти Александра Добкина, Аллой соотносил жизнь своего друга, становление его души (и своей,

конечно, тоже), судьбу целого поколения с их вовлечением в общее дело:

Вряд ли те, кто отправлялся в путешествие в семидесятые, догадывались, сколь долгим и захватывающим оно будет. Опыт, понимание, словом, то, что принято называть зрелостью – приходили в процессе работы. Вместе с делом росли и его участники... Они никогда не воспринимали себя частью «советской научной интеллигенции», не называли свои поиски «наукой». Но дело, которому они отдали жизнь, и результат его – десятки томов с разнообразными материалами по российской истории, ими выношенные и созданные, – уже прочно и без всяких официальных ярлыков вошли в культурный обиход, став фактом общественного сознания, общественной памяти. Хотелось бы верить – надолго...

СОВРЕМЕННЫЙ ДЯГИЛЕВ

Таких томов – если сложить «Память», «Минувшее», «Лица», «Звенья», «Невский архив» и другие исторические, биографические, историко-краеведческие, мемориальные сборники и альманахи – вышло в издательствах, созданных и возглавляемых Владимиром Аллоем, таких, как «Presse Libre», «Atheneum», «Феникс», «Феникс-Atheneum», не меньше ста.

Сто томов реанимированного прошлого, целая книжная полка, и если рай, в представлении Борхеса, разделяемом и автором этих строк, и, помнится, Володей, – библиотека, то без этой книжной полки в райской библиотеке не обойтись.

С чем сравнить это предприятие, совершенное во многом усилиями одного человека за двадцать с небольшим лет?

– Его сто томов сопоставимы с «Литературным наследством», – убежден член-корреспондент Российской Академии наук, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома, видный исследователь русского символизма Александр Лавров. Представитель «Диаспоры» по Санкт-Петербургу, он участвовал как автор и публикатор в «Минувшем», был редактором-составителем биографического альманаха «Лица».

– Да-да, эти книги, которые он сам набрал, отредактировал, составил или как-то стимулировал их возникновение, все результаты этой деятельности по значению созданного им для истории русской литературы, русской общественной мысли вполне сопоставимы с таким предприятием, как «Литературное наследство», солидное и уважаемое издание, которое зародилось в конце 20-х годов и выходит по сей день. Его делали и делают десятки людей, в нем участвовали и участвуют сотни исследователей. По масштабу сделанное

главным образом Володей и очень немногими его сподвижниками – рядом с ним в лучшие времена были три-четыре человека – соотносимо с результатами деятельности больших культурных концернов. В самые глухие годы, пережитые нашим поколением, он, оказавшись а парижской эмиграции, основал издательства и выпустил в свет книги, у которых тогда не было никаких шансов на опубликование в России...

Я слушаю ученого и думаю о том, что история жизни Владимира Аллоя – сюжет для большого авантюрного романа. Судите сами...

Униформист Ростовского цирка, ночной сторож ленинградского академического института, по израильской визе выезжает с женой Радой из Союза. Вместо Штатов, куда все устремлены, полгода живет в Риме. Оттуда перебирается в Париж, в одночасье становится исполнительным директором авторитетнейшего эмигрантского издательства. Зарабатывает на жизнь техническими переводами с английского и на приличнейшем (выучил уже в эмиграции) французском преподает в Институте политических наук будущим дипломатам и сотрудникам администрации президента Франции (впоследствии один из них проездом из Парижа в Улан-Батор через Москву будет в дипломатическом багаже провозить запрещенную к ввозу в СССР литературу, издаваемую Аллоем).

Колесит по Америке в поисках грантов и стипендий для очередных своих издательских начинаний. Успевает подружиться и разругаться с известнейшими людьми эмиграции. В перерывах между своими издательско-редакторско-преподавательскими делами пишет всевозможные статьи для нью-йоркских и парижских эмигрантских газет, сотрудничает с Би-Би-Си и французским международным радио. В редкие недели вакаций «оттягивается» в автопробеге по Испании и возлюбленной Италии... И много чего другого – бурного, занимательного, захватывающего. У героя этого романа невероятный энергетический потенциал, это Левша, подковавший французскую блоху, взбаламутивший воду в русско-французской Сене, точно пушкинский Балда...

Дервиш... Человек Пути... Балда на Сене...

И все это о нем – друге нашем сердечном, распорядившимся так... (а как? – я слова не подберу: не знаю) своей жизнью, словно он и есть сочинитель этого романа, творец этой жизни, а не смиренный раб Божий, учившийся смирению и у пастырей своих церковных, и у своего издательского наставителя, вразумлявшего его, что лучше всего смирению учит корректура...

А уж сколько он корректур держал, сколько тысяч страниц сам, на им же купленных машинах набирал, сколько книг сверстал – не

сосчитать! Все умел сам, своей головой и руками сделать – и сочинить текст, и раскопать редкость-жемчужину в архиве, и обольстить ценного автора, и составить сборник, и с типографами договориться, и сам, коли припрет (а припирало часто), типографом стать, и тиражи по магазинам и складам развести...

Сколько корректур держал, а смирению не выучился, жестокой выносливости своей прирожденной не оборол...

Вот как его место в доме русской культуры последних десятилетий XX века определил Александр Лавров:

– Как деятель Аллой универсально аккумулировал в себе усилия других и благодаря этой аккумулирующей энергии в значительной степени и создал себя как личность. Он для меня человек Дягилевского типа. Сергей Дягилев сам немного написал, но сколько замечательных начинаний в первой трети прошлого века связано с его именем: без него не появилось бы ни художественное объединение «Мир искусства» и одноименный журнал, ни русский балет в Париже, ни многое другое как у нас на родине, так и на Западе. При всей дерзновенности таких сопоставлений для меня Владимир Аллой – личность именно такого типа, движущая сила культурного процесса. Своей личностью он давал, дает и, полагаю, будет давать стимул для того, чтобы культурная жизнь развивалась, память сохранялась, чтобы культура самоосуществлялась.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

И еще Лавров заметил переплетение в своем друге и соратнике мажорного и минорного начал: очевидный мажор был результатом его издательских инициатив, глубокий минор рождался в его душе при столкновении с новой Россией, которую он узнавал заново при возвращении в 1991-м из Парижа, где он за пятнадцать лет пообщался, пообвык...

Тут нужно заметить, что Аллой приехал на разведку четырем годами раньше, чтобы понять, почувствовать, насколько серьезны изменения в стране, провозгласившей перестройку, объявившей гласность, и можно ли здесь, на родине, продолжать то общее дело воскрешения, возрождения исторической памяти, которым он занимался в Париже при поддержке друзей из Союза.

Выяснилось, что можно, но очень и очень трудно. Капитальность и необратимость демократических преобразований он брал под сомнение. В предпосланном 25-му, последнему тому «Минувшего», вышедшему в Петербурге в 1999-м, предисловии издатель подводил итоги эпохе, работе и, как выяснится довольно скоро, и самой своей жизни:

За эти годы канула в Лету целая эпоха, в Кремле сменилось уже пятеро диктаторов и, как минимум, три идеологии, проиграны две войны, говорят, что разрушен коммунизм. Последнее утверждение, правда, остается лишь гипотезой, к тому же бездоказательной. Зато совершенно очевиден другой, поистине тектонический сдвиг: исчезла, и теперь уже безвозвратно, страна – многовековая Российская империя, – которая, как бы ни относиться к ней, определяла и мирозозерцание, и культуру, и самосознание, и быт населявших ее людей. Не выходя за рамки того дела, о котором говорилось выше (речь идет о восстановлении исторической памяти, которым Аллой и его сподвижники занимались в разных странах, под разными издательскими марками – А.С.), сдвиг этот можно определить совершенно однозначно: сменился объект исторического исследования, если, конечно, воспринимать Россию не как империю Великих Моголов или царство Урарту, а как живой страдающий организм...

Для изучения нового исторического образования понадобятся, вероятно, иные методы, иные формы, которые еще предстоит выработать. Трудно сказать, под силу ли это нашему поколению, всей жизнью своей связанному с прошлым.

Выпустив 25-й том в отстроеном на питерском болоте «Фениксе» (издательство Аллой получило премию «Северная Пальмира» как лучшее из 300 петербургских издательств), заработав издательскую марку, набрав много материалов, успешный издатель бросает налаженное дело и весной 1999-го перебирается во Францию. Не для кого, считает, ему теперь здесь работать: страна и ее культура летят в пропасть, библиотеки разорены и давно не приобретают книг, а его потенциальный читатель – научная интеллигенция – объят ужасом последнего дня Помпеи и превращен в люмпена.

Развивать академическое, заведомо неприбыльное дело среди всеобщего распада он полагает чистым безумием. Да и что-то внутренне исчезло, словно кончился завод.

В Париже его, между прочим, никто не ждет, так что ближайшие друзья, тот же Виктор Семенюк, кинорежиссер, познакомивший меня с Володей четырнадцать лет назад, не верят в его окончательный переезд во Францию и полагают, что он вернется в Питер через несколько месяцев, убедившись, что жить без России он уже не сможет, будучи окончательно и навсегда ею отравлен.

Отравленность Россией и ее проблемой, наверное, мешали ему разглядеть в лике новой, возрождающейся из морака, исторического забытья родины приметы выздоровления. Да и пятнадцать парижских лет влияют на зрение реэмигранта-возвращенца, его избирательность. То, что мы, не сталкиваясь прежде в реальной жизни со

свободой слова, с отсутствием цензуры, воспринимали как великое обретение, он, успевший еще «отравиться» и Парижем, воспринимал как нечто самоочевидное и посмеивался над телячьими восторгами «новообращенных».

Ну а что уж очень резало ему глаз, вызывало чрезвычайную досаду и даже клокочущую ненависть, так это постсоветское нуворитство, гримасы нашей псевдокапиталистической жизни (наблюдение А.В.Лаврова).

Как бы то ни было, многое, слишком многое отталкивало его от родной страны. В мемуаре «Дым отечества», второй части «Записок аутсайдера» Аллой писал:

«Куда же плыть? На родину? – я ведь все-таки французский гражданин, по крайней мере по паспорту. Или опять в эмиграцию? Но она закончилась, во всяком случае та, в которой мне однажды приходилось жить. Для существования диаспоры необходима разность потенциалов с метрополией, лишь она сможет гальванизировать истинную эмигрантскую активность. Сегодня такой разности потенциалов нет, а следовательно, нет и рассеяния как компактной социальной среды. Есть отдельные люди. Вполне вероятно, что классическая эмиграция возникнет снова – с Россией ни в чем нельзя быть уверенным».

ДОЛГО БУДЕТ РОДИНА БОЛЬНА

И с людьми, рожденными в России и отравленными ею, тоже ни в чем нельзя быть уверенными.

Друзьям из Питера, гостившим у него в Париже прошлым летом (дар дружества у него редкий, в дружбе щедр и бескорыстен) в горькую минуту признавался:

– Дело наше зашло в тупик. Никому теперь ничего не нужно. В России я жить не могу, а Париж – умирающий город, парижская эмиграция разлагается, применения себе здесь не вижу, остается мне одно – тихо спать...

Но вообще-то – за вычетом горьких минут – выглядел он чрезвычайно бодрым, энергичным, веселым и рассуждения о тупиковости дела прерывал, побивал разговорами о «Диаспоре», новых проектах, планах...

Через полтора года после второго «окончательного» отъезда из Петербурга в Париж, если быть совсем точным – 7 декабря 2000 года Владимир Аллой вернулся в родной город, чтобы форсировать в Академической типографии «Наука» на 9-й линии Васильевского острова выпуск «Диаспоры», отметить с друзьями Новый год и Рож-

дество, съездить в Москву расплатиться с авторами по первому тому «Диаспоры», договориться о материалах для последующих выпусков, по возвращении из столицы, 9 января, если потребуется и 10-го, с чувством, толком, расстановкой побеседовать с обозревателем «Дела» по проблемам русского рассеяния в этом безумном, безумном мире. («Два дня тебе хватит? А то давай, как Иванов с Гершензоном, организуем посредством “емели” переписку из двух углов европейского захолустья – только надо договориться, кто из нас Иванов, кто Гершензон...»), а 17-го или 18-го января – обратно в Париж...

8 декабря в Центре неигрового кино на Крестовском острове мы отметили, задним числом, 60-летие Виктора Семенюка (здесь, в киноцентре, была первая штаб-квартира «Феникса»). Разговор сумбурный, рваный, эмоционально вздрюченный, реплики Аллоя: «Что это тут за игры с гимном – бред какой-то... Интересно, почему Санька со мной не поздоровался сегодня утром? Ах, поздоровался, ну, значит, я не заметил, пардон... И все-таки у нас была великая эпоха... Какое будущее – о чем ты? Как говорят венгры, будущее исчезло, как серый осел в тумане...»

Володя почти не пил, жаловался на язву. Потом взял ключи от машины Виктора и развез нас по домам.

До его добровольного ухода из жизни оставался ровно месяц.

Почему?

Поспешил покинуть мир раньше, чем мир покинет его?

Закончил труд, завещанный от Бога?

Не вынес тяжести сведений, которые узнал на водолазных работах по подъему затопленной правды, многолетнего общения с памятью предков, огромным массивом исторической памяти, несомасштабного психологическим возможностям отдельного человека?

Жизнь его – жизнь воина. Воина с забвением. Воина памяти.

Я – не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна...

О.Коростелев

«ЗИЛЬБЕРШТЕЙН И МАКАШИН В ОДНОМ ФЛАКОНЕ...»
(Владимир Ефимович Аллой: 1945–2001)*

Я не знал Аллоя в его парижские, вероятно, самые лучшие, годы. К сожалению, об этом мне довелось только слышать, потом читать. Читать в первую очередь в его собственных мемуарах, которые сразу пришлось по душе, с самого начала. В них он взял удивительно верный тон и сумел исключительно точно расставить акценты. Всегда приятно находить подтверждение своим мыслям, ощущениям и оценкам, особенно у непосредственного очевидца, свидетеля эпохи. А «Записки аутсайдера»¹ Аллоя – один из наиболее ценных и интересных документов по истории эмиграции третьей волны.

Аллой эмигрировал в 1975 году, тридцатилетним, уже поучившись в Ленинграде на нескольких факультетах, отслужив в армии, поездив по стране и перепробовав целый ряд профессий. Проведя несколько месяцев в Вене и в Риме, он приехал в Париж и сразу же активно включился в Русское студенческое христианское движение, в 1977 стал членом Совета РСХД, заместителем главного редактора «Вестника РХД», а затем директором YMCA-Press (в 1978–1981).

* Опувл.: Русские евреи во Франции: Статьи, публикации, мемуары и эссе / Сост., ред. и изд. М.Пархомовский; науч. ред. и сосост. Д.Гузевич. Кн.2. Иерусалим, 2002. С.129-140. (Русское еврейство в зарубежье. Т.4(9)).

¹ Аллой В. Записки аутсайдера // Минувшее: Исторический альманах. Т.21. 1997. С.104-152; Т.22. 1997. С.112-161; Т.23. 1998. С.159-203; Дым отечества // In memoriam: Исторический сборник памяти А.И.Добкина. СПб.; Париж, 2000. С.49-87.

Из мемуаров и его библиографии видно, как поначалу он хватался за все сразу, все было интересно: УМСА, переводы, религиозные философы, песни бардов, проза Венедикта Ерофеева и Юрия Домбровского. Но почти с самого начала присутствовало и то, что вскоре станет главным: публикации архивных вещей, восстановление реальной истории XX века. Параллельно с издательской деятельностью Аллой в разное время печатался в «Русской мысли», «Континенте», «Время и мы», «Новом русском слове», был парижским корреспондентом русской службы Би-Би-Си и преподавал в Сьянс По.

В 1980–1981 годах обстановка в ИМКЕ стала меняться: все больше усиливалось влияние А.И.Солженицына на дела издательства. По словам Аллой, «перспектива развития издательства обозначилась предельно четко <...> в одиночку изменить наметившуюся тенденцию я был не в силах, более того, ощущал себя уже вполне лишним элементом в этой новой, возникающей на моих глазах системе. Идеология ее, равно как и солженицынское дидактическое понимание истории, были мне абсолютно чужды. Стремление сделать ИМКУ вполне независимым, стоящим на собственных ногах издательством – после подключения к “американскому денежному крану” выглядело смехотворным. Что же оставалось? — стать служащим, каптенармусом по интендантскому ведомству, удовлетворяясь подачками начальства или уворовывая лакомые куски и раздуваясь перед прочими от сознания собственной причастности к играм “великого человека”?.. Этого я никогда не умел и не хотел учиться отвратительному для меня ремеслу. С радостью мог вкалывать до изнеможения, отдавая всего себя делу, в которое верил, где ощущал себя соработником, но ни шестерить, ни отбывать повинность от звонка до звонка был не в состоянии»².

В конце 1981 года Аллой оставил свой директорский пост, временно уйдя и из РСХД, а уже в январе 1982 стал директором издательства «La Presse Libre» при газете «Русская мысль». Здесь он за два года успел выпустить полтора десятка книг, в том числе тома Ирины Одоевцевой и Юрия Одарченко, Владимира Нарбута и Владислава Ходасевича, Алексея Ремизова и Александра Мейера, книги о Льве Шестове, Ильфе и Петрове. Причем в большинстве случаев он выполнял один всю работу, вплоть до набора. Молниеносное и необъяснимое (точнее, необъясненное ему) закрытие издательства в феврале 1984 стало наибольшим ударом для Аллой, не зря именно этим событием открываются его мемуары.

² Аллой В. Записки аутсайдера // Минувшее: Исторический альманах. Т.23. 1998. С.188.

В «YMCA-Press», а затем в «La Presse Libre» Аллой продолжал выпуск своего главного в то время детища: подпольно составлявшихся в советской России исторических сборников, теперь уже легендарных томов «Памяти». Первый том выпустил Чалидзе в Нью-Йорке в 1978 году, а остальные четыре Аллой в Париже в 1979–1982 годах. По словам Аллоя, шестой сборник «был полностью подготовлен в Москве и уже набран в Париже к 1984 году, когда один из редакторов его (А.Б.Рогинский) находился в лагере – именно за работу над “Памятью”, а над остальными участниками нависла та же угроза. Шантаж тогдашнего руководства Ленинградского УКГБ заставил редакцию прекратить дальнейшую работу над сборниками. <...> Однако материалы сборника не пропали. Большинство их легло в основу первых томов “Минувшего”»³.

В 1985 Аллой основал в Париже собственное издательство «Atheneum» и начал выпускать исторические альманахи «Минувшее». В редколлегии альманаха вошли: Жан Бонамур, Эльда Гарэтто, Джон Мальмстад, Ричард Пайпс, Марк Раев, Дмитрий Сегал, позже к списку были присоединены имена Николая Богомолова, Александра Добкина и Анатолия Смелянского. Большое количество литературоведов в редколлегии неудивительно: начиная с шестого тома (1988) в «Минувшем» начинают преобладать материалы по истории культуры. В эту сторону Аллой тянуло всегда, хотя политической, религиозной и прочей тематике он продолжал уделять в альманахе большое внимание.

«Минувшее» становится фирменным блюдом издательства, хотя в «Атенеуме» печатается и много других интересных книг: воспоминания Лидии Ивановой и Эммы Герштейн, Олега Волкова и Андрея Белого, Н.П.Анциферова и Т.А.Аксаковой-Сиверс, переписка Андрея Белого с Ивановым-Разумником, дневники и письма Леонида Андреева, труды К.Поппера и Р.Пайпса.

Аллой умел подбирать людей. Книги для его издательств и публикации для альманахов готовили лучшие в мире специалисты: Джон Малмстад, Александр Лавров, Николай Богомолов, Михаил Гаспаров, Роман Тименчик, Джон Боулт, Ричард Дэвис, Эльда Гарэтто, Александр Парнис, Сергей Шумихин, Рашит Янгиров. Такому набору авторов позавидовало бы любое славистское издание Москвы, Нью-Йорка или Парижа. То, что он сумел увлечь своим делом всех этих людей – одна из главных заслуг Аллоя. Само определение – круг авторов альманаха «Минувшее» – вошло в оборот, объединяя разносторонних исследователей: историков, архивистов, литерату-

³ Минувшее: Исторический альманах. Т.11. Paris, 1990. С.5.

роведов, библиографов, театроведов, историков кино и науки. Большинство их публикаций в альманахе представляют собой уникальные междисциплинарные исследования, затрагивающие одновременно историю, философию, политологию, социологию, а попутно решающие архивистские, источниковедческие, библиографические задачи.

Сами собой сложились и определенные стандарты публикации, по всем параметрам исключительно высокие, хотя кое в чем еще долгое время приходилось хитрить, обтекаемо указывая источники, откуда поступила рукопись, не называя прямо каких-то людей. Псевдонимы, которыми подписывались публикации в первых томах, были печатно раскрыты лишь в 1991 году, в 11 выпуске «Минувшего».

Что значили эти издания для читателей в советской России, могут представить себе только те, кто жил в ту эпоху. Сужу, разумеется, по собственному опыту, но не думаю, чтобы он был скольконибудь уникален.

Альманах «Минувшее» я впервые увидел в спецхране Ленинки, где целыми днями просиживал до закрытия, наконец-то по-настоящему дорвавшись до эмигрантских изданий и жадно читая все подряд. Шел 1987 год, я учился на Высших литературных курсах, и для того времени это было своеобразным долгожданным и запоздалым откровением.

Первая стадия первоначального неразборчивого насыщения постепенно сменилась более целенаправленным и серьезным чтением. Через несколько месяцев тотального обследования фондов спецхрана очередь дошла до «Минувшего». Первый же прочитанный материал – «Фрагменты воспоминаний» А.В.Книпер – вызвал острый приступ белой зависти к людям, способным не только найти такой материал, сам по себе исключительно интересный, но и так его подготовить, что это неуволимо меняло устоявшиеся представления не только о Колчаке или гражданской войне, но и обо всей истории XX века. Со страниц альманаха вставала несколько иная история, понаслышке знакомая, но гораздо более убедительная, привычные образы людей и событий оживали, оборачивались новыми сторонами, представляли во всей полноте. Специалистов, способных подготовить публикацию такого уровня, и сейчас можно по пальцам пересчитать, а тогда, при тотальном отсутствии не только справочников, но и какой-либо вспомогательной литературы, это казалось просто невозможным.

Такого же уровня оказался и весь первый том, и следующие за ним (к тому времени их вышло четыре). В те годы большим достижением считалось упомянуть в примечании работу Мережков-

ского или процитировать Набокова, даже не называя их по имени. А тут целые тома, состоящие почти исключительно из крамольных имен. Это было наглядным примером, как следовало делать книги, чем заниматься и к чему стремиться. Кандидатская, которую я в то время писал, окончательно перестала казаться имеющей самостоятельное значение.

В 1991 году в нью-йоркском Russian Literary Center на вопрос милейшего хозяина, что бы мне хотелось иметь из книг, я дал ему целый список, открывавшийся «Минувшим». Вскоре по возвращении в Москву я получил роскошную посылку из Парижа с одиннадцатью томами «Минувшего». Двенадцатый мне подарил позже Саша Добкин, к тому времени занявший редакционную комнатку в помещении Школы-студии МХАТ в проезде Художественного театра. Он был первым человеком из команды Аллоя, с которым я познакомился не заочно, принеся ему в Школу-студию МХАТ переписку Георгия Адамовича с Георгием Ивановым и Одоевцевой, которая и была опубликована в 21 томе.

После того как в 1990 издательство Аллоя было переведено в Россию, первые тома «Минувшего» переиздавались здесь гигантскими по нынешним понятиям тиражами⁴. Рынок стремительно насыщался, а главное, насыщалось общественное сознание. Мода проходила, как молниеносно проходила мода на чтение вообще. Тиражи толстых журналов в несколько лет проделали неслыханную эволюцию от официально утвержденных (несколько десятков тысяч, как правило) до миллионных на вихре моды и, наконец, вполне реальных (обычно 5–10 тысяч, из которых часть оплачивается Соросом или покрывается за счет федеральных субсидий). Тиражи изданий Аллоя проделали примерно ту же эволюцию, только с небольшим отставанием в каждой стадии: от десятков экземпляров, случайно попадавших в Россию в восьмидесятые, до тиража 50000 в начале девяностых и стандартных одной-двух тысяч уже с середины девяностых годов. Собственно, тираж в тысячу экземпляров для книг этого типа во всем мире считается вполне нормальным. Расходится он в любом случае по главным университетским библиотекам мира и для широкой публики обычно не предназначен. Насколько удручало Аллоя стремительное снижение тиражей, сказать трудно. Наверное, удручало, слишком уж внезапен и разителен был перепад от

⁴ В 1990–1993 годах 12 парижских томов были репринтно переизданы в России: первые шесть – совместными усилиями издательств «Прогресс» и «Феникс», а остальные – уже гораздо меньшими тиражами – «Феникс» переиздавал в одиночку.

внезапно открывшихся безграничных возможностей до почти тотального равнодушия людей ко всему, что не касалось сиюминутного выживания. Массовая эйфория конца восьмидесятых располагала к беспочвенным мечтаниям. Видимо, и Аллой в те годы был уверен, что его книги все время будут читать не только ученые, но и широкая публика. Судя по некоторым сохранившимся письмам тех лет, такие иллюзии у него были.

Расширение кругозора быстро достигло необходимых пределов, интерес широкой публики к истории, литературе и культуре вообще опустился до своего обычного уровня. И некоторые из соратников Аллоя встревоженно заговорили о необходимости переключиться на другие, более перспективные виды деятельности. Свою юность они провели в диссидентах, общественную деятельность считали главной, а в какой форме она будет проявляться, их интересовало гораздо меньше. В сущности, это было второе поколение шестидесятников.

В каком-то смысле, безусловно, диссидентом был и Аллой. Да и кто в семидесятые-восьмидесятые годы не был диссидентом! Подобные настроения наблюдались даже у генералов КГБ. Точно так же в 1905–1917 интеллигенты почти поголовно были революционерами, рассматривая, в частности, и литературу как одну из форм борьбы с ненавистным царизмом. Чуть позже, в двадцатые-тридцатые годы, в эмиграции или в метрополии они смотрели и на литературу и на революцию несколько по-иному.

Так совпало, что диссиденты занимались, среди прочего, самиздатом, тамиздатом и архивистикой. Издательская деятельность воспринималась ими как один из способов борьбы с советской властью. Едва появилась возможность заниматься общественной деятельностью напрямую, они этим и занялись. Для Аллоя издательская деятельность и архивистика стали делом всей его жизни. Причем дело это не зависело ни от страны, ни от эпохи, ни от режима.

Некоторые из конфликтов Аллоя с его бывшими соратниками объясняются именно тем, что он не желал изменять своему делу и полностью переключиться на другое лишь потому, что изменились условия игры.

Впрочем, не любили его и по другим причинам. Кому-то не нравился успех Аллоя, его пытались не замечать, делали вид, что такого не существует, что его грандиозное дело малозначительно, но противопоставить этому ничего не могли. А он продолжал с невероятной энергией делать начатое, придумывал все новые и новые проекты и вовсе не был неуживчивым, как пытались его порой представить бывшие соратники. Наоборот, более обаятельного и коммуни-кабельного человека трудно себе представить.

Некоторые архивные чиновники продолжали его недолюбливать и побаиваться уже после падения советской власти – за лучший альманах, за умение целенаправленно искать и находить нужные документы, а больше всего по старой памяти, как человека в их понимании неблагонадежного, старающегося любыми средствами достать документ и опубликовать его, невзирая на то, что документ еще недавно считался криминальным, а они когда-то были поставлены охранять такие документы от любопытных.

Аллой я впервые увидел в 1997 году на презентации 21 тома «Минувшего» в ЦДЛ, но познакомился с ним по-настоящему позже, уже после смерти Добкина.

В 1998 году, передавая Добкину материалы для очередного, 24 тома «Минувшего», я услышал от него, что этот том будет последним, альманах прекращается. Я поинтересовался, чем же теперь он будет заниматься. Саша пожевал «беломорину» и меланхолично сказал: «Будем решать проблемы по мере их поступления». Рассуждение оказалось мудрым, решать эту проблему Добкину уже не пришлось, он умер от рака, не дождавшись даже выхода тома с указателями, завершающего серию.

Летом 1999 года сразу два человека, независимо друг от друга, сказали мне, что, по их мнению, Аллой должен позвать меня в свою команду. Осенью раздался телефонный звонок, Аллой звонил из Парижа, сказал, что собирается приехать в Москву и хочет поговорить об одном деле. Я уже понимал, о чем он хочет со мной говорить, но удивительным казалось то, что все происходит именно так, как хотелось. В тот первый раз мы просидели с ним весь день в разговорах о новом альманахе.

В личном общении Аллой оказался чрезвычайно прост и очень интересен. Этот человек мне понравился сразу и навсегда. С ним с самого начала было легко. Дмитрий Сегал назвал его: «вечно молодой Володя»⁵. Он и впрямь всегда был молодой, сколько я его помню, или казался таким. Он все понимал с полуслова, каждой фразой подтверждая знаменитый афоризм Григория Ландау: «Если надо объяснять, то не надо объяснять», молниеносно схватывал суть, загорался идеями, тут же развивал их, придавая реальные очертания, взалхлеб перечислял темы, которые хотел видеть в альманахе. Уговаривать меня не пришлось, долго объяснять, каким должен быть альманах – тоже. Очень быстро выяснилось, что наши интересы совпадают практически полностью. Обсуждать осталось только конкретные детали.

⁵ Сегал Д. Верность // Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.79.

Разговоры архивистов – особая песня, со стороны наверняка кажется, что они при встречах говорят совсем не о деле: вместо решения научных задач чаще рассуждают о том, кто на ком был женат, куда переезжал и когда был посажен, о нравах каких-то троюродных теток полузабытых деятелей, о том, чего нельзя в беседе с ними касаться, а о чем, наоборот, непременно надо упомянуть, чтобы получить доступ к необходимому документу.

Аллоя знал всех и вся, самих персонажей, их наследников, хранителей архивов, публикаторов, комментаторов, причем со всеми их особенностями, привычками, недостатками. Человеческие слабости принимал как данность, что не мешало ему порой подтрунивать над ними. С людьми общался ровно, позволяя им оставаться теми, кем они были (диссидентами, фашистами, хасидами, ортодоксами, анти-сеμίтами, алкоголиками и т. д.), не заставляя замыкаться во имя вящей политкорректности. Его интересовали все пласты и стороны жизни двадцатого, теперь уже прошлого, века, он не желал закрывать глаза и делать вид, что каких-то вещей в мире не существует только потому, что они ему не нравятся.

На публикациях «Минувшего» это сказалось в полной мере. Рьяно проводимой идеологической линии в них не прослеживается (если, конечно, не считать такой линией стремление к объективности). Зато какая галерея персонажей! Русские католики и забайкальские казаки, английские шпионы и эмигрантские философы, эсеры и богословы, анархисты и сектанты, театроведы и кинематографисты, искусствоведы и политики, художники и академики, литераторы и журналисты всех мастей и направлений. Каждый материал типологичен, каждый отражает целый пласт, срез жизни, ранее малоизвестный или неизвестный вовсе. Некоторые публикации на первый взгляд кажутся совсем экзотическими: быт новосибирских чекистов, инструкции по перлюстрации, кино в Кинешме. Однако все вместе они складываются в единую картину истории огромной страны в XX веке. Зацикливающихся на одной теме и топчущихся все на том же, давно вытоптанном, пятачке Аллой публиковал все реже, неустанно ища материал новый, неожиданный, ошеломляющий. Многие предложения отклонял на том основании, что «эсерам мы уже отдали в “Минувшем” в общей сложности том-полтора, так что хватит. Надо когда-то заняться и другими группами, слава Богу, спектр в эмиграции был вполне широк»⁶.

Хотя предпочтения у него, разумеется, были. К примеру, свое, третье поколение эмиграции, он привечал не слишком: «Что же до

⁶ Из письма В.Аллоя от 12 декабря 1999 года.

временных рамок, они ограничены периодом от восьмидесятых годов прошлого века до шестидесятых века нынешнего, т. е. существованием вполне осмысленной политико-культурной диаспоры, без включения в нее “нашей” волны. Хотя, если найдутся убойные материалы, можно взяться и за “третьих” эмигрантов. Но, скажу честно, не очень хочется: во-первых, охотников до компромата и без того полно, во-вторых, наша эмиграция почти ничего ни в культурном, ни в каком ином плане не создала, а ушатов грязи мне и без того хватает...»⁷. Однако в конце концов все решали не предпочтения, а значимость самого материала.

Аллоя многие считали неуживчивым человеком с тяжелым характером. Этого мне заметить не довелось, возможно, просто не успел, до конфликта дело ни разу не дошло. Скорее наоборот, редко с кем было так легко и интересно общаться. Правда, надо сказать, мы и виделись мало, больше переписывались. Писал он часто, остроумно, и стоило на несколько дней выпасть из эфира, как от него тут же приходили взволнованные мэйлы: «Дорогой Олег, куда Вы пропали? Не исчезайте». Крайне жаль, что большая часть его переписки утрачена (перед смертью он отформатировал жесткий диск своего компьютера). Впрочем, и сохранившуюся переписку не скоро можно будет опубликовать целиком, слишком много в ней прямых и подчас резких отзывов о современности и современниках.

Людей он оценивал вполне трезво и адекватно, прощая им многие слабости и недостатки, да почти все, кроме несамостоятельности, стремления всегда шагать в ногу с начальством и откровенной халтуры. Комментарии к публикациям вытягивал сам и требовал вытягивать до необходимого уровня (а при стандартах «Минувшего», да и всех остальных его альманахов, такое вытягивание зачастую оказывалось делом очень непростым).

Теперь, задним числом разбираясь в конфликтах Аллоя с редакторами в «ИМКЕ», «Постскриптуме» и т. д., я нахожу, что прав почти во всех случаях оказался он. В его поведении не было самодурства, упертости, как, видимо, казалось оппонентам, напротив, везде прослеживается железная логика. На своем он стоял твердо, но, по трезвому размышлению, в суждениях его был резон.

В некрологах и воспоминаниях о нем несколько раз мелькнули слова «подвижник»⁸, «праведник»⁹. Насчет праведника не знаю, но

⁷ Из письма В.Аллоя от 12 декабря 1999 года.

⁸ *Нечаев В.* Памяти Володи Аллоя // Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.82-83.

⁹ *Лавров А.* Памяти Владимира Аллоя // Новая русская книга. 2001. №6. С.88.

подвижником Аллой действительно был. Работоспособностью он обладал просто невероятной, причем никогда не гнушался черновой работой: наборщика, корректора, верстальщика, вплоть до грузчика и экспедитора собственной продукции.

А.В.Лавров не преувеличивал, когда писал в некрологе: «Все, что осуществлено Аллоем для русской культуры единолично или при содействии небольшой группы людей за последние двадцать лет, сопоставимо с результатами деятельности многих солидных и уважаемых учреждений»¹⁰. По выражению А.Смелянского, Аллой «один работал более продуктивно, чем иные гуманитарные институты»¹¹. Кое для кого он сам был таким институтом. Глядя на него, разговаривая или переписываясь с ним, хотелось работать, так же азартно, увлеченно и продуктивно. Аллой располагал к этому, заражал энтузиазмом. Если бывают энергетические вампиры, для симметрии должны существовать и люди-аккумуляторы. Аллой таким и был, он постоянно заряжал энергией все свое окружение.

Масштаб его деятельности заставлял вспомнить «Русский архив» П.И.Бартенева, «Русскую старину» М.И.Семевского, «Былое» и «Минувшие годы» В.Я.Богучарского и П.Е.Щеголева. Хотя сам Аллой образцами для «Минувшего» считал «Архив русской революции» И.В.Гессена и «Литературное наследство» И.С.Зильберштейна.

На знаменитый проект Зильберштейна Аллой всегда оглядывался чуть ревниво, считая «Литературное наследство» единственным достойным предшественником «Минувшего», и с гордостью вспоминал определение восхищенного его деятельностью приятеля: «Зильберштейн и Макашин в одном флаконе». В результате он и впрямь сумел создать серию, сопоставимую по значению с «Литнаследством», хотя возможности у обоих проектов были долгое время несопоставимы.

Сравнение «Минувшего» с «Литературным наследством» напрашивается само собой. Собственно, в этом жанре за всю историю советской эпохи по-настоящему значимых издательских проектов было не много.

Да и много ли, по совести, останется от всей, грандиозной по масштабам, но ничтожной по замыслу, издательской деятельности советских времен? Несколько блестяще подготовленных собраний сочинений, действительно академические серии: «Литературное на-

¹⁰ Лавров А. Памяти Владимира Аллоя // Санкт-Петербургские ведомости. 2001. №5(2395), 11 января. С.2.

¹¹ Смелянский А. Дело аутсайдера Владимира Аллоя // Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.84.

следство», «Литературные памятники», отчасти «Библиотека поэта», да ряд чудом осуществленных отдельных изданий. Все остальное либо уже устарело, либо устаревает буквально на глазах. Популяризаторскую «ЖЗЛ» или помпезную «БВЛ» к серьезным и в полном смысле слова необходимым проектам отнести трудновато, не говоря уж о вполне безумных затеях Горького вроде «Истории фабрик и заводов». А про «Минувшее» очень верно написал А.В.Лавров: «Добросовестно изучать российскую историю XX века, историю русской литературы и общественной мысли без обращения к “Минувшему” теперь уже невозможно. С годами такие книги не стареют, а лишь обретают благородную патину времени»¹².

Новых идей, новых проектов у Аллоя всегда было очень много, и изрядную их часть он пытался при первой возможности воплощать в жизнь. Перестроечные годы, казалось, предоставляли массу таких возможностей.

В России, помимо переиздания первых двенадцати томов «Минувшего» и продолжения уже знаменитого альманаха, команда Аллоя взялась за выпуск «Звеньев», «Лиц», «Невского архива», «Ярославского архива». Параллельно неугомонный Аллой затеял стихотворную серию под названием «Мастерская», в которой издал десяток сборников стихов, в том числе книги Светланы Кековой, Татьяны Вольтской, Алексея Пурина, на протяжении четырех лет выпускал литературно-художественный журнал «Постскрипум».

Понятно, что долго все это продолжаться не могло. Работа на износ и утомительное разрешение бессмысленных советских, а потом постсоветских бюрократических рогаatok и проволочек давали о себе знать.

Начиная с середины девяностых в «Фениксе» том за томом пошли сборники памяти ближайших соратников, складываясь в целую зловещую серию «In memoriam»: Ф.Ф.Перченка (1995), Я.С.Лурье (1997), наконец, ближайшего из ближайших, А.И.Добкина (2000). Но что так скоро придется собирать следующий том, теперь уже памяти самого основателя серии, я и вообразить себе не мог.

Все издания 1999 года были последними. Последний, 12 номер «Постскриптума», который редактировался Аллоем уже в одиночку. Последняя стихотворная книга серии «Мастерская»: «Колесо времени» А.Хвостенко. Последний, 25 том «Минувшего», целиком состоящий из указателей ко всему изданию. Это до сих пор один из лучших справочников по истории XX века. Аллой умел достойно

¹² Лавров А. Памяти Владимира Аллоя // Новая русская книга. 2001. №6. С.87.

завершать проекты. В сущности, «Минувшее» – едва ли не единственный в XX веке именно завершённый, а не брошенный проект.

В 2000 году была выпущена лишь одна книга: «IN MEMORIAM: Исторический сборник памяти А.И.Добкина». Весь год Аллой занимался созданием нового альманаха «Дiasпора».

Летом 2000 года мы с ним шли, только что расставшись с Д.Зубаревым, по жаркой Москве, обсуждая перспективы «Дiasпоры». Он вдруг проронил странную фразу: «Ну пару-то номеров точно выпустим». Я выразился в том духе, что рассчитываю как минимум на 25 томов, по аналогии с «Минувшим». «Это вы уже будете один, без меня», – отстраненно ответил Володя. Тогда я не придавал значения этим его словам, сочтя их своеобразным кокетством. Теперь я думаю, что он уже тогда все решил и говорил абсолютно серьезно. Однако на его энергии и работоспособности это решение никак не отразилось. Дело оставалось делом, до самого конца.

Аллой все так же мотался из Парижа в Россию и в США, договариваясь об исследовательских грантах для авторов «Дiasпоры», заключал пакты о сотрудничестве с Бахметьевкой и Йелем, встречался с десятками людей, постоянно принимал гостей в парижской квартире, помогал друзьям и приятелям (а в приятелях у него было полмира). В желании помочь и в нелюбви к глупым запретам доходил и до крайностей. Когда одному из авторов «Дiasпоры» потребовалось для собственной книги сфотографировать в нужном ракурсе здание посольского особняка на рю Гренелль, Аллой, не сумев получить официального разрешения, не особо задумываясь, перемахнул через забор советского посольства, щелкнул требуемый вид и успел перебросить фотоаппарат через ограду приятелю, прежде чем был схвачен охраной. Как французского гражданина его после тщательной проверки документов, плюнув, отпустили, а нужная фотография красуется на своем месте в переписке Маклакова с Бахметьевым.

Он так и умер гражданином Франции. На вопрос, почему не взять второе гражданство и не упростить этим постоянные переезды, он с досадой отмахнулся: «Как отобрали гражданство, так пусть и вернут, сам просить не буду».

Последние строки одного из его последних писем были о новорожденном альманахе: «Ну, вот, а я опять погружаюсь в младенца, который весь выпущен и лежит в люльке из-под бумаги»¹³.

Вскоре он сам выпал из эфира и уже навсегда. Я созванивался с Татьяной Притыкиной, она сказала, что после гибели любимого пса Володя все бросил в Париже и в состоянии депрессии приехал в Пи-

¹³ Из письма В.Аллой от 8 октября 2000 года.

тер. Я его хорошо понимал, но подумал, что это, в конце концов, не смертельно, в Питере развеемся и отойдет, главное, не беспокоить. Оказалось, все не так просто.

Ближе к Новому году появился тираж первого тома «Диапоры», первую пачку мне привезла Татьяна, сказала, что Володя собирается скоро приехать в Москву. От самого Аллоя не было никаких известий.

8 января Татьяна позвонила и сказала, что Володя покончил с собой. Еще неделю, несмотря на многочисленные некрологи¹⁴, я надеялся, что это неуместная и очень глупая шутка. Однако через неделю от Аллоя пришла бандероль. С того света. В свертке были шрифты и типографские детали для оформления «Диапоры», распечатка компьютерной адресной книги и письмо. Его последнее письмо было сухим, даже жестким, исключительно деловым:

Дорогой Олег.

Отныне «Диапора» – ваша. Передаю вам и редакторство, и все связанные с ним мучения. Возьметесь ли? Два ближайших номера практически готовы. Сообщаю содержание и способ найти авторов. Часть материалов уже сделана, необходимо только получить их (мои парижские экземпляры недостижимы). Другая – в работе, крайний срок сдачи по договору с авторами – апрель. Если возникнут трудности с печатью (материальные или какие-либо другие), – я договорился с Буланиными. Тانيا и Дима возьмут издание (в «Науке») и распространение в случае необходимости на себя. Так что на вас лягут составление, редаKTура, оригинал-макет и, конечно, вся авторская команда <...> с авторами (питерскими) помогут Лаврушки, особенно Тانيا, и Рита Павлова. Свяжитесь с ними побыстрее и объясните ситуацию (можете показать это письмо).

Оригиналы титулов, медных штампов и сидишник со шрифтом для дальнейших шмуцов здесь же. На всякий случай телефон Алексея Анатолиевича Гаранина (художника) <...>. Он – великолепный профессионал и подставит плечо.

Еще одна просьба: пошлите 3 экз. Ричарду Дэвису, 2 – Эльде Гарэтто и 1 – Марку Раеву. Они вам пригодятся. Остальное – на ваше усмотрение. Хотелось бы, чтобы альманах жил. По-моему, во всяком случае в смысле общей идеи, – он довольно удачен.

Дай вам Бог. Обнимаю дружески. Володя».

Гораздо дольше и ближе знавший его А.В.Лавров писал: «Уход был следствием продуманного до мелочей и долго вынашивавше-

¹⁴ Они собраны на интернетской страничке памяти Владимира Аллоя: <http://www.litcatalog.al.ru/personalii/alloy/alloy.html>.

гося решения. Для него самого уход стал – при всей неизмеримой мучительности этого акта – скорее всего желанным освобождением»¹⁵. Видимо, Аллой посчитал, что сделал все, что мог, а остальное решил предоставить делать другим.

В предисловии к последнему тому «Минувшего» Аллой написал, что «готов передать эстафету, было бы кому»¹⁶. Эстафету он передал, остановив свой выбор на мне. Хочется надеяться, что он не пожалел бы о своем выборе.

¹⁵ Лавров А. Памяти Владимира Аллоя // Новая русская книга. 2001. №6. С.88.

¹⁶ От издателя // Минувшее: Исторический альманах. Т.25. СПб., 1999. С.5.

Ольга Дунаевская
ЧЕЛОВЕК-АККУМУЛЯТОР*

В романе Владимира Шарова «След в след» один из героев, пытаясь найти сгинувших родственников, создает партию нового типа. Партию людей, знающих друг друга. Постепенно выстроенная им система охватывает всех живущих или когда-то живших в этой стране. Сейчас я понимаю, что был человек, способный создать такую партию – исследователь, биограф, издатель Владимир Аллой. Его главное детище – двадцать пять томов исторического альманаха «Минувшее», по 650 страниц в каждом – сейчас стоят в залах Государственной исторической библиотеки в открытом доступе, рядом со словарем Брокгауза и Ефрона. А ведь еще недавно, в середине 80-х, историко-культурологические издания Аллоя были запрещены, кое-кто из российских участников отбывал лагерные сроки, а составители комментариев подписывались псевдонимами.

«Добросовестно изучать российскую историю XX века, историю русской литературы и общественной мысли без обращения к «Минувшему» теперь уже невозможно. С годами такие книги не стареют, а лишь обретают благородную патину времени».

Александр Лавров

Я видела его лишь однажды в ЦДЛ: невысокий человек с очень красивым лицом и пронзительно синими глазами. В 1975 году тридцатилетний ленинградец Владимир Ефимович Аллой эмигрировал во Францию. До этого в его жизни были: армия, физфак, потом – филфак ЛГУ, крещение, уход из университета, работа сторожем в Зоологическом музее. Из интеллектуальных увлечений – русская

* Опубл.: Наша улица (М.). 2004. №5.

философия начала XX века. В Париже через три года он становится директором знаменитого эмигрантского издательства «ИМКА-пресс». «Есть блуд труда, – писал Осип Мандельштам, – и он у нас в крови». Вещество, составляющее основу этого сорта блуда, пока не выявлено, но кровь Аллоя была им переполнена. В Париже он брался за все: издательство, переводы, газетная и радиожурналистика, преподавание. Он издает Венедикта Ерофеева, Юрия Домбровского, звуковой альбом бардовской песни и многое другое. Однако довольно быстро кристаллизуется то, что скоро станет для него главным: публикация архивных материалов, восстановление намеренно вытоптанной и случайно утраченной истории XX века. Так появляются выпуски исторического альманаха «Память».

Количество наименований и тиражи растут, однако с начала 80-х дух общего дела из «ИМКА-пресс» улетучивается, все больше ощущается давление Солженицына и на политику издательства, и на его финансы. После приезда в Париж из Вермонта «министра иностранных дел» Александра Исаевича – его жены, Аллой почувствовал себя лишним. Сам он пишет о чуждости для него солженицынского дидактического понимания истории и причинах своего ухода: «Что же оставалось? – стать служащим, удовлетворяясь подачками начальства или уворовывая лакомые куски и раздуваясь перед прочими от сознания собственной причастности к играм “великого человека”? Этого я никогда не умел и не хотел учиться отвратительному для меня ремеслу». В январе 1982 года Аллой становится директором издательства при газете «Русская мысль», где издает почти два десятка книг, среди которых и его альманах. Однако в 1984 году без каких-либо объяснений издательство было закрыто, к этому добавилось давление ленинградского управления КГБ на здешнюю часть редакции альманаха – тогда был уже набран шестой том «Памяти». Вскоре Аллой, продав большую квартиру в хорошем районе Парижа и купив меньшую в плохом, на разницу в цене все-таки выпускает сборник под новым названием – «Минувшее» – и открывает свое издательство «Атенеум».

Публикации для альманахов готовила международная команда лучших специалистов, среди которых Ричард Пайпс и Эльда Гаретто, Джон Малмстад и Александр Лавров, Михаил Гаспаров и Александр Добкин, Анатолий Смелянский, Александр Парнис и, конечно, сам Владимир Аллой.

«Он один работал более продуктивно, чем иные гуманитарные институты. Казалось, он жил от книжки до книжки, пытаясь уверить себя в том, что выполняет некую миссию или обет».

Анатолий Смелянский

Он находил гранты на издания и материалы для публикаций, составлял комментарии, собирал тома, сверял корректуру, вручную делал набор, отсматривал «чистые листы», был грузчиком и шофером. «Мне колоссально везло, – писал Аллой в своих воспоминаниях, – я занимался делом, которое не просто любил, но ощущал судьбой, делом жизни и уходил в него целиком. Все остальное воспринималось как неизбежные издержки: плата за любовь». К главной издержке его жизни относилось неумение приспособиться и вписаться. Несмотря на огромный круг общения, на постоянную занятость и, казалось бы, встроенность в систему, Аллой всегда ощущал себя в стороне от любых «генеральных линий», недаром и воспоминания свои он назовет «Записки аутсайдера».

Каждый том «Минувшего» имеет разделы: Воспоминания; Из истории науки; Из истории литературной жизни; Дневники; Записные книжки; Маргиналии; Указатель имен. Я подхожу к библиотечной полке и играю в детскую игру: закрываю глаза, дотрагиваясь до тома наугад – шестой. Вышел в Париже в 88-м. Любимая Аллоем русская религиозная философия первой половины XX века. В основном антропософы – мистики и оккультисты. Воспоминания М.Н.Жемчужниковой о Московском антропософском обществе – с процессов над антропософами начинал свою государственную деятельность Сталин. Воспоминания А.А.Ванеева об инвалидном лагере в Коми АССР, где он познакомился с религиозным философом Карсавиным, став его учеником. Неизданные работы В.В.Розанова, А.А.Мейера, М.И.Кагана; письма Михаила Гершензона к Льву Шестову; материалы из архива Николая Лосского; воспоминания С.А.Волкова о Московской духовной академии и о Павле Флоренском. Документы: Павел Флоренский и Максимилиан Волошин. Религиозная, но при этом очень личная переписка Андрея Белого, его дневники. А в завершение – указатель из полутора тысяч упоминаемых в томе имен.

В конце 80-х Аллой начинает приезжать в Союз, а уже в России, в Петербурге создает издательство «Феникс». Количество историко-культурологических и краеведческих альманахов растет – «Лица», «Звенья», «Невский архив», «In memoriam» и другие – всего Аллой издал полсотни томов. Кино в русской глубинке и быт советских дипломатов в буржуазной Эстонии; жизнь в тюремной камере с ближайшими сотрудниками Берия и создание первой частной женской гимназии в России; сотни тысяч фамилий – эмигрантов, диссидентов, фашистов, сионистов, антисемитов, православных, католиков, пантеистов, безбожников, ученых с мировыми именами и безвестных провинциалов – ему нужны были все. Вскоре к альманахам добавился толстый литературный журнал «Постскриптум», а Вла-

димир Аллой гордился тем, что сумел создать «по-настоящему независимое издательство в стране всеобщей и полной зависимости». Сумел создать, по-прежнему оставаясь вне тусовок и не заботясь о поддержании нужного имиджа.

«Если бывают энергетические вампиры, для симметрии должны существовать и люди-аккумуляторы. Аллой таким и был».

Олег Коростелев

Свои «Записки аутсайдера» за два года до гибели он заканчивает так: «Чтобы почувствовать цельность перспективы, по-видимому, нужно было проделать пятнадцатилетний путь, находясь все в той же “движущейся системе”. На нем была масса смешных и грустных эпизодов, множество иллюзий и разочарований, изрядное число потерь и, главное, – было наше дело... Сегодня и этот перегон близится к концу, поезд, так сказать, подходит к станции, и я уже стою на подножке, держась за поручень. Осталось лишь разжать пальцы (выпустить десяток книг) и шагнуть на платформу... Но пока маршрут все-таки не завершился, а значит, и рассказывать о нем рано. Может, когда-нибудь потом...»

Маршрут завершился 7 января 2001 года, когда Владимир Аллой добровольно ушел из жизни. Три года назад в православное Рождество пятидесяти пяти лет от роду, глубоко верующий и воцерковленный человек, он повесился. Аллой пил и у него бывали депрессии, но последний шаг был продуман им заранее. Летом, за полгода до гибели, обсуждая с Олегом Коростелевым издание нового альманаха по истории русской эмиграции «Дiasпора» (Коростелев сейчас его ответственный редактор), Аллой вдруг сказал: «Это вы уже будете делать один, без меня». Осенью, когда он продолжал метаться между Россией, Францией и США, устраивая дела и добываясь грантов, в Париже его навестил Анатолий Смелянский, по свидетельству которого Аллой «был печален и как-то отстранен». Сообщил, что у его любимого пса по кличке Сидоров только что обнаружил огромную шишку за ухом и со странным упорством настаивал, что это рак. Вскоре Сидорова усыпили. Аллой любил писать друзьям по электронной почте, но переписка его утеряна – незадолго до гибели он отформатировал жесткий диск компьютера. А через неделю после смерти Аллоя из Петербурга в Москву Олегу Коростелеву пришла бандероль: «С того света. В свертке были шрифты и типографские детали для оформления “Дiasпоры”, распечатка компьютерной адресной книги и письмо. Его последнее письмо, – говорит Коростелев, – было сухим, даже жестким, исключительно деловым...»

Почему Аллой отказался от жизни? Потому ли, что в очередной раз не сумел вписаться в новый – уже российский – истеблишмент?

Или, как пишет Виктор Топоров, он постоянно искал бури: «Искал скорее стихийно – состояние покоя казалось ему нестерпимым: уж если покой, то покой вечный»? Или виной тому затяжная депрессия, начавшаяся с полосы смертей близких ему людей и завершившаяся гибелью Сидорова, к которому Аллой был очень привязан? А может, его подкосило падение интереса в обществе к тому делу, которое он ощущал своим служением? А еще, говорят, он не хотел входить в новый век. Возможно другое: он не хотел выходить из старого века, его исследователь и хранитель, Владимир Аллой – парка, плетущая нити жизни вспять.

Татьяна Притыкина
КАК МЫ РАБОТАЛИ В ФОНДЕ СОРОСА
Глава из книги воспоминаний

<...> Осенью 1991 Аллой вел переговоры с Джорджем Соросом о создании издательства при московском отделении фонда «Культурная инициатива», и наконец контракт с ним был подписан. В январе 1992 мы приступили к работе¹.

В нашем распоряжении были две крохотные комнатки во флигеле, примыкающем к роскошному особняку Фонда в Козловском переулке, два компьютера и практически неограниченный бюджет, выделенный Соросом на издательскую программу².

¹ Мы – это Володя Аллой, который на неопределенное время «усыпил» парижское издательство «Atheneum» и переехал, как он полагал, на два-три года жить в Москву, чтобы поставить дело в созданном им «Фениксе»; Саша Добкин, к тому времени уже четыре года являвшийся генеральным директором этого издательства; и автор этих строк.

² Не могу отказать себе в удовольствии рассказать, как происходила процедура подписания этого документа.

Примерно месяц у нас ушел на разработку всех позиций плана и тщательную проверку цифр, фигурирующих в сметах: согласовывались с партнерами возможные тиражи, стоимость полиграфических работ, бумаги и сопутствующих материалов, транспортные и накладные расходы, выверялся процент от реализации тиражей, который заказывали книготоргующие организации. После многочисленных переделок наконец документ был готов. Теперь нужно было представить его Соросу – тот должен был появиться в Москве со дня на день. «У нас будет совсем немного времени. Обычно у Джорджа очень плотное расписание, которое составляется чуть ли не за месяц до поездки, – готовил нас Аллой. – Тут счет идет не на часы, а на минуты. Я представлю ему вас с Саней в

Чем мы будем заниматься, Аллой хорошо знал: имелось в виду переиздание уже вышедших томов «Минувшего» и подготовка следующих, а также предполагалось издание новых альманахов – «Лица» (Биографического института) и «Звенья» (их готовил НИЦ «Мемориала»), серии региональных краеведческих сборников «Невский архив», «Сибирский архив» и т. д. В планах стоял и выпуск нового журнала – «Исторические тетради» (совместно с Историко-архивным институтом Ю.Афанасьева и тем же «Мемориалом»). Ну, и множество отдельных изданий. Интерес к исторической литературе в то время был, на мой взгляд, просто ненормальный: практически узко-специальное «Минувшее» расходилось 50-тысячными тиражами, как горячие пирожки...

Наш издательский план на 1992 год включал 33 названия (всего 1039 печатных листов), общий тираж равнялся 2590 тысячам экземпляров. Только бумаги требовалось 2 406 тонн.

Но вот как это делать в России, Аллой не имел ни малейшего представления. Во-первых, до эмиграции издательским делом не занимался, а, во-вторых, за 17 лет на Западе полностью утратил представление об отечественной реальности³. Техническую часть

качестве своих сотрудников, затем сделаю пояснения по плану. А дальше – он примет решение. Если будет задавать вопросы – отвечай коротко.

Наконец наступил заветный час. Жизнь в Фонде, которая в тот день едва теплилась (все сидели по кабинетам), забурилась, сотрудники заполнили коридоры и рекреации. Появился Джордж Сорос, которого сопровождала группа лиц, в том числе два исполнительных директора Фонда – американский и российский. По рядам прошел гул восторга – ну, точно визит попечителя в провинциальную гимназию! Сорос двинулся быстро, раскланиваясь налево и направо, иногда на ходу пожимал кому-то руку. Увидев Аллоя, притормозил и заулыбался чуть шире, поздоровался. Вова представил нас с Саней. Сорос любезно пожелал нам удачи в работе. Бедный Добкин вытянулся во фронт и стал ужасно похож на артиста С.Филиппова в роли Кисы Воробьянинова. Как всегда в таких случаях, он растерялся и не мог придумать, что сказать. Желая выручить ситуацию, я бодро рявкнула на своем ужасном английском заранее приготовленную фразу «We'll try harder!!». Джордж слегка вздрогнул и взял из рук Аллоя издательский план, взглянул, улынулся, кивнул головой, и... процессия в бодром темпе последовала дальше. Вся история заняла меньше полутора минут.

«Что это было? – спросила я у Вовы. – Почему так быстро? И ни одного вопроса...» – «Обычно в любой смете Джорджа интересуют только один пункт: убытки, – пояснил Аллой. – Если они соответствуют тому, что он планировал потерять на этой программе, то и вопросов не возникает». Действительно, на следующий день экземпляр нашего плана с подписью Сороса уже был в бухгалтерии Фонда.

³ Тут, пожалуй, следует оговориться. Что там Аллой! Даже мы, никогда не выезжавшие из страны, в какой-то момент почувствовали, как страна «выезжа-

проекта должны были обеспечить два предприятия-партнера Фонда: «Центурион» и «Интерпракс». Аллой простодушно полагал, что «Интерпракс» возьмет на себя всю полиграфическую часть, «Центурион» – обеспечение материалами и реализацию, а наше дело будет лишь поставлять им по совместно выработанному графику оригинал-макеты готовых книг. Тут-то и началось...

Почувствовав исходящий от нас аромат больших денег, сообразительные партнеры взяли нас, что называется, «в кольцо». И дальше все пошло, как в дурном сне: исчезали якобы вышедшие из Сыктывкара вагоны с бумагой, и, чтобы не сорвать выпуск очередного тома «Минувшего», приходилось срочно покупать другую бумагу, но уже, естественно, по зашкаливавшей цене; при этом график выхода книг все равно не выдерживался, потому что «Интерпракс» ухитрялся перепустить в это время сторонний заказ. Денег за реализованные книги было не дожидаться, они тоже вечно где-то застревают, хотя Аллой почти ежедневно ездил в «Центурион» ругаться, требовать авизо и грозить карами. Никто его не боялся, он им даже был симпатичен: такой забавный псих – вроде бы и наш, а в то же время вроде иностранец.

– Чего ты дергаешься, – уговаривал его хозяин «Центуриона» обаятельный Тимур Умеров, – не свои же тратишь, в конце года как-нибудь отчитаешься...

Герман Табаксман, один из директоров «Интерпракса», ухитрившийся выпустить 6-й том «Минувшего» без названия на корешке, тоже по-своему пытался успокоить Аллоя, который уже почти что бился головой о стену: «Да ладно, чего там, зато посмотри, какой форзац...»

Следует признать, что, если бы не совместная работа, эти персонажи Аллою были вполне симпатичны: ему нравился хорошо образованный и грамотный экономист Умеров; импонировали трезвый

ет) из-под нас: достаточно рутинное издательское дело, многие позиции которого сохранялись, наверное, еще со времен Ивана Федорова, внезапно приобрело невероятные, уродливые формы: солидные издательские дома затрещали по швам; ежедневно возникали новые, которые фантастически быстро росли и внезапно лопались, как грибы-дождевики, оставляя за собой мутное облачко пыли... Знаменитые типографии, что называется, забросив чепчик за мельницу, кинулись сами издавать все равно что – хоть Коран, хоть «10 тысяч палок», – лишь бы заработать. Полиграфическое оборудование, и так-то не отличавшееся новизной, трещало по швам и выдавало на-гора сырые, плохо напечатанные на желтой шершавой бумаге, уродливые книги. А когда рухнул ГОСТ – тот самый ГОСТ, который для нас был как «Отче наш», – тут даже я струхнула, подумала, что придется проститься с профессией... К счастью, потом постепенно почти все вернулось на круги своя.

взгляд на вещи и мягкий юмор Табаксмана. Он любил, в редкие моменты затишья в нашей постоянной борьбе с ними, заехать поболтать к кому-нибудь из них, даже водки выпить... Он понимал, что эти толковые люди, оказавшиеся в ситуации, когда страну разворывают прямо на глазах, не могли не включиться в процесс – слишком силен был искуc.

В качестве примера приведу отрывок из своего дневника весны 1992-го. Аллой уехал в Париж, оставив мне четкие инструкции по каждой из книг, которые тогда находились в производстве. Тут-то и началось...

21 апреля

<...> Приехала в Фонд. Герман как с цепи сорвался: звонит каждый час, проводит массируемую атаку. Видимо, рассчитывает, что если Вову не сломать, то он меня уболтает, сделает все по-своему и переложит ответственность.

Сюжет с этикетками: на бандеролях с книгами («Минувшее»-6) надо ставить цену за экземпляр.

– Зачем, Г.А., ведь в выходных данных – «цена договорная»?

– Это формальность, необходимо только как страховка при транспортировке груза, вас это ни к чему не обязывает.

– Хорошо, ставьте тогда реальную цену, исходя из затрат!

– Ни в коем случае! «Красный пролетарий»⁴ должен видеть, что Аллой продает дорогую книгу по дешевой цене, тем самым осуществляя свою уставную задачу – нести культуру в массы, etc. Тогда они, может, и не станут повышать цену за корешок.

– Как повышать??! А наше соглашение – прейскурант 1972 года, помноженный на три?

– Это все ничего не значит, в стране форс-мажорные обстоятельства.

Мысленно представляю себе Вову и начинаю голосом робота излагать виды обстоятельств, подпадающих под вышеозначенную категорию: наводнение, землетрясение и т. п.

– Все остальные обстоятельства, дорогой Г.А., не имеют отношения к нашему договору и нами рассматриваются как ваши личные.

– Все равно, на этикетке будет стоять 25 рублей, и ни копейкой больше. Эту цену мне называл Аллой.

– Но она назначалась с учетом дешевой бумаги!

– 25 рублей, и только так!

И ведь оба понимаем, что разговор абсолютно бессмысленный, что он уже все давно решил, что этикетки, скорее всего, уже

⁴ Московская типография.

отпечатаны, – нет, хлебом не корми, дай только кишки помотать. Поразительный тип!

Пошла отправлять факс, встречаю на лестнице Умерова.

– Тимур, я как раз собиралась вам звонить: что там с бумагой, отправленной в Тверь?

– Все давно на месте, машины ушли вчера и сегодня; завтра – еще 40 тонн.

– Нельзя ли на накладную полюбоваться?

Заминка. Видно, как он внутренне мечется, придумывая отговорку. Впрочем, должна признать, придумал быстро:

– Машины вернутся назад, будут накладные, я вам сразу же факсом перешлю.

Гляжу в его ясные глаза, понимаю, что, скорее всего, врет, но очень хочется верить. Хочется, чтобы дело стронулось хоть чуть-чуть. <...>

22 апреля

На работе – Герман. Достал черный бумвинил, вместо синего. Очень собой доволен. Но ведь нужен-то синий! В Вовином «завещании» это четко обозначено. Пытаюсь обменять. Пока – глухо.

Верстка именика к «Лицам» – только завтра. От Садовского позвонили, что не успевают выпустить Поппера⁵, – ждите, мол, в лучшем случае, в воскресенье. Вот так они нас уже две недели «завтраками кормят»!

Тимур сообщил, что в Твери приняли 27 380 кг бумаги. Столь точная цифра внушает некоторые надежды, а также то, что из Твери ни разу не позвонили с целью поснимать на нас стресс. Документы обещал занести утром. <...>

23 апреля

Тимур весь день обещает приехать с документами. От Германа знаю, что бумага, которую Умеров завез в Тверь, не годится для офсетной печати. Зато внешне происходит бурная деятельность: человек по фамилии Печенкин мечется на грузовике между Москвой и Тверью, телефон раскалился докрасна, и т. д. и т. п.

Весь день пыталась обменять черный бумвинил на синий, обзвонила почти все московские издательства – дохлый номер. Все недоумевают: у вас есть черный, чего уж лучше? У большинства издательств нет никакого...

Прибыл Герман, лично. Вид самодовольный.

⁵ Имеется в виду оригинал-макет книги К.Поппера «Открытое общество и его враги».

– Ну что, Т.Б., принимаем решение: завозим черный бумвинил на «Пролетарий», фольга – юбилейная. Последний срок был 16 апреля, неделю протянули, из плана выкинут!

Может, и не врет. Боже, что сделает со мной Аллой за этот траурный том! И если бы была уверенность в том, что все остальные тома тоже будут черные, тогда полбеды. Но ведь этой партии на все тома не хватит!..

Еще раз пять поговорила с Тимуром по телефону, – он все переносит нашу встречу, последним звонком – уже на завтра. Если утром будет то же самое, поеду к нему сама.

Верстку именика к «Лицам» отчитали; договорилась с директором, что начнет читку Поппера с выходных, – все-таки есть надежда получить завтра первую порцию.

Вот и день прошел. Я даже не заметила, какая сегодня была погода. <...>

24 апреля

Утро началось со встречи с Тимуром. Деньги в «Феникс» он, конечно, не перевел, принес новую платежку, уже от 22 апреля. Ждите, мол, будут. Единственное, чему можно верить, – это то, что бумагу он в Тверь вернул, – я съездила в «Центурион» и посмотрела накладные, вроде бы, в порядке. Впрочем, если они ухитряются подделывать платежки, то и накладные могут быть липовые. Убеждена, что Вова должен рвать с этой компанией (Герман – Тимур) немедленно, а деньги возвращать через арбитраж: распутать этот клубок змей ему не по силам. Надо вырываться из их лап и вставать на свои ноги.

Сию в «Центурионе» с ощущением, что нахожусь в зыбучих песках, вернее, в зыбучем говне, чувствую, что еще минут пятнадцать, и погружусь полностью: документы, люди и звонки то накатывают, то откатывают, все при деле, при этом ничего не происходит.

27 апреля

С утра в Фонде – тишина. Герман по телефону какой-то слишком ласковый, то ли действительно меня жалеет, то ли что-то новое задумал... Но иногда думаешь: а вдруг ему надоест мухлевать, не навсегда, нет, хоть на полчаса, и может эти полчаса именно сейчас наступили.

Вот тогда-то и обманываешься. <...>

Наша работа началась с подготовки знаменитого труда философа-классика Карла Поппера «Открытое общество и его враги», перевод которого готовила группа профессора В.Н.Садовского. Не ска-

жу, что дело шло гладко, но все же в сентябре 1992 двухтомник вышел 40-тысячным тиражом и довольно быстро разошелся. Кроме определенного чувства удовлетворения, от этой работы остались две вещи: название издательства «Открытое общество», которое с тех пор стояло на книгах, выпускаемых «Культурной инициативой», а затем, по-моему, перешло и в название всей организации. И второе – цитата из Платона, на которую я наткнулась, держа корректуру первого тома. Позволю себе ее привести:

Никто никогда не должен оставаться без начальника, ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда, и на войне, и в мирное время надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например, по первому его указанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и исполнения поручений...

(Платон Афинский, 350 г. до н. э.)⁶

Дело в том, что (конечно, не в такой утрированной форме) этот принцип соответствовал манере Аллоя направлять все наши действия, вплоть до мельчайших деталей: он – безусловно, из лучших побуждений – строго контролировал не только рабочие процессы, но и нашу с Добкиным частную жизнь, выясняя, как мы спали, что ели на завтрак и тепло ли оделись. Мы же, взрослые сорокалетние люди, имеющие детей, с одной стороны, умирали от смеха, отбиваясь от приставаний «папаши», как довольно быстро окрестили Аллоя, с другой – были тронуты этим нетягостным проявлением патернализма.

Вот сюжет для примера: уезжая куда-либо на длительный срок, Аллой каждый раз оставлял нам подробнейшие инструкции по всем позициям издательского процесса, а также рекомендации дружить и проводить вместе свободное время. Мы с Саней были знакомы к тому времени уже лет десять, не скажу, что дружили, но относились друг к другу с большой симпатией. Но делить досуги было сложно: слишком мы разные – и по темпераменту, и по вкусам, да и хватало нам девяти часов, которые ежедневно проводили в издательстве. Но, желая сделать «папаше» приятное, один раз как-то сходили вместе в кино, посмотрели какую-то голливудскую ерунду. Выходя из кино,

⁶ Цитата эта была вывешена в рамочке на стене нашей с Саней комнаты и дальше перемещалась с нами по всем адресам «Феникса» – уже в Петербурге – сначала на набережной Мартынова, затем в Смольном.

Саня меланхолично спросил: «Ну, что, Танечка, мы уже подружились?» – «Думаю, да», – констатировала я, и на сем сюжет был исчерпан навсегда.

Когда Аллой улетал в Париж или в Штаты, мы договаривались, что я буду ежедневно ему звонить – сообщать, как идут дела. Каждое утро я входила в главное здание Фонда и поднималась в секретарскую – там находился телефон для международной связи.

Признаюсь, не любила я бывать в этом здании – хоть и красивом внешне и по-московски уютном. Какая-то нежить присутствовала в этих длинных пустынных коридорах, застеленных ковровой дорожкой, с аккуратными дверьми по обе стороны. Стоило случайно открыть не ту дверь, и хозяин кабинета суетливо отворачивал монитор, на котором все-таки успеваешь разглядеть игровое поле, – играли все, компьютеры, причем самые лучшие по тем временам, были в каждом кабинете. Впрочем, часть сотрудников с наступлением теплых дней большую часть времени проводила во дворе, рядом с нашим флигелем, где, демократично объединившись с фондовскими шоферами, все по очереди собственноручно мыли, поливая из шланга, свои роскошные машины, а остальные в это время обсуждали достоинства той или иной модели.

Днем все собирались в нарядном кафе на первом этаже. В фонде сотрудников кормили бесплатно, денег стоили только какие-то особо роскошные закуски и напитки. Здесь же, следуя советской инерции, выдавались «заказы» – наборы дефицитных продуктов. В общем, чистой воды обком, решили мы с Саней, рассмотрев новых коллег и явно чувствуя себя не в своей тарелке. Мы бы лучше у себя во флигеле попили чайку, но Аллой требовал, чтобы мы неукоснительно каждый день являлись к обеду – знакомились с фондовцами, узнавали новости, рассказывали о своей работе. Какое там «знакомилась», – нас просто в упор не видели, обтекали, как вода мелкие камешки. Мы были чужие на этом празднике жизни.

Праздник у нас был свой – ощущение нового жизненного этапа, новых, как тогда казалось, неограниченных возможностей, да и просто радости от того, что мы дружны, что живем в Москве, что вместе делаем большое дело... Начало 1992-го – это были еще вполне буколические времена, и воздух свободы все еще пьянил, и ни одна надежда еще не рухнула, и никто из близких еще не умер...

Бюджет издательства позволял включить в план все, что, с нашей точки зрения, того заслуживало, – и вечером за стаканом виски Вова развивал планы создания чуть ли не новой «Всемирной литературы» (правда, по утрам он к этой теме уже не возвращался...). И пусть не во «всемирных» масштабах, но дело набирало обороты: Саня зани-

мался составлением 13-го тома «Минувшего», я готовила к переизданию книгу Петра Григоренко «В подвале можно встретить только крысы», в Питере Лена Русакова макетировала второй том «Звеньев». На подходе был первый выпуск «Невского архива», который вместе с Саней редактировал Саша Кобак.

Аллой развивал бешеную деятельность, встречался в день с десятками людей, строил немыслимые союзы из «мемориальцев» с военными архивистами, совещался то в Минкульте, то в Историко-архивном институте у Афанасьева, выпивал в день десятки чашек кофе с фондовскими клерками, обсуждая возможные варианты стратегии и тактики деятельности. И везде, как правило, наткнулся на полное непонимание и даже недоумение, и это в лучшем случае, а в худшем – фальшивую готовность принять участие в предлагаемых проектах, которая, после длительных проволочек, сходилась на нет.

В качестве иллюстрации приведу цитату из письма Аллоя известному историку, профессору Гарвардского университета Ричарду Пайпсу от 18 мая 1992:

Энтузиазма у меня поубавилось, хотя бросать здешнее издательство не собираюсь. Но, Боже, как все медленно и уродливо здесь развивается и как мало надежд на изменения к лучшему, по крайней мере, в ближайшее время. Все-таки удивительная страна, способная поглотить любые ресурсы и при этом не сдвинуться ни на йоту – ни в мышлении, ни тем паче в желании и умении работать. За пять месяцев бессмысленной суеты мне удалось выпустить лишь две книги – и то, стыдно сказать, – репринты изданного в Париже. Правда, восемь новых книг подготовлено, и не плохих, но когда они увидят свет – Бог весть. Пока же время проходит в совершенно бесплодной погоне за полиграфическими материалами и в борьбе с жуликами – и коммерческими, и идеологическими, причем трудно сказать, кто из них отвратительнее. Эта бессмыслица суеты – пожалуй, самое трудное из всего, к чему приходится заново привыкать, ибо за шестнадцать лет на Западе я совершенно разучился быть «винтиком» и привык к осмысленности каждого дня. В остальном все не так уж страшно, а наличие рядом друзей до некоторой степени скрашивает отсутствие результатов (типично российско-интеллигентская ситуация). Правда, вернувшись после четырех месяцев пребывания здесь на несколько дней в Париж, я ощутил себя геологом, вышедшим из тайги в нормальный цивилизованный мир, но чувство это по возвращении в Москву вполне быстро исчезло. Находясь долго «внутри», воспринимаешь здешнюю действительность спокойнее, чем когда приезжаешь на неделю-другую погостить. Вот Вам общее описание моего самочувствия на исторической роди-

не, от деталей избавлю, – на бумаге они будут выглядеть еще более дикими, чем в обычной беседе.

Но это были еще цветочки. К июню появились первые ягодки.

Наконец-то до Правления дошло, что при Фонде действительно существует издательство с независимым бюджетом, причем деньги в игре солидные. До сих пор мы соприкоснулись с московским начальством только один раз – при подготовке материалов годового отчета. Нам поручено было в считанные дни изготовить солидные папки «Annual report», который печатался чуть ли не на веленовой бумаге. Держа корректуру, я просто кисла от смеха, натываясь на такие «перлы» стилистики:

Под *самоотверженным* (курсив мой. – Т.П.) руководством Правления «Культурная инициатива» распределила в 1991 году 1,5 млн долларов и почти 50 млн рублей на оборудование, стипендии <...>, предоставляя возможность путешествовать, учиться, встречаться <...>, а главное, сравнивать. Мы дали людям России шанс сделать правильный выбор. И люди выбрали демократию и открытое общество.

Вскоре стало понятно, что веселилась я зря.

Раз попав в поле зрения всевидящего ока Правления, птичке, то бишь нашему издательству, суждено было пропасть... Дело в том, что почти у каждого из членов Правления было свое представление о том, какие издания в настоящий момент являются приоритетными – исходя из пресловутой «злобы дня». И на очередном из заседаний был составлен некий план издательской политики Фонда. Не буду сейчас вдаваться в подробности и называть все позиции этого бредового списка. Скажу только, что в него вошло все – от переиздания журнала «Советиш Геймланд» до выпуска справочника по приватизации.

Аллою, приглашенный на заседание Правления для оглашения «приговора», пытался объяснить, что издательство «Открытое общество» не является структурой Фонда, что оно создано *при* нем и имеет свою программу. Он распечатал и роздал членам Правления этот документ, утверченный в январе лично Соросом; рассказал об историко-архивных альманахах, которые мы выпускаем, о планах на будущее ...

Но все это мало кого интересовало. Дело в том, что, несмотря на обещание Сороса, данное им Аллою при личном разговоре, что издательство при «Культурной инициативе» будет независимым, за прошедшие шесть месяцев его отдельное юридическое лицо так и не было конституировано, таким образом формально мы относились к структурам Фонда и должны были подчиняться решениям Правления.

Как в этих обстоятельствах поступил Аллой, видно из его письма Соросу:

7 августа 1992

Дорогой Джордж

Это письмо является уведомлением о моем увольнении с поста директора издательства «Открытое общество». В феврале, когда мы с Вами обсуждали перспективы издательской деятельности, я сказал, что не намерен транжирить Ваши деньги или строить «потемкинские деревни», но готов принять серьезное предложение и создать универсальное издательское предприятие. Вынужден признать, к сожалению, что я переоценил свои силы и не смог полностью оценить уровень инертности Фонда «Культурная инициатива». Эта организация, созданная Вами, не что иное как механизм для растрачивания чужих денег. Поэтому какая-либо продуктивная деятельность, в частности, создание издательства, противоречит самой природе Фонда. Любые проблемы, возникающие в процессе работы, вызывают резкое неприятие и желание их игнорировать.

Этим и объясняется тот факт, что за полгода я не только не получил ответа ни на одну из моих докладных записок, которые направлял в Правление, но даже и подтверждения их получения. По той же причине более чем полгода не могу выдрать самые элементарные документы из нью-йоркского и московского офисов, без которых невозможно создание <издательства> «Открытое общество», а г-н Рихтер⁷, который регулярно ездит в Москву, никогда не в состоянии выделить хотя бы десять минут для обсуждения проблем издательства.

В результате издательство не имеет в Фонде официального статуса, который позволял бы ему устанавливать собственные контакты и защищать свои права в отношениях с третьими лицами. Издательская программа безнадежно зависла, в связи с тем, что еще в 1991 Фондом были приняты на себя непрофессиональные и бессмысленные обязательства, которые действуют и поныне. Руководство нью-йоркского и московского офисов отстранилось от принятия принципиальных решений, не давая при этом нам независимости, необходимой для нормальной работы. В итоге Фонд не только не получает никакой пользы от своей издательской деятельности, но и Ваши деньги растрачиваются и раскидываются так, словно завтрашний день не наступит, – при этом никто из вовлеченных в процесс этим не озабочен. Никакой перспективы для развития серьезных начинаний не предвидится.

⁷ Исполнительный директор Фонда Сороса (Нью-Йоркское отделение), который отвечал за работу в Москве.

Ситуация останется прежней, пока отношение к делу принципиально не изменится

За пять месяцев, прошедших с нашего последнего разговора, нам удалось, невзирая на исключительно неблагоприятные условия работы, игнорирование всех предыдущих соглашений, на которых мы были приглашены, выполнить 30% утвержденного Вами издательского плана, истратив 30% отпущенных средств. С точки зрения издательского плана, моя совесть чиста. Но ни я, ни моя команда больше не хотим участвовать в административно-аппаратных играх. Единственной причиной моего возвращения в Россию было желание издавать книги. Я категорически отказываюсь становиться кем-то вроде «шестерки». По этой причине не вижу ничего лучше, как уволиться с 15 сентября и вернуться в собственное издательство «Феникс», пусть небольшое, но уже внесшее значительный вклад в издание новых книг, а не в грабеж.

И все же я готов продолжить сотрудничество с Фондом, но только на совершенно иных, независимых условиях. Если Вас это заинтересует, я бы мог помешать название «Открытое общество» на наших книгах вместе с нашим собственным (мы планируем издавать 8–9 книг в год небольшими тиражами). Качество наших изданий говорит само за себя. В обмен на это право мы хотели бы получать ежегодные гранты из Фонда в \$34–35 тысяч, что составляет порядка 12% от бюджета Вашей нынешней издательской программы, в то время как руководство Фонда займется избавлением от опрометчивых обязательств, взятых на себя ранее. Таким образом, Ваши средства будут расходоваться со значительно большим результатом.

Мне очень жаль, но дело обстоит именно так, и другого варианта для меня просто не существует. Я хочу серьезно заниматься изданием книг. Это мое намерение не вписывается в существующую структуру Вашего Фонда с его бюрократическими и корыстными интересами.

Искренне Ваш

Владимир Аллой

Ответа не последовало. На этом отношения Аллой с Соросом были закончены. В конце августа мы сдали дела и с легким сердцем уехали в Питер, где еще в мае я с помощью своего коллеги Семена Фейгина в считанные дни открыла дочернее предприятие от московского «Феникса».

Питерский «Феникс» приступил к работе 1 сентября 1992. Еще летом был запущен в производство первый том «Лиц», да и тринадцатый выпуск «Минувшего» тоже практически был готов... Работы

прибывало, и оглядываться назад было некогда, – Фонд Сороса мгновенно был забыт.

Нам удалось издать еще более полусотни книг – историко-архивных сборников и отдельных изданий, четыре года выходил «толстый» литературный журнал «Постскриптум», поэтическая серия «Мастерская»...

Но это уже другая история.

ВЛАДИМИР АЛЛОЙ.
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ
Составители Д.Ю.Гузевич и Т.Б.Притыкина,
при участии О.А.Коростелева

Первые попытки составления библиографии изданий и произведений В.Е.Аллоя осуществлены в 2001¹. В течение трех последующих лет работа была продолжена.

Настоящая библиография состоит из трех разделов: 1. Издатель (соиздатель), редактор (соредактор), член редакционной коллегии или совета, составитель (сосоставитель); 2. Автор (соавтор), публикатор, комментатор или переводчик; 3. Интервью с В.Е.Аллоем, отзывы, обзоры и рецензии на издания В.Е.Аллоя, библиографии его работ, некрологи и статьи о нем.

В первом разделе учитывались книги и журналы, изданные Аллоем в период 1977–2000 под маркой издательств «YMCA-Press»², «La Presse

¹ См.: Биографическая справка. Краткая библиография / Сост. Д.И.Зубарев // Новое литературное обозрение. 2001. №48. С.74-78; Материалы к библиографии Владимира Аллоя: Книги и журналы / Сост. Т.Притыкина // Диаспора: Новые материалы. Т.2. СПб.: Феникс, 2001. С.697-705.

² В части, касающейся изданий «YMCA-Press», степень участия В.Е.Аллоя в некоторых изданиях остается под вопросом. Такие издания в списке отмечены знаком (*). Любопытно отметить, что в сборнике, посвященном истории «YMCA-Press», об Аллоем не упоминается, см.: *Карташев А.В., Струве Н.А.* 70 лет издательства «YMCA-Press»: 1920–1990. Paris: YMCA-Press, 1990. 42 с. Между тем первое упоминание Аллоя в контексте РСХ Движения относится к маю 1977 года, см.: Собор и соборность в жизни Церкви: Весенний съезд Р.С.Х. Движения во Франции (28–30.5.1977, замок Moulin de Senlis, Монжерон) // Вестник РХД. 1977. №120. С.350 (имеется информация об участии в этом съезде Владимира Аллоя). Также В.Е.Аллоем указан как член редакционной коллегии и зам. редактора в «Вестнике РХД», начиная с №1(120) за 1978; последнее упоминание Аллоя в этом качестве в №1(133) «Вестника» за 1981. В каталоге русско-

Libre», «Atheneum», «Феникс» (Москва), «Феникс» (СПб.), «Athenaeum» (Париж)³. При составлении этого перечня нами использовались материалы «Вестника РХД» за 1978–1981, каталоги русского книжного магазина «Les Éditeurs réunis», архивы издательств «Atheneum» и «Феникс», воспоминания В.Е.Аллоя «Записки аутсайдера» и «Дым отечества» и другие материалы.

Для второго раздела в части, относящейся к журналистской деятельности В.Е.Аллоя, нами были просмотрены комплекты «Вестника РХД», «Русской мысли», «Нового русского слова»⁴.

Внутри разделов библиографические сведения даны в хронологическом порядке.

К сожалению, нам не удалось составить список радиоскриптов, подготовленных В.Е.Аллоем. Известно, что с начала 1983 и до конца 1988 он работал парижским корреспондентом «Би-би-си» (BBC) в программах «Current affairs» – «Глядя из Лондона» и «Week-end»⁵. С 1984 Аллой также работает на Французском международном радио / Radio France International (RFI), это сотрудничество продолжилось до лета 1991⁶. По нашим сведениям, материалы В.Е.Аллоя в архивах этих радиостанций не сохранились.

Настоящая библиография является результатом коллективного труда. Выражаем свою глубокую благодарность всем коллегам, оказавшим нам помощь в этой работе.

1. Издатель (соиздатель), редактор (соредактор),
член редакционной коллегии или совета,
составитель (сосоставитель)

1. Песни русских бардов: Тексты: Сер. (Кн.) 1 / [Оформление серии Л.Нусберга]. – Paris: YMCA-Press, 1977. – 160 с., [+ 10 магнитных кассет].

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №124. – С.350; №125. – С.302.

го книжного магазина «Les Éditeurs Réunis» за 1981–1982 в части, касающейся «YMCA-Press», указано: «Руководство издательством осуществляется в настоящее время В.Аллоем, П.Андерсоном, К.Ельчаниновым, Н.Струве и прот. А.Шеманом» (Paris: Les Éditeurs Réunis, 1981. С.<6>).

³ Издательство зарегистрировано в Париже в 1999; название восходит к первому «Atheneum'у», деятельность которого была приостановлена В.Е.Аллоем перед его отъездом в Россию в конце 1991.

⁴ К сожалению, полные комплекты «Нового русского слова» отсутствуют в РГБ, равно как и во всех других библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Nanterre, Paris). В связи с этим нам не удалось просмотреть номера газеты за вторую половину 1986 года – с 22 июня (№27130).

⁵ Последний контракт В.Е.Аллоя с BBC датирован 9 сентября 1987; мы полагаем также его письмами руководителю русской службы этой радиостанции Барри Холланду (Barry Holland).

⁶ На RFI Аллой выступал под псевдонимом «Войтенко».

- *2. *Ерофеев В.* Москва – Петушки. – Paris: YMCA-Press, 1977. 73 с.
- *3. *Анциферов Н.* Душа Петербурга. – Репринт с изд. 1922 г. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 232 с.
- *4. *Бердяев Н.* Библиография / Сост. Т.Ф.Клепинина; введение П.Паскаля. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 160 с.
5. *Войнович В.Н.* Путем взаимной переписки: [Сборник повестей и рассказов]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 260 с.
[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №126. – С.316; №127. – С.298.
6. *Волконский С., кн.* Быт и бытие: Из прошлого, настоящего, вечного. – Репринт изд.: [Б/м.]: «Медный всадник», 1924. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 216 с.
7. *Домбровский Ю.* Факультет ненужных вещей / Обложка работы художника А.Леонова. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 476 с.
[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №126. – С.316.
- *8. *Домбровский Ю.* Хранитель древностей. – [Текст по изд.: М., 1964]. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 256 с.
[Анонс] // Вестник РХД. – 1978. – №126. – С.317; №127. – С.299.
9. *Карсавин Л.П.* Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах / Обложка работы худ. В.Стацинского. – Репринт изд.: Пг., 1919. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 78 с.
10. *Кормер В.* Крот истории, или Революция в республике S=F. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 187 с.
[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №128. – С.395; №129. – С.323.
11. *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм: Иеромонах Оптиной пустыни. – Репринт изд.: М., 1882. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 124 с.
12. *Метнер Н.* Муза и мода: Защита основ музыкального искусства. – Репринт изд.: Париж, 1935. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 158 с.
13. *Нольде Б.Э., бар.* Юрий Самарин и его время. – Репринт изд.: Paris, 1926. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 248 с.
14. О религии Льва Толстого: [Сборник статей]. – Репринт изд.: М.: Путь, 1912. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 250 с.
- 15–17. Песни русских бардов: Тексты: Сер. (Кн.) 2-4. / Оформление серии Л.Нусберга. – Paris: YMCA-Press, 1978. – Сер.2. – 166 с.; Сер.3. – 160 с.; Сер.4. – 172 с., [+ 10 магнитофонных кассет в каждой серии.]
- 18–21. То же. – 2-е изд., испр. и доп. – Paris: YMCA-Press, 1978.
[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №124. – С.350; №125. – С.302.

*22. Россия и евреи: Сб. статей. – Репринт с изд. 1924 г. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 232 с.

23. *Светов Ф.* Отверзи ми двери: [Роман] / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – Paris: YMCA-Press; Les Éditeurs Réunis, 1978. – 560 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №127. – С.298.

*24. *Чуковская Л.* По эту сторону смерти (Из дневника 1936–1976): [Стихи]. – Paris: YMCA-Press, 1978. – 136 с.

25–39. Вестник Русского христианского движения (Вестник РХД) = Le Messager / Член редакционной коллегии и зам. редактора. – Paris: YMCA-Press. – 1978. – №1(120). – 1981. – №1(133).

40. *Бобышев Д.* Зияния: [Стихи]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 240 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №128. – С.395; №129. – С.323.

41. *Войнович В.Н.* Претендент на престол: Новые приключения солдата Ивана Чонкина / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 350 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №28. – С.395; №129. – С.323.

42. *Гершензон М.О.* Ключ веры. – Репринт изд.: Берлин: Эпоха, [Б.г.]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 125 с.

[Анонс и аннот.] Вестник РХД. – 1979. – №130. – С.405.

43. *Гессен И.В.* Годы изгнания. Жизненный отчет / Предисл. В.А[ллой]; Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 270 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №130. – С.404.

44. *Горбаневская Н.* Перелетая снежную границу: Стихи. 1974–1978 / Рис. Я.Горбаневского. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 130 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №130. – С.405.

*45. *Григорий (Круг), инок.* Мысли об иконе: [Художественный альбом]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 160 с.

46. *Мандельштам Н.* Вторая книга. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 712 с.

[Анонс] // Вестник РХД. – 1978. – №126. – С.317; №127. – С.299.

*47. *Никон, игумен.* Письма духовным детям / Вступит. ст. Н.С[труве?]. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 150 с.

48. Память: Исторический сборник. – Вып.2 / Обложка А.Мошнягера. – М., 1977; Париж: YMCA-Press, 1979. – 600 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1978. – №126. – С.316; №127. – С.298.

49. *Поповский М.* Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 525 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №128. – С.394; №129. – С.322.

50. *Розанов В.В.* Религия и культура: Сб. статей. – Репринт изд.: СПб.: Изд. П.Перцова, 1899. – Paris: YMCA-Press, 1979. – [6], II, 264 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №128. – С.395; №129. – С.323.

51. *Цветаева М.* Волшебный фонарь: [Вторая книга стихов]. – Репринт изд.: М.: Оле-Лукойе, 1912. – Paris: YMCA-Press, 1979. – 140 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №130. – С.405.

52. *Чуковская Л.* Процесс исключения: Очерк литературных нравов. – [Paris]: YMCA-Press, 1979. – 207 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1979. – №128. – С.394; №129. – С.323.

53. *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. – Paris: YMCA-Press, 1980. – [5], III, 323 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №318. – С.394.

54. *Антонович А.* Многосемейная хроника: [Повесть]. – [Кн.1]. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 136 с.

55. *Василий (Кривошеин), архиеп.* Симеон Новый Богослов (949–1022). – Paris: YMCA-Press, 1980. – 360 с.

56. *Гаккель С., прот.* Мать Мария (1891–1945). – Paris: YMCA-Press, 1980. – 208 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №131. – С.394.

57. *Гумилев Н.* Мик: Африканская поэма. – Репринт изд.: Пг.: Мысль, 1922. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 47 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №131. – С.394.

58. *Гумилев Н.С.* Неизданные стихи и письма / [Примеч. и коммент. Г.П.Струве]. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 227 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №131. – С.394.

59. *Леонтович В.В.* История либерализма в России: 1762–1914 / Пер. с нем. И.Иловойской; предисл. А.Солженицына. – Paris: YMCA-Press, 1980. V, 550 с. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А.И.Солженицына. – Вып.1).

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №132. – С.322.

60. *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 3 т. – Т.4: [Дополнительный том] / Под ред. Г.Струве, Н.Струве и Б.Филиппова = Supplement volume / Ed. by Gleb Struve, Nikita Struve and Boris Filippoff. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 200 с., [12 л.] ил.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1981. – №133. – С.306; №134. – С.300.

*61. Москва златоглавая: Памятники религиозного зодчества Москвы в прошлом и настоящем: [Альбом] = Les églises de Moscou. – М., 1979; Paris: YMCA-Press, 1980. – [4], XVI, [7], 162, [1] с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №132. – С.323.

62. Мочульский К. Духовный путь Гоголя. – Репринт изд.: Paris: YMCA-Press, 1949. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 146 с.

63. Мочульский К. Ф. Достоевский: Жизнь и творчество. – Репринт изд.: Paris: YMCA-Press, 1947. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 565 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №131. – С.395.

64. Память: Исторический сборник. – Вып.3 / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – М., 1978; Париж: YMCA-Press, 1980. – 582 с.

65. Роскина Н. Четыре главы: Из литературных воспоминаний. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 150 с.

66. Тростников В. Мысли перед рассветом. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 360 с.

67. Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т.2: 1952–1962. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 670 с., [18] ил.

68. Штейнберг А.З. Система свободы Ф.М.Достоевского. – Репринт изд.: Берлин: Скифы, 1923. – Paris: YMCA-Press, 1980. – 146 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №131. – С.395.

69. Александр (Шмеман), прот. Великий пост. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 156 с.

70. Войнович В.Н. Претендент на престол: Новые приключения солдата Ивана Чонкина / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – [2-е изд.] – Paris: YMCA-Press, 1981. – 360 с.

71. Ерофеев В. Москва – Петушки. – 2-е изд. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 160 с.

72. Зернов Н. Закатные годы: Эпилог хроники семьи Зерновых. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 180 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1980. – №133. – С.307; №134. – С.301.

*73. Иртель П. Стихи. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 76 с.

74. Мамонтов С. Походы и кони. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 476 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1981. – №133. – С.306; №134. – С.300.

*75. Народное сопротивление коммунизму в России: Независимое рабочее движение в 1918 году: Документы и материалы / Ред.-сост. и коммент. М.С.Бернштам. – Париж: YMCA-Press, 1981. – 329 с. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А.И.Солженицына. – [Вып.]2).

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1981. – №135. – С.302.

76. Память: Исторический сборник. – Вып.4 / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – М., 1979; Париж: YMCA-Press, 1981. – 540 с.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1981. – №135. – С.302.

*77. *Пастернак Ж.* Памяти Педро: [Стихи]. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 76 с.

78. Письма Буниных к Т.Муравьевой-Логиновой: 1936–1961. – Paris: YMCA-Press, 1982. – 144 с., [2] ил.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1982. – №136. – С.313.

*79. *Струве П.Б.* Дух и слово: Статьи о русской и западноевропейской литературе. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 390 с.

80. *Белый А.* Воспоминания о Штейнере = *Biélyi A.* Mémoires sur Steiner / Подгот. текста, предисл. и примеч. Ф.Козлика = Éd. préparée, préfacée et annotée per F.Kozlic. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 388 с. – (Мемуарно-историческая серия).

81. *Буковский В.* Пацифисты против мира = *Boukovsky V.* Les pacifistes contre la Paix. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 103 с.

82. *Волошин М.* Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Под общей ред. Б.А.Филиппова, Г.П.Струве и Н.А.Струве. – Т.1 / Вступит. ст. Б.Филиппова и Э.Райса; Обложка работы Э.Голлербаха. – Paris: YMCA-Press, 1982. – 532 с., ил.

[Анонс и аннот.] // Вестник РХД. – 1982. – №136. – С.313.

83. *Геллер М.* Андрей Платонов в поисках счастья / Обложка работы Д.Некрасовой-Геллер. – Paris: YMCA-Press, 1981. – 406 с.

84. *Зелинский В.* Приходящие в церковь / Вступит. ст. В.Аллой. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 162 с.

85. *Мейер А.А.* Философские сочинения = *Meyer A.A.* Œuvres philosophiques. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 479 с. – (Религиозно-философская серия).

86. Память: Исторический сборник. – Вып.5 / Обложка работы Arcady [А.Мошнягера]. – М., 1981; Париж: La Presse Libre, 1982. – 502 с.

87. *Федотов Г.П.* Полное собрание статей: В 4 т. – Т.3: Тяжба о России (1933–1936). – Paris: YMCA-Press, 1982. – 336 с.

88. *Ходасевич В.* Собр. стихов: В 2 т. / Ред. и примеч. Ю.Колкера; [при участии Д.Северюхина]. – Т.1. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 312 с.

89. *Шварц Е.* Мемуары / Подгот. текста, предисл. и примеч. Л.Лосева. – Paris: La Presse Libre, 1982. – 283, [8] с.

90. *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников: В 2 т. – Paris: La Presse Libre, 1983. – Т.1. – 360 с. – Т.2. – 396 с. – (Религиозно-философская серия).

91. *Консон Л.* Краткие повести. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 150 с.

92. *Кублановский Ю.* С последним солнцем: Сб. стихотворений / Послесл. И.Бродского. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 370 с.

93. Курдюмов А.А. [Лурье Я.С.]. В краю непуганых идиотов: Книга об Ильфе и Петрове. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 296 с.
94. Нарбут В. Избранные стихи / Подгот. текста, вступит. ст. и примеч. Л.Черткова. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 255 с.
95. Одарченко Ю. Стихи и проза / Предисл. К.Померанцева. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 261 с.
96. Одоевцева И. На берегах Сены: [Вторая книга воспоминаний]. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 528 с.
97. Ремизов А. Учитель музыки: Каторжная идиллия = *Remizov A. Professeur de musique: Idylle-calvaire* / Подгот. к печати, вступит. ст. и примеч. А. д’Амелия = A. d’Amelia. – Paris: La Presse Libre, 1983. – 576 с.
98. Ходасевич В. Собр. стихов: В 2 т. / Ред. и примеч. Ю.Колкера; [при участии Д.Северюхина]. – Т.2. – Paris: La Presse Libre. – 1983. – 466 с.
99. Делоне В. Стихи. 1965–1983. – Paris: La Presse Libre, 1984. – 146 с.
100. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.1. – Paris: Atheneum, 1986. – 388 с., ил.
101. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.2. – Paris: Atheneum, 1986. – 410 с., ил.
102. Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме: Главы из воспоминаний; О.Э.Мандельштам в воронежской ссылке (По письмам С.Б.Рудакова). – Paris: Atheneum, 1986. – 316 с.
103. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.3. – Paris: Atheneum, 1987. – 416 с., ил.
104. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.4. – Paris: Atheneum, 1987. – 418 с.
105. Волков О. Погружение во тьму (Из пережитого). – Paris: Atheneum, 1987. – 448 с.
106. Копржива-Лурье Б.Я. История одной жизни. – Paris: Atheneum, 1987. – 268 с., ил.
107. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.5. – Paris: Atheneum, 1988. – 416 с., ил.
108. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.6. – Paris: Atheneum, 1988. – 492 с., ил.
109. Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника: В 2 кн. – Paris: Atheneum, 1988. – 372 + 352 с.
110. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.7. – Paris: Atheneum, 1989. – 496 с., ил.
111. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.8. – Paris: Atheneum, 1989. – 496 с., ил.

112. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.9. – Paris: Atheneum, 1990. – 508 с., ил.
113. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.10. – Paris: Atheneum, 1990. – 512 с., ил.
114. *Иванова Л.* Воспоминания: Книга об отце / Подгот. текста и коммент. Дж. Мальмстада. – Paris: Atheneum, 1990. – 432 с., ил.
115. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.1. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1986. – М.: Прогресс; Феникс, 1990. – 384 с.
116. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.2. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1986. – М.: Прогресс; Феникс, 1990. – 416 с., ил.
117. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.11. – Paris: Atheneum, 1991. – 614 с., ил.
118. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.12. – Paris: Atheneum, 1991. – 520 с., ил.
119. Звенья: Исторический альманах. – Вып.1 / Ред.-сост. Н.Г.Охотин, А.Б.Рогинский; Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». – М.: Прогресс; Феникс; Atheneum, 1991. – 622 с., ил.
120. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.3. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1987. – М.: Прогресс; Феникс, 1991. – 416 с., ил.
121. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.4. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1987. – М.: Прогресс; Феникс, 1991. – 416 с.
122. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.5. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1988. – М.: Прогресс; Феникс, 1991. – 416 с., ил.
123. *Иванова Л.* Воспоминания: Книга об отце / Подг. текста и коммент. Дж. Мальмстада. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1990. – М.: Феникс; РИК «Культура», 1992. – 428, [3] с.
124. *Анциферов Н.П.* Из дум о былом / Вступит. ст., сост., примеч. и аннот. указ. А.И.Добкина. – М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992. – 512 с., ил.
125. Звенья: Исторический альманах. – Вып.2 / Ред.-сост. А.И.Добкин, А.Б.Рогинский; Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». – М.; СПб.: Феникс; Atheneum, 1992. – 624 с., ил.
126. Лица: Биографический альманах. – Т.1 / Ред.-сост. А.В.Лавров; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс; Atheneum, 1992. – 464 с., ил.
127. *Понпер К.* Открытое общество и его враги: В 2 т. / Пер. с англ. под общей ред. В.Н.Садовского. – М.: Международный фонд

«Культурная инициатива», 1992. – Т.1: Чары Платона. – 448 с.; Т.2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. – 526 с.

128. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.6. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1988. – М.: Открытое общество; Феникс, 1992. – 494 с.

129. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.7. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1989. – М.: Открытое общество; Феникс, 1992. – 498 с.

130. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.8. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1989. – М.: Открытое общество; Феникс, 1992. – 504 с., ил.

131. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.9. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1990. – М.: Открытое общество; Феникс, 1992. – 510 с., ил.

132. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.10. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1990. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. – 510 с.

133. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.11. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1991. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. – 602 с.

134. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.13. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1993. – 560 с., ил.

135. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.14. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1993. – 528 с., ил.

136. Лица: Биографический альманах. – Т.2 / Ред.-сост. А.А.Ильин-Томич; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1993. – 480 с., ил.

137. Лица: Биографический альманах. – Т.3 / Ред.-сост. А.В.Лавров; Биографический институт «Studia Biographica». М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1993. – 496 с., ил.

138. Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – Вып.1 / Сост. А.И.Добкин, А.В.Кобак; Санкт-Петербургский Фонд культуры. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1993. – 480 с., ил.

139. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.12. – Репринт изд.: Paris: Atheneum, 1991. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1993. – 520 с., ил.

140. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.15. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 656 с., ил.

141. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.16. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 592 с., ил.

142. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.17. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1995 [на титуле 1994]. – 606 с., ил.

143. Лица: Биографический альманах. – Т.4 / Ред.-сост. Н.И.Осьмакова; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1994. – 480 с.

144. Лица: Биографический альманах. – Т.5 / Ред.-сост. А.В.Лавров; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1994. – 512 с., ил.

145. *Андреев Л.* SOS: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. и со вступит. ст. Р.Дэвиса и Б.Хеллмана. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 610 с., ил.

146. *Вольтская Т.* Стрела: Стихотворения. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 96 с. – (Серия «Мастерская»).

147. *Бобрецов В.* Сизифов грех: Стихотворения. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 112 с. – (Серия «Мастерская»).

148. Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского. 1898–1930: «Дядя Ваня» А.П.Чехова. 1899 / Подготовка текста и послесловие И.Н.Соловьевой. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 148 с., ил.

149. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.18. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1995. – 640 с., ил.

150. Лица: Биографический альманах. – Т.6 / Ред.-сост. А.И.Рейтблат; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1995. – 494 с.

151. Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – Вып.2 / Сост. А.И.Добкин, А.В.Кобак; Санкт-Петербургский Фонд культуры. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1995. – 480 с., ил.

152. In memoriam: Исторический сборник памяти Ф.Ф.Перченка / Сост. А.И.Добкин, М.Ю.Сорокина. – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1995. – 474 с.

153. *Гандельсман В.* Вечерней почтой: Стихотворения. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1995. – 96 с. – (Серия «Мастерская»)

154. *Кекова С.* Песочные часы: Стихотворения. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1995. – 96 с. – (Серия «Мастерская»).

155–166. Постскрипtum: Литературный журнал / Соредатор. – СПб.; М.: Феникс. – 1995. – №1. – 1999. – №1(12).

167. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.19. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1996. – 528 с., ил.

168. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.20. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1996. – 664 с., ил.

169. Лица: Биографический альманах. – Т.7 / Ред.-сост. А.В.Лавров; Биографический институт «Studia Biographica». – М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1996. – 512 с., ил.

170. Ярославский архив: Историко-краеведческий сб. / Сост. Е.В.Гущина, Ю.Г.Салова; Ярославский государственный университет. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1996. – 464 с., ил.

171. *Пайнс Р.* Три «почему» русской революции. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1996. – 96 с.

172. *Пурин А.* Созвездие рыб: Стихотворения. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1996. – 96 с. – (Серия «Мастерская»).

173. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.21. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1997. – 632 с., ил.

174. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.22. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1997. – 656 с., ил.

175. Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – Вып.3 / Сост. А.И.Добкин, А.В.Кобак; Балтийский гуманитарный фонд. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1997. – 528 с., ил.

176. *Знаменская И.* Глаз вопиющего: Стихотворения. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1997. – 96 с. – (Серия «Мастерская»).

177. In memoriam: Сборник памяти Я.С.Лурье / Сост. Н.М.Ботвинник, Е.И.Ванеева. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1997. – 430 с., ил.

178. Санкт-Петербург: Окно в Россию. 1900–1935: Материалы международной научной конференции. – Париж, 6–8 марта 1997 / Ред.-сост. Е.Берар. – СПб.: Феникс, 1997. – 246 с.

179. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.23. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1998. – 656 с., ил.

180. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.24. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1998. – 688 с.

181. Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступит. статья и примеч. А.В.Лаврова и Дж. Мальмстада; Подгот. текста Т.В.Павловой, А.В.Лаврова, Дж. Мальмстада. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1998. – 736 с., ил.

182. *Вольтская Т.* Тень: Стихотворения. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1998. – 112 с. – (Серия «Мастерская»).

183. *Черешня В.* Пустырь: Стихотворения. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1998. – 104 с. – (Серия «Мастерская»).

184. Минувшее: Исторический альманах. – Вып.25. – СПб.: Atheneum–Феникс, 1999. – 520 с.

185. *Хвостенко А.* Колесо времени: Стихи и песни. – СПб.: Феникс, 1999. – 80 с. – (Серия «Мастерская»).

186. *Eisenstein S.M.* Dessins secrets / Avec des textes de J.-C.Marcadé et G.Ackerman; Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre. – Paris: Seuil, 1999. – 192 p.

187. In memoriam: Исторический сборник памяти А.И.Добкина. – СПб.; Париж: Феникс–Atheneum, 2000. – 696 с.

188. Диаспора: Новые материалы. – Т.1. – Париж; СПб.: Athenaeum; Феникс, 2001. – 750 с., ил.

2. Автор (соавтор), публикатор, комментатор или переводчик⁷

1. Под стук колес: Эмигрантские раздумья // Русская мысль.⁸ – 1976. – №3097, 1 апреля. – С.8-9.

2. Прорыв в бесконечность: Читая стихи Иосифа Бродского // Время и мы. – 1976. – №8, июнь. – С.147-158, фот. – Подп.: В.А.

3. Путем добра: [Рец. на: Горбаневская Н. Три тетради стихотворений. – Бремен: K-Press, 1975] // Континент. – 1977. – №11. – С.386-392. – Подп.: В.А.

4. Художник Ю.Селиверстов = Le Peintre G.Seliverstov // Вестник РХД. – 1977. – №120. – С.265-276. – Подп.: В.А. = V.A. (France).

5. Память: [Рец. на: Память. – Вып.1. – Нью-Йорк: Хроника, 1978] // Континент. – 1978. – №15. – С.353-357.

6. Вместо предисловия // Гессен И.В. Годы изгнания: Жизненный отчет. – Paris: YMCA-Press, 1979. – С.1-3. – Подп.: В.А.

7. Рассказывает Мстислав Ростропович: Интервью / Беседовал В.Аллоя // РМ. – 1981. – №3367, 2 июля.

8. Все зависит от нашей работы: Интервью с Александром Глезером / Беседовал Вл. Аллой // РМ. – 1981. – №3389, 3 декабря. – С.12.

9. *Пайнс Р.* Ответ на рецензию А.Шанецкого, посвященную книге «Россия при старом режиме» / Пер. с англ. В.Аллоя // Память: Исторический сборник. – Вып.5. – М., 1981; Париж: La Presse Libre, 1982. – С.461-476.

10. От издателя // Зелинский В. Приходящие в церковь. – Paris: La Presse Libre, 1982. – С.3-4.

11. *Раннит А.* От реализма к реальности абстракции: Взгляд на движение русского модернизма / Пер. с англ. В.Аллоя // РМ. – 1982. – №3422, 22 июля.

12. Диаспора и метрополия: Единство культуры [Культурологический форум. Милан, 21–22 мая 1983] // РМ. – 1983. – №3468, 9 мая. – С.9, фот.

13. Диаспора и метрополия: Единство культуры: [Выступление на расширенной редколлегии журнала «Континент»: «Континент

⁷ В настоящем разделе в тех случаях, когда статья была подписана «В.Аллоя», подпись опускается; псевдонимы и криптонимы приводятся в конце записи. Позиции, где у нас нет полной уверенности в авторстве Аллоя, отмечены знаком (*).

⁸ Далее – РМ.

культуры». Милан, 21–22 мая 1983] // Третья волна (Париж – Нью-Йорк). – 1983. – №15, август. – С.28-30.

14. Забастовка в пустыне // Новое русское слово.⁹ – 1984. – №26385, 10 февраля. – (Рубрика «Письма из Парижа»)¹⁰.

15. Шутки високосного года // НРС. – 1984. – №26417, 14 марта.

16. Феномен Монтана // НРС. – 1984. – №26419, 16 марта.

17. Дела учебные // НРС. – 1984. – №26422, 19 марта.

18. Направо пойдешь – коня потеряешь // НРС. – 1984. – №26425, 22 марта.

19. Сражение в гасконском заливе // НРС. – 1984. – №26427, 24 марта.

20. Чехов и Аксенов в тракторке Витеза // НРС. – 1984. – №26429, 26 марта.

21. Социалисты вновь отступили // НРС. – 1984. – №26431, 28 марта.

22. Как победить войну // НРС. – 1984. – №26438, 4 апреля.

23. Времена Мегре прошли // НРС. – 1984. – №26442, 8 апреля.

24. Шоковая терапия // НРС. – 1984. – №26447, 14 апреля.

25. Стиль Лотарингии и бури в Париже // НРС. – 1984. – №26450, 18 апреля.

26. В антракте // НРС. – 1984. – №26458, 27 апреля.

27. Замкнутый круг // НРС. – 1984. – №26465, 5 мая.

28. Семейная хроника // НРС. – 1984. – №26470, 8 мая.

29. Перед выбором // НРС. – 1984. – №26471, 12 мая.

30. За фасадом слов // НРС. – 1984. – №26473, 15 мая.

31. Взаимное непонимание // НРС. – 1984. – №26480, 23 мая.

32. Юбилейные метаморфозы // НРС. – 1984. – №26482, 25 мая.

33. Последний шанс // НРС. – 1984. – №26486, 30 мая.

34. Франция в защиту Сахарова // НРС. – 1984. – №26490, 3 июня.

35. Просроченные векселя // НРС. – 1984. – №26493, 7 июня.

36. Межпарламентская инициатива // НРС. – 1984. – №26498, 13 июня.

37. Фильм об Андрее Сахарове // НРС. – 1984. – №26506, 22 июня.

38. Сорок лет спустя... // НРС. – 1984. – №26508, 24 июня.

39. На заснеженных дорогах Франции // НРС. – 1984. – №26434, 31 марта.

⁹ Далее – НРС.

¹⁰ Так как в «Новом русском слове» В.Е.Аллои постоянно публиковался под рубрикой «Письма из Парижа», далее везде название рубрики опускается.

40. Развод по-французски // НРС. – 1984. – №26541, 2 августа.
41. Искусство пиротехники // НРС. – 1984. – №2544, 5 августа.
42. В одиночестве // НРС. – 1984. – №26547, 9 августа.
43. Давид и Голиаф // НРС. – 1984. – №26561, 25 августа.
44. Дипломатический покер // НРС. – 1984. – №26596, 5 октября.
45. Цена кризиса // НРС. – 1984. – №26610, 21 октября.
46. Волк, коза и капуста // НРС. – 1984. – №26619, 1 ноября.
47. Преступление: репортер // НРС. – 1984. – №26623, 6 ноября.
48. Номенклатурные страдания // НРС. – 1984. – №26643, 29 ноября.
49. Ответственность // НРС. – 1984. – №26647, 4 декабря.
50. «Фордевинд» и ядерный ускоритель // НРС. – 1984. – №26654, 12 декабря.
51. Потерянное равновесие // НРС. – 1984. – №26657, 15 декабря.
52. Сила инерции // НРС. – 1984. – №26670, 30 декабря.
53. Все на продажу... // НРС. – 1985. – №26686, 19 января.
54. Под снегом // НРС. – 1985. – №26690, 24 января.
55. Скверный детектив // НРС. – 1985. – №26698, 2 февраля.
56. Дивизии Папы Римского // НРС. – 1985. – №26713, 20 февраля.
57. Скандальный процесс // НРС. – 1985. – №26723, 3 марта.
58. Дела семейные // НРС. – 1985. – №26729, 10 марта.
59. Четверо на дистанции // НРС. – 1985. – №26757 (юбилейный), [1-я секция], 12 апреля. – С.9, фот.
60. Добытчики // НРС. – 1985. – №26764, 20 апреля.
61. Пороховая бочка // НРС. – 1985. – №26791, 22 мая.
62. Предел терпению // НРС. – 1985. – №26794, 25 мая.
63. На полпути в Милан // НРС. – 1985. – №26797, 29 мая.
64. Двусмысленность: [Очередная неловкость, допущенная правительством Миттерана] // НРС. – 1985. – №26807, 9 июня.
65. История об истории: [Скандал с фильмом о Сопротивлении] // НРС. – 1985. – №26820, 25 июня.
66. Рай за холмом: [Невеселые итоги правления социалистов] // НРС. – 1985. – №26824, 29 июня.
67. В Каноссу: [Отчего лихорадит французских коммунистов] // НРС. – 1985. – №26869, 21 августа.
68. Детектив с продолжением: [Взрыв, нарушивший летнюю идиллию] // НРС. – 1985. – №26872, 24 августа.
69. Круговая оборона // НРС. – 1985. – №26887, 11 сентября.
70. Не только о демографии // НРС. – 1985. – №26891, 15 сентября.
71. Издержки классового сознания // НРС. – 1985. – №26897, 22 сентября.
72. Тихоокеанский узел // НРС. – 1985. – №26900, 26 сентября.

73. В поисках виноватых // НРС. – 1985. – №26905, 2 октября.
74. Лес за деревьями // НРС. – 1985. – №26949, 22 ноября.
75. Эпилог // НРС. – 1985. – №26951, 24 ноября.
76. Хроника семейной жизни // НРС. – 1985. – №26966, 12 декабря.
77. Французские парадоксы // НРС. – 1986. – №27073, 17 апреля.
78. [Б/н.] Предисловие // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.1. – Париж, 1986. – С.5-6.
79. Булгаковский коллоквиум в Париже // РМ. – 1987. – №3715, 11 марта. – Подп.: В.А.
80. Из писем Зинаиды Гиппиус / Публ. В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.4. – Париж, 1987. – С.327-337.
- *81. Звучит Мандельштам // РМ. – 1987. – №3687, 21 августа. – Подп.: В.А.
82. [Б/н.] От издателя // Копржива-Лурье Б.Я. История одной жизни. – Paris: Atheneum, 1987. – С.5.
83. Неизвестное письмо Андрея Белого / Публ. и коммент. В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.5. – Париж, 1988. – С.205-221.
84. Гершензон М.О. Письма к Льву Шестову: 1920–1925 / Публ. А. д'Амелиа и В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.6. – Париж, 1988. – С.237-312.
85. [Б/н.] От издателя // Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника: В 2 кн. – Кн.1. – Paris: Atheneum, 1988. – С.5.
- *86. Приручение «неформальных социалистов» // Страна и мир (Мюнхен). – 1988. – №2. – Подп.: В.А.
87. Из архива В.В.Набокова / Публ. В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.8. – Париж, 1990. – С.274-281.
88. Письма Николая Бердяева / Публ. В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.9. – Париж, 1990. – С.294-325.
- *89. [Б/н.] От редакции // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.11. – Париж, 1990. – С.5-6.
90. К истории создания «Вех» / Публ. В.Проскуриной и В.Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.11. – Париж, 1990. – С.249-291.
91. «В четвертом измерении пространства...»: Письма Н.А.Бердяева к кн. И.П.Романовой. 1931–1947 / Публ. В.Аллоя и А.Добкина // Минувшее: Исторический альманах. – Вып.16. – М.; СПб., 1994. – С.209-264.
92. P.S. // Постскрипtum: Литературный журнал (СПб.; М.). – 1995. – №1. – С.8-9. – Подп.: В.А.

93. *Пайнс Р.* Три «почему» русской революции / Пер. с англ. В.Топорова; [при участии и под ред. В.Аллоя] // *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.20. – М.; СПб., 1996. – С.73-128.

94. *Записки аутсайдера* // *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.21. – М.; СПб., 1997. – С.104-152; Вып.22. – СПб., 1997. – С.112-161; Вып.23. – СПб., 1998. – С.159-203.

95. [Б/н.] *Памяти друга* // *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.24. – СПб., 1998. – С.645-648.

96. P.S. // *Постскриптум: Литературный журнал* (СПб.; М.). – 1999. – №1(12). – С.304-305.

97. [Б/н.] *От издателя* // *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.25. – СПб., 1999. – С.5-6.

98. *От составителей* // *In memoriam: Исторический сборник памяти А.И.Добкина.* – СПб.; Париж: Феникс–Atheneum, 2000. – С.7-10.

99. *Дым отчества* // *In memoriam: Исторический сборник памяти А.И.Добкина.* – СПб.– Париж: Феникс–Atheneum, 2000. – С.49-87.

3. ИНТЕРВЬЮ С В.Е.АЛЛОЕМ, ОТЗЫВЫ, ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ НА ИЗДАНИЯ В.Е.АЛЛОЯ, БИБЛИОГРАФИИ ЕГО РАБОТ, НЕКРОЛОГИ И СТАТЬИ О НЕМ

1. ИМКА-пресс, 80-е годы: Интервью с директором издательства Владимиром Аллоем // *РМ.* – 1980. – №3325, 11 сентября. – [С фот.]; №3326, 18 сентября.

2. *Minuvšee. Istoricheski al'manach = 'Det forgagne. Historisk almanakh / Anmeldt av J.P.Nielsen* // *Forum Yst (Oslo).* – 1986. – №13. – P.42-48.

3. *Тхоржевский С.* *Голос «Минувшего»* [Рец. на: *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.1-7] // *Звезда.* – 1989. – №8. – С.196-201.

4. *Левинсон А.* *Память и памятник* // *Декоративное искусство.* – 1989. – №11. – С.15-16.

5. *Коваленко Ю.* «Минувшее» и век нынешний: Восстановить тысячелетнее древо истории // *Неделя.* – 1990. – №7 (февраль). – С.22-23.

6. *Русская книга за рубежом* [Рец. на: *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.11] / Сост. К.Ю.Постоутенко // *Новый мир.* – 1992. – №2. – С.255.

7. *Князьков С.Е.* [Рец. на: *Звенья: Исторический альманах.* – Т.1] // *Отечественные архивы.* – 1992. – №6. – С.119-120.

8. *Русская книга за рубежом* [Рец. на: *Минувшее: Исторический альманах.* – Вып.12] / Сост. К.Ю.Постоутенко // *Новый мир.* – 1992. – №12. – С.283.

9. *Маслов М.* [Рец. на: Минувшее: Исторический альманах. – Вып.14] // Сегодня. – 1993. – №94, 14 декабря.

10. *Стратановский С.* [Рец. на альманахи «Минувшее», «Звезда», «Лица»] // Звезда. – 1994. – №4. – С.204-206.

11. [Письма в редакцию: Письмо В.С.Барахова и В.А.Келдыша по поводу публикации писем Л.Н.Лунца к М.Горькому в альманахе «Лица» (Т.5. – М.; СПб., 1994) и письмо С.В.Шумихина по поводу статьи о Р.Ивнине во 2-м томе биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917»)] // De visu. – 1994. – №5. – С.166-167.

12. *Бахтурина Г.* и др. К истории создания «Вех». Минувшее. [Вып.]11. – 1992. – С.249-29; [Реф. по публ. В.Проскуриной и В.Аллоя. – №22960] // Зарубежная периодическая печать на русском языке: Ежеквартальный реферативный журнал (Berkeley; М.). – 1994. – Т.11, №3/4. – С.117.

13. *Путилова Е.О.* Ф.Сологуб и Л.Чарская [Три письма Л.Чарской 1926–1927 г. В дополнение к материалам о Ф.Сологубе, опубли.: Лица: Биографический альманах. – Т.1. – М.; СПб., 1992. – С.193-197] // Русская литература. – 1995. – №4. – С.159-168.

14. *Жуковская М. и др.* «В четвертом измерении пространства...» Минувшее. – [Вып.]16. – 1994. – С.209-264 [Реф. по публ. В.Аллоя и А.Добкина по материалам, предоставленным Г.Вальстром. – №25816] // Зарубежная периодическая печать на русском языке: Ежеквартальный реферативный журнал (Berkeley; М.). – 1995. – Т.13, №3/4. – С.118.

15. Владимир Аллой: «Не буду делать то, что мне противно...»: [Интервью] / Беседовала Т.Вольтская // Невское время. – 1996. – №75(1232), 20 апреля. – С.9, фот.

16. *Николаенко В.В.* [Рец. на: Минувшее: Исторический альманах. – Вып.15–16] // Новое литературное обозрение. – 1996. – №17. – С.380-382.

17. *Вольтская Т.* Коротко о книгах [Рец. на: Минувшее: Исторический альманах. – Вып.18-19; Невский архив: Историко-краеведческий сборник. – Т.1-2. Лица: Биографический альманах. – Т.5-6] // Новый мир. – 1996. – №12.

18. К.Д.Бальмонт на страницах альманаха «Минувшее»: Аннот. библиография [1987–1994] / Сост. и вступит. заметка Е.И.Кудряшовой // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. – Вып.2. – Иваново, 1996. – С.65-70.

19. Время «Минувшего»: Корреспондент «ЛГ» беседует с петербургским издателем Владимиром Аллоем / Беседовал И.Фоняков // Литературная газета. – 1997. – №28, 9 июля. – С.12.

20. *Forsyth J.* [Рец. на: Андреев Л. SOS: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. и со вступит. ст. Р.Дэвиса и Б.Хеллмана. – М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. – 610 с., ил.] // *Revolutionary Russia*. – 1997. – №10(1). – P.111-113.

21. *Блажнова Т.* Столько всего миновало... : [Рец. на: Минувшее: Исторический альманах. – Вып.21] // *Книжное обозрение*. – 1997. – №28, 15 июля. – С.12.

22. Марина Цветаева на страницах альманаха «Минувшее»: Аннот. библиография [1987–1994] / Сост. и вступит. заметка Е.И.Кудряшовой // «Серебряный век». Потаенная литература. – Иваново, 1997. – С.232-224.

23. *Шерих Д.* Все лица истории: Альманах «Лица», книга седьмая // sherikh.chat.ru/rez14.htm.

24. *Топоров В.* Не надейтесь, третейского суда не будет: «Записки» вечного аутсайдера Владимира Аллоя // *Независимая газета*. – 1998. – №94(1665), 28 мая. – С.16.

25. *Гуськов В.А.* Повышение информационной емкости археографической публикации: На примере альманаха «Минувшее» // *Вестник архивиста*. – 1998. – №5(47). – С.97-101.

26. *Б.Ф[резинский].* Акция: «Минувшее» – библиотекам // *Невское время*. – 1999. – №61(1942), 6 апреля. С.2; <http://www.nvrem.dux.ru/arts/nevrem-1942-art-17.html>.

27. *Богомолов Н.А.* Addenda: [Исправления и уточнения к 24-му выпуску альманаха «Минувшее»] // *Новое литературное обозрение*. – 1999. – №36. – С.429-431.

28. *Кудряшова Е.И.* Константин Бальмонт и Марина Цветаева на страницах исторического альманаха «Минувшее»: Аннот. библиографический обзор // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. – Вып.4. – Иваново, 1999. – С.403-413.

29. *Поляков А.Н.* Биография: теория или история? [Проблемы теории жанра в статье А.Л.Валевского «Биографика как дисциплина гуманитарного цикла», опубликованной в альманахе «Лица» (Т.6)] // *Вестник Российского университета дружбы народов*. – 2000. – №1. – С.5-9. – (Серия «Литературоведение. Журналистика»).

30. *Sorokina M.* Minuvshee: Istoricheskii al'manakh, 25: Soderzhanie tomov 1–24. – St.Petersburg: Atheneum–Feniks, 1999. – 520 pp. – ISBN: 5-901027-20-5 / Transl. by V.W.Polansky // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* (Bloomington, Indiana). – 2000. – Vol.1, №4. – P.805-814.

31. *Лурье Л.* [Рец на: In memoriam: Сборник памяти А.И.Добкина] // *Новая русская книга*. – 2000. – №4/5. – С.94-95.

32. Толстой И. Памяти Владимира Аллоя: [Передача радиостанции «Свобода» от 9 января 2001] // http://www.svoboda.org/archive/ll_russia/0101/ll.010901-2.asp; То же // Коммерсант. – 2001. – №1, 10 января. – С.6; То же // Русская мысль. – 2001. – №4348, 11–17 января. – С.16.

33. Богомолов Н.А., Коростелев О.А., Лавров А.В. и др. Памяти Владимира Аллоя // Коллекция НГ. – 2001. – №1(50), 10 января. – С.16; http://www.ng.ru/style/2001-01-10/16_alloy.html.

34. Лавров А. Памяти Владимира Аллоя // Санкт-петербургские ведомости. – 2001. – №5(2395), 11 января. – С.2; <http://www.pressa.spb.ru/newspapers/spbved/2001/arts/spbved-2394-art-33.html>.

35. [Сообщение о смерти] // Ежедневная е-газета "Утро". – 2001. – 11 января. – http://www.utro.ru/news/life/2001/01/11/_publish2omen.shtml?2001/01/11.

36. Самойлов А. Что за странная все-таки судьба...: Памяти Владимира Аллоя // Вечерний Петербург. – 2001. – №5(21930), 11 января. – С.4, фот.

37. Он был человеком ушедшего столетия: [Сообщение СПб. ТАСС] // Невское время. – 2001. – №5(2366), 12 января. – С.2; <http://www.nvrem.dux.ru/2001/arts/nevrem-2466-art-18.html>.

38. Топоров В. Прощание // Общая газета. – 2001. – №3(389), 18–24 января. – С.2, фот.

39. Памяти Владимира Аллоя // Книжное обозрение. – 2001. – №2, 15 января. – С.2, фот.

40. Короленко Псой. Памяти Владимира Аллоя // Вести.ру. – 2001. – 16 января. – <http://www.vesti.ru/2001/01/16/979645013.html>.

41. Крыщук Н. Степной волк // Час пик (СПб.). – 2001. – №3(157), 17–23 января. – С.15, фот.; http://www.litcatalog.al.ru/personalii/alloy/alloy_necro1.html.

42. Мирошкин А. Победа и поражение эмигрантского мифа // Книжное обозрение. – 2001. – №6(1808), 12 февраля. – С.9; То же: [Б/назв.] // Литература: Приложение к газете «1 сентября». – 2001. – №33, 7 мая. – (Рубрика «На книжной лестнице»).

43. Топоров В. Уж если покой, то вечный: К сороковинам со дня гибели Владимира Аллоя // Литературная газета. – 2001. – №8(5823), 21–27 февраля. С.11, фот.; http://www.litcatalog.al.ru/periodics/diaspora/diaspora_rec1.html.

44. Вечер памяти 15.02 в доме-музее Андрея Белого // Литературная жизнь Москвы. – 2000/2001. – Вып.7(48). – С.5-6; <http://www.vavilon.ru/lit/feb01.html>.

45. Вольтская Т. Лекарство от склероза (Исторический альманах «Диаспора» №1) // Русская мысль. – 2001. – №4358, 22–28 марта.

46. *Самойлов А.* Владимир Аллой. Память, отнявшая жизнь // Дело (СПб.). – 2001. – №11(174), 2 апреля. – С.14-15, фот.; №12(175), 9 апреля. – С.13.

47. *Пархомовский М.* Последняя книга Владимира Аллоя – в Израиле // Нон-стоп: Приложение к газете «Вести» (Тель-Авив). – 2001. – 6–12 апреля.

48. *Леонидов В.* Тщательная и разная память об изгнании: Первый том «Дiasпоры» – последняя работа Владимира Аллоя // Ex libris НГ. – 2001. – №13(185), 12 апреля. – С.4; http://exlibris.ng.ru/printed/philology/2001-04-12/4_memory.html.

49. *М.К.* Книжные покупки-2 [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // Логос. – 2001. – №2(28); http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_2/14_2_2001.htm.

50. *Лавров А.* Памяти Владимира Аллоя // Новая русская книга. – 2000. – №6(7). – С.87-88; <http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/39.html>.

51. *Крючков П.* Последний постскрипtum [Рец. на: In memoriam: Сборник памяти А.И.Добкина] // Новый мир. – 2001. – №1. – С.216-220; http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/1/kruch.html.

52. Биографическая справка. Краткая библиография / Сост. Д.И.Зубарев // Новое литературное обозрение. – 2001. – №48. – С.74-78, фот.

53. *Сегал Д.* Верность // Новое литературное обозрение. – 2001. – №48. – С.78-79.

54. *Прицкер Е.* Их быт, их нравы // Новое литературное обозрение. – 2001. – №48. – С.80-82.

55. *Нечаев В.* Памяти Володи Аллоя // Новое литературное обозрение. – 2001. – №48. – С.82-83.

56. *Смелянский А.* Дело аутсайдера Владимира Аллоя // Новое литературное обозрение. – 2001. – №48. – С.83-85.

57. *Пархомовский М.* [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1.] // Новый журнал. – 2001. – Кн.223. – С.278-282.

58. *Петрова Т.Г.* [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – М.: ИНИОН, 2001. – №3. – С.136-138. – (Серия 7 «Литературоведение: Реферативный журнал»).

59. *Телицын В.* [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // Новый исторический вестник. – 2001. – №3(5). – С.273-276; http://www.nivestnik.ru/2001_3/26.shtml.

60. *Кузнецова А.* Не последний [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // Знамя. – 2001. – №4. – С.238-239; <http://magazines.russ.ru/znamia/2001/4/kuz.html>.

61. *Савицкий И.* [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // *Rossica: Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике.* – 2000/2001. – №5/6. – С.182-185.
62. *Акмейчук Н.* [А.Мирошкин]. «Наполеон» в изгнании // *Книжное обозрение.* – 2001. – №43(1845), 22 октября. – С.6.
63. Материалы к библиографии Владимира Аллоя: Книги и журналы / Сост. Т.Притыкина // *Диаспора: Новые материалы.* – Т.2. – СПб.: Феникс, 2001. – С.697-705.
64. *Леонидов В.* Уже без Аллоя: Дело блистательного публикатора продолжили его преемники // *Ex libris НГ.* – 2002. – №2(220), 24 января. – С.5; http://exlibris.ng.ru/philology/2002-01-24/5_alloi.html.
65. *Леонидов В.* «Диаспора» как последний проект // *Российские вести.* – 2002. – №8(1623), 6–12 марта. – С.15.
66. *Rogachevskii A.* [Рец. на: Диаспора: Новые материалы. – Т.1] // *Slavonica.* – 2002. – Vol.8, №1. – P.88-90.
67. *Коростелев О.* «Зильберштейн и Макашин в одном флаконе...». Владимир Ефимович Аллой: 1945–2001 // *Русские евреи во Франции: Статьи, публикации, мемуары и эссе / Сост., ред. и изд. М.Пархомовский; науч. ред. и сосост. Д.Гузевич.* – Кн.2. – Иерусалим, 2002. – С.129-140. – (Русское еврейство в зарубежье. Т.4(9)).
68. *Gouzevitch D. = Гузевич Д.* Историко-документальные альманахи: Обзор // *Cahiers du Monde russe (Paris).* – 2002. – Vol.43, №4. – P.661-672.
69. *Черешня В.* Памяти В.Аллоя: [Стихотворение] // *Новый мир.* – 2002. – №12; http://magazines.russ.ru/novyi_mir/2002/12/cher.html.
70. *Тропин В.* Самиздатская периодика Ленинграда 1950–1980 гг. // *Посев.* – 2003. – №7. – С.34.
71. *Северюхин Д.* Памяти Владимира Аллоя // *Иерусалимский библиофил: Альманах.* – Вып.2. – Иерусалим: Филобиблон, 2003; <http://www.il4u.org.il/almanach/2/60.html>.
72. *Дунаевская О.* Плата за любовь // *Московские новости.* – 2004. – №1(1219), 16 января. – С.25.
73. *Дунаевская О.* Человек-аккумулятор // *Наша улица (М.).* – 2004. – №5.

II.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И ВЛАСТЬ

Рашит Янгиров
**ЮРИЙ АННЕНКОВ И ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ.
БИОГРАФИИ И РЕПУТАЦИИ**

Если рассматривать историю русской зарубежной литературы как сумму репутаций, перед исследователем откроется комплекс частных творческих стратегий и внехудожественных мотиваций, которые разворачивались в замкнутом пространстве, разгороженном внутренними идеологическими «флажками». По наблюдению историка, «в силу специфических условий эмигрантского существования зарубежная литературная деятельность всегда начиналась с “примата политики”, с позиций политической обороны и политического самооправдания. <...> политика – предпосылка эмиграций, борьба идей и идеологий составляет фон русской зарубежной деятельности, нередко отклик на публицистику является фактором и в поэзии и в прозе»¹.

Есть немало примеров того, как политика моделировала литературные репутации, будь то сменовеховство Алексея Толстого² или

¹ *Андреев Н.* Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы) // Русская литература в эмиграции: Сб. статей под ред. Н.Полторацкого. Питтсбург, 1972. С.21-22.

² Ср. с экспромтом Н.Агнивцева на отъезд писателя в Москву: «В судьбе сиятельной своей / Он и Толстой и Алексей, / И графством тоже наделен, / Да жаль: не Константинович он! / При чем его папаша тут? / Его ж по матери зовут!». – Columbia University. The Rare Book and Manuscript Library (New York). Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. Shpolyansky Coll. Box 2. Примечательно, что и сам автор этого текста вскоре последовал за своим героем.

полуэмиграция Максима Горького и его окружения³, не говоря уже о таких одиозных персонажах, как Иван Наживин⁴ или Николай Брешко-Брешковский⁵.

³ Это в первую очередь относилось к ближайшему горьковскому сотруднику Зиновию Гржебину. О его конфликтах с эмигрантскими литераторами см., например, в нашей работе: *Янгиров Р.* Из истории русской зарубежной печати и книгоиздательства 1920-х (По новым материалам) // *Дiaspora: Новые материалы* (далее – *Дiaspora*, с указанием тома). Т.6. Париж; СПб., 2004. С.551-573.

⁴ Былой монархизм и национальная ксенофобия писателя к началу 1930-х претерпели радикальную метаморфозу. Протестуя против негативного отношения парижских критиков к своему творчеству, он писал одному из них: «Рядовая эмиграция Вас совсем не читает и Вас совсем не знает – Вы пишете только для небольшого кружочка “избранных”... <...> Эмиграция же, думающая независимо от Вас, “властителей дум”, та давно уже привыкла считать Париж – гигантской отравленной плевательницей, в которой пыжата неизвестно зачем какие-то дикие тени: спившийся и конченный Куприн, выдохшийся до последнего Бунин, ловкий (и в публицистике талантливый) Алданов, мертвый софист Мережковский и два-три десятка светил второго ранга (вроде капитана II ранга Лукина), которые, несмотря на взаимные усилия, никак не могут достичь тиража в 1000 экземпляров (тираж журнала «Современные записки». – *Р.Я.*) на миллионы “читателей” зарубежья. Неужели же Вы никак все не поймете, что Вы ни на черта не нужны?» (письмо Г.Адамовичу от 1 января 1932. – РГАЛИ. Ф.1115. Оп.3. Ед.хр.5). Позже, предлагая местным властям Палестины издать свои исторические романы на библейские и евангельские сюжеты, писатель делал упор на то, что «интересно и важно показать миру красоту и значение для него истории еврейства вообще. <...> Эти книги – гимн старому еврейству, и, думаю, что теперь, во дни Гитлеров и Ко. они сыграли бы очень большую роль, если бы за них взялась сильной организации» (письмо в городскую администрацию Тель-Авива от 24 сентября 1934. – Там же. Ед.хр.51). Спустя еще два года он предложил советскому киноведомству экранизировать свои сочинения: «Так как проповедь любви к Родине идет теперь по всему Союзу, то я полагал бы, что некоторые романы эти было бы важно постановить <так!> на экран. Это тем более важно, что все они направлены одновременно – и жестоко – против церковных суеверий. <...> Мне было бы очень приятно, если хоть бы одна из исторических картин моих была поставлена Вами» (письмо в ГУКФ при СНК СССР от 20 мая 1936. – Там же. Оп.2. Ед.хр.14).

⁵ Ср. с автохарактеристикой: «Эмигрантские годы. Тридцать новых романов: почти сплошь борьба с еврейством и коммунизмом. <...> Эмигрантские же газеты, правда, не все эмигрантские, редакторы, журналисты, и те и другие одинаково бездарные, из безграмотных репортершешек, вся эта шпана травила меня и печатно, и устно. И чем ничтожней был человечешко, тем обозленней лягал он старого национального писателя ослиным копытом своим... Какнибудь “ослиным копытом” этим, явлением в эмиграции преотвратительным и прелюбопытным, имеющим своих меценатов и попустителей, я займусь поподробней» (*Брешко-Брешковский Н.* Письма издалека // *Молва* (Одесса). 1943. 22 августа. С.4).

Были в этом ряду и другие, не менее выразительные примеры. Увлечение политической публицистикой в 1920-е принесло Александру Куприну репутацию монархиста и черносотенца⁶, а его печатная дискуссия с Владиславом Ходасевичем о Пушкине (1924) не только прекратила сотрудничество поэта с газетой «Последние новости»⁷, но и заставила спешно покинуть Париж⁸, а потом – разъярив эмигрантской аудитории свою неосторожную фразу о советских службах⁹. При этом вывоз самого Куприна в СССР в мае 1937,

⁶ См.: Мельгунов С. Есть же предел! // Дни (Берлин). 1923. 27 мая. С.2; Василевский (не-Буква) И. Сплетники // Накануне (Берлин). 1923. 13 июля. С.4; <Б/н.> А.Куприн об интервенции // Парижский вестник. 1926. 20 августа. С.3. Ср.: «И тем еще привязала меня к себе “Русская газета”, что предоставила мне... полную свободу высказывать мои мысли. Лично мне это удовольствие принесло мало пользы. Говоря о монархизме в разрезе идеологии, заступаясь за скорбные исторические тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста, и уличные мальчишки левого журнализма тыкали в меня на моем чистом пути пальцами и кричали: вот идет монархист, вот идет черносотенец, вот идет мракобес... Не я ли – неудачник – и дал “Русской газете” репутацию монархической?..» (Куприн А. Три года // Русское время (Париж). 1926. 13 июня. С.1).

⁷ Ср.: «Ходасевич прислал мне крайне грубую статью о Куприне по поводу отзыва Куприна (тоже крайне грубого) об его, Ходасевича, стихотворении в “Звене”» (письмо Марка Алданова Алексею Изюмову от 13 мая 1924. – ГАРФ. Ф.5962. Оп.1. Ед.хр.7. Л.160б.). Стихотворение Ходасевича «Романс», которое вызвало эту дискуссию, было опубликовано в газете «Последние новости» 27 апреля 1924. См. также: «Милюков сказал ему однажды (когда он короткое время пытался работать в его газете “Последние Новости”), что он газете совершенно не нужен» (Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С.260). Здесь и далее во всех цитатах курсив авторов текстов.

⁸ Ср. с эпистолярными признаниями Ходасевича: «...мой русский Париж велик <...>. Мережковские, Бунин, Куприн – вне меня – и вне себя от меня. С Куприным, кажется, выходит у нас “полемика”, но о ней до другого раза – когда закончится, пришло» (письмо М.Горькому от 13 мая 1924, цит. по: Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т.4. С.472-473); «“Русский” Париж <...> все безнадежнее погрязает в чистейшем черносотенстве. Уже весной я пришелся там не весьма ко двору <...>» (письмо М.Гершензону от 17 декабря 1924; цит. по: Там же. С.480-481).

⁹ Ср.: «Чтобы быть писателем, надо быть человеком знающим, а не “птичкой Божьей”. Надо учиться и работать. Это я говорил начинающим пролетарским писателям – то же самое вынужден повторить и вам» (Ходасевич В. А.И.Куприну // Последние новости. 1924. 22 мая. С.3). Этот пассаж вызвал негодующий ответ: «Так значит он был в числе воспитателей и руководителей той семитысячной банды безграмотных сопляков, со злокачественной чесоткою языка, которая обляла и оплевала все дорогое, чем духовно жила прежняя, великая, интеллигентная Россия: литературу, искусство, красоту, чистую любовь и святую веру; которая воспела доблестные подвиги Чека и бешено выплевывала кровь Распятого из умывальника? Но если даже он и обучал стихотвор-

«непримиримые» эмигранты приняли сдержанно и даже с сочувствием¹⁰. Вольной или невольной жертвой этой истории оказался писатель Владимир Крымов, чьи деловые и личные контакты с Москвой и до того вызывали общие подозрения. Хотя его причастность к купринскому делу осталась недоказанной, репутация литератора вновь серьезно пострадала¹¹.

ству этих ублюдков, то какая-то отдаленная жалостливая симпатия не позволяет мне верить тому, что, исполняя долг службы и покоряясь общему обычаю, В.Ходасевич писал оды по особо торжественным случаям: на пролетарские праздники, на выступления Троцкого, на приезд Дзержинского и на избавление Зиновьева от чирия. Нет. Этого он не делал. Прощайте, товарищ Ходасевич» (*Куприн А. Товарищ Ходасевич // Русская газета (Париж). 1924. 28 мая. С.1*). Через год поэт рассказал о своем советском опыте: *Ходасевич В. Как я культурно просвещал // Последние новости. 1925. 17 июня. С.2-3*. Под тем же названием очерк был перепечатан нью-йоркской газетой (см.: *Новое русское слово. 1925. 28–29 августа*), причем эта публикация была снабжена красноречивым подзаголовком «Исповедь». Впоследствии этот текст был переработан автором в мемуарный очерк «Пролеткульт».

¹⁰ Ср.: «Осуждать его мне нелегко. Могу только пожелать ему счастья. Возможно, что его решение станет соблазном для других эмигрантов, находящихся в ином положении. Это дело совести каждого, но не о каждом можно будет сказать то же, что о нем» (М.Алданов); «Его уход – не политический шаг. Не для того, чтобы подпереть своими плечами правителей СССР. И не для того, чтобы его именем назвали улицу или переулок. Не к ним он ушел, а от нас, потому что ему здесь места не было. Ушел обиженный. Ушел, как благородный зверь – умирать в свою берлогу» (Тэффи); «особенно жаль бывает, когда один из наших, а тем более таких твердых и непримиримых противников советской власти – уходит в тот лагерь. Отъезду Куприна не надо, конечно, придавать никакого политического значения. Это – явление чисто бытовое, бегство от бедности, от голода. И, добавлю, – бесконечно жаль, что Куприн, проживший большую, честную жизнь, заканчивает ее так грустно» (Д.Мережковский); «Очень нехорошо это для нас. Как вопрос ни ставь, политически или не политически, поступок Куприна – измена эмиграции. Конечно, большевики постараются использовать Куприна, как могут. Будут, несомненно, опубликованы всяческие интервью с ним. Может быть, даже появятся в печати его покаянные письма и статьи. Но верить этому или придавать какую-нибудь ценность этому эмиграция не должна. Это будут не слова живого Куприна, а те слова, которые захотят вложить в уста старого и усталого писателя московские власти» (З.Гиппиус) (*А.С<едых>*). Как А.И.Куприн вернулся в Москву // *Последние новости. 1937. 2 июня. С.2*). См. также: *Храбровицкий А. А.И.Куприн в 1937 году // Минувшее: Исторический альманах. Вып.5. Париж, 1988. С.353-358*.

¹¹ Алексей Толстой приехал в Париж в начале 1937 и одним из первых навестил Крымова. См. об этом: *Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. <Нью-Йорк:> Международное литературное сотрудничество, 1966 (далее – ДМВ, с указанием тома и страницы). Т.2. С.147-149*. Из описания этой поездки мемуарист выпустил содержание беседы гостей с хозяином и обошел

Удивительные метаморфозы происходили с литератором Анатолием Каменским: эмигрировав из России в 1920, он вернулся туда в 1925, вновь покинул Москву в 1930¹², чтобы вернуться в 1934¹³ и бесследно сгинуть на Лубянке в 1938. Сообразно этим перемещени-

щекотливые для себя последствия визита. Они вышли на поверхность в начале января 1939, когда Владимир Бурцев публично объявил Крымова соучастником вывоза Куприна в СССР, организованного, как он считал, Толстым. Крымов обратился в суд чести, требуя общественной реабилитации. В ходе разбирательства, прошедшего 21 января 1939, большинство обвинений не нашли документального подтверждения, но были подтверждены предосудительные контакты истца: «Посещение В.П.Крымова гр. А.Толстым в компании писателя Е.Замятина, его супруги и художника Анненкова (посещение это состоялось <...> по инициативе Замятина) и встреча В.П.Крымова с гр. А.Толстым в кафе» (<Бн.> Инцидент Бурцев – Крымов // Меч (Варшава). 1939. 5 февраля. С.5). См. также комментарий ответчика: «Для меня Толстой – предатель, большевистский агент, присланный за границу с определенными большевистскими целями. По возвращении в Россию он использовал свои встречи с эмигрантами для своих большевистских целей. Если Крымов и этот факт оказанного им гостеприимства предателю Толстому в настоящее время считает оскорбительным, то мы и в этом случае не можем не согласиться с ними. Толстой в Париже благодаря ГПУ был связан с другими большевистскими агентами, как Кольцов и Эренбург, и все они выполняли поручения одного и того же ГПУ. <...> Сношения с Толстым, Кольцовым, Эренбургом и другими большевистскими агентами не представляют ничего позорного с точки зрения большевиков и большевизанствующих, но они преступление с точки зрения антибольшевиков. Я всегда и при всех обстоятельствах высказывал такой взгляд на большевиков и на всех, кто так или иначе имел дело с ними и им помогал» (Заявление В.Л.Бурцева // Там же).

¹² Ср. с признанием: «Уезжал я в чаянии попасть в страну, по которой так безумно стосковался, и где, кроме того, для искусства делается все, царствует полная свобода творчества – ведь именно в этом меня торжественно уверяли в берлинском отделе Наркомпроса, и чиновники полпредства, и редакция “Накануне”... Уверяли, что старых писателей не много, что им в СССР “почет и место”... Ехал я, окрыленный радостью, в предчувствии небывалого творчества, охватившего всю страну; но первые же мои впечатления от Москвы показали, что все обещания были обманом: невероятное хамство, взаимная озлобленность, подавленность – это внутренне; а внешне – грязь, беспорядок, нищета – и это несмотря на то, что приехал я в самый расцвет НЭПа! Характерным показалось мне то, что все мои старые знакомые встретили меня как свежего человека, которому можно излить свои обиды, муки, разочарования... И на первых порах встала вся разница между Европой, где существует личность, и между Москвой, где все принижено и согбенно... В итоге я почувствовал себя таким чужим, что в первый же день, вернувшись в номер гостиницы, буквально заплакал: все, все, чем меня прельщали, было ложью, и дальше на протяжении пяти лет я почувствовал всю тяжесть этой лжи» (Ъ<Ю.Офросимов>. Моя «пятiletка» (Беседа с Ан. Каменским) // Руль (Берлин). 1930. 18 мая. С.6).

¹³ См.: Унковский В. А.Каменский уехал в СССР // Новое русское слово. 1934. 16 августа. С.3.

ям трансформировалось и его литературное творчество, менявшее политические цвета с той же периодичностью¹⁴.

Роману Гулю нужно было пройти заключение в германском концлагере, а потом заново позиционировать себя непримиримым оппонентом нацистов и Советов, прежде чем ему простили сменовеховство 1920-х¹⁵.

В этот дискурс естественным образом вписываются Юрий Анненков и Илья Эренбург. Сближение этих, казалось бы, разных фигур мотивировано не одной лишь специфичностью их репутаций. Для этого есть и другие основания: почти ровесники, в межвоенные десятилетия оба жили в Париже, вращались в одном кругу художественной богемы и одно время поддерживали между собой достаточно близкие отношения¹⁶. Биографические совпадения дополняются и сходством творческих индивидуальностей: теперь неразличимое, оно было очевидным для современников¹⁷. Схжим образом

¹⁴ См. отрывки из антисоветского романа «Свет во тьме», опубликованные в парижских изданиях (Борьба. 1930. №13-14; 17-18; Последние новости. 1931. 29 марта). Ср.: «М.А.<Булгаков> ходил на Арбат, в книжный магазин и сниматься для паспорта – говорил, что видел в гастрономическом магазине Анатолия Каменского. Тот сказал, что написал об эмиграции и добавил: в своем роде – продолжение “Турбиных(!)”» (цит. по: Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С.187 (запись от 22 февраля 1938)).

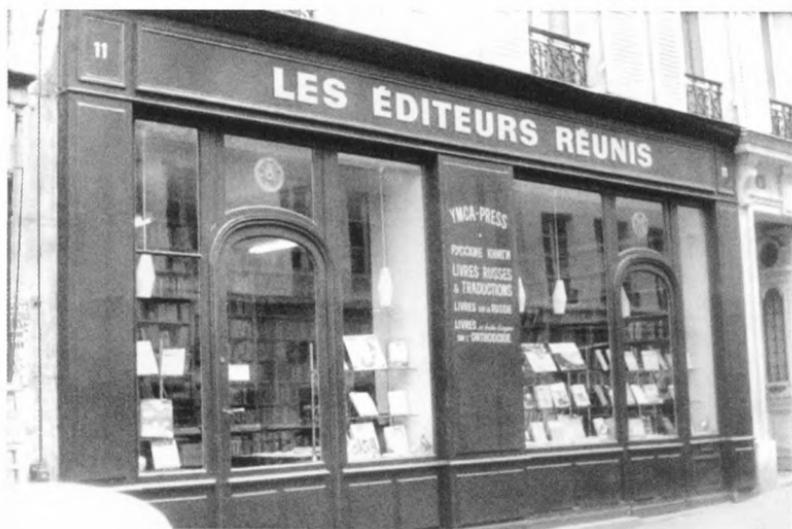
¹⁵ Рецензируя книгу Р.Гуля «Жизнь на фукса», вышедшую в московском Госиздате, анонимный рецензент напомнил эмигрантскому читателю о сменовеховстве ее автора и даже приписал ему возвращение в советскую Россию. См.: Россия (Париж). 1927. 1 октября. С.4.

¹⁶ Ср.: «– До чего жаль покидать Париж! <...> Сколько воспоминаний. Ведь я еще до войны 1914 года... Тогда Париж был совсем другой. Помните, как мы с вами, Юрий Павлович, и с Модильяни, на Монмартре... – И вот Эренбург и Анненков в два голоса начинают восстанавливать тот навсегда исчезнувший, баснословный Париж...» (*Одоевцева И.* На берегах Сены // Одоевцева И. Избранное. М., 1998. С.796 (далее – Одоевцева, с указанием страницы)).

¹⁷ Ср. с советской оценкой: «Любите ли вы картины Б.Григорьева или Ю.Анненкова? Если да, то должны любить и романы Эренбурга. Это явления одного порядка» (*Ипполит Удущев.* Современная литература. Л., 1925; цит. по: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург в 1924–1931 годы. Хроника жизни и творчества (в рукописях, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). СПб., 1993 (далее – Попов, Фрезинский, с указанием тома и страницы). Т.2. С.132. Ср. также с эмигрантскими оценками «Повести о пустяках»: «Раскроешь эту книжку наугад – и быстро возвращаешься к заглавному листу: действительно ли место издания Берлин? Не Москва ли? Не Госиздат ли ее выпустил? <...> На каждом шагу чувствуется технический прием, и ежеминутно спрашиваешь себя: где я это уже читал? <...> Откуда это? Эренбург, Федин, Олеша, Шкловский? <...> но “письмо” его, но фактура его романа сводится исключительно к использованию готовых клише советского изделия»



Владимир Аллой. Середина 1970-х



Русский книжный магазин «Les Éditions Réunies». Париж



С Н.А.Струве.
Вторая половина 1970-х. Париж



С К.Д.Померанцевым. До 1981. Париж



«Вечер трех эмиграций» (?).
В.Аллой – второй слева.
Конец 1970-х. Париж



Первая встреча с друзьями после 12-летней разлуки. Апрель 1987. Ленинград.
Слева направо: А.Рогинский, В.Аллой, А.Добкин.



Владимир Аллой и Алексей Хвостенко. Конец 1980-х. Париж



В.Аллой в издательстве «Atheneum». 1990. Париж.
Фото Е.Прицкера



В.Е.Аллой. Середина 1990-х.



На книжной ярмарке в Манеже. Май 1996. С.-Петербург.
Слева направо – В.Аллой, Т.Вольтская, С.Лурье,
В.Черешня, неустановленное лицо



На вечере журнала «Постскриптум». 1997. Москва, ЦДЛ.
Слева направо: А.Смелянский, В.Аллоу, А.Добкин,
Т.Вольтская



С друзьями. 7 ноября 1997. Санкт-Петербург.
Слева – Александр Добкин, справа – Виктор Семенюк



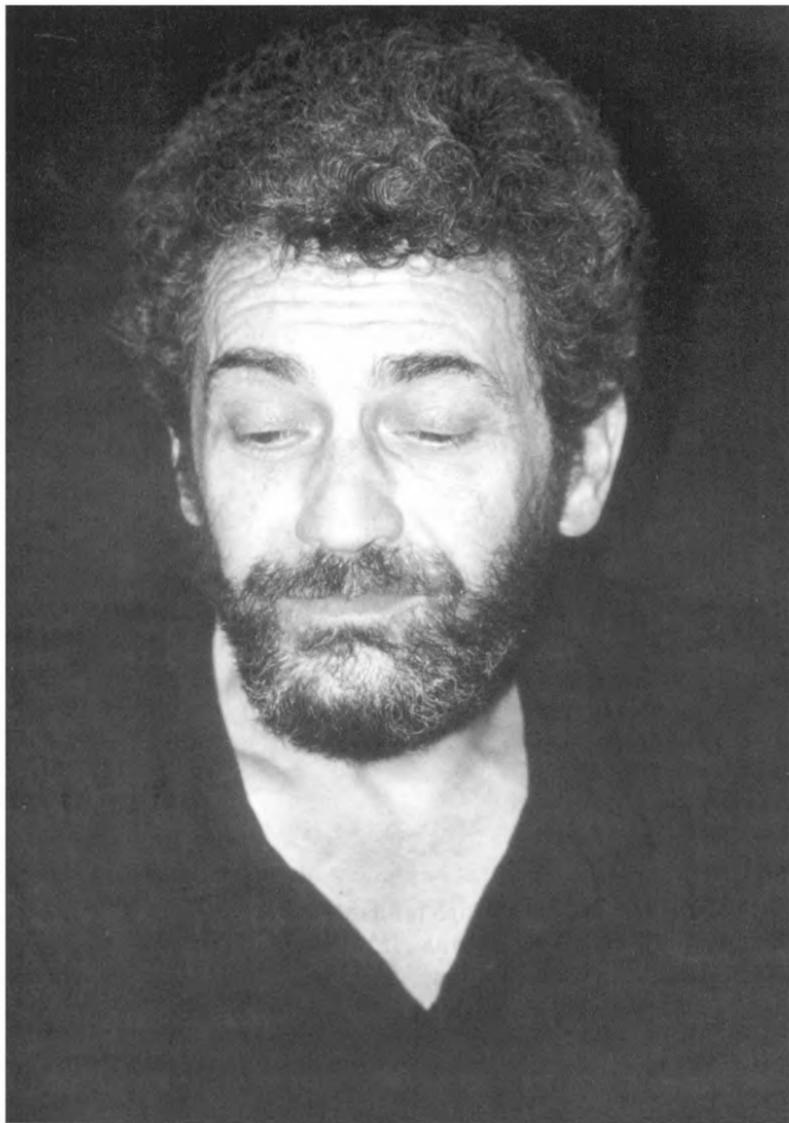
А.И.Добкин с дочерьми Лизой и Машей (слева).
Июнь 1998. Санкт-Петербург



У А.В.Лаврова на даче в Сиверской. Лето 2000 г.



Встреча с Луиджи Лонго (справа). Осень 2000 г. Париж.
На втором плане Людмила Шапрон и Михаил Архипов.
Одна из последних фотографий В.Аллоя



Владимир Аллой. 2000

они выстраивали и свои отношения с метрополией, хотя разные цели и результаты этой игры развели их в конце концов по враждебным лагерям. Впоследствии художник, как и многие пишущие эмигранты, не раз уничижительно упоминал Эренбурга и его мемуары, а тот предпочел вообще не вспоминать об Анненкове.

* * *

Публичная известность Эренбурга со всеми ее особенностями установилась давно. Что касается Анненкова, то он оставил по себе память, отягощенную какими-то невысказанными предубеждениями: долгая жизнь на чужбине и печатная известность, обретенная в поздние годы, так и не сделали его вполне «своим» в эмигрантском сообществе.

Василий Яновский считал его антипатичной и отнюдь не случайной фигурой на эмигрантском ландшафте: «Это был загадочный, очень русский человек, хитрый, грубый, талантливый, на все руки мастер»¹⁸.

Зинаида Шаховская пишет, что «знала рисунки Анненкова, его портреты, читала его оригинальную и даже блестящую прозу, но чем-то он мне не нравился <...>. Юрий Павлович казался мне человеком, в сущности, не понимающим даже разницы между тем, что этично и не этично, и отказывающимся делать выбор. Не циником – а просто даже не понимающим подобных проблем»¹⁹.

Александр Бахрах казалось, что художника снедал какой-то внутренний комплекс: «В течение всей своей жизни он не переставал кидаться из стороны в сторону, от одного берега к другому, но ни в одной из областей, в которых он мог бы составить себе громкое имя, он не способен был задержаться. В жизни, в быту, в искусстве, в политике его всегда влекло усесться одновременно на нескольких стульях, и никогда нельзя было точно определить, с кем он, куда направлены его подлинные симпатии»²⁰.

(М.К.<анто>р. В волчьей шкуре // Встречи (Париж). 1934. №4, апрель. С.182-183); «Напряженностью своего сарказма Темиряев, не в обиду ему будь сказано, равняется приблизительно Илье Эренбургу (от Эренбурга он выгодно отличается вкусом, литературным умением и, наконец, русским языком, которому Илья Эренбург учился до Берлина)» (Ходасевич В. Книги и люди. «Повесть о пустяках» // Возрождение (Париж). 1934. 8 марта. С.3).

¹⁸ Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С.181 (далее – Яновский, с указанием страницы).

¹⁹ Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С.293-294 (далее – Шаховская, с указанием страницы).

²⁰ Бахрах А. По памяти, по записям... II // Новый журнал (Нью-Йорк). 1993. Кн.190/191. С.382 (далее – Бахрах, с указанием страницы). См. также: Бах-

По-видимому, эти характеристики с некоторым допущением можно принять за общее мнение, но оно все же требует проверки. К сожалению, биография Анненкова 1920-х – 1930-х известна весьма плохо, и в немалой степени из-за того, что он постарался скрыть эти годы от досужего внимания и даже нашел этому камуфляжу любопытное обоснование:

К счастью, люди начинают обезличиваться. Черты лица стираются, отдельная жизнь проходит незамеченной, становится фоном, грунтом, прокладкой. От этого зрелище, несомненно, выигрывает, в глазах не так рябит, краски плотнеют, вырабатывая собственную прямую речь, поверхность приобретает ровную ткань, которую можно рассмотреть без микроскопа – по метрам, по верстам, по десятилетиям. <...> Такая неосведомленность наполняет нас радостью. К биографиям мы относимся недоверчиво. Больше того: биографии вызывают в нас чувство безразличия, мы давно сравнивали биографию со сплетней, с праздно рыночной болтовней. <...> по какому праву человек, пишущий картины, симфонии или романы, считает возможным навязывать в качестве приложений к ним свой туберкулез или безудержность поступков, заботливо подкрашенную святость (святость в людях всегда раздражает) или несчастную любовь к блондинке? Отвлеченное наше внимание к произведениям художника, иногда – восторг перед ними, – выше, чище и бескорыстнее, чем любовь к человечеству. Биографические декорации мы оставляем в утешение звездам экрана и тенорам, вообще – представителям низшей расы.²¹

Позднее Анненков скорректировал свое отношение к биографиям, но едва ли распространил это на собственную:

Единственный груз, который начинает нас тяготить, это – груз воспоминаний. Когда воспоминания становятся слишком обременительными, мы сбрасываем их по дороге, где придется и сколько удастся. И мы облегченно вздыхаем. Черепная коробка раскрывается для новых восприятий, видения и звуки яснеют. Однако бывают воспоминания, которые не только внешне отлагаются на поверхности нашей памяти, загромождая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную жизнь. Их мы не отдаем и не отбрасываем, мы только делимся ими.²²

рах А. Юрий Анненков (Монпарнасские встречи) // Новое русское слово. 1980. 17 февраля. С.5.

²¹ Темиряев Б <Ю. Анненков>. Тяжести: Отрывок из романа // Современные записки. 1937. Кн.64. С.87-88.

²² ДМВ-1. С.21. Проницательные читатели усомнились в достоверности рассказов мемуариста, и он с этим согласился: «я творчески претворяю действи-

Под этими словами мог бы, пожалуй, подписаться и Эренбург, но к тому времени он принял советский стандарт мнемотехники:

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. <...> У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножицы не только тогда, когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века – битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.²³

* * *

Парижская жизнь Эренбурга в 1920-е началась с «фальстарта». Он приехал во французскую столицу 8 мая 1921, а уже через 18 дней был выслан оттуда по подозрению в большевистской пропаганде. Биографы полагают, что за этим стоял то ли коллективный «донос братьев-писателей», то ли персональный – Алексея Толстого²⁴. Сам высланный так и остался в неведении на сей счет²⁵, но, скорее всего, его подвели неосторожные публичные высказывания²⁶, при том что

тельность» (см.: Шаховская. С.294). Ср. также: «Анненков был превосходный рассказчик, зачастую любил и пофантазировать, чтобы рассказ был более увлекательным, – замечательно, в общем, сочинял» (*Лобанов-Ростовский Н.* О театральных художниках из России: Записки коллекционера // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып.1. Иерусалим. 1992. С.397).

²³ *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Кн.5. М., 1966 (далее – Эренбург, с указанием книги и страницы). С.420-421.

²⁴ См.: Попов, Фрезинский. Т.1. С.211; *Фрезинский Б.* Письма Ильи Эренбурга Елизавете Полонской. 1922–1966 (Предыстория переписки. Канва отношений) // Вопросы литературы. 2000. №1; см. также: <http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/frezins.htm>.

²⁵ См.: Эренбург. Кн.2. С.619-621. Ср. также с комментарием берлинской газеты «Руль»: «высылка эта является результатом какого-то недоразумения. <...> В Париже он никакого участия в политике не принимал. Лица, знающие Эренбурга, предприняли меры для выяснения мотивов высылки» (цит. по: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин. 1921–1923. Париж, 1983. С.138, 151). О полицейском недоразумении сообщила и парижская газета «Общее дело». См.: Попов, Фрезинский. Т.1. С.212.

²⁶ В полицейском донесении более позднего времени (апрель 1933) указано, что поводом для высылки Эренбурга в 1921 была публикация «статьи больше-

умонастроения Эренбурга в тот период были весьма далеки от советского стандарта. Это было засвидетельствовано многими, в том числе и его неудачливым рижским издателем:

На днях слушал И.Г.Эренбурга. Прочел он интереснейший доклад и новые стихотворения. Россия, Москва, по его мнению, средневековые с азиатским оттенком. Русские – аполитичны. Коммунисты перешли на положение бывших дворян: лучше питаются, пользуются некоторыми привилегиями, но в массе недовольства много и брюзжат. В Москве действительно было недовольство рабочих-печатников, но широких размеров не приняло. Деревня полна самой яркой ненависти к городу и ждет не дождется того момента, когда можно будет разнести города, а это приведет к успокоению. Эта ненависть принимает стихийный характер. Крестьянин – ни красный, ни белый; кредо его – «власти не надо, налогов платить не хотим». Что будет – сказать трудно, но, по-видимому, вслед за большевиками наступит дичайшая анархия с истреблением городского населения. Религиозное чувство не глубоко, оно захватило лишь часть интеллигенции, да и то внешне, а рабочие и горожане стоят в стороне. В деревнях кое-где есть догматизм, но не больше прежнего. В Петрограде подвизаются старцы, ведущие пропаганду против советской власти, но они не преследуются последней: разрушают церковь. А при всем том на фоне коллективизма расцветает пышным цветом индивидуализм, питающийся отсутствием связи, разобщенностью масс.²⁷

Хотя схватку с французской бюрократией Эренбург проиграл, по прошествии времени обе стороны могли гордиться результатами: чиновники – собственной политической пронитательностью, а их подопечный – невольной, но судьбоносной принадлежностью к со-

вистского толка в <журнале> “L’Ere Nouvelle”». – Archives de Prefecture de Police (Paris). Service des Renseignements generaux. Serie Etrangers (далее – Archives de Prefecture). Cart.2. №39817.

²⁷ Письмо Константина Башкирова Евгению Ляцкому от 3 апреля 1921, Рига – Стокгольм. – Literární archiv Památníku Národního Pisemnictví v Praze. Jevgenij Alexandrovič Ljackij Literární Požustalost (Прага). Башкиров Константин Александрович – деятель кооперативного движения, в эмиграции – с 1920, владелец эфемерного рижского издательства «Ли́ра», выпустившего сборник стихотворений Эренбурга «Раздумия» (1921). После переезда в Берлин примкнул к сменовеховцам; в 1922 вернулся в Россию, где через какое-то время занялся разведением промысловых рыб. О его отношениях с Эренбургом см. в нашей статье: Янгиров Р. К истории издания «Лебединого стана» Марины Цветаевой // Русская мысль (Париж). 1999. 3 и 10 июня. О своих встречах с Башкировым и И.Северяниным в Берлине вспоминала Ирина Одоевцева, см.: Одоевцева. С.573-577.

ветскому лагерю²⁸. Неоцененными в этой истории остались лишь хлопоты эмигрантов об Эренбурге²⁹. Летом 1926, когда писатель демонстративно разорвал отношения с антисоветской эмиграцией, ее активисты очень сожалели о былом заступничестве, а один из них решил публично напомнить об этом эпизоде:

Если вы еще не окончательно забыли прошлое, вы должны понять, почему я испытываю угрызения совести. Вы помните, как в 1919 году вы приходили ко мне (в Ростове-на-Дону) в редакцию «Донской Речи» с громовыми статьями против большевиков? Я принужден был значительно их выправлять, чтобы смягчить их кровавый ура-патриотизм. <...> Но я помню и содержание их и стиль – суровый, от которого несло мщением и кровью. И потому я сохранил о вас, Илья Григорьевич, память как о человеке очень мстительном и очень непреклонном³⁰.

Когда через три года после того вы появились в Париже и пришли ко мне, я рад был видеть старого товарища по оружию. Вас гнали из Парижа. Вы подлежали высылке. Вы просили меня помочь рассеять «недоразумение» и «ошибку». А ошибка французских властей заключалась в том, что вас зачислили в большевики. Покойная жена моя и я начали хлопоты. Мы ездили по депутатам, по влиятельным господам и дамам, в различные учреждения. Вы принуждены были на некоторое время уехать в Бельгию. Но хлопоты вы продолжали. Вы бомбардировали нас письмами, умоляя «выручить», жалуясь на то, что «чувствуете себя оставленным», что «сплетни вокруг меня растут», что вы теряете кураж и приведены «в состояние недоверия и озлобления». И покойной жене вы писали: «...За неимением рыбы, т. е. Парижа, мне очень бы хотелось бы в Италию. Я помню, что у Петра Яков-

²⁸ Ср.: «Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан <...>, и развеселился. <...> Теперь я напугал Бриана. Как зайцы Дурова, я начинал понимать, что я – грозный зверь» (Эренбург. Кн.2. С.621). Доступные нам полицейские документы не подтверждают причастности А.Бриана к этому сюжету.

²⁹ Одним из них был Алексей Толстой. Эренбург посетил его накануне высылки и оставил в недоумении: «Он, наверное, большевик!» (*Крандиевский Ф.* Рассказ об одном путешествии // *Звезда* (Л.). 1981. №1. С.163).

³⁰ Визиты Эренбурга в ростовскую редакцию запомнились и другому парижанину: «такой жалкий, оборванный, несчастный... Боюсь ошибиться, но, кажется, тогда он все про Мадонну писал, про кроткую Мадонну с заплаканными глазами, которая взирает на ужасы войны. Г<осподин> Эренбург все добивался тогда заграничного паспорта и все просил нашего “белогвардейского” содействия. Не помню, устроили ли мы ему паспорт, но в меру возможности нашей помогали...» (*Яблоновский А.* Мулатка г-на Эренбурга // *Возрождение*. 1926. 13 февраля. С.2). См. также: *И.Г.Эренбург.* Статьи 1919 г. / Подгот. Д.М.Фельдман // *De Visu* (М.). 1992. №0. С.5-11.

левича там хорошие связи. Не могли ли бы вы помочь мне достать “разрешение” на выезд в Италию?»

Это я цитирую отдельные места из – увы! – не всех сохранившихся ваших к нам писем. Да, человека в беде мы никогда не оставляли. Тем более, что вы уверяли, что не можете нигде работать, кроме Парижа, ибо там – в России... Вы теперь там, я не хочу вредить вам в глазах Бухарина³¹... И в конце концов вы приехали сюда. Это было хлопотно, иногда неприятно, ибо страдало ваше самолюбие. Большая и измученная, жена проводила иногда по полдню в беседах с влиятельными людьми, скача от одного к другому в тряских такси <...>. Ваши письма были неприятны: вы подчас унижались, шли на недопустимые для свободного человека ухищрения. Вы, вероятно, помните, как однажды жена написала вам в Брюссель, что лучше даже много претерпеть, чем немного пресмыкаться: храните ли вы это письмо?³²

Документ из полицейского досье Эренбурга указывает на то, что, прямо или косвенно, в дело о высылке были вовлечены влиятельные политические деятели Зарубежья, а репутация писателя была представлена по установившемуся для русских беженцев канону. Едва ли эта легенда могла быть сложена без участия писателя, он, по меньшей мере, должен был знать ее ключевые пункты, тем более, что осведомленность дознавателей оказалась весьма приблизительной. 16 мая 1921 парижская префектура составила справку для Министерства внутренних дел:

Эренбург Эли, родился 14 января 1888 в Москве³³ от Григория <Эренбурга> (ныне покойный) и Ар<ен>штейн Анны (ныне покойная)³⁴. Женился в Киеве (Россия) 14 августа 1919 на Козинцевой Любви, родившейся 17 декабря 1899 в Киеве.

Прибыв в Париж 9 <числа> текущего <месяца> из Риги, супруги Эренбург остановились в отеле «Ницца» (155, boulevard Montparnasse), в номере за 8 франков в день. Супруг остановили-

³¹ Поездка писателя в СССР весной – осенью 1926 стала возможна благодаря хлопотам Н.Бухарина. В апреле 1925 писатель обратился к нему и к Л.Каменеву с письмом: «Вам ли говорить, что Эренбург не эмигрант, не белый, не “пророк нэпа” и пр. пр.? Если я живу в Париже и посещаю кафэ, то от этого не становлюсь ни Алексинским, ни Зинаидой Гиппиус. Местожительство не определяет, надеюсь, убеждений. Я работаю для Советской России <...>. Я не имел никакого отношения к эмиграции. Меня хаот здесь на каждом перекрестке. Это естественно. Но почему же меня хаот в России?» (цит. по: Попов, Фрезинский. Т.2. С.97).

³² Рысс П. Блудливый козел // Возрождение. 1926. 2 сентября. С.2.

³³ Эренбург родился 15 января 1891 (ст. ст.) в Киеве.

³⁴ Л.М.Козинцева родилась 30 июня 1900 (ст. ст.).

вается там всегда, но из-за того, что номер слишком мал для двоих, 14 <числа> текущего <месяца> супруги обосновались в семейном пансионе (134, rue d'Assas).

Эренбург <до этого> уже неоднократно жил в Париже. В 1908 и 1909 он посещал лекции в Школе социальных наук. Впоследствии, с 30 марта по 20 июля 1914, жил <в отеле «Ницца»> (155, boulevard Montparnasse), а затем выехал в Бельгию и Голландию.

Вернувшись в Париж в самом начале войны, он снова поселился по тому же адресу <...> и проживал там с 3 августа 1914 по 15 июня 1915, с 18 октября 1915 по 28 января 1916 и с 12 сентября 1916 по 8 июля 1917 (дата отъезда в Россию)³⁵.

В этот же период он дважды выезжал в Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) – на срок с 16 июня по 17 октября 1915 и с 29 января по 11 сентября 1916.

Эренбург имеет паспорт (№41), выданный Российским консульством в Париже 21 апреля 1917 с визой, действительной по 7 июля будущего года, где сделана помета, подтверждающая его возвращение в Париж с разрешения французского консульства в Риге согласно инструкции Министерства иностранных дел с датой – 3 апреля 1921³⁶.

Его супруга имеет свидетельство, выданное специальным Комитетом по делам русских беженцев в Латвии. Этот сертификат подтвержден французским консульством в Риге со следующей сопроводительной надписью: «Действительно для поездки в Париж совместно с мужем». Отметка Министерства иностранных дел датирована 8 апреля 1921.

С июля 1917 Эренбург находился в Киеве у родителей жены. Оттуда он уехал в Ригу для того, чтобы вернуться во Францию. Он утверждает, что со времени революции в Москву, где ранее проживали его родители, не возвращался.

³⁵ Соседом Эренбурга по отелю в те годы был Борис Савинков (см.: Попов, Фрезинский. Т.1. С.62), с которым был дружен и Анненков (см.: ДМВ-2. С.45).

³⁶ Ср.: «<Французский> консул наотрез отказался поставить их <визы> на советские паспорта и выдал особые пропуска» (Эренбург. Кн.2. С.612). Биограф все же полагает, что во Францию Эренбург приехал по советскому паспорту (см.: Фрезинский Б. Скрещенья судеб, или Два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич) // Диаспора. Т.1. Париж; СПб., 2001. С.172 (далее – Два Эренбурга, с указанием страницы)), очевидно, доверившись мемуарному свидетельству: «Как только я говорил, что я выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской» (Эренбург. Кн.2. С.616). Примечательно, что по дороге из Парижа в Брюссель писатель показал пограничнику «полуистлевший лист – паспорт 1917 года. <...> Сложив осторожно лист, он шепнул: “У вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять”. Я тоже шепотом ответил: “Вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе...”» (Там же. С.622).

Перед отъездом в Россию Эренбург был парижским корреспондентом консервативной газеты «Биржевые ведомости», издававшейся в Петрограде. В настоящее время он является корреспондентом газеты «Воля России»³⁷, издающейся в Праге социалистами-революционерами и поддерживающей политику Керенского.

Кроме того, он сотрудничает с русским ежемесячником «Современные записки», который издают друзья Керенского (адрес редакции: 9 bis, rue Vineuse). Его литературные заработки достигают примерно 1000 франков в месяц.

Его жена – художник-живописец, принадлежит к семье, разоренной большевиками.

В отеле «Ницца» Эренбург характеризуется самым положительным образом. С момента приезда он получил всего несколько писем, отправленных ему из Парижа, и не замечен <в контактах> с кем-либо из тех, кто находится под наблюдением <полиции>. К нему <в отель> никто не приходил.

Его кузен, доктор-медик г-н Шлепянов³⁸ (66, rue Cardinal LeMoine), который много лет проживает во Франции и пользуется репутацией достойного человека, характеризует Эренбурга как известного русского поэта: он перевел на русский язык поэмы Франсиса Жамма <Francis Jammes> и является близким другом графа А.Толстого, сына великого писателя, а также бывшего военного министра в правительстве Керенского Бориса Савинкова. Он <Шлепянов> подтверждает, что полностью ручается за своего кузена Эренбурга, которого характеризует как яркого антибольшевика и убежденного сторонника Керенского. <...> В картотеке правонарушений <Эренбург и Козинцева> не фигурируют.³⁹

27 мая комиссар парижской префектуры сообщил в министерство, что супруги Эренбурги, «которым было отказано в выдаче вида

³⁷ В формате газеты это издание выходило в Праге с сентября 1920 по октябрь 1921. По-видимому, здесь ошибка полицейских информаторов или мистификация: это эсеровское издание занимало последовательно враждебную позицию в отношении Керенского, тогда как берлинская газета «Голос России» до февраля 1922 издавалась сторонниками Керенского, а затем перешла в руки его оппонентов. См. об этом: *Даманская А.* На экране моей памяти / Публ. О.Демидовой // Новый журнал. 1996. Кн.198/199. С.299-302.

³⁸ Биограф указывает, что Шлепянов – бывший киевлянин и приятель кузена писателя Ильи Лазаревича Эренбурга (см.: Два Эренбурга. С.160). В «Справочнике русских учреждений, лиц и торгово-промышленных предприятий Парижа» (Indicateur Russe a Paris / Ed. W.Konoroff. Paris, 1921), а также в эмигрантской периодике доктор Шлепянов нами не обнаружен.

³⁹ Archives de Prefecture. Cart.2. №39817.

на жительство, покинули Париж поездом 26 мая 1921 в 22 часа 15 минут с Северного вокзала по направлению к Брюсселю»⁴⁰.

Финальная точка в деле была поставлена 18 июня 1921: согласно сообщению Управления национальной безопасности МВД Франции, «нежелательному иностранцу» Эренбургу было отказано в выдаче вида на жительство и запрещен последующий въезд на территорию страны⁴¹, но этот категорический запрет имел силу всего три года⁴².

* * *

Парижская жизнь Анненкова складывалась несравненно удачнее. Летом 1924 он в составе делегации представителей советского искусства (в их числе был и Эренбург, незадолго до того вернувшийся в Москву из Берлина) отправился на Венецианскую биеннале искусств⁴³, а осенью или в конце года переехал в Париж⁴⁴ для выполнения нового художественно-пропагандистского задания – подготовки советской экспозиции на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, открывавшейся в апреле следующего года. Этой акции Москва придавала еще большее значение, чем венецианской, и не жалела сил и средств для обеспечения ее успеха⁴⁵. Одним из своих самых доверенных сотрудников московские кураторы считали Анненкова⁴⁶, участвовавшего в парижской выставке по отделу печати и книжной графики.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ср. с полицейской справкой 1933 года: «Он вернулся во Францию 15 сентября 1924, имея при себе советский паспорт №20243, выданный в Москве 8 января 1924, с визой французского консульства в Риме от 14 июня 1924, и следовал предписаниям, определяющим правила пребывания иностранцев в нашей стране». – Ibid.

⁴³ Свой отъезд за границу художник датировал по-разному: «Я покинул Советский Союз в конце 1924 года» (Анненков Ю. К молодым художникам СССР // Старые – молодым. Мюнхен. 1960. С.14); «Я покинул Советский Союз летом 1924 года, семь месяцев спустя после смерти Ленина» (ДМВ-1. С.132).

⁴⁴ Это стало возможным после установления официальных дипломатических отношений между двумя странами в октябре 1924 (см.: Парижский вестник. 1925. 28 октября. С.1). Возможно, Анненков и Эренбург присутствовали на церемонии открытия советского полпредства в Париже 14 декабря 1924 (см.: Попов, Фрезинский. Т.2. С.77).

⁴⁵ См.: <Б/н.> Выставка СССР на Парижской выставке (Беседа с О.Д.Каме-невой) // Парижский вестник. 1925. 5 мая. С.1. См. также речи советского полпреда Л.Б.Красина и комиссара советской экспозиции П.С.Когана на открытии советского павильона (Там же. 5 июня. С.1).

⁴⁶ См.: Б.Т.<ерновец>. О чем расскажет наше искусство? // Там же. 1925. 6 июня. С.2; <Б/н.> Путеводитель по Советскому павильону // Там же. 5 июня. С.2; Госиздатовец. Госиздат. Ленинград – Москва // Там же. 9 июня. С.2.

Сопроводительная реклама и собственная практичность довольно скоро помогли художнику привлечь к себе внимание. В начале мая 1925 открылась советско-французская художественная выставка «Agañnée»⁴⁷, на которой самое большое впечатление на публику произвели «рисунки Юрия Анненкова, исполненные с изумительной виртуозностью. Две его работы маслом также чрезвычайно любопытны по своим фактурным заданиям»⁴⁸.

В конце июня в галерее леволиберального журнала «Clarté» открылась групповая выставка русских художников, в числе которых был и Анненков с работами, выполненными в стиле «декоративного конструктивизма»⁴⁹. Обсуждая эту экспозицию, тот же рецензент подчеркнул, что «особенно хорошо представлены Юрий Анненков, В.Барт, Г.Якулов, Константин Терешкович»⁵⁰.

В начале августа художник участвовал в работе Пятого международного конгресса рисунка в качестве официального советского делегата: «Ю.П.Анненков прочел обстоятельный, особенно заинтересовавший членов конгресса доклад о положении печатного дела в России, которое он имел возможность иллюстрировать графически и печатными материалами»⁵¹.

В декабре, по дороге на отдых на Лазурный берег, Париж посетил нарком Анатолий Луначарский, выступивший перед французской аудиторией с лекцией о советской культуре и искусстве. Перечисляя творцов его достижений, он упомянул Анненкова в числе видных реформаторов и наставников революционной художественной школы в 1918⁵². Эту оценку художник подкрепил и личным сви-

⁴⁷ «Паук» (франц.).

⁴⁸ С.Р<омов>. Выставка «Арень» // Там же. 8 мая. С.4.

⁴⁹ <Б/н. – С.Ромов?> Выставка русских художников в «Кларте» // Там же. 30 июня. С.3.

⁵⁰ <Б/н. – С.Ромов?> Выставка русских художников в «Кларте» // Там же. 8 июля. С.4. В декабре Анненков участвовал в следующей выставке, устроенной в том же зале. См.: <Б/н.> Выставка рисунков русских художников // Там же. 1925. 3 декабря. С.4.

⁵¹ <Б/н.> Пятый международный конгресс рисунка // Там же. 8 августа. С.3.

⁵² Лукомский Г. Последние течения в искусстве СССР (По поводу докладов А.В.Луначарского) // Там же. 1926. 1 января. С.4. Ср.: Анненков Ю. (Б.Темирязев). Повесть о пустыках. СПб., 2001. С.113-115, 430-431 (далее – Анненков, с указанием страницы). Примечательно, что к середине 1920-х эстетическая толерантность советского наркома уже приблизилась к нормам соцреализма, во всяком случае, в восприятии парижского слушателя: «Мы узнаем, таким образом, что в <Советском> Союзе требуется искусство простое, ясное, понятное всем, искусство, отражающее социалистические идеи, новый быт, новое мировоззрение» (Лукомский Г. Последние течения в искусстве СССР. С.1). См. также

детельством: 7 марта 1926 он выступил с публичной лекцией «Как это было (живопись, книга, театр в годы революции)», устроенной под эгидой Союза русских художников во Франции. Председателем этого собрания был Эренбург⁵³. Авторитет Анненкова в это время настолько высок, что его творчество было причислено к высоким образцам моды в современной живописи, представляя актуальное направление «конструктивизма и изобретения фотомонтажа в книге и плакате»⁵⁴.

Продление заграничной командировки требовало от художника соблюдения определенных норм идеологической лояльности, сводившихся, главным образом, к участию в различных советских акциях. На страницах «Парижского вестника»⁵⁵ Анненков выступал как теоретик революционного художественного авангарда и как мемуарист, но, в отличие от большинства сотрудников газеты, предпочитавших псевдонимы, своего авторства не скрывал⁵⁶. Он был также привлечен к участию в «органе общественных организаций граждан СССР во Франции» – еженедельнике «Наш союз»⁵⁷, который сменил

версию другого слушателя: <Б/н.> Доклад Луначарского // Последние новости. 1925. 13 декабря. С.2.

⁵³ См. анонс: Парижский вестник. 1926. 7 марта. С.3.

⁵⁴ Вольгин Л. Что модно в живописи // Там же. 1926. 7 февраля. С.4.

⁵⁵ Номинальным редактором-издателем газеты был художественный критик Сергей Матвеевич Ромов (1888–1939), активно пропагандировавший творчество Анненкова. См.: Северюхин Д. Русская художественная эмиграция. 1917–1939. СПб., 2003. С.64 (далее – Северюхин, с указанием страницы).

⁵⁶ См.: Анненков Ю. 1) Революция и театр. I. Цирк и драма // Парижский вестник. 1925. 22 июля. С.2-3; 2) Революция и драма. II. Мейерхольд // Там же. 23 июля. С.2-3; 3) Памяти Есенина // Там же. 31 декабря. С.3. В этой же газете см. и публикации Эренбурга: Эренбург И. 1) Веселый финиш // Там же. 1925. 1 июля. С.2-3; 2) Романтизм наших дней // Там же. 1 декабря. С.2-3; 3) Пьер Мак-Орлан // Там же. 18 декабря. С.2-3.

⁵⁷ Редактировал журнал известный сменовеховец профессор С.Лукиянов, оставивший красноречивое свидетельство о своей идеологической эволюции: «В 1921 г., в Лондоне, именно через Красина лидеры сменовеховства получили положительный ответ на вопрос: “приятие Октябрьской революции как национально-неизбежного и положительного явления, достаточно ли для участия в творческой строительной работе в Советской России?” <...> Леонид Борисович Красин своим отношением к сменовеховству помог нанести, быть может, сокрушительный удар эмиграции и ее политической активности» (Лукиянов С. Неизвестная глава // Наш союз (Париж). 1926. №28. С.4-5; см. также: Лукиянов С. «Родина и эмиграция» // Парижский вестник. 1925. 30 декабря. С.2). Летом 1925 Лукиянов приехал в Париж и поначалу возглавил Товарный отдел советского павильона на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств (см.: Русская неделя: Журнал политики, литературы и искусства (Париж). 1925. №2, 4 июля. С.27). В сентябре 1927, после обысков,

указанную газету в марте 1926; его графические работы украсили обложки нескольких номеров издания⁵⁸. Еще один «советский след» – франкоязычный двухнедельник «Экономическая жизнь Советов» и русскоязычный «Бюллетень Торгового представительства СССР во Франции»⁵⁹, специальные издания, выходившие под редакторством Г.Кирдцова в 1925–1927⁶⁰.

проведенных парижской полицией в советских учреждениях, он был выслан из Франции (см.: <Б/н.> Удар по большевикам в Париже // Россия (Париж). 1927. 17 сентября. С.1). По возвращении в Москву Лукьянов служил редактором журнала «Международная жизнь». Уместно напомнить, что установление дипломатических отношений между СССР и Францией открыло двери в Париж и другим видным сменовеховцам. В их числе был бывший коммерческий директор газеты «Накануне» Павел Садыкер, занимавшийся в Торгпредстве закупками автомобилей. Весной 1929 он получил указание выехать в Москву, но предпочел перейти в число невозвращенцев (см. об этом: <Б/н.> Разгром парижского торгпредства // Последние новости. 1929. 17 марта. С.1). О переезде в Париж мечтали и другие: «А.Толстой неоднократно пытался получить командировку в Париж в качестве редактора “Парижского Вестника” – ему было отказано, так как “советская власть не имеет еще достаточных оснований верить в глубину его раскаяния”. Василевский-не Буква работает в Госкино над сценариями – бедствует. Тоже пытался открыть с Б.Волиным отделение “Известий” в Париже – но отказали» (*Наблюдатель* <А.Филиппов>). Сменовеховцы в сов<етской> России // Русское время. 1925. 11 декабря. С.2).

⁵⁸ См.: Портрет В.И.Ленина (Наш союз. 1927. № 4); «Красноармеец» (Там же. №9); «Расстрел коммунара» (Там же. №12) и др. Есть основания полагать, что Анненков анонимно продолжал сотрудничать в журнале «Наш Союз» до конца его издания: он разработал его новую обложку в 1930-е и эпизодически иллюстрировал некоторые публикации. См., напр.: <Б/н.> Работа на дому (Эмигрантский репортаж) // Там же. 1936. №3, март. С.17-18 (5 иллюстраций); <Б/н.> Шоферы (Эмигрантский репортаж) // Там же. 1936. №4, апрель. С.17-18 (4 иллюстрации); и др. Тематически схожими с вышеуказанными были графические публикации художника в парижском журнале «Bulletin Communiste» (1925), который издавал Борис Суварин (см.: «...Курсировали из Москвы в Париж...»: Из переписки Юрия Анненкова и Льва Никулина / Публ. И.Обуховой-Зелинской // Диаспора. Т.4. С.621). Здесь же укажем, что в эмигрантском журнале был однажды репродуцирован анненковский портрет Е.Замятина, ошибочно (?) подписанный «Ю.Антонов». См.: Звено: Еженедельный литературный журнал (Париж). 1927. №208, 23 января. С.1.

⁵⁹ В анонсе сообщалось, что это издание «имеет обложку, исполненную известным художником Юрием Анненковым» (<Б/н.> «Информационный бюллетень Торгового представительства СССР во Франции» // Парижский вестник. 1925. 16 декабря. С.3).

⁶⁰ Ср. также: «Внешний вид обоих двухнедельников Торгпредства превосходен. Обложки их в духе современной советской графики выполнены таким мастером дела, как Ю.Анненков» (*Бессонов*. Журналы Торгпредства // Там же. 1926. 13 января. С.2).

Поначалу художник не скрывал своего статуса «кремлевского портретиста» и, видимо, даже гордился им, рассказывая, что «среди советского руководства стало поветрием, своего рода снобизмом иметь собственный портрет его работы, а члены Политбюро или Реввоенсовета платили по-царски – мукой, сахаром, сгущенным молоком»⁶¹. Регулярные визиты в полпредство и новые ответственные заказы (живописный портрет Л.Б.Красина⁶²) еще более укрепляли его репутацию советского классика, но на престижные выставочные площадки Парижа, доступные другим соотечественникам, дорогу не открывали⁶³. Очень скоро эта слава и сопряженные с ней обязательства стали тяготить Анненкова: он мечтал стать полноправным участником французской художественной жизни, но «московский аттестат» ему в этом препятствовал, так что амбициозному художнику нужно было искать иные, не связанные с Советами возможности творческой ассимиляции. По рассказу того же Бахраха, «он стал появляться на Монпарнасе с моноклем, висевшим на черном шнуре, наивно, по старинке думая, что этим стеклышком он кой-кого прельстит. <...> Едва приехав в Париж и еще не успев как следует устроиться, он завел полезные связи, и в результате в одной из галерей, пользовавшейся большим престижем и не открывавшей своих дверей каждому встречному-поперечному, устроил самостоятельную выставку, умудрившись показать на ней чуть ли не тридцать холстов и гуашей с пейзажами Парижа. Все они были с налетом умеренного

⁶¹ Бахрах. С.385. Это свидетельство подтверждается советским источником: «в прежнее время никогда бы никто не рискнул пригласить для иллюстрирования строго ведомственного издания такого графика, как Юрий Анненков, в чьем графическом исполнении был издан “Приказ Революционного Совета Республики №279 к пятилетию Красной Армии”» (*Лазаревский И.* Искусство книги в СССР // Парижский вестник. 1925. 10 июля. С.2). Ср.: ДМВ-2. С.304-305.

⁶² ДМВ-1. С.294-295. Свидетельство мемуариста о том, что работа над живописным портретом Красина проходила в 1926 (см.: Яновский. С.182), неточно: на самом деле советский полпред в этом году лишь ненадолго останавливался в Париже по дороге в Лондон. См.: <Б/н.> Красин приехал в Париж // Парижский вестник. 1926. 19 января. С.1.

⁶³ См.: С.Р.<омов>. Осенний Салон // Там же. 1925. 1 октября. С.3. Другой почитатель сожалел, что Анненков не участвовал в этой экспозиции (см.: *Лукомский Г.* Осенний Салон // Там же. 1925. 5 октября. С.3. Ср. с другой оценкой: *Куприн А.* Осенний Салон // Русское время. 1925. 2 октября. С.2). Однако весной 1926 живопись Анненкова и других русских участников была включена в экспозицию Салона Независимых. См.: «Кажется исключительно русским Анненкову, который изображает предметы при помощи различных красочных фактур» (*Вольгин Л.* Русские в Салоне Независимых // Там же. 1926. 27 марта. С.3). В экспозицию Осеннего салона работы Анненкова попали лишь в ноябре 1927.

и умелого модернизма, без каких-либо экстравагантностей, способных своей художественной левизной оттолкнуть профанов»⁶⁴.

Этой привилегии Анненков добился только в марте 1928, когда его персональная выставка прошла в престижной галерее «Des Quatre-Chemins». Рецензент отметил не очень удачный выбор экспозиционной площадки:

...небольшое помещение галереи Котр Шмэн позволяет только в каком-нибудь определенном отношении показать художника, если он и живописец и рисовальщик, и пользуется разнообразными средствами в своем искусстве. В данном случае, когда таким художником является Анненков, привыкший делать круглые <крупные?> вещи, недостаток помещения особенно чувствуется. Общее число выставленных им вещей поэтому очень невелико. Но и то, что выставлено, позволяет судить о выдающемся даровании этого художника как обладающего очень тонким вкусом, качеством довольно редким в современном художественном обиходе. Имя Анненкова известно уже давно, еще по России, но за последние годы он становится хорошо известным и в Париже. Дело в том, что его искусство при всех своих прежних достижениях является вполне созвучным современности. Еще недавно выставка Салона Независимых дала основания выделить его среди многих. <...> Все его живописные вещи привлекательны благородством красочной гаммы.⁶⁵

У более искусственного и взискательного знатока выставка Анненкова оставила иное впечатление, и, как видно, его впечатления были predeterminedены идеологическим неприятием, не позволявшим признать творческую самостоятельность советского экспонента:

...<выставка> хорошо характеризует этого художника, таким, по крайней мере, каким он стал после переезда в Париж. По существу, впрочем, он не переменялся. Так же, как в Петербурге,

⁶⁴ Бахрах. С.383, 385. Эту возможность художник получил только в марте 1928 – его персональная выставка прошла в галерее «Des Quatre-Chemins». Ср. с отзывом старшего коллеги Константина Сомова о выставке группы «Ecole de Paris»: «Выставка у Мефодия (Лукьянова (1892–1932) – интимного друга художника. – Р.Я.) дрянь – род самых банальных и третьестепенных сезаннистов и ультрамодернистов – Глушенко, Пуни, Кикоин, Анненков. Что сделалось с последним. Он был талантлив и курьезен, хотя и очень неприятен, а теперь просто стал merde'ой <так!>» (письмо А.Михайловой от 7 декабря 1928; цит. по: Константин Андреевич Сомов. Мир художника. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С.346).

⁶⁵ *Малянтович Вс.* Выставка художника Анненкова // Последние новости. 1928. 4 марта. С.5. Всеволод Николаевич Малянтович (?–1949) – художник-акварелист, обозреватель парижских газет «Последние новости» и «Русские новости».

он рисовальщик гораздо больше, чем живописец, и бескрасочные иллюстрации, выставленные им, лучше, чем его пользующиеся красками, но не из красок созданные картины. Почему Анненкову не ограничить себя теми средствами, которые внутренне ему близки?

Само по себе преобладание рисунка не было бы смысла ставить ему в вину. Гораздо хуже тот неизменный факт, что вместо созерцания, вместо переживания или предмета, Анненковым владеет выдумка, и что именно эту выдумку хочет он выдать нам за творческую оригинальность. Она уже в Петербурге портила его портреты, столь остро схваченные иногда. В Париже она превратилась в постоянно изменяющуюся маску, в переимчивость, должествующую казаться новизной. На первый взгляд, то, что делает сейчас художник, приятнее, интереснее прежних его работ; он видел французские картины, он много перенял из них; но научился он в них немногому; если присмотреться ближе к его холстам, видно, что настоящей индивидуальности в них стало еще меньше.⁶⁶

По всей видимости, оценка Владимира Вейдле отразила некую сумму мнений, воспрепятствовавших стремлению художника изменить свои позиции в профессиональной иерархии и перейти из «технического» разряда графиков и иллюстраторов в высший ранг живописцев. Хорошо зная силу общих преубеждений, определяющих художнический успех, Анненков продолжал сближение с эмигрантами, весьма необходимое для его парижского самоутверждения.

Эти контакты начались в первый же год, но давались они непросто, хотя отчасти облегчались старыми петроградско-московскими знакомствами. Так, например, Федор Коммиссаржевский привлек Анненкова к своему театральному проекту: 21 мая 1925 открылся театр миниатюр «L'Arc en Ciel» (70, rue d'Assomption), репертуар которого был составлен из «инсценировок, скетчей, музыки, пения, балета»⁶⁷. Вот как определялось художественное своеобразие этой антрепризы:

Новое предприятие – театрального характера, но не похожее на обычные театры. Это нечто вроде ревю за столиками. Смешанный вид дансинга, ресторана и театра. В России он уже был – стоит только вспомнить хотя бы «Дом Интермедий» в Петербур-

⁶⁶ Вейдле В. Выставки // Возрождение. 1928. 17 марта. С.4.

⁶⁷ Русская газета. 1925. 17 мая. С.5. Этот опыт режиссер привел как образец нищеты эмигрантского театра. См.: *Kommissarjevsky T. Myself and the Theatre.* London, 1929. P.159-160.

ге, начальное «Кривое зеркало», «Лукоморье» и, наконец, «Летучую Мышь». Для Парижа – это новость.⁶⁸

Репертуар и актерская группа нового театра были французскими, но его литературной частью заведовал Петр Потемкин, музыкальным оформлением занимался давний соратник режиссера Владимир Бернарди⁶⁹, а декорации и костюмы, выполненные в нарочито русском колорите, были разработаны Анненковым совместно с Борисом Билинским, Николаем Бенуа и Михаилом Андреенко-Нечитайло⁷⁰. Эта антреприза просуществовала недолго – уже 8 октября Коммиссаржевский открыл в том же зале новый театр миниатюр «Дом Артиста», теперь уже ориентированный на русскую публику, сохранив при этом весь состав художественных, литературных и музыкальных сотрудников⁷¹.

Вхождение Анненкова в эмигрантскую среду развивалось весьма интенсивно, но выстраивал он эти отношения скрытно, причем конспиративность была, видимо, вполне успешной, если судить по «Камер-фурьерскому журналу» В.Ходасевича, впервые упомянувшего хорошо знакомое ему еще по Петрограду имя лишь осенью 1930⁷². Сближение художника с эмигрантами совпало с громкой историей. В начале 1925 на очередном собрании Союза русских художников во Франции группа, возглавляемая Михаилом Ларионовым, провела резолюцию с выражением лояльности новым властям России и пожеланием участвовать в советской экспозиции на предстоящей выставке декоративных искусств. Затеявая эту демонстрацию, инициаторы вряд ли руководствовались идеологическими соображениями, скорее, это был коктейль из наивного патриотизма и плохо скрытой меркантильности, но эффект получился неожиданный. Противники Советов во главе с Филиппом Малявиным и Владимиром Издебским⁷³ объявили о выходе из Союза, а

⁶⁸ <Б/н.> L'Arc en Ciel // Русская газета. 1925. 19 мая. С.3.

⁶⁹ Владимир (Вольдемар) Александрович Бернарди (1880–1957) – музыкант, композитор, аранжировщик. С начала 1920-х жил в Париже, много лет преподавал в Русской консерватории и возглавлял ее вокальный факультет.

⁷⁰ Примечательно, что в дальнейшем творческие биографии всех этих художников были тесно связаны с кинематографом.

⁷¹ <Б/н.> Дом Артиста // Возрождение. 1925. 25 сентября. С.3; <Б/н.> Дом Артиста // Иллюстрированная Россия (Париж). 1925. №28, 1 октября. С.17; <Б/н.> В Доме Артиста // Там же. 1925. №29, 15 октября. С.12; и др.

⁷² См. запись о встрече с Анненковым в театре «Летучая Мышь» 16 сентября 1930 (Ходасевич В. Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С.162).

⁷³ Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) – живописец; с 1922 – в эмиграции. Неудачная попытка вывезти свои работы из России на Запад сделала художника непримиримым врагом советского строя. Ср.: «Он убежден, что со

взбудораженное общественное мнение эмигрантской колонии закрепило раскол этого сообщества:

Не знаю, приняли их (в советском полпредстве. – Р.Я.) или нет. Но уж если примут, то, конечно, не задаром. Чувство симпатии к добрым открытым лицам или к выразительным влажным глазам большевикам неизвестно. Если они кормят, то работу спрашивают вчетверо. Кто раз попал им в руки – скажи прощай своему прошлому. Да. Первую песенку, зардевшись, поют. От сменовеховства прямой и единственный путь в Совдепию, чистить сапоги и лизать пятки. Поступок же Ларионова и Ко. – чистейшее сменовеховство, подразумевая под этим термином не первичный литературный смысл, а нынешний, привычный, обиходный: то есть замаскированное, тихое, желанное предательство и прикрытый наивностным неведением подлый соблазн слабым. Назад им нет ходу. Прощать такие поступки не только слабость, но преступление.⁷⁴

Группа Малявина – Издебского учредила альтернативное Общество русских художников во Франции⁷⁵ и, рассчитывая на симпатии и поддержку парижан, затеяла большой благотворительный бал-карнавал «Праздник Ярилы» – для популяризации своей группы и пополнения ее кассы. Вообще-то, эта традиция, возникшая в среде русских художников Парижа в 1923, была аполитичной и ориентировалась на самую разнообразную публику, но на сей раз организаторы весьма изобретательно ввели злободневные акценты в аттракционный контекст бала:

25 марта в Саль де ля Сосьете д-Ортикультюр (84, рю Гренель) – бал-карнавал русских художников, «не пошедших на поклон» советской власти. Эта группа имеет все права рассчитывать на особое внимание русской колонии. Но и помимо <так!> это программа с чисто русским размахом и ширью. В распоряжении зрителя – 3 залы, специально декорированные для этого праздника. Фанфары откроют бал и выборы королевы Монпарнаса. Будет выдан приз за лучший костюм. Демонстрируется живое синема. Зрители смогут совершить путешествие на привязанных

смертью Ленина большевизм безусловно скончается, ибо, чтобы большевики ни говорили о прочности своей власти, они держались, главным образом, деспотизмом Ленина. Заменить этого бандита некем» (<Б/н. – А. Филиппов> Прием у художника Малявина // Русская газета. 1924. 4 февраля. С.3). Издебский Владимир Алексеевич (1881–1965) – скульптор и живописец; с начала 1910-х жил за границей.

⁷⁴ Кутрин А. Без заглавия // Там же. 1925. 22 марта. С.3.

⁷⁵ См. об этом: Северюхин. С.65.

воздушных шарах. «Дама с камелиями» выступит в роли «Ла Гарсон», Троицкий в роли Тут-ан-Камона⁷⁶, Зиновьев споет песенку «Если бы я был королем». Затем зрителя увеселит «Петрушка» (не Стравинского). Всякий посетитель бала, помимо безграничного веселья, получит бесплатные советы, как удешевить жизнь по старому испытанному рецепту наших прародителей Адама и Евы. Публике будут сообщены впечатления Рембрандта о живописи Шагала: последнее слово научного спиритизма! Специально для этого бала художники, не останавливаясь ни перед какими затратами, похитили из Кремля Царь-Пушку, которая потрясет зал выстрелами. Не побрившиеся посетители имеют к услугам парикмахерскую: бреют и стригут дамы, окончившие куаферскую академию. Устраиваются ледяные горы (модель Декоративной выставки). Живые картины во всех углах залы с участием публики. Всякий, пожертвовавший 500 фр<анков>, получает бесплатно коробку шведских спичек. Живые медведи исполняют свой национальный танец среди присутствующих, причем всякая опасность заботливо устранена. Приглашен лучший профессор танцев, который даст бесплатные уроки потребителям (обоего пола) шампанского. Посетить вечер благосклонно обещали: принц Уэльский⁷⁷ и Бласко Ибаньес⁷⁸ в костюмах Альфонса XIII⁷⁹. Лысым будет предложено чудесное средство для рращения волос. Выписан из Китая г. Цзе-Фу-Цзинь, знаменитый оператор рогоносцев. Его услуги бесплатны, секретны и совершенно безболезненны. Человеку, выпившему больше всех, будет бесплатно указан адрес квартиры без отступного и без консьержки. Д<ок-

⁷⁶ Здесь обыграно открытие гробницы египетского фараона Тутанхамона британскими археологами Говардом Картером и лордом Джорджем Эдвардом Карнарвоном в феврале 1922. Эта археологическая находка, ставшая мировой сенсацией, широко обсуждалась на Западе, не остались в стороне и представители русской эмиграции.

⁷⁷ Официальный титул наследника британского престола, введенный в 1301. Здесь, очевидно, имеется в виду Альберт Кристиан Георг Эндрю Патрик Дэвид (1894–1972) – принц Уэльский (1911–1936), который в январе 1936 стал королем Великобритании Эдуардом VIII. Роман с американкой Уоллис Симпсон вынудил его отречься от престола в декабре того же года. В 1920-е, еще будучи наследником престола, он получил широкую известность своими «миссиями доброй воли» – путешествиями в британские колонии.

⁷⁸ Правильно: Ибаньес, Бласко Висенте (1867–1928) – испанский писатель, творчество которого приобрело всемирную известность в годы Первой мировой войны. Являясь республиканцем по убеждениям, в 1923 был вынужден жить в эмиграции.

⁷⁹ Альфонс XIII (1886–1941) – король Испании (с 1902); в апреле 1931 отрекся от престола и эмигрировал в Италию.

то>р Воронов⁸⁰ расскажет о своих африканских приключениях, где жизнь его подверглась громадной опасности (читай французские программы). Д<окто>р Попошка⁸¹ укажет средство, как можно легко отравить крыс, мышей, женскую жизнь и блох. Прелестная Содком (сокращение от «содержанка комиссара». – *Р.Я.*) раскрывает тайны якобы королевского алькова. Нечего говорить об изысканной музыке, цветах, серпантине и котильонных орденах. Художники, не признавшие советской власти, знают, что делают.⁸²

Конкурирующая группа не оставила это событие без ответа и провела в начале мая собственный праздник в зале Бюлье под названием «Бал Большой Медведицы»⁸³. Подробности и участники этого вечера нам, к сожалению, неизвестны, но в нем принял участие и Анненков⁸⁴, что подтверждает групповая фотография из архива Надежды Мельниковой-Папоушковой⁸⁵.

⁸⁰ Воронов Сергей Александрович (1866–1951) – доктор медицины, с 1884 живший в Париже и широко известный опытами хирургического омоложения человеческого организма путем пересадки обезьяних половых желез. Его путешествия в Африку были связаны с поиском биологического материала для экспериментов. В 1925 ученый посетил Москву и провел операцию по омоложению организма 68-летней Клары Цеткин. В партийных кругах этому опыту придавалось большое значение: «Если опыт удастся, то операция и обезьяньи железы спасут миру старых ком<мунистических> ораторов и работников» (цит. по: Новое русское слово. 1925. 6 октября. С.1).

⁸¹ Возможно, имеется в виду Ярослав Папоушек (1890–1945) – чешский социалист, влиятельный политический деятель межвоенной Чехословакии. Поддерживал тесные отношения с русскими эмигрантами, в частности, с эсерами.

⁸² <Б/н.> Бал художников // Русская газета. 1925. 24 марта. С.3. В художественной программе бала участвовали также актриса Мистингетт (наст. имя и фамилия Жанна-Мари Буржуа; 1875–1956), певица Мария Кузнецова-Бенуа (1880–1966), режиссер Александр Санин, в то время еще сохранявший советское гражданство, и др. См.: Там же. 25 марта. С.3.

⁸³ Анонс бала см.: Парижский вестник. 1925. 8 мая. С.4. 19 марта 1926 в том же зале «при участии всех парижских знаменитостей театра, цирка и художественного мира» состоялся следующий бал Союза – «Бал двух Диан». По сообщению репортера, «утром в день бала русские художники приходят в помещение и совершенно меняют внешний вид зала: потолок, балконы, колонны, лестница, эстрада, все покрывается конструкциями, декорациями, надписями. Ночью туда же вваливается трехтысячная толпа, и пляс идет до шести часов утра» (<Б/н.> Бал Двух Диан // Там же. 1926. 18 марта. С.3).

⁸⁴ О любви Анненкова к подобным развлечениям см.: Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С.207.

⁸⁵ Фотография не датирована, изображенные на ней лица атрибутированы лишь выборочно. Хранится в: Statni okresny archiv Ceska Lipa. Požustalost N.F.Melnikova-Papoushkova. Kart. 1. Надежда Филаретовна Мельникова-Папоушкова (1891–1978) – переводчица, литературный критик, искусствовед и

Другой эпизод, относящийся к лету того же года, демонстрирует нетривиальность публичных жестов Анненкова.

Хорошо понимая ценность для эмигрантской и западной печати своей осведомленности в московской политической кухне, он решил поделиться ею с соотечественниками, избрав безошибочный сюжет. Падение Троцкого дало ему повод напомнить о своей работе над портретом бывшего вождя Красной Армии. При этом дискредитация героя публикации уже не вызвала бы гнева Кремля и последующих поисков анонимного информатора, для пушей верности искажившего хронологическую канву рассказа. Столь же дальновидным был и выбор печатного издания: газета Александра Филиппова⁸⁶ имела ограниченный круг читателей, в который «высоколобая» часть эмигрантов не входила⁸⁷. Примечательно, что тональность и акценты рассказа о «советском Дориане Грее» сильно отличаются от позднейших воспоминаний Анненкова, окрашенных нескрываемой симпатией к Троцкому⁸⁸. На наш взгляд, эта эволюция была обусловлена исторической конъюнктурой рубежа 1950-х – 1960-х, когда

фольклорист; с декабря 1918 жена Я.Папоушека. С начала 1920-х Папоушковы регулярно посещали Париж. Подробнее об их участии в литературной жизни русской эмиграции см. в нашей работе: *Янгиров Р.* «Заветный друг» Евгения Замятина: Новые материалы к творческой биографии писателя // *Russian Studies* (СПб.). 1996. Vol.2, №2. С.503-504.

⁸⁶ Филиппов Александр Иванович (1887–1942) – журналист, литератор, редактор-издатель «Русской газеты», а затем газеты «Русское время». О нем см. в нашей работе: *Янгиров Р.* В кадре и за кадром: Российские кинематографисты во Франции (1924–1930) // *Диаспора*. Т.2. СПб., 2001. С.218. Ср. также: «работа моя в “Русской Газете” прекратилась. Я этим доволен, так как, хотя 250 фр<анков>, которые я там получал, для меня имеют значение, работать с таким отъявленным хамом, как Филиппов, и в такой, в общем, некультурной газете, было неприятно» (письмо Глеба Струве Петру Струве от 5 июля 1924; Париж – Прага. – ГАРФ. Ф.5912. Оп.1. Ед.хр.112. Л.100об.); «Филиппов – иуда... Нарыв на эмигрантской журналистике этот Филиппов» (запись от 26 ноября 1925 в дневнике Б.Лазаревского; цит. по: Русская Ницца, Русская Прага, Русский Париж...: Из дневника Бориса Лазаревского 1925 года (тридцать три письма Михаила Арцыбашева, Ивана Бунина, Александра Куприна, Ильи Сургучева и др. к Борису Лазаревскому) / Публ. С.Шумихина // *Диаспора*. Т.1. С.710). О Филиппове см. также: *Даватц В.* Когда улица гогочет... // *Россия* (Париж). 1927. 24 сентября. С.2.

⁸⁷ Об изданиях Филиппова см.: *Иванов А.* «Русская Газета» // *Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940: Периодика и литературные центры*. М., 2000. С.361-364; *Павловец М.* «Русское Время» // Там же. С.403-405; *Осьминина Е.А.* «Русская газета» // *Литература русского зарубежья. 1920–1940 / Под общ. ред. О.Н.Михайлова; отв. ред. Ю.А.Азаров. Вып.3*. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С.124-172.

⁸⁸ *Анненков Ю.* Троцкий // *Новый журнал*. 1962. Кн.67; ДМВ-2. С.285-314.

личность и идеи опального революционера, ставшего жертвой Сталина, обрели мировую популярность. Вот что рассказал художник в 1925:

На днях я встретился с приехавшим из Москвы молодым художником Н.

Должен оговориться: художникам в сов<етской> России далеко не так сладко живется, чтобы они могли благодушеествовать в Париже, и мой художник преисправно проедает остатки валюты, полученной им за портрет... Троцкого. Вернувшись с Кавказа, ссыльный главковерх пожелал еще раз увековечить свою особу.

Портрет был закончен в семь сеансов.

– Я бы окончил и в пять, – улыбается художник, – но этому помешал Троцкий, остановивший меня на третьем сеансе.

Подойдя к эскизу, он долго и сосредоточенно смотрел на него, подергивая бородку и сморщив брови.

Потом внимательно посмотрел на меня и тихо спросил:

– Неужели же я так постарел?

– Нет, – ответил я, – вы не постарели, но... – я затруднялся подысканием подходящего слова.

– Обмяк? – спросил Троцкий и, дернув пенснэ, быстро сказал: – Это все Сухум. Я не могу долго оставаться без работы. У меня всегда была склонность к ожирению. Неужели же я буду когда-нибудь похож на Зиновьева?

С моих губ сорвалась фраза, над которой я не думал. Она именно сорвалась. Почему? Быть может, в ней сказались тайные чаяния России на долгожданный взрыв:

– Наполеон тоже не был худым, – сказал я.

Он слегка пожал плечами и ответил:

– Нет, это не то. Когда Наполеон был консулом... нет, это не то, – повторил он, не закончив фразы, и снова уставился на портрет.

Я почувствовал себя неловко. Быть может, он действительно вышел у меня слишком постаревшим, быть может, совершенно невольно я подчинился уверенности окружающих, рисуя конченного человека.

Кажется, он следил за моей мыслью, потому что, резко отвернувшись от портрета, сказал:

– Я здесь вышел конченным человеком.

Каюсь, я испугался. Вы ведь знаете, в какой обстановке живем мы. Мне не грозило ничего, но эта проклятая семилетняя привычка всегда всего ждать!.. Я сказал:

– Быть может, это впечатление от эскиза сгладится потом. Вы слишком опустили голову, позируя мне. Если вам угодно...

– Нет, на сегодня довольно, – резко сказал он. – Завтра вы переделаете.

И, усмехнувшись совсем невесело, добавил:

– Я еще могу стареть...

– Можешь или не можешь, но ты стареешь, – подумал я, складывая кисти. Только подумал. Я не мог и не хотел терять этот портрет. На нем покоились все мои надежды⁸⁹.

На другой день, забыв все заветы учителя⁹⁰, я принялся «изображать» Троцкого. На это ушли четвертый, пятый и шестой сеансы. После шестого он подошел к полотну и, быстро взглянув на «себя», воскликнул:

– Я доволен вами! – и, подавая мне руку: – Для масс мы должны остаться прежними.

Вторая фраза была произнесена настолько другим тоном, что я поднял голову и посмотрел на него. В этот момент я подумал:

– Действительно ли ты кончен или ушел в свою скорлупу, набираясь сил и выжидая момента?

К седьмому сеансу портрет «красного Дориана Грея» был закончен, и я захлопнул свой ящик, чтобы открыть его в Париже.

Сейчас счастливая Триэсерия⁹¹ имеет возможность любоваться Троцким, помолодевшим после благодетельного климата Сухума.⁹²

В конце того же года Анненков выступил еще в одной эмигрантской газете, конкурировавшей с «Русским временем» на правом фланге общественно-политической мысли. Теперь это был не политический сюжет, а художественная критика, и здесь он впервые продемонстрировал профессиональный интерес к кинематографу:

Что бы сказал ценитель русской литературы, если бы, случайно зайдя в известный кинотеатр, где ставится, скажем, «Анна Каренина» Толстого, убедился в том, что для вкусов широкой публики режиссер не только «подчистил» знаменитое произведение Толстого, но и изменил всю его суть? По традициям некоторых стран, конец фильма должен быть счастливым и трогательным.

⁸⁹ Эта обмолвка подтверждается позднейшим свидетельством художника: «Летом 1924-го года мой портрет Троцкого вместе с портретом В.Полонского, который я тоже успел закончить к этому времени, были отправлены в Италию, на венецианскую художественную выставку <...>. Я уехал туда же, одновременно с ними. Портрет Троцкого был повешен на почетном месте, в “центральной” зале советского павильона...». – ДМВ-2. С.307-308.

⁹⁰ Имеется в виду И.Е.Репин.

⁹¹ Т. е. СССР.

⁹² Михайлов Н. Наши беседы. «Портрет Дориана Грея» // Русское время. 1925. 9 июля. С.3.

Так, можно предположить, например, следующий финал «Анны Карениной», перенесенной на экран:

«Несчастливая Анна под бременем всех своих грехов и забот решает покончить свою жизнь. И с этой целью садится на извозчика, который везет ее на станцию. Она по дороге мрачно хмурится и кусает губы – “от тоски по светлому прошлому”. Она искупает все зло ее жизни тем, что бросится под поезд... Когда она входит на платформу, чтобы исполнить свое намерение, в окне подходящего поезда она вдруг видит лицо Каренина и сына. В эту минуту она понимает, что Бог указывает на истинный путь искупления... Происходит трогательное примирение супругов... С трогательными слезами она бросается на шею мужа, который уже давно простил ей. Губы их сливаются в долгом поцелуе».

Поклонник литературы гадливо поморщится и уйдет с чувством тоски и ужаса. Тем более сильно будет последнее, если зал был набит, и публика восторженно восхваляла фильм.

Читатель, знакомый с романами одного из крупнейших современных английских писателей Томаса Гарди, основным мотивом творчества которого является трагедия рока, и, в частности, с «Тэсс д'Эрбервилль»⁹³, с таким же чувством жалости, гадливости и ужаса выйдет из «Гомон-Палас», где ставится упомянутая вещь, искаженная до неузнаваемости, и в результате бестолково глупая.

Из романа Гарди вынута вся его трагическая сущность, и «трагедия судьбы», как значится в подзаголовке кинематографической версии, превратилась в пошлую любовную драму, серую и скучную. Игра кинематографической звезды Бланш Свит⁹⁴ и ее партнера Конрада Нагель⁹⁵ местами сильна и выразительна, но все же не настолько, чтобы дать зрителю, знакомому с величественным произведением Гарди, возможность забыть о произведенном над ним насилии.⁹⁶

Избранная тема не покажется неожиданной, если принять во внимание искренний, по-видимому, пиетет рецензента перед классиком английской литературы, усвоенный еще со времен «Всемирной литературы». К тому же свою оценку экранной версии романа Т.Гарди он построил по образцу типичных сетований эмигрантов на искажение отечественной литературы западным экраном, но приложил их к европейской классике. В то же время этот редкий образец

⁹³ Фильм «Тэсс из Д'Эрбервилль» (1924, режиссер Маршалл Нилан).

⁹⁴ Бланш Свит (1895–1986) – актриса американского театра и кино.

⁹⁵ Конрад Нагель (1897–1970) – актер Голливуда.

⁹⁶ Ю.А.<нненков?>. Д'Эрбервилль (Искаженный Гарди) // Возрождение. 1925. 26 декабря. С.2. Акроним «Ю.А» в цитируемой газете более не повторялся.

«евроцентризма» в практике издания, позиционировавшего себя органом «национальной мысли», оставляет впечатление пародийности по отношению к кинематографической рефлексии Зарубежья⁹⁷.

Опыты анонимного выхода к эмигрантской аудитории были лишь подготовкой к одному из главных творческих воплощений Анненкова – литературе, в которой он, как известно, фигурировал под маской «Бориса Темиряева». Случай заявить о себе представился в 1927. В начале года редакция еженедельника «Звено» объявила очередной (второй по счету) конкурс на лучший рассказ, участвовать в котором приглашались авторы «оригинальных, нигде не напечатанных» сочинений объемом не свыше 500 газетных строк (т. е. не более половины печатного листа)⁹⁸. По условиям конкурса, «рукописи доставляются без подписи, под девизом, избранным автором. К рукописи прилагается в особом запечатанном конверте записка с указанием имени автора и его точного адреса. На конверте должен быть написан девиз, значащийся на рукописи. <...> По напечатании последнего из рассказов читателя «Звена» приглашаются в имеющий быть назначенным редакцией срок указать, который из напечатанных рассказов они признают наилучшим»⁹⁹.

⁹⁷ Ср.: «Со смутным и горьким чувством смотришь на эти образы, чужие и почему-то носящие столь знакомые нам имена. В этом фильме – ничего, то есть решительно ничего хотя бы отдаленно совпадающего с образами незабываемых страниц толстовской «Анны Карениной»! <...> До крайности нелеп и неудачен выбор типов. Муж Анны – злодей с орлиным хищным носом, с преувеличенно энергичной жестокостью всей повадки – абсолютно не русский, не толстовский и не петербургский тип. <...> Но ужаснее всего Анна – Грета Гарбо. Она изображена – светлой блондинкой, с беспорядочно распущенной копной волос, с лицом истомленным, больным, немного щучьим, и в худобе своей по-клоунски набеленной... Как далеко это тощее, пропитанное никотином, непородистое и почти бесполое существо от живого, полного гармонии облика толстовской Анны. Выдерганные до тончайшей полоски и безобразно прочерченные брови – одно это чего стоит!» (Бундигов А. У Парамаунта. «Анна Каренина» // Возрождение. 1929. 24 января. С.4). Ср. также с описаниями-пародией на фильм по «Евгению Онегину»: Пингвин. Евгений Онегин (Американский боевик) // Кино: Газета (М.). 1923. №1, 11 сентября, С.3; Левинсон А. Чудеса экрана // Звено: Еженедельная литературно-политическая газета (Париж). 1925. 26 февраля. С.2.

⁹⁸ <Б/н.> Четвертый литературный конкурс «Звена» // Звено. 1927. №205, 2 января. С.3. Повторные объявления см.: Там же. №206, 9 января. С.6; Условия четвертого литературного конкурса «Звена» // Там же. №209, 30 января. С.11; Там же. №211, 13 февраля. С.12.

⁹⁹ «Объявленная “Звеном” премия присуждена будет автору рассказа, за который высказается наибольшее число читателей при голосовании, имеющем состояться по окончании печатания рассказов. В голосовании могут принять участие: 1) подписчики и 2) читатели, не состоящие подписчиками, но при-

К концу февраля в редакцию поступило 35 сочинений¹⁰⁰, а к середине марта их число выросло до 93-х, причем рассказ «Любовь Сеньки Пупсика» в общем списке значился лишь 89-м, придя, видимо, в числе последних¹⁰¹. Затем авторитетное жюри (Г.Адамович, Н.Бахтин, М.Кантор, Г.Лозинский и К.Мочульский) приступило к рассмотрению и отбору присланного материала¹⁰², а в начале апреля началась публикация лучших сочинений¹⁰³. Рассказ, подписанный девизом «We Look Before and After», был напечатан восьмым по счету¹⁰⁴, а на десятой публикации¹⁰⁵ акция завершилась:

Печатание рассказов, присланных на конкурс «Звена», закончено <...>. Объявленная редакцией премия в 1000 франков будет присуждена автору рассказа, получившего наибольшее число голосов при голосовании читателей. Редакция просит читателей «Звена» поспешить с присылкой отзыва <...>. Последний срок для присылки отзыва – 5 июня с. г.¹⁰⁶

Через неделю после этой даты жюри пообещало назвать победителя¹⁰⁷, однако результаты были обнародованы лишь 19 июня. Свое мнение о прочитанных текстах высказало 286 читателей, но наибольшее число голосов (65) собрал рассказ «Любовь Сеньки Пупсика». «По вскрытии конверта с означенным девизом оказалось, что автором рассказа <...> является г. Борис Темирязов (Париж), которому и будет выдана означенная редакцией премия в 1000 фр<анков>»¹⁰⁸.

славше при отзыве не менее двух купонов, вырезанных из разных №№ “Звена”» (Там же. №218, 3 апреля. С.8).

¹⁰⁰ Там же. №213, 27 февраля. С.11.

¹⁰¹ Литературный конкурс «Звена» // Там же. №215, 13 марта. С.3; №216, 20 марта. С.7.

¹⁰² Список жюри опубли.: Там же.

¹⁰³ Первый из присланных был напечатан рассказ «У моря», автор которого избрал себе девиз «Да, друг Горацио...» (Там же. №218, 3 апреля. С.8-11).

¹⁰⁴ Девиз переводится как «Мы глядим вперед и вспять» (англ.). Этот парадокс формулы «Всевидающий и Всемогущий» из монолога Гамлета (IV акт, сцена 4) – устойчивая фигура речи английских литераторов разных эпох (Перси Б. Шелли, Льюис Кэрролл, Джордж Оруэлл и др.). Можно предположить, что этим весьма претенциозным девизом автор не только продемонстрировал свою эрудицию, но и намекнул читателю на многоликость своей творческой натуры. Рассказ «Любовь Сеньки Пупсика» опубли.: Там же. №222, 1 мая. С.7-9.

¹⁰⁵ Образу за борт (девиз: «Не в силе Бог, а в правде») // Там же. №223, 8 мая. С.7-9.

¹⁰⁶ От редакции // Там же. №225, 22 мая. С.7. Повторные напоминания см.: Там же. №226, 29 мая. С.9; №227, 5 июня. С.9.

¹⁰⁷ Там же. №228, 12 июня. С.9.

¹⁰⁸ Там же. №229, 19 июня. С.2.

Подводя итоги, организаторы конкурса еще раз объяснили свою задачу: «редакция “Звена” задавалась прежде всего целью облегчить проникновение в печать авторам, которые – вследствие ли неуверенности в своих силах или по удаленности от центров сосредоточения эмиграции – не имели до сих пор случая выступить со своими произведениями перед публикой». При этом они обнаружили «неожиданно большое число русских людей, никогда ранее в печати не выступавших, работавших в областях, от литературы далеких, – и вдруг обнаруживших умение излагать свои мысли не только грамотно, гладко и толково, но иногда и увлекательно и даже не без блеска». Признав общий уровень присланного материала весьма высоким, эксперты так и не смогли определить собственного фаворита: «Кроме одного, все они выбраны не без труда, по признаку наибольшего приближения к требованиям, могущим быть предъявленным к подобного рода произведениям: правильный язык, оригинальность замысла, внешняя занимательность». С особым сожалением был отмечен слабый интерес конкурсантов к формальной стороне литературного творчества: «Поклонников “новой школы” (условно назовем так писателей, пытающихся оторваться от классической традиции, вроде Ремизова, Андрея Белого, Замятина) оказалось очень немного. Нашлось лишь 8 рассказов, могущих быть отнесенными сюда»¹⁰⁹.

Рассказ-победитель, выбранный читателями, безусловно, относился к этой категории, но он не удостоился комментариев экспертов. Судя по всему, эта весьма сдержанная оценка отразила растерянность организаторов конкурса: рассчитывая открыть хотя бы одно литературное имя, они были обескуражены результатом. Победитель, явившийся за премией, оказался советским гражданином, а эта категория авторов явно не вписывалась в условия задания. Впрочем, какой бы ни была эта встреча, она открыла дебютанту двери в эмигрантскую литературу, и он не замедлил этим воспользоваться.

Не в пример другим коллегам по перу, литературная карьера «Темирязева» была стремительной, – мало кто из прозаиков «неза-

¹⁰⁹ <Б/п.> Итоги конкурса // Звено. Ежемесячный журнал литературы и искусства. 1927. №1, 1 июля. С.40-41. В начале сентября были обнародованы имена двух участников: «Следующие авторы напечатанных в “Звене” конкурсных рассказов выразили желание, чтобы имена их были опубликованы: Автор рассказа “Сломанные пальцы” – Г.Рубанов. Автор рассказа “Письмо” – А.Фармаков» (Там же. №3, 1 сентября. С.180). Автором первого текста, опубликованного в №220 «Звена», был, по-видимому, юрист, журналист и литератор Глеб Иванович Рубанов (1898?/1899 – 1942); автором другого, опубликованного в №221, – поэт, прозаик, журналист и педагог Арсений Иванович Формак (1900–1983).

меченного поколения», к которому причисляли и его, сумел обойти «литературные фильтры» и дважды за короткое время опубликовать свои сочинения в самом уважаемом журнале Зарубежья¹¹⁰. Уместно предположить, что еще большие надежды он связывал с романом, который удалось пристроить в престижное издательство «Петрополис». Книга должна была вывести его имя в первый литературный ряд, но этого, как известно, не произошло. Она наделала много шума, но критики не приняли романа: признавая несомненное мастерство автора, они были неприятно поражены его «легкомысленным» нигилизмом и неорганичной для Зарубежья «слитностью» (определение Юрия Фельзена) с советской литературой.

Как помнит читатель, «Повесть о пустяках» обрывается на парижской встрече Коленьки Хохлова с Дэви Шапкиным: «Но тут уже начинается новая повесть»¹¹¹. Продолжение вскоре последовало. Во второй половине 1930-х вышли в свет три части романа «Тяжести»¹¹², но был ли завершен полный текст, который дорабатывался автором много лет¹¹³? Это произведение, так же, как и «Рваная эпопея» (она, вероятно, задумывалась как завершение автобиографической трилогии), еще не обратила на себя должного внимания исследователей. Между тем даже во фрагментарном виде эти тексты являются ценным материалом для реконструкции анненковской биографии¹¹⁴. Пока же можно констатировать, что герой

¹¹⁰ См.: *Темирязев Б.* 1) Домик на 5-ой Рождественской // *Современные записки.* 1928. Кн.37; 2) Сны // Там же. 1929. Кн.39.

¹¹¹ *Анненков Ю.* Повесть о пустяках. СПб., 2001. С.310. В реальности эта встреча могла произойти в мае 1925, когда Дмитрий Темкин и Михаил Харитон гастролировали в Париже, выступая с необычной технической новинкой – роялем с двойной клавиатурой. Как известно, Темкин – один из прототипов Шапкина (см.: *Данилевский А.* Автобиографическое и прототипическое: «Повесть о пустяках» Юрия Анненкова // *Диаспора.* Т.1. С.276-277), а фраза этого персонажа, завершающая роман («Я перерос Советов <так!>»), корреспондирует с анонсами «Парижского вестника», в которых подчеркивалась советская принадлежность музыканта.

¹¹² *Темирязев Б.* Тяжести: Отрывок из романа // *Современные записки.* 1935. Кн.59; Там же. 1937. Кн.64; *Русские записки.* 1938. Кн.3.

¹¹³ Ср.: «Как-то, вскоре после окончания войны, в разговоре он упомянул, что хотя “Тяжести” еще не вполне закончены и “остается самая малость”, но написано им уже около тысячи страниц. Я так и не знаю, удалось ли ему завершить эту “самую малость”» (Бахрах. С.386).

¹¹⁴ Подобную работу сделал А.Данилевский в своем образцовом комментарии к «Повести о пустяках» (см.: *Диаспора.* Т.1. С.241-288). См. список его работ: *Данилевский А.* Об истории текста и принципах комментирования // *Анненков Ю. (Б.Темирязев).* Повесть о пустяках. СПб., 2001. С.331.

«Тяжестей» архитектор Сережа Милютин столь же автобиографичен, как и герой первого романа. Автор, несомненно, учел критику: название второго романа уже не столь «легкомысленно», а его смысл автор раскрывает на первых же страницах, описывая весьма важный для эмигрантского мироощущения комплекс «второй» жизни на чужбине: она неразрывно связана с предыдущей, закончившейся на родине. Адекватному восприятию «Тяжестей», на наш взгляд, помешала не столько незавершенность текста, сколько его формальная усложненность и избыточная зашифрованность. Затейливый параллелизм и смежность действия романа, перенасыщенного к тому же кинематографическими коннотациями и аллюзиями, короткими монтажными фразами, «титровой» речью персонажей и тому подобными приемами, заведомо обрекли его на читательский неуспех¹¹⁵.

Справедливо или нет, но эта проза была довольно скоро забыта, однако легенда о таинственном «Темирязеве» осталась. Впрочем, эта мистификация, распространенная Анненковым с помощью Михаила Осоргина и Евгения Замятина, была рассчитана, в первую очередь, на советские глаза и уши, а также на несведущих читателей¹¹⁶. И все же трудно поверить в то, что она так и осталась неразгаданной русским литературным Парижем, тем более, что уже к середине 1930-х ее создатель был полноправным членом Союза русских писателей и журналистов¹¹⁷.

¹¹⁵ Ср. с мнением Г.Струве, отметившего ««некрофильский» душок» этого сочинения: «читатель быстро теряет и нить рассказа, и представление о времени и об отношениях между действующими лицами, которые в большом числе и появляются и исчезают как марионетки, а иногда оказываются лишь пустыми именами, игрой авторского ума, – этот авторский collage довольно быстро приедается» (*Струве Г.* Русская литература в изгнании. 3-е изд. Париж; М., 1996. С.187).

¹¹⁶ См.: Яновский. С.181. Об этом же см.: *Данилевский А.* Об истории текста и принципах комментирования С.324.

¹¹⁷ См. письмо Анненкова от 16 апреля 1935 в Правление Союза русских писателей и журналистов во Франции. – Amherst Center for Russian Culture. Union of Russian Writers and Journalists Abroad Records. Ser.1. Box 1. F.8. Эпизодически Б.Темирязев появлялся на публике: например, он выступил на вечере прозы и стихов в пользу заболевших молодых писателей в Объединении русских писателей и поэтов 28 марта 1938 (*L'Emigration Russe. Chronique de la Vie Scientifique, Culturelle et Sociale 1920–1940 / Русское Зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни (далее – РЗХ). 1920–1940. Франция. Т.3 / Под общей ред. Л.Мнухина. М., 1996. С.434*). 11 июня 1946 он выступил на собственном литературном вечере с участием Н.Беляевой, А.Гингера и А.Присмановой в Союзе советских патриотов. См.: РЗХ. Франция. Том 1(5): 1940–1954. С.153.

* * *

Что касается Эренбурга, то его идеологические симпатии и личные интересы с середины 1920-х обратились в сторону Москвы¹¹⁸, – и это, чем дальше, тем сильнее, девальвировало его творческие акции в Зарубежье¹¹⁹. Примечательно, что не только в эмиграции, но и в советском официозе одинаково присутствовала нелюбовь к Эренбургу и недоверие к его литературной продукции¹²⁰, так что зарубежные зоилы не только соответствующим образом комментировали публичные выступления писателя, но с удовольствием ретранслировали также московские оценки¹²¹.

14 января 1926 в зале Географического общества на бульваре Сен-Жермен, арендованном Союзом русских художников, Илья Зданевич сделал доклад «Сон Есенина», посвященный памяти поэта. Его выступление, дополненное чтением есенинских стихотворений, не вызвало большого интереса аудитории в отличие от последующе-

¹¹⁸ Первыми вектор общественно-литературной эволюции писателя разглядели эсеровские наблюдатели. Ср.: «Был когда-то Эренбург “в стане белых”. <...> А теперь, поди, разбери его, какие он гieroглифы вычерчивает! Не то у него мысли дwoятся, не то он сам раздwoился» (*Сергеев В.* О «нашевашенцах» // Воля России (Прага). 1922. №21, 3 июня. С.20). Ср. также: «В 1917 году Эренбург был с Временным правительством. Потом в Киеве, во времена добровольцев, он – не враг добровольцев <...>. Теперь – верноподданный большевик» (*Постников С.* Русская зарубежная литература в 1925 году // Там же. 1926. №2. С.190).

¹¹⁹ Ср.: «С эмигрантами он встречался охотно, но не все эмигранты хотели встречаться с Эренбургом» (*Седых А.* Далекie, близкие. New York, 1962. 8С.254).

¹²⁰ Общее отношение к писателю отразилось в эпиграмме Эмиля Кроткого (1920-е):

Он, убоясь последствий вредных,
Переменял на прозу стих, –
Вольтер для глупых, Франс для бедных
И Эренбург для остальных.

(РГАЛИ. Ф.2568. Оп.1. Ед.хр.34. Л.132).

Ср. также с частным отзывом: «Когда я сидел с Эренбургом <в Праге, я ясно видел: человек второго сорта, и все делает второсортным. Когда говоришь с тобой, все первого сорта...» (письмо Ю.Тынянова В.Шкловскому; начало 1929. – РГАЛИ. Ф.562. Оп.1. Ед.хр.724. Л.1).

¹²¹ См., например, пересказ анекдотического отзыва «знаменитейшего московского молодого поэта»: «Эренбург! Какой умный человек... какой образованный человек! Везде побывал, все знает, обо всем говорит... И ведь какой талантливый! Ну, вот, подите, – прошу, прошу его, напиши, наконец, что-нибудь порядочное! Нет, не хочет!» (*Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. №3, 1 сентября. С.127).

го обсуждения: «После стихов происходит обмен мнениями. В обмене мнений принял участие писатель Илья Эренбург, теплые и прочувствованные слова которого нашли горячий отклик в публике»¹²². Один из слушателей описал вечер в ином свете, отметив легкий реверанс писателя в адрес одного из эмигрантских авторов:

«Слово товарищу Эренбургу», – радостно провозгласил председатель <И.Зданевич>.

«Я слова не просил», – заявляет с места Эренбург. <...> Публика требует Эренбурга. Какая-то совбарышня в зеленой шубке восторженно кричит: «Просим товарища Эренбурга!»

Появляется у стола Эренбург.

«Скажу не об Есенине, а об его смерти и о том, что вокруг его смерти происходит. В самой поэзии Есенина была обреченность. Вы все читали, как хоронили Есенина, читали, как обносили его вокруг памятника Пушкину. В этом было не столько прощание поэта с поэтом, но и сближение их судеб. Снова погиб поэт, замученный условностью, равнодушием людей и звериным климатом нашего отечества. Почему так мало заботятся у нас о живых? Мы мало культурны, но с какой непростительной щедростью страна швыряется поэтами. Весной 1921 года А.Блок читал стихи – ему свистели, – и свистевшие несколько месяцев спустя кричали: это наша гордость, наша любовь. И когда на могиле умершего сводят счеты, – это характеризует нашу культуру (крики из аудитории: “Например – Осоргина!”)».

«Я считаю, – заявил Эренбург, – что статья Осоргина¹²³ об Есенине, статья человека, поэзии Есенина далекого, высоко благородна (аудитория, по-видимому, не ожидавшая этого, замирает). Страна, которая поэтов рождает, должна уметь их беречь, – вот что я хотел сказать», – кончает Эренбург. Аплодисменты, но не дружные. Докладчик <И.Зданевич> заявляет, что к словам Эренбурга присоединяется. Голпа расходится.¹²⁴

В то время писатель готовился к путешествию в Москву, возлагая на него большие надежды. Должно быть, его доклад «С Монмартрского холма и с Воробьевых гор», устроенный 9 февраля в зале Sociétés Savantes тем же Союзом русских художников, задумывался как дипломатический жест, необходимый для успешности поездки. Председательствовал на этом собрании Юрий Анненков, а оппони-

¹²² <Б/н.> Доклад Зданевича о Есенине // Парижский вестник. 1926. 17 января. С.3.

¹²³ Имеется в виду некрологическая публикация: *Осоргин М.* «Отговорила роща золотая» (Памяти Сергея Есенина) // Последние новости. 1925. 31 декабря. С.3.

¹²⁴ *Сторонний.* Вечер памяти С.Есенина // Дни (Париж). 1926. 17 января. С.2.

ровали докладчику Илья Зданевич, Константин Миклашевский и кто-то из активистов советской колонии. Своей задачей докладчик избрал обоснование потребности в «новом романтизме», однако его речь оставила странное впечатление:

Зал полон – парижане в последнее время определенно предпочитают литературные выступления всяким другим, особенно политическим. <...> Доклад свой Эренбург читает, и это сильно расхолаживает, хотя свое чтение он и старается сделать незаметным. Часто торопится, рубит фразы. Как во всяком написанном докладе, фразы в нем отточены и заострены – мысли изложены в характерной эренбурговской парадоксальной форме. Эта парадоксальность порой принимает такой характер, будто докладчик поставил своей задачей во что бы то ни стало «эпатировать» аудиторию. Благодаря этому трудно следить за ходом мысли и лишь с напряжением устанавливаешь, что доклад составлен по определенному плану. <...> Игра словами, формами, понятиями, сравнениями, сопоставлениями, кокетничанье, чудачество, выверты.¹²⁵

Те, кто сумел пробиться через словесные эскапады к смыслу доклада, поняли, что главной задачей Эренбурга было осторожное, но недвусмысленное противопоставление разлагающегося Запада духоподъемной Москве: «Сквозь дымку Парижа вы различите усталость, с Воробьевых гор вы различите молодую задорность»¹²⁶.

Эта двусмысленность вызвала раздражение одного из слушателей:

Несчастье Эренбурга в том, что мысль в его речи, как маленькая щепка в безбрежном океане, то покажется, то утонет, то снова покажется, то опять зальется водой, и не видно. А, кроме того, хотя мысль небольшая, он все время за нее перед кем-то извиняется и, будто зажатого в кулаке пескаря, боится ее показать больше, чем на четверть вершка. <...> Весь доклад: два шага направо, два шага налево, шаг вперед и шаг назад... <...> Так ничего и не сказал, хотя весьма много говорил.¹²⁷

Плавное течение вечера было внезапно прервано неожиданной выходкой: последним на эстраду вышел «бледный молодой человек в черных очках» и заявил, что «доклад был бесполезный и совершенно ненужный...» После этого без всякой связи с предыдущим

¹²⁵ *Сторонний*. На докладе Ильи Эренбурга // Там же. 1926. 11 февраля. С.3.

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ *Н.П. <Вакар?>* «С Монмартра и с Воробьевых гор» (На докладе Эренбурга) // Последние новости. 1926. 11 февраля. С.4.

оратор разразился неприличными ругательствами вплоть до матерщины... Поднялся вой. “Долой!.. Хам!..” Оратора убрали, Эренбург при этом заметил: “У нас, гражданин, в советской России за такие слова три рубля штрафа и долой...” Публика бурно реагирует¹²⁸. Зачинщиком скандала оказался Борис Поплавский, которого почему-то причисляют к окружению Эренбурга¹²⁹.

В конце мая писатель уехал в Москву, и, пока он путешествовал, русский Париж вернулся к обсуждению его творчества. Поводом стал фрагмент новой книги «Лето 1925 года», перепечатанный газетой «Дни» из московского издания и снабженный редакционным комментарием:

Этот отрывок мы заимствуем <...> не ради художественных достоинств, которых в нем нет. Мы лишь хотим показать трудящимся русским людям Парижа, в каком виде их жизнь и труд изображаются на Родине. Мимо клеветнических писаний г. Эренбурга можно бы пройти с тем презрением, которого они заслуживают. Но не следует упускать из виду, что большевицкая печать умеет обрабатывать общественное мнение, – и, быть может, в России найдется немало людей, которые этим гнусностям поверят.¹³⁰

¹²⁸ *Сторонний*. На докладе Ильи Эренбурга. Ср.: «Молодой человек (в черных очках) решительно считает доклад Эренбурга бесполезным и ненужным: “Все это слова, а когда дело нужно было делать, ты где, сукин сын, был...” – и с трибуны несется звучная матерная брань!» (*Н.П. <Вакар?>* «С Монмартра и с Воробьевых гор»). Советский автор, попеняя, что писателю «положительно не везет с его поспешными заключениями», не стал вдаваться в подробности событий, случившихся в конце вечера: «После доклада состоялись прения, которые не представляют большого интереса» (*Володарский Б.* «С Монмартрского холма и с Воробьевых гор» (Доклад Ильи Эренбурга) // Парижский вестник. 1926. 12 февраля. С.3).

¹²⁹ См.: Берберова. С.256-257. Возможно, тогда Поплавский впервые публично определил свое отношение к советской литературе. Два года спустя на устройном Дмитрием Святополком-Мирским литературном диспуте, участником которого среди прочего обсуждали и булгаковский роман «Белая гвардия», выступление Поплавского вызвало общее одобрение. Он заявил, что «...“в советской России вовсе нет литературы, и что когда-нибудь, через много лет, о русской революции напишут романы люди, вовсе не участвовавшие в гражданской войне, а сейчас можно писать только по воспоминаниям”. Совершенно неожиданно эти слова имели большой успех. Поплавского наградили шумными аплодисментами» (*P<енорте>p.* На докладе Святополк-Мирского // Возрождение. 1928. 27 марта. С.4).

¹³⁰ *Эренбург И.* Лето в Париже. Из дневника // Дни. 1926. 15 августа. С.4 (первая публ.: Прожектор (М.). 1926. №8, 30 апреля. С.15-17). Отдельной книгой повесть вышла в московском издательстве «Круг» в начале сентября того же года и была встречена резкой критикой: «Никому не нужная, нудная жвачка о самом себе и парижских подонках» (См.: Попов, Фрезинский. Т.2. С.33, 178).

Читатель, уязвленный злой фантазией Эренбурга, спекулировавшей на болезненной теме, предъявил ему целый набор претензий:

...знаете, Илья Григорьевич, я испытываю подлинные угрызения совести, что заставил вас так страдать в этом проклятом Париже. Подробно, смакуя, рассказываете вы, как однажды на последние двадцать франков вы взяли такси. Шофер, оказавшийся русским белогвардейцем Сергеевым, на вопрос свой: «Куда везти», получил от вас энигматический ответ: «Все равно». И вас, непорочного и нетронутого растлением Европы, завез в неприличный дом. Конечно, Илья Григорьевич, вас не соблазнили продажные женщины – кто в этом позволит себе усомниться? Тогда шофер поволок вас в другую комнату, где подлые и извращенные люди насильовали козу. Но вы и тут устояли, что делает вам честь. Наконец, шофер предложил вам собственную свою жену. Но вы с героизмом, достойным быть отмеченным, отказались и от этого. Вот что, как вы уверяете, приключилось с вами в Париже. <...> Итак, вы оказались в конце концов в Париже, без которого, уверяли, не можете жить, вне которого не в состоянии творить. И вы творили и творите, пишете без отдыха обо всем и ни о чем, и дописались до козы.

Предположим, что все, вами описанное, так и было. На ответ человека в помятой каскетке и с грязными ногтями шофер Сергеев везет его в скверный дом; что поделывать: на ловца и зверь бежит.

Но дело не в Сергееве, вы хотите дать тип русского за границей. Пред Россией не данный Сергеев, отвратительный шофер, существующий от доходов с доставки гостей в непотребные дома, а некая социальная категория. Гляди, мол, Россия, как и чем живет эмигрантщина!

И далее... Вы изображаете растленный, гнилой Запад, обреченный на гибель, разлагающийся заживо. У меня нет резона защищать Запад ни от эпигонов славянофильства, ни от наивно-невежественных евразийцев, ни, тем паче, от вашей болтовни, Илья Григорьевич.

Но там – в России – выросло поколение, не знающее тех, кто имел настоящие счета с Европой. Там даже по именам не знают ни И.Киреевского, ни Хомякова, ни Самарина, ни Данилевского. Но в этом поколении, духовно и умственно неподготовленном, живет ненависть (почему – это другое дело) к Европе, главным образом, – по незнанию ее.

И вот приходит литератор, который примерами, понятными даже для комсомольца, утверждает эту ненависть. Да разве вся ваша статья не может быть опровергнута необычайно легко: 1) сядя в такси, не говорит: «Вези, куда хочешь»; 2) мойте руки,

носите чистое белье и не имейте вид подозрительного субъекта. Иначе в распутном Париже, как в девственной Москве, все равно, в каком бы городе, Илья Григорьевич, сие бы не произошло, вас наверняка доставили бы в это самое место.

Ну-с, а если вдруг все это попросту... вранье?

Ведь могло случиться и так, что вам нужны были деньги, и вы решили потрафить на вкус невзыскательного читателя или, того хуже, хотели заслужить милость начальства, чтобы заполучить заграничный паспорт и отбыть в нашу подлую Европу, где все же для вас приурочены «Ротонда», мифическая коза и разбитое такси Сергеева.

Что ж, приезжайте, милости просим, и, если захотите чему-нибудь поучиться, я отправлю вас, прежде всего, в баню, приобрету за свой счет (я – не скуп) приличную шляпу, и в новом для Эренбурга виде сумею ему кое-что показать, кое-чему научить. У меня нет приюта для исправления совершеннолетних, но брату-писателю я всегда готов помочь словом и делом, не только помышлением.

А теперь, Илья Григорьевич, об очень серьезном.

Господь дал вам слово, оно священо, особенно, когда запечатлено на бумаге. И слово лжи, слово фальши, слово змеинное – страшное преступление перед Богом, перед своей совестью, перед людьми.

Лучше молчать, чем лгать, фальшивить и соблазнять неправдой.

И второе: человеку от рождения отпущена мера. Это мера горестям, радостям, любви, ненависти, уму, глупости, талантам и бездарности. И вам Господь отпустил всего в меру. Он дал вам небольшой талант, остроту глаза, способность к приспособлению, несомненный, хотя и очень земной, ум.

Этот ваш небольшой талант вы обязаны хранить, как Божий дар, не растрчивать, а, напротив того – совершенствовать и утверждать в правде. Что делаете вы с данным вам талантом? Имеете ли вы право перед своей совестью, как гибка бы она ни была, опускаться до последней ступени скверной выдумки, до соблазнения противоестественной мерзостью? Даю вам слово, Илья Григорьевич, я читал вашу статью с ужасною болью за вас, с тоской человека, на глазах которого духовно сам себя убивает другой человек.

Кто вас тащит на веревке?

Зачем вы, как блудливый козел, сами себя растлеваете?¹³¹

¹³¹ Рысс П. Блудливый козел. Репортажи московских журналистов (в частности, М.Кольцова) о жизни эмигрантов неизменно встречали негативную ре-

Отвечать на эти упреки Эренбургу не пришлось, да, видимо, и не очень хотелось, – он вернулся в Париж в начале сентября, совершенно уверенный в том, что московский успех стоит дороже парижских дрызг. Наряду с литературными планами, большие надежды он возлагал на кинолекции: «я показывал в Москве отрывки французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов»¹³². Познакомившись с работами новой советской киношколы, писатель решил пропагандировать ее достижения в Париже.

Первые же опыты подтвердили правильность этих расчетов¹³³, но наладить дело мешала медлительность чиновников, от которых зависело получение необходимых киноматериалов. Летом 1927 Эренбург вновь предложил парижскому представителю «Совкино» свои услуги по организации показов советских фильмов. Эта идея, безусловно, была привлекательной, но категорически не устраивала кандидатура устроителя: «гражданин Эренбург – совершенно ничего не значащая фигура в местной кинематографии, и поэтому поручить ему пропаганду наших фильмов лишено всякого интереса». Не смутившись новым отказом, писатель обратился к ответственному партийному и кинематографическому функционеру Кириллу Шутко, посетившему Париж. Тот навел справки у доверенных лиц (у Жермены Дюлак и Леона Муссинака), и те еще раз подтвердили, что ничего не знают о роли Эренбурга в киномире¹³⁴. Впрочем, эта неудача не расхолодила писателя, а стимулировала его обращение к денежному ремеслу сценариста и сотрудничеству с видными мастерами западного экрана – Георгом-Вильгельмом Пабстом и Льюисом Майлстоуном¹³⁵.

акцию. См., например: *Ренников А.* Трактирные корреспонденты // Возрождение. 1926. 19 июля. С.3.

¹³² См.: Эренбург. Кн.5. С.191. В этом качестве писатель дебютировал 9 июня 1926 в кинотеатре «Малая Дмитровка» – лекцией «Новое французское кино». Основные ее тезисы см.: *Эренбург И.* 1) Новое французское кино // Советское кино (М.). 1926. №4-5; 2) Захват искусства // Советский экран (М.). 1926. №27.

¹³³ Биографы указывают, что в сентябре 1926 Эренбург читал лекции о советском кино в популярном киноклубе «Vieux Colombier» и тогда же обратился с просьбой к С.Эйзенштейну предоставить фрагменты фильмов «Стачка» и «Броненосец “Потемкин”» (см.: Попов, Фрезинский. Т.2. С.174-175), однако это разрешение было вне компетенции режиссера.

¹³⁴ См. письмо заведующего фото-киноотделом Парижского торгпредства В.Голована Председателю Правления «Совкино» К.Шведчикову (29 июля 1927; Париж – Москва). – РГАЛИ. Ф.2496. Оп. 2. Ед.хр. 3. Л.44-46.

¹³⁵ Характерно, что попытки сотрудничества с советскими студиями закончились для Эренбурга неудачей. См.: Попов, Фрезинский. Т.2. С.33. Свой кине-

Начало 1930-х стало рубежом в судьбе Эренбурга. С этого времени он окончательно перешел в разряд советских командированных, выполняющих специальные задания. Первой эту метаморфозу засвидетельствовала парижская префектура, в апреле 1933 пополнившая досье писателя новой справкой, суммировавшей его новое положение:

Предварительная информация о том, что советский писатель Эренбург Эли, именуемый Илья, якобы является автором сценария фильма о жизни Горгулова, была опубликована в минувшем декабре в киноразделах различных французских и зарубежных журналов и газет, однако она ни на чем не основана¹³⁶. Эренбург не принимал участия в создании такого фильма. По имеющимся данным, советское руководство вынуждено было вообще отказаться от его производства. <...> С ноября 1930 он проживал с женой по адресу: 34, Rue du Cotentin, в наемной квартире, платя за нее 12 000 франков в год. Туда он переехал с другого адреса: 47, boulevard Saint-Marcel.

Будучи писателем, он является автором многих произведений, опубликованных издательством <Я.>Поволоцкого¹³⁷ (13, rue Vopararte). Газета «L'Humanite» в номере от 23 сентября 1930 опубликовала за подписью Эренбурга краткое изложение книги «10 лошадиных сил», автором которой он является.

Кроме того, Эренбург уполномочен советской газетой «Известия», издаваемой в Москве, быть обозревателем на процессе Горгулова и вообще представлять советских писателей <во Франции>. Он аккредитован посольством СССР в Париже.

матографический опыт писатель суммировал в 1963. См.: И.Эренбург: Кино, театр, жизнь / Публ. С.Чертока // Русская мысль. 1998. 27 января.

¹³⁶ Сообщая о сценарных работах Эренбурга для советских киноорганизаций, московская газета указала, что сценарий «Горгуловщина» пишет Аркадий Бухов (см.: Кино. 1932. №33, 18 сентября. С.4).

¹³⁷ Поволоцкий Яков Евгеньевич (наст. фамилия Бендерский; литературный псевдоним Михаил Плахотников; 1881–1945) – уроженец Одессы, социалист; эмигрировал во Францию в 1908. С 1914 – книгопродавец, издатель, видный масон. Осенью 1917 он чуть было не подвергся высылке из Франции за тесные контакты с анархистом В.Кибальчицем (Виктором Сержем). В конце 1930-х парижскую полицию заинтересовали его тесные контакты с советскими дипломатами, а также возможная причастность Поволоцкого к похищению генерала Е.Миллера и к убийству И.Рейсса. См. об этом материалы полицейского досье: Archives de Prefecture. Cart.2. №98853. Поволоцкий погиб в результате несчастного случая: «21 декабря <1945>, в 6 час<ов> веч<ера> на бульваре Сен-Жермен на него налетел грузовик. Я<ков> Е<вгеньевич> был поднят прохожими и отвезен в военный госпиталь Валь-де-Грас, где скончался в день Рождества, не приходя в сознание» (<Б/н.> Трагическая гибель Я.Е.Поволоцкого // Русские новости (Париж). 1946. 4 января. С.7).

11 марта 1933 он выступил на литературной конференции, организованной Союзом советских студентов в Musee Social по адресу: 5, rue Las Cases.

На дом он получает обширную корреспонденцию, среди которой отмечено много писем и газет из Германии, в частности, из Кенигсберга. Эренбург поддерживает отношения с различными писателями большевистского толка, в частности, с Шарлем Вильдраком¹³⁸.

5 сентября текущего <года>, подавая документы для продления вида на жительство, он представил рекомендации г-на Анатоля де Монзи из Министерства народного образования и г-на Гастона Бержери, депутата <Национального Собрания> от <департамента> Seine-et-Oise.

Его дочь Ирина проживает в Москве. 6 августа 1932 она приехала к родителям в Париж и через непродолжительное время вернулась обратно. До этого она уже проживала в столице <Франции> – с октября 1924 по октябрь 1931, после чего уехала в Москву.

Вместе с женой Эренбург выезжал в СССР в конце августа 1932. После пребывания в Москве, а затем в Сибири, они вернулись в Париж в начале ноября.¹³⁹

Через год это превращение стало очевидным и для эмигрантов. Прослушав очередной доклад Эренбурга, Георгий Адамович отметил прежде всего психологические перемены, происшедшие с докладчиком, и привел образцы его обновленной мысли:

Эренбург рассказывал о московском съезде писателей, с которого только что вернулся. Кто давно его не слышал, сразу заметил, конечно, перемену в манере читать и держаться на эстраде... Вероятно, подействовало пребывание в Москве. Эренбург перестроился. Прежде это был усталый скептик с потухшими глазами, с глухим голосом. Прежде на эстраде стоял «мудрец», медленно и задумчиво ронявший глубокие, редкие слова... Теперь нашим взорам предстал энтузиаст с бодрой социалистической зарядкой. Главный тезис доклада – о том, что строительство преобразует человека, – нашел в Эренбурге яркое и наглядное подтверждение.

О чем он говорил? О том, что съезд произвел на него неизгладимое, незабываемое впечатление, о том, что ни в одной стране

¹³⁸ Вильдрак Шарль (наст. фам. Мессаже; 1882–1971) – поэт, драматург, эссеист. В годы Первой мировой войны был пацифистом и примыкал к группе Р.Роллана и его журналу «Clarté», но отошел от них после 1919, не приняв чрезмерного увлечения русским большевизмом. Тем не менее в 1928 он посетил СССР.

¹³⁹ Archives de Prefecture. Cart.2. №39817.

не было бы возможно что-либо подобное, о том, что «мы и только мы наследники мировой культуры», о том, как прекрасна жизнь в «нашем Союзе», как она убога на гниющем Западе – и о многом другом в том же роде. Фактов в докладе было мало. Были, главным образом, впечатления. Кстати, назывался доклад «Впечатления о съезде». Надо полагать, что это в результате недавней дискуссии о чистоте языка было постановлено говорить не о «впечатлениях от», а «впечатления о»...

Образец афоризмов:

– Простой полевой цветок меняет свое политическое значение в зависимости от того, по какую сторону Негорелого он цветет (за дословность ручаюсь. – Г.А.).

Образец острот:

– Эмигранты, как известно, клянутся Пушкиным. Для них Пушкин, что Бог – одно и то же. Бога мы им с удовольствием уступим, ну, а Пушкина – нет...

Образец иллюстраций к положениям доклада:

– Французский писатель Андре Мальро после съезда отправился на Кавказ. По пути аэроплан, на котором он летел, должен был снизиться. Глушь, поля, какой-то колхоз вдали... Колхозники, простые крестьяне знали, кто такой Мальро, и радостно приветствовали его.

Это – что и говорить – действительно, чудо! Но чудеса в СССР происходят ежедневно – и удивляться не приходится. Много более удивительно, что в сообщении видного советского писателя было один только раз – да и то вскользь – упомянуто имя Алексея Максимовича и ни разу – ни разу! – имя Иосифа Виссарионовича. На лицах некоторых почетных слушателей в первом ряду можно было прочесть горестное изумление. Один раз Эренбургу представился удобнейший случай назвать Сталина. Он с презрительной улыбкой говорил о том, что иногда советских писателей обвиняют в угодливости, прислужничестве и вообще в избытке верноподданнейших чувств.

– Кому же мы прислуживаем? У кого же мы в рабстве? – разводил руками докладчик. – Кто нами командует? Не понимаю!

Публика молчала – и делала вид, что не понимает тоже.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Г.А.<дамович>. На лекции Эренбурга // Последние новости. 1934. 30 октября. С.4. Эта перемена в облике Эренбурга отразилась, как мы полагаем, и в анненковском портрете писателя, сделанном в кафе «Dome» в том же году. См.: ДМВ-2. С.197. Ср. также с частным отзывом: «Значит, Вам не понравился наш общий друг Эренбург? Балда! Имел свою писательскую физиономию, стал бесцветным псаломпевцем. Исподхалимились все до потери человеческого образа! А знаете, как это происходит? Позволит себе человек раз покривить душой, а дальше оправдывается сам перед собой, что, мол, я именно так и думаю, а не

* * *

Напротив, Анненков к началу 1930-х практически освободился от советских обязательств¹⁴¹, но окончательно рвать с Москвой не спешил и, пока было возможно, сохранял связь с родиной. Зная о том, что заграничные письма в СССР перлюстрируются, он микшировал в них частные новости и комментарии с выражениями гражданской лояльности. Весной 1930 он, например, писал доверенному адресату:

В моменты отдыха, когда голова моя освобождается от ежедневных дел, я острее всего чувствую мою тоску по Союзу и рвусь в Москву. *В такие минуты я особенно завидую твоему счастью. К сожалению, работа моя еще настолько меня сковывает, что я никак не могу вырваться.* <...> Потрясен смертью Маяковского, но не хочу говорить о печальном.¹⁴²

В это время Анненков был и в самом деле очень занят – готовил творческий отчет за первые парижские годы для галереи «Bing», где предстал перед публикой в амплу чистого живописца. После 1928 о художнике все реже и прохладнее отзывались советские критики, но им заинтересовались эмигранты. Новая экспозиция удостоилась пространного монографического отзыва. Хотя живописные эксперименты Анненкова оставили рецензента равнодушным, он дипломатично переплел критику с похвалами, а спорность его работ

вру. И в порядке такого самооправдания катится дальше, уже не за страх, а за совесть, и еще на других покрикивает! Люди любят быть рабами!» (Письмо М.Осоргина Е.Кусковой от 1 января 1936; Париж – Прага. – ГАРФ. Ф.5865. Ед.хр.373. Л.70об.).

¹⁴¹ Советские граждане уже воспринимали его как эмигранта. Ср.: «В Париже Замятин как-то быстро потерял себя. <...> Все больше сближался с русскими эмигрантами, подружился с Юрием Анненковым. Мы виделись все реже и реже» (Савич А. «Минувшее проходит предо мною...»: Из воспоминаний / Публ. Б.Фрезинского // Диаспора. Т.5. СПб.; Париж, 2003. С.88).

¹⁴² Письмо Ю.Анненкова Л.Никулину (апрель 1930; Париж – Москва). – РГАЛИ. Ф.350. Оп.1. Ед.хр.121. Л.1. Курсив наш. Свое отношение к смерти Маяковского Анненков выразил, подписав телеграмму с соболезнованиями, которая была адресована директору Третьяковской галереи М.П.Кристи русскими художниками Парижа – Ильей Зданевичем, Робертом Фальком, Жаком Липшицем, Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Сергеем Чехониным, Марком Шагалом, Осипом Паскиным и др. (опубл.: Известия (М.). 1930. 12 апреля. С.2). Впоследствии его отношение к поэту кардинально изменилось. Ср.: Анненков Ю. Путь Маяковского // Возрождение: Литературно-политические тетради (Париж). 1960. Тетр. 106; см. также: ДМВ-1. С.178-209. Здесь же укажем, что в июне 1930 Анненков участвовал еще в одной советской акции: он был декоратором гастрольных спектаклей театра Вс. Мейерхольда в парижском театре Montparnasse и, кроме того, развернул в театральном фойе выставку картин группы левых художников. См.: ДМВ-2. С.78-84.

изящно объяснил тем, что «самые выдающиеся русские художники в Париже находятся сейчас в процессе нелегкой борьбы с собственной природой, не поддающейся магическим словам и заклинаниям современности». Критик подтвердил, что Анненков «обладает всеми данными выдающегося графика и гравера» и аргументировал это следующим образом:

Этими чертами определяется его художественная индивидуальность; ими сильны, не говоря о его рисунке, и все его работы, сделанные маслом. <...> Выставка Анненкова <...> в большей своей части состоит из совсем новых работ художника, со всей характерной для него последовательностью и теоретической ясностью отдающего себя во власть живописной стихии. Это почти беспредметная живопись, не связанная ни формой, ни цветом, ни расстоянием. <...> И все-таки <...> впечатление от красок, их цвета и от поверхности картин является очень сильным, старая привычка различать предметы и непосредственное чувство остаются навливают наше внимание на замаскированных контурах, на каком-то архитектурном равновесии, и вы угадываете в красочном буйстве какой-то свой порядок и вместе с цветом чувствуете и свет. Художник не может уйти от самого себя, как Сальери не может стать Моцартом.¹⁴³

Осенью 1930, как уже было отмечено выше, началось сотрудничество художника с Никитой Балиевым. В его театре Анненков дебютировал в инсценировке «Пиковой Дамы» (режиссеры Н.Балиев и Ф.Коммиссаржевский), разработав для нее эскизы декораций и 110 костюмов. Премьерный спектакль, состоявшийся 20 января следующего года, был восторженно встречен парижской публикой, но не эмигрантскими обозревателями, которые отнеслись к нему весьма придиричиво. Описывая «офрануженную» сценическую адаптацию Пушкина, они отметили оригинальное декоративное оформление спектакля, которое, кажется, совершенно заслонило от них режиссуру и игру актеров:

Встречено общими рукоплесканиями появление старой графини на площади перед домом среди (несколько нагроможденных) памятников петербургского зодчества. Зимне-мглистый колорит передан с тонкой правдой, а графиня, сгорбленная, пригнутая к земле, с выездными лакеями – гигантами по бокам, символична и картинна. Не раз теперь будет использован эффект движущихся за окнами силуэтов, танцы которых на балу испанского посольства наблюдает с улицы Герман-н>. Балиев воспроизвел

¹⁴³ *Малянтович Вс.* Выставка Ю.П.Анненкова // Последние новости. 1930. 20 мая. С.3.

громадные тени, фантастические¹⁴⁴. Это у него идет рука об руку со стилем фантастической сказки... В этой фантастике вся мысль постановки. Не повесть Пушкина, простая и реальная, с выписанными подробностями, воскрешается, а бред, ретроспективные видения Герман<н>а в сумасшедшем доме... Это надо помнить. Перед нами действительные события в отражениях воспаленного мозга галлюцината. Это дает художнику постановки большой простор, он менее связан, он может удлинить, закруглить, сделать замысловатой ту или иную линию, прибавить здесь лиловый шарик, залить светом окно, стену обратить в облака...¹⁴⁵

Другой критик отнесся к работе декоратора более придиристо, обнаружив в ней профессиональные огрехи и невнимательность:

Для зрительного осуществления одиннадцати картин Балиев пригласил художника Анненкова. Мы знали его по известным портретам с разнообразной фактурой, с символическим реализмом в нагромождениях подробностей, в глаза смеющихся требованиям пространства и времени. Как бы ни «видел» Анненков, это всегда сильная призма, и его «преломления» бьют по зрителю. Самые значительные из данных им картин – версальский игорный дом, петербургский зимний пейзаж, бал и спальня графини.

В версальском игорном доме оригинален покаты́й (в сторону зрителей) стол, благодаря чему картина получает некую плоскую перспективу, придающую ей нечто гоб<е>леновое. Петербургский зимний вид собирает в одно место несколько типичных памятников над Невой: ростральную колонну, один из павильонов Адмиралтейства, льва с поднятой лапой; все занесено снегом, и этот конденсированный Петербург производит впечатление. Мешает ваза на крыльце (единственный не писанный предмет) и крыльцо, совершенно не похожее на крыльцо петербургского особняка, да и ни одна барыня, в особенности восьмидесятилетняя, не вышла бы на улицу, когда карета не подана...<...> В спальне графини довольно странный угол образов: огромный лик Христа, большой, как на церковном куполе, смотрит свирепо и точно ждет смерти старухи, чтобы с нею расправиться. Тут, очевидно, не без символизма, так и сборные памятники в предыдущей картине Петербурга могли символически свидетельствовать о распаде «творения Петра». Картина была

¹⁴⁴ Этот эффектный прием, несомненно, был заимствован постановщиками и декоратором у кинематографа. Ср.: «все сводится почти к живым картинам, которые... заговорили. Нечто вроде говорящего кино, первых его попыток» (Р.Б. «Летучая Мышь» // Мир и искусство (Париж). 1931. №3, 1 февраля. С.14).

¹⁴⁵ *Чебышев Н.* Новый спектакль «Летучей Мыши» // Возрождение. 1931. 21 января. С.3.

поставлена очень оригинально. За большими окнами до полу (как в Трианоне) движутся танцующие тени. Но здесь есть непростительная ошибка: простенки между окон столь же сквозные, как и оконное стекло. Если это не ошибка, а «нарочно», то это еще менее простительно. <...> Совсем неудачная картина, по моему, – склеп. Положим, он производит впечатление жути <...>, но она лишена какого бы то ни было стиля, она неприятна по своей «абстрактности» среди картин, не гнушающихся воскресить черточки быта.¹⁴⁶

Общий вывод для создателей спектакля был неутешительным: «На этот раз Балиев не нашел то, что искал. Двадцать лет тому назад мышь родила гору. На этот раз, увы, гора родила мышь»¹⁴⁷.

Тем временем, Анненков решил объясниться с критиками, выступив в образе непонятого мэтра:

Театральные декорации <...> вряд ли могут сделать какой-либо вклад в художественный опыт живописца. В театре он никогда не бывает в состоянии выразить себя окончательно, и вынужден идти на целый ряд компромиссов. Кроме того, этот род искусства слишком нематериален и эфемерен. Театральный декоратор, даже достигший при жизни значительной известности, не оставляет после себя никаких материальных следов. Бледный эскиз, весьма непохожий на самый спектакль, – слабый и неверный отголосок блестящего подчас события, да еще впечатление очевидцев – вот все его наследство.

Затем, театральные декорации, как и весь театральный спектакль в целом, бывают рассчитаны, в подавляющем большинстве случаев, на вкусы широкой публики и, следовательно, не

¹⁴⁶ Волконский С. «Пиковая Дама» // Последние новости. 1931. 21 января. С.2. Во втором отделении была представлена опера-буфф «Контрабас», написанная по мотивам чеховского рассказа «Роман с контрабасом» и оформленная тем же Анненковым. Декоративное оформление этой вещи, решенной «вне времени и места», критика не удовлетворило и, по-видимому, заслуженно: после нескольких представлений этот номер был исключен из программы. О спектакле см. также: Шлецер Б. Театр Балиева. Опера-буфф Соэ «Контрабас» // Там же. 22 января. С.4; П.М.<уратов>. Каждый день // Возрождение. 1931. 22 января. С.2; Чехов М. Интерпретация классиков и новый спектакль Н.Ф.Балиева (Театр Мадлэн в Париже) // Новая газета (Париж). 1931. №1, 1 марта. С.13; Н.Ч.<ебьшев>. По театрам Парижа // Иллюстрированная Россия. 1931. №7, 7 февраля. С.15. Ср. также: «В позапрошлом году я поставил “Пиковую даму” с иностранными артистами, с гениальными декорациями Анненкова» (цит. по: Подводя итоги. Письмо Никиты Балиева Юрию Ракитину / Публ. В.Иванова // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века. М., 2004. Вып.3. С.241).

¹⁴⁷ Р.Б. «Летучая Мышь».

могут быть «строгими». Эти декорации должны производить непосредственный, стремительный эффект. Они должны поразить зрителя тотчас после поднятия занавеса, так как в следующее мгновение внимание публики будет уже перенесено на игру актеров. Поэтому декорации, встреченные аплодисментами, изобличают не столько художественный талант их автора, сколько его ум и способность угадывать наиболее чувствительные стороны в психологии массового зрителя.

Художник, занимающийся станковой живописью (картины) в своей мастерской, часто остается неоцененным при жизни, но его произведения могут зато ожить через десятки и даже через сотни лет после его смерти. Театральное представление без непосредственного одобрения публики существовать не может. Отсутствие публики в театре означает его фактическую гибель.

Поскольку, однако, театральные зрелища нужны все же современникам и поскольку театр существует, – театральные выступления (не очень, правда, частые) бывают для художника полезными. В самом деле, мы так много времени проводим с четырехугольниками наших холстов, над разработкою и совершенствованием материальных элементов живописи, что иногда потребность в некотором антракте, в известном перебое в нашей художественной деятельности становится непреодолимой. В таких случаях театр является для нас той призрачной, насыщенной искусственным светом страной, куда мы уходим от своего одиночества для живого общения с людьми, к коллективной с ними работе.¹⁴⁸

Профессиональное кокетство и тон самозванца-наставника рассердили Александра Бенуа. Он пронизательно усмотрел в этой декларации желание «не столько поделиться своими личными творческими переживаниями, сколько поведать некие общие мысли. В мыслях этих я, однако, почую отражение известных “ересей” нашего времени». Бегло описав исторические вехи русской школы сценографии, маститый живописец и сценограф подверг своего оппонента уничтожающей критике:

О чем, в сущности, говорит Анненков в своей беседе? Какие именно декорации он имеет в виду и, в частности, что, в сущности, он подразумевает под словами: «театральные декорации вряд ли могут сделать какой-нибудь вклад в художественный опыт живописца»? Начать с того, что, с точки зрения *театральной*, такое «усумнение» вообще не представляется чем-то значительным. *Театру* нет дела до того, могут ли декорации или не могут сделать какой-либо вклад «в художественный вклад живо-

¹⁴⁸ *Маянгович Вс.* Театр и художник // Последние новости. 1931. 10 февраля.

писца». Театр, оставаясь, как-никак, даже и сейчас настоящим господином у себя, в своей сфере, может обернуть вопрос иначе и спросить: «какой вклад живописцев может сделать в театральное дело?» Тому же художнику, который не сумеет дать прямой ответ, театр вправе сказать: ищите других путей – без таких людей, как вы, без людей, нам не беззаветно преданных, мы можем обойтись, от вас нам пользы ожидать нечего. До сих пор вы, посторонние и оставшиеся посторонними, только способствовали той путанице, которая сейчас царит в наших владениях. Ну, а затем, во всей остальной беседе Анненкова проглядывает именно то, что, с моей точки зрения, и является ересью, что меня в качестве таковой возмущает. <...> Ю. Анненков в своем живописном «эгоизме», от которого его, по-видимому, не вылечила работа в театре, – те любопытные, но не очень внимательные к существу иллюстрируемых пьес декорации, которыми он снабдил постановки в Петербурге (в них он в сильной мере отдавал дань конструктивизму), – толкует об «эфемерности декорационного искусства» и оплакивает то, что даже достигший значительной известности театральный художник «не оставляет ничего после себя». Но разве это так? <...> И неужели Ю. Анненков может с убеждением говорить о том, что театральные декорации рассчитаны на вкусы широкой публики и, следовательно, якобы, не могут быть строгими? <...> Не ересь ли и фраза Ю. Анненкова: «Театральное представление без непосредственного одобрения публики жить не может». *Ничто* не может жить без одобрения публики. И Парфенон, пожалуй, разрушился из-за недостатка «одобрения» публики. <...> Отчего же не предположить, что то же самое произойдет и с театральным искусством, в частности, с презираемыми Анненковым «бледными эскизами»? Мириады того, что выставляется в Салонах и в неисчислимых «галереях», исчезнет бесследно, а вот, по той же иронии судьбы, может случиться (и это желательно), что «бумажки с театральными идеями» – «бледные эскизы» – сохранятся.

И я убежден, что польза от этих спасенных «бумажек», польза от радости, которую способны будут получать подобные «образные комментарии» к созданиям великих поэтических и музыкальных гениев, такие «сувениры» о великолепии театральных зрелищ «доброто старого времени» не уступят в значительности «пользе» от тех спасенных станковых упражнений, в которых «живущие с веком» художники в наши дни пытаются доказать (себе и другим) свою причастность к актуальности и свое служение кумиру загадочной и коварной «будущности»...¹⁴⁹

¹⁴⁹ Бенуа А. О «театральной декорации» // Там же. 1931. 21 февраля. С.2-3. Незадолго до того художник раскритиковал модернистский опыт иллюстриро-

Этот спор не получил продолжения, а через два года, когда «Летучая Мышь» вернулась из заграничного турне в Париж, Балиев возобновил ангажемент Анненкова и поручил ему оформление юбилейной программы «Балиев улыбается», посвященной 25-летию театра. На этот раз Сергей Волконский был более благосклонен к сценографу:

«Весь спектакль вырывал нас из повседневности, пересаживал в иное. То в русский деревенский лубок, то в лубок русско-ампирного Петербурга <...>. То нас выносило на вершины Альп или опускало в скотопригонный дворик русской деревни. Остроумное смешение писаной декорации с живым человеком раздвигало рамки полотна и картонажа. Все ярко, метко, в малых средствах красноречиво. И все время весело, все время смешно.¹⁵⁰

В следующем сезоне художник удостоился еще больших похвал:

Не колеблясь признаю, что лучшими номерами были сцены бессловесные. «Поэма любви» по старинной гравюре, где пастух и пастушки пляшут вокруг статуи Амура, – очаровательнейшая

вания литературной классики (прежде всего, Марка Шагала – за его интерпретацию «Мертвых душ» и «Басен» Лафонтена). Оспаривая монополию на новаторство, которую пытались присвоить себе мастера молодого поколения (а к ним, несомненно, относил себя и Анненков), считавшие старших старомодными, он писал: «Не являются ли истинными предателями <современности>, скорее, те, кто из разнообразных побуждений (или попросту по заблуждению) служит чудовищному делу постепенной подмены всего искреннего, подлинного, разумного, изящного и гармоничного кривлянием, подделкой, безумием, уродством и разложением? <...> Разве не предатели те лукавые служители художественного Меркурия, которые спекулируют на чванливости и безнадежном невежестве новых господ Журденов, стремящихся за свои деньги со дня на день достичь высших рангов передовитости? Разве не предатели и те художники, подчас даровитые, по натуре тонкие и чуткие, которые, поддаваясь соблазнам моды или страшась отстать, отдают свои силы на гадкое баловство, на такие ужимки, на такие скоморошества, рядом с которыми все дурачество Маскарilha должно показаться истинным изяществом? Какой ужас, когда эти талантливые люди, поверив в кликушество выдрессированных по-модному ценителей, теряют настолько свое личное достоинство, что решаются служить делу кощунства в отношении величественных произведений человеческого духа, заслоняя своими кувырканиями и своими гримасами то самое доброе, то самое прекрасное, то самое ценное, что являют собой произведения истинных гениев, едва ли гарантированных от общей обреченности, раз такие кощунства в наши дни терпятся и не вызывают никакого возмущения...» (*Бенуа А.* О книжной иллюстрации // Там же. 1931. 23 января. С.2-3). Здесь же отметим, что в конце 1910-х Бенуа высоко ценил талант молодого Анненкова: «прекрасный рисовальщик (но тоже не без скомороха) Анненков (я бы даже не отказался приобрести две его вещи) (запись в дневнике от 5 декабря 1917; цит. по: *Бенуа А.* Мой дневник. 1916 – 1917 – 1918. М., 2003. С.294).

¹⁵⁰ *Волконский С.* «Летучая Мышь» // Последние новости. 1933. 18 мая. С.4.

картинка. Сентиментальный пейзаж с намалеванными овечками и маргаритками полон юмора. Костюмы и бледны, и красочны. <...> Другая мимическая сцена «Экстаз скрипача». <...> На фоне желтой стены старый скрипач в зеленом костюме 18 века заливается <так!>, и его музыка вызывает несколько танцующих девушек и одного юношу. Декорации Анненкова. Работа весьма интересна по малости средств и полноте впечатлений. Любопытна нарочитая неряшливость исполнения: она ставит под знак вопроса самое требование точности: *нужно ли*, чтобы, например, в окне стороны были параллельны, а все четыре угла прямы? По-видимому, не нужно, и правы дети, этого правила не соблюдающие. Прав, во всяком случае, умеет быть правым и Анненков. <...> Не может обойтись спектакль «Летучей Мыши» без русской сцены. И мы видели в забавной картине Анненкова, изображающей со свойственными ему «декадентскими» перетасовками вывесок, заборов, куполов, забавную пляску четырех работниц с матросом, в которой нарочитая безвкусица красок и покроя слилась в ярком калейдоскопе.¹⁵¹

Помимо выставок и театра, были у художника и другие дела, о которых Москва не должна была знать. В начале апреля 1931 в Париже возобновился журнал «Сатирикон». История этого издания в общих чертах известна¹⁵², но роль Анненкова в нем явно недооценена, хотя инициатор этого издания в своих воспоминаниях отстал художнику центральную роль: «главный застрельщик, блестящий Икс, который свои литературные произведения подписывал именем Тимирязева <так!>, а под рисунками к карикатурам ставил другой псевдоним – Шарый. <...> Графическая сатира таинственного Шарого была и просто замечательна»¹⁵³. Мы полагаем, что Анненков пользовался не одной журнальной маской. Кроме карикатур и шаржей «А.Шарого»¹⁵⁴, его рука узнается и в других рисунках,

¹⁵¹ Волконский С. Театр Балиева // Там же. 22 ноября. С.3. В анонсах спектаклей особо отмечалось, что «весь театр («La Fontaine» на Монмартре. – Р.Я.) заново декорирован по рисункам Ю.Анненкова» (<Б/п.> «Летучая Мышь» // Там же. 18 ноября. С.3).

¹⁵² См.: Иванов А. Парижский «Сатирикон» // Евреи в культуре русского Зарубежья. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Т.4: 1939–1960. Иерусалим, 1995; Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940: Периодика и литературные центры. М., 2000 (статья Л.Спиридоновой); Спиридонова Л. Журнал «Сатирикон» // Литература русского Зарубежья. 1920–1940. Вып.3. М., 2004.

¹⁵³ Цит. по: Дон Аминадо. Наша маленькая жизнь. Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания. М., 1994. С.701-702.

¹⁵⁴ Можно предположить, что псевдоним «А.Шарый» имел «живописную» этимологию и, как и «Темирязев», – тюркские корни. Указания на это см. в: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т.4. С.406-407.

подписанных псевдонимами «Ш», «Шварц», «С.Белавин», «Эр. Ницше» (иногда – «Е.Ницше»), «Н.Ильин» (в журнальных анонсах – «Юр. Ильин»¹⁵⁵) и в фотомонтажах «Степанчича»¹⁵⁶. Не исключено, что он был автором и некоторых литературных публикаций «Сатирикона».

Еще через три года Анненков представил парижской публике новую экспозицию в галерее престижного журнала «Art et Decoration», на этот раз составленную только из графических работ. Это решение понравилось рецензенту, неодобрительно относившемуся к его «сторонним» увлечениям:

...в разных парижских театрах, а затем в Лондоне и Нью-Йорке его театральные работы, декорации и костюмы явились предметом редких по своему единодушию критических оценок. Но в европейском представлении театральное искусство художника – искусство, если и <не> низшего порядка, то такое, с которым он все же стесняется показываться на своих больших выставках¹⁵⁷. Рисунки тоже ведь не имеют широкой убедительности живописи. Подозревать, однако, Анненкова в какой-то депрессии не приходится. Вот если бы он вдруг перестал рисовать или работать для театра – это другое дело. Тогда можно было усомниться, нашел бы он в живописи выход самым замечательным особенностям своего дарования, расцветающим на сцене, на страницах книг и на листах бумаги?¹⁵⁸

Этот отзыв представляет особую ценность для биографа художника, так как его автор достаточно подробно перечислил темы и работы Анненкова этого периода:

Здесь художник с большей, пожалуй, силой и ясностью развивает последние свои «идеи» <...>. В нынешних рисунках тема

¹⁵⁵ Этим псевдонимом подписаны, например, иллюстрации к роману Ильфа и Петрова «Золотый теленок», а также серия натурщиц.

¹⁵⁶ Этим именем подписаны фотомонтажи «Базар житейской суеты» и «Семь дней Сатирикона». Среди других художников, участвовавших в журнале, заслуживает упоминания друг и ученик Анненкова, британский график и аниматор Энтони Гросс (1905–1984), долго живший и работавший в Париже. Он – автор известного гравированного портрета «Счастье Валентины» (1930), в котором запечатлены В.Мотылева и Анненков.

¹⁵⁷ Это мнение расходилось с оценками большинства эмигрантских обозревателей. Ср.: Вейдле В. Выставка Александра Бенуа // Звено. 1926. №201, 5 декабря. С.4-5; Б. Художник Б.Билинский // Театр и жизнь (Париж). 1930. №28, июнь. С.7-8; Волконский С. Выставка Билинского // Последние новости. 1930. 7 мая. С.4; и др.

¹⁵⁸ Малянтович Вс. Рисунки Юрия Анненкова // Последние новости. 1934. 13 июля. С.6.

движущейся толпы с выпадающими из нее отдельными фигурами и по композиции, и по ощущению убедительнее, чем ранее. Здесь мы находим и эволюцию другой, старой темы его гуашей, так часто представляющих голые комнаты с одним-двумя стульями в качестве единственного реквизита. Теперь этот пустой интерьер кажется не только голым, но и покинутым, и такое впечатление зависит не только от ритма линий и красок, передающих мрак помещения, но и оно парадоксально подчеркивается появлением каких-то странных персонажей...

Очень приятным сюрпризом является здесь принадлежащий издательству «Art et Decoration» экземпляр книги, несколько лет назад выпущенной и давно уже разошедшейся книги «Extra-muros»¹⁵⁹, иллюстрированной Анненковым. Эта книга посвящена окрестностям Парижа: Леваллуа, Клиши, Булонь, С<ен>-Клу, Бианкур, Сюрренн. Многие из этих мест стали для нас уже «родными»... Но, помимо такого специфического интереса, для нас эти литографии Анненкова являются, вообще, одними из самых удачных его графических работ по выразительности характеристик, по тонкости юмора, по замечательной тонкости рисунка... Застывшая в объятиях пара, подавляемая громадами домов, «собачье кладбище» – культ трогательного и смешного, «уездные» вывески и витрины в Бианкуре, шеренга человечков перед стальными чудовищами у Ситроена, красивый уголок природы и... реклама «Dubonnet»... Как много можно сказать одними линиями!¹⁶⁰

Весной 1936 Анненков по каким-то причинам решил вернуться в советский лагерь. Сначала он принял участие в юбилейном вечере журнала «Наш союз». Вот что сообщила об этом мероприятии эмигрантская газета:

В «Союзе возвращения на родину» собраны души, обреченные на пребывание в чистилище. Это – существа почти бесплотные, с неясным прошлым и не вполне ясными занятиями, оторвавшиеся от эмигрантского ада и не выпускаемые в советский

¹⁵⁹ Речь идет о литографированном издании: *Cherronet L. Extra-Muros / Préface de J.Romains. 26 lithographies originales par G.Annenkoff. Paris, 1929* (тираж 270 экз.). Начав в 1927 с иллюстраций к роману Ивана Голля «Еврококк» и обложки к книге Андре Сальмона «Art Russe Moderne» (Paris, 1928), художник оформлял и другие издания. См.: *Passage d'une Américaine / Lithographies de G.Annenkoff. Paris, 1927* (тираж 320 экз.); *Durtain L. Crime à San-Francisco / Récit orné de huit lithographies originales de G.Annenkoff. Paris, 1927* (тираж 775 экз.); *Histoire de Madame de Sancy vers. Paris, 1930; Le Cirque et le Music-Hall / Illustré par G.Annenkoff. Paris, 1931.*

¹⁶⁰ *Малянтович Вс.* Рисунки Юрия Анненкова.

рай. В течение многих лет они «возвращаются на родину», оставаясь в Париже... <...> Советская власть разводит их и содержит для заграничного употребления. Родину им заменяют канцелярия посольства и редакция журнала «Наш Союз». Союзам возвращения отведена при полпредствах роль кладовых для хлама, полезного в большом хозяйстве.

Парижский «Союз» праздновал 18 апреля 10-ю годовщину своего основания. Атмосфера в кладовой проветривалась и накачивалась «советским энтузиазмом», с 9 часов вечера до 3 часов утра в зале Ортикультюр, что против полпредства, на улице Гренель. Собралось на торжество несколько сот человек. Вожди и сановники отсутствовали, так как слушали в тот вечер через улицу закрытый доклад Бухарина в здании посольства. Сошел в чистилище только дух вице-консула... Колоссальные усилия блеснуть достижениями остались, таким образом, без должной официальной оценки.

А сколько было сделано! Юбилейный вечер подготавливался, разрабатывался и оформлялся в течение трех месяцев. Сознвая убожество собственных сил, руководители союза мобилизовали монпарнасских художников, давно стоящих, как известно, одной ногой на том берегу, а другой – на этом. В «оформлении вечера» приняли участие многие известные художники. В задачу их входило «скрыть убожество архитектуры зала». Публика бродила, танцевала и толпилась около буфета среди 12-ти больших панно работы Блюма, Вавила, Гарина, Гримма, Егорова, Лурье, Пикельного, Шапира и Эпштейна¹⁶¹. К участию в концертной про-

¹⁶¹ Ср. с анонсом устроителей праздника: «На наше обращение принять участие в оформлении вечера широко откликнулись художественные силы русского Парижа. <...> В задачу художников, украсивших зал, входило скрыть убожество его архитектуры. Это достигнуто двенадцатью большими панно (шириной в 2 метра, вышиной в 7 метров), ритмически члениющих зал. Основная тема всех панно – “труд и отдых”» (Наш Союз. 1936. №3; 4-я стор. обложки). Кроме указанных художников, в оформлении вечера участвовала разношерстная компания профессионалов и любителей: Алтухов, Юрий Анненков, Иван Билибин, Ксения Богуславская, Мария Васильева, Альберт Вейнбаум, Вешке, Хаим Грановский, Илья Зданевич, Андре Ирис, Сергей Карский, Михаил Кикоин, Любовь Козинцева, Кольская, Иосиф Константиновский, Котляр, Михаил Ларионов, Павел Мансуров, Хаим Липшиц, Иван Пуни, Ройтман, Симон Сегаль, Хаим Сутин, Марк Стерлинг, архитектор Талмадский, Константин Терешкович, Роберт Фальк, Адольф Федер, Осип Цадкин, Цитронович, Борис Шатцман, Сергей Фотинский и Евгений Лурье. Оформлением ведевила А.Льдова «Осьмнадцатая весна, или Дедушкин сюрприз», входившего в художественную программу вечера, занималась Ариадна Эфрон, балет «Марш красной пешки» оформил Владимир Барт (Там же). См. также: <Б/н.> Наш вечер // Там же. №4. С.9-12.

грамме были привлечены известные исполнители. Казалось, с такими силами многое можно сделать. Но зал выглядел претенциозно и жалко, а концертная программа не имела успеха. Слишком очевидно было желание участников выслужиться перед начальством и потрафить официальному вкусу, о котором у них, оторванных от родины, нет, собственно говоря, верного представления... <...> Публика пыталась отыгаться на буфете. Но пайки в буфете отпускались голодные. Приходилось бегать в соседнее бистро за рюмкой рома. К полуночи значительная часть собравшихся уехала. Разошлись безработные художники, актеры, певцы, музыканты, заглянувшие сюда «на всякий случай»: авось удастся закрепить полезное знакомство и получить ангажемент в Москве или в Киеве... Оставались до утра те, о которых советская пословица говорит: «Сапоги что зеркало, галстук что сито, а рожа неделю не мыта». Потому что, если приспособляться к режиму и начинать с танцульки, то уж делать это до конца. Получат ли организаторы «возвращенского юбилея» ожидаемые награды, я не знаю. Халтура может найти ценителей в Париже так же, как она находит их в Москве. Во сколько тысяч франков обошелся «юбилей», мне тоже неизвестно. Но на балу невольно вспоминалась еще одна советская пословица: темпы без качества есть рвачество.¹⁶²

Советскую лояльность художник демонстрировал на протяжении нескольких месяцев: в конце июня он выставил свои работы на коллективной выставке, организованной журналом «Наш Союз» в галерее Зака¹⁶³, 1 июля участвовал в вечере памяти М.Горького, устроенном «Союзом возвращения на родину» (Совнарод), с чтением своих воспоминаний о писателе¹⁶⁴, а 19 июля инициировал дискуссию о современном искусстве на «чашке чая для русских художников», устроенной все тем же объединением¹⁶⁵. Однако десятилетний опыт свободы дал себя знать: художник попытался доказать оппонентам, что то, «что клеймится сейчас в Советском Союзе формализмом, является в действительности борьбой за качество и как таковое соответствует общей тенденции советского строительства»¹⁶⁶.

¹⁶² Н.П.В<акар>. На балу у «возвращенцев» // Последние новости. 1936. 21 апреля. С.3.

¹⁶³ РЗХ. Т.3. С.221.

¹⁶⁴ <Б/н.> Хроника Совнарода // Наш Союз. 1936. №9-10 (сентябрь-октябрь). С.18.

¹⁶⁵ См.: «Товарищем Анненковым был прочитан интереснейший доклад, вызвавший оживленный обмен мнений о формализме в искусстве» (Там же; см. также: РЗХ. Т.3. С.225).

¹⁶⁶ Цит. по: *Палитра*. Искусство и жизнь. От формализма к социалистическому реализму // Наш Союз. 1936. №9-10 (сентябрь-октябрь). С.14.

Ему и другим несогласным с «генеральной линией» развития советского искусства было сделано довольно жесткое внушение:

Призывая художников-формалистов к идеологической сознательности, мы хотим предоставить мощный критерий, который позволит им самим разобраться в том, что в данный момент нужно или вредно для революционного искусства. Русские художники зарубежья должны это понять и сделать соответствующие выводы, если они хотят действительно включиться в творческие кадры нашей любимой родины.¹⁶⁷

Этот, а возможно, и другие афронты сильно поубавили советский энтузиазм Анненкова, который в поздние 1930-е вновь сменил лагерь и творческое амплуа, обратившись к режиссуре в Русском театре – популярной в русском Париже антрепризе (1936–1939), в репертуар которой входили пьесы советских и эмигрантских авторов¹⁶⁸. История постановки пьесы В.Сириня «Событие» в общих чертах описана биографом писателя¹⁶⁹, но следует указать, что спектакль не был безоговорочно отвергнут парижскими рецензентами. Один из зрителей воздал должное драматургу и постановщику в варшавской газете:

Русский театр, поставивший сиринское «Событие», убрал досадную четвертую стенку, за которой обычно самодурствуют герои Островского или ноют золотушные чеховские бездельницы. <...> Однако «Событием» поперхнулись и публика и рецензенты. Да и не мудрено: привычка смотреть сквозь дырочку в стене на скучноватую театральную жизнь слишком прочно засела в зрителе. <...> Евреиновские принципы «театр для себя» пронизывают «Событие» во всех направлениях, наравне с мейерхольдовской материализацией воображаемого. Эти два элемента, особенно последний, сбивают с толку зрителя. Он глубоко провинциален, этот парижский зритель, как провинциальны и его рецензенты. <...> Обращаясь непосредственно к «рецензии», можно категорически утверждать, что пьеса лучше всего была понята самими актерами. От соприкосновения с настоящим искусством они жили, как рыбы в аквариуме, в который налили воды. О труднейшей постановке пьесы надо отозваться с полной

¹⁶⁷ Там же. С.15.

¹⁶⁸ Об этом см.: *Евреинов Н.* Памятник мимолетному (Из истории эмигрантского театра в Париже). Ряд характеристик, беглые зарисовки и ретуши выцветающих снимков. Париж, 1953. С.36-38.

¹⁶⁹ О восприятии спектакля зрителями и рецензентами русского Парижа см.: *Бойд Б.* Владимир Набоков. Русские годы: Биография. М.; СПб., 2001. С.561-562.

похвалой. В заключение можно сказать, что трудно будет Русскому театру после сирийской пьесы приниматься за сереньких шкваркиных и «бунчуков».¹⁷⁰

* * *

Приступ патриотизма и советофильства, охвативший русский Париж по окончании Второй мировой войны, казалось бы, должен был свести былых знакомцев, тем более, что Анненков вернулся к прежнему оппортунизму. Он стал одним из активистов Союза русских (с марта 1945 – советских) патриотов (ССП)¹⁷¹, участвуя в работе его театральной и художественной секций¹⁷², печатался в газете этой организации¹⁷³, а его публикации в литературно-сатирическом еженедельнике «Честный слон» даже чередовались с эренбургскими¹⁷⁴. Однако личная встреча едва ли принесла им

¹⁷⁰ Горянский В. «Событие» в Русском театре // Меч (Варшава). 1938. 8 мая. С.6. Имеются в виду спектакли этой антрепризы: «Чужой ребенок» по пьесе В.Шкваркина (9 января 1938) и «Эмигрант Бунчук» по пьесе В.Хомичко (17 января 1937). Здесь же укажем еще на один, позднейший творческий опыт Анненкова: в январе 1946 в парижском Théâtre de Poche (Карманном театре) на бульваре Монпарнас он поставил собственную пьесу «Бездна», написанную по одноименному рассказу Л.Андреева. См.: РЗХ. Т.1(5). С.180. Сведениями об этой работе мы не располагаем.

¹⁷¹ С.Р. Диспут о задачах театра // Там же. 1945. 24 марта. С.4. См. также: «Известный художник Ю.П.Анненков прочел в прошлый вторник <29 июля> доклад, посвященный жизни и работам русских художников в Париже за последние двадцать пять лет. На докладе присутствовал и выступал <первый> советник посольства А.Г.Абрамов» (<Б/н.> Доклад Ю.П.Анненкова // Русские новости. 1946. 2 августа. С.7).

¹⁷² 24 ноября 1945 Анненков, например, участвовал в собрании деятелей искусства, на котором было решено учредить художественный совет ССП. Этот совет должен был контролировать художественные выступления эмигрантов – для «поднятия престижа русского искусства во Франции». См.: РЗХ. Т.1(5). С.114.

¹⁷³ См.: Анненков Ю. Выставка на Вандомской площади // Советский патриот (Париж). 1945. 3 марта. С.3; Темирязев Б. Убогий рай: Рассказ // Там же. 1946. 19 апреля. С.2. Там же см. публикацию стихов его третьей жены, киноактрисы и поэтессы Натальи Беляевой (урожд. Волковицкая, псевд. Натали Натъе; 1896–1975). Возможно, Анненков был также автором одной рецензии: <Б/н.>. Художник Кандинский (К выставке на плас Вандом) // Там же. 12 апреля. С.3.

¹⁷⁴ В этом просоветском издании Анненков публиковался под своим именем. Кроме того, он участвовал в литературном сборнике наряду с самыми известными мастерами русского Парижа – матерью Марией, С.Маковским, Ю.Терапиано, Г.Раевским, И.Буниным, Г.Газдановым, Л.Зуровым, Г.Адамовичем, К.Мочульским и др. (см.: <Б/н.> «Встреча» // Русские новости. 1945. 22 июня. С.8), опубликовав в нем очередной фрагмент романа «Тяжести». Ср.: «У Б.Те-

удовольствие. Она произошла в начале августа 1946 на званом ужине у Аркадия Руманова¹⁷⁵, устроенном в честь Эренбурга и Симонова группой эмигрантских литераторов¹⁷⁶. Как вспоминал художник, «встречи с советскими приезжими меня всегда интересуют, и я тоже пришел на этот вечер»¹⁷⁷, но оказалось, что Анненкову и Эренбургу, в общем, нечего сказать друг другу. Дело свелось к бессодержательному светскому разговору и выяснению судеб общих знакомых: «Эренбург рассказал, между прочим, о первом выступлении Ахматовой после ее возрождения. Это произошло в Москве, в Колонном зале Дома Союзов <...>. Эренбург рассказывал об этом весьма торжественно, желая показать “либеральность” советского режима»¹⁷⁸. Любопытными представляются впечатления участников этой встречи. Одоевцева «давно не видела Эренбурга. Как он изменился! Просто до неузнаваемости. Прежде он производил довольно

миряева в “Ночном путешествии” поэзии мало, хотя отблеск какой-то гоголево-фантастической фантастики и лежит на этом реалистическом повествовании о зауряднейшем интеллигенте. Грустное повествование – грустное и внутренне беспощадное. Гоголь, пожалуй, спросил бы автора от имени героя, Данько-Даньковского: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” – как спрашивал это когда-то Акакий Акакиевич, отдаленный родственник темирязевского персонажа. Но времена изменились. Жалость нынче не в моде, и литературные законы если и рекомендуют смеяться, то отнюдь не сквозь слезы» (Адамович Г. «Встреча» // Там же. 27 июля. С.4). В этом же сборнике также опубликованы стихи Н.Беляевой.

¹⁷⁵ Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960) – юрист, журналист, меценат, коллекционер. См. о нем: *Руманов Д.* Мой отец. Воспоминания об Аркадии Вениаминовиче Руманове // *Взор.* 2002. №6; *Яковлева Е.* Аркадий Руманов – забытое имя? // *Русские евреи во Франции.* Статьи, публ., мемуары и эссе. Кн.1. Иерусалим. 2001. С.162-176.

¹⁷⁶ Кроме хозяев и московских гостей, на вечере присутствовали Ирина Одоевцева, Юрий Анненков, Александр Гингер, Анна Присманова, Владимир Корвин-Пиотровский, Георгий Раевский, Антонин Ладинский и др. (см.: Одоевцева. С.793) – то есть практически весь авторский актив газеты «Советский патриот», деятельным сотрудником которой был Руманов. См., напр.: *Руманов А.* Как сделаться советским // *Советский патриот.* 1945. 27 июля. С.1. Указанные литераторы достаточно регулярно собирались в румановском доме, что фиксировалось хозяевами в специальном дневнике, а также в альбоме автографов «*livre d'or*». Ср., например: «Вчера родилась моя первая дочь; сегодня русские войска взяли Берлин. Чего же мне еще ждать от завтрашнего дня? Ю.Анненков. <...> 23 Апреля (день моего Ангела) <...> 1945 <...>» (*Руманов Д., Яковлева Е.* Автографы поэтов русского Зарубежья из частного парижского собрания // *Зарубежная Россия 1917–1939.* Сб.3. СПб. 2002; то же: http://www.inrusem.spb.ru/book_0001-3-62.htm.

¹⁷⁷ ДМВ-1. С.127.

¹⁷⁸ ДМВ-1. С.127-128.

невыгодное впечатление и почему-то казался мне глуховатым и подслеповатым, хотя и знала, что он видит и слышит нормально. Теперь у него вид “недорезанного буржуа”, барственный осанка и орлиный взгляд. Одет он тоже не в пример прежнему, добротню, солидно и не без эlegantности. <...> Эренбурга как будто подменили. Другой человек и только»¹⁷⁹. Анненков же оценил его как художник: «Тот прежний Эренбург – просто карикатура на теперешнего. Этот сенатор, вельможа. Сам себе памятник»¹⁸⁰.

Через несколько дней художник и писатель встретились еще раз, но доверительной беседы опять не получилось – этому помешала история с осуждением Ахматовой и Зощенко, о которой Анненков, по его словам, случайно узнал из советской газеты¹⁸¹. На вопрос,

¹⁷⁹ Одоевцева. С.797.

¹⁸⁰ Там же. Ср.: «Эренбург изменился, поседел, но крепок, подтянут. На груди – три ряда орденских ленточек. Голос ровный, спокойный. С исключительной находчивостью и блеском отвечает он во время доклада на самые разнообразные вопросы. С одушевлением и силой говорит о войне, о роли литературы в деле победы, о русской женщине. Докладчика засыпают вопросами, но Эренбург торопится. Впереди – ряд дружеских встреч и скорый отлет за океан» (<Л.> Приезд И.Эренбурга // Русские новости. 1946. 19 апреля. С.9); «на эстраде появляется И.Г.Эренбург, хорошо знакомый нам, русским парижанам, по временам довоенным. Он почти не изменился, разве больше поседел» (<Б/п.> Выступления К.Симонова, И.Эренбурга // Там же. 26 июля. С.2). См. также: *Е.Х.<охлов>*. У Ильи Эренбурга // Там же. 2 августа. С.5; *А.Б.<апрах>*. Французы чувствуют русских писателей // Там же.

¹⁸¹ ДМВ-1. С.128. Эту историю русские парижане узнали из собственного источника. См.: Положение литературы и печати в Советском Союзе. Центральный Комитет Коммунистической партии осуждает Анну Ахматову и М.Зощенко // Русские новости. 1946. 6 сентября. С.5. Публикация открывалась преамбулой, в которой редакция оговорила свое особое мнение: «Мы даем в настоящем номере в максимальных пределах, совместимых с размерами нашей газеты, выдержки из Постановления ВКП(б) и других документов относительно журналов “Звезда” и “Ленинград”. Печатая эти документы, “Русские Новости” продолжают оставаться верными той цели, которую газета поставила перед собою с момента выпуска первого номера: давать читателю строго объективное и по возможности полное отражение Советской действительности. Всестороннее и беспристрастное осведомление является для газеты повелительным долгом, особенно теперь, в ответственный момент, переживаемый сейчас эмиграцией. Публикуемые документы представляют несомненный интерес и большую важность. Они позволяют судить о том, в каких пределах и формах допускается сейчас в Советском Союзе осуществление великих начал свободы творчества, печати и слова, провозглашенных Конституцией 1936 г. Имея в виду угрозу международных осложнений, продолжающих тяготеть над нашей страной, и не располагая покуда исчерпывающей информацией по данному вопросу, мы ограничиваемся воспроизведением существенных выдержек из этих докумен-

«что он теперь скажет об Ахматовой, Эренбург недружелюбно взглянул на меня и заявил, что он ничего не скажет, так как еще “недостаточно осведомлен”»¹⁸².

На этом встреча, видимо, завершилась, но вряд ли именно она подтолкнула Анненкова к отходу от «советского берега». На то были иные, более прагматичные резоны: к тому времени он уже добился видного положения в театрально-художественных кругах Парижа¹⁸³ и не нуждался даже в формальных связях с Москвой. Более того, когда «холодная война» стала очевидным фактом, и французское правительство в феврале 1948 запретило деятельность просоветских организаций, выслал из страны самых активных их участ-

тов. Мы не можем, однако, не выразить убеждения, что все, кто, как и мы, на чужбине остро переживает судьбу своего народа; кто считает, что залогом его великого и светлого будущего является гармоническое развитие мощи государства и свободы человеческой личности, – прочтут нижеприведенные документы с тяжелым сердцем» (Там же). За этим последовала дискуссия, приглушенно отразившая дискуссию в эмигрантской среде. Ср.: «я хочу сказать редакции “Русских Новостей”, что она сделала ошибку, взяв под свою защиту не советскую молодежь, а этих двух писателей, которые не хотят разделять вместе с другими советскими писателями их большое и благородное дело художников и творцов социалистического общества» (*Советский гражданин*. Письмо в редакцию «Русских Новостей» // Там же. 20 сентября. С.5). На этот выговор отозвался философ: «История с Ахматовой и Зощенко со всеми последствиями для союза писателей означает запрещение лирической поэзии и сатирическо-юмористической литературы. Так называемая чистка идет по всей линии, даже среди музыкантов. Трудно предположить, что лирическое стихотворение Ахматовой может помешать устройству хоть одной фабрики или изготовлению хоть одного танка, но так же трудно предположить, что она может написать стихотворение, помогающее умножению фабрик и танков. А вот патриотические стихотворения она писала. Официальный взгляд на искусство, отразившийся в письме в “Русские Новости”, означает возврат на 80 лет назад, к идеям Чернышевского и Писарева. <...> Теперь требуют от искусства, чтобы оно было популярризацией марксистской идеологии. <...> История с Ахматовой и Зощенко, с утеснением кинематографа, театра, музыки превращается в антисоветскую пропаганду со стороны самих Советов, сеет внутреннюю рознь и дает оружие в руки врагов» (*Бердяев Н. О свободе творческого духа и о фабрикации душ* // Там же. 4 октября. С.5).

¹⁸² ДМВ-1. С.131.

¹⁸³ Ср.: «Впервые в истории “первого театра Франции” порог “Комеди Франсез” переступает в качестве сороботника и сотрудника иностранец. Приятно отметить, что речь идет о нашем соотечественнике, художнике Ю.П.Анненкове, которому поручено создание декораций и костюмов для очередной премьеры театра – исторической пьесы “Пробуждение Солнца” Симона» (*Скриб*. Русские успехи // Русские новости. 1946. 2 августа. С.6). Годом ранее художник основал и возглавил секцию создателей костюма при Синдикате техников французской кинематографии. См.: РЗХ. Т.1(5). С.122.

ников¹⁸⁴, Анненков не испытывал никакого желания последовать их примеру. Не питая иллюзий по отношению к СССР и, возможно, зная о судьбе «возвращенцев», репатриировавшихся на родину под влиянием московской пропаганды, он наконец сделал окончательный выбор, перейдя в лагерь эмиграции. Став жестким критиком советской системы (подчас даже более жестким, чем ее традиционные оппоненты)¹⁸⁵, одной из своих мишеней он избрал Эренбурга¹⁸⁶.

Автор выражает глубокую признательность друзьям и коллегам – Валери Познер (Париж), Татьяне Гладковой (Париж), Татьяне При- тыкиной (Санкт-Петербург) и Татьяне Осокиной (Москва), оказавшим неоценимую помощь и содействие на разных этапах работы.

¹⁸⁴ Ср.: «Принятое французскими властями решение о закрытии Союза Советских Граждан произвело, естественно, большое впечатление в парижской русской колонии. <...> Одновременно с распоряжением о ликвидации Союза была запрещена и газета “Советский Патриот” как официальный орган последнего. <...> Предстоящее закрытие ССГ очень встревожило многих членов организации» (<Б/н.> После закрытия Союза Советских Граждан // Русские новости. 1948. 30 января. С.6).

¹⁸⁵ В альманахе «Воздушные пути» (1960. Кн.1), посвященном 70-летию Б.Пастернака, был репродуцирован известный портрет поэта работы Анненкова, однако редактор издания Р.Гринберг, не желая вступать в прямую полемику с советскими властями, счел чрезмерно политизированной статью художника «Чужие слова» и печатать ее отказался (см. его письмо Анненкову от 7 июля 1959. – *Vozdushnye Puti Coll. Library of Congress. Manuscript Department (LCMSS). Washington. D.C. Box 1*). Уязвленный автор прервал с ним отношения и опубликовал отвергнутый текст в другом издании, см.: *Анненков Ю. Чужие слова // Возрождение: Литературно-политические тетради (Париж). 1963. №142.*

¹⁸⁶ Обратившись однажды к советской творческой молодежи, художник задал риторическими вопросами о судьбах неофициального искусства в СССР: «Увеличивается ли число частных коллекционеров, приобретающих тайно или открыто произведения свободного искусства, не зависящего от партийного руководства и идущего с ними вразрез? <...> Правда ли, что Илья Эренбург принадлежит к числу подобных коллекционеров? Или эти слухи распространяются с целью поднять авторитет Эренбурга на Западе, куда он часто “делегировается” с пропагандными целями? Впрочем, нам известно, что в квартире Эренбурга, к которому заходят заграничные “культурные делегации”, висит огромный портрет Пабло Пикассо. Но – портрет фотографический, а не написанный самим художником, работы которого считаются в СССР “упадочными”, “формалистическими”, а потому нежелательными, вредными и заразительными. <...> Фотографический портрет Пикассо висит у Эренбурга по двум причинам: во-первых, потому, что Пикассо состоит членом коммунистической партии, во-вторых, для того, чтобы у доверчивых “культурных делегаций” Запада создавалось впечатление о “либерализме” и “широте взглядов” советской власти» (*Анненков Ю. К молодым художникам СССР // Старые – молодым. Мюнхен, 1960. С.128-129*).

М.Ю.Сорокина
**ОПЕРАЦИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ»,
ИЛИ ЧТО УВИДЕЛ АКАДЕМИК БУРДЕНКО В ОРЛЕ**

В воскресенье 16 января 1944 в 16.30 от перрона Белорусского вокзала отошел поезд №85, в международном вагоне которого в Смоленск выехала довольно необычная по составу группа высокопоставленных советских чиновников: главный хирург Красной Армии, академик АН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы Н.Н.Бурденко; митрополит Крутицкий и Галицкий Николай; нарком просвещения РСФСР, академик АН СССР В.П.Потемкин; председатель Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, зам. наркома здравоохранения СССР С.А.Колесников; председатель Всеславянского антифашистского комитета генерал-лейтенант А.С.Гундоров; начальник отдела по учету ущерба, причиненного культурным, научным и лечебным учреждениям, Чрезвычайной Государственной Комиссии (ЧГК)¹ В.Н.Макаров; полковник медицинской службы С.М.Багдасарьян; патологоанатом, майор медицинской службы профессор Д.Н.Выропаев; кинооператор А.Ю.Левитан и его ассистент Л.П.Зайцев, звукооператор М.Ф.Соболев и осветитель Б.С.Петров.

¹ Ее полное название – «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР». О функциях и деятельности ЧГК см. ниже.

На следующий день, 17 января, центральные советские газеты опубликовали сообщение о создании «Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) военнопленных польских офицеров».

Обитатели международного вагона были членами и сотрудниками этой, теперь печально знаменитой, спецкомиссии. Утром 18 января они прибыли в Смоленск, где их встречал председатель Смоленского облисполкома Р.Е.Мельников, также номинированный в состав этой группы. Начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии генерал-полковник Е.И.Смирнов, еще один член спецкомиссии, уже находился в городе. Не хватало только сталинского «золотого пера» – писателя-академика Алексея Толстого, он прибыл в Смоленск на собственном авто позже, 19 января.

Подарок фюреру

Прошло более шестидесяти лет с того времени, как 13 апреля 1943, в преддверии дня рождения Адольфа Гитлера, берлинское радио объявило о том, что немецкими оккупационными властями в Катынском лесу близ Смоленска обнаружены массовые захоронения польских офицеров, расстрелянных, как утверждали в Берлине, советскими «еврейскими комиссарами» весной 1940². Речь шла о тех самых военнослужащих, которые были интернированы советскими властями после вступления в сентябре 1939 Красной Армии в Польшу и затем необъяснимо «исчезли» в сталинских лагерях³. Большинство из них составляли не профессиональные военные, а офицеры запаса, мобилизованные в начале Второй мировой войны – профессора высших учебных заведений, врачи, литераторы и журналисты, юристы, инженеры и учителя, священники.

² Корпус важнейших советских документов об этом издан в России, см.: Катынь. Пленники необъявленной войны: Документы и материалы / Сост. Н.С.Лебедева, Н.А.Петросова, Б.Вошинский, В.Матерский. М., 1997; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.: Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни: Документы / Отв. сост. Н.С.Лебедева. М., 2001(далее – Лебедева, 2001, с указанием страницы); см. также: *Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С.* Катыньский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001.

³ Возможно, одной из причин уничтожения в преддверии Большой войны потенциальной «пятой колонны» была остававшаяся актуальной у значительной части советской военной и государственной элиты память о Гражданской войне и, в частности, о роли Чехословацкого корпуса, оказавшегося в тылу у большевиков и выступившего на стороне Белого движения.

Сообщение Берлинского радио имело огромный международный резонанс; оно чувствительно затрагивало всю сложившуюся к середине Второй мировой войны систему международных отношений, вбивая дополнительный клин в отношения между СССР и поляками и испытывая на прочность весь альянс союзников. Реакция Москвы на заявление Берлина была быстрой: 15 апреля Московское радио объявило немецкое сообщение фальшивкой; утверждалось, что, напротив, фашисты в пропагандистских целях пытаются приписать свои преступления СССР.

Придавая исключительную политическую важность открытым захоронениям, гитлеровское руководство предприняло весьма дальновидные шаги: 16 апреля оно обратилось в Международный Красный Крест с просьбой о присылке в Смоленск независимых судебно-медицинских экспертов; 17 апреля аналогичное обращение последовало в польский Красный Крест, а уже 28–30 апреля судебно-медицинские эксперты из оккупированных и нейтральных стран работали в Катыни. Через месяц, 30 мая, международная комиссия экспертов обнародовала свое заключение, в котором также датировала катынский расстрел весной 1940 года, т. е. тем периодом времени, когда ни о каких немецких войсках в этом районе СССР не могло быть и речи⁴.

Некоторых своих целей нацисты добились быстро – 25 апреля СССР прервал дипломатические отношения с польским правительством в изгнании генерала Владислава Сикорского, которое резко осудило акцию сталинских чекистов. Однако военные союзники СССР – в лице политического руководства США и Великобритании, – не желая публично обнаруживать даже видимость разногласий внутри антигитлеровского альянса, на официальном уровне до поры до времени проигнорировали информацию о катынских преступлениях.

В то же время команда в Катыни открывала целую серию сообщений германского командования об обнаружении на оккупированных территориях СССР мест массовых расстрелов советских граждан, проведенных НКВД. Так, уже 8 августа германское информационное бюро передало из Ровно результаты обследования массовых захоронений украинского населения на западной окраине Винницы⁵, прове-

⁴ Позднее это заключение было издано отдельной брошюрой: Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Im Auftrage des Auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt. Berlin, 1943.

⁵ Как показывают современные исследования, в этих захоронениях находились останки не только украинцев, но и евреев, поляков и русских. Однако акцент фашистской пропаганды целенаправленно делался именно на определенном этническом характере расстрелов. О сложной истории атрибуции винниц-

денного профессорами судебной медицины германских университетов с привлечением международных экспертов, утверждая, что оно было также уничтожено «советскими комиссарами» в предвоенные годы. Показательно, что, как и в случае с Катынью, хотя подобные некрополи гитлеровцы регулярно обнаруживали и вскрывали в занятых регионах (например, на Северном Кавказе), свои самые громкие разоблачения руководители фашистской пропаганды приберегали под конец оккупации той или иной территории СССР, тем самым оставляя «мины замедленного действия» для послевоенного времени.

Действительно, внутренний резонанс таких публичных кампаний (а русскоязычные оккупационные газеты максимально широко информировали население обо всех подобных «находках»), несомненно, беспокоил советские власти, и по мере освобождения ранее оккупированных областей они совместно с НКВД предпринимали усилия для сокрытия и/или опровержения немецких сообщений⁶. Между тем, полной и тем более детальной картины того, как именно различные этнические, социальные, профессиональные и конфессиональные группы советского общества реагировали на факты разоблачения сталинского режима германской пропагандой в период Великой Отечественной войны, мы не имеем⁷. Эта тема продолжает быть табуированной не столько в академической историографии, сколько, и прежде всего, на уровне исторической саморефлексии российского общества, не желающего или опасющегося критически вспоминать и анализировать свое прошлое.

С падением коммунистической власти в СССР правда о катынских расстрелах окончательно заняла свое историческое место. Но до сих пор остается почти неизвестным, как готовилась показательная инсценировка вскрытия катынских захоронений, проведенная спецкомиссией академика Н.Н.Бурденко в январе 1944. Тем более остается открытым вопрос о роли членов этой комиссии и привле-

ких захоронений и – шире – об использовании фактов сталинских и нацистских военных преступлений в культуре памяти постсоветского времени см.: *Paperno I. Exhuming the Bodies of Soviet Terror // Representations* (Univ. California Press). 2001. Summer. P.89-118 (здесь приводится литература вопроса). Приношу глубокую благодарность Яну Пламперу (Тюбинген), указавшему мне на эту работу.

⁶ Например, в официальных сообщениях Совинформбюро.

⁷ Обширная иноязычная литература рассматривает этот вопрос преимущественно в контексте оккупационной политики фашистских властей; см., например: *Schulte T.J. The German Army and Nazi Policies in Occupied Russia*. Oxford, 1989; *Alexeev W., Stavrou T. The Great Revival. The Russian Church under German Occupation*. Minneapolis, 1976; и многое другое.

кавшихся ею судебно-медицинских экспертов: были ли они простыми статистами, призванными своим профессиональным авторитетом прикрыть очередную фальсификацию сталинского режима, активными участниками «постановки», или же им отводилась какая-то иная роль.

В отличие от истории немецкой медицины и ее отдельных дисциплинарных сообществ в период гитлеровского режима⁸, интенсивно изучаемой как в самой Германии, так и в других западных странах, социальная история советской медицины по-прежнему представляет собой terra incognita, отдельные реалистические фрагменты которой очень медленно проступают сквозь мощный слой корпоративной закрытости. Хотя в рамках расследований одной только ЧГК были задействованы сотни медиков, литературы на эту тему практически нет⁹, а обобщающие работы по истории отечественной судебной медицины стараются не упоминать об этой стороне деятельности медиков в годы войны¹⁰. По-видимому, и здесь главной причиной является вовсе не насаждаемая государством и властью секретность, а отказ самого медицинского сообщества перерабатывать негативный опыт прошлого.

⁸ См., например, блестящую монографию: *Kater M.H. Doctors Under Hitler. Chapel Hill and London: The Univ. of North Carolina Press, 1989.* Здесь же приведена обширная библиография проблемы.

⁹ Из последних работ, затрагивающих историю советской судебной медицины в годы войны, см.: *Алехина Н.М.* Состояние и развитие судебно-медицинского дела в России в межвоенный период (1918–1941): Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. М., 2002; *Ермоленко Э.Н.* Авдеев Михаил Иванович, выдающийся отечественный ученый-судебный медик – организатор судебно-медицинской экспертизы в Вооруженных силах СССР: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. М., 2002; Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде: Историко-медицинский аспект. СПб., 2001; *Колкутин В.В., Авдеев А.М., Соседко Ю.И., Ермоленко Э.Н.* Михаил Иванович Авдеев – выдающийся ученый и организатор судебно-медицинской экспертизы. М., 2001; Медики и блокада. Взгляд сквозь годы: Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы. СПб., 1997; а также: *Краснушкин Е.К.* Судебно-медицинская экспертиза на Нюрнбергском процессе // *Врачебное дело.* 1946. №9. С.631-640.

¹⁰ См.: *Белкин Р.С.* История отечественной криминалистики. М., 1999; *Крылов И.Ф.* Очерки криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975; *Миронов А.И.* Возникновение и развитие криминалистических подразделений органов внутренних дел. М., 1979; *Солохин А.А., Солохин Ю.А.* Судебно-медицинская наука в России и СССР в XIX и XX столетиях. М., 1998; *Соседко Ю.И., Колкутин В.В., Гыскэ А.В.* Исторические очерки военной судебно-медицинской экспертизы. М., 1999; *Шершавкина С.В.* История отечественной судебно-медицинской службы. М., 1968.

Жесткая и однозначная оценка деятельности спецкомиссии Бурденко дана только в «Заключении комиссии экспертов Главной военной прокуратуры» от 2 августа 1993¹¹, где четко сказано:

Сообщение Специальной комиссии под руководством Н.Н.Бурденко, выводы комиссии под руководством В.И.Прозоровского, проигнорировавшие результаты предыдущей эксгумации и являвшиеся орудием НКВД для манипулирования общественным мнением, в связи с необъективностью, фальсификацией вещественных доказательств и документов, а также свидетельских показаний, следует признать не соответствующими требованиям науки, постановления – не соответствующими истине и поэтому ложными.¹²

Таким образом, обширное досье «экспертов-фальсификаторов» (вспомним только самые знаменитые дела конца XIX – начала XX века: Альфреда Дрейфуса во Франции и Менделя Бейлиса в России) пополнилось еще одним трагическим эпизодом.

Однако проблема «ложной экспертизы», как правило, далеко выходит за пределы судебно-процессуальной борьбы двух сторон. Так, в России начала XX века за длинным перечнем «заказанных» («заказных») экспертиз скрывается многомерная и драматичная история становления отечественного экспертного сообщества как равноправного (или стремящегося к этому) партнера государственной власти. Используя современную фразеологию, можно сказать, что этот важнейший социальный «проект» российской интеллигенции в первое советское десятилетие получил огромный импульс к развитию, но в 1930-е, непосредственно столкнувшись с проектным мышлением Вождя всех народов, существенно трансформировался, превратившись из общенационального в придворный.

Как может собственная, профессиональная и экзистенциальная, картина мира эксперта логично и естественно встраиваться в замыслы и интересы власти, недавно блестяще показал В.Менжулин, проанализировавший мотивацию известного киевского психиатра И.А.Сикорского в деле Бейлиса¹³. Практически все немногочислен-

¹¹ Полное название документа: «Заключение комиссии экспертов Главной военной прокуратуры по уголовному делу №159 о расстреле польских военнопленных из Козельского, Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД в апреле–мае 1940 г.»; подписан Б.Н.Топорниным, А.М.Яковлевым, И.С.Яжборовской, В.С.Парсадановой, Ю.Н.Зоря, Л.Л.Беляевым. Опубл.: *Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С.* Катынский синдром... С.446-494.

¹² Там же. С.493.

¹³ См.: *Менжулин В.* Другой Сикорский: Неудобные страницы истории психиатрии. Киев, 2004. См. также: Дело Менделя Бейлиса: Материалы Чрезвы-

ные свидетельства современников о роли академика Н.Н.Бурденко в «Катынском деле», опубликованные в печати, а также широко бытующие в устной традиции, сходятся в том, что он, зная (или понимая) правду о катынских расстрелах, выполнял приказ власти и лишь имитировал ритуал судебно-медицинского исследования¹⁴.

Настоящая статья представляет новые архивные документы и сведения в катынское досье, которые, не меняя окончательного вердикта «вскрытия», помогают лучше понять историю самой «бомбезни».

Комиссия и ее «дочки»

Спецкомиссия по Катыни, или «комиссия Бурденко», как ее называли по имени председателя, была создана 12 января 1944 постановлением ЧГК¹⁵. Сама ЧГК, образованная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942¹⁶, формально имела статус независимого общественного органа – «общественного обвини-

чайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве / Сост. Р.Ш.Ганелин, В.Е.Кельнер, И.В.Лукоянов. СПб., 1999. Параллельно пересматривается историографический взгляд и на деятельность других участников экспертизы по делу М.Бейлиса, см.: *Попов В.Л.* Профессор Дмитрий Петрович Косоротов: Попытка реабилитации. СПб., 1995.

¹⁴ См. например: *Ольшанский Б.* Катынь (Письмо в редакцию) // Социалистический вестник. 1950. №6. С.114; *Поздняков В.* Новое о Катыни // Новый журнал. 1971. Кн.104. С.262-280.

¹⁵ Решение о создании спецкомиссии по Катыни см.: Протокол №23. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.32. Л.1-2. В этом протоколе ЧГК нет обычного делопроизводственного оформления протокольной записи – ни перечня присутствовавших на заседании (если оно состоялось очно), ни отметки «опросом», если подписи членов ЧГК собирались заочно. «Дневник» работы Спецкомиссии см.: Там же. Оп.114. Д.8. Л.1-17.

¹⁶ О ЧГК и ее деятельности см.: *Безыменский Л.* Информация по-советски // Знамя. 1998. №5. С.191-199; *Безыменский Л.А.* Восприятие Холокоста в Советском Союзе // Россия и современный мир. 1999. №4(25). С.153-168; *Етифанов А.Е.* Ответственность гитлеровских военных преступников и их пособников в СССР. Волгоград, 1997; *Кнышевский П.Н.* Добыча. Тайны германских репараций. М., 1994; *Лебедева Н.С.* Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1975; *Зинич М.С.* Похищенные сокровища: Вывоз нацистами российских культурных ценностей. М., 2003; *Сорокина М.Ю.* Люди и процедуры: К истории расследования нацистских преступлений в СССР // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* Fall 2005 (в печати). О международном контексте создания ЧГК см.: *Kochavi A.J.* Prelude to Nuremberg. Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment. Chapel Hill and London: The Univ. of North Carolina Press, 1998.

теля» фашизма. Ее «лицо» в значительной степени определяли представители советской академической элиты: из десяти титульных членов ЧГК шесть были академиками Академии наук СССР. Председателем комиссии был назначен лидер советских профсоюзов и председатель Комитета по эвакуации Николай Михайлович Шверник (1888–1970), членами – 1-й секретарь Ленинградского горкома и обкома и член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов (1896–1948), митрополит Киевский и Галицкий Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич; 1892–1961), летчица Валентина Степановна Гризодубова (1910–1993) и шестеро академиков: четверо, избранные в АН СССР в 1939 – Николай Нилович Бурденко (1876–1946), Трофим Денисович Лысенко (1898–1976), Алексей Николаевич Толстой (1882–1945), Илья Павлович Трайнин (1886–1949), – и «старые», с дореволюционным стажем, – Борис Евгеньевич Веденев (1884–1946) и Евгений Викторович Тарле (1875–1955).

Номинально ЧГК имела самые широкие полномочия: ей предоставлялось право проводить расследования военных преступлений и определять нанесенный СССР материальный ущерб, координировать действия всех советских организаций в этой области, выявлять имена военных преступников, публиковать полученные результаты. Созданная в расчете на Международный военный трибунал над нацизмом, ЧГК должна была придать собранным документам о военных преступлениях фашистов международно-правовую легитимность, и от ее имени в 1943–1945 на русском и английском языках издавались официальные «Сообщения» о результатах расследований. В дальнейшем они стали важнейшей документальной составляющей доказательной базы советского обвинения на Нюрнбергском (1945–1946) и Токийском (1950) трибуналах, а также на многочисленных внутренних советских судебных процессах над нацистскими преступниками и их сообщниками в 1940-е – 1960-е¹⁷.

Центральная ЧГК представляла собой вершину многоуровневого айсберга, основание которого формировалось разветвленной системой местных комиссий содействия работе ЧГК – от республиканских и областных до поселковых, а также ведомственными комиссиями, аккумулировавшими сведения об ущербе, нанесенном

¹⁷ ЧГК была ликвидирована распоряжением Совета Министров СССР от 9 июня 1951. Ее деятельность реанимировали на короткое время в 1960, когда советским властям понадобилось провести показательную акцию по разоблачению нацистских преступников в правительстве ФРГ («дело Теодора Оберлендера» – федеральный министра по делам беженцев в кабинете Конрада Аденауэра, в годы войны – капитана контрразведки на советско-германском фронте, обвинявшегося ЧГК в военных преступлениях на Северном Кавказе и Украине).

учреждениям и организациям различных наркоматов. Персональный состав местных комиссий кардинально отличался от центральной ЧГК: их возглавляли «тройки» – первый секретарь регионального комитета ВКП(б) и главы региональных СНК и НКВД/НКГБ, которые привлекали к сотрудничеству «представителей общественности». На практике это означало, что, ввиду очевидной занятости первых лиц местной власти, весь процесс сбора и оформления сведений о преступлениях нацистов направлялся и контролировался органами НКВД и СМЕРШ.

Однако для некоторых политически значимых дел просто контроля НКВД было недостаточно, и тогда в 1944–1945 при ЧГК стали возникать спецкомиссии. Первой из них была Катынская, второй – комиссия для расследования трагедии Бабьего Яра¹⁸. По-видимому, необходимость в «особом» ведении расследования появлялась тогда, когда верховной власти требовалось максимально «закрыть» тему от любых, даже самых слабых попыток общественности рассказать о ней.

13 января 1944 Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение ЧГК о создании спецкомиссии по Катыни¹⁹; в тот же день в 13 часов она провела свое первое заседание в Центральном нейрохирургическом институте им. Н.Н.Бурденко (Ульяновская, 13)²⁰. Выбор места первого сбора был неслучаен – институт не только именовался, но и возглавлялся председателем спецкомиссии академиком Н.Н.Бурденко²¹.

Николай Бурденко

В те годы хирург Николай Нилович Бурденко был широко известен в стране: газеты многократно публиковали как его персональные фотографии – в белом халате со скальпелем в руках, так и коллективные – как правило, в президиумах различных важнейших государственных заседаний или на трибуне Мавзолея, рядом с партийными вождями. Еще бы: Николай Бурденко был одним из самых

¹⁸ См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.36. Л.100. Другие спецкомиссии: по разрушениям Новгорода (Там же. Д.42. Л.42, 56-58), Одессы и Одесской обл. (Там же. Д.49 Л.1, 68), Пушкинских гор (Там же. Д.52. Л.1); по лагерям смерти (Там же. Д.54. Л.1-2; Д.126).

¹⁹ Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952: Каталог. Т.3: 1940–1952. М.: РОССПЭН, 2001. С.332 (пункт 271).

²⁰ Кроме членов спецкомиссии на заседании присутствовал первый заместитель наркома внутренних дел Сергей Никифорович Круглов (1907–1977).

²¹ С 1929 Бурденко руководил нейрохирургической клиникой при Рентгеновском институте Наркомздрава, который в 1934 преобразован в Институт нейрохирургии его имени.

высокопоставленных медиков своего времени, он лечил членов Политбюро и правительства, деятелей Коминтерна, с 1937 возглавлял Ученый медицинский совет Наркомздрава СССР и был членом редакционной комиссии по установлению окончательного текста Конституции СССР. Свою близость и преданность советским вождям Бурденко подкрепил вступлением в 1940 в коммунистическую партию и регулярными выступлениями в советской печати. Так, за несколько дней до начала войны академик вопрошал:

В некоторых исследовательских институтах работают над темой – развитие зародышевой моли. Спрашивается, зачем сейчас заниматься зародышами моли, когда кругом нас кишат империалистические скорпионы?²²

В то же время подобные эскапады в устах Бурденко были отнюдь не только данью риторике. Выходец из многодетной семьи с русско-украинскими корнями, получивший духовное образование²³, он отказался от служения церкви и пошел учиться медицине. Наиболее успешной частью своей профессиональной карьеры он был в значительной мере обязан советской власти.

До революции Бурденко с трудом вписывался в свой профессиональный цех, и ничто в его биографии не указывало на возможность большого карьерного роста: участник студенческих беспорядков в Томском и Юрьевском (Тартуском) университетах, он получил диплом о высшем медицинском образовании только в тридцатилетнем возрасте (1906). С немалыми затруднениями был избран экстраординарным профессором Юрьевского университета²⁴ и только в 1923, уже почти пятидесятилетним, приехал из Воронежа в Москву, будучи избран профессором Московского университета.

Три обстоятельства, по-видимому, сыграли важную роль в развитии московской карьеры Бурденко. Во-первых, события революции и Гражданской войны (и последовавший за ними исход из страны многих лиц интеллигентных профессий) открыли многочисленные вакансии в столичных вузах для энергичных провинциальных специалистов. Во-вторых, стремительное продвижение Бурденко в Мо-

²² Бурденко Н.Н. Лучше руководить научными учреждениями // Медицинский работник. 1941. 11 июня.

²³ В 1890–1897 он окончил духовное училище и семинарию в Пензе и был направлен на дальнейшую учебу в Петербургскую духовную академию.

²⁴ См.: Особый протокол по делу об избрании кандидата на кафедру оперативной хирургии, десмургии и топографической анатомии доктора медицины Н.Н.Бурденко, составленный по требованию профессора П.А.Полякова на заседании Совета 30 ноября 1910 г. // Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1912. №3. С.1-39.

ске стало во многом возможным благодаря его прежним военным и революционным связям²⁵. И наконец, в-третьих, его положение существенно повысилось после московских политических процессов второй половины 1930-х, когда были репрессированы многие кремлевские медики и востребованность выжившей медицинской профессуры резко увеличилась. С конца 1930-х Бурденко – фигура номер один в табели о рангах официальной советской медицины²⁶, и именно он станет в 1944 первым президентом Академии медицинских наук СССР.

Однако нельзя не отметить, что вследствие контузий, полученных в годы Русско-японской и Первой мировой войн, уже к 1937 Бурденко окончательно потерял слух, а осенью 1941, попав в бомбардировку, перенес инсульт и временно лишился речи и возможности передвигаться²⁷. Его лечили в московской и куйбышевской Кремлевках, затем отправили в эвакуацию в Омск; энергичный, но тяжело больной академик уже в апреле 1942 вернулся в Москву, где вскоре стал членом ЧГК – единственным специалистом, фигурировавшим во всех предварительных вариантах персонального состава комиссии.

Немецкий почерк

Сохранившаяся стенограмма первого заседания спецкомиссии по Катыни от 13 января 1943²⁸ показывает, что шеф Нейрохирургического института не просто формально приветствовал коллег по ответственной государственной миссии, но сразу же предложил им

²⁵ Так, биограф академика сообщает, что после приезда в Москву Бурденко «входит в связь» с Биохимическим институтом, возглавляемым старым революционером А.Н.Бахом, а также с лабораторией Б.И.Збарского, т. е. Мавзолеем В.И.Ленина (*Багдасарьян С.М.* Н.Н.Бурденко. Жизнь и деятельность. М., 1967. С.173, 200). В эти годы он бессменный консультант по военно-полевой хирургии Главного военно-санитарного управления Красной Армии. Интересно, что в этой подробной биографии Бурденко почти ничего не говорится о его деятельности в ЧГК, хотя автор книги сопровождал академика на протяжении всех военных лет.

²⁶ Не случайно именно в возглавлявшемся Бурденко Нейрохирургическом институте в 1936 была открыта лаборатория специального назначения под руководством молодого тогда еще Владимира Александровича Неговского (1909–2003), в будущем академика Академии медицинских наук СССР и одного из основоположников реаниматологии в СССР. Она называлась «Восстановление жизненных процессов при явлениях, сходных со смертью», или лаборатория по оживлению, как ее называли среди своих. Подобные исследования особенно интересовали вождей.

²⁷ См.: *Багдасарьян С.М.* Н.Н.Бурденко. Жизнь и деятельность. С.61-62.

²⁸ ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.114. Д.8.

медицинское обоснование советской версии катынских расстрелов. Он ознакомил присутствовавших с хранившейся в институте коллекцией черепов, собранных им в августе–сентябре 1943 в Орле и Смоленске при производстве раскопок могил расстрелянных немцами советских граждан²⁹. Эти черепа, по мнению Бурденко, демонстрировали особый, «немецкий» способ («почерк») расстрела, на основании изучения которого можно было бы впоследствии проводить атрибуцию неизвестных захоронений. Основными признаками «немецкого почерка» он считал одиночные выстрелы в затылок, по большей части пулями калибра ниже 8 мм, в основном в упор или с близкого расстояния. Локализация выстрела в очень ограниченной части затылочной кости требовала определенной квалификации, что и послужило для Бурденко основанием заключить, что казни производились «умелыми руками».

Весьма откровенно академик описал членам спецкомиссии последовательность событий, приведших его к идее о наличии особого, «немецкого почерка» расстрела. Вот что он рассказал:

Случайно в Орле оказался один гражданин, у которого я нашел в архиве разные газеты. Среди этих газет я обнаружил и протокол немецкой комиссии о работе в Катынском лесу. И когда я прочитал этот протокол и сравнил его с материалами ЧГК, то я убедился, что жертвы Катынского леса были умерщвлены такими же способами. После этого я решил протокол не показывать никому и заставил наших патологоанатомов при вскрытиях трупов жертв немецко-фашистских захватчиков сосредоточить внимание на ранениях. И они описали метод расстрела, не зная текста немецких протоколов, буквально слово в слово. Я из этого сделал вывод, что расстрел был совершен немцами.³⁰

Еще более любопытные подробности, сопутствовавшие этому «открытию», Бурденко приводит в обширной докладной записке председателю ЧГК Н.М.Швернику, написанной непосредственно после возвращения академика из Орла, в двадцатых числах августа 1943³¹. Но сначала несколько слов о том, что из себя представляла область, в которую для расследования приехал академик Бурденко.

²⁹ Там же. Л.2. «Обрабатывал» эту коллекцию известный нейрохирург и патологоанатом Леонид Иосифович Смирнов (1889–1955) – один из ближайших помощников Бурденко при организации института; в 1938–1954 – руководитель его патолого-анатомического отдела.

³⁰ Стенограмма заседания 13 января 1944 в Нейрохирургическом институте. – Там же. Л.38.

³¹ Копия машинописного текста без подписи. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.37. Д.10. Л.21-46 (далее – Записка Швернику, с указанием номера листа). Авторст-

Орел. До и после оккупации

Более полутора лет почти вся Орловская область находилась под оккупацией. Военным комендантом Орла был генерал-майор Адольф Хаман (Гаманн) (Adolf Hamann; 1885–1945)³², он же руководил областью. Ему удалось быстро наладить взаимодействие оккупационных властей и местного населения, весьма негативно настроенного по отношению к Советской власти. Для этих настроений были серьезные причины.

В предвоенные годы Орел оказался местом ссылки и заключения самых разных «оппозиционеров» из обеих столиц: сюда отправляли на поселение ленинградских интеллигентов, в местной тюрьме сидела большая группа осужденных по 58-й статье коминтерновцев и военных³³. Всю вторую половину 1930-х Орловщину сотрясали массовые политические репрессии, главным организатором которых был начальник местного Управления НКВД Пинхус Симановский. В 1937–1938 по его указанию был сфальсифицирован ряд политических дел, по которым осуждены более 17 тысяч человек; только в декабре 1937 местные чекисты привели в исполнение смертный приговор 33 священникам Русской православной церкви³⁴.

Не удивительно, что с началом войны именно в Орловской области возникло самое масштабное территориально-административное явление в истории русского коллаборационизма – так называемая Локотская республика, со своим окружным самоуправлением и военизированной милицией (ополчением) для борьбы с большевиками. В Орле успешно функционировало наибольшее на оккупированной территории России количество промышленных предпри-

во Бурденко устанавливается по резолюции Н.М.Шверника от 26 августа и содержанию, часть текста включена в «Сообщение» ЧГК. См.: Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. Москва, 1946. С.50-51 (далее – Сборник ЧГК, с указанием страницы).

³² Он был также военным комендантом Брянска и Бобруйска, начальником Бобруйского укрепрайона. Арестован и приговорен Военным трибуналом Московского военного округа 29 декабря 1945 к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 30 декабря 1945.

³³ Большинство из них было уничтожено НКВД при приближении немцев – это произошло 11 сентября 1941 в Медведевском лесу. Среди расстрелянных Х.Г.Раковский, профессор-медик Д.Д.Плетнев, Мария Спиридонова, О.Д.Каменева (жена Л.Б.Каменева и сестра Л.Д.Троцкого) и другие. См.: Трагедия в Медведевском лесу // Известия ЦК КПСС. 1990. №1. С.124-131.

³⁴ См. предисловие к изд.: Реквием: Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине: В 3 т. Орел, 1995.

ятий³⁵. При активной поддержке городской управы здесь работали музеи; возобновила работу областная библиотека (самое крупное собрание книг на оккупированной территории России³⁶); открылись православные храмы, в том числе кафедральный Богоявленский собор. В городе издавалась одна из наиболее ярких антисоветских и антисемитских оккупационных газет – «Речь»³⁷, редактировавшаяся Михаилом Октаном³⁸ и Владимиром Самариным³⁹.

В область с таким сложным идеологическим и социально-политическим рельефом Н.Н.Бурденко приехал в самом начале августа 1943. Поездка была плановой: еще 31 мая 1943 на заседании ЧГК было решено, что Бурденко отправится в Орловскую область для подготовки материалов официального «Сообщения» ЧГК⁴⁰. Процедура сбора фактов для «Сообщений» строилась по стандартной схеме: сначала местная комиссия содействия работам ЧГК должна была выявить и обработать исходный материал о преступлениях фашистов (акты и свидетельские показания), затем приехавший из Москвы инспектор ЧГК проверял его юридическую готовность, а после этого уже член ЧГК лично свидетельствовал собранные обвинения.

³⁵ См.: Ковалев Б.Н. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России (1941–1944 гг.). Великий Новгород, 2001. С.161.

³⁶ О жизни ученых в оккупированном Орле см.: Сорокина М.Ю. Наука и Третий Рейх: Борьба за ресурсы // Природа. 2003. №8. С.73-80.

³⁷ См.: Воловик Л.Ф. Антисемитская пропаганда в Орле (1941–1997) // Тень Холокоста. М., 1998. С.137-139; Herzstein R.E. Anti-Jewish Propaganda in the Orel Region of Great Russia, 1942–1943: The German Army and Its Russian Collaborators // Simon Wiesenthal Center. Annual 6.

³⁸ Настоящая фамилия – Ильичич. Перед тем, как покинуть Орел, 30 мая 1943 он выпустил номер «Речи» со списком евреев, занимавших до войны руководящие должности в городе.

³⁹ Настоящее имя и фамилия Владимир Дмитриевич Соколов (1913–1992). Уроженец Орла, здесь же учился и преподавал до войны. С 1944 – в Германии, затем – в США. С 1959 преподавал в Йельском университете. Написал книгу об оккупированном Орле, см.: Samarin V.D. Civilian Life Under the German Occupation, 1942–1944. New York, 1954.

⁴⁰ См.: Протокол №4. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.6. Л.9. По мере освобождения области, на протяжении марта–апреля 1943 секретарь Орловского обкома ВКП(б) Н.Г.Игнатов трижды направлял секретарю ЦК Г.М.Маленкову докладные записки о зверствах немецко-фашистских захватчиков и о материальных убытках, причиненных ими Орловщине (см.: Там же. Оп.37. Д.14. Л.1-3об.; 4-15; 16-22), и только на третьей из них, переадресованной Маленковым председателю ЧГК Н.М.Швернику, 3 мая появилась резолюция последнего: «Посылаю акты и материалы, в которых следует быстро разобраться». «Быстро» – потому, что уже случилась Катюнь, и необходимо ответными пропагандистскими контрударами реагировать на нападки Берлина.

В Орле эта схема забуксовала с самого начала. Официально орловская комиссия, возглавляемая секретарем обкома ВКП(б) А.П.Матвеевым, должна была начать работу еще в июне 1943. Однако приехавший в область в конце этого месяца инспектор ЧГК К.А.Лебедев констатировал, что комиссия существует исключительно *de jure*⁴¹. Следующий инспектор ЧГК А.А.Гусарь, побывавший в Орле в октябре 1943, также зафиксировал, что за пять месяцев комиссия провела всего два заседания и фактически ничего не делает⁴². Зато когда в марте 1945 в ЧГК подводились официальные итоги причиненного области ущерба, орловская комиссия докладывала, что в ее работе приняли участие свыше 70 000 человек (!)⁴³, и это при том, что до оккупации население Орла составляло примерно 114 тысяч, а после нее в городе оставалось не более 30 тысяч человек⁴⁴.

Интересно отметить, что в годы войны все секретари Орловского обкома партии, они же председатели местной комиссии содействия ЧГК, были профессиональными чекистами: Н.Г.Игнатов работал в органах с 1921⁴⁵, А.П.Матвеев до войны возглавлял наркомат внутренних дел Белоруссии⁴⁶. Но, несомненно, центральной фигурой в расследовании фашистских преступлений в области был начальник местного управления НКВД, полковник госбезопасности К.Ф.Фирсанов⁴⁷. Он находился на этой должности десять лет – с ян-

⁴¹ Из отчета о командировке в Орел К.А.Лебедева секретарю ЧГК П.И.Богоявленскому. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.117. Д.9. Л.66-67.

⁴² Из письма А.А.Гусаря секретарю ЧГК П.И.Богоявленскому. – Там же. Л.111-112.

⁴³ Из справки секретаря Орловского горкома ВКП(б) Маркова от 11 августа 1943. – Там же. Оп.37. Д.10. Л.9.

⁴⁴ Там же. Л.15.

⁴⁵ Игнатов Николай Григорьевич (1901–1966) – профессиональный чекист. С 1932 – на партработе, с 1941 – в Орле. В 1943–1949 – первый секретарь Орловского обкома партии. В 1957–1960 – секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.

⁴⁶ Матвеев Александр Петрович (1905–1946) – партийный работник. С февраля 1941 – нарком внутренних дел Белорусской ССР; в 1942–1943 – первый секретарь Орловского обкома ВКП(б), с сентября 1942 – представитель Центрального штаба партизанского движения на Брянском фронте, в 1944–1946 – первый секретарь Брянского обкома ВКП(б).

⁴⁷ Фирсанов Кондратий Филиппович (1902 – после 1990) – чекист. В органах НКВД с декабря 1938. Учился на Курсах руководящих работников при Центральной школе НКВД, с января 1939 – начальник УНКВД Орловской области, которое возглавлял до июля 1944. Затем начальник УНКВД/УМВД Брянской области (до мая 1949), после чего пошел на повышение: в мае 1949 – феврале 1954 – министр внутренних дел Башкирской АССР; снят с должности «за допущенные серьезные ошибки в руководстве органами МВД Республики». Воз-

варя 1939 по май 1949⁴⁸ и был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. В сентябре 1941 полковнику Фирсанову было доверено важное государственное задание – расстрел политзаключенных Орловского централа в Медведевском лесу, а в июне 1943 областная комиссия содействия ЧГК при распределении обязанностей решила, что сбором «крупных фактов злодеяний в Орловской обл<асти>» будет заниматься также незаменимый полковник Фирсанов⁴⁹.

Записка Швернику

5 августа 1943 Орел был освобожден Красной Армией, а уже 6 августа Н.Н.Бурденко и его сотрудники начали обследование здания городской тюрьмы, где находился лагерь для советских военнопленных. Работа проводилась также на кирпичном заводе, в Медведевском лесу, в Некрасовке, Крутом Овраге, Малой Гати – вплоть до 19 августа. По возвращении в Москву, между 21 и 26 августа, Бурденко отправил председателю ЧГК Н.М.Швернику ту докладную записку, о которой говорилось выше. Этот документ безусловно достоин отдельной публикации целиком: здесь мы остановимся только на некоторых его пассажах, имеющих прямое отношение к нашей теме.

Прежде всего, Бурденко отметил в записке полное отсутствие какой-либо организации в фиксации фактов фашистских злодеяний, тем более в их расследовании на правовой основе. Так, например, писал он, получив сведения, что корреспондент Совинформбюро едет откапывать трупы захороненных на окраине города советских людей, «я предложил организовать Комиссию и поехал посмотреть местность и могилы. Ввиду несистематичности производимых раскопок, я приостановил их на один день. Вызвал патологоанатома фронта профессора Выропаева⁵⁰ и его бригаду и затем фронтового

главлял территориальное управление «Башспецнефтьстрой» МВД, служил в системе ИТЛ МВД (1954–1960). Уволен в запас в декабре 1960 в звании генерал-майора. Автор книг «За линией фронта» (Тула, 1968); «Так воевали чекисты» (М., 1973); «Ради жизни. Записки чекиста» (Куйбышев, 1973) и др.

⁴⁸ С учетом изменений территориально-административного деления Орловской и Брянской областей после войны.

⁴⁹ Из отчета о командировке в Орел К.А.Лебедева секретарю ЧГК П.И.Богоявленскому. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.117. Д.9. Л.66-67.

⁵⁰ Выропаев Дмитрий Николаевич (1900–1946) – патолог, профессор кафедры патологической анатомии 1-го Московского медицинского института (у академика А.И.Абрикосова); декан лечебного факультета (1938–1942). В армии добровольно, с июня 1942. С октября 1942 – главный патолог и начальник пато-

судебного медика профессора Огаркова⁵¹, и на другой день произвели раскопки»⁵².

Первоначально одним из главных источников сведений о карательных действиях фашистов были советские военнопленные, освобожденные из концлагеря. Встреча с ними буквально потрясла академика:

Картины, которые пришлось видеть, не только поражали воображение, но они совершенно парализовали мысль и ввергали в оцепенение. Раненые в первый раз видели меня – русского врача и видели сопровождающих меня врачей и могли судить обо мне как начальнике, – но я ни на одном лице не видел чувства, – не говорю о радости, – удовольствия. На приветствие «Здравствуйте, товарищи» – было угрюмое молчание и на лицах – утомление, равнодушие. Эта ошеломляющая картина заставила меня задуматься – в чем тут дело? Очевидно, эмоция страха и отчаяния пережитых месяцев поставила знак равенства между жизнью и смертью, между волей к свободной жизни и рабством. Я наблюдал три дня людей, перевязывал их, эвакуировал, – психологический ступор не менялся. Нечто подобное в первые дни лежало и на лицах врачей и прочих групп орловской интеллигенции.⁵³

Конечно, Бурденко интерпретировал «угрюмое молчание» раненых при виде советского генерала как следствие причиненных фашистами страданий и был частично прав. Но едва ли не более того оно означало страх перед новой встречей с советскими «органами», ведь большинство тех, с кем общался Бурденко, попали в плен еще в 1941 и, конечно, знали о том, что это рассматривалось как измена

лого-анатомической лаборатории №81 Брянского фронта. В дальнейшем – сотрудник Б.И.Збарского и В.П.Воробьева по лаборатории Мавзолея Ленина.

⁵¹ Огарков Иван Федорович (1895–1968) – военный медик; с 1921, одновременно со службой в армии, – зав. подотделом медицинской экспертизы в Смоленске, позднее – губернский судмедэксперт. Служил в Смоленском гарнизоне, в 1921–1940 по совместительству занимался судмедэкспертизой. С 1926 – ассистент, с 1940 – доцент кафедры судебной медицины Смоленского медицинского института (под руководством Н.В.Попова), полковник медицинской службы (1940). В январе 1943 назначен главным судмедэкспертом Брянского фронта. В 1945 защитил докторскую диссертацию на тему «Небоевые ранения из винтовки и их судебно-медицинская экспертиза». Профессор и заведующий кафедрой судебной медицины Военно-медицинской академии в Ленинграде (1949–1963), профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ЛГУ, председатель Ленинградского научного общества судебных медиков и криминалистов (1956–1968).

⁵² Записка Швернику. Л.28.

⁵³ Там же. Л.30-31. Частично текст вошел в «Сообщение» ЧГК, см.: Сборник ЧГК. С.50-51.

Родине, а многие местные жители работали в немецких оккупационных учреждениях и попадали в категорию «пособников»⁵⁴.

Буквально с первых же дней допросов (еще в качестве свидетелей) бывшим военнопленным и местным жителям орловские чекисты настойчиво задавали вопрос о «методе расстрела», используемом фашистами⁵⁵. По сохранившимся протоколам хорошо заметно, что хотя часть свидетелей давала показания о том, что не видела расстрелов, а только «слышала» о них или знает «по рассказам» третьих лиц, или только видела трупы расстрелянных, сотрудники НКВД подводили свидетелей к нужному описанию «метода» (выстрел в затылок с близкого расстояния), причем в конце протокола особо оговаривалось, что свидетель подтверждает указанные «способы расстрела».

Несомненно, Бурденко знакомился с этими показаниями военнопленных. В записке Швернику после подробного изложения «следов преступлений фашистов» он также впервые ставит вопрос о методе расстрела. «Обращает на себя внимание способ расстрела, – писал академик. – Он систематичен. Это обстоятельство заставило тщательно обследовать раны на черепе, и я дал приказание некоторые черепа взять для более тщательного изучения»⁵⁶.

Последующие страницы записки представляют исключительный интерес для реконструкции истории «катынской провокации». Мотивируя необходимость «тщательного обследования ран на черепе», Бурденко простодушно писал:

Дело в том, что случайно я нашел в отведенной мне квартире номер немецкой газеты, где приведен подробный протокол вскрытий <захоронений> польских офицеров с участием экспертов из вассальных государств и немецких союзников. Описания ранения расстрелянных немцами советских людей и описания немцев по найденному протоколу совпадают как две геометрические фигуры. Протокол, напечатанный в немецкой газете «Речь», я отдал для печати Вам через тов. Матвеева. Единственный пункт, отмеченный в немецком протоколе, не найденный нами – это «связыва-

⁵⁴ В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников» вводилась смертная казнь через повешение или каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.

⁵⁵ Некоторые протоколы допросов сохранились в фонде ЧГК, см.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.37. Д.1. Л.38, 44-53об. и др.

⁵⁶ Записка Швернику. Л.33.

ние рук) у казенных. Но в протоколе не говорится, как и чем связаны руки. Но зато есть такое обстоятельство: в протоколе сказано: «На могиле с целью скрыть следы расстрела русские насадили деревца». Мое внимание было привлечено к следующему факту: у общей могилы в укромном углу – в застенке тюремного двора – место общей могилы тоже засажено «деревцами». Эти факты, начиная со способа расстрела и кончая засаживанием «деревцами», свидетельствуют о «немецкой системе». Из приводимых описаний является несомненным факт расстрела польских офицеров. Это – дело рук немецких фашистов, как об этом гласит «нота советского правительства о решении прервать отношения с польским правительством» от 28.04.43 (Правда. №109(9245)).⁵⁷

Вспомним, что в январе 1944 на первом заседании спецкомиссии Бурденко уже очень неопределенно говорил о каком-то «случайно» оказавшемся в Орле гражданине, у которого в архиве (!) он нашел «разные газеты», в том числе с немецким катынским протоколом. В записке, написанной по свежим следам поездки, он описал события значительно более конкретно: «Нашел в отведенной мне квартире номер немецкой газеты, где приведен подробный протокол вскрытий польских офицеров с участием экспертов из вассальных государств и немецких союзников»⁵⁸.

Этим так удачно найденным номером была, конечно, уже упоминавшаяся газета «Речь». Начиная с 23 апреля и вплоть до конца июля 1943 в ней регулярно печатались материалы о немецком катынском расследовании. Номер, упомянутый Бурденко, вышел 19 мая 1943 (№56). Здесь на второй странице и был опубликован материал «Трагедия в Катынском лесу – Судебно-медицинское исследование трупов Катынского леса (протокол)».

Можно ли представить себе, что номер оккупационной газеты с немецким протоколом случайно попал именно в ту самую орловскую квартиру, где остановился Бурденко? Можно ли поверить, что академик Бурденко жил в случайно отведенной для него квартире в Орле? Можно ли, наконец, ожидать, что академику Бурденко показывали в Орле и области случайные свидетельства фашистских преступлений? Очень трудно дать положительный ответ на любой из этих вопросов. Скорее всего, устройством и размещением такого важного гостя, как главный хирург Красной Армии и член ЧГК, занимался лично начальник УНКВД по Орловской области полковник Фирсанов, и по его распоряжению Бурденко поселили в квартире,

⁵⁷ Там же. Д.10. Л.33-34.

⁵⁸ Там же. Л.33.

где и был специально оставлен протокол вскрытия катынских захоронений. Академик, до приезда в Орел явно не знакомый с опубликованными немецкими материалами по Катыни, понял (или принял) направленный ему «message» и сделал правильный вывод об идентичности «немецкого» метода расстрела в Катыни и Орле.

Вопрос о том, была ли связка «Орел – Катынь» частью большой, уже в это время разрабатывавшейся операции НКВД по нейтрализации катынских разоблачений (а возможно, и не только их!) или это личная импровизация Фирсанова, стремившегося прикрыть деяния местного УНКВД, впоследствии поддержанная и развитая в центре⁵⁹, – остается пока без ответа.

«Умелые руки»

Идея открытия особого «немецкого почерка» расстрела буквально захватила академика Бурденко. По возвращении в Москву, 2 сентября он немедленно отправил В.М.Молотову письмо, в котором прямо связал увиденное в Орле с возможностью опровержения немецких сообщений по Катыни:

Я в бытность мою в Орле, как член Правительственной комиссии, раскопал почти 1000 трупов и нашел, что 200 расстрелянных советских граждан имеют те же самые ранения, что и польские офицеры. Достаточно тщательно сопоставить описание немецких протоколов и протоколов наших вскрытий, чтобы убедиться в тождестве и обнаружить «умелую руку»... Таким образом, установленное тождество «метода» убийств в Орле и Катынском лесу является знаменательным и дает несомненное доказательство, что «умелая рука» была одна и та же и обличает немцев как виновников катынской трагедии.⁶⁰

Тезис Бурденко об идентичности почерка расстрелов в Орле и Катыни как доказательства виновности фашистов сразу получил одобрение и распространение среди его коллег по ЧГК. Уже 3 сен-

⁵⁹ Фирсанов тщательно охранял порученные ему тайны и пресекал любые попытки хоть как-то приблизиться к ним. Так например, он требовал у военного прокурора 3-й армии Н.Д.Зори документы, которые относились к работе Орловского лагеря военнопленных, располагавшегося в бывшем здании НКВД (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.37. Д.1. Л.5). Впоследствии подполковник юстиции Н.Д.Зоря стал одним из обвинителей от СССР на Нюрнбергском трибунале; в декабре 1946, накануне слушаний по Катыни, он странным образом погиб.

⁶⁰ Письмо неоднократно цитировалось, см., например: *Абашинов В.* Катынский лабиринт. М., 1991. С.133-134; *Лебедева Н.* Катынь: Преступление против человечества. М., 1994. С.3-5.

тября другой член ЧГК, академик-правовед И.П.Трайнин⁶¹, направляя А.Я.Вышинскому⁶² проект «Сообщения» ЧГК о зверствах оккупантов в Орле, однозначно утверждал: «Академиком Бурденко Н.Н. установлено, что расстрел немцами советских граждан в затылочную область совпадает с методом расстрела польских офицеров в Катынском лесу»⁶³.

Орловское «открытие» Бурденко оказалось тем более ценным и своевременным, что в эти сентябрьские дни фронт неумолимо приближался к Смоленску, а советские идеологи еще не имели определенного плана, чем и как ответить на «катынский вызов» фашистской пропаганды. Только 22 сентября начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александров в письме своему шефу – секретарю ЦК А.С.Щербакову предложил создать комиссию из представителей ЧГК и следственных органов, которая бы сразу, вслед за передовыми армейскими частями, прибыла в Катынь и организовала охрану могил, сбор необходимых материалов, опрос свидетелей и тому подобные следственные действия⁶⁴. Однако катынские сценарии разрабатывали не «пропагандисты», а совсем другие ведомства, выходявшее в этих вопросах на В.М.Молотова и А.Я.Вышинского. Эту особенность кремлевской кухни Бурденко знал (или только предполагал) и все свои заключения по Катыни предназначал непосредственно Молотову.

27 сентября, через два дня после взятия Смоленска он направил еще одно письмо В.М.Молотову, на бланке члена ЧГК:

Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович!

Вчера от профессора Трайнина я получил Ваше указание об обследовании Смоленской области и, в частности, – Катынской трагедии.

В отношении последнего дела я прошу Вашего разрешения, ввиду необходимости произвести выемку трупов польских офицеров и точного обследования способа расстрела и характера ран, – пригласить от Вашего имени начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии – генерал-лейтенанта Ефима Ивановича Смирнова и подчиненных ему компетентных лиц.

⁶¹ Трайнин Илья Павлович (1886/87–1949) – правовед, академик АН СССР (1939). С 1939 – заместитель директора Института права АН СССР, возглавлявшегося А.Я.Вышинским. С 1942 – директор этого института.

⁶² В эти годы Вышинский является заместителем председателя СНК СССР (1939–1944) и одновременно заместителем наркома иностранных дел (1940–1949). Позднее, в 1949–1953 – министр иностранных дел.

⁶³ ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.16. Л.7.

⁶⁴ РГАСПИ. Ф.17. Оп.125. Д.170. Л.103. Опулб.: Лебедева, 2001. С.492.

Это позволит составить точные акты и быстро собрать необходимую коллекцию и сравнить ее с собранной мною коллекцией. Кроме того, это облегчит документировать <так> находки на местах в виде фотоснимков, планов местности и рентгено снимков.

Надеюсь всю организацию поездки провести к 29 сентября.

Искренно преданный Вам Н.Бурденко⁶⁵

Самодетельность академиков – членов ЧГК вызвала некоторый переполох в советском руководстве. Молотов немедленно переправил письмо Вышинскому с резолюцией: «Я о Катыни ничего не говорил т. Трайнину. Нужно обдумать, когда и как братья за это дело. Т. Трайнин поторопился с дачей поручения т. Бурденко»⁶⁶.

Как известно, именно Андрей Януарьевич Вышинский курировал всю публичную сторону катынской истории⁶⁷. Кроме того, как лучший советский знаток постановочной части публичных судебных процессов, в 1945 он будет назначен Политбюро ЦК ВКП(б) председателем Комиссии по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге⁶⁸, а пока Вышинский de facto исполнял также обязанности главного редактора и цензора «Сообщений» ЧГК. После получения директивы Молотова он тотчас вызвал Трайнина, и 30 сентября на письме Бурденко появилась красноречивая отметка Вышинского: «Указания даны мною лично».

Однако, согласно официальным данным, в эти же дни – с последних чисел сентября⁶⁹ и до 16 октября – в Смоленске приступили к работе будущие главные катынские судебно-медицинские эксперты – В.И.Прозоровский, В.М.Смольянинов, П.С.Семеновский, М.Д.Швайкова⁷⁰, готовившие документы для «Сообщения» ЧГК по этому городу⁷¹.

⁶⁵ Там же. Ф.82 (Молотов). Оп.2. Д.512. Л.10.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ См.: Зоря Ю. Нюрнбергская миссия // Инквизитор: Сталинский прокурор Вышинский / Сост. и общ. ред. О.Е.Кутафина. М., 1992. С.282-284.

⁶⁸ См.: Соколов В.В. Министр иностранных дел А.Я.Вышинский // Международная жизнь. 1991. №6; Зоря Ю. Нюрнбергская миссия. С.268, 269.

⁶⁹ В разных документах даты расходятся; называются 26, 27 и 28 сентября и даже 1 октября.

⁷⁰ Из письма Н.Н.Бурденко Н.М.Швернику от 8 февраля 1944. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.403. Л.5.

⁷¹ Проект «Сообщения» принят 6 ноября 1943 опросом на заседании ЧГК (Протокол №19. – Там же. Д.25). Опубликовано в тот же день в «Известиях» под названием «О разрушении гор. Смоленска и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над советскими гражданами»; см. также: Сборник ЧГК. С.58-77. Подписано Н.М.Шверником, Н.Н.Бурденко, Е.В.Тарле,

Эксперты

На протяжении военных лет В.И.Прозоровский, В.М.Смолянинов, П.С.Семеновский и М.Д.Швайкова составляли единую, многократно проверенную группу экспертов, которая давала официальные судебно-медицинские заключения едва ли не на всех, важнейших с точки зрения власти, судебных процессах. В частности, именно они подписывали результаты судебно-медицинских исследований для первых судов над оккупантами и их пособниками в Краснодаре и Харькове (июль, декабрь 1943)⁷². Все эти эксперты были сотрудниками созданного в предвоенные годы Научно-исследовательского института судебной медицины (НИИСМ) Наркомата здравоохранения (НКЗ) СССР и сделали весьма успешную карьеру. Однако, несмотря на внешнее обилие юбилейных и некрологических статей⁷³, биографии этих специалистов, десятилетиями возглавлявших и направлявших развитие судебной медицины в СССР, остаются малоизвестными не только за пределами их профессионального круга.

Профессор Виктор Ильич Прозоровский (1901–1986), коренной москвич, принадлежал к одному из самых древних дворянских родов. Он окончил медицинский факультет 2-го МГУ, учился там в аспирантуре и затем работал ассистентом на кафедре судебной медицины, возглавлявшейся последовательно профессорами Петром Андреевичем Минаковым (1865–1931) и Николаем Владимировичем Поповым (1894–1949). Параллельно, в 1937–1939, заведовал Московской городской судебно-медицинской экспертизой. Методично выстраивая карьеру научного администратора, Прозоровский еще в 1930 вступил в ВКП(б), а в 1939, после того, как его учитель Н.В.Попов был обвинен в поддержке «лженаучной» теории «формальной» генетики в вопросах наследования групп крови, заменил его на посту директора НИИСМ и с тех пор в течение многих лет возглавлял этот институт⁷⁴. Однако, и это весьма необычно, не толь-

А.Н.Толстым, Б.Е.Веденевым. Учитывая время, необходимое на типографское производство, ясно, что «Сообщение» было отправлено в газету еще до утверждения ЧГК.

⁷² За работу на этих процессах В.И.Прозоровский, В.М.Смолянинов и П.С.Семеновский были награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.

⁷³ К сожалению, они фактически повторяют друг друга слово в слово.

⁷⁴ Несмотря на то, что во всех некрологах В.И.Прозоровский называется инициатором создания НИИСМ, на самом деле такого просто не могло быть. В 1931, когда НИИСМ начал работу, Прозоровский был еще простым ассистентом кафедры судебной медицины 2-го Московского медицинского института.

ко не изгнал Попова, но и оставил в качестве своего заместителя. В 1940 В.И.Прозоровский был назначен главным судмедэкспертом НКЗ СССР и председателем судебно-медицинской комиссии его Ученого медицинского совета, заняв таким образом все командные высоты в своей дисциплине. Как показывает список его научных работ, в предвоенные годы Прозоровский занимался вопросами токсикологии, а в послевоенные – резко сменил тематику и писал или об особенностях поражения ручным огнестрельным оружием или о методологических проблемах судебной медицины в контексте марксистско-ленинской теории. Работа в ЧГК существенно упрочила его положение в те годы: как эксперт от СССР он выступал в Нюрнберге, а в 1950-е методологически и организационно направлял все развитие судебной медицины: проводил всесоюзные совещания судебных медиков, создал Всесоюзное научное общество судебных медиков и криминалистов, с 1958 редактировал журнал «Судебно-медицинская экспертиза». За свои труды был удостоен не только почетных медалей Хельсинкского и Генеузского университетов, но и польского ордена «Золотой крест»⁷⁵.

Заместитель В.И.Прозоровского по НИИСМ до 1949 профессор Владимир Михайлович Смольянинов (1898–1981) также принадлежал к известной русской дворянской фамилии. Он закончил медицинский факультет 1-го МГУ и до войны заведовал в НИИСМ токсикологическим отделением, а в военные годы – кабинетом военных судебно-медицинских экспертиз. В 1932–1943 Смольянинов – главный судебно-медицинский эксперт НКЗ РСФСР. В 1943 он защитил докторскую диссертацию на тему «О некоторых источниках ошибок в судебной медицине при доказательствах насильственной смерти». Шедшие многие годы параллельно, служебные дороги Прозоровского и Смольянинова несколько разошлись в эпоху борьбы с космополитизмом, когда над головой Смольянинова собрались изрядные тучи⁷⁶. Однако этническая «чистота» и связи спасли его, и он остал-

⁷⁵ Последняя по времени юбилейная статья опубл.: Судебно-медицинская экспертиза. 2002. №4. С.47. Характерно, что она подписана редколлекцией журнала, а не кем-то персонально.

⁷⁶ В июне 1947 во 2-м Московском медицинском институте ассистентом кафедры судебной медицины Л.Г.Фенелоновой была защищена кандидатская диссертация «Некоторые условия образования трещин на костях свода и основания черепа при огнестрельных пулевых повреждениях», научным руководителем которой был муж соискательницы – В.М.Смольянинов. В апреле 1949 профессор А.П.Курдюмов, бывший заведующий танатологическим отделом НИИСМ, направил письмо заместителю председателя Совета Министров СССР Л.П.Берия, в котором обвинил диссертантку в использовании праха павших советских

ся заведующим кафедрой судебной медицины 2-го Московского медицинского института (до 1979), но его административный рост на этом закончился⁷⁷.

Мария Дмитриевна Швайкова (1905–1978) – известный биохимик⁷⁸, в 1936 защитила первую в СССР кандидатскую диссертацию по судебной химии «Микрохимическое открытие кокаина при судебно-химических исследованиях», а в 1945 – докторскую. В 1937 она организовала кафедру судебной и токсикологической химии в 1-м Московском медицинском институте, которую возглавляла более сорока лет (до 1978), и параллельно (до 1959) заведовала судебно-химическим отделением НИИСМ.

Судьба четвертого эксперта – Петра Сергеевича Семеновского (1883–1959) – сложилась значительно сложнее, чем у его коллег. Авторы современных исследований диаметрально противоположно характеризуют его деятельность: если журналисты и историки называют Семеновского преимущественно «рядовым тюремным медиком», «посредственным профессионалом, но очень створчивым и послушным человеком» и даже палачом, многие годы теснейшим образом связанным с ведомством Л.П.Берия и знаменитой лабораторией Г.Майрановского⁷⁹; то коллеги по цеху – родоначальником целых направлений отечественной криминалистики⁸⁰. Действительно,

патриотов. Из Совета Министров СССР письмо отправили в Министерство высшего образования со следующей резолюцией: «Тов. Кафтанову С.В. Прошу заинтересоваться. 18.04.49. Л.Берия» (ГАРФ. Ф. Р-9396 (Министерство высшего образования). Оп.1. Д.198. Л.175-177).

⁷⁷ См. о нем: *Баринев Е.Х., Пашиян Г.А.* Профессор Владимир Михайлович Смольянинов. М., 1998; см. также: *Крюков В.Н. и др.* Владимир Михайлович Смольянинов (К столетию со дня рождения) // Судебно-медицинская экспертиза. 1998. №2. С.54-55.

⁷⁸ О ней см.: <Некролог> // Там же. 1978. №3. С.60-61; *Солохин А.А., Солохин Ю.А.* Женщины – доктора медицинских наук, профессора, заведующие кафедрами судебной медицины высших медицинских образовательных учреждений России и СССР в XX столетии // Там же. 2003. №3. С.49.

⁷⁹ См.: *Абаринев В.* Катинский лабиринт. С.138; *Бобринев В.* «Доктор Смерть», или Варсонофьевские призраки. М., 1997. С.100, 108-109, 113, 269-272; *Бобринев В.А., Рязанцев В.Б.* Палачи и жертвы. М., 1993. С.170; *Ларин А.* О судебных убийствах // Человек и закон. 1988. №11. С.90-91; *Birstein V.J.* The Perversion of Knowledge: The True Story of Soviet Science. Boulder (CO): Westview Press, 2001; и др.

⁸⁰ См.: *Белкин Р.С.* 1) История отечественной криминалистики. С.29-30; 2) Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С.197; *Богданов Н.Н., Солонищенко В.Г.* История и основные тенденции развития дерматоглифики // Папилярные узоры: Идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика) / Под ред. Л.Г.Эджунова и Н.Н.Богданова.

Семеновский был автором первой российской монографии в области криминалистики («Дактилоскопия как метод регистрации». М., 1923), первым руководителем и экспертом первого криминалистического подразделения НКВД РСФСР – кабинета судебной экспертизы Центрального управления уголовного розыска.

Он родился в Москве, в семье псаломщика Никологолутвинской церкви. В 1898 окончил Донское духовное училище, в 1904 – Московскую духовную семинарию, однако, как и Бурденко, оставил церковную карьеру и поступил на медицинский факультет Императорского Юрьевского университета. Еще в студенческие годы за работу «Судебно-медицинское исследование семенных пятен» Семеновский был удостоен золотой медали и публикации в «Ученых записках» университета⁸¹. Подающий большие надежды студент, он после окончания университета в 1910 с золотой медалью оставлен ассистентом и помощником прозектора на кафедре судебной медицины (1910–1918), активно занимается научно-исследовательской работой, издает ряд интересных статей по судебной медицине.

Можно представить, что если бы не события 1917 года, карьера Семеновского так бы и развивалась по традиционному университетскому руслу. Однако революция кардинально изменила ход его жизни. Семеновский возвращается в Москву, вступает добровольцем в РККА и в 1919 становится зав. кабинетом судебной экспертизы и Регистрационного и дактилоскопического бюро Центроузска⁸², а в 1922 – начальником дактилоскопического подотдела научно-технического отдела НКВД РСФСР. В эти годы он разрабатывает классификацию пальцевых узоров, которая с небольшими изменениями существует и в настоящее время. Он преподает судебную медицину в 3-м Медицинском институте, читает лекции в Военной прокуратуре и в Верховном суде СССР, в 1930–1932 возглавляет Московское судебно-медицинское общество. После ликвидации в декабре 1930 НКВД РСФСР Семеновский переходит в НИИСМ старшим научным сотрудником танатологического отдела, и с этого момента его жизнь и деятельность становится «фигурой умолчания», но считается, что он входил в ближнюю «команду» Вышин-

М., 2002. С.37; Звягин В. Дерматоглифика в судебной медицине // Там же. С.81-84.

⁸¹ См.: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1910. №11, 12.

⁸² Параллельно он еще и прозектор Лефортовского морга при Московской городской судебно-медицинской экспертизе.

ского и на протяжении 1930-х регулярно выдавал любые нужные сталинским опричникам медицинские заключения⁸³.

«Можно утверждать...»

Смоленская поездка группы Бурденко⁸⁴ в сентябре–октябре 1943 была небольшой репетицией будущей январской инсценировки⁸⁵. Медики должны были, впервые в практике работы ЧГК, представить к публикации в «Сообщении» ЧГК обширный акт судебно-медицинской экспертизы, раскрывающий масштабы и характер фашистских карательных акций в Смоленске и области⁸⁶. Особая зна-

⁸³ Так, доктор юридических наук А.Ларин вспоминал: «Не исследуя трупа, по материалам дела давал свое заключение доктор Семеновский. Я его знал лично. Вышинский не случайно выбрал именно его в эксперты. Это был посредственный профессионал, но очень сговорчивый и послушный человек. Вышинский манипулировал им, как хотел. В своем рвении и желании оправдать доверие Вышинского Семеновский ухитрился даже в акте экспертизы давать чисто юридические заключения: констатировать преднамеренность, умысел и т. п.» (*Ларин А. О судебных убийствах // Человек и закон. 1988. №11. С.90-91.*)

⁸⁴ По данным Н.Н.Бурденко, 27 сентября в Смоленск прибыли В.И.Прозоровский, В.М.Смольянинов, П.С.Семеновский, В.Н.Макаров, С.М.Багдасарьян (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.403. Л.5). Владимир Николаевич Макаров (1898–?) был начальником отдела ЧГК по учету ущерба, причиненного культурным, научным и лечебным учреждениям. Закончив строительный техникум, он сначала работал на Дальнем Востоке и в Казахстане, где дослужился до должности управляющего Казахским отделением Центрального института труда и члена коллегии Наркомата труда Казахской АССР. В 1934 вернулся в Москву и руководил группами труда и совхозного строительства Госплана СССР (1934–1937). В мае 1938 Макаров «по собственному желанию» уволился из Наркомата тяжелой промышленности и с большим понижением перешел на другую работу – начальником производственного отдела Музея труда ВЦСПС (см. личное дело. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.124. Д.77). Полковник медицинской службы, политработник со стажем Сурен Маркарович Багдасарьян (1905 – 1980-е) с 1941 возглавлял редакционно-издательский отдел РККА, в 1941–1945 являлся ответственным секретарем «Военно-медицинского журнала», а также фактически комиссаром при Н.Н.Бурденко, чьим официальным биографом стал в послевоенные годы (в 1951 защитил докторскую диссертацию о Бурденко).

⁸⁵ Согласно еще недавно секретной «Справке о результатах предварительного расследования так называемого “Катынского дела”», подписанной 18 января 1944 в Смоленске наркомом госбезопасности СССР В.Н.Меркуловым и заместителем наркома внутренних дел СССР С.Н.Кругловым, с 5 октября 1943 по 10 января 1944 там уже работала спецкомиссия из оперработников и следователей НКВД СССР и УНКВД по Смоленской области. – ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.114. Д.6. Л.1.

⁸⁶ Однако, за исключением П.С.Семеновского, никто из них не был патологоанатомом, поэтому вместе с ними в Смоленске трудилась небольшая группа

чимось этого «Сообщения» подчеркивалась и тем фактом, что оно должно было появиться в центральных газетах накануне очередной годовщины Октябрьской революции.

После того, как проект «Сообщения» был готов, 4 ноября Н.М.Шверник направил его текст В.М.Молотову с просьбой разрешить публикацию⁸⁷. После резолюции Молотова: «Надо опубликовать 6 XI. Спросить у т. Вышинского, нет ли у него замечаний», проект ушел к Вышинскому и на следующий день вернулся в секретариат Молотова в отредактированном виде⁸⁸. Наибольшей правке Вышинского подвергся как раз «Акт судебной-медицинской экспертизы», оригинал которого так и остался навсегда в архиве Молотова, а не в фонде ЧГК.

Инцидент с документом, подготовленным самыми надежными, самыми проверенными экспертами, показал, что в казалось бы надежно отлаженной Вышинским еще в 1930-е системе сталинской «политической юстиции», чрезвычайно эффективной с точки зрения поставленных перед нею задач, могут возникнуть «профессиональные» сбои, и она требует перенастройки.

Так, в оригинале акта эксперты аккуратно отметили относительно трупов, обнаруженных в могилах у селений Магаленщина-Вязовенька⁸⁹ и деревни Реадовка, что, «принимая во внимание показания ряда свидетелей, с большой долей вероятности вполне допустимо утверждать, что причиной смерти могло явиться отравление выхлопными газами в спецавтомашинах»⁹⁰. Правка Вышинского была решительной: вместо неопределенного «с большой долей вероятности» его карандашом вписано: «Можно утверждать». Он вычеркнул

военных судмедэкспертов: главный судмедэксперт Западного фронта майор Василий Петрович Никольский; судмедэксперт 21-й армии майор Фатькин; инспектор Санитарного управления Западного фронта майор Остапеня; врач санитарно-эпидемиологической лаборатории №316 Западного фронта капитан Глушакова; судмедэксперт 31-й армии капитан Федор Григорьевич Бусоедов; начальник патолого-анатомической лаборатории 31-й армии майор И.Е.Субботин; начальники (в разное время) патолого-анатомической лаборатории 5-й армии майор Сувилло и капитан Дроздовский. Впоследствии трое из них – В.П.Никольский, Ф.Г.Бусоедов и И.Е.Субботин – будут призваны в Катынь в январе 1944.

⁸⁷ РГАСПИ. Ф.82 (Молотов). Оп.2. Д.512. Л.11.

⁸⁸ Там же. Л.12-38.

⁸⁹ Здесь уничтожались еврейское население Смоленска, см. об этом: *Круглов А.* Уничтожение евреев Смоленщины и Брянщины в 1941–1943 годах // *Вестник Еврейского Университета в Москве.* №3(7). М.; Иерусалим, 1994. С.193-220.

⁹⁰ РГАСПИ. Ф.82 (Молотов). Оп.2. Д.512. Л.33.

из «Акта» «сомнительные» признания медиков, как например: «Объективных доказательств отравления окисью углерода, являющейся основным токсическим веществом выхлопных газов, при судебно-медицинском, судебно-химическом и спектроскопических исследованиях получить не представляется возможным». Или: «У некоторой части трупов, эксгумированных из могил на вышеназванных участках, причину смерти установить не удалось ввиду гнилостных изменений и распада тканей трупов»⁹¹.

Исправляя акт, Вышинский редактировал не столько документ, сколько мышление самих «экспертов», наглядно демонстрируя, каких результатов ждет от них власть. И как показали дальнейшие события, орловский и смоленский уроки не прошли для них даром.

Академик Бурденко так увлекся подброшенной ему идеей «немецкого почерка», что разработал специальный «План работы по исследованию и установлению метода расстрела немецко-фашистскими захватчиками советских граждан»⁹², предусматривавший «организацию раскопок и исследование трупов расстрелянных немцами советских граждан» в Виннице, Херсоне, Николаеве, Одессе, Воронеже – как раз в тех районах, которые удивительным образом совпали и с местами массовых расстрелов НКВД. Но если Катынь обсуждалась в международных кругах, то о бесчисленных могильниках советских граждан у НКВД никто не спрашивал, и план Бурденко не понадобился. Они так и остались братскими могилами, вскрывая которые потомки еще будут долго и часто безуспешно пытаться понять, где – свои, а где – чужие, где – палачи, а где – жертвы⁹³.

⁹¹ Там же. Л.33, 34.

⁹² ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп.116. Д.38. Л.3-4.

⁹³ Статья подготовлена в рамках исследований, в разное время поддержанных грантом Российского гуманитарного научного фонда (№04-03-00260а), а также Фондом Г.Хенкель (Германия). Приношу также самую искреннюю благодарность Александру и Владимиру Мемеловым, чья бескорыстная и заинтересованная помощь всегда сопутствовали моей работе.

«ПОДВЕРГНУТАЯ ЭКСПЕРТИЗЕ ЛИТЕРАТУРА...»

Из следственного дела И.М.Наппельбаум

Публикация Е.М.Царенковой,

вступительная статья и примечания А.Л.Дмитренко

*Памяти Владимира Ефимовича Аллоя,
по инициативе которого
была подготовлена эта публикация*

Биография выстраивается из последовательности уникальных фактов, что в исторической ретроспективе не исключает возможности типологического обобщения каждого из них. Часто представляется более важным выяснить значение отдельно взятого факта не столько в биографическом, сколько в более широком, социокультурном контексте. Для филолога такое осмысление биографии приобретает особенное значение при исследовании литературы советского времени, когда «вектор социума» (по выражению М.О.Чудаковой) в сильнейшей степени обуславливал не только специфику отдельных литературных произведений, но и постепенно формировал «литературную традицию, уже обработанную государственным давлением»¹.

Так, следственное дело Иды Моисеевны Наппельбаум (1900–1992)² является не только источником для составления ее частной биографии. Оно

¹ См.: Чудакова М. Заметки о поколениях в советской России // Новое литературное обозрение. 1998. №30. С.81.

² См.: Архив Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области (далее – Архив ФСБ). Д. № П-48512. Наиболее подробные сведения об И.М.Наппельбаум см. в книге ее воспоминаний: *Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни* / Вступит. статья В.Перца; <Сост. и подгот. текста Е.М.Царенковой>. СПб., 1995; далее отсылки приводятся на третье издание этой книги (СПб., 2004) – Угол отражения, с указанием страницы. См. также ее интервью:

представляет собой своего рода обвинительный документ по «делу» всего поколения деятелей искусства, к которому она принадлежала, – так называемого поколения 1890-х, формирование которого пришлось на первые пореволюционные годы. По категоричному, но опрометчивому признанию одного из представителей этого поколения, люди 1890-х «не выразили себя в истории нашей культуры»³. Сейчас трудно согласиться с этим признанием, в ретроспективе же становятся понятными его причины. По счастью, судьба Иды Наппельбаум сложилась так, что вряд ли она могла сказать о себе подобное. Пережив современников, она успела «досказать» многое из того, что в свое время не могло найти должного выражения. Хотя, оставаясь человеком поколения 1890-х, она вполне разделила его судьбу.

* * *

Дело Иды Наппельбаум 1951 года явилось своего рода рецидивом карательных кампаний против писателей, осуществлявшихся в предвоенное время. Не случайно на одном из допросов следователь заявил ей: «Мы вас с мужем не добрали в 1937 году»⁴. Как теперь выяснилось, эта фраза была не зловещим иносказанием, а констатацией конкретных обстоятельств дела. Однако по сравнению с 1937 годом политические условия и методы ведения следствия существенно изменились.

Строго говоря, Иду Наппельбаум «не добрали» не в 1937, а в 1938. Главным документом, инспирировавшим ее арест, послужил протокол допроса писателя Юрия Ивановича Юркуна (1895–1938) от 9 мая 1938. За тринадцать лет до ареста Иды Наппельбаум Юркун был приговорен к расстрелу за участие в «контрреволюционной правотроцкистской террористической организации среди писателей г. Ленинграда»⁵. Руководителем этой организации был тогда определен поэт и переводчик Б.К.Лившиц (1887–

Ида Наппельбаум: «Счастлива, что дожила...» / Запись М.Рутмана // Литературная газета. 1989. №46, 15 ноября. С.5; *Петрановская Н.* До революции о мальчиках не думала // Ленинские искры. 1990. №26, 30 июня. <С.5>; *Рутман М.* «В белых яблоках серый рысак...» // Вечерний Петербург. 1992. №5, 8 января. С.3; Ида Наппельбаум: У нас в классе были уроки поэзии / Запись М.Рутмана // Там же. №71, 25 марта. С.3; Ида Наппельбаум: «А стихи все идут и идут...» / Запись Э.Кундышевой // Литератор. 1992. №20(124), июнь. С.3. Из многочисленных статей и заметок, посвященных И.М.Наппельбаум, отметим содержательную посмертную публикацию: *Никольская Т.* Ида Наппельбаум (К годовщине со дня смерти) // Новое русское слово. 1993. 29 октября. С.55.

³ Из письма В.А.Милашевского к М.Б.Вериге от 7 апреля 1965. Цит. по: *Чудакова М.О., Левин М.В., Тоддес Е.А.* К вопросу о поколении 1890-х годов и его месте в современной отечественной культуре: Биография и творчество М.Б.Вериге // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С.187.

⁴ См.: Угол отражения. С.193.

⁵ О деле Юркуна см. комментарии Г.А.Морева в кн.: *Кузмин М.* Дневник 1934 года. СПб., 1998. С.374–379.

1938)⁶. В протоколе допроса Юркуна, приобщенном к делу Наппельбаум, среди прочих лиц, посещавших квартиру Лившица (О.Э.Мандельштам, Н.С.Гумилев, Н.В.Баршев, С.Д.Спасский, С.Г.Каплун, В.Л.Кибальчич, М.А.Кузмин и др.), названы писатель Михаил Александрович Фроман (наст. фам. Фракман; 1891–1940) и его жена И.М.Наппельбаум.

Приведем фрагмент из показаний Юркуна:

Жена ФРОМАНА – Ида НАППЕЛЬБАУМ, являющаяся еще в первые годы революции организаторшей «студии НАППЕЛЬБАУМ», где Георгий ИВАНОВ, Георгий АДАМОВИЧ, ныне эмигранты, читали свои контрреволюционные стихи.

Сама И.НАППЕЛЬБАУМ с 1926 г. являлась активной участницей и организаторшей контрреволюционных сборищ на квартире ЛИВШИЦА, помогая ему в вербовке новых участников контрреволюционной организации. У себя на квартире И.НАППЕЛЬБАУМ также устраивала, при ближайшем содействии ЛИВШИЦА, сборища участников нашей группы; у нее на квартире бывал и КИБАЛЬЧИЧ.

НАППЕЛЬБАУМ с 1932–33 гг. старалась сблизить ЛИВШИЦА с Борисом ЛАВРЕНЕВЫМ.

По своим связям и обширным кругам знакомства, зная всех без исключения писателей в Ленинграде, была самой ценной находкой для Б.ЛИВШИЦА в организации его группировки.⁷

Ида Наппельбаум была арестована 9 января 1951 в своей квартире в «доме-коммуне» на улице Рубинштейна (д. 7, кв. 17). Столь запоздалая реакция органов МГБ не вызывает особого удивления. Практика обращения к архивным документам в ходе разного рода «исторических разысканий» сложилась задолго до 1951 и была, кстати, особенно специфична для Ленинграда. Таким путем в 1930-е вылавливали троцкистов, в 1948 – меньшевиков, в начале 1950-х изучали старые партийные протоколы в поисках зинovieвцев. Подобные действия работников МГБ в большинстве случаев были обусловлены изменениями политической конъюнктуры.

На основании показаний Юркуна Наппельбаум была «изобличена» в преступлениях, предусмотренных статьями 7-35 УК РСФСР. Формулировка обвинения была уже обыденной для карательной практики: тридцать пятая статья разрешала административную высылку как СОЭ (социально опасного элемента), применение ее не требовало доказательства личной вины. После четырех допросов, во время которых следователь Иван Абрамович Диев расспрашивал Наппельбаум о Юркуне, Лившице, Адамовиче и Кибальчиче,

⁶ Подробные сведения о деле Лившица, а также общая характеристика «групповых дел» 1930-х годов содержатся в публ.: О марсиновых ранах: Поэт Бенедикт Лившиц / Публ. Е.В.Лукина // Русская литература. 1993. №2. С.216-230; Шнейдерман Э. Бенедикт Лившиц: Арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. №1. С.82-126.

⁷ Архив ФСБ. Д. № П-31221. Т.1. Л.19-20. С ксерокопией этого дела нас любезно познакомил Г.А.Морев, которому выражаем благодарность.

23 января ей было предъявлено обвинительное заключение. В ходе последовавших после этого еще семи допросов выяснилось, что Наппельбаум участвовала в деятельности кружка «Звучащая Раковина»⁸, руководимого Н.С.Гумилевым, а после смерти Гумилева предоставляла свою квартиру для «сборищ этой группы, где под видом литературных вечеров проводилась читка антисоветских произведений». Поверхностный разбор изъятых у Наппельбаум рукописей показал, что и сама она писала стихи антисоветского содержания. 1 марта обвинение было перекаленифицировано, и Наппельбаум привлекли уже по статьям 58-10 и 58-11 (антисоветская агитация и пропаганда, а также участие в антисоветской группе).

Допросы продолжались. В начале апреля на стол следователя легли свидетельские показания писателей С.Д.Спасского, осужденного в том же году по другому делу, и Д.А.Левоневского⁹. Спасский показывал, что Наппельбаум с 1932 периодически посещала собрания литературной группы «Перевал»¹⁰, а Левоневский сообщал, что в квартире Наппельбаум висел портрет Н.С.Гумилева и что она в 1934 дала ему фотокопию этого портрета. Речь шла о портрете Гумилева, выполненном Н.К.Шведе-Радловой в 1919–1920 и вскоре после этого приобретенном Моисеем Соломоновичем Наппельбаумом, отцом Иды Моисеевны.

Примечательная история этого портрета много лет спустя была изложена самой владелицей в мемуарах: долгое время портрет действительно висел у нее в квартире, но в 1937 М.А.Фроман уничтожил его, опасаясь воз-

⁸ Подробные справки о «Звучащей Раковине» и о «салоне» Наппельбаума см. в комментариях к воспоминаниям О.М.Грудцовой: *Грудцова О.* Довольно, я больше не играю...: Повесть о моей жизни / Публ. Е.М.Царенковой, предисл. и примеч. А.Л.Дмитренко // *Минувшее: Исторический альманах*. Вып.19. М.; СПб., 1996. С.114-116.

⁹ Сергей Дмитриевич Спасский (1898–1956) и Дмитрий Анатольевич Левоневский (1907–1988) – вероятно, именно те два писателя, два «друга семьи», имена которых И.М.Наппельбаум не решилась назвать в своих мемуарах (см.: *Угол отражения*. С.194-195). Мы называем имена этих людей, но при этом считаем себя не вправе давать какую-либо моральную оценку их поступкам, тем более, что их показания нельзя назвать доносами в юридическом понимании этого слова.

¹⁰ Группа «Перевал» (1923–1932) возникла при журнале «Красная новь» (редактор А.К.Воронский). В периодически выходивших сборниках «Перевала» (восемь выпусков за 1924–1932, последние два под названием «Ровесники») участвовали А.Весёлый, М.Светлов, М.Голодный, Н.Зарудин, А.Лежнёв и др. В январе 1928 были зарегистрированы 32 группы «Перевала» в различных российских городах (см.: *Читатель и писатель*. 1928. №3, 1 февраля. С.8). Среди членов ленинградского отделения «Перевала» – С.Д.Спасский, Е.М.Тагер, М.А.Фроман. По определению «Литературной энциклопедии», «Перевал» «боролся с пролетарской литературой и критикой, исходя из троцкистского отрицания пролетарской культуры» (*Литературная энциклопедия*. Т.8. М., 1934. Стлб. 500). На допросе 15 мая 1951 И.Наппельбаум сообщила, что она один или два раза посещала собрания «перевальцев» на квартире Спасского.

можных репрессий¹¹. Отсутствие самого полотна следствие не смутило, и портрет Гумилева, согласно воспоминаниям Иды Наппельбаум, стал «тем камнем, который потянул весы Фемиды»¹².

Однако другим, быть может, более весомым «камнем» послужил публикуемый нами акт экспертизы, проведенной над рукописями и книгами, изъятыми у Наппельбаум в результате двух обысков (10 января и 31 марта 1951). Большая часть изъятых текстов принадлежала ленинградским писателям – современникам Иды Наппельбаум, с которыми ее связывали дружеские или приятельские отношения с начала 1920-х.

При сравнении дела Наппельбаум с делами Юркуна и Лившица становятся наглядными те изменения, которые претерпел механизм ведения следствия со времени 1930-х. Следственная практика 1950-х, ощущая, очевидно, некоторую дефектность опыта недавнего прошлого, стремилась в какой-то мере сохранить видимость соблюдения юридических норм. Именно с этой тенденцией и связано назначение экспертизы в случае дела Иды Наппельбаум. Нам неизвестны прецеденты составления подобных актов экспертизы художественных произведений в довоенное время. Исключением можно назвать лишь отзыв П.А.Павленко о стихах О.Э.Мандельштама (1938), но он был написан не по заказу следствия, а по просьбе генерального секретаря Союза писателей СССР В.П.Ставского¹³. Аналогом подобных «экспертиз» уже в значительно более позднее время стали так называемые «акты осмотра» изъятых текстов, которые составлял следователь в присутствии понятых. Как любезно сообщил нам сопредседатель петербургского «Мемориала» В.В.Иофе, такой «акт осмотра» имеется, например, в деле В.Р.Марамзина (1975)¹⁴.

Назначение экспертизы в случае Иды Наппельбаум было, по-видимому, связано также с неуверенностью следователя И.А.Диева, крайне слабо ориентировавшегося в вопросах искусства. Ида Наппельбаум впоследствии вспоминала:

¹¹ См.: Угол отражения. С.191-195 (глава «Портрет поэта»). Описание портрета см.: Там же. С.26 (глава «Звучащая Раковина»); см. также: *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988. С.300-301. Фотография этого портрета, выполненная М.С.Наппельбаумом, сохранилась в альбоме Н.К.Шведе-Радловой (частное собрание), впервые воспроизведена: Панорама искусств. Вып.11. М., 1988. С.186. Художница Ф.Л.Вязменская (1912–1998) в 1985 выполнила копию портрета, воссоздав цветное решение оригинала по устным указаниям И.М.Наппельбаум. Цветная репродукция копии опубли.: *Шубинский В.* Николай Гумилев: Жизнь поэта. СПб., 2004 (между с. 384 и 385).

¹² Угол отражения. С.195.

¹³ См.: *Шенталинский В.* Улица Мандельштама // Огонек. 1991. №1. С.20; В марте 1938 года...: <Письмо В.П.Ставского Н.И.Ежову; Отзыв П.А.Павленко о стихах О.Мандельштама> / Публ. В.Шенталинского // Сохрани мою речь: Мандельштамовский сборник. <№1.> М., 1991. С.57-60.

¹⁴ При подготовке настоящей публикации мы пользовались советами ныне покойного Вениамина Викторовича Иофе, имя которого упоминаем здесь с глубокой благодарностью.

Он был провинциал, с Урала, недавно в Ленинграде. Не знал названий общественных учреждений, зданий, да еще 20–30-х годов! И совсем плохо был осведомлен в вопросах литературы. «Кто это символисты, футуристы?» (А такое ему досталось литературное дело...) «Что было раньше, что позже?» И я слежу, как он держит в открытом ящике стола книгу-справочник и, допрашивая меня, перелистывает ее. Однажды я не выдержала, поняв, что он запутался, спокойно сказала: «Не там смотрите, Сологуб – страницей раньше». Он как зарел: «Что такое? Какая страница?» – и захлопнул ящик. Стыдился своего невежества.¹⁵

Следственный отдел УМГБ ЛО постановил назначить экспертизу изъятых рукописей и книг 7 апреля 1951. Наппельбаум предъявили постановление, и она была специально допрошена на предмет ее знакомства с членами экспертной комиссии. На вопрос о том, имеются ли у нее отводы к кому-либо из них, ответила, что она им доверяет. Когда акт экспертизы был готов, Ида Наппельбаум была с ним ознакомлена и с выводами экспертов «полностью согласилась»...

Последний «сюжет» этого дела связан с тем, что еще в 1947 Ида Наппельбаум была вынуждена согласиться на секретную агентурную работу с органами МГБ. Следствию стало известно, что, будучи привлеченной к этой работе, она «работать не желала и среди своего окружения связь с МГБ расшифровала» (так сказано в обвинительном заключении). Действительно, после того, как у Иды Наппельбаум взяли подписку о неразглашении, она сразу же рассказала о том, что завербована, своим родным, а также тем людям, в отношении которых получила агентурное «задание». Речь, в частности, шла о семье первой жены М.А.Фромана – переводчицы Люсии (Цецилии) Лазаревны Покровской. Кроме того, уже находясь в тюрьме, Ида Наппельбаум рассказала о том, что она завербована, двум сокамерницам, которые тут же об этом донесли (возможно, последний инцидент был спровоцирован)¹⁶.

11 августа 1951 постановлением Особого совещания при МГБ СССР Ида Наппельбаум была осуждена к десяти годам исправительно-трудовых

¹⁵ Угол отражения. С.194.

¹⁶ Екатерина Михайловна Царенкова, дочь И.М.Наппельбаум, вспоминает об этом: «Ведь когда маму пригласили первый раз (в 1947. – А.Д.) и взяли подписку о неразглашении, она тут же рассказала Басалаеву (второй муж И.М.Наппельбаум. – А.Д.), мне, а главное – тем людям, о которых ее спрашивали. Она их предупредила. Но это ее и подвело, ибо один из них тут же сообщил об этом. Думаю, что в какой-то мере это его и его семью убергло, а может, он сам с ними был связан. Они ее и вызывали-то не больше трех раз. Один раз – она сказала, что больна, и взяла больничный, а два раза ходила (эта квартира была в нашем переулке, в двух шагах от нашего дома), но, естественно, ни о ком не говорила лишнего. Ну а потом к ней подсадили в камеру эту даму – и она ей тоже рассказала» (из письма Е.М.Царенковой к автору настоящей статьи, сентябрь 1998).

лагерей по ст. 58-10, 58-11 (участие в троцкистской группе и антисоветская агитация) и по ст. 121 УК РСФСР (разглашение сведений, не подлежащих оглашению). Родственники неоднократно ходатайствовали о пересмотре дела. Сохранились заявления М.С.Наппельбаума на имя министра государственной безопасности С.Д.Игнатьева (1951), а также на имя Л.П.Берии (1953) и К.Е.Ворошилова (1953)¹⁷. Дело неоднократно пересматривалось. Лишь 14 сентября 1954 было прекращено обвинение по ст. 58-10 и 58-11. 4 октября этого же года «за недоказанностью преступления» снято и обвинение по ст. 121.

Полностью реабилитирована Ида Моисеевна Наппельбаум была только 6 марта 1991. Она отказалась от предоставленной тогда возможности ознакомиться со следственным делом. Дело было скопировано уже после ее кончины, последовавшей 2 ноября 1992.

Публикуя здесь «Акт экспертизы» по делу И.М.Наппельбаум, мы воздержались от комментирования тех имен и литературных реалий, справки о которых без труда можно найти в литературной энциклопедии и других общедоступных справочниках. Учитывая специфику публикуемого текста, мы считаем его детальную историко-филологическую критику в данном случае неуместной.

Оригинал «Акта» представляет собой машинопись. Подписи членов экспертной комиссии и запись И.М.Наппельбаум на последней странице – от руки. Орфография и пунктуация текста в основном приведены к современным нормам, исключение составили неточности в написании имен собственных писателей, которые оговариваются в примечаниях.

АКТ

Согласно постановлению СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УМГБ ЛО от 7 апреля 1951 года, экспертной комиссии, в составе:

председателя ЧЕВЫЧЕЛОВА Дмитрия Ивановича – директора ЛЕНДЕТГИЗА и членов – ХИЛЬКЕВИЧ Андрея Васильевича – кандидата исторических наук, преподавателя Ленгосуниверситета, и МИКИТИЧ Людмилы Даниловны – цензора Леноблгорлита,

¹⁷ Перед отправкой в лагерь И.М.Наппельбаум имела свидание со своей сестрой Фредерикой Моисеевной Наппельбаум (1901–1958). Некоторые обстоятельства этого свидания М.С.Наппельбаум описывал в своем ходатайстве на имя Л.П.Берии, сохранившемся в следственном деле Иды Моисеевны (само ходатайство написано рукою Ф.М.Наппельбаум): «На вопрос ее – зачем сестра признала себя виновной в таких <тяжких?> вещах, она ответила, что была измучена 9-тимесячным следствием, что ее убедили, что по предъявленному обвинению она не может получить более 5 лет, что ей обещали судебное разбирательство в ее присутствии и что она готова была все подписать, лишь бы избавиться от допросов».

представлены для дачи заключения следующие рукописные материалы и книги, изъятые при аресте и обыске у обвиняемой НАП-ПЕЛЬБАУМ Иды Моисеевны:

1. АВТОРСКИЕ РУКОПИСИ И КНИГИ НАППЕЛЬБАУМ И.М.:

1. Блокнот со стихами 1921–1927 и 1929 гг.
2. Памятная книжка со стихами 1924–1928 гг.
3. Записная книжка со стихами 1927–1928, 1936 и 1940 гг.
4. Напечатанные на машинке стихи из цикла «О ревности» 1930, 1931 и 1933 гг.
5. Изданная книга стихов «Мой дом», 1927 г.

II. РУКОПИСИ ДРУГИХ АВТОРОВ:

1. ФРАКМАН. Записная книжка со стихами 1923–1927 гг.
2. Его же записная книжка со стихами 1927–1933 гг. («Молодость», «Зимняя песня» и др.)

III. КНИГИ:

1. В.ХОДАСЕВИЧ. «Статьи о русской поэзии», изд. 1922 г. «Счастливый домик», стихи изд. 1922 г.
2. Г.АДАМОВИЧ. «Чистилище», стихи, изд. 1922 г.
3. Г.ИВАНОВ. «Сады», стихи, изд. 1921 г.
4. Ирина ОДОЕВЦЕВА. «Двор чудес», стихи, изд. 1922 г.
5. В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. «Золотое Веретено», стихи, изд. 1921 г., «Лето», стихи, изд. 1921 г.
6. М.КУЗМИН. «Александрийские песни», стихи, «Форель разбивает лед», изд. 1923 г.¹, «Эхо», изд. 1921 г. «Вторник Мэри», изд. 1921 г.
7. Н.БАРШЕВ. «Гражданин вода», изд. 1926 г.
8. М.ФРОМАН. «Память», стихи, изд. 1927 г.
9. Федор СОЛОГУБ. «Свирель», стихи, изд. 1922 г.
10. Б.ЛАПИН. «1922-я книга стихов», изд. 1923 г.
11. Б.ЛИВШИЦ. «Гилея», изд. 1931 г.
12. С.СПАССКИЙ. «Пространство», стихи, изд. 1936 г.
13. Б.ЭЙХЕНБАУМ. «Анна Ахматова», изд. 1923 г.
14. Зел. ШТЕЙНМАН. «Навстречу Жизни», изд. 1934 г.
15. О.МАНДЕЛЬШТАМ. «О поэзии», изд. 1928 г.
16. Константин ВАГИНОВ. Сборник стихов, изд. 1926 г.
17. Л.АВЕРИАНОВА и др. «Собрание стихотворений», изд. 1926 г.²
18. В.АЛЕКСЕЕВ и др. «Ларь», стихотворения, изд. 1927 г.
19. Л.БОРИСОВ и др. «Литературные вечера», стихи, изд. 1923 г.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли в произведениях обвиняемой НАППЕЛЬБАУМ идеологические и политические извращения.

2. Имеются ли в рукописях М.ФРАКМАН<а>, изъятых у обвиняемой НАППЕЛЬБАУМ, идеологические и политические извращения.

3. Что представляют из себя по содержанию книги, изъятые у обвиняемой НАППЕЛЬБАУМ.

Эксперты об ответственности по ст. 95 УК РСФСР предупреждены:
<Подписи членов комиссии>

1. Об авторских рукописях Наппельбаум

Авторские рукописи НАППЕЛЬБАУМ — это несколько десятков небольших стихотворений, написанных в разное время, в течение 1921–1940 гг.

Все они (около 40) записаны в перечисленных выше блокноте, памятной книжке и записной книжке.

Эти стихотворения дают достаточные представления <так!> об общественно-политических позициях автора в эти годы, об отношении его к дореволюционному прошлому и к советской действительности.

Отношение к дореволюционному прошлому характеризуется взволнованными воспоминаниями автора о детстве, когда она «жутко мечтала о божьей», ее мыслями о молитве, иконах, «пахучих суботных свечах», синагоге, мечети и т. д.³

Это отношение к прошлому характеризуется и радостью «узнавания» старого мира в советской действительности.

Вот как, например, видится автору столица нашей Родины Москва:

«Тот же город и тот же запах,
И Кремля утомленный звон,
В луковичных и пестрых шляпах
Быль отвесила низкий поклон».

Автор восторженно и благоговейно относится к этой дореволюционной «были» как к живительному источнику творчества «большой души»:

«Все брожу по церквам, по бульвару,
Все ищу былинную нить,
Моему бы хилому дару
Дать из древней чаши испить».⁴

(Блокнот, л. 2).

А душа болит потому, что Октябрьская революция в России разрушила старый капиталистический мир и на его развалинах советские люди начали строить новый, социалистический мир.

Старый мир рухнул, раскололся пополам. Его уже не склеить, не сшить, лишь оружие («лезвие») может решить исход борьбы двух миров, изменить новый ход истории, которая аллегорически изображается в образе всадника, бешено скачущего вперед. Автор еще надеется, что всадник рухнет.

«И мир раскололся – арбуз пополам
И черное семя на красном соку
И хлещет наездник седой по бокам
И свищет, и брызжет, и воеет скакун.
Напрасны на свете и клей, и игла,
Одно лезвие, один лишь резец,
Чтоб кровь, как истошная ведьма, текла,
Чтоб конь доскакался в конец».⁵

(Памятная кн., л. 6).

Новый, советский мир ненавистен автору: «Смешалась жизнь: и хлеб, и труд и страх»⁶. А к прошлому возврата уже нет:

«Воспоминаний нет; и впереди пред нами
<Нет> Ничего; и жизнь, как смерть, проста.
Целуй, и ешь, и пей безумными устами.
Для них вода, и мягкий торс,
И жесткое подножие креста».⁷

(Памятная кн., л.3).

Вот что рисуется автору, глядя на новых хозяев жизни, на советских людей, на их труд, на их героические усилия в строительстве нового мира:

«Одни — пришли сюда гнусавя,
Неся акцент; другие – пошлость славя,
И хамство русское, и срам.
И строят мир из плотных ставен
И дел циничных пополам.

И вот земля лежит сраженная, нагая,
В пыли, крови и мрази утопая,
И камни Красные, как черные соски,
К сухому небу воздевая,
Под торжество торгашеской руки».⁸

(Записн. кн., л.8 и об.).

Тоска, одиночество и злоба временами наполняют стихи до краев. Злоба против советской реальности, которая изображается как газетная ложь:

«Но вот по-прежнему стою одна
У городского мутного окна

И слышу, как скулит и врет
Газетчика слюнявый рот».⁹

(Блокнот, л.20).

В стихотворении «1924 год» советское время аллегорически изображается в образе нового года, который ледяным топором срубает солнце завтрашнего дня автора:

«Я не щедрот его ждала,
А мудрости. Но у веселого стола
Предстал нагой, и злой и наглый вор
И, усмехнувшись, поднял ледяной топор,
И солнце завтрашнего дня – срубил
И кровь на белый стол пролил.
И вот я нищая. Будь проклят ты,
Испепеливший блеск моей мечты».¹⁰

(Памятн. кн., л.2).

Первая сталинская пятилетка характеризуется в антисоветском духе, как сгорание, в котором уничтожаются живые человеческие чувства и мысли:

«Супрематическая осень
Моей касается страны.
И пятилеткою на сносях
В волшебный мир вовлечены,
Всем телом чувствуем сгоранье,
Сдвиг плоскостей и сдвиг миров,
Не замечая увяданья простейших чувств и слов».¹¹

(Записн. кн., л.13).

Мотивы антисоветского отношения к жизни врываются даже в стихи, посвященные любовным переживаниям автора (касаться которых эксперты не считают необходимым). Так в стихотворении, посвященном решению сделать аборт, высказывается мысль, что иметь детей в советских условиях – нельзя. Дети будут несчастными. Вот как обращается автор к неродившемуся ребенку, обреченному на абортивное удаление:

«Не сетуй, деточка, на мать,
Что не дает тебе узнать,
Как стынут над землею облака,
Как ходят по земле войска,
Как пахнут солнцем Ява и Кавказ,
Как смотрит девичий лукавый глаз –
Ты все равно просился бы назад
В страну теней и был не рад
Ни нашим дням, ни снам, ни голосам».

(Памятн. кн., л.13об.).

Душно автору в советских условиях:

«И город и день чередою
В бездушие своем заодно
Такой петербургской тоскою
В мое заплывает <так!> окно».

Забвение от удручающей НАППЕЛЬБАУМ советской действительности дает только сон:

«Средь горестной дневной работы
Вдруг вздрогнет дух, смущен и уязвлен
Нелепой скудностью своей заботы.
Но тешусь я: с томительной зевотой
В кружение звезд, к вискам склонится сон».¹²

(Памятн. кн., л.18).

Но сладкий сон приходит с тем, «чтобы вновь пробудил городской унижительный стук»¹³...

Унижение автор видит в труде. Нужда заставляет отказываться от «сладости земного безделья» и работать в советском учреждении. Страшно и тошно работать автору в советском учреждении:

«И вот уже стрекочут счеты,
Грохочет дверь, трещит звонок,
И с чувством страха и тошноты
Я начинаю свой урок.
Но сквозь истертый стук монеты,
Сквозь торг, и дряг и шум дневной
Протяжным голосом поэта
Мой дом зовет меня домой».¹⁴

(Памятн. кн., л.24).

А что ожидало автора дома? Друзья. Единомышленники. Сборища, на которых эти люди «отводили душу» – читали друг другу свои произведения. О чем они писали? Вот как отвечает на этот вопрос НАППЕЛЬБАУМ:

«О бедной, о скудной подруге – земле,
О розовом хлебе будничных дней,
О гибели будничных дней,
О вздыбленной жизни своей,
О многом еще, об ином,
Мы горько и трудно поем»¹⁵

(Блокнот, л.38).

Как видно из уже процитированных стихотворений, отношение НАППЕЛЬБАУМ и ее «друзей» к Октябрьской революции и Советской власти – откровенно враждебно. Это антисоветское отношение к действительности выражено и в других писаниях НАППЕЛЬБАУМ.

Так, в стихотворении «Послание», посвященном Всев. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ (в это время вышел его сборник лирических стихотворений «Золотое веретено»), НАППЕЛЬБАУМ дружески подтрунивает над наивностью РОЖДЕСТВЕНСКОГО и злобно высмеивает революционные мотивы новой советской поэзии.

В стихотворениях выражена мысль, что Октябрьская революция подорвала подлинную поэзию. Поэзия высоких «сфер» сменилась в советское время голосом бубен <так!> и труб. Поэтической лирою стало колесо. Героем советской поэзии стало пастбище машин.

«Уже взлетел Октябрь на дыбы
И пенье сфер сменили бубны, трубы,
Забыли скучный крест молитвенные любви
И богохульству и презрению научились губы.
И вот толпой разгневанных людей
Освистаны Аттические боги,
Им лира — колесо, язык их — из огней,
Из лавы руки их, и из металла ноги.
И на престол взшел мотоциклет.
А ты еще свои цветы колдуешь
На пастбище машин, лирический поэт...».¹⁶
(Блокнот, л.15).

Но, как можно понимать по писаниям НАППЕЛЬБАУМ, на таких домашних сборищах «друзей» дело не ограничивалось только тем, что они «праздность медленно вкушали».

Именно там тогда создавались всякого рода группочки, вроде «Звучащей раковины» или «Королевского парламента лазоревых островов Дружбы».

Вот надпись НАППЕЛЬБАУМ на книге, изъятой при обыске. НАППЕЛЬБАУМ сделала эту надпись в виде воспоминания о первом посещении ею такого сборища «друзей»:

«27/9–23 года поэтесса Ида НАППЕЛЬБАУМ первый раз посетила заседание Королевского парламента лазоревых островов Дружбы. Об этом свидетельствует запись, внесенная ею в парламентскую книгу: “Умные вещи – очень тяжелая мебель, а самое портативное – это легкое сердце, которое я повсюду ношу с собой, и оно учит меня обязанности быть признательной маленькому уголку, где собираются люди, которых делается все меньше и меньше под шумом и грохотом развернувшегося рьяного века”».

(Н.БАРШЕВ. «Гражданин вода»,
оборот титульного листа).

Очевидно, этих людей, «которых становится все меньше и меньше», имеет в виду НАППЕЛЬБАУМ, когда пишет, что собираясь вместе, они вели –

«О старых книгах разговоры,
О новых людях миф и бред».¹⁷

Сказано вполне в духе троцкизма, объявлявшего тогда идею построения социализма в нашей стране – мифом и бредом...

Не случайно именно такие вот «литераторы» питали потом троцкистскую литературную группу «Перевал», сборища которой посещала НАППЕЛЬБАУМ.

Именно таких людей, «которых становится все меньше и меньше под шумом и грохотом развернувшегося рьяного века» (т. е. в результате того, что революция выметала их из жизни), имеет в виду НАППЕЛЬБАУМ, призывая вставить на место «выбывающих»:

«Если боец в наступлении сражен
Хитростью злобной тщеславных врагов,
Братья мои, не смыкайте рядов, –
Новый вступает в наш бой!
Если поэт до конца не дошел,
Сбросила буря его на мосту,
Лиру его подхвати на лету,
Выйди на площадь – и пой».

(Записн. кн., л.18).

Контрреволюционный характер этого призыва НАППЕЛЬБАУМ занимать места «выбывающих бойцов» (т. е. разоблачаемых поэтов – контрреволюционеров) – предельно ясен.

В этой связи понятен и призыв НАППЕЛЬБАУМ к своим единомышленникам от пассивного любования красотой дореволюционной пушкинской поэзии – переходить к активным действиям, т. е. к тому, чтобы сеять антисоветское «семя» на нашей советской земле:

«Роди и сей и жни своей ладонью
На этой ветрами обгрызенной земле!»

(Памятн. кн., л. 8).

Так антисоветски выглядит творчество НАППЕЛЬБАУМ в той его части, которая касается отношения к советским людям, к советской действительности тех лет.

II. О рукописях других авторов

Другие авторские рукописи составляют две небольшие записные книжки покойного мужа НАППЕЛЬБАУМ – М.ФРАКМАНА (ФРОМАНА), содержащие несколько десятков его стихотворений разных лет (1923–1933 гг.).

Все эти стихотворения – упадочны до предела, глубоко чужды и враждебны советскому народу.

Советская жизнь представляется в них «глухой и душной». Автору тяжело в советской стране.

«Вся бессонная горечь ночей,
Вся двужильная бестолочь дня,
Как предательство верных друзей,
Темной силой легли на меня».¹⁸

(Записн. кн. 1, л.42).

Автор не видит в советской жизни ничего отрадного. Для него жизнь в советской стране – беспросветна.

«За годом – год, пустой, как тень, бесплодный,
Как звук в ночи, без отклика пройдет».

(Записн. кн. 1, л.18).

Вся радость автора – в воспоминаниях дорогого ему дореволюционного прошлого. Он ждет каких-то сил («чуда»), которые изменят советское настоящее. И он томится:

«Вот так и жить. Набухшим от тревоги
И пожелтевшим сердцем вспоминать
Казавшимся <так!> милыми дороги
И чуда ослепительного ждать,
Изнашивая блеск воспоминанья
И детских снов, и юношеских дней,
Теряя темные приметы узнаванья
Из памяти тоскующей моей».¹⁹

(Зап. кн. 1, л.33).

Автор представляет советские дни в виде жестокого волка, который уверенно бежит по земле. И все больше меркнет вчерашнее. Все меньше надежд на «будущее»:

«Прикинувшись волком, рысцою уверенный день
Бежит, и земли не касаются легкие лапы. –
Еще почернеет вчерашняя горькая тень,
И ждать перестану, и только во сне буду плакать».

«В соленом тумане чужие плывут корабли...
Блаженные звуки, быть может, вы только приснились?
А волк все бежит в розовато-жемчужной пыли, –
Жестоким словам у него мы вчера научились».²⁰

(Записн. кн. 1, л.2).

Ожидание «чужих кораблей» – не случайно. Внутри страны автор уже не видит таких сил, которые могли бы изменить течение советских дней:

«Пусть дни... летят, тяжелые, как годы,
 Над серебром склоненного чела, –
 Мы все равно здесь не найдем свободы
 И не развяжем никогда узла»

(Зап. кн. 1, л.3).

Куда же смотрит автор, со все большей безнадежностью, ожидая «чужие корабли» или, иначе, – «чуда», которое изменит советскую действительность? Это направление показывает медная рука Петра – на Запад! Оттуда тянет «свежий» для автора «ветер»:

«Знаю я – никто уж не поможет,
 Только дни ступают, как века, –
 Но вдохни вот этот ветер тоже
 Там, где стынет медная рука»

(Зап. кн. 1, л.6).

Но дни идут, и автор все больше теряет веру в перемены. Он подходит к такой черте –

«Когда о будущем уже не говорят,
 Когда на прошлое, как на закат, глядят»²¹

(Зап. кн. 1, л.31).

Временами ФРАКМАН-ФРОМАН поднимает глаза к небесам, к райскому входу, куда он рассчитывает попасть по окончании своего земного пути. Но думая о будущей, потусторонней жизни (очевидно, в духе антропософа ШТЕЙНЕРА²²) он не забывает высказаться и о самых что ни на есть земных делах.

В стихотворении «Без названия» ФРАКМАН-ФРОМАН, изображая тип какого-то сплетника и обывателя, дает понять, что это – тип человека, порожденного советским временем. Вот как злобно рисует он такого человека:

«Как вы, он одет и обут, и причесан,
 Где нужно – он гнется, где можно – он хам.
 Он очень культурен, до лоска отесан,
 Почти европеец (с свиньей пополам)».

«Товарищ, товарищ, – как в песне поется, –
 За что мы боролись?» – и столько годов!
 Иль верной отравы у нас не найдется
 Для этих (неужто бессмертных?) клопов».

(Записн. кн. 2, л.л.22 и 23).

Подводя итог своему антисоветскому отношению к жизни, ФРАКМАН-ФРОМАН пишет:

«И я сам, – как высокий судья,
 На две части всю жизнь расколот:

Отдал первую памяти я,
 А второй – пусть ведут протокол». ²³
 (Записн. кн. 1, л.42).

Эта собственная – ФРАКМАНА-ФРОМАНА – оценка своей жизни целиком применима и к его творчеству. Одна половина его лежит в прошлом; другая – антисоветская – целиком в интересах врагов советского народа.

III. О литературе, изъятой у Наппельбаум

Литература, изъятая у НАППЕЛЬБАУМ, в подавляющей части – идеологически чуждая, вредная, враждебная советскому читателю, социалистическому миру.

Авторы ее в огромном большинстве принадлежали к разным упадочным и враждебным социализму литературным течениям, — таким как символизм, акмеизм, футуризм и пр., отражавшим распад буржуазной культуры.

Как говорил тов. А.А.ЖДАНОВ в докладе о журналах «ЗВЕЗДА» и «ЛЕНИНГРАД» ²⁴:

«Все эти “модные” течения канули в Лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали».

В числе представителей этих направлений – писателей-реакционеров и заклятых врагов советского народа – тов. А.А.ЖДАНОВ называл и Ф.СОЛОГУБА, и О.МАНДЕЛЬШТАМА и М.КУЗМИНА, произведения которых изъяты у НАППЕЛЬБАУМ.

Остановимся сжато на подлежащих оценке книгах и их авторах:

1. Ида НАППЕЛЬБАУМ

Подлежащий экспертизе сборник изданных стихотворений НАППЕЛЬБАУМ «Мой дом» (42 стр.) состоит, в значительной части, из стихотворений, уже получивших оценку в разделе 1 настоящего акта.

В этом сборнике с некоторыми исправлениями напечатаны и стихотворения «Новый год», и «Мой дом», и «Москва», и стихотворение, посвященное В. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ, и др.

Книга идеологически вредная и подлежит изъятию.

2. Ф.СОЛОГУБ – псевд. Ф.К.ТЕТЕРНИКОВА (1863–1927)

Крупнейший представитель символизма. Все творчество его – глубоко пессимистично и чуждо социализму. Враждебно относился к индустриальному городу. Писал, что «в городе наших дней... возрождается древний зверь и хочет властвовать».

Рецензируемая книга «СВИРЕЛЬ» (62 стр.) состоит из лирических, любовных стихотворений, написанных в 1921 году. Стихи эти прикрывали уход автора от жизни, его отрицательное отношение к советской действительности.

3. О. МАНДЕЛЬШТАМ

Один из главных деятелей акмеизма. В своих произведениях выражал звериную злобу против Октябрьской революции и Советского государства.

Рецензируемая книга его статей «О поэзии» (стр. 97) – проповедует пессимизм и содержит враждебные выпады против советского народа, который клеветнически изображается чудовищно невежественным и тупым:

«Легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать ПУШКИНА, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности».

(стр. 15).

В книге пропагандируются империалистические взгляды на отношения между людьми по принципу «человек человеку – волк». Мир между людьми невозможен. Война – нечто врожденное и свыше данное человеку.

«Век — барсучья нора, и человек своего века живет и движется в скупом отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расширить свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы».

(стр. 59).

Книгу «О поэзии» (как и вообще все книги МАНДЕЛЬШТАМА) необходимо из библиотек изъять.

4. М. КУЗМИН (1875–1934)²⁵

Видный акмеист. Много путешествовал за границей. В творчестве – сильные религиозные мотивы и апология глубокого прошлого.

Все рецензируемые сборники – «Александрийские песни» (71 стр.), «ЭХО» (64 стр.), «Вторник Мэри» (37 стр.) и «Форель разбивает лед» (94 стр.) – наполнены реакционным отношением к жизни, образным призывом к возврату в средневековье и антисоветскими выпадами:

«Чай горячий, свежий бублик
мне дороже всех республик,
Все ведь вылетит в трубу,
От всего золу сгребу».

(«Вторник Мэри», стр. 18).

5. Владислав ХОДАСЕВИЧ

Автор принадлежал к той же группе акмеистов. С 1922 года – безземлемигрант. Творчество его наполнено мистикой, унынием и злобой к большевикам.

В рецензируемом сборнике «Счастливый домик» (68 стр.) собраны лирические стихотворения 1908–1915 гг. Основное содержание их – любовь. Общее настроение – темная тоска.

«Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес»

(стр.13).

В сборнике ХОДАСЕВИЧА «Статей <так!> о русской поэзии» (121 стр.) излагается целый ряд антисоветских идей, о том, что в результате Октябрьской революции на нашу страну спустились «общие сумерки культуры» (стр.119), что совершенно неизбежна полоса «упадка и помрачения» (стр.118) и что Советская страна очутилась в «надвигающемся мраке» (стр.121).

По адресу нашего народа делаются клеветнические выпады, аналогичные выпадам МАНДЕЛЬШТАМА:

«Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо».

(стр.115).

6. Георгий АДАМОВИЧ (1894– ?)²⁶

Злейший враг Советской власти. С 1923 года – в эмиграции. Там активно сотрудничал в антисоветских журналах: «ЗВЕНУ», «БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ», «НОВАЯ РОССИЯ» и др.

В рецензируемом сборнике стихотворений «Чистилище» (95 стр.) характеризует Октябрьскую революцию как катастрофу:

«Россия! Что будет с Россией!
Как страшно нам жить, как темно!»

(стр.52).

Читателю внушается мысль, что над Россией спустилась беспросветная мгла: «Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди». Установился «ад»:

«За миллионы долгих лет
Нам не утешиться.
И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет,
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.
На зов послышится с кормы:

“Здесь ад был некогда, – он вам казался раем”.
И, сияясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем».
(стр.23).

7. Георгий ИВАНОВ

Примыкал к акмеистам. Белоэмигрант. Сотрудничал в антисоветских журналах.

Рецензируемый сборник «САДЫ» (92 стр.) состоит из давних стихотворений, мотивы которых: гадания, свидания, забытые могилы и пр., вплоть до вестей о близости «второго пришествия».

8. Ирина ОДОЕВЦЕВА

Также примыкала к акмеистам. Белоэмигрантка. Сотрудничала активно в антисоветских журналах «ЗВЕНУ», «БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ», «ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ» и др.

В рецензируемом сборнике «Двор чудес» (59 стр.) собраны стихи 1920–1921 гг.

В стихотворении «Баллада об извозчике» советский народ аллегорически представлен в образе лошадки, которая возила комиссара до тех пор, пока не околела. Лошадь попадает к райским дверям, и когда апостол Петр узнает, что она возила комиссара и голодала «тысячу триста пять дней», лошадь впускается в рай.

Аналогичное контрреволюционное содержание вложено и в другое пасквильное стихотворение «Баллада о том, почему испортились в Петрограде водопроводы».

Советская жизнь изображена в этой «балладе» подчеркнута издевательски. На все надо получать разрешение. Даже «на гроб и три свечи». А управляет всем председатель Домкомбеда, который оказался чертом. Его перекрестили, и он прыгнул в водопровод:

«Но с той поры на годы
Нам не избыть беды:
Хоть есть водопроводы,
Но нет и нет воды»

(стр.46).

Только преступностью неизвестного теперь редактора можно объяснить издание такой книги в 1921 году.

Книгу надо из обращения изъять.

9. М.ФРОМАН (ФРАКМАН)

В сборнике «ПАМЯТЬ» (58 стр.) собраны лирические стихотворения, приспособленные автором к печати.

Рецензировать сборник нет надобности, поскольку творчество ФРОМАНА получило развернутую оценку во втором разделе настоящего акта.

10. Сергей СПАССКИЙ

В раннем периоде творчества примыкал к футуристам, позднее – к троцкистской группе «ПЕРЕВАЛ». Неопубликованное творчество его пронизано черной враждой и ненавистью к Октябрьской революции и Советской власти.

В рецензируемом сборнике «ПРОСТРАНСТВО» (53 стр.) собраны стихотворения, приспособленные автором к открытой печати.

На книге – дружеская дарственная надпись СПАССКОГО ФРОМАНА²⁷.

11. Н. БАРШЕВ²⁸

Книга «Гражданин вода» (62 стр.) состоит всего из трех небольших рассказов и содержит ряд антисоветских выпадов. Отношение к Октябрьской революции выражено с первых же строк заглавного рассказа:

«Когда опустился на страну 1917 год и хлестал гневом и кровью в мозг и глаза, крестились неученые, как в страшный грозный час: пронеси, господи! — но не пронес, так и осталось»

(стр.3).

Космополитская концепция вложена в главного героя рассказа <так!>. В разговорах он называет себя «Гражданин вода».

« – ... вода, вливай куда хочешь, только бы берега были крепкие... крутые».

« – Ну, а если новая власть?»

– Пожалуйста, сейчас это пироги с капусткой... и благодарственные молебны.

– А за что же благодарить-то?

– А как же, а за переворот... Как же, как же, новое изменение вещества. Чем чаще, тем интересней. А главное, что ведь основа, которая меняется... все одна и та же... одна и та же».

(стр.8).

На вопрос, не заодно ли он с большевиками, «Гражданин вода» отвечает:

« – Нет, я не с ними.

– Так с кем же вы?

– Я с будущим, я встречаю новую жизнь».

(стр.28).

В другом рассказе «Жданое слово» период после Великой Октябрьской социалистической революции характеризуется такими словами:

«...человечину ели, и тело ульем вшивым было, и враждовали люто».

(стр.33).

Об отношении к большевикам дает представление следующая цитата:

«— Завтра коммунистов вешать будут. Приходи, борода, смотреть. И точно. К утру уже все знали, что вешать будут, и народу повалило, словно масло обещались выдавать по дополнительному купону».

(стр.47).

Аналогичные мысли высказываются и на других страницах этой грязной антисоветской книжонки.

Из обращения в библиотеках ее необходимо изъять.

12. Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В двух его сборниках — «ЛЕТО» (26 стр.) и «ЗОЛОТОЕ ВЕРЕТЕНО» (56 стр.) собраны стихи 1916–1921 годов.

Содержание их в основном вращается в узком мирке любовных переживаний автора и его воспоминаний о требнике деда, о Тихвинском монастыре, о всенощных и т. п.

Автор умышленно купается в елее собственных молитвенных словечек, из которых «тянет нить» на свое «золотое веретено»:

«Сам господь в хорошую погоду
Дней моих вручил веретено».

Все эти стихи чужды нашему советскому читателю нашего времени.

На книге «ЗОЛОТОЕ ВЕРЕТЕНО» дружеская дарственная надпись РОЖДЕСТВЕНСКОГО НАППЕЛЬБАУМ²⁹.

13. Бенедикт ЛИВШИЦ

Активный враг Советской власти. Троцкист.

«Гилея» (15 стр.) – это воспоминания ЛИВШИЦА о том, как на его глазах семья «отца российского футуризма» Давида Бурлюка создавала «новое искусство». Одним махом, за несколько дней, они «писали» столько «картин», что их хватало на большие выставки. Точнее – мазали что-то на холсте красками, затем эту «гениальную» мазню буквально топтали в луже с грязью и потом – сушили и выставляли для обозрения.

Как утверждает ЛИВШИЦ, таким способом Бурлюки «положили начало... новому направлению в русском искусстве, долженствующем на годы определить его пути».

Но от всех таких «направлений» – «бубновых валетов», «желтых кофт», «ничевоков» и т. п., как указывал тов. А.А.ЖДАНОВ, не осталось «ровным счетом ничего...».

Книга издана в Нью-Йорке в 1931 году, на ней имеется авторская надпись: «Дорогому Михаилу Александровичу ФРОМАНУ – с неизменной нежностью – 23.V.1931 года. Ленинград»³⁰.

14. Б.ЛАПИН

«1922-я книга стихов» (54 стр.) – это футуристический бред, в духе Бурлюка, Хлебникова и им подобных.

Для характеристики этой книги достаточно привести следующие стихи:

«Мир лежит навеки
В жирный неба суп,
Продавая веки
Дымогарных труб.
Припев:
Босс убит и я убит,
Черный дым животворит».
(стр. <...>³¹)

15. Константин ВАГИНОВ

Его книга стихов, не имеющая названия (54 стр.) – образец извращенной эстетики, враждебной социалистическому реализму.

Характеристику этой книги можно дать словами и самого ВАГИНОВА:

«Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чирикание».

16. Б.ЭЙХЕНБАУМ

Литературовед, профессор. Формалист и воинствующий космополит.

В книге «Анна Ахматова» (133 стр.) ЭЙХЕНБАУМ поет восторженные дифирамбы акмеистке АХМАТОВОЙ, позднее получившей должную оценку в постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «ЗВЕЗДА» и «ЛЕНИНГРАД».

Тов. А.А.ЖДАНОВ в докладе, посвященном этому решению ЦК ВКП(б), говорил:

«Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Это – поэзия... десяти тысяч верных старой дворянской России...».

«Творчество АХМАТОВОЙ... чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших журналов».

Широко цитируя и всячески возвеличивая АХМАТОВУ, ЭЙХЕНБАУМ допускает возмутительную клевету на НЕКРАСОВА, квалифицируя его как «разрушителя классических традиций» (стр.23) и на МАЯКОВСКОГО, присоединяясь к имажинисту ШЕРШЕНЕВИЧУ, издевательски назвавшему МАЯКОВСКОГО «великим комиком наших дней» (стр.22).

Книга «Анна Ахматова» — политически вредная, и ее необходимо изъять из обращения в библиотеках.

17. Зел. ШТЕЙНМАН³²

«Навстречу жизни» (127 стр.) – это литературоведческая работа о творчестве Б.ЛАВРЕНЕВА.

Книга путаная, ошибочная. В частности – восхваляет акмеиста ГУМИЛЕВА, расстрелянного за контрреволюцию еще в 1921 году, и пересказывает всякого рода чуждые и враждебные социалистической революции мысли. Например:

«Мещанство устойчивее, чем революция. Все проходит, а мещанин остается и торжествует».

Или:

«Революция погибла! Революция пронеслась! Опять пришел на сцену и начал играть ведущую роль на ней проклятый обыватель».

(стр.55).

18. Три сборника «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА» (28 стр.), «СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ» (79 стр.) и «ЛАРЬ» (49 стр.) содержат произведения поэтов, принадлежащих к различным литературным группам и группочкам.

Здесь и уже фигурировавшие в настоящем акте К.ВАГИНОВ, М.КУЗМИН, Б.ЛИВШИЦ, И.НАППЕЛЬБАУМ, В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, С.СПАССКИЙ, М.ФРОМАН.

Здесь – и привлекавшиеся потом к ответственности за свои антисоветские взгляды А.ВВЕДЕНСКИЙ, Г.СОРОКИН, А.ТУФАНОВ, Д.ХАРМС³³ и др.

Не случайно здесь имеется стихотворение, прямо посвященное и восхваляющее злейшего врага ленинизма и Советского народа, иудушку ТРОЦКОГО.

Автор этого стихотворения «ПОБЕГ» («Собрание стихотворений», стр. 66-67) – ныне здравствующий в Москве Геннадий ФИШ.

Подлая личность ТРОЦКОГО, принесшего делу социалистической революции огромный вред, всячески восхваляется.

Нет надобности, после этого, говорить о других стихотворениях, составляющих сборники.

IV. Общие выводы

1. Подвергнутые экспертизе произведения НАППЕЛЬБАУМ И.М. в той их части, которая касается советской жизни, по своим построениям чужды и враждебны Социалистической революции, Советскому государству, советскому человеку.

2. Подвергнутые экспертизе произведения ее покойного мужа – ФРАКМАНА (ФРОМАНА) М.А. – близки по духу творчеству самой НАППЕЛЬБАУМ, мрачны и упадочны вообще, а в части, касающейся советской действительности, враждебны Социалистической революции и советскому народу.

3. Подвергнутая экспертизе литература, изъятая у НАППЕЛЬБАУМ, в массе своей чужда и враждебна марксизму, социализму, советскому строю.

Председатель
экспертной комиссии (Чевычелов)

Члены: (Хилькевич)
(Микитич)

21 мая 1951 года
г. Ленинград

С актом экспертной комиссии от 21 мая 1951 года ознакомилась путем личного прочтения. С 1–25 страницу включительно.

Ида Наппельбаум
21 мая 1951 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имеется в виду издание: *Кузмин М.* Форель разбивает лед: Стихи, 1925–1928. Л., 1929.

² Имеется в виду альманах Ленинградского отделения Всероссийского Союза поэтов «Собрание стихотворений» (Л., 1926), который открывается стихотворениями Лидии Аверьяновой.

³ Эксперты цитируют здесь стихотворение «Помню детство свое без иконы...» (впервые опубликовано: *Наптельбаум И.* Мой дом: Стихи. Л., 1927. С.7 (далее – Мой дом, с указанием страницы).

⁴ Это и предыдущее четверостишие – цитаты из стихотворения «Москва» (1921), впервые опубликовано в кн.: *Звучащая Раковина: Сб. стихов.* Пб., 1922. С.67.

⁵ Впервые это стихотворение опубликовано: *Мой дом.* С.25. В автографе датировано 1924 годом (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела).

⁶ Источник цитаты неизвестен. Далее в тех случаях, когда источник цитаты установить не удалось, этот факт специально не комментируется.

⁷ В автографе это стихотворение датировано январем 1924 года (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела).

⁸ Приводим начало этого стихотворения по фотокопии автографа, имеющейся в составе следственного дела:

На кисловодские причесанные горы,
 На лунные пути, на синие просторы,
 На весь игрушечный Эдем
 Ложится тень огромной ссоры,
 Как мех, как плащ, как шлем.
 Не поединок равных без забрала,
 Не бой павлиний под окном,
 Сама земля на бой восстала
 За свой покой, за тихий дом.

⁹ Цитата из стихотворения «Она вошла, не говоря ни слова...» (впервые опубликовано: *Мой дом.* С.28). В автографе датировано 1927 годом (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела).

¹⁰ Этот текст напечатан под названием «Новый год» и без последних двух строк, см.: Там же. С.23.

¹¹ В автографе это стихотворение датировано апрелем 1929 года (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела). «Пятилетка» – имеется в виду первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1929–1932).

¹² Первая строфа стихотворения, впервые (с некоторыми разночтениями) опубликовано: *Собрание стихотворений.* С.31-32.

¹³ Цитата из стихотворения «Пробуждение» (впервые опубликовано: *Мой дом.* С.37-38).

¹⁴ Заключительные строфы стихотворения «Мой дом» (впервые опубликовано в коллективном сборнике стихотворений: *Костер.* Л., 1927. С.53-54). В автографе это стихотворение датировано январем–февралем 1927 года (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела).

¹⁵ Приводим полный текст этого стихотворения по фотокопии автографа, имеющейся в составе следственного дела:

К.А.Ф<едину>

О бедной, о скудной подруге-земле,
 О розовом хлебе на круглом столе,
 О гибели будничных дней,
 О вздыбленной жизни своей,
 О многом еще, об ином
 Мы горько и трудно поем.
 Но нет для меня ни напевов, ни слов,
 Напрасно вздымается кровь у висков,
 Чтоб золото солнечных глаз,
 Пасхальную праздничность встреч
 Хотя бы единственный раз
 В высокую песню облечь.

Май 1927

¹⁶ Начало стихотворения, посвященного Вс. Рождественскому, впервые без названия опубликовано: Мой дом. С.18-19. В автографе это стихотворение (с названием «Послание») датировано 1923 годом (фотокопия автографа имеется в составе следственного дела).

¹⁷ Цитата из стихотворения «Мой дом» (см. примеч. 14).

¹⁸ Цитата из стихотворения «Зимняя песня» (впервые опубликовано: *Фроман М.* Память. Л., 1927. С.47-48).

¹⁹ Первые две строфы стихотворения, впервые опубликовано: Там же. С.33-34.

²⁰ Цитаты из стихотворения «Вот так же на утреннем небе качалась звезда...» (с некоторыми разночтениями впервые опубликовано: Там же. С.17-18).

²¹ Цитата из стихотворения «Ни честолюбие, ни слава и ни ты...» (впервые опубликовано: Там же. С.35).

²² Рудольф Штейнер (1861–1925) – немецкий философ-мистик, писатель, создатель антропософского учения. Идеи Штейнера оказали значительное влияние на некоторых деятелей русской культуры (в частности, на Андрея Белого). В 1913–1923 в Москве работало Русское антропософское общество, члены которого впоследствии подвергались гонениям со стороны советских карательных органов. Последняя волна арестов участников московского антропософского движения прошла весной 1931.

²³ Цитата из стихотворения М.А.Фромана «Зимняя песня» (см. примеч. 18).

²⁴ Имеется в виду доклад секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Жданова в связи с принятым 14 августа 1946 постановлением ЦК ВКП(б), согласно которому журнал «Ленинград» был закрыт, а в журнале «Звезда» сменен редакторский состав. Жданов дважды выступал в Ленинграде с докла-

дом – на собрании актива партийной организации и на собрании писателей (см. центральные газеты от 22 августа 1946). 20 октября 1988 ЦК КПСС отменил постановление 1946 года «как ошибочное» (см.: Известия ЦК КПСС. 1988. №1. С.45-46).

²⁵ Годы жизни М.А.Кузмина – 1872–1936.

²⁶ Годы жизни Г.В.Адамовича – 1892–1972.

²⁷ Приводим текст дарственной надписи по фотокопии, сохранившейся в составе следственного дела: «Дорогому Михаилу Александровичу с неизменным дружеским чувством. С.Спасский. 17.IX.1936. Ленинград». Поэт Сергей Дмитриевич Спасский впервые был репрессирован в 1938, повторно осужден в 1951, незадолго до ареста И.М.Наппельбаум.

²⁸ Николай Валерианович Баршев (1888–1938) был арестован 11 января 1937 и 7 мая того же года приговорен к семи годам лагерей с поражением в правах на четыре года. Умер в лагере (прииск Журба Магаданской области).

²⁹ Приводим текст дарственной надписи по фотокопии, сохранившейся в составе следственного дела: «Иде Наппельбаум – с которой в ясный морозный вечер я говорил на улицах Петербурга о пушкинской эпохе, о “дружбе поэтов”. Пусть между нами никогда не порвется ниточка этого легкомысленного и золотого Веретена. Всеволод Рождественский. Начало ноября 1921 г. Холодно. Высокая луна».

³⁰ Приводим точный текст этой надписи по фотокопии, сохранившейся в составе следственного дела: «Дорогому Михаилу Александровичу Фроману – с неизменной нежностью – <Бенедикт Лившиц>. 23.V.1931. Ленинград». Имя и фамилия автора соответствуют печатному тексту на титульном листе, вмонтированному Лившицем в текст дарственной надписи.

³¹ Номер страницы в машинописи не отмечен.

³² Штейнман Зелик Яковлевич (1907–1967) – критик.

³³ Александр Иванович Введенский (1904–1941), Александр Васильевич Туфанов (1877–1941?) и Даниил Иванович Хармс (наст. фам. Ювачев; 1905–1942) были арестованы в декабре 1931 и по так называемому «делу детского сектора Госиздата» осуждены к разным срокам заключения и ссылки (освобождены в 1932–1933). Хармс был арестован снова в августе 1941 и спустя полгода скончался в тюремной больнице. Введенский также был арестован повторно в сентябре 1941 и вскоре погиб на этапе. Григорий Эммануилович Сорокин (1898–1954) впервые был арестован в январе 1935, обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР, в июне того же года освобожден постановлением Особого совещания при НКВД СССР «с зачетом предварительного заключения». Вновь арестован в июле 1949, в феврале 1950 приговорен к десяти годам заключения в ИТЛ. Умер в заключении в Минлаге.

ДЕЛО О «ЕЖЕГОДНИКЕ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА ПУШКИНСКОГО ДОМА»

С.А.Фомичев
ДЕЛА НЕДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

В 1977 в очередном выпуске «Ежегодника Рукописного отдела» был опубликован обзор С.С.Гречишкина «Архив А.М.Ремизова», где, в частности, сообщалось о наличии в Пушкинском Доме писем писателя к Л.Шестову. Спустя два года приехавший для научной работы американский исследователь (не помню сейчас его фамилии) привез ксерокопии хранящихся в Сорбонне писем философа к Ремизову и сообщил, что имеет поручение от потомков Шестова обменять их на копии ремизовских писем. В то время я был ученым секретарем института, заместителем же директора и председателем Международной комиссии работал Владимир Николаевич Баскаков. Мы рассказали о сделанном предложении Ксении Дмитриевне Муратовой (зав. Рукописным отделом), которая одобрила такой обмен. Я отдал распоряжение подготовить требуемые ксерокопии, а сам уехал в Пушкинские Горы на конференцию. Когда же возвратился в Ленинград, в Пушкинском Доме уже работала комиссия Василеостровского райкома КПСС, созданная по «сигналу» второго заместителя директора, А.Н.Иезуитова. В копиях писем Ремизова он прошелся красным карандашом, отметив «антисоветские высказывания». Анекдотизм ситуации состоял в том, что подобный криминал усматривался даже в письмах, написанных задолго до установления Советской власти (начало переписки относилось аж к 1906 году). Да и в эпистолярной 1910-х (в 1921 Ремизов, как известно, покинул Советскую Россию) никаких политических инвектив не содержалось – только жалобы на голод и разруху.

Членом бюро райкома в ту пору была Н.А.Грознова, сотрудник Сектора советской литературы. К этому сектору и я, и Баскаков неоднократно вы-

сказывали замечания, касающиеся необоснованно заниженного (по сравнению с другими секторами) планирования научных работ с обычными претензиями на их актуальность и масштабность. Теперь открылась возможность расправиться с «критиканами». На заседании бюро райкома, несмотря на активный протест директора Института А.С.Бушмина, нам с Баскаковым были вынесены «строгие выговоры с предупреждением» за «попытку передачи за границу рукописей антисоветского содержания». Мне еще была поставлена в вину «попытка передачи за рубеж рукописей Пушкина». Дело в том, что в Институт поступило письмо от американского бизнесмена издать за его счет, на чрезвычайно выгодных для нас условиях, рукописи романа «Евгений Онегин». Мною, по просьбе Председателя академической Пушкинской комиссии академика М.П.Алексеева, было составлено соответствующее письмо (не к издателю, а в Президиум АН СССР!) с предложением осуществить данный проект. Официальное письмо подписали академик и тогдашний председатель ленинградского отделения Всесоюзного агентства по авторским правам. Ответа не последовало.

Отрешение нас с Владимиром Николаевичем от административных должностей произошло незамедлительно. Предполагалось и более тяжкое наказание – увольнение из Пушкинского Дома. Со мной этот номер сразу же не прошел: по рекомендации М.П.Алексеева я был утвержден Президиумом АН СССР в должности ученого секретаря комиссии. Баскакову же предстояло пройти конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника, итоги которого в то время подводились на заседании ученого совета. Была проведена соответствующая «идеологическая работа», и большинство членов ученого совета проголосовали против. Директор Института вынужден был назначить Владимира Николаевича исполняющим обязанности старшего научного сотрудника. Для более прочного статуса необходимо было снять партийный выговор, о чем, в соответствии с уставом КПСС, гонимый через год и подал заявление в партийное бюро. Тогда было сфабриковано новое «дело» – на основании ниже публикуемого заключения специально созданной партийным бюро комиссии. Основное острие обвинения состояло в том, что в «Ежегоднике Рукописного отдела», членом редколлегии которого оставался Баскаков, появилась публикация, где цитировались стихи Г.Сорокина, а в них была усмотрена (это было полнейшим вздором!) пропаганда сионизма. Между прочим, в это время в Литературном музее института демонстрировалась выставка «Музы не молчали» – о ленинградской литературе периода Великой Отечественной войны. Заведующим музеем был в то время председатель пресловутой комиссии, а на выставке (о ужас!) экспонировалась одна из книг Г.Сорокина. Экспозицию срочно свернули.

Остается только сказать, что переписка Ремизова с Шестовым была опубликована в 1992–1994 в журнале «Русская литература», издаваемом Пушкинским Домом. На заседании редколлегии я предложил Н.А.Грозновой оценить ситуацию, что вызвало ее восклицание: «Ну, Сергей Александрович, стоит ли сейчас ворошить прошлое!» По-моему, все же стоит... В сущности, ведь все произошедшее было классическим примером админи-

стративного «права» (то бишь – произвола), когда при соблюдении, казалось бы, традиционных демократических норм (создание комиссий, решения коллегиальных органов) осуществлялся властный нажим при полном пренебрежении существом дела. От этого мы до сих пор не застрахованы.

И еще одно: в 1995–1997 вышло превосходное восьмитомное факсимильное издание «Рабочие тетради А.С.Пушкина», подготовленное Пушкинским Домом совместно с Форумом лидеров бизнеса под эгидой принца Уэльского. Оно могло быть осуществлено лет на десять раньше.

А.В.Лавров «ОСТОРОЖНО: СИОНИЗМ!»

Такое заглавие имело одно из наиболее «идеологически выдержанных» изданий брежневской эпохи. В руках у меня не менее выразительный литературный памятник той же эпохи – сборник «Сионизм – отравленное оружие империализма. Документы и материалы» (М.: Изд-во политической литературы, 1970. 320 с. Тираж 100 тыс. экз.). Не обязательно погружаться во всю глубину его содержания, достаточно привести заголовки лишь нескольких помещенных там материалов: «Альянс нечестивых», «Шпионский блок сионистов и реваншистов», «Фарисеи от агрессии», «Отравители атмосферы», «Наследники белокурых бестий», «Преступный почерк сионизма», «Зловещая ось», «Наш ответ: гнев и презрение!», «Не выйдет, господа!», «Народы мира клеймят позором преступления израильской военщины», «Сионизм – орудие реакции и агрессии». Понятно, что ничего страшнее и отвратительнее, чем сионизм, для партийных идеологов тогда не существовало. Термин «сионизм» был превращен в ритуальное заклинание, вбиравшее в себя широкий спектр верховных правительственных эмоций – от бесильной злобы после сокрушительного разгрома советской военной техники, подаренной арабским государствам, до наглядной манифестации латентного и всепроникающего державного антисемитизма.

Автор этих строк удостоился в 1982 незаслуженной чести быть причисленным к сонму сионистских «отравителей атмосферы». Причиной тому послужил нижеследующий фрагмент предисловия к публикации писем Б.Л.Пастернака к Г.Э.Сорокину (публикация А.В.Лаврова, Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака):

В 1925 вышел в свет небольшой сборник стихотворений Сорокина «Галилея». Содержание его было достаточно отвлеченным и далеким от основных направлений советской поэзии 1920-х годов. Библейские, исторические мотивы сочетались в стихах Сорокина с темами Петербурга и русской культуры, иногда в противопоставлении одного мира другому:

Что делать мне на Невских берегах,
В метелях, бурях и туманах,

Когда слеза в открывшихся глазах,
Запомнивших цветенье Ханаана, –

иногда в их взаимопроникновении и взаимообогащении:

Пролей слова в нетронутых снегах
Горячим инбирем и терпкою смолою,
И семисвечником в раскольничьих домах
Ты просиянный свет зажги рукою.

.....
Иди в поля стоглав и плодовиц
И лавр ко льдам носи благоуханный,
И Галилейская Россия прилетит
Снежинкой теплою к родному Иордану.

(Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома
на 1979 год. Л., 1981. С.202)

Разумеется, проживая тогда «на Невских берегах», в вонючей атмосфере разоблачений и призывов, подобных приведенным в первых строках этой заметки, получая постоянно тревожные известия о допросах, обысках и арестах, происходивших вдали, вблизи и совсем вблизи, расставаясь, как тогда многим думалось, навсегда, с друзьями и знакомыми, направлявшимися к «родному Иордану» или выбиравшими дорогу по принципу: не важно – куда, важно – откуда, – я не мог не различать в стихотворных строках Сорокина первой половины 1920-х актуальных обертонов. Только что прочитал в мемуарных заметках Алексея Германа (Новая газета. 2004. №52, 22–25 июля. С.19): «Семидесятые годы... Мерзкие годы! Хамство, предательство, массовые отъезды:

Опять я завтра утром синим
Пойду евреев провожать.
Бегут евреи из России,
А русским некуда бежать».

Этих стихов я в ту пору не знал, но мысли и эмоции, в них сконцентрированные, просвечивали в моем восприятии сквозь «галилейскую» символику Сорокина, актуализировали ее. Предположить, однако, что опубликованные в «Ежегоднике» цитатные отзвуки и аллюзии на тему нового исхода российской интеллигенции из России – впрочем, вполне адекватно соответствовавшие и своему прямому назначению, характеристике содержания поэтической книги Сорокина, – будут интерпретированы как пропаганда сионизма, у меня бы фантазии не хватило. Между тем по Пушкинскому Дому поползли, все нарастая, разговоры о предпринятой на страницах «Ежегодника Рукописного отдела» «сионистской» диверсии.

Конечно же, раздувать локальную идеологическую кампанию для того, чтобы покарать младшего научного сотрудника без ученой степени, беспартийного, не занимавшего никаких административных постов, партийные руководители Пушкинского Дома поленились бы. Но в редакционную коллегию «Ежегодника Рукописного отдела» входил В.Н.Баскаков, который им противостоял и которого требовалось добить. Все хорошо знали, что ред-

коллегия в данном случае имела чисто формальный характер, что Баскаков к формированию «Ежегодника» отношения не имел, что этой работой занималась единолично ответственный редактор издания К.Д. Муратова.

Однако логика партийного мировидения и поведения предполагала неперемненное достижение поставленной цели безотносительно к реальному положению дел. На Баскакова была возложена ответственность за выход в свет идеологически ущербного издания. Заодно открывалась и возможность разгромить «Ежегодник», давно уже раздражавший пушкинодомских и иных «марксистов-ленинцев» своим «буржуазным объективизмом» и «безыдейностью». Была сформирована партийная «комиссия по расследованию», с результатами деятельности которой можно ознакомиться по публикуемому ниже Отчету. Вероятно, для видимости «объективного» подхода, призванного закамуфлировать затеянную расправу над В.Н. Баскаковым, решили призвать к ответу и меня – лицо, партийным органам не подведомственное. «Будьте бдительны!» – почти по-товарищески предостерег меня, сопровождая на «беседу», один из членов комиссии, Б.В. Мельгунов, так и оставшийся в ходе разбирательства «лицом без речей»: он не проронил ни слова и, видимо, тяготился своим формальным участием в происходившем, но против норм «партийной дисциплины» пойти не посмел.

Не желая вступать в какие-либо обсуждения существа дела и догадываясь, что любые мои развернутые объяснения могут быть перетолкованы в нужном для инициаторов дела русле и для усугубления «вины» основного «преступника», я попытался перевести разговор на сугубо «юридическую» почву: публикация подготовлена тремя соавторами, степень и форма участия каждого в тексте не оговорена, я готов обсуждать его содержание в присутствии двух других соавторов (прекрасно понимая при этом, что дотянуться до благополучно здравствующих в Москве Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака пушкинодомской партийной комиссией так же невозможно, как и до покойного Г.Э. Сорокина). Этот аргумент был признан несостоятельным: мне было заявлено одним из членов комиссии, В.В. Базановым (видимо, долго и тщательно изучавшим печатную продукцию, к которой я имел отношение), что в «сионистском» фрагменте наглядно выражена моя индивидуальная стилистика; в Отчете же комиссии апелляция к соавторам была перетолкована как косвенное признание вины за содеянное, а роль соавторов (фигурирующих в тексте как «родственники Б. Пастернака») голословно, без каких бы то ни было оснований признана незначительной – между тем как в действительности Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернак участвовали в подготовке публикации самым активным образом (в том же выпуске «Ежегодника» помещена еще одна их публикация – письма Пастернака к М.А. Волошину и О.Д. Форш, к которой я отношения не имел). Второй формально-«юридический» довод, на котором я попытался прибегнуть, в Отчете, в отличие от первого, никакого отражения не получил. Я напомнил бдительным партийцам о том, что они в данном случае имеют дело с «литованным», как тогда говорили, текстом – т. е. с текстом, прошедшим через цензуру и «дозволенным»; через цензуру, ранее неоднократно вмешивавшуюся в содержание предыдущих «Ежегодников» и ныне также не обделившую

наше издание своим вниманием: было снято указание на место кончины Сорокина в заключении в 1954 (Абезь в Коми АССР однозначно прочитывалась как концлагерь; указание же на арест писателя было вычеркнуто еще на стадии редакционной подготовки: формулировки «репрессирован», «реабилитирован» и т. п. считались тогда «непечатными»). Если ответственный идеологический надсмотрщик не нашел ничего, кроме Абези, предосудительного в тексте безответственных беспартийных публикаторов, то может быть, и не стоит огород городить? – но и этот аргумент был сочтен несостоятельным, и без всяких на сей раз контраргументов, а просто потому, что мешал исполнению поставленной задачи.

В ответ на мои жалкие формальные отговорки, а также и на безусловный отказ видеть в инкриминируемых цитатах «состав преступления» последовали продолжительные тирады весьма неформального характера, лишь частично нашедшие свое отражение в письменном Отчете. Вся совокупность этих словесных эскапад сводилась к тому, чтобы продемонстрировать, насколько прочно и глубоко «сионизм» проник в нашу жизнь. До апелляции к «Протоколам сионских мудрецов», правда, дело не дошло, но картины поистине вселенского сионистского заговора вырисовывались в откровениях новых «пролетарских интернационалистов», демонстрировавших «триумф воли» правящей партии, весьма впечатляющие.

Было сообщено, в частности, что в свое время, выполняя тайное или явное задание сионистов, крупнейший отечественный ученый-фольклорист Марк Константинович Азадовский сочинял величания «Троцкому Льву свет-Давидовичу» и выдавал их за народное творчество. Что прославлявшийся от имени народа Троцкий на самом деле был адептом сионизма. С такими же основаниями можно было бы упомянутого большевистского лидера наречь мормоном или альбигойцем, – но, определенно, «странные сближения», установленные пушкинодомскими экспертами новейшей большевистской формации, воздвигались не на почве пережитой исторической реальности, а были продиктованы пламенным и необузданным воображением, которое, впрочем, подпитывалось самими прагматическими установками и вполне зоологическими инстинктами их исполнителей.

В ходе «беседы» председатель комиссии Алексей Иванович Хватов выразил сомнение относительно того, можно ли меня, столь политически недоразвитого, допускать к работе с историко-литературными документами. Позже это опасение было облечено в форму рекомендации – «разжаловать» меня из младших научных сотрудников в научно-технические. Администрация все же такому совету не вняла, но остальные задуманные акции были проведены в жизнь. После того как К.Д.Муратова, встав на защиту «Ежегодника», представила компетентное заключение крупнейших специалистов относительно пропаганды сионизма на его страницах (которое было подкреплено составленным мною с ее помощью ответным на Отчет партийной комиссии письмом, документом вынужденно «оборонительным», и только, – но иным он в тех условиях быть не мог), «сионистское» дело спустили на тормозах. Видимо, вышестоящие инстанции не сочли нужным по каким-то собственным сакральным соображениям дать дальнейший ход идеологиче-

ской самодеятельности, инспирированной парткомом Пушкинского Дома, но лишь в тот момент, когда внутринститутский погром был уже фактически осуществлен. В.Н.Баскаков был отставлен от административных должностей, прежняя редколлегия «Ежегодника» расформирована и заменена другой, сумевшей в течение ряда лет выпустить всего лишь один «Ежегодник», на 1980 год, после чего издание надолго прекратилось, чтобы возродиться вновь, и в прежних, муратовских традициях, уже в другие времена.

Публикуемый ниже Отчет скреплен тремя подписями. Убежден в том, что Б.В.Мельгунов не участвовал в его изготовлении (в силу отмеченной выше особенности его поведения в составе партийной комиссии) и что А.И.Хватов если и внес в этот текст свою лепту, то самую минимальную (прежде всего потому, что на протяжении долгих лет не был замечен в сочинении столь пространных исследовательских трудов). «Справка об иудейской и сионистской символике» была составлена И.М.Дьяконовым. Текст за моей подписью был подготовлен при участии К.Д.Муратовой и отредактирован ею.

«Отчет о работе комиссии» был передан В.Н.Баскакову вдовой А.С.Бушмина. Ныне хранится в личном архиве С.А.Фомичева.

Текст документов приводится полностью, с сохранением особенностей оригинала. Подчеркнутые в тексте слова выделены курсивом.

ПАРТИЙНОМУ БЮРО ИРЛИ АН СССР

Отчет о работе комиссии по проверке заявления В.Н.Баскакова

Изучив поступившее в партбюро заявление В.Н.Баскакова от 20 февраля с. г. с протестом против решения партбюро от 20 января с. г. о преждевременности снятия с него партийного взыскания и проанализировав документы и материалы, непосредственно относящиеся к данному вопросу, образованная в этой связи партийным бюро комиссия в составе А.И.Хватова (председатель), В.В.Базанова и Б.В.Мельгунова вынуждена отметить прежде всего, что заявление не отражает фактической сути вопроса.

Воздерживаясь от удовлетворения просьбы В.Н.Баскакова о снятии с него партийного взыскания (строгий выговор с занесением в учетную карточку), партбюро, как отмечено в его решении, принимало во внимание ряд обстоятельств. Во-первых, то, что «В.Н.Баскаков при обсуждении его заявления не проявил достаточной самокритичности», неверно (это особо подчеркивалось на заседании) трактуя объявившее ему взыскание постановление бюро Василеостровского РК КПСС от 21 марта 1980 г., которое он, судя по всему, до сих пор считает не вполне правильным: не дав прямого ответа на заданный ему во время заседания вопрос «как вы относитесь к выго-

вору?») («так, как изложено в моем письме на имя т. Романова Г.В.»), он в то же время предельно четко отверг критику бюро райкома партии: «Не могу согласиться с целым рядом обвинений, зафиксированных в заключении комиссии». Кроме того, партийное бюро учитывало при этом, что за последнее время В.Н.Баскаков «мало проявил себя в общественной жизни Института», почти не выступая, в частности, на партийных собраниях, а также, наконец, то, что «за этот период им не был обеспечен контроль за идейным содержанием очередной книги “Ежегодника” Рукописного отдела Института» членом редколлегии которого он являлся.

К сожалению, однако, вопреки этим совершенно очевидным фактам, В.Н.Баскаков, не соглашаясь с вынесенным партбюро решением, обращается в своем заявлении только к одному пункту этого решения (о «Ежегоднике»), вовсе оставляя в стороне, таким образом, другие, не менее важные вопросы, в том числе и наиболее существенный из них – о самокритичности.

Впрочем, и вопрос о «Ежегоднике» освещается В.Н.Баскаковым крайне произвольно и односторонне, совсем без учета того, что за последнее время он уже неоднократно привлекал к себе внимание именно в связи с содержащимися в предшествующих выпусках «Ежегодника» просчетами идеологического характера.

Как известно, идейно-теоретический уровень публикуемых в «Ежегоднике» материалов, в значительной своей части посвященных, с одной стороны, различным кризисным явлениям предреволюционного модернизма с его проповедью эстетизма, религиозно-идеалистической философии, мистико-упадочнических настроений, буржуазного индивидуализма и воинствующей аполитичности, а с другой – столь же ушербным явлениям литературного процесса первых послеоктябрьских лет, в не меньшей мере пронизанным идеями буржуазной идеологии и нередко представлявшим собой, по определению В.И.Ленина, лишь «литературное прикрытие белогвардейской организации» (Полн. собр. соч., т.54, стр. 198), требует к себе особого внимания. И, как показывают многие факты, он в данном случае не вполне отвечает в последнее время тем высоким требованиям, какие предъявляет к такого рода работам наша эпоха обостренной идеологической борьбы. Прежде всего потому, что, обращаясь к столь ответственным темам, являющимся ныне объектом не только идейно-эстетической, но и весьма острой идейно-политической борьбы, а то и прямой политической спекуляции со стороны разного рода советологов, особенно активизировавшихся в последние годы, авторы «Ежегодника» зачастую (пожалуй, в наибольшей мере это характерно для исключительно широко публикуемых здесь

работ А.В.Лаврова и С.С.Гречишкина) чуть ли не намеренно избегают давать принципиальную оценку с позиций марксистско-ленинской эстетики находящимся в их поле зрения документам и материалам, демонстрируя при этом подчеркнуто объективистскую их интерпретацию с позиций так называемой «чистой науки», перед лицом которой одинаково равны суждения активного строителя социалистической культуры А.В.Луначарского и, допустим, ее столь же активных ниспровергателей – высланного 1922 году за свою контрреволюционную деятельность за границу С.Л.Франка или активного веховца и рьяного врага советской власти П.Б.Струве, и одинаково равноценны свидетельства, опубликованные как в советской печати, так и на страницах различных антисоветских изданий, выходящих в Нью-Йорке, Мюнхене и других международных центрах советологов. Не вдаваясь в детальный анализ, стоит лишь напомнить в этой связи, что против подобной объективистско-апологетической оценки художников буржуазного декаданса еще в начале 1980 года на страницах «Правды» справедливо возражал, имея в виду конкретный материал одного из выпусков «Ежегодника», академик живописи А.Лебедев. Именно «тенденция к апологетической оценке деятельности подобного рода фигур прошлого», подчеркивал он в статье «Оценивая взыскательно», побудила, например, «опубликовать письма К.С.Малевича к М.В.Матюшину, развивающие идеи “беспредметнического искусства”» («Правда», 1980, 9 февраля). Заметно обозначившееся «ослабление идейной позиции “Ежегодника”» отмечалось затем и в постановлении Василюстровского РК КПСС от 21 марта 1980 г.

За прошедшее с тех пор время, как известно, вышли в свет два очередных выпуска «Ежегодника» – на 1978 год (Л., 1980) и, совсем недавно, на 1979 год (Л., 1981). И если в первом из них, подписанном к печати в мае 1980 г., по техническим причинам практически уже не было возможности внести какие-либо изменения по реализации этого постановления, то во втором, который был сдан в набор лишь в середине декабря 1980 г., и подписан к печати в июле 1981 г., сделать это уже не представляло особого труда. Однако и в данном случае это, к сожалению, так и не было выполнено: вся «доработка» книги свелась к изъятию в корректуре – по указанию вышестоящих организаций – публикации К.М.Азадовского, отбывающего сейчас наказание в соответствии с приговором народного суда¹. И эта инертность, пассивность объясняется прежде всего тем,

¹ Речь идет о подготовленной К.М.Азадовским публикации письма Марины Цветаевой к А.М.Кожебаткину, позднее появившейся в кн.: Памятники культу-

что ни из прозвучавшей на страницах «Правды» критики, ни из постановления бюро Василеостровского райкома партии так, в сущности, и не было сделано необходимых выводов по исправлению допущенных ошибок.

Выдержанный в духе прежних, уже подвергшихся критике выпусков «Ежегодник» на 1979 год отличается такой же тенденциозной односторонностью в демонстрации материала, отчетливо проявляющейся даже в мелочах: например, из 13 имеющихся в книге иллюстраций 7 – более половины! – представляют собой портреты А.Белого и фотокопии его автографов, что вряд ли может считаться нормальным явлением. Как и в предшествующих выпусках, здесь (в работах А.В.Лаврова) дается объективистская, подчеркнута апологетическая и, в сущности, глубоко антиисторическая трактовка деятельности так называемой Вольной философской ассоциации (Вольфила) и столь же искаженно оценивается творческое наследие ее участников, начиная от рядовых членов ассоциации и кончая ее идеологами, среди которых, как известно, были и такие одиозные фигуры, как Л.Шестов, а также высланный в 1922 г. за границу за свою антисоветскую деятельность Н.Лосский, философ-идеалист А.Штейнберг и др.

Нельзя согласиться прежде всего с тем, как освещается на страницах «Ежегодника» (наиболее, пожалуй, подробно это было сделано в изданном в 1980 г. его предпоследнем выпуске) крайне сложная и внутренне весьма противоречивая идейно-эстетическая позиция и само творчество левозсеровского идеолога неонародничества Р.В.Иванова-Разумника, являвшегося одним из организаторов Вольфила и оказывавшего определяющее влияние на ее деятельность. Уже первый большой труд его (двухтомная «История русской общественной мысли»), подвергнутый резкой, прямо-таки уничтожающей критике со стороны Г.В.Плеханова, А.В.Луначарского, М.Горького и др., содержал путаные рассуждения о независимости философии от бытия и утверждал мысль о «внеклассовости» и «внеклассовности» интеллигенции, прямо или косвенно отстаивавшуюся Ивановым-Разумником практически и во всех других его работах как до революции, так и после нее, хотя мысль эта решительно противоречит ленинской концепции двух культур в каждой национальной культуре («В “пролетарскую культуру” я не верю и таковой не

ры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С.62-64. 16 марта 1981 К.М.Азадовский был приговорен к двум годам лишения свободы за «незаконное приобретение и хранение наркотических веществ» (5 граммов анаши), подброшенных ему «компетентными органами». В 1990-е полностью реабилитирован и признан жертвой политических репрессий. – А.Л.

знаю, так же как не знаю и “культуры буржуазной”) – писал он, например, уже после Октября в эсеровском журнале «Знамя» (1920. №5, стр.42.)). И очень верно заметил А.В.Луначарский, детально проанализировав в большой статье «Мещанство и индивидуализм» (сб. «Очерки философии коллективизма» вып. I, СПб., 1908, стр. 219-349) «Историю русской общественной мысли», что «марксизм – это главный враг Иванова-Разумника, и он борется с ним с большой запальчивостью и крайней неразборчивостью в средствах», «не брезгает ложью для ниспровержения марксизма», даже «шулерством». Поскольку и после Октября Иванов-Разумник продолжал придерживаться изложенных им в своей «Истории...» идеалистических концепций, А.В.Луначарский счел необходимым уже в 20-е годы вновь перепечатать эту статью (см. его книгу «Мещанство и индивидуализм». М., 1923, стр. 5-136).

Между тем, в работах А.В.Лаврова Иванов-Разумник предстает как один из крупнейших критиков и историков русской литературы и общественной мысли, который «важнейшие завоевания русской общественной мысли» связывал «с именами крупнейших писателей-реалистов» («Ежегодник» на 1978 год, Л., 1980, стр. 23-24), а в совсем недавно увидевшей свет работе А.В.Лаврова он даже определяется как «выдающийся критик, публицист, историк литературы и общественной мысли» «широту взгляда» которого обуславливал его «исторический подход» «к общественным явлениям», позволявший ему «дать объективную оценку» любым литературным явлениям, «независимо от личных или “партийных” пристрастий» (Лит. наследство, т.92, кн.2, М., 1981, стр. 366, 370). Насколько далека от истины такая оценка, можно судить хотя бы по примеру, на который обратил внимание еще А.В.Луначарский. «Смешно видеть, – отмечал он, – как Горького критикует г. Разумник... Горький, по его мнению, не настоящий романтик, ибо в нем недостает мистицизма». Сам Горький, в свою очередь, подчеркивал, что демократическая интеллигенция должна «выступить на бой со всей этой шайкой дряни – вроде Ивановых-Разумников, Мережковских, Струве, Сологубов, Кузминых и т. д.» (Собр. соч., т. 29, М., 1952, стр. 59).

В свое время известный белоэмигрант Ф.Степун, которому в данном случае трудно отказать в компетентности, прямо отмечал, что в Вольфиле (как и в некоторых других подобных объединениях первых лет революции) «с 1919 по 1921 гг. концентрировалась вся духовная жизнь антибольшевистской России». Не случайно поэтому Блок, которого устроители ассоциации (прежде всего А.Белый и Р.Иванов-Разумник) настойчиво пытались привлечь в свои ряды, решительно отказался быть председателем ассоциации и затем, как

правило, уклонялся от непосредственного участия в организуемых Вольфилой мероприятиях. Столь же примечательно, с другой стороны, и содержащееся в письме Иванова-Разумника от 28 января 1924 г. замечание о том, что после подавления в марте 1921 г. Кронштадтского мятежа, на который некоторые деятели эсеровского движения возлагали определенные надежды, и последовавшего затем идейно-политического и организационного разгрома эсеров в целом у него утратились все надежды на будущее и возникло ощущение обреченности: «Наше сегодня, – писал он, – было в 1917–1921 году (конец революции – март 1921 года). Блок счастлив, что умер тогда, так как до нашего завтра мы не доживем» (ГБЛ, Ф.25, карт. 16, №66, л.30). И многие документальные материалы (прежде всего, конечно, его доверительные письма, которые он даже и отправлял исключительно с оказией, не рискуя доверять их почте) убедительно показывают, сколь чуждой для него была советская действительность 20 – 30-х годов и сколь далек он был не только от объективной оценки литературных и общественных явлений, но и вообще от сколько-нибудь верного осмысления самого места и значения даже таких выдающихся исторических деятелей, каким был В.И.Ленин. Достаточно характерно в этом отношении и уже цитировавшееся выше его письмо А.Белому, обнаруживающее полнейшее непонимание роли вождя революции в мировой истории: «Ленин – не болото, и не родник, но уже миф. Он – символ конца петровского периода русской истории, более того, символ конца наполеоновского, послереволюционного периода истории европейской. Переименование Петербурга в Ленинград – безвкусно и нескромно...» и т. д. (там же, л. 30).

На многих страницах последнего выпуска «Ежегодника» читатель вновь встречает без особой нужды и каких-либо критических замечаний упоминаемые имена таких фигур, как, например, стремившийся посредством своей лекционной пропаганды «очистить умы от марксизма» проповедник «этического иудаизма» Герман Коген, активно превозносимый ныне сионистами за то, что, соединяя наиболее реакционные и идеалистические стороны философии Канта и Гегеля с «ценностями» иудаизма, он в своей «Этике» философски обосновывал экспансионистские притязания сионистов, подчеркивая, что «сохранение еврейства покоится на том, что еврейство в мессианской идее объединенного человечества prepares “все-человеческий государственный союз”». В свою очередь, в качестве авторитетных знатоков истории литературы и видных участников литературного процесса периода революции здесь предстает, например, участник печально известного кадетского сборника «Вехи»

М.Гершензон, который, как хорошо известно, вообще выступал против идей социализма и революции, всю свою сознательную жизнь занимаясь религиозно-мистическими мудрствованиями и весьма тенденциозно интерпретируя с этих идеалистических позиций творчество Пушкина, Тургенева, Герцена и других русских классиков. Наконец, по-прежнему автор (А.В.Лавров) подчеркнуто демонстрирует свою «широту взгляда», время от времени украшая свою работу ссылками на издания, подготовленные и выпущенные в Мюнхене, Нью-Йорке и других центрах антисоветизма (Нью-Йоркский альманах «Воздушные пути», мюнхенское издание «переписки» З.Гиппиус и т. д.).

Таким образом, совершенно очевидно, что идейно-теоретический уровень ряда опубликованных в «Ежегоднике» на 1979 год материалов не может не вызывать самых серьезных замечаний, тем более, что такого рода ошибки и просчеты в предшествующих выпусках «Ежегодника» уже подвергались критике на страницах газеты «Правда» и были затем отмечены в постановлении бюро райкома партии. Особенно, пожалуй, характерна в этом отношении публикация писем Б.Пастернака Г.Сорокину, вступительная статья к которой содержит целый ряд по меньшей мере безответственных утверждений. Не случайно именно эта работа, и прежде всего цитируемые здесь А.В.Лавровым стихи из сборника Г.Сорокина «Галилея» (Л., 1925), многие строки которых несут зримый отпечаток сионистских идей, привлекла к себе внимание на заседании партбюро, один из членов которого не без серьезных на то оснований даже охарактеризовал этот пример как своеобразную пропаганду сионизма. И хотя в целом партийное бюро, как о том свидетельствует текст его решения, не сочло тогда достаточно обоснованной подобную оценку, поскольку столь ответственный вывод требует тщательного изучения всей совокупности материалов, как использованных в работе А.В.Лаврова, так и оставшихся за ее пределами, В.Н.Баскаков в своем заявлении, к сожалению, свел весь вопрос исключительно к этому моменту, совершенно необоснованно представляя дело таким образом, что лишь неосновательное, по его твердому убеждению, обвинение его в «пропаганде сионизма» не позволило партбюро удовлетворить его ходатайство о снятии партийного взыскания.

Решительно протестуя против отсутствующего в решении партбюро обвинения в «пропаганде сионизма» и цитируя в своем заявлении одно из приведенных А.В.Лавровым четверостиший Г.Сорокина:

Иди в поля стоглав и плодовит
И лавр ко льдам носи благоуханный,

И Галилейская Россия прилетит
Снежинкой теплою к родному Иордану,–

В.Н.Баскаков подчеркивает, что эта строфа «не может быть написана рукою сиониста по той простой причине, что вся ее символика – христианская, утверждающая мессианское предназначение именно России». «Только невежественный читатель, познакомившись с этой цитатой формально, внеисторически, без понимания ее смысла и фразеологии, может увидеть в ней “пропаганду сионизма”», – категорически заявляет он и, обращаясь затем к стихам Блока и Есенина, пытается доказать, что как и другие поэты, Сорокин с помощью библейской символики обозначает «современную (революционную, советскую) действительность», что его стихи могут выражать лишь «утверждение гуманности революционного дела», а «галилейская Россия» в них – «это Россия высоких гуманных идей, призванная обогатить мир».

Обращение к контексту и к историко-литературным параллелям действительно способствует более точному осмыслению художественных текстов, и в этом смысле апелляция В.Н.Баскакова к стихам Блока и Есенина сама по себе не может вызывать каких-либо возражений. Нельзя не отметить, однако, что параллели эти в данном случае совершенно не обоснованны. Цитируя, например, стихи Блока:

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты – родная Галилея
Мне – невоскресшему Христу, –

В.Н.Баскаков как-то забывает, что они написаны еще в 1907 году, что между ними и сборником «Галилея» (1925) пролегла Октябрьская революция. К тому же и смысл их – прямо противоположен сорокинским. Если Блок утверждает здесь, что для него родина, Россия столь же близка и дорога, как для Христа – взрастившая его Галилея, то в стихах Сорокина, на которых В.Н.Баскаков предпочел не останавливаться, хотя они также процитированы в статье А.В.Лаврова, предельно четко выражено сложившееся у поэта под влиянием сионистской пропаганды стремление покинуть Россию и отправиться на свою «историческую родину» в Ханаан, т. е. в Палестину:

Что делать мне на Невских берегах,
В метелях, бурях и туманах,
Когда слеза в открывшихся глазах,
Запомнивших цветенье Ханаана...

Это особенно наглядно обнаруживается при обращении к полному тексту стихотворения Сорокина, который горделиво называет

себя здесь правнуком «пророков и царей, разбивших яростных и гордых филистимлян» (т. е. жителей юго-западной части Палестины, с которыми, согласно Библии, израильтяне долгое время вели жестокую борьбу). Объясняя свое стремление в «землю обетованную», поэт недвусмысленно говорит о том, что именно не устраивает его во взрастившей его России:

Здесь пастбища серебряной росой
 Не оживляются щедротою небесной,
 И девушки с распущенной косой
 Не распевают «Песни Песней».

А солнцем назван здесь арбузный шар,
 Что мякоть льет на бритые затылки,
 И не вино с долины Сенаар –
 Здесь воду пьют в коричневых бутылках...

Другие стихотворения сборника Г.Сорокина «Галилея» в еще большей мере показывают, сколь глубоко разделял тогда их автор сионистские идеи, которые явственно пронизывают даже его откровенно порнографические стишки (таково, например, поэтизирующее онанизм стихотворение «Онан», с любовью воспевающее библейского, так сказать, родоначальника этого порока). Взлеивая мечту, «свернув многовековой сон, Вернуться к своему народу», поэт оплакивает в надрывных стенаниях горькую судьбу своих соплеменников, находящихся, как и он сам, вне проповедуемого сионистами «национального очага евреев в Палестине» («Все дороги наши перебиты, Так угрюм наш остекленный быт, Что и голубь, звонкой хлябью сытый, С пальмовой веткой не летит...» и т. д.), потому что, дескать, здесь, «над Невой» им никак «не выправить» некогда «опущенных ресниц». Между тем, в послеоктябрьских условиях подобные иеремиады могли восприниматься лишь как злостная клевета на советскую действительность, поскольку революция, как хорошо известно, решительно покончила со всеми формами национального угнетения и, возведя насаждавшийся в царской России антисемитизм в ранг одного из тягчайших преступлений, широко раскрыла перед еврейскими трудящимися двери во все сферы государственной, общественной, научной и культурной жизни страны. Предельно откровенно признаваясь далее в том, что он находится в безраздельной власти националистических предрассудков («кровь Авраамова разбужена во мне...»), подогреваемых догматами принятой на вооружение сионизмом иудейской религии («мудрые глаза – страницы Пятикнижья – шелестят у моего плеча»), поэт в меру своих более чем скромных творческих возможностей вносит посильный

вклад в пропаганду основополагающих идей сионизма с его экспансионистскими притязаниями и оголтелым человеконенавистничеством. С поистине неистощимой энергией воспеваются им и «курчавая Иудея», раскинувшаяся «среди тысячи стран» и «библейский песен-слов» и «мужи Израиля», жаждущие отмщения за свое бывшее поражение («не вином, мы кровью небесной Поминаем египетский плен»). В ряде же случаев мы находим здесь даже своеобразную художественную иллюстрацию краеугольных положений идеологической программы сионизма. Читая, например, уже начальное стихотворение сборника:

Распалась цепь двенадцати колен
Долины первозданной междуречья,
Теперь печаль у Вавилонских стен
Мы копим долгие тысячелетья.

Нам прадедами дан торжественный урок
Провиденья и вещей песнопений,
И не забыть, как разбивал пророк
Скрижали тупости и лени.

На память каждый взял тогда
Огонь и пламенное возвещанье,
И мы ушли в чужие города,
Предав детей извечному блужданью.

И семена произросли в степях
Ливанским кедром, золотом играя,
И ненавистные на русских берегах
Мы все еще живем для северного мая, —

неволью вспоминаешь не только заботливо оберегаемые сионистами библейские мифы на тему исторического прошлого еврейского народа, но и один из центральных тезисов основоположника политического сионизма и организатора первого Всемирного конгресса сионистов Теодора Герцля, который тщился уверить своих соотечественников в том, что «народы, среди которых мы живем, все вместе тайно или открыто ненавидят нас». Строки другого стихотворения Сорокина, в котором, кстати сказать, вполне отчетливо проступают приметы революционной эпохи и содержится весьма своеобразная трактовка Октябрьской революции, подлинным вождем которой провозглашается не кто иной, как... Троцкий:

Но звук полуистлел и омертвели краски,
И к городу полуживых людей
Россию с красною повязкой
Остробородый двинул иудей, —

заставляют, в свою очередь, вспомнить имя другого идеолога сионизма, Льва Пинскера, который еще в 1882 году, разрабатывая вопрос о «всемирной еврейской нации», подчеркивал, что, хотя еврейский народ давно уже утратил черты, позволяющие считать его нацией в привычном смысле этого слова, но он всегда «продолжал существовать как нация духовно. Мир узнал в этом народе зловещий призрак мертвеца, бродящего среди живых...», – разъяснял Пинскер свою мысль, и это его замечание явственно обнажает истинную сущность стихотворения Сорокина, рассматривающего Октябрь как некий поворотный пункт на пути исторического шествия к святому «городу полуживых людей», т. е. все к той же прародине еврейства – Палестине. Этим же обусловлено и то чувство оптимизма, которое одухотворяет некоторые другие стихотворения сборника:

Пусть зерен нет. Нет колоса на поле, –
 Печаль моя взойдет легко –
 Я жадно пью из каждой боли
 Иудеи пролитое молоко.

Я потому живу без ропота и стона,
 Что мне сияет первозданный дар, –
 Давида пращ и лютя Соломона,
 Как Галаады розовый пожар... –

и те торжественные клятвы поэта, обещающего в порыве благодушия не только не забыть по достижении земли обетованной о взрастившей его стране, но даже и помолиться там о ее грешной судьбе:

Вечный жид, теперь непримиримый,
 Я земле российской поклонюсь,
 И у стен слепых Иерусалима
 Я о ней, метельной, помолюсь.

Чтоб от нашей слишком сильной страсти,
 Слишком острой крови, слишком черных глаз,
 На Рязань, на Волгу не упасть ненастью,
 Переполнившему нас.

Впрочем, эти трогательные, порожденные, очевидно, минутной слабостью строки закономерно сменяются исполненными горделивого презрения к народам всей земли стихами, которые столь недвусмысленно подчеркивают экспансионистские притязания сионистов, что их вполне можно было бы, допустим, исполнять для поднятия духа не успевших еще обучиться неистовству и кровожадности новобранцев в частях головорезов нынешней израильской армии сыновей Давида (имеющееся в этих стихах упоминание мотоциклов

легко понять, если вспомнить, что их первые модели по своей конфигурации напоминали сионистскую звезду):

Забытых слов и быстрonoгих лет
Нет ненавистнее печали молчаливой,
Переплываем новый Назарет
На зыби волн гранитного разлива.

Мы боя ждем, как шторма моряки,
И бой придет долгожеланным гостем,
Легки ножи, закреплены штыки,
И палубу земли кренит в соленой злости.

И коршунов стальных стучат сердца,
И много падает на палубу пониклых,
И вновь встают на смену мертвецам
Творцы простых надзвездных мотоциклов.

И руки полны пылью и огнем,
Кипящей кровью вражеских увечий,
Чтоб внуков одарить потом
Беспамятной любовью человечей...

Очевидно, нет нужды продолжать цитацию этих исступленных, махрово сионистских бредней, по отношению к которым выдвигаемые в заявлении В.Н.Баскакова утверждения о том, что в них, дескать, с помощью библейской символики подчеркивается «мессианское предназначение России», а также прославляется «гуманность революционного дела» и сама «Россия высоких гуманных идей, призванная обогатить мир» и т. д., – являются, пожалуй, не столько даже абсурдностью, сколько кошунством.

Не ограничиваясь историко-литературным «анализом», В.Н.Баскаков выдвигает в своем заявлении еще один весьма существенный в системе его доказательств аргумент, якобы также подтверждающий, что ни о каком сионизме в стихах Сорокина и речи быть не может. «В 1920-е годы, – подчеркивает он, – не существовало ни государства Израиль, ни его территориальной экспансии, ни сионизма в том его виде и политическом качестве, в каком он существует сейчас».

Трудно даже понять, чего больше в этом утверждении – святого неведения вкупе с социальной инфантильностью, либо редкостной по своему характеру и масштабам политической (и не только политической) безграмотности, либо, наконец, самой элементарной безответственности, порожденной политической беспечностью. Как можно коммунисту в нашу эпоху обостренной идеологической борьбы, всемерно усугубляемой совместными усилиями мирового империализма и международного сионизма, не иметь хотя бы само-

го общего представления об истории становления и развития идеологической платформы сионизма, которая начала складываться уже в первой половине XIX века и стала приобретать вполне реальные очертания в эпоху строительства Суэцкого канала, еще за семь лет до открытия которого, в 1862 году, появилась известная книга Мозеса Гасса «Рим и Иерусалим», основные положения которой вскоре существенно скорректировал и творчески развил английский священник Джеймс Нейль в книге «Новое заселение Палестины, или Сбор рассеянного Израиля» (1877). Наконец, учредительный конгресс Всемирной сионистской организации (1897) уже прямо отметил, что «цель сионизма – создать для еврейского народа родину на земле Израилевой».

Впрочем, еще за полвека до организационного оформления сионизма основоположники марксизма подвергли резкой критике только нарождающиеся тогда доктрины, легшие затем в основу идеологической программы сионизма. Подчеркивая, что эгоистический практицизм – незыблемая основа еврейской религии и что «деньги – это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога», К.Маркс уже в 1844 году отмечал, что в соответствии с пропагандой еврейской буржуазии, «еврей может относиться к государству <...> как к чему-то чуждому, противопоставляя действительной национальности свою химерическую национальность, действительному закону – свой иллюзорный закон, считая себя вправе обособляться от человечества, принципиально не принимая никакого участия в историческом движении, уповая на будущее, не имеющее ничего общего с будущим всего человечества, считая себя членом еврейского народа, а еврейский народ – избранным народом» (Соч., т.1, стр. 410, 383). Ф.Энгельс, в свою очередь, столь же убедительно показал, что, претендуя быть творцами некоей «мировой религии», «дети Израиля оставались все время аристократией среди верующих и обрезанных» (Соч. Т.19. С.313). Еще позднее В.И.Ленин, решительно отвергая и доньне, как известно, не снятую с вооружения «сионистскую идею еврейской нации», весьма определенно подчеркивал, что «эта сионистская идея – совершенно ложная и реакционная по своей сущности» (Полн. собр. соч. Т.8. С.76, 72). Им же с исключительной точностью еще на заре нашего века сформулирована сама принципиальная постановка еврейского вопроса, до сих пор спекулятивно извращаемого сионистскими идеологами: «Еврейский вопрос, – подчеркивал он, – *стоит* именно так: ассимиляция или обособленность? – и идея еврейской “национальности” носит явно реакционный характер не только у последовательных сторонников ее (сионистов), но и у тех, кто пытается со-

вместить ее с идеями социал-демократии (бундовцы). Идея еврейской национальности противоречит интересам еврейского пролетариата, создавая в нем прямо и косвенно настроение, враждебное ассимиляции, настроение “гетто”» (Полн. собр. соч., т. 8, стр. 74). Тогда же, в июне 1903 г., ленинская «Искра» в статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» даже сочла необходимым подчеркнуть, разъясняя принципиальную политику большевиков, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм» (см. сб. «Идеология и практика международного сионизма». М., 1978, стр. 57).

Краеугольная в идеологической платформе сионизма идея всемирной еврейской нации с самого начала развивалась параллельно с несколько сложнее пробивавшей себе дорогу идеей создания «национального очага еврейского народа», наиболее подходящим местом которого после недолгих дебатов была признана именно Палестина, экспансионистские территориальные притязания сионистов на которую, вопреки мнению В.Н.Баскакова, столь же стары, как и сам сионизм. Еще в 1889 году, почти за 60 лет до провозглашения государства Израиль, один из ведущих теоретиков «духовного» сионизма Ахад Гаам, посетив Палестину, весьма красноречиво «обосновал» «исторические права» еврейства на эту страну: «Мы считаем, что все арабы – это дикари, живущие как животные и не понимающие, что происходит вокруг них». Столь же своеобразно развивая эти «аргументы»: «Никакая этика не может признать за кучкой полудиких людей права монополизировать страну», – один из виднейших российских сионистов Владимир Жаботинский прямо заявлял: «Палестина должна принадлежать евреям. Применение соответствующих методов с целью создания национального еврейского государства будет являться обязательным и всегда актуальным элементом нашей политики. Арабы знают уже сейчас, что мы должны с ними сделать и чего мы от них требуем. Необходимо создавать обстановку “свершившихся фактов” и разъяснить арабам, что они должны покинуть нашу территорию и убраться в пустыню». Нисколько не уступая в своей неистовости и кровожадности современным израильским головорезам, он еще в 1919 году стал одним из организаторов «Еврейского легиона» в составе оккупировавших Палестину войск английской экспедиционной армии и столь преуспел в жестоком преследовании арабов, что англичане были вынуждены даже устроить над ним судебный процесс. И если некоторые другие сионистские деятели (например, сравнительно умеренный в ту пору будущий первый президент государства Израиль Вейцман,

не сомневавшийся в том, что Палестина должна быть «полностью еврейской», но полагавший, что лишь «когда евреи составят большинство населения Палестины, наступит момент потребовать и управления этой страной») ратовали за постепенное вытеснение арабов (при благоприятных для эмиграции евреев в Палестину обстоятельствах, мечтал тот же Вейцман в 1914 году, «мы можем поселить там через 20–30 лет миллион евреев, а может быть и больше. Они будут развивать страну, вернут ей цивилизацию и обеспечат самую эффективную охрану Суэцкого канала...»), то намерения Жаботинского были гораздо более решительны: «Дайте нам Палестину, – требовал он, когда там находилось всего несколько тысяч еврейского населения, – и через несколько поколений в ней будет 8 миллионов евреев, 2 миллиона арабов и еще много свободного места – и мир на земле».

Наконец, и истоки активно эксплуатируемой нынешними идеологами сионизма идеи массового переселения евреев в Палестину, в значительной своей мере носящей чисто пропагандистский характер для разжигания среди еврейского населения диаспоры националистических чувств и отнюдь не рассчитанной на ее реальное претворение в действительность, также берут свое начало в идеологической платформе ранних сионистов. На все лады превознося мысль об «освобождении» евреев из диаспоры посредством «видения Сиона» и выдвигая немало самых веских «аргументов» в пользу создания «государства евреев у горы Сион» («в интересах Европы, – подчеркивал, например, Т.Герцль, – мы составили бы там часть стены против Азии», «мы явились бы авангардным отрядом культуры против варварства» и т. д.), они в то же время неизменно предостерегали слишком доверчивых соплеменников от буквалистского восприятия их пропагандистских лозунгов. «Сионизм не ждет и не требует, – читаем, например в сборнике Макса Нордау «Речи и статьи» (Екатеринослав, 1898, стр. 35), – чтобы все евреи обоих полушарий возвратились в Палестину. Те, которые чувствуют себя хорошо, могут оставаться каждый на своем месте. Мы желаем им только, чтобы они чувствовали себя еще лучше. И это, конечно, будет, как только появится и начнет процветать в Палестине еврейская самостоятельная общественная жизнь... Она представит крепкий связующий центр для евреев обоих полушарий, остающихся на своих местах, центр, который будет иметь для евреев большее значение, чем Рим для католиков всех стран. Это будет своего рода нервная система, которая охватит весь мир, а в Сионе, как в мозгу, будет немедленно отражаться всякое новое течение мысли, всякое новое движение чувства образованного человечества». Столь же ясно высказывался

на этот счет и Д.Пасманик. Отмечая, что «сущность сионистского мировоззрения состоит в организации еврейства», что «каждый сионист должен быть носителем национального идеала» и т. д., он в то же время подчеркивал в 1914 году, что «идеология, связанная с Палестиной, имеет огромное значение для колонизации, но в дальнейшем развитии последней будут владычествовать политико-экономические мотивы», которые «не будут считаться ни с идеологическими, ни с административными границами крошечной Палестины». И не случайно поэтому Плеханов в свое время едко иронизировал над во многом разделявшими сионистские взгляды бундовцами, называя их «непоследовательными сионистами», стремящимися «утвердить Сион не в Палестине, а в пределах российского государства» (Соч., т. 13, М., 1926, стр. 165).

Таким образом, к какому бы аспекту мы ни обратились, как снова и снова убеждаемся в том, что, вопреки мнению В.Н.Баскакова, современный сионизм ничем принципиально не отличается от своего прародителя, продолжая паразитировать на еще много десятилетий тому назад сформулированных догмах сионистской идеологии. С течением времени изменились масштабы деятельности сионистов, но не их цели и задачи, неизмеримо утончились принципы и методы сионистской пропаганды, но не ее антинародный характер. И если уж говорить о каких-то иных изменениях, то они заключаются прежде всего в том, что за прошедшее с тех пор время сионизм, в сущности, основательно утратил свои – некогда весьма сильные – позиции в нашей стране, хотя, как известно, в отдельных случаях сионистской пропаганде даже и сегодня все еще удается на какое-то время ослепить тех, кто клюнул на ее приманку. Совсем иная ситуация в этом отношении была в первые годы советской власти, и лишь с учетом этого обстоятельства можно понять причины появления тогда книг, подобных сборнику Г.Сорокина «Галилея».

Найдя благодатную почву для своего развития в условиях царской России, где он особенно пышно расцвел, пользуясь как прямой, так и негласной поддержкой властей, в самом конце XIX – начале XX вв. («надо, – откровенно высказывался тогда начальник московской охраны Зубатов, – сионизм поддержать и вообще сыграть на националистических настроениях») сионисты никогда не строили особых иллюзий относительно возможностей мирного сосуществования с социализмом («обращения евреев в социализм я никогда не приму», – подчеркивал Т.Герцль еще в 1895 году, хотя в дальнейшем Наум Соколов, Бер Борохов и некоторые другие и пытались развивать теорию так называемого сионистского «социализма» или «социалистического» сионизма). И не удивительно, что они резко

враждебно встретили революционные события 1917 года. «Евреи жаждут порядка и ненавидят большевиков, как и всякую анархию», – отмечал тогда центральный орган российских сионистов еженедельник «Рассвет», опубликовавший 27 октября 1917 года решение экстренного заседания ЦК сионистской организации России, которое постановило считать Октябрьскую революцию «преступным покушением на права народа» и призвало к активной борьбе с советской властью. В мае следующего, 1918 года состоявшаяся в Москве нелегальная конференция сионистской организации Цейре Цион (Молодежь Сиона), на которой присутствовали представители 22 городов страны, отметив, что «для еврейства, для еврейской национальной идеи социализм – смертельный враг», потому что «сионизм есть объединение всего еврейства», а «социализм – борьба в нем одного класса против другого», прямо затем подчеркнула, что «социализм стоит сионизму поперек дороги», что «сионизм и социализм не только два полюса взаимоотталкивающиеся, но и два элемента, друг друга совершенно исключают», и что «везде, где есть евреи, сионизм нужен, а там, где вдобавок в головах евреев происходит брожение, он необходим» (см. кн. Е.Евсеева «Фашизм под голубой звездой». М., 1971, стр. 138).

Отсюда – единодушная поддержка сионистами сил внутренней и внешней контрреволюции с ее последовательно сменявшимися бесславными «вождями» (начиная от Керенского и кончая Петлюрой), сочетавшаяся в годы революции и гражданской войны с активной идеологической обработкой еврейского (и не только еврейского) населения страны. Имея в своих руках множество органов массовой информации (уже к 1902 году сионисты имели возможность издавать в России более 500 периодических изданий, многие из которых продолжали выходить и в первые послереволюционные годы), они максимально использовали также в это время устную агитацию и пропаганду. Достаточно сказать, что помимо многих сотен рядовых лекторов и «инструкторов» только в 1917–1918 гг. в этой агитационно-пропагандистской деятельности активно участвовали такие виднейшие идеологи сионизма, как Б.Борохов и Д.Пасманик, а также члены ЦК сионистской организации России Ю.Бруцкус, А.Гольдштейн, Б.Гольдберг, Л.Каплан, Н.Сыркин, А.Идельсон и др., которые интенсивно гастролировали по стране с лекциями на темы «Сионизм и Община», «Еврейство и переживаемый момент», «Еврейский вопрос в сионистской постановке», «Задачи предстоящего Всероссийского сионистского съезда», «Современный диаспорный национализм и Палестина», «Палестина и ее древние достопримечательности», «Политическая конъюнктура и Палестина», «Иегова и

Христос», «Еврейская демократия и Учредительное собрание», «Наши требования в Учредительном собрании», «Наши задачи в Учредительном собрании», «Война, революция и еврейство», «Новые перспективы в сионизме», «Сионизм и переживаемый момент», «Сионизм и Бунд», «Бундизм и сионизм», «Сионизм и еврейская действительность», «Наша программа в области школьного вопроса», «Современный момент в еврействе и сионизм», «20 лет Бунда – 20 лет сионизма», «Пролетарский сионизм», «Революция в еврействе», «Антисемитизм – сионизм – социализм (Бунд)», «Современный иудаизм», «Евреи в произведениях русских писателей», «Автономная Украина и интересы еврейского народа», «Основные пункты программ еврейских политических партий» и т. д. Наконец, широким потоком хлынул яд сионистской отравы и на книжный рынок. Уже в дни революции выходят, например, книги одного из виднейших идеологов и практиков сионизма Артура Рупина «Евреи нашего времени» и В.Львова-Рогачевского <так!> «Гонители еврейского народа в России», в 1918 году переиздаются работы Б.Борохова «Наша платформа» и «Антисионистская концентрация», в «Библиотеке классиков сионизма» появляются «труды» Т.Герцля, выходят книги А.Идельсона «На сионистские темы», А.Гольдштейна «Среди еврейства», Ф.Эндерса «Сионизм и мировая политика» и др., годом позже сионистский историк С.Дубнов, записавший в своем дневнике «Книга жизни» (т. 2, Рига, 1935, стр. 267) после злодейского покушения на В.И.Ленина: «Хорошо, что именно евреи совершили этот подвиг», – выпустил в Петрограде, где он числился тогда добропорядочным служащим и как высококвалифицированный специалист получал усиленный паек, обширную «Новейшую историю евреев», и т. д.

Учитывая исключительную активность сионистской пропаганды и ее во многих случаях крайнюю озлобленность по отношению к правительству новой России, советская власть уже в июне 1919 года вынуждена была поставить вопрос о запрещении деятельности сионистских партий в России, до полной ликвидации которых, впрочем, было еще слишком далеко. Закрыв наиболее оголтелые организации, их печатные органы и издательства, советская власть в то же время не чинила тогда каких-либо препятствий в работе более лояльных по отношению к ней еврейских партий и обществ, среди членов которых сионистская пропаганда не замедлила сразу же развернуть активную деятельность по разжиганию националистических страстей, используя для этого как нелегальные, так и вполне легальные формы: изгоняемые из сфер государственной и политической жизни, сионистские идеи постепенно перетекают в это время в сферы литературы, культуры и науки. Их очевидным влиянием отмечены, на-

пример, изданные в 1922 году в Петрограде сборник «Еврейская мысль» и книга М.Гершензона «Судьбы еврейского народа», в еще большей мере – начавший выходить в 1923 году альманах «Еврейская летопись», уже в первом выпуске которого была помещена бесцеремонная статья Д.Заславского «Евреи в русской литературе», где в ряды антисемитов смело зачислялись даже Пушкин, Гоголь и Некрасов, не говоря уже о многих других классиках русской литературы: «Гоголя, как и Пушкина, – безапелляционно вещал Заславский, – можно назвать антисемитами», «все рассказы Лескова о евреях – это ряд грубоватых армейских анекдотов» и т. д. В аналогичном духе была выдержана и одновременно появившаяся в сборнике «На идеологическом фронте» статья Б.Горева «Русская литература и евреи». Но, пожалуй, всех перещеголял тогда в этом отношении стихотворец А.Тиняков в книжке «Русская литература и революция» (Орел, 1923). Подчеркивая, что «русская литература в лице ее крупнейших представителей всегда была чужда революции и очень часто враждебна ей», что ее «следует признать силой безусловно контрреволюционной и начать с нею беспощадную борьбу», он зачислял в контрреволюционеры не только Пушкина, Лермонтова, Белинского, Гоголя, Некрасова, Герцена, Достоевского, Тургенева, Л.Толстого, Чехова и др., но даже и... декабристов: они, дескать, читаем здесь, не признавали «равноправия евреев». Не случайно поэтому состоявшийся в том же 1923 году XII съезд РКП(б) в своей резолюции специально подчеркнул необходимость усилить борьбу против «сионистских клерикально-кадетских группировок», отчетливо обозначившийся «сильный рост» которых, как отмечалось в этом документе, стал особенно заметен «с наступлением нэпа» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч.1, М., 1953, стр.742).

Выполняя это постановление, советская власть уже в самом начале 1924 года повела решительную борьбу с сионистским подпольем, что сразу же активизировало действия международного сионизма: в Париже возникает «Общество против антисемитизма в СССР» (ныне его, так сказать, функции приняла на себя бесчинствующая в Америке «Лига защиты евреев в СССР»), а в Берлине создается «Отечественное объединение русских евреев за границей», сразу же выпустившее сборник «Россия и евреи» (Берлин, 1924). Прочно окопавшиеся в глубоком подполье, сионисты еще не скоро сдали свои позиции. Достаточно сказать, что только в 1926 году в Ленинграде перестала функционировать так называемая «левая» Сионистская социалистическая партия, лишь в 1927 году удалось вскрыть сионистский характер ряда молодежных еврейских организаций («Гардони», «Бетар» и др.), до 1930 года оставалась не разоблачен-

ной деятельность подпольной сионистской организации, действовавшей в Ленинграде с августа 1919 года под легальным прикрытием «Еврейского благотворительного общества», и только в конце 1934 года был раскрыт и обезврежен подпольный исполком ЦК сионистской организации Цеире Цион (Молодежь Сиона) и была пресечена нелегальная деятельность в СССР другой еврейской молодежной организации «Гехолуц».

Таков реальный общественно-политический контекст, в условиях которого одно из частных ленинградских издательств выпустило в 1925 году мизерным тиражом (500 экз.) крохотный (в нем всего 13 стихотворений) сборничек Г.Сорокина «Галилея», автор которого, как о том достаточно определенно свидетельствуют его не обладающие какой-либо художественной ценностью стихи, отдал щедрую дань глубоко в ту пору воспринятым им сионистским иллюзиям и заблуждениям. И здесь невольно возникает вопрос, зачем понадобилось спустя десятилетия воскрешать из небытия оставшиеся незамеченными даже в пору их выхода в свет эти пронизанные оголтелым сионизмом стихи, особенно в наши дни, когда так остро стоят вопросы идеологической борьбы с нашими идейными врагами, и прежде всего – с являющимся орудием империалистической реакции сионизмом?

Внешне, как будто, дело обстоит вполне благопристойно: публикуя письма известного советского поэта к совершенно никому не известному лицу, необходимо, разумеется, дать справку об адресате этих писем. Однако весьма проблематична в данном случае и сама необходимость в такой публикации: письма в большинстве своем не содержат сколько-нибудь развернутых суждений их автора о литературе, посвящены в основном сугубо деловым вопросам, связанным с получением очередных гонорарных сумм, и имеющийся в них материал вполне мог бы быть компактно изложен в какой-либо заметке о поэте или статье биографического характера. В данном случае это тем более было бы уместно сделать, что личность самого адресата писем, получавшего их лишь в силу своего служебного положения (в качестве одного из руководителей издательства), не может не вызывать по меньшей мере определенной настороженности.

Человек, живший, как о том совершенно бесспорно свидетельствуют документы его архива, сразу с двумя паспортами, по одному из которых он значился русским, а по другому – евреем, с ранних лет, судя по всему, не имевший сколько-нибудь четкой социально-политической ориентации (двадцати лет от роду был участником съезда анархистов, затем являлся членом-соревнователем Вольфилы (деятельность которой, как уже отмечалось выше, вообще освещает-

ся в «Ежегоднике» крайне односторонне) и т. д.), несостоявшийся врач, после трех лет учебы на медицинском факультете неожиданно оказавшийся наборщиком в типографии издательства «Прибой» и затем довольно быстро проделавший путь от корректора до заведующего «Издательством писателей в Ленинграде» и главного редактора ленинградского отделения издательства «Советский писатель», неоднократно, наконец, арестовывавшийся (по меньшей мере, в 1919-м, 1935-м и 1949 годах), – таков далеко не полный портрет Г.Сорокина, с большим энтузиазмом бравшегося за редактирование самых разных произведений (об этом свидетельствуют соответствующие договоры, которые он в качестве одного из руководителей издательства нередко заключал сам с собой), но гораздо менее активно выступавшего в печати с оригинальными произведениями: помимо тощенького сборничка сионистских стихов им опубликовано лишь несколько фельетонов и вышедших отдельными изданиями в виде брошюр очерков, а также ряд статей и небольшой сборник рассказов «Примечания к судьбе» (Л., 1931). И если уж встал вопрос о публикации некогда полученных им деловых писем Б.Пастернака, написанных в связи с подготовкой к печати в возглавлявшимся <так!> Г.Сорокиным издательстве сборников стихов поэта, то не было, конечно, никакой необходимости предварять такую публикацию весьма пространной вступительной статьей, занимающей почти 8 страниц петитом (стр. 199–206) и в значительной своей части посвященной Г.Сорокину, о котором, вопреки всем фактам, говорится лишь «как об очень симпатичном, предупредительном, глубоко порядочном человеке, внимательном и тактичном редакторе, ревностном и честном исполнителе своего дела» (стр. 201): вполне достаточно в данном случае было бы дать самую краткую справку об адресате писем, поясняющую, в какой связи Б.Пастернак обращался к нему, ибо это, как о том совершенно бесспорно свидетельствуют многие документы, далеко не та фигура, о которой стоило бы столь подробно писать в академическом издании, да еще в подчеркнуто панегирических тонах.

Между тем, статья не только весьма своеобразно характеризует самого Г.Сорокина (в ней упомянуто лишь, да и то в подчеркнуто положительном плане, о его связи с Вольфилой; все остальные, так сказать, острые углы в его биографии тщательно обойдены), но и содержит еще более странную характеристику его творчества, в связи с чем здесь и возникает подробный – с цитацией трех отрывков разных стихотворений – разговор о сборнике «Галилея», уже само по себе привлечение читательского внимания к которому есть по меньшей мере ни <так!> что иное, как безответственность, граница-

щая, если называть вещи своими именами, с политической провокацией: весь сборник настолько пронизан откровенно сионистскими идеями, что для того, чтобы заметить это, совсем не требуется предпринимать какие-либо сложные исследования и, тем более, дополнительные разыскания; здесь все лежит на поверхности и уже при самом беглом просмотре сборника очень легко определить истинный характер его символики. Столь же безответственно, кстати говоря, характеризуется далее в этой статье и сборник Г.Сорокина «Примечания к судьбе». Мало чем отличаясь по своему духу от «Галилеи», он вызывает не менее отталкивающее впечатление, но, тем не менее, также получил в статье весьма привлекательную характеристику: «Книга эта, любопытная как образец воздействия разнообразных стилевых исканий, характерных для прозы 1920-х годов, написана в экспрессивном, напряженно-метафорическом стиле, отличается фрагментарностью изложения и избыточными эллиптическими конструкциями». Далее уже прямо ставится под сомнение справедливость оценки этой книги критиками начала 30-х годов, в рецензиях которых не без веских на то оснований подчеркивалось, что «Примечания к судьбе» являются достаточно ярким свидетельством не только непонимания, но в известной мере и неприятия Г.Сорокиным революционной действительности. Более того, читателя «Ежегодника» даже стремятся при этом уверить в том, что совершенно беспомощная в художественном отношении и весьма, мягко говоря, сомнительная по своей идейной направленности книжка Г.Сорокина с ее омерзительно-отталкивающими «живописаниями» находится чуть ли не в одном ряду с классическими произведениями советской литературы тех лет и якобы «заставляет вспомнить о романе К.А.Федина “Города и годы” и его герое Андрее Старцове» (стр. 203). Подобные суждения могут свидетельствовать либо о полной профессиональной несостоятельности их автора как исследователя литературы, весьма наглядно демонстрирующего в таком случае свою беспомощность в вопросах идейно-эстетического анализа историко-литературных явлений, либо – что столь же недопустимо, в особенности на страницах авторитетного академического издания, выходящего под маркой ведущего в стране научно-исследовательского центра по изучению русской литературы, – о вольном или невольном стремлении автора, безответственно заигрывающего с по меньшей мере сомнительными «концепциями» в освещении истории советской литературы и с достойной лучшего применения «смелостью» приносящего в жертву им реальные факты истории литературы, к заведомо превратному истолкованию историко-литературного процесса и его отдельных периодов.

Стремясь избежать поспешности в своих заключениях и выводах, комиссия сочла необходимым прежде всего выяснить мнение на этот счет непосредственно самого А.В.Лаврова, подготовившего к печати (совместно с родственниками Б.Пастернака) письма поэта к Г.Сорокину. К сожалению, однако, состоявшаяся 2 апреля с. г. беседа с А.В.Лавровым так и не позволила внести необходимую ясность. Отметив, что инициатива публикации писем Б.Пастернака к Г.Сорокину исходила от К.Д.Муратовой, по просьбе которой он принял участие в этой работе, и подчеркнув, что он является только одним из соавторов, А.В.Лавров всячески избегал прямого ответа на поставленные перед ним вопросы, ссылаясь, главным образом, на то, что им подготовлен лишь биографический очерк о Г.Сорокине, характеристика произведений которого (в том числе и сборника «Галилея») принадлежит здесь Е.В. и Е.Б. Пастернакам, целиком полагаясь на которых, он только вмонтировал в свою статью их текст, никак не вмешиваясь в него, и не может поэтому нести ответственности за не принадлежащие ему фрагменты статьи, что, далее, самого сборника «Галилея» он даже в руках не держал, а в приведенных Е.В. и Е.Б. Пастернаками цитатах из него не видит ничего предосудительного: это самые что ни на есть обычные стихи, и т. д. Вынужденный признать затем, что сборник он все-таки просматривал, но очень бегло и, возможно, в чем-то недооценил его, А.В.Лавров в то же время решительно подчеркнул, чуть ли не дословно повторяя тем самым аргументацию В.Н.Баскакова, что говорить в данном случае о каком-либо сионизме просто абсурдно, поскольку, по его твердому убеждению, в 20-е годы, когда Г.Сорокин писал свои стихи, «даже и слова такого еще не было». Наконец, касаясь вопроса о том, почему в других его работах столь превратно подчас освещаются историко-литературные факты и явления, и, в частности, во многом искажается идейно-эстетическая позиция, например, Р.В.Иванова-Разумника, о резко неприязненном отношении которого к советской действительности 20–30-х годов нигде даже и не намечается, А.В.Лавров с поразительным простодушием лишь заметил, что кто же тогда стал бы публиковать статьи о том же Иванове-Разумнике... И уже одно это замечание, думается, весьма наглядно вскрывает, сколь своеобразно представляет его автор специфику и сами задачи литературоведческого исследования.

В точном соответствии с этим представлением, как легко в том убедиться, написана и вступительная статья к публикации писем Пастернака к Сорокину. Трудно говорить в данном случае о степени авторского участия в ней родственников Б.Пастернака, поскольку это никак не оговорено в «Ежегоднике», но если оно и было, то

лишь в очень незначительной мере. Попытка же А.В.Лаврова полностью возложить на Е.В. и Е.Б. Пастернаков ответственность за характеристику творчества Г.Сорокина вообще не выдерживает никакой критики. Прежде всего потому, что помимо сборника «Галилея» здесь характеризуются и неопубликованные стихи Г.Сорокина, писать о которых мог только А.В.Лавров, поскольку эти стихи (как и все другие материалы архива Г.Сорокина, использованные в статье о нем) известны лишь одному А.В.Лаврову, который, согласно отметкам в листах использования этих архивных материалов, был их единственным читателем.

Следует отметить при этом, что и разговор об этих неопубликованных стихах Г.Сорокина, при всем его вынужденном лаконизме, носит столь же безответственно-провокационный характер, как и оценка сборника «Галилея». Здесь не просто указывается само наличие этих неопубликованных стихов, но и особо подчеркивается, что «из них наибольший интерес представляют его “Северные стихи” (1951–1953)», после чего приводится и их точный архивный шифр (см. стр. 202). Достаточно, однако, обратиться непосредственно к текстам этих произведений, чтобы убедиться в том, что это косноязычное, начисто лишенное даже проблесков какого-либо поэтического дарования виршеплетство, скрадывавшее время пребывания Г.Сорокина в заключении и нередко прямо-таки переполненное слепой злобой и ненавистью («таким никогда еще не был – сожженным, угрюмым и злым; ни дома, ни света, ни хлеба – отчаянья каторжный дым», – откровенно признавался он в этой связи, обвиняя в своих бедах прежде всего взрастившую его эпоху: «Меня терзала времени жестокость, его неистовый сумбур, и напоила яростным потоком той азиатской крови чересчур...») и т. д.), может представлять «интерес» разве что лишь для ответных антисоветчиков, не жалеющих сил и средств на подготовку разного рода эмигрантских «синтаксисов», «эхов», «посево», «граней» и других подобных изданий, со страниц которых антисоветское отребье пытается вести свои грязные пропагандистские кампании. Не скупясь на предельно выразительные самохарактеристики («мы – дети застенков, трусливой петли самовластья», «здесь гильотина сводит с нами счеты – Кто ей не льстил и не рукоплескал», «мы спрятаны в ночь за трехрядкой колючей» и т. д.) и кощунственно уподобляя место своего заключения ставшему ареной трагической гибели многих тысяч человеческих жизней Освенциму:

Мы – дети бронетанкового века.
В дымящем бездорожье – Освенцим,
И злые, северные реки
Отеплены дыханием моим, –

еле дышащий «под небом диктатуры», но, тем не менее, не желающий оставаться «перед истиной в долгу» Сорокин ниспосылает здесь проклятья своим «мучителям кровавым», едва ли не претендуя при этом на роль некоего «провидца и творца», который и сквозь надрывный вой лагерной сирены, когда «горе говорит вполголоса, а радость намертво молчит», явственно слышит «тайные пророчества о холоде грядущих дней» и, «вопреки кровосмесительным законам», ощущает свое высокое предназначение:

За мальчиков, с ума сведенных
Истерикой тюремных этажей,
За жен, навеки разлученных
С любовными ладонями мужей,
За тех, кто не дождался света,
Единственного светлого лица,
Я умирал и воскресал поэтом
В неистовстве провидца и творца.
Так родилась легенда о Спасителе,
Так воскресал всевечный жид...

Нет необходимости, конечно, детально останавливаться на этих стихах с их весьма своеобразными героями (это, по выражению самого автора, «законники, блатные и придурки, насильники и сволочь без чинов, чья совесть – смятые окурки под грязною подошвой сапогов») и еще более своеобразными мотивами, на все лады варьирующими «дикий окрик часового» и «конвоя тяжкие остроты», молчаливые мечты «под охранным знаком» и «клочья проволоки ржавой», выставляемые в наглухо закрываемых на ночь бараках парашутистов и «каторжные ноченьки», что «стерегут» заключенных «на проклятом этом берегу», и т. д. Более существенно в данном случае отметить другое. Учитывая как конкретные обстоятельства, в условиях которых слагались все эти стихоподобные строки, так и личность самого Сорокина, в конце концов не столь уж трудно понять и объяснить те побудительные мотивы, которыми руководствовался автор, в тяжкие минуты глубокой душевной депрессии написавший даже, что у него «больше родины нет». Но трудно понять, как можно было акцентировать внимание читателей именно на этих стихах, подчеркивая, что они якобы представляют «наибольший интерес», и даже указывая при этом их точный архивный шифр, хотя подобные материалы вообще не подлежат свободной выдаче читателям (кстати сказать, в статье имеются ссылки и на другие закрытые (не подлежащие выдаче) материалы архива Г.Сорокина, лишь в виде исключения выданные – отнюдь не для рекламирования их в печати – А.В.Лаврову, что является грубейшим нарушением установленных

правил работы с архивными документами). Ведь порожденная политической беспечностью безответственность уже почти переплетается здесь с вещами гораздо более серьезными, явственно приобретаемая – хотел того А.В.Лавров или нет – подчеркнута провокационный характер. И это тем более поразительно, что все это появляется на страницах «Ежегодника» уже после того, как содержащиеся в его предшествующих выпусках ошибки и просчеты, которые едва ли не чаще всего встречались там в работах того же А.В.Лаврова, подверглись критике в партийной печати и в постановлении бюро Василеостровского РК КПСС.

Впрочем, едва ли не еще большие недоумения вызывает в данном случае само заявление В.Н.Баскакова в партбюро от 20 февраля с. г., лишь в ходе тщательного изучения которого стала вполне очевидна вся глубина и серьезность допущенных в последнем выпуске «Ежегодника» ошибок. Не будь этого заявления, появление публикации писем к Сорокину в ее настоящем виде можно было бы, вероятно, считать лишь досадным, но случайным просмотром чрезмерно увлекшегося увеличением списка научных трудов и в спешке не соизмерившего своих творческих возможностей с принимаемыми на себя обязательствами В.Н.Баскакова, который не сделал необходимых выводов из постановления бюро райкома партии и без должной ответственности отнесся к выполнению обязанностей члена редколлегии «Ежегодника». Именно так, в сущности, и был воспринят этот эпизод на состоявшемся 20 января с. г. заседании партбюро, когда рассматривалась просьба В.Н.Баскакова о снятии с него партийного взыскания, причем при закрытии заседания, как отмечено в его протоколе, была выражена твердая уверенность, что прошедшее неприглядное обсуждение, участники которого, среди прочего, обратили внимание В.Н.Баскакова и на допущенный им как членом редколлегии «Ежегодника» серьезный идеологический промах, заставят, наконец, В.Н.Баскакова сделать необходимые выводы из вновь прозвучавшей по его адресу критики.

Совсем иначе, к сожалению, предстает этот вопрос в свете опротестовывающего решение партбюро нового заявления В.Н.Баскакова, со всею очевидностью свидетельствующего о том, что и на этот раз коммунист В.Н.Баскаков оказался совершенно невосприимчив к партийной критике. Без всяких на то оснований решительно отвергая ее, он не только, вопреки всему, пытается отрицать самоочевидное, т. е. совершенно бесспорную в данной случае пронизанность стихов Сорокина сионистскими идеями, и тем самым грубо искажает факты, стремясь ввести в заблуждение партийное бюро, но и обнаруживает при этом особенно поразительную для руководяще-

го работника идеологического учреждения, каким является Пушкинский Дом, заместителем директора которого до недавнего времени являлся В.Н.Баскаков, политическую безграмотность.

Даже в том случае, если бы это заявление В.Н.Баскакова являлось бы, допустим, лишь безответственным отзвуком необузданного порыва страстей, полуимпульсивно выплеснувшимся сразу после заседания партбюро в обусловленном крайним раздражением состоянии аффекта, оно все равно бы заслуживало самого серьезного внимания и принципиальной оценки, поскольку это уже далеко не единственный пример резкого отрицания В.Н.Баскаковым какой-либо критики в свой адрес. Однако в данном случае мы имеем дело с примером совсем иного рода. Заявление ни в какой мере не является плодом горячей поспешности, напротив, оно тщательно взвешено и обдуманно, поскольку на его составление ушел целый месяц (!), понадобившийся автору, вероятно, как для дополнительного всестороннего изучения относящихся к «спорному» вопросу материалов, так и для «упорядочения» всей системы своей аргументации и тщательной отшлифовки буквально каждой фразы в тексте неспешно подготавливаемого им документа, который, таким образом, не по какому-либо досадному недоразумению, а вполне осознанно, лишь из-за безрассудного желания В.Н.Баскакова любой ценой отстоять честь мундира, приобрел заведомо ложный характер. И уже сам по себе один этот факт, думается, ярчайшим образом свидетельствует о том, сколь суровой оценки требует этот редкостный по своей безответственности и политической беспечности документ, несовместимый ни с требованиями Устава партии, ни с морально-этическими нормами нашего общества.

6 апреля 1982 г.

Председатель комиссии
Члены комиссии

А.И.Хватов
В.В.Базанов
Б.В.Мельгунов

Справка об иудейской и сионистской символике

Прежде всего следует учесть, что сионистское движение, основанное в 1896 г. С.Герцем (см. статью «Сионизм» в БСЭ-3, согласованную в инстанциях), до 1930-х годов примыкало к правой социал-демократии и не только не смыкалось с религиозным иудаизмом, но

и отвергалось раввинами и ортодоксальными иудаистами; лишь в 1940-х гг. и в особенности *после* образования государства Израиль (за создание которого голосовал в ООН и СССР) происходит сближение еврейских религиозных кругов с сионизмом, в частности с его правым крылом (партия «Ликуд»); со своей стороны и сионисты начинают привлекать элементы иудейской религиозной традиции в своей политике. Поэтому иудейская символика, появляющаяся в литературных произведениях до 30-х гг. нашего столетия, не только не обязательно связана с сионизмом, но по большей части с ним совершенно не связана.

Переходя к конкретной метафорике стихотворений Г.Э.Сорокина, отметим, что в «Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского дома» цитируется только одно его стихотворение, и отвечать за содержание прочих стихов его сборника «Галилея» (не изъятого из открытого хранения) редколлегия сборника не может. Тем не менее, выйдем несколько за пределы данного стихотворения и коснемся также другой «галилейской» метафорике Г.Э.Сорокина.

Эта метафорика носит ярко выраженный христианский характер; этническое происхождение Г.Э.Сорокина, конечно, к делу не относится: никому не возбраняется в нашей стране быть евреем, предосудительно быть лишь сионистом.

К христианской символике относится для конца XIX – начала XX века прежде всего сам термин «Галилея»: во всей художественной литературе этого периода «Галилея» и «галилеянин» всегда значат только «христианство, христианские страны, христианин» (см., напр<имер>, у Ибсена «Кесарь и галилеянин», трагедия, посвященная борьбе языческой античности с христианством; обращение Блока к России: «...ты – родная Галилея мне, нераспятому Христу», и т. д., и т. п.).

«Иордан» является в литературе этой эпохи символом крещения. Это пришло даже в детские песенки того времени:

«Дождик, дождик, перестань,
Мы поедem на Иордань...»

Когда русские императоры называли главный подъезд своего Зимнего дворца «Иорданским», в этом случае усмотреть сионизм тоже трудно.

«Ханааном», как известно, называлась не иудейская, а *до-иудейская* Палестина. Палестинские арабы считают себя прямыми потомками ханаанеян.

«Назарет» – слово, ни разу не употребленное ни в Ветхом завете (еврейской части иудейско-христианской Библии), ни в Талмуде. Это, как известно, согласно евангелиям – родина Иисуса; в поздних

еврейских талмудических сочинениях термин «назарей» означает «отступник от иудаизма, христианин». Соответствующее стихотворение посвящено бурям грядущей мировой революции, долженствующим, по представлению автора, привести к общему счастью, понимаемому в христианском плане – что было характерно для ряда бывших символистов в 20-ые годы.

«Мотоцикл» отнесен к «сионистской» символике по какому-то странному недоразумению. Ясно, что до образования государства Израиль автомобильной промышленности у сионистов не было, и никаких мотоциклов они не выпускали, – тем более «в форме щита Давида», что и технически невозможно и ни с чем не сообразно.

Кстати, отметим еще следующее: как нам сообщила К.Д. Муратова, обвинения лиц, работавших над «Ежегодником» (которые все – русские) в «пропаганде сионизма» и других реакционных учений связывается также с попутным упоминанием в «Ежегоднике», без особых пояснений, известного неокантианца Г.Когена и известного русского литературоведа М.О.Гершензона. Пояснения, однако, тут и не нужны, поскольку деятельность этих лиц вполне исчерпывающим образом освещена в «Большой советской энциклопедии», изд. 3. Специалисты хорошо знают, что Г.Коген был главой марбургской школы неокантианской философии и учителем множества философов и литераторов самых различных убеждений и вероисповеданий, менее всего – иудейского. В конце жизни он, правда, склонился к иудейской религиозности, но это было как раз в период борьбы иудейского раввина против идей сионизма. Что касается М.О.Гершензона, то в своих религиозно-философских взглядах он склонялся к славянофильству; от ошибочных идей «Вех» он отказался еще в 1914 г., принял советскую власть и до конца жизни активно с ней сотрудничал.

Из вышеизложенного ясно, что обвинение редколлегии и сотрудников «Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского дома» в пропаганде идей сионизма является либо недобросовестным, либо результатом неосведомленности.

Ст. научный сотрудник

Института востоковедения АН СССР

доктор исторических наук

член редколлегии «Палестинского сборника»

Дьяконов

Игорь Михайлович

Зав. сектором

Института востоковедения АН СССР

доктор исторических наук

Дандамаев

Мухаммед Абдулкадырович

<Штамп:>

Подпись *И.Дьяконова, М.Дандамаева*

Удостоверяю: *Алексеева*

Референт ЛО Института

Востоковедения АН СССР

25 июня 1982 г.

<Печать ЛО Института востоковедения АН СССР >

Замечания в связи с выводами
комиссии при партийном бюро ИРЛИ

Основное обвинение по адресу «Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год» заключается в том, что в предисловии к публикации писем Б.Л.Пастернака к Г.Э.Сорокину процитированы стихи Сорокина из его книги «Галилея», вышедшей в Ленинграде в 1925 году. Цитированные строки расценены как имеющие сионистский подтекст. Такое обвинение считаю неправомерным.

Если исходить из реального, конкретного смысла, который включают в себе образы «галилейская Россия» и «родной Иордан», то нельзя закрывать глаза на то, что здесь имеет место новозаветная, христианская символика: Галилея – область Палестины, где родился Христос (одно из его обозначений в Евангелии – Галилеянин); Иордан – река, в которой крестился Христос. Образы эти, как священные, стали достоянием культуры всех христианских народов, в том числе и русского: купание в Иордане – распространенный мотив народной поэзии, существует народный религиозный праздник Иордань и т. д. Неоднократно эти образы использовались в русской поэзии, например, в поэме С.Есенина «Иорданская голубица» (1918), в которой «новый день», возвещенный революцией, сопоставляется с крещением Христа. Таким образом, прямой смысл цитированных сорокинских стихов, содержание, которое вложено в них автором, ничего общего с сионизмом не имеют – уже хотя бы потому, что религиозная основа, на которую опирается сионистская идеология, – иудаизм, а не христианство. «Сионистское» прочтение стихов Сорокина основывается на аллюзиях, привнесенных из политической ситуации сегодняшнего дня. Авторы публикации исходили из прямого, непосредственного понимания текста Сорокина и, естественно, не предполагали возможности его переакцентированного толкования.

Для доказательства своей трактовки стихов Сорокина в заключении комиссии обильно цитируются и интерпретируются другие сти-

хи из сборника «Галилея», не воспроизведенные в «Ежегоднике» и лишь охарактеризованные суммарно: «Содержание его (сборника «Галилея») было достаточно отвлеченным и далеким от основных направлений советской поэзии 1920-х годов». На эту краткую, но ясно указывающую на чужеродность стихов Сорокина поэзии его эпохи характеристику в заключении комиссии не обращено внимания. В стихах Сорокина много библеизмов и вообще образов еврейской национальной культуры, однако едва ли необходимо напоминать, что они никак не сводимы к сионизму – воинствующе националистической агрессивной идеологии, смыкающейся с расизмом. Однако в заключениях комиссии налицо стремление во всех стихах Сорокина усматривать именно сионистский смысл. Такая же предвзятость отличает и характеристику жизненного пути Сорокина. Подчеркнуты всевозможные сомнительные моменты и фактически без внимания оставлены наиболее важные данные, характеризующие Сорокина как гражданина: то, что он в 1919 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии, что с 1922 г. работал в советской печати – в частности, заведовал редакцией «Библиотеки поэта», отделами прозы в журналах «Литературный современник» и «Звезда», был редактором в Военно-морском издательстве, а в 1945–1949 гг. – главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», что, наконец, во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом ТАСС в действующей армии (на Военно-Морском Флоте) и написал ряд произведений военно-патриотической тематики, переиздававшихся и после его смерти, в 1950-е годы. Предисловие к публикации критикуется за преобладание в нем «панегирических тонов» в характеристике Сорокина, однако в нем ни одно из произведений писателя не оценивается как значительное, а в примечаниях 16 и 18 говорится о критике, которую вызвали работы Сорокина. Один из упреков заключается в том, что в предисловии герой сорокинских «Примечаний к судьбе» уравнивается со Старцовым из романа Федина «Города и годы». Однако никакого уравнивания здесь нет: отмечены только черты сюжетного сходства повести Сорокина и одного из классических произведений советской литературы; в данном случае хотелось лишь указать на переключку тем у писателей большого и малого – нередкое явление в русской литературе XIX и XX вв.

В заключении комиссии содержатся критические замечания и по адресу других работ, подготовленных для «Ежегодника» при моем участии или лично мною. В частности, указывается на односторонне «панегирическую» оценку творческой деятельности Иванова-Разумника. Представление об Иванове-Разумнике как о «видном критике

неонароднического направления» разделяется и другими литературоведами – сошлось хотя бы на статью М.Г.Петровой «Эстетика позднего народничества», опубликованную в сборнике ИМЛИ «Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX в.» (1975). В то же время я указал на то, что многие идейно-эстетические концепции Иванова-Разумника не были приняты марксистской критикой, а также и М.Горьким («Ежегодник... на 1978 год», стр.24), но эти замечания оставлены комиссией без внимания. В более подробной своей работе об Иванове-Разумнике, посвященной его переписке с Блоком, я акцентирую внимание, естественно, прежде всего на том, что Иванов-Разумник непосредственно способствовал опубликованию революционных произведений Блока – «Двенадцати», «Скифов», «Интеллигенции и революции», что он был их первым истолкователем и пропагандистом, что сам поэт печатал эти произведения со вступительной статьей Иванова-Разумника. В то же время я отмечаю, что Иванов-Разумник, горячо принявший Октябрьскую революцию, не сумел принять созданной в результате революции новой государственности (Литературное наследство, т.92, кн.2, стр.380). Члены комиссии, заострив внимание на последнем обстоятельстве, предлагают выстраивать общее представление об Иванове-Разумнике на основании отдельных цитат из его неопубликованных писем 1920-х годов к Андрею Белому, в которых критически оценивается советская действительность; думается все же, что литературное наследие, оставленное Ивановым-Разумником, – более надежная основа для его объективной характеристики, чем фразы, извлеченные из частной переписки, относившейся к годам, когда критико-публицистическая деятельность Иванова-Разумника уже была позади, и не имевшие никакого общественного резонанса.

Порицаются также ссылки в «Ежегоднике» на зарубежные издания. Во всех случаях они даются лишь когда возникает необходимость использовать фактические данные или документальные материалы, в других источниках не зафиксированные. В частности, из книги Т.Пахмусс «Из переписки З.Н.Гиппиус» воспроизведены цитаты из писем А.В.Карташева к З.Гиппиус, в которых критикуется религиозная «община» Мережковского и Гиппиус за ее «келейность», догматизм и оторванность от жизни («Ежегодник... на 1978 год», стр.212-213).

Элемент предвзятости, критики ради критики присутствует и в пространном замечании, «разоблачающем» М.О.Гершензона, деятельность которого якобы пропагандируется в «Ежегоднике». Между тем, имя Гершензона упоминается всего два раза (стр. 54, 219)

вскользь, по совершенно конкретным поводам, не требовавшим дополнительных объяснений; вот один из этих контекстов: «В декабре 1917 г. Белый дважды читал в Москве доклад о поэзии Вячеслава Иванова – у М.О.Гершензона и у Б.П. и Н.А. Григоровых» (стр.54). Такой же служебный, непринципиальный характер имеет и упоминание философа Германа Когена (стр.35), также вызвавшее критику со стороны комиссии. Между тем эти имена, инкриминируемые как сомнительные и ненужные, широко упоминаются в нашей научной литературе.

Отнюдь не считаю работы, подготовленные мною единолично или при моем участии, свободными от недостатков и неуязвимыми для критики. В особенности не могу считать неуязвимой для такой критики публикацию писем Пастернака к Сорокину: в данном случае мне пришлось иметь дело с литературной эпохой, в которой я не могу считать себя достаточно компетентным специалистом, публикация эта остается на периферии моих исследовательских интересов, и действительно, она может быть несвободной от неверных оценок и неправильных акцентов. Однако тон, в котором ведется критика, имеет односторонний проработочный характер, система оценок и аргументов, к которой прибегают члены комиссии, характерна для ушедшей в прошлое эпохи в истории нашей науки. Подобной критике мог бы быть подвергнут не один «Ежегодник», но и десятки других историко-литературных изданий, определяющих лицо современной советской филологии.

26 июня 1982 г.

А.Лавров

Д.Ю.Гузевич, В.П.Петрановский
**«ВИРТУАЛЬНЫЙ» ГУМИЛЕВ,
ИЛИ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ**

...те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
Чьи имена звучат нам как призывы...
Н.Гумилев¹

Настоящая работа родилась в итоге многолетних дискуссий на темы, прикосновенные к литературоведению, но несколько выходящие за его границы. Мы придали ей диалогическую форму, чтобы донести до читателя дух наших споров. Вторая часть написана Дмитрием Гузевичем. Виталию Петрановскому принадлежат все реплики и комментарии к ней, а также часть первая².

1. «Виртуальный» Гумилев

Само слово «виртуальный» пришло в наш язык из научных текстов. Затем оно попало к авторам компьютерных программ, и в ито-

¹ *Гумилев Н.* Стихотворения и поэмы. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Академический проект, 2000. 736 с. (Новая библиотека поэта). С.180.

² В дальнейшем, соответственно, ДГ и ВП. ВП искренне благодарен администрации Maison des Sciences de l'Homme (Paris) за предоставленную возможность в течение четырех месяцев заниматься поиском материалов о Гумилеве в собраниях Франции. Тогда же в Париже и состоялось большинство наших дискуссий, продолженных и завершенных затем в течение месячного визита ДГ в Мексику. Следует также добавить, что долговременные совместные дискуссии привели к виртуальному взаимопроникновению мыслей соавторов в эти формально разделенные тексты.

ге появились «виртуальный мир» и «виртуальная реальность». Нынешние тинейджеры проводят немалое время в этом мире наедине с компьютером... Живи Льюис Кэрролл в XXI веке, он, видимо, написал бы книгу «Алиса в Заэкране». При прямом переводе «virtual» означает «фактический, действительный, являющийся чем-либо по существу, реально». И хотя сознание сопротивляется перенесению слова «истинный» на нечто такое, что «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать»³, виртуальная реальность – мир слов, идей, образов, или виртуальное пространство компьютерных программ, – несмотря на свою нематериальность, самым непосредственным образом на нас влияет...

Все те, «чьей мыслью мы теперь живем и дышим», составляют, в терминологии «Розы Мира» Даниила Андреева, Синклит – совокупность всех ушедших, но виртуально присутствующих в этой жизни своими творениями и действиями: Леонид под Фермопилами погиб и за нас...

Как это происходит? Как материализуются в нечто фактическое колебания воздуха от устной речи, типографские знаки на бумаге или электронные процессы в кремниевых кристаллах? Все то, что является Носителем Информации? Почему так страшна Правда (Информация истинная) и почему ее пытаются заменить Не-Правдой (Информацией ложной)? Наконец, о чем и как говорит с нами Гумилев?

Начать придется с одного события, произошедшего в конце советской эпохи. В апреле 1986 года на страницах журнала «Огонек» произошла замечательная виртуальная встреча. Встретились Поэт и Вождь – крупнейший Поэт Серебряного века и Вождь мирового пролетариата. Их имена давно уже были связаны в виртуальной реальности апокрифом о якобы посланной по просьбе Горького и якобы злостно задержанной Зиновьевым телеграмме с требованием отменить расстрел Гумилева. Обычный юбилейный ленинский номер (116 лет со дня рождения) с портретом юбиляра на обложке. Но когда читатель открывал журнал, на него смотрел, откинув руку с зажатой между пальцев папиросой, Николай Степанович Гумилев. Ему исполнилось 100 лет, и поэтому главный редактор В.Коротич поместил в номере фотографию поэта (работы М.С.Наппельбаума) и подборку стихов. Это стало началом новой эпохи.

Само событие – появление ранее запретных стихов в одном из главных официозов Советского Союза – снова породило апокриф о причине такого резкого поворота. Ведь в СССР стихи Гумилева из-

³ Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. С.333.

давались только Самиздатом. Все тот же Виталий Коротич рассказывал Евгению Евтушенко, как он был потрясен, «когда партийный крутой идеолог Егор Лигачев в своем цеховском кабинете с гордостью показал ему сафьяновый томик самиздатовского Гумилева»⁴.

Незадолго до выхода этого исторического номера «Огонька» Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев с женой посетили Ленинград. Это – единственный достоверный факт. Далее начинается зыбкая область изустной передачи сказанных кем-то где-то кому-то Слов...

По одной версии, Раиса Максимовна на вопрос о местах, которые ей хотелось бы посетить в Ленинграде, назвала музей известного поэта Гумилева. Немая сцена, последовавшая затем, как раз и обрушила запреты: все то, что так упорно сжигали, – стали печатать. Редколлегия «Библиотеки поэта» вспомнила, что еще со времен Горького в ее планах стоит сборник Гумилева, и стала срочно готовить том к изданию⁵. Издательства соревновались – кто быстрее опубликует его стихи. За несколько лет вышло несколько десятков изданий. Значит, была потребность и был широкий круг читателей-покупателей, хорошо знавших, *что именно* они покупают.

Падение СССР и спецхранов происходило одновременно с рождением Интернета, Всемирной Паутины. И в новой реальности Самиздат не умер, а скорее даже окреп (печатай что угодно). Только внешне переменялся: вместо пишущих машинок – клавиатура ком-

⁴ См. страничку в Интернете: <http://litera.ru/stixiya/articles/36.html>.

⁵ ВП: Интерес ДГ к возможному существованию случайно сохранившихся корректурных оттисков (см. далее) заставляет и меня спросить – не сохранилось ли у кого-нибудь экземпляра корректуры подготовленного еще в 1960-е томика в Малой серии Библиотеки поэта, набор которого был рассыпан уже после предпубликации нескольких стихотворений Гумилева из готовой книги в «Литературной газете»? Любая виртуальная информация будет принята с благодарностью (e-mail: vitalii@scmc.unam.mx). Рукописи, как известно, не горят.

Кстати, эта фраза, ставшая крылатой, получила совершенно неожиданно серьезное теоретическое подтверждение. В июле 2004 года известнейший космолог, специалист по «черным дырам» и популяризатор науки Стивен Хокинг сделал сенсационный доклад: внутреннее состояние «черной дыры» меняется в зависимости от конкретных характеристик частиц, которые ею поглощены. Информация, поглощаемая черными дырами вместе с материальными носителями, не исчезает (см. статью: Физики доказали, что рукописи не горят и даже в черной дыре бесследно не исчезают // <http://www.grani.ru/Society/Science/m.62251.html>, а также: <http://www.grani.ru/Society/Science/m.74320.html>). Возвращаясь к рукописям, остается добавить, что уже не раз мы были свидетелями чудесных находок рукописей, казалось бы, бесследно сгинувших в черных дырах спецархивов. Остается надеяться...

пьютера. Теперь прямо со своего рабочего места можно общаться с невообразимым ранее числом виртуальных собеседников.

Давайте посмотрим на Сеть, в которой сплелись воедино виртуальная Реальность с виртуальным Словом. Войдем в Интернет, запустим любую поисковую программу⁶ и наберем имя «Гумилев». Обилие ответов поначалу даже обескураживает...

Что вы найдете?

Например, Электронное собрание сочинений Н.Гумилева⁷. Или собрание его стихов в составе электронной библиотеки Мошкова⁸. Открывайте и читайте. Печатайте собственную книгу «Избранного», если хотите... А создателям этих собраний, посвящающим свое время бескорыстному донесению до конечного пользователя (читателя? собеседника?) этих страничек высокой Поэзии можно лишь выразить глубокую благодарность. Они поддерживают виртуальное Слово в виртуальной реальности глобальной Сети. Как правило, они молоды – в том самом возрасте, в котором мы с ДГ осваивали клавиатуру «Эрики», а о возможностях компьютеров читали в фантастических романах, – или чуть старше⁹, а значит, Слово Гумилева нужно и будет еще нужно им и их собеседникам и в этом, XXI веке.

⁶ Начиная с 1995, ВП время от времени совершал такой поиск. Наблюдается как рост числа документов в Сети, так и рост числа самих поисковых машин. Первый запрос в 1995 принес 74 ответа; в 2001 число таких документов исчислялось уже тысячами. Примеры результатов запроса среди «Stand Alone Search Engines»: <http://www.google.com/> – просмотрено 1.326.920.000 документов, найдено около 7400, содержащих слово «Гумилев»; <http://www.alltheweb.com/> – найдено 2957 документов. Можно посмотреть также: <http://www.northernlight.com/>, <http://www.yahoo.com/>, <http://www.excite.com/>, <http://www.lycos.com/>, <http://search.msn.com/>, <http://www.go.com/>, <http://home.netscape.com/>.

⁷ *Гумилев Николай*. Электронное собрание сочинений: Стихи (504); Пьесы (12); Проза (17); Статьи (24); Переводы (4); Письма (41); Биография (6); Фотографии (16); О Гумилеве... (25); Translations (63); Музыка на стихи (26); Каталог литературных ссылок (102); Гостевая книга; WWW-конференция; Все в zip-архивах; Библиография / Сост. и поддерж. стр. Акмау (Александр Курлов aka Акмау). 1997–2001. – <http://gumilev.aha.ru/>; То же: <http://gumilev.da.ru/>. 2002–2003: Стихи. Драматургия. Проза. Статьи. Переводы. Письма. Биография. О Гумилеве... Критика. Галерея. Голоса. Translations. Чужие стихи. Музыка на стихи. Форум. Гостевая книга. – <http://www.gumilev.ru/>.

⁸ См.: <http://www.Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. http://www.kulichki.com/moshkow/>. В этой библиотеке, открытой в 1994 и с тех пор ежедневно пополняемой самими читателями, один из почти полусотни разделов называется «Литературный журнал «САМИЗДАТ»». Жив, курилка!

⁹ К примеру, создателю электронного собрания сочинений Гумилева Александру Курлову 24 года. См.: <http://dev.iki.enter.ru/sav/index2.html>.

Еще в сети есть переводы (от английского¹⁰ до украинского¹¹). Здесь можно узнать, что найдены лекции Гумилева по теории поэзии¹², или прочитать о его смерти¹³. Однако самым интересным, пожалуй, фактом является огромное количество людей, которые просто используют стихи поэта в своей повседневной жизни. Создавая персональную страничку для коллег и друзей, они помечают и круг интересов. Или просто берут строки Гумилева эпиграфом к своей странице. Как Игорь Рошин, физик, работавший в 1997 в университете Висконсина: «Зачем Колумб Америку открыл? Н.Гумилев»¹⁴ – и все... Или Яна Рольник, помещая автобиографию, сообщает что ее любимые книги – стихи поэтов Серебряного века (Ахматовой, Гумилева, Пастернака)¹⁵.

Встречаются в сети сообщения о продаже картин – например, Лев Мешберг, «Памяти Гумилева» (1986), 200 x 100 см, оценена в 14 тысяч долларов; можно посмотреть на саму картину¹⁶.

Песня Владимира Щукина на стихотворение Гумилева «Жираф», с аккордами для умеющих играть на гитаре¹⁷. Заметка из «Los Ange-

¹⁰ См, например: The poetry lover's. Переводы Гумилева на английский / Transl. by Yevgeny Bonver. – <http://www.poetryloverspage.com/poets/gumilev/gumilev.html>).

¹¹ Ср.: «Твое чоло у звивах бронзи. / Твій гострий зір – немов стилет. / На честь твою багаттям бонзів / Палав задумливий Тібет. / Коли Тімур у смутній злобі / Народи гнав до їх мети, / Т и увійшла в пустелі Гобі / На грізно...» (*Микола Гумільов. Цариця / В перекладі Є.Чуприна. – www.poetry.uazone.net*).

¹² *Зобнин Ю.В.* Николай Гумилев – учитель поэзии: По материалам архива П.Н.Лукницкого в ИРЛИ. – <http://gumilev.aha.ru/about/zobnin.htm>.

¹³ «В 1997 г. я закончил филологический факультет, защитив диплом на тему “Смерть Н.С.Гумилева как литературный факт: Опыт историко-лингвистического анализа” (научный руководитель к.ф.н. Д.М.Фельдман). Попытки опубликовать работу в том или ином виде пока ни к чему не привели. Могу предложить ее вам (в полном или частичном виде; есть обширный раздел “Библиография” с редкими источниками разных лет, в основном эмигрантскими). Жду ответа. С уважением, Андрей Мирошкин (ныне сотрудник “Книжного обозрения”))» (см.: <http://gumilev.aha.ru/board/7.html>. From: Андрей Мирошкин. Subject: Смерть Гумилева как литературный факт). Или другая «справка»: «Поэт был расстрелян на одной из станций Ириновской железной дороги как один из 61 участника белогвардейского заговора, в том числе 13 женщин. Сохранился рассказ чекиста Боброва о подробностях расстрела («О расстреле Гумилева»). – <http://litera.ru/stixiya/articles/100.html>); ниже, во второй части этой статьи, ДГ приводит цитату из этого рассказа.

¹⁴ <http://www.physics.uiuc.edu/~igor/>.

¹⁵ <http://pages.nyu.edu:80/~yqr7855/index.htm>.

¹⁶ <http://www.artpalace.com/meshberg/LEME45.html>. В первый раз я ее обнаружил в 1996, но и в 2004 она все еще не куплена...

¹⁷ <http://lib.ru/lat/KSP/shukin.txt>.

les Times» с кратким конспектом лекции «Образы Африки в творчестве Н.Гумилева», прочитанной В.Ястремским в октябре 1997¹⁸. История, рассказанная Мариной Кулаковой, поэтом из Нижнего Новгорода, редактором электронного журнала «URBI», – о том, как в свое время фотограф, снимавший ее на зарубежный паспорт, попросил, по возможности, привезти из поездки книгу Гумилева...¹⁹

Наконец, в сети существует возможность прямого диалога. Откройте Электронное собрание сочинений Гумилева и зайдите на страницы «Гостевой книги» или «Форума»²⁰. Это тоже одна из виртуальных реальностей. Переписываются читатели Гумилева между собой. Вопросы задают, ответы получают, мнения высказывают. Вот, например:

Сто раз слышала «аргумент»: нужно его, хотя бы и вопреки правде, отодрать от собственной биографии, для того, чтобы его стихи издавали, а то ненароком в Лету канет... Подлость и глупость! Массовость чтения Гумилева в Самиздате была огромной.

Отлетевшая тень побеждает костер,
Не горят совершенные строки!

Люди Серебряного века стремились к структурированию биографий. Для Гумилева это было крайне важно. Гумилев поэт – единое целое с Гумилевым-человеком. <...> Елена Чудинова.²¹

Возможно, части всех этих страничек уже нет в сети – люди переезжают, меняют свои компьютерные адреса, но ведь в моем собрании многие из них сохранились в напечатанном виде – они были, как была полоска газетной бумаги с короткой запиской, показанная

¹⁸ <http://www.la.psu.edu/cla/news/oct97.html>.

¹⁹ <http://www.inforis.ru/n-nov/culture/art/urbi/poetry.html>.

²⁰ <http://www.gumilev.ru/main.phtml?cid=5000170>, <http://www.gumilev.ru/main.phtml?cid=5000081>.

Помню, в семидесятые, во время прогулок белыми ночами заходили мы в «дом Раскольникова» (угол Столярного и Средней Мещанской, 5/19). Поднимались наверх к чердачной камерке, дверь в которую была забита кривыми ржавыми гвоздями. Бывали мы там часто – можно было отдохнуть, сидя на подоконнике. А однажды обнаружили, что на эту дверь кто-то повесил общую тетрадь. И уже довольно много записей оказалось в этой «книге для посетителей». Мы там тоже что-то написали... А потом, через пару месяцев, исчезла тетрадь, как будто и не было. То ли кто-то в качестве сувенира унес, то ли дворник «ликвидировал беспорядок». Жалко, что не скопировал из этой тетради ничего, интересные записи были. Наученный опытом, сейчас копирую самые интересные записи в свой компьютер «на всякий случай» – вдруг веб-страничка закроется...

²¹ Там же. Сейчас проверил – Чудинова уже исчезла со странички, значит, осталась только в моем компьютере...

ДГ неизвестным в августе 1983 года в комнате ожидания Большого дома (об этом см. во второй части статьи). Их читали и другие, они изменили каким-то образом виртуальный мир.

Рискуя повториться, напомним, что общество, страна, культура живы, и будут жить, только пока поддерживается непрерывный «диалог с ушедшими», с Синклитом. Поиск показывает всю интенсивность существующего на сегодня диалога и живого участия Гумилева в нем. И если нынешние молодые продолжают читать гениальные стихи, то с нашей страной пока еще все в порядке, «дней связующая нить» не оборвана. Как пел нам когда-то Высоцкий, «значит, нужные книги ты в детстве читал».

Так обстоит дело ныне. А как оно обстояло в 60-е – 80-е годы XX века, когда основным носителем Информации была бумага, а основной множительной техникой – пишущая машинка? Мы жили в СССР, твердо знали, что Галич прав:

«Эрика» берет четыре копии: <...>
Этого достаточно...²²

и пытались сохранить одновременно Честь и Свободу. О том, как нам помогли в этом все те, «чьи имена звучат нам как призывы»²³, посвящена вторая часть этой статьи.

2. Аналитические воспоминания

Это будет странный и субъективный рассказ о виртуальном мире Слова как феномене человеческой цивилизации, существующем вне зависимости от нашего сознания. Он возник задолго до иероглифов – когда возникла человеческая речь, и когда первый художник начал выцарапывать на скале первый рисунок.

Но начнем с цитаты:

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки –
На равнины зияющий пах...²⁴

Мандельштам писал это в июле 1935, под впечатлением «психической атаки» офицеров-каппелевцев, показанной в фильме «Ча-

²² Здесь и далее стихи Галича, как и любые другие тексты, носителем которых являлась магнитофонная пленка, цитируются по памяти.

²³ Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. С.180.

²⁴ Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб.: Академический проект, 1995. 720 с. (Новая библиотека поэта). С.245.

паев»... Безнадежность чести и отваги перед чем-то неотвратимым, бесформенным, медленно поглощающим мир:

Что делать нам с убитостью равнин <...>?
И все растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Пространств несозданных Иуда?²⁵

Надежда Мандельштам утверждала, что первоначально было: «Народов будущих Иуда»²⁶. Быть может, это точнее. Но ужас перед неотвратимостью передают лучше именно «пространства несозданные».

Вот еще текст:

Можно было видеть, как зимою по снегу там (на Соловках. – ДГ.) ведут человека босиком в одном белье <...> с руками, связанными проволокою за спиной, – а осужденный гордо, прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. (По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов <...>).²⁷

Это уже Александр Солженицын.

Как и Мандельштам, он говорит после событий, закрепляя своим талантом виртуально-хрестоматийный образ офицера²⁸. А есть ли тексты, которые звучали во время событий и тем самым готовили будущие легенды? Есть. Вот:

Этот ваш Гумилев... нам, большевикам, это смешно, но, знаете, шикарно умер. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает...²⁹

²⁵ Там же. С.263.

²⁶ Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 1930–1937 // Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама: Воспоминания, материалы к биографии, «новые стихи», комментарии, исследования. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. С.282.

²⁷ Солженицын А. Собр. соч.: В 7 т. Т.6: Архипелаг ГУЛАГ: 1918–1956. Ч.3-4. Вермонт; Paris: YMCA-Press, 1980. С.43.

²⁸ ВП: Позже Борис Корнилов в посвященном Гумилеву стихотворении оттит: «Царскосельскому Киплингу / Пофартило сберечь / Офицерскую выправку...» (цит. по: «Закрыт нам путь проверенных орбит...»: Возвращение поэзии / Сост., вступит. ст., подгот. текста и примеч. С.М.Пинаева. М.: Ун-т дружбы народов, 1990. С.374).

²⁹ Крейд В. Загадка смерти Гумилева // Стрелец. 1989. №3(63). С.313. О том, что Гумилев улыбался в лицо расстрельщикам, см. также у Ю.Анненкова: «...позже стало известно, что Гумилев на допросе открыто назвал себя монар-

Слова принадлежат «футуристу и кокаинисту, близкому к ВЧК», С.Боброву. Были сказаны другу Гумилева – Михаилу Лозинскому, а до мира дошли в передаче Георгия Иванова. Не тот ли это постсимволист Сергей Бобров, который в 1912–1913 являлся пропагандистом творчества Иннокентия Анненского, а в 1921 ожесточенно напал на Блока, чьи подделки и мистификации в свое время дурачили пушкинистов?³⁰ Если «да», то лишь прикосновением к великим именам он обеспечил себе существование в виде тени в виртуальном мире Слова³¹.

хистом и что он встретил расстрельщиков улыбаясь» (*Анненков Ю.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Т.1. М.: Худ. лит., 1991. С.110).

ВП: В воспоминаниях о Гумилеве, передававшихся долгое время только устно и восходящих к свидетельствам самих расстрельщиков, стойкость и мужество поэта перед лицом неминуемой смерти звучали лейтмотивом. Рассказ актрисы Д.Слепян: «Через много лет я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет (он был директором театра), который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого конца» (*Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост. Ю.В.Зобнин, В.П.Петрановский, А.К.Станюкович. Л.: Изд-во Международ. фонда истории науки, 1991. С.198.* Брошенный на культуру «литературовед из железных ворот ГПУ» перед своим неминуемым концом в репрессиях 1930-х успел поведать об одном из своих деяний... Или свидетельство О.Мочаловой: «Ходили противоречивые слухи о заговоре Таганцева, об участии в нем Гумилева, о случайности его ареста. Не было только противоречий в суждениях об исключительной мужественности Н<иколая> С<тепановича> при всех обстоятельствах» (Там же. С.112). Видно, и впрямь его поведение во время казни было незаурядным, если выдавшие виды палачи рассказывали об этом со своеобразным уважением. Один из многочисленных вариантов апокрифа о последних минутах Гумилева поведала В.Петрановскому Е.К.Лившиц. По ее версии, один из бывших чекистов рассказывал, что «Гумилев попросил папироску, докурил спокойно... жаль, что не с нами он был... нам бы таких...» (Неавторизованная запись рассказа. Собрание В.Петрановского).

³⁰ О вольном вторжении мистификаторов в виртуальную реальность существует обширная литература, см. в частности: *Смирнов И.П.* О подделках А.И.Сулакадзевым древнерусских памятников: Место мистификации в истории культуры // Труды отдела древнерусской литературы. Т.34: Куликовская битва и подъем национального самосознания. Л.: Наука, 1979. С.204; Александр Блок: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1982–1987. Кн.3. С.408, 822–823; Кн.4. С.755. (Лит. наследство. Т.92); *Тименчик Р.Д.* Поэзия И.Анненского в читательской среде 1910-х гг. // А.Блок и его окружение: Блоковский сборник. №6. Тарту, 1985. С.101–116. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып.680); Письма С.П.Боброва к Андрею Белому: 1901–1912 / Вступит. ст., публ. и коммент. К.Ю.Постоутенко, 1992 / Лица: Биографический альманах. Т.1. М.; СПб.: Феникс–Atheneum, 1992. С.113–169.

³¹ *ВП:* Следует добавить, что С.П.Бобров, статистик и математик по образованию, в 1930-е был сослан, а после реабилитации имел возможность издавать

Это что, случайное совпадение? Или простая обыденность, правда жизни офицера³² и поэта?

Когда мы, мальчишки, интересовались судьбой Гумилева, из уст в уста передавалась одна легенда. Я не знаю ее происхождения. Может быть, это из чьих-то воспоминаний. Время стерло детали, но я постараюсь передать ее так, как сохранила память. Легенда гласила, что после ареста Гумилева больной, умиравший Блок написал письмо Горькому, умоляя о помощи. Горький не очень рвался в спасители. Но под таким давлением обратился к Ленину³³. От вождя мирового пролетариата в питерскую ЧК пришло указание (телеграмма?) сохранить жизнь «поэту Гумилеву».

Вообще, требования Ильича о помиловании в Питер регулярно запаздывали. Ну, никак не успевали к сроку (или наоборот, приходили как раз тогда, когда это требовалось?). Вот что пишет доктор

лишь научно-популярные книжки для школьников по математике. Активно участвовал в стиховедческом семинаре Колмогорова в 1960-е и свою страсть к Пушкину реализовал в статье (см.: *Бобров С.П.* Опыт изучения вольного стиха пушкинских «Песен западных славян» // Теория вероятностей и ее применения. 1964. Т.9, №2. С.262-272), спровоцировавшей разносную рецензию «Пушкин на диагонали» в газете «Правда»... Об этом см.: *Успенский Вл. А.* Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова // Новое литературное обозрение. 1997. №24. С.141-142.

³² ВП: Об армейской службе Гумилева воспоминаний удалось выявить относительно немного, что легко понять – из военных склонны писать мемуары лишь генералы, а Гумилев воевал на передовой. Из выявленных свидетельств сослуживцев явствует, что «Гумилев был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два (Георгиевских. – ВП) креста» (Жизнь Николая Гумилева... С.90). Другой эпизод, и опять с папирсой: «Однажды, идя в расположение 4-го эскадрона по открытому месту, шт<аб>-ротмистры Шахназаров и Посажной и прапорщик Гумилев были неожиданно обстреляны с другого берега Двины немецким пулеметом. Шахназаров и Посажной быстро спрыгнули в окоп. Гумилев же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папироску, бравидуя своим спокойствием. Закурив папироску, он затем тоже спрыгнул с опасного места в окоп, где командующий эскадроном Шахназаров сильно разнес его за ненужную в подобной обстановке храбрость – стоять без цели на открытом месте под неприятельскими пулями» (Там же. С.93).

³³ ВП: Легенда о попытках вызвать заступничество Вождя мирового пролетариата широко известна. В ее основе лежат реальные события, подробно изложенные в ст.: *Петрановский В., Зобнин Ю.* Поэт и Вождь // Смена (Л.). 1990. №194(19644), 24 августа. С.4. Что же касается участия Блока в попытке спасти Гумилева, то это деталь, привнесенная при очередной передаче мифа одним из поклонников Блока. Гумилева арестовали в ночь со 2 на 3 августа; Блок умер 7 августа, поэтому, по понятным причинам, участвовать в событиях не мог.

И. Манухин, хлопотавший в 1918 через Горького за четырех арестованных великих князей: «“Ленин и в этот раз его (Горького. – ДГ) просьбу исполнить согласился”, но официальное сообщение об этом в Петроград опоздало: питерская ЧК уже успела расстрелять четырех великих князей»³⁴. А может, это просто игра такая? Что касается Горького, то он многих спас в эти годы, и, возможно, тем самым – свою бессмертную душу. Такое должно быть зачтено, несмотря на его последующую жизнь.

В этот раз телеграмма пришла в последний момент: то ли когда заключенных собрали в тюремном дворе для отправки на расстрел, то ли уже когда привезли на место³⁵. «Кто здесь поэт Гумилев? – задал вопрос чекист, командовавший всем действием, – шаг вперед». Молчание. Вопрос повторен. «Нет поэта Гумилева, есть офицер Гумилев», – звучит дерзкий и спокойный ответ. «Ну что ж, тогда оставайтесь там, где находитесь».

Легенда сия блестяще отражает тот образ, который остался в памяти людей, несмотря на саму запретность имени поэта³⁶. И не случайно, ибо перед нами вполне реальный персонаж виртуального мира Слова, существующего независимо от нас.

Вот уже 7512 лет известно, что «В начале было Слово, И Слово было у Бога, И слово было Бог», хотя и дошло до нас в несколько более поздней передаче евангелиста Иоанна³⁷.

Но если это правда – то не вся. Ибо Слово было и потом тоже. И Слово было и будет в конце. А язык, на котором оно произнесено, значения не имеет, ибо звучит до сих пор стих египетского поэта:

Мудрые писцы <...>
Их имена сохранятся навеки.
Они ушли, завершив свое время,
Позабыты все их близкие.
Они не строили себе пирамид из меди,
И надгробий из бронзы <...>

³⁴ *Иоффе Г.* Кремль и Ипатьевский дом // Новый журнал. Кн.208. С.240-241 (перепеч. из: Новый журнал. 1958. Кн.54. С.115).

³⁵ *ВИ:* Каков миф! Телеграмму доставили прямо на расстрельный полигон! Прямо, как к эшафоту Достоевского... Вера в «доброе царя и злых сановников» трансформировалась в веру в «доброе Ленина и злых помощников» и прекрасно сохранилась до последних времен.

³⁶ Имя действительно было вне закона. О том, что в 1930-е – 1940-е происходило «с людьми, увлекавшимися запретной поэзией Есенина или Гумилева», писал еще в 1951 В.Бондаренко (*Бондаренко В.* Заметки о высшей школе в СССР // Новый журнал. 1951. Кн.25. С.241).

³⁷ Иоанн I: 1.

Они ушли,
Имена их исчезли вместе с ними,
Но писания заставляют
Вспомнить их.³⁸

Кто возьмется утверждать, что этот стих был расшифрован лишь в наше время, а не звучал тысячелетия, если его слышали и повторяли?

Гораций:

Создан памятник мною. Он вековечнее
Меди, и пирамид выше он царственных.³⁹

Державин:

Я памятник воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид...⁴⁰

Пушкин:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...⁴¹

Да еще прямые переводчики: Ломоносов, Ахматова... Утверждающий обратное подобен глухому, заявляющему, что звука нет.

Перед нами факт истории цивилизации. Даже если он противоречит положениям исторического материализма⁴². Надо просто уметь слушать.

На русском древний поэт говорит устами Ахматовой:

Человек угасает, тело его становится прахом, <...>
Но писания заставляют вспоминать его,
Устами тех, кто передает это в уста других.⁴³

³⁸ Лирика древнего Египта / Пер. с егип. А.Ахматовой и В.Потаповой. М.: Худ. лит., 1965. 159 с. С.89-93.

³⁹ Ср.: «Egegi monumentum aere perennius / Regalique situ pyramidum altius» (Кн.3, ода 30). Цит. по: *Horace. Odes et Épodes*. Т.1. Paris: Les Belles lettres, 1991. P.148-149.

⁴⁰ Державин Г.Р. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. С.233.

⁴¹ Пушкин А.С. Сочинения / Ред. текста и коммент. М.А.Цявловского и С.М.Петрова. М., 1949. С.201.

⁴² ВП: Отсутствие непосредственных взаимовлияний дает возможность яснее увидеть характерные тенденции времени, сходные реакции разных поэтов на сходные проблемы, которые ставили перед ними жизнь и эпоха. Сравнительный анализ таких «переключек во времени и пространстве» позволяет прояснить некоторые темные места анализируемых текстов. Такая «подсознательная общность творцов» замечена давно, и даже механизм был предложен – взаимопонимание через океан Мировой Души (Anima Mundi), омывающий души поэтов; из него они черпают общие образы и символы. И хотя эта модель не выдерживает критики позитивистской науки, лучшей пока не предложено.

⁴³ Лирика древнего Египта. С.92.

Так и переходят слова из уст в уста, так и живут они в виртуальном, фантастическом мире, меняя имена и обличья, как в догугтенберговскую эпоху:

Мой щегол, я голову закинул –
 Поглядим на мир вдвоем...
 Зимний день, колючий, как мякина,
 Так ли жестк в зрачке твоём?
 Хвостик лодкой, перья черно-желты,
 Ниже клюва в краску влит...
 Сознаешь ли, до чего щегол ты,
 До чего ты щегловит!

Если вы думаете, что это Осип Мандельштам, то глубоко ошибаетесь. Эти стихи были найдены в записной книжке Всеволода Багрицкого и опубликованы под его именем в первом издании сборника «Имена на поверке»⁴⁴. Можно, конечно, все приписать невежеству составителя – Сергея Наровчатова, тем более что ни в одном из последующих изданий⁴⁵ не появлялись не только эти строчки, но и какие-либо объяснения по поводу их исчезновения.⁴⁶

⁴⁴ Имена на поверке: Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны / Сост. и ред. С.Наровчатова. М.: Молодая гвардия, 1963. С.26.

⁴⁵ См., например: *Багрицкий Вс.* Дневники, письма, стихи / Сост. и подгот. к печ. Л.Г.Багрицкой и Е.Г.Боннэр. М.: Сов. писатель, 1964. 123 с.; Имена на поверке: Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны / Сост. и ред. С.Наровчатова. 2-е изд., доп. и испр. М.: Молодая гвардия, 1965. С.26-36; То же. М., 1965. <Мурманск>: Мурманское кн. изд-во, 1966. С.19-28; То же / Сост. Д.Ковалев. <3-е изд.>. М.: Молодая гвардия, 1975. С.2-42; Строки, добытые в боях: Поэзия военного поколения / Сост. Л.Лазарев. М.: Детская литература, 1973. С.37-40; Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне / Предисл. А.Суркова; Вступит. ст. В.Кардина; Сост., подгот. текста, биогр. справки и примеч. В.Кардина и И.Усок. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. С.62-73. (Библиотека поэта. Большая серия).

⁴⁶ *ВП*: Чужие стихи в блокноте без указания авторства – вещь опасная. Рассказывает Лидия Чуковская: «...стихотворец Василий Журавлев принял одно стихотворение Ахматовой за свое собственное. И не какое-нибудь, а знаменитейшее “Перед весной бывают дни такие...”. Ну там, где “А песню ту, что прежде надоела, / Как новую, с волнением поешь...” Слегка подпортив, он тиснул стихи в четвертом номере журнала “Октябрь”. За сим последовала насмешливая реплика в “Известиях” (17 апреля 1965 г.). Оправдываясь, Журавлев разъяснял, что в своем фронтовом архиве он обнаружил эти стихи и принял их за свои... (Видимо, так и было; и это свидетельствует не только о плохой памяти В.Журавлева, но и о широком хождении стихотворений Ахматовой в списках. – *ВП*). На месте начальства я, после этого эпизода, разогнала бы всю редакцию» (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т.3. М., 1997. С.278-279). История эта получила вполне мифическое завершение: Высоцкий эпиграфом к песне

Но так ли все просто? Вспомним, что книга фронтовых стихов, сама по себе ставшая потрясением, прорывается к людям в 1963, когда Мандельштам еще почти запрещен. Но именно его словами говорит мертвый Багрицкий, навечно входя в историю русской поэзии.

Из уст – в уста. Как и три тысячи лет назад.

Стихотворение Мандельштама датировано 9–27 декабря 1936⁴⁷. В блокноте Багрицкого он появляется летом 38-го, когда автор уже был в лагере, а *Слово* жило своей, независимой жизнью. Да и знал ли молодой Багрицкий, кому принадлежат стихи? Может, и знал. Любопытно, что были записаны лишь две первых, логически завершенных строфы⁴⁸. Без третьей как бы можно и обойтись. Это что же, переходя из уст в уста, Слово оттачивает себя и совершенствуется?

Не знаю, много ли стихов Всеволода Багрицкого сохранят его имя в виртуальном мире Слова, куда он попал благодаря своей трагической гибели – гибели Поэта. Но как *Хранитель* он останется там навечно. Как тут не вспомнить Толкиена: в Валинор, на заокраинный запад в вечную жизнь уходят Хранители Кольца. А в нашем мире уходят Хранители Слова...

Перед нами не просто невежество, а прорыв виртуального мира в наш, обыденный. Просто орудием этого прорыва послужило *Незнание* составителя, который оказался очарован написанным *Словом* и допустил его *Тиснение*. Однако надо еще иметь способность быть *очарованным*.

А вот еще один, едва ли не более удивительный пример такого прорыва. Позволю себе процитировать текст целиком:

О ДАМАХ ПРОШЛЫХ ВРЕМЕН

Скажите, где, в какой стране,
 Прекрасная римлянка Флора,
 Архипиада... где оне,
 Те сестры прелестью убора;
 Где Эхо, гулом разговора
 Тревожащее лоно рек,
 Чье сердце билось слишком скоро?
 Но где же прошлогодний снег!
 И Элоиза где, вдвойне
 Разумная в течение спора?
 Служа ей, Абельяр вполне

поставил будто бы ответную реплику Журавлева: «Да чего она обижается? Пусть моих хоть 10 возьмет».

⁴⁷ См.: *Мандельштам О.* Полн. собр. стихотворений. С.252.

⁴⁸ См.: Имена на поверке. С.26.

Познал любовь и боль позора.
Где королева, для которой
Лишили Буридана нег
И в Сену бросили, как вора?
Но где же прошлогодний снег!
Где Бланш, лилея по весне,
Что пела нежно, как Аврора;
Алиса... о скажите мне,
Где дамы Мэна иль Бигорра?
Где Жанна, воин без укора,
В Руане кончившая век?
О дева горного Собора!..
Но где же прошлогодний снег!

П о с л а н и е

О принц, с бегущим веком ссора
Напрасна: жалок человек;
И пусть вам не туманит взора:
«Но где же прошлогодний снег».

Читатель, ждущий подвоха, может успокоиться: с его памятью все в порядке. Это Франсуа Вийон. Но чьими устами он с нами говорит по-русски?

В 1938 издательство «Художественная литература» выпустило антологию «Поэты французского Возрождения», автором перевода в ней назван Мандельштам⁴⁹. Антология была сдана в набор 21 сентября 1937 и подписана к печати 15 января 1938⁵⁰, когда поэт еще был на свободе, вернувшись из своей воронежской ссылки. И все же мы не знаем, было ли включение переводов опального, хотя пока и свободного поэта явлением обыденным, или потребовало от редактора В.М.Блюменфельда определенного гражданского мужества.

В начале века Мандельштам обучался в Париже. А пожив здесь, с неизбежностью начинаешь болеть стихами одного парижского поэта (поэтическая судьба Эренбурга тому примером). Имя ему – François Villon, и он, безусловно, одно из воплощений *genius loci* этого города. По прошествии трех десятилетий Мандельштам сможет опубликовать своего Вийона⁵¹.

⁴⁹ За подписью Мандельштама в книге были также приведены переводы строф XXXVI – XLI из «Большого завещания» Вийона. См.: Поэты французского Возрождения: Антология / Ред. и вступит. ст. В.М.Блюменфельда. Л.: Худ. лит., 1938. С.33-36, 296.

⁵⁰ Там же. С.304.

⁵¹ Любопытно, что в этой же антологии опубликует и свои первые «вийоновские» переводы 1915 года Илья Эренбург (Там же. С.35, 37-48).

Пока все нормально. Для того, чтобы оценить эту ситуацию как фантазмагорическую, понадобится еще три десятилетия. 1968-й. В издательстве «Прогресс» в Москве выходит книга «Зарубежная поэзия в русских переводах», где появляется – о чудо! – тогда совершенно запретный Николай Гумилев⁵². Ефим Эткинд описал, как переводы Гумилева (из Теофиля Готье) были выкинуты из уже сверстанной двуязычной антологии «Французские стихи в переводе русских поэтов», которая готовилась тогда же и в том же издательстве. Не остановились даже перед расходами на переверстку⁵³. Повидимому, с этим связано и то, что сам сборник вышел на год позднее, в 1969 (Теофиль Готье в нем представлен переводами В.Бенедиктова и В.Брюсова)⁵⁴. Интересно, не сохранился ли хотя бы один корректурный оттиск первой верстки с переводами Гумилева? Чем не виртуальное событие?

Однако вернемся к сборнику 1968 года, где помещены два переклада Гумилева: «Загробное кокетство» Теофиля Готье и «Баллада “О дамах прошлых времен”» Франсуа Вийона. Переводчик, повидимому, также влюбился в тексты Вийона в Париже, где он был одновременно с Мандельштамом и где оба поэта, похоже, и познакомились. Все бы ничего, если бы переводы Гумилева и Мандельштама не совпадали с точностью до запятых⁵⁵.

Итак, перед нами снова виртуальный мир слова, в котором уже давно независимо от своих создателей живут тексты, меняя имена и обличья⁵⁶.

⁵² Зарубежная поэзия в русских переводах: От Ломоносова до наших дней / Сост. и ред. Е.Винокуров, Л.Гинзбург. М.: Прогресс, 1968. С.242-245.

⁵³ Эткинд Е. Возвращение Гумилева // Время и мы. 1986. №90. С.123.

⁵⁴ См.: Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв.: На франц. и рус. яз. / Сост., вступит. ст. и коммент. Е.Эткинда. М.: Прогресс, 1969. 614 с.

⁵⁵ Помимо включения слова «Баллада» в заголовок перевода 1968 года, имеются такие отличия: последняя строка второй строфы в переводе 1938 года заканчивается восклицательным знаком, а у Гумилева – вопросительным; последняя строка всего стихотворения в первом случае заканчивается кавычками и точкой, а во втором – восклицательным знаком и кавычками; последняя строфа («Епвои») в первом случае названа «Посылка», во втором – «Послание» (см.: Там же. С.35-36; 25, 242-243).

⁵⁶ У Сергея Снегова есть любопытный рассказ, в котором автор попытался средствами научной фантастики описать физические корни этого мира (см.: Снегов С. Умершие живут // Тайна всех тайн. Л.: Лениздат, 1971. С.421-443). Вряд ли эти корни существуют, но тот факт, что из трех примеров поэзию представлял опять Вийон, – вряд ли случаен. Просто он в этом мире занимает большое место.

Эту историю я описал так, как она сложилась у меня в голове более четверти века назад, в студенческие годы, когда я «болел» стихами Франсуа Вийона, собирая и сравнивая все, что было издано. Когда она уже была записана и отослана «в край неблизкий» – в Мексику, я имел удовольствие в июне 1998 общаться в Париже с Павлом Нерлером (Поляном) – одним из ведущих современных «мандельштамоведов». Он немного поубавил мне спеси, сообщив, что мое открытие четвертьвековой давности в литературоведении известно и без меня. И что оба перевода («О дамах прошлых времен» и строфы из «Большого завещания») принадлежат Гумилеву и впервые были опубликованы в журнале «Аполлон»⁵⁷. Но имя Гумилева было запретным, и редактор назвал другого переводчика. Проживая в Калининe и наезжая в Москву полуподпольным образом, Мандельштам, по мнению Нерлера, мог не знать об этом и даже не увидеть самого сборника, тем более, что последние два месяца перед арестом провел в доме отдыха.

И все-таки странно, что был выбран опальный переводчик⁵⁸. Книга, выпущенная порядочным тиражом (10300 экземпляров), могла продаваться и в Калининe. Подменяя имена, редактор В.М.Блюменфельд либо заранее договорился с Мандельштамом, либо был априорно уверен в том, что со стороны поэта, который случайно увидит под своим именем чужие стихи, не последует возражений, каковые были бы смертельно (в полном смысле слова) опасны для Блюменфельда.

Шутка сказать: протащить в печать стихи расстрелянного контрреволюционера, пойдя для этого на подлог! Люди исчезали и за куда меньшие преступления. Но, в случае согласия, рисковал и Мандельштам. К тому же текст уже был один раз опубликован, а значит, подмена могла быть обнаружена литературоведами из ГПУ. Хотя, конечно, всегда остается шанс случайности, когда орудием *провидения* выступает *незнание*.

Еще штрих, весьма прозаический: за публикацию перевода Мандельштам должен был получить гонорар. Не сохранилось ли в архивах издательства платежных ведомостей за 1937–1938? Они расскажут, участвовал ли Осип Эмильевич в подмене имен либо нет. Кстати, а какие публикации были у него (и были ли?) между январем и маем 1938? Или этот текст трех поэтов оказался последним, как Реквием? «Скажите, где, в какой стране...»

⁵⁷ Гумилевские переводы Вийона «Аполлон» поместил в №4 за 1913.

⁵⁸ ВП: Почему странно? Мандельштам сам отдал дань Вийону, писал о нем, и обман, по логике вещей, не должен был быть замечен.

Фантасмагория какая-то. Расстрелянный Гумилев прорывается к людям в 38-м смертельном году. Он успевает прокричать стихи устами Мандельштама. И вскоре вместе с ним опять уходит в небытие, как ушел за полтысячелетия до них, чудом избежав виселицы, и сам парижский поэт. Четыре его *последних* строки полны насмешливого превосходства над смертью:

Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея⁵⁹.

Тут невольно вспоминается последняя папироса, неспешно выкуренная офицером перед расстрелом...

Стихи Виньона переходили из уст в уста, пока книгопечатание не пришло в этот мир. До Франции оно добралось в 1470, через семь лет после исчезновения поэта. Но именно его тексты составили первую книгу французской лирики (1489)⁶⁰. Однако еще в 1533, готовя лучшую по тому времени книгу Вийона, Клеман Маро пользовался разными вариантами. Слово, сказанное парижским поэтом, давно перешло в виртуальный мир.

Однако вернемся к публикации Гумилева – Мандельштама. Перед нами Зазеркалье, в котором действия меняют свои знаки: акт мужества (и Редактора, и Поэта) рядится в оболочку вульгарного плагиата. И не важно, было ли согласие Мандельштама реальным или возможным. Дело сделано, а мир Зазеркалья оказался виртуальным миром Слова:

Слово останется, Слово осталось,
Не к слову, а к телу приходит усталость.⁶¹

⁵⁹ Перевод И.Эренбурга. Публиковалось многократно, см. например: *Вийон Франсуа. Стихи* / Пер. Ф.Мендельсона, И.Эренбурга. М.: Художественная литература, 1963.

⁶⁰ См.: *Clair C. A history of European printing*. London; New-York; San Francisco: Academic Press, 1976. P.433-434.

⁶¹ Писал, как и все предыдущее, по памяти, с магнитофонных пленок. При проверке по имеющимся под рукой двум сборникам Александра Галича с удивлением обнаружил иной текст этих стихов, посвященных Мандельштаму: «Не к слову, а к сердцу приходит усталость...» (*Галич А. Возвращение: Стихи, письма, воспоминания*. Л.: Музыка, 1990. С.71; *Он же. Избранные стихотворения*. М.: Изд-во АПН, 1989. С.179). И все же исправлять не стал, ибо странная вещь – устное Слово. Оно уж совсем неуловимо. И ведь если где-нибудь есть хоть одна магнитофонная пленка, где голос Галича поет «Не к слову, а к телу приходит усталость...» – так, как осталось в моей памяти, то сколько бы книг ни было напечатано, и даже сколько бы рукописей ни нашлось, этот вариант для меня навсегда останется правильным, точнее одним из них.

Гумилев в этот мир попал в первые же дни после своей физической гибели: шел спектакль по его пьесе «Гондла»⁶², и восторженные крики зала «Автора на сцену» были ближе к языческому вызыванию духа, существующего в ином мире, чем к печальному реквиему по ушедшему навсегда. Но они же предписали и смертный приговор спектаклю.

Впрочем, ничто не ново под луной. Вечером 19 октября 1739 лиссабонский театр давал оперетту поэта Антонио Хозе да Сильва – португальского марана и тайного иудея, сожженного инквизицией утром этого же дня. Несмотря на то, что имя его стало запретным на много десятилетий, стихи и драмы продолжали выходить, но... анонимно⁶³. Чтобы быть узнаваемым в виртуальном мире Слова, имя требуется далеко не всегда.

Виртуальным может быть устное слово, текст, образ⁶⁴, имя. А может быть и безыменье:

Мечтала здесь задумчивая Анна
И с ней поэт изысканный и странный, –
Как горестно и рано он погиб!..

писал о Царском Селе Э.Голлербах⁶⁵. Причем не только писал, но и опубликовал в Петрограде в январе 1922 в книге «Царское Село

⁶² ВП: Об этой постановке вспоминали Ю.Анненков и актриса Г.Хайджиева (см.: Жизнь Николая Гумилева... С.140, 203). О снятии спектакля работниками ВЧК см. комментарии к указанным воспоминаниям (Там же).

⁶³ См.: Сильва Антонио Хозе, да // Еврейская энциклопедия: <В 16 т.> Т.14. СПб: Об-во для научных еврейских изданий и Изд-во Брокгауз и Ефрон, <1913>. С.215.

⁶⁴ Пример виртуального образа: мальчишкой я видел на брандмауэре здания, что на углу Старо-Невского и Суворовского, афишу фильма «Жанна д'Арк». Я долгие годы ждал и ждал и везде искал этот фильм, но он так и не вышел. Потом я понял, что видел на афише кадр из фильма «Начало». Прошло много лет, и теперь я уже не знаю: была ли афиша наяву или я ее придумал после фильма. Но брандмауэр с фигурой Жанны д'Арк в латах я помню хорошо и сейчас. И до сих пор осталось сожаление о нереализовавшейся возможности фильма о Жанне д'Арк с Чуриковой в главной роли. А возможность такая, поговаривали, была.

ВП: Да нет, была афиша, была. И я ее видел. Фильма «Жанна Д'Арк» не было, не существовало. Только внутри фильма «Начало». А афиша его была. Настоящий антипод к реальности снов «Рукописи, найденной в Сарагоссе». Тогда был мой первый курс, причем осенью, в самом начале. После моего родного Житомира я бродил по Питеру ошалелый. И мне казалось, что здесь так и должно быть, и это просто колорит такой – на каждом углу то Жанна д'Арк, то еше что-то...

⁶⁵ Голлербах Э. Город муз: Царское Село в поэзии / Вступит. очерк Е.Голлербаха. СПб: Арт-люкс, 1993. 224 с. (Петербургская антология. Вып. 3). С.222.

в поэзии» – через четыре с половиной месяца после гибели Поэта⁶⁶.

Имени здесь нет. Есть лишь Голос, лишь звук⁶⁷ давно прочитанных стихов:

В шуршании широкошумных лип
Мне слышится его тягучий голос,
И скорбных галок неумолчный скрип
Твердит о том, что сердце расколосось.⁶⁸

Это не мистика. Это – реалии, знакомые каждому, кто слышал и слушал Поэтов. Возьмите томик стихов Высоцкого, Окуджавы или Галича. Начните читать. И... чей голос будет звучать в ваших ушах? Если ваш собственный, то отоларинголог здесь бессилён.

Другой вопрос, что не каждому дано через «скрип галок» и шуршание листвы сохранить и донести до людей чужой голос. На это особый талант нужен. Роль посредника, медиатора не менее важна, но всегда неблагодарнее роли творца. Ибо посредник остается в памяти постольку, поскольку несет чужие звуки, чужое Слово.

Сохрани мою речь навсегда...⁶⁹

К сожалению, умение слышать – Божий дар, к законам этики не имеющий отношения. Потому силы, глухота которых, в свою очередь, другой Божий дар человечеству, всегда находят тех, кто в состоянии услышать и готов донести (не кому-то, а на кого-то, и куда – известно). По-своему тоже посредники («второго рода»).

По счастью, стихи Голлербаха, опубликованные тиражом 1000 экземпляров, до этих ушей не дошли, как не дошел и «отрывок из повести» Евгения Замятина «Все», опубликованный в февральско-мартовском номере (№2/3) «Вестника литературы» за 1922. Этим

⁶⁶ Там же. С.219.

⁶⁷ ВП: «И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест шагов...» – это Ахматова о Пушкине (Ахматова А. Я – голос ваш... М.: Книжная палата, 1989. (Популярная б-ка). С.22). Кстати, «Канцона» из сборника «Колчан» в исполнении самого Николая Гумилева была записана на гибкую пластинку в журнале «Кругозор» (1989. №12). Оригинал записи был сделан на фонограф в Петроградском «Институте живого слова» 11 февраля 1920, и хранился тот валик... Бог его знает, как он хранился и сохранился. Качество записи, увы, оставляет желать лучшего – но в то же время «...еле слышный шелест...». Чтобы услышать Голос – откройте <http://www.gumilev.ru/>, кликните в «Содержании» на «Голоса», а затем на «Канцона» (Н.Гумилев). Еще там есть его стихи и в исполнении Евгения Евтушенко и Андрея Смолякова.

⁶⁸ Голлербах Э. Город муз: Царское Село в поэзии. С.222.

⁶⁹ Цит. по сб.: «Сохрани мою речь...». №2 / Сост. О.Лекманов, П.Нерлер. М.: Книжный сад, 1993. (Мандельштамовское об-во. Т.4). С.10.

текстом Замятин отметил полугодие гибели Гумилева⁷⁰. Не был «услышан» и другой текст Голлербаха, опубликованный в 1927 тиражом 300 экземпляров. Мы имеем в виду первое издание книги «Город муз». Безыменье и малый тираж пока еще спасали; книга попала лишь к тем, кто не только слышал, но и молчал.

Пройдет три года, и переработанная книга выйдет вновь, уже бóльшим тиражом⁷¹. В ней будут едва ли не самые поэтические пассажи, когда-либо посвящавшиеся Гумилеву. Причем Голлербах умудрится ни разу не назвать этой фамилии в тексте⁷².

Виртуальное безыменье. Но оно, к несчастью, будет услышано... медиаторами второго рода. Напостовский критик А.Михайлов напишет в статье «Апология дворянской культуры»:

Гумилев, Анненский, Ахматова <...> как раз и были певцами этой культуры, одними из ее последних представителей <...>. Разве из книги Голлербаха можно выудить хоть одно слово о том, что Гумилев представитель враждебной нам классовой культуры – дворянской, монархист, контрреволюционер, борющийся с пролетариатом (что органически вытекает из его творчества).⁷³

В том-то и дело, что слов выудить нельзя, а понять можно⁷⁴. Ибо книга Голлербаха описывала тот виртуальный мир, доступ в который представителям классово верной поэзии был почти (повторяю – почти) закрыт, ибо

в храм ре-минорной токатты
Недействительны их пропуска.⁷⁵

Пролетарский критик *услышал* то, что оставалось за строчками. И получил пропуск. Ибо так велика сила виртуального Слова, что оно навечно сохраняет имена всех, кто его услышал и повторил. Даже в

⁷⁰ См. об этом: *Эльзон Д.М.* Евг. Замятин: Поминки по Гумилеву // Русская литература. 1999. №4. С.140-141.

⁷¹ *Голлербах Э.* Город муз. 2-е изд. Л., 1930. 187 с.; репринт: Paris: LEV, 1980.

⁷² *ВП:* Были и позже примеры утаивания автора... Е.Камбурова в своих концертах в семидесятые–восьмидесятые пела на слова поэта А.Гранта (юношеский псевдоним Гумилева) стихотворение «Волшебная скрипка». Кто такой Грант – не так легко найти... Вот и слушали волшебные слова Гумилева, не зная, кого слушают. Интересно – а среди тех, кто узнавал, – нашлись, которые настучали?

⁷³ См. вступительный очерк к кн.: *Голлербах Э.* Город муз: Царское Село в поэзии. С.19-21.

⁷⁴ *ВП:* Как можно увидеть тень Гумилева на рисунке Т.Сквориковой 1926 года, см. открытку: «Т.Скворикова. Двойной портрет» (СПб.: Арсис, 1994).

⁷⁵ *Галич А.* Слушая Баха // Галич А. Избранные стихотворения. С.204.

политическом доносе (это еще Булгаков описал). И если мы вспоминаем имя некоего Михайлова, то лишь за его погромную статью, где он, к своему не скажу бессмертию, скорее – к неисчезновению коснулся имен Гумилева, Ахматовой, Анненского, и самого Голлербаха, хранителя и медиатора, – представителей чужого, и не столько враждебного, сколько недоступного для «пролетарской» культуры, мира.

Но я не уверен, что виртуальный мир всегда справедлив. Подчас он просто жесток. Ибо можно быть автором вполне достойных текстов, но стоит совершить лишь одно преступление против Слова, да что там! просто поступок незтичный, – и возникает клеймо – несмысливаемая Каинова печать, которую не в состоянии уничтожить даже смерть. Впрочем, порой и произвольное бессмертие – ибо печать сия вечна, а значит, вечным становится и ее носитель.

Сколько бы хороших стихов до и после 1934 ни написал Семен Кирсанов, но он навсегда припечатан, как «поэт К.», сосед Мандельштама, который в ночь обыска и ареста поэта забавлялся за стеной слушаньем гавайской гитары:

Всю ночь за стеной ворковала гитара.
Сосед-прощельга крутил юбилей.⁷⁶

В неведении (что скорее всего, – но тогда и вины-то нет!)? Со страху? Не знаю. Однако именно так он и вошел в сознание целого поколения. Наверное, это несправедливо⁷⁷. Но, по-видимому, звук гитары, врывающийся в зловещие шорохи обыска, был так чудовищно неуместен, что оказался доминантой в воспоминаниях «двух королев», при сем присутствовавших – Надежды Мандельштам и Анны Ахматовой. Листки из их мемуаров ходили в Самиздате в 1970-е. А затем уже был Галич. Имя и факт перешли в виртуальный мир. Ну, а приговор сего суда обжалованию не подлежит.

Грустно, когда эта печать отмечает человека, в ком горела искра Божья: с трибуны XVI партсъезда Владимир Киршон обрушился все на тот же «Город муз» как на литературу, «которой не место в нашей стране в эпоху обострения классово-борьбы»⁷⁸.

⁷⁶ Там же. С.178.

⁷⁷ ВП: Совершенно очевидно, что несправедливо. И «крутил юбилей» он в полном неведении – как тысячи других людей по стране, которые в тот вечер тоже пили и пели на своих маленьких праздниках, не оповещенные о факте выдачи ордера на обыск и арест Мандельштама. Неуместность музыки за стеной сродни неуместности звезд над головой, которые продолжили сиять на небосклоне и после того, как Осипа Эмильевича затолкали в черный «воронку». Хотя для «двух королев» после ареста мужа и друга звезды, конечно, поблекли...

⁷⁸ Цит. по вступительному очерку к книге: *Голлербах Э.* Город муз: Царское Село в поэзии. С.22.

Действительно, не место. Знал ли Киршон, что делал? Понимал ли, что выступает против Слова, которое уже не в человеческой власти? Думаю, что знал и понимал, хотя, быть может, и формулировал иначе. Карьерные вопросы решал? Хлеб отработывал? Скорее всего. Он был «человеком Генриха Ягоды», по признанию последнего, и кормился за счет средств Административно-хозяйственного Управления НКВД. Но тогда вечное клеймо превращается в вульгарный штамп:

...чисел не ставим... – отозвался кот, подмахнув бумагу. Потом добыл откуда-то печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу.⁷⁹

По счету выдано. Учтено. Стоп. Дальше не надо. Так ли уж вульгарно? Исчислено. Взвешено. Разделено. – Мене. Текел. Фарес⁸⁰.

А потом придется выполнять роль подсадной утки в камере арестованного Ягоды⁸¹. Впрочем, здесь Киршон уже спасал шкуру. Но не спас. В 38-м сгинул. А клеймо осталось. Как улыбка Чеширского кота.

Плохи шутки с виртуальным миром слова. Даже если «только раз и держал он в руках / те тяжелые тридцать монет...».

Это песня Сергея Махотина «Вариации на тему Иуды», которую я слышал в исполнении автора в июне 1976 за пьяным столом в «нехорошем доме» №10 по Пушкинской улице в городе Ленинграде. Да и квартира была «нехорошей» – №26, – та самая, в которой потом, на рубеже 1990-х поселился какой-то спасательный фонд (убей Бог, не знаю его точного названия), проводивший ленинградский телемарафон. А хозяева ютились в маневренном полуподвале, ожидая капремонта и возвращения в квартиру, где семья проживала с дореволюционных времен. Но не дождались... Впрочем, всего этого мы тогда еще не знали. Были молоды и веселы...

⁷⁹ Булгаков М. Мастер и Маргарита: Роман. Frankfurt/Main: Посев, 1969. С.368. Это одна из оживших книг, которые так упорно искали следственные органы в 1983.

⁸⁰ Даниил 5: 25-28.

⁸¹ Ну, а докладывал все майору ГБ Журбенко. Для самого Ягоды роль Киршона секрета не составляла (см.: Генрих Ягода: Нарком внутренних дел СССР, ген. комиссар государственной безопасности: Сб. документов / Сост. В.К.Виноградов и др. Казань, 1997). Уже в наши дни были опубликованы 8 писем Киршона Сталину за 1933–1937 (см.: Чернев А. «Я оказался политическим слепцом»: Письма В.М.Киршона И.В.Сталину // Источник: Документы русской истории. 2000. №1. С.78-90). И еще одно письмо опубликовано в газете «Российские вести» (1996. 8 февраля). Это все, что осталось от рукописей самого Киршона.

До сих пор речь шла о поэтах, покинувших этот мир. А могут ли жить виртуальной жизнью тексты еще здравствующего поэта? Да. Тому примером – короткая история, которую я так и не разгадал. Началась она в середине семидесятых.

«Слушай, – вот удивительно: сборник, в котором нет ни одного плохого стихотворения» – сказал мне на лекции по матфизике однокашник Сашка Иешин⁸², доставая из стола тоненькую книжечку «Кинематограф» с именем некоего Юрия Левитанского на обложке. Через два года вышла другая книга этого же поэта «День такой-то»⁸³. Плохих стихов я не нашел и там. Одно привлекло мое особое внимание:

Я был приглашен в один дом,
в какое-то сборище праздное,
где белое пили и красное,
болтали о сем и о том.
Среди этой полночи вдруг
хозяйка застолье оставила
и тихо иголку поставила
на долгоиграющий круг.
И голос возник за спиной,
как бы из самой этой полночи,
шел голос, молящий о помощи,
ни разу не слышанный мной
<...>

Но нет, это был не пророк,
над грешными сими возвышенный, –
скорее ребенок обиженный,
твердящий постылый урок.
Но эти три слова – не спи,
художник! – он так выговаривал,
как будто гореть уговаривал
огонь в полуночной степи.⁸⁴

Я уже достаточно хорошо знал поэзию, чтобы уловить явное обращение к стихотворению Пастернака «Ночь»:

Идет без проволочек
И тает ночь, пока

⁸² Профессию инженера он позже сменил на профессию режиссера, окончил курс у Товстоногова и ныне работает в Швеции. Это тоже знак эпохи: сколько технарей ушли потом в театр, в литературу, в историю, сделав их в конечном счете своими основными профессиями...

⁸³ *Левитанский Ю. День такой-то: Книга стихов. М.: Сов. писатель, 1976. 112 с.*

⁸⁴ Там же. С.58-59.

Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

<...> Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну, –
Ты – вечности заложник
У времени в плену!⁸⁵

Несмотря на привкус «гонимости», Пастернак оставался в числе разрешенных поэтов, и обращение к нему не грозило никакими неприятностями. Однако текст Левитанского был отнюдь не так прямолинеен.

Существовал еще один, тогда совершенно запретный поэт – Александр Аркадьевич Галич, которого я почти всего знал наизусть, ибо со своим приятелем Юркой Ушаковым расшифровывал по ночам на коммунальной кухне с магнитофонных пленок десятки песен и стихов. Из них мы составили и «издали» сборник с обширными комментариями (это была моя первая литературоведческая работа), с трехцветной печатью на пишущей машинке, с выходными данными (издательство, как сейчас помню, называлось «Два веселых гуся»⁸⁶), в переплете. Автор шел под кодовым именем «Аркадьев». Ныне существует лишь один экземпляр этой книги.

У Галича есть два текста, на моей пленке шедшие подряд:

...Темноты своей не стыжусь
Не могу я быть Птоломеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.
<...>
И все-таки я, рискуя прослыть

⁸⁵ Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1977. С.374-375. (Библиотека поэта. Малая сер. 3-е изд.)

⁸⁶ К тому же юношескому фрондерству «веселых гусей» надо отнести историю с гербами. В середине 1970-х все газетные киоски были завалены значками с гербами русских городов. Однажды, в июле 1975, возвращаясь из Сибири, я выскочил из поезда на платформе какого-то городка, заглянул в киоск – и обомлел: там было полно значков с одним очень знакомым именем. Я скупил все, что было, – штук тридцать. Вскоре к ним добавился еще один герб, и осенью значительная часть нашей компании шеголяла с двумя значками. Это были гербы двух городов – Галича и Магадана, помещенные рядом. И ведь нашелся «медиатор второго рода»! Правда, Бог нас, дураков, миловал, но значки пришлось снять.

Шутом, дурачком, паяцем,
 И ночью и днем твержу об одном:
 Не надо, люди, бояться!
 Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
 Не бойтесь мора и глада,
 А бойтесь единственно только того,
 Кто скажет: «Я знаю как надо!»

<...>

И рассыпавшись мелким бесом,
 И поклявшись навек в любви,
 Он пройдет по земле железом
 И затопит ее в крови.

<...>

А я все твержу им, как дурачок:
 Не надо, люди, бояться!

<...>

Гоните его! Не верьте ему!
 Он врет! Он не знает как надо!

Здесь есть все: и голос, молящий о помощи, и вместо пророка ребенок обиженный, и «три» заветных слова.

И другой текст, сразу за ним:

Под утро, когда устанут
 Влюбленность, и грусть, и зависть,
 И гости опохмелятся,
 И выпьют воды со льдом,
 Скажет хозяйка: «Хотите
 Послушать старую запись?» –
 И мой глуховатый голос
 Войдет в незнакомый дом.
 И кубики льда в стакане
 Звякнут легко и ломко,
 И странный узор на скатерти
 Начнет рисовать гитара,
 И будет бренчать гитара,
 И будет крутиться пленка,
 И в дальний путь к Абакану
 Отправятся облака.⁸⁷

Это что, опять случайность совпадения? Или сознательное «эзопово» обращение Левитанского к Галичу через Пастернака? Или просто очередной прорыв одного мира в другой? Ведь было же сти-

⁸⁷ Я привожу эти тексты по своим старым расшифровкам с голоса Галича, однако наступило время, когда и они были опубликованы...

хотворение «Мой добрый Галич, vale», про которое все знали, что эта пушкинская строка введена специально для Галича. Я мечтал задать этот вопрос самому Левитанскому. Но в тот период, когда я периодически бывал в ЦДЛ в Москве, эта встреча не состоялась. Затем острота отпала. А сейчас уже и сама возможность исчезла.

Галич был, пожалуй, единственным поэтом, которого мы так детально расшифровывали с пленок. Но не единственным, которого перепечатывали на машинке. Мандельштам, Бродский, Гумилев, Хармс. Началось еще до института. Это была хорошая школа. Буква за буквой, слово за словом в тебя входили удивительные тексты, которые оставались в памяти на долгие годы.

Во время уже упоминавшейся встречи, в июне 1998, Павел Нерлер любезно подарил мне сборник «Сохрани мою речь...», посвященный Мандельштаму. Там я с удивлением обнаружил эссе Юрия Крохина, ибо прочел то, что как будто сам писал:

Мандельштам и Бродский вошли – точнее, ворвались – в мое сознание одновременно⁸⁸ ... слепые машинописные экземпляры. С них на взятой напрокат машинке⁸⁹ снимали копии. Мандельштамовские тексты, помню, начинались с «Tristia». Были стихи начала 30-х годов, «Воронежские тетради». В это же время кто-то принес стихи Бродского⁹⁰. Тонкая стопка листов – «Стихи об испанце Мигуэле Сервете», «Через два года», «Одиночество», «Памятник Пушкину», «Пилигримы».⁹¹

Господи, все то же. Мы, никогда не знавшие друг друга, просто окунулись в один и тот же мир. А значит, он – реалья, а не чудо нашего воображения, не душевная болезнь. И до сих пор звучат стихи Бродского, читанные четверть века назад белой ночью на набережной у Литейного моста, чуть ниже того места, где Большой дом летними ночами выходит на караул и встает поперек проспекта... И, затем, у Кировского моста, тоже чуть ниже. Ну, а «Петербургский романс» Галича – напротив Медного всадника:

...Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
В тот назначенный час,

⁸⁸ И в мое тоже, в 17 лет.

⁸⁹ У меня была отцовская.

⁹⁰ А я помню кто – Витька Чупаев, мой однокашник. Он же принес и Мандельштама. Вот только печатать не умел. Я за двоих работал.

⁹¹ Крохин Ю. Взмах маятника: Об Осипе Мандельштаме и Иосифе Бродском // «Сохрани мою речь...». С.117.

Где стоят на рассвете
 В ожиданье полки,
 От Синода к Сенату,
 Как четыре строки!

Цитирую по памяти. Это был небольшой спектакль. Мы его готовили – Сергей Козин, Сергей Махотин и я. А слушали нас такие же студенты, как и мы сами. Да случайные прохожие.

Правда, был случай, когда удалось прочесть стихи Бродского на большую аудиторию – в зале Дворца культуры им. Ленсовета, что на Петроградской стороне. Была весна 1976, и в ЛИИЖТе, собирая тысячные аудитории, шли традиционные факультетские вечера, на которые приходили студенты и из других институтов. В один из таких вечеров наш факультет «Мосты и тоннели» представлял свой спектакль, посвященный перевороту в Чили, – тогда еще модной теме. В ткань спектакля очень легко вошли стихи о Лорке. Автора я, естественно, не называл.

Когда стихли последние аплодисменты и конкурсная комиссия направилась к выходу, меня поманил пальцем человек, которому мы все доверяли безгранично и звали «шефом» – Вячеслав Абрамович Лейкин. «Тебе что, учиться надоело?» – злобно прошептал он. – «Слава, ну ты ж единственный, кто автора узнал. Те, из комиссии которые, стихов не знают». – «Мерзавец», – уже дружелюбнее процедил сквозь зубы шеф и поторопился на заседание той самой комиссии.

Однако вернемся к Гумилеву. Его прижизненные издания – «Жемчуга» и «Шатер» – мне приносила Нина Всеволодовна Венгерова. Внучка знаменитого литературоведа, она была старинным другом семьи. Она же рассказывала, что все расстрелянные по «делу Таганцева» были невиновны.

В те годы, 17-летним молодым человеком, я, естественно, предпочел «Жемчуга». И не только «Капитанов». Меня поразила «Волшебная скрипка»:

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
 Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...⁹²

Как это легло на мое увлечение Паганини!

«Шатер» показался мне тяжелее – он требует подготовки⁹³. Это едва ли не самая «виртуальная» книга Гумилева: мистика имени и

⁹² Гумилев Н. Жемчуга: Стихи 1907–1910 гг. 2-е изд. СПб.: Кн-во «Прометей» Н.Н.Михайлова, 1918. С.7.

⁹³ ВП: Воспользуюсь африканскими ассоциациями, которые вызывает «Шатер», и расскажу еще одну виртуальную историю об упущенных возможностях.

мистика судьбы сплелись здесь в один узел. У В.Яновского есть такой рассказ о эзоповом языке в русской действительности: «...все пользовались этим греческим языком. Когда в коммунистическом Петрограде разнесся слух, что “Шатер” задержан – литераторы поняли, что арестовали Гумилева»⁹⁴.

Мог ли знать автор, придумывая название новой книге, что он сообщает миру свое предсмертное имя, которое будет жить уже вне зависимости⁹⁵ от него и после него? Гумилев, по-видимому, из тех, кто мог. Ибо, создав в мире своей поэзии определенный эталон поведения, он имел мужество в жизни ему следовать:

...смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.⁹⁶

Через десять лет, когда возникла опасность обыска, я успел увезти всю крамольную литературу в Москву, к родителям жены. Тексты Галича и Бродского уехали, а Мандельштама с Гумилевым остались: я не видел в них особой крамолы. А зря.

Ибо однажды ранним августовским утром⁹⁷ 1983 года в моей квартире раздался звонок. За дверью оказалось пять-шесть мужчин решительного вида.

«Чего-то много вас», – меланхолично заметил я.

«Все нужны», – весело заявил старший, предъявляя удостоверение сотрудника КГБ и ордер на обыск. Последний длился несколько часов, но ни одной из искомых книг «Тамиздата» найдено

Услышал я ее от африканиста и страстного любителя поэзии Гумилева Аполлона Борисовича Давидсона, который сам побывал в тех же местах, что и его кумир. После публикации в «Московских новостях» отрывков из «Африканских дневников» Николая Гумилева в редакцию газеты пришло письмо от аспиранта Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы с сообщением, что в их деревне помнят белого путешественника, и что после его отъезда в деревне родился мальчик, потомки которого и сейчас живут в той же деревне. Других подробностей не сообщалось, кроме номера телефона. Редакция передала Давидсону это письмо. Но в связи с отъездом он сумел позвонить лишь через несколько месяцев, – телефон уже не отвечал. Установить полное имя автора письма не удалось. В результате история эта так и осталась апокрифом.

⁹⁴ Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти. СПб: Пушкинский фонд, 1993. С.209.

⁹⁵ ВП: После высылки Бродского, когда он уже стал профессором в Мичигане, наш дружеский клуб-объединение «ЛОБ», каждую из встреч посвящавший кому-либо из «тех, чьей мыслью мы жили и дышали», на одно из собраний пригласил на «осетра по-мичигански».

⁹⁶ Гумилев Н. Жемчуга. С.29.

⁹⁷ ВП: Снова АВГУСТ!!! Ну, что это за месяц такой... то расстрел, то обыск, то постановление...

не было. Хотя искали непрофессионально. Тайники над дверью кладовки и внутри письменного стола остались нетронутыми. Пришлось удовлетвориться несколькими порнографическими картинками да десятком папок стихов, включая Мандельштама и Гумилева.

Вот, наконец, обыск закончился. Меня под белы ручки... «Нет, – говорю, – обождите, яблочко надо прихватить, – когда у вас там еще кормить будут». А сам еще и куртку беру – сейчас август, тепло, а когда выпустят – может, уже и холода начнутся. Что брали меня только для допроса как свидетеля, а значит, к вечеру должны были выпустить, я тогда еще не знал. А мне не торопились об этом сообщать.

Ну, посадили в машину на заднее сидение меж двумя операми. А я давлюсь – главное не рассмеяться и вслух не проговорить строчки, что в мозгу вертятся:

Трое едут – сам в середочке,
Два жандарма по бокам...

Это уже Галич об Александре Полежаеве.

Милые мои, виртуальные, давно покинувшие грешную землю, как же вы мне помогали! Описание допросов, очной ставки, звонков⁹⁸ выходит за пределы рассказа. Скажу лишь, что по моей вине в Большом Доме не оказалось ни одного нового человека, ни одной новой книги. В конце концов следователям пришлось удовлетвориться утверждением, что я все сжег. Впрочем, об одной встрече упомянуть мой долг... даже не знаю, перед кем.

Меня оставили в комнате, находившейся почти напротив лестницы. Здесь были кресла вдоль стен и низенький столик. Через несколько минут вошел молодой, довольно полный человек и весело подсел к столику. «Ну-с, начнем допрос». – «Начнем». – Я подсел к столику с другой стороны. После нескольких фраз «допроса» он расхохотался: «Шутка. Вы в комнате ожидания. Вижу, что вы в первый раз». После чего я вернулся в кресло и продолжал читать какую-то книгу по истории техники (я тогда начал работать над диссертацией). Прошло еще несколько минут, и вдруг незнакомец взял карандаш и на газетном поле написал: «Не бойтесь – они всегда делают вид, что знают больше, чем на самом деле». Молча дал мне прочесть и уничтожил клочок бумаги. Через несколько минут меня увели. Я никогда более не встречал эту круглую, насмешливую фи-

⁹⁸ О стереотипах эпохи: звонит мне в начале сентября следователь и задает вопрос, на который нет никакого желания отвечать. Первая реакция: «Ну что вы, это же не телефонный разговор». По счастью, осознание ее абсурдности в данной ситуации пришло до того, как я открыл рот (спасло правило считать до десяти, прежде чем ответить). Пришлось сослаться на незнание.

зиономию. Осталось только Слово – не письменное, не устное – скорее полунаписанное, ибо текст исчез через 30 секунд после возникновения. Он никогда не был произнесен, но до сих пор звучит в моем мозгу⁹⁹. Вполне виртуальный образ – свидетель человеческого достоинства и веселого мужества.

Когда наши встречи со следователем подходили к концу, я попросил вернуть мне изъятое при обыске, причем на отобранных картинках не настаивал. Машинописные тексты мне возвращать отказались, сообщив, что по окончании дела они будут сожжены.

Жаль, ибо в те годы я пытался провести анализ разночтений в циркулировавших в Самиздате стихах Мандельштама. В юношеском неведении я не догадывался, что замахнулся на анализ виртуального Слова.

Тогда я потребовал папки, в которых хранились бумаги. Следователь поперхнулся. Но, поразмыслив, отвел меня в комнату ожидания. Минут через двадцать вернулся с просимым. Большой Дом *в этот раз* (хотел написать «*в последний*»), да поостерегся зарекаться), осенью 83-го, я покидал с пачкой пустых папок под мышкой.

Но у меня-то случай был легкий. По старым меркам – просто анекдотический. А вот то, что Гумилев помогал людям в ГУЛАГе выживать – это весомый факт его виртуальной биографии.

Моя жена Ирина часто вспоминает, как в семидесятые близкий друг их семьи – Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов – мог часами читать вслух стихи Гумилева – те самые, что помогали ему выжить. А лагерный опыт этого человека был тяжелейшим. Пленки с записями его голоса хранятся у родителей до сих пор. Говорят, что больше всего Алдан (так его все называли) любил стихотворение «Рабочий»:

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.

<...>

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

<...>

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной¹⁰⁰,

⁹⁹ ВП: Ну как тут опять не вспомнить о тех страничках в Интернете, что появляются и исчезают, изменяя виртуальный мир, и сохраняются у меня в напечатанном виде, – они были, как и эта газетная полоска.

¹⁰⁰ ВП: На берегу Двины дислоцировался полк, в котором служил Гумилев.

Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.¹⁰¹

И всех слушавших поражала сила предвидения. Стихотворение было опубликовано 10 апреля 1916 в «Одесском листке», затем – в сборнике «Костер». Автор рецензии, некий Георгий Гальский, в 1918 будет утверждать, что здесь, «конечно, говорится о немецком рабочем»¹⁰². Вашими бы устами, Гальский... Рабочий, который через три года отольет ту самую пулю, окажется вполне русским. Да и стрелять будет какой-нибудь бывший пролетарий.

Алдан рассказал и две истории виртуального характера. Первая касается знаменитого акына Джамбула. Поэт этот таким, каким он публиковался на русском, никогда не существовал. А был создан молодым Алдан-Семеновым, получившим в 1934 от партии задание: найти какого-нибудь акына. Он и нашел. В собственной голове. Ибо понять без переводчика, что пел некто Джамбул Джабаев – нищий неграмотный казах, на которого указал председатель колхоза, было невозможно. Критерием выбора были бедность, множество детей и внуков. А пели там все: что вижу – то пою. После ареста Алдана это дело продолжили другие русские акыны из Союза писателей. Так и живут ныне его стихи – гордость казахской поэзии – своей виртуальной жизнью под именем виртуального поэта. А имя создателя-переводчика исчезло даже из академических исследований о Джамбуле¹⁰³.

Вторая история относится к виртуальной прозе. Алдан-Семенов отбыл 17 лет¹⁰⁴ в лагерях за подготовку покушения на товарища Сталина (среди подписавших донос, по словам Алдана, Ольга Берггольц). А затем его отправили на поселение в Алма-Ату. Там он познакомился с редактором местной газеты («Вечерняя Алма-Ата») Анатолием Ананьевым, недавним выпускником филфака Казахского университета. Тут следует сказать, что Алдан-Семенов являлся одним из первых членов Союза писателей, его билет подписывал еще Горький в 1934. На молодого редактора это произвело большое впечатление. Бывшего зека на работу нигде не брали, жить было не на что. И Ананьев, начавший писать роман, предложил ему роль литературного «негра». Алдана ежедневно запирали в каморке, где по

¹⁰¹ Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. С.263; *Он же*. Стихи и поэмы. 3-е изд. Л.: Сов. писатель, 1988. (Библиотека поэта. Большая серия). С.260.

¹⁰² Там же. С.579.

¹⁰³ См. например: *Нурымгереева Г.К.* Образ Джамбула в русской литературе // Известия АН КазССР. 1984. №3. С.14-18. (Серия филологич.)

¹⁰⁴ Согласно современному справочнику – 15 лет; см.: *См.: Большев А.О.* Алдан-Семенов // Русские писатели. XX век: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. М.: Просвещение, 1998. С.34-35.

наброскам и рассказам хозяина (последний в отличие от Алдана, сидевшего в лагере, воевал) он должен был за вечер написать свою норму – одну главу. После чего хозяин открывал комнату, ставил водку, еду и давал деньги.

Остается добавить, что в 1963 был завершен и вышел в свет лучший роман А.А.Ананьева – «Танки идут ромбом»¹⁰⁵, сделавший его лауреатом Государственной премии¹⁰⁶.

А ведь ощущение, что все давным-давно былшем поросло. И действующие лица уже не топчут землю. Ан, нет. Некогда произнесенные слова – простое колебание воздуха – живут в виртуальном мире, чтобы через четверть века лечь на бумагу.

В свое время, в конце 1980-х, эти рассказы об Алдане-Семенове писатель Анатолий Полянский, отчим моей жены, предлагал в «Русскую мысль». Но статья принята не была – не актуально. То ли еще, то ли уже.

В мае 1998, готовя настоящий текст, я воспользовался своим приездом в Петербург и позвонил Нине Всеволодовне Венгеровой¹⁰⁷ с просьбой разрешить взглянуть на те самые прижизненные издания Гумилева, которые я перепечатывал четверть века назад. Она согласилась. На пороге квартиры меня встречала величественная 90-летняя женщина, а на столе ожидал королевский подарок – обе книги Гумилева¹⁰⁸. Придя домой, я отыскал ту самую папку, в которой некогда лежали машинописные копии, позднее сожженные в КГБ. И положил туда подлинники.

Июль 1997 – декабрь 2002 – июль 2004
Париж – Энсенада – Париж

¹⁰⁵ См. последующие издания: *Ананьев А.А.* 1) Танки идут ромбом; Малый заслон; Верненские рассказы. Алма-Ата: Жазушы, 1966; 2) Собр. соч.: <В 4 т.>. Т.1: Танки идут ромбом. М.: Художественная литература, 1984.

¹⁰⁶ Об Ананьеве см.: Ананьев Анатолий Андреевич // БСЭ. 3-е изд. Т.1. М.: Советская энциклопедия, 1970. С.572; см. также: Заверенная запись беседы с Е.М.Полянской и А.Ф.Полянским. Париж, 27 апреля 2000. – Архив Д.Гузевича. Об Ананьеве также повествуется в любопытных мемуарах: *Матусевич В.* Записки советского редактора: Журнал «Октябрь» 1981–1984 гг. // Новое литературное обозрение. 1998. №32. С.283-322.

¹⁰⁷ Н.В.Венгерова ушла из жизни осенью 1999 года, после тяжелой и мучительной болезни.

¹⁰⁸ Они имеют одну и ту же владельческую надпись «Н.Венгерова». Сборник «Жемчуга» был куплен в последний год блокады в букинистическом магазине на Литейном проспекте, а как попал в семью «Шатер», Нина Всеволодовна не помнила.

СТАТЬИ, ПУБЛИКАЦИИ

ПИСЬМА М.И.БУДБЕРГ Р.Б.ЛОККАРТУ

Вступительная статья О.Р.Демидовой и Н.И.Озеровой
Подготовка текста и комментарии О.Р.Демидовой

Мура Будберг – Мария Игнатьевна Будберг (1892–1974) – своего рода мифема русской культуры XX века, и многое из случившегося с ней часто служит темой спекулятивных публикаций. Так происходит оттого, что наиболее скандальные подробности ее жизни: арест в 1918, поездка в Россию в 1934 к умирающему Горькому, многолетние отношения с Брюсом Локкартом – документально не изучены, а скорее не подтверждены – документов или нет, или они не найдены¹.

Миф о Муре Будберг, баронессе Будберг, Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг, своим появлениям обязан событиям начала века. Возможно, его никто бы и не заметил, но этот маленький миф неразрывно связан с мифами о русской Революции, о Заговоре послов, о Горьком, Уэлсе, ЧК, Сталине, британской разведке.

¹ Н.Берберова в предисловии к своей книге о М.Будберг «Железная женщина», в достаточной степени документированной, замечает относительно ранее написанного о своей героине: «Все, что писалось, писалось с ее (Будберг) слов» (*Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С.9; далее – Железная женщина, с указанием страницы*). Хотя сама Берберова ссылается на архивы (Там же. С.14) и документальные источники, к которым она обращалась, но при изложении именно названных трех важных моментов жизни Будберг в основном цитирует только воспоминания – Б.Локкарта, Б.Герланд, В.Ходасевича или иных очевидцев. Предполагается, что личный архив М.И.Будберг сгорел незадолго до ее смерти (см.: Там же). О недоступности значительной части архива Горького и, в частности, о полученном отказе в знакомстве с перепиской Горького и Будберг пишет В.И.Баранов (*Баранов В. Беззаконная комета: Роковая женщина Максима Горького. М., 2001. С.363*).

О Бенкендорф говорили и писали, потому что о ней было интересно писать, интересно сплетничать, интересно сочинять небывлицы. Зачастую меуаристы, увлекшись, создавали свой миф о ней. И можно было создать не одну, а множество историй – так невероятно то, что происходило с этой женщиной. Ее жизнь – своего рода монтаж аттракционов, тезаурус сюжетов. Можно взять один и увидеть в нем законченный рассказ, фильм или ключ ко всей ее жизни.

У Марии Игнатьевны Будберг несколько биографий. Самой захватывающей является рассказанная ею самой, повторенная затем в некрологе, который был опубликован в лондонской «Times» 2 ноября 1974 и озаглавлен «Интеллектуальный вождь»².

Согласно слышавшим ее друзьям, светским знакомым, недругам и репортерам, Будберг утверждала следующее. Она, урожденная Закревская, была праправнучкой знаменитой Аграфены Федоровны Закревской, графини, жены московского военного генерал-губернатора, славившейся своей красотой, бурным темпераментом, многочисленными любовными похождениями и вызывающей смелостью, с которой она афишировала свои поступки. Князь Вяземский прозвал прабабку Муры «медной Венерой», а увлеченный Закревской Пушкин писал о ней:

И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как незаконная комета
В кругу расчисленных светил.

и внес ее имя в свой донжуанский список³.

Графиней Бенкендорф Мура стала, выйдя замуж за графа Ивана Александровича Бенкендорфа (из того самого рода Бенкендорфов, который в нашем сознании прочно связан с именем Пушкина)⁴. У них было двое детей, которые вместе с няней Мисси после революции остались в Эстонии в имении ее первого мужа, куда Мура постоянно стремилась. Иван Александрович Бенкендорф летом революционного 1918 был застрелен – неизвестно, белыми или красными, – и Мура, оставшаяся в голодном и страшном Петрограде, познакомилась с Горьким, переселилась в его дом, затем жила у Горького в Италии, а когда писатель в 1933 решил вернуться в Советскую Россию, отказалась последовать за ним туда и поселилась в Лондоне. В промежутках между этими событиями стала возлюбленной Брюса Локкар-

² Берберова обширно цитирует этот текст в своей книге, см.: Железная женщина. С.353-354.

³ О А.Ф.Закревской см.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С.162-163.

⁴ Прибалтийский дворянин Иван Александрович Бенкендорф (ок. 1880 – 1918) был потомком одного из внуков Иоанна Бенкендорфа (1659–1727), бургомистра Риги, представителя четвертой ветви рода Бенкендорфов. Однако он являлся весьма далеким родственником Александра Христофоровича Бенкендорфа (1781 или 1783 – 1844), шефа Корпуса жандармов и начальника Третьего отделения.

та, знаменитого британского дипломата, была заключена вместе с ним в тюрьму, счастливо избежала казни; служила в издательстве «Всемирная литература»; вышла замуж за никому не ведомого барона Будберга⁵; была арестована при переходе по льду из революционного Петрограда в Финляндию; стала ассистенткой сэра Александра Корды⁶, его помощницей и консультантом его русских фильмов; за шесть лет – с 1918 по 1924 – перевела с русского на английский 36 книг, сыграла нескольких немых ролей второго плана; тринадцать лет (1933–1946) была невенчаной женой Герберта Уэллса, отказываясь выйти за него замуж.

В конце жизни она рассказывала, что происходит по прямой линии от императрицы Елизаветы Петровны, от ее морганатического брака с Алексеем Разумовским. В 1742 у дочери Петра Первого родился сын, который положил начало роду графов Закревских⁷.

Возможно, рассказывая все это знакомым и журналистам (например, в 1970 – репортеру журнала дамских мод «Вог-магазин» Катлин Тайнен), Будберг и сама исследовала – до какого предела можно пойти в подобных фантазиях? Предела не было. Людей притягивают знаменитости, потомки царей, подруги и друзья великих. Да и как не верить, если отблеск мифа падает и на слушающих? В рассказах Будберг, в том, как она видела себя, заметно стремление связать свою судьбу через семейные предания с людьми, которые по-хозяйски распоряжаются своей жизнью, не боятся условностей и ломают привычный порядок вещей, – с людьми страстными, чувственными, яркими. Они родственны ей по духу, так отчего же не считать их родственниками и в прямом смысле слова? Причисляя себя к этой человеческой породе, легче бороться с жизнью.

Такую историю жизни баронессы Будберг вряд ли следует всерьез опровергать. Это специфический жанр художественной литературы – «охотничий рассказ», и импровизирующий автор, не нарушая норм поэтики, только изредка снисходит до фактов. Реальные события жизни Закревской-Бенкендорф-Будберг часто не согласуются с созданной ею биографией⁸, но ведь абрис личности совпадает!

А.Ф.Даманская, служившая переводчицей в издательстве «Всемирная литература» и знавшая Марию Игнатьевну по работе, вспоминает, как однажды в издательстве «из далекого угла комнаты вдруг отделилась скромного облика женская фигура»⁹ и вмешалась в разговор переводчиков. Это и

⁵ О семье прибалтийского барона Николая Будберга, мужа М.Будберг см.: Железная женщина. С.136-138.

⁶ Александр (Шандор) Корда (Korda; 1893–1956) – английский продюсер, кинорежиссер, сценарист. В 1932 основал продюсерскую фирму «London films». Основоположник исторической мелодрамы по сюжетам из «частной жизни» исторических деятелей.

⁷ См.: Железная женщина. С.18, 312-313, 315-316.

⁸ На это аргументированно указывает Берберова, см.: Там же. С.18.

⁹ Даманская А.Ф. На экране моей памяти / Публ. О.Демидовой // Новый журнал. 1996. Кн.198/199. С.277.

была Бенкендорф. У «фигуры» оказался самоуверенный голос, она, как выяснилось, долго жила в Англии, прилично знала английский язык. Каким переводчиком она стала, Даманская не говорит, только иронически намекает – никаким, но далее рассказывает, что через короткое время обнаружилось, что Мария Игнатьевна уже работает в исторической секции издательства:

Положение Марии Игнатьевны скоро утвердилось в издательстве. Она отвергала приносимые исторические пьесы, в которых было мало «революционного элемента», одобряла пьесы, в которых революционный элемент был подан аппетитно.¹⁰

Место Мура получила благодаря Горькому. Объясняет это Даманская тем, что Бенкендорф, «умная, напористая, сумела, лишь захотела, покорить Горького своей барственной властью. Как-то незаметно и не то что осторожно, а, скорее, руководимая непогрешимым инстинктом завоевательницы, победительницы – сумела она поставить себя в издательстве так, что с ней больше считались, чем с администрацией, чем с самим Горьким...»¹¹.

Примечательно то, что дальше в своих воспоминаниях Даманская уверенно рассказывает один из вариантов именно «охотничьей биографии» Марии Игнатьевны, – вот что значит удобство компактного мифа. В этой биографии Мура – удачливая талантливая хищница и авантюристка, жившая безбедно на гонорары за публикации горьковских документов, вышедшая замуж за Уэллса, отлично устроившая своих детей. «В настоящее время ни роли общественной, ни заметного положения в литературном мире не занимает», – ставит точку Даманская¹².

Авантюристкой называла Будберг и Ахматова:

Будберг-Бенкендорф – это авантюристка типа Мата-Хари. Помню, я ее встретила во «Всемирной литературе». «Почему вы такая бледная», – спросила я. – «Я только что из тюрьмы». Она пыталась несколько раз перейти границу, и ее ловили. Когда Герберт Уэллс приехал в Петроград, она была переводчицей – английский язык тогда мало кто знал – и сумела вскружить ему голову... Когда-то, в Берлине, она танцевала с Вильгельмом. И вовсе не была красавицей. Сейчас она живет в Лондоне. Она, наверное, старше меня и, представляете, пьет коньяк.¹³

По воспоминаниям близко знавших ее, Будберг была целеустремленной и сильной личностью и при этом не отягощала окружающих своими про-

¹⁰ Там же. С.279.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С.280.

¹³ Цит. по: Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т.3. С.458. Ахматова вспоминает Будберг по специфическому поводу – до нее дошла история, приключившаяся с Будберг в Лондоне: осенью 1965 Будберг была задержана в одном из английских магазинов за кражу.

блемами. Ходасевич в воспоминаниях о Горьком признавал за Мурой «исключительный дар достигать поставленных целей» и добавлял, что «при этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке»¹⁴.

Необыкновенно привлекательной делала Марию Игнатьевну Будберг способность, а может, даже талант, дар – быть внимательным собеседником; помнить о беседах долго, продолжать их годами и даже десятилетиями и поэтому становиться самым необходимым человеком для многих замечательных умов, с которыми ее свела судьба. Берберова так описывает разговоры Будберг с Горьким: «<она> умела внимательно слушать, сидя на диване, когда он сидел за столом, слушать молча, смотреть на него своими умными, задумчивыми глазами, отвечать, когда он спрашивает, что она думает о том и об этом...»¹⁵.

Как Мария Игнатьевна влияла на людей и какие симпатии вызывала, можно уяснить из записей Уэллса :

...she has satisfied my craving for material intimacy more completely than any other human being. I still belong so much to her that I cannot really get away from her. I do not think that there is any element of self-deception in my recognition that Moura is outstandingly charming. Quite an exceptional number of people love and adore her, admire her and are urgent to please and serve her.¹⁶

Помимо «охотничьей» биографии Муры, существует вариант, рассказанный Ниной Берберовой. Берберова близко знала Будберг, жила в доме Горького в Саарове, в Мариенбаде и Сорренто в то же время, что и Будберг, и Мура вызывала ее интерес, потому что «принадлежала к тому русскому поколению, которое на три четверти было уничтожено – сперва первой войной, потом войной гражданской»¹⁷. Было что-то общее в характере этих женщин, и Берберова этого не скрывала:

Мне была близка и понятна ее энергия, сила ее живучести, ее дикое отчаянное желание не погибнуть, причем «не погибнуть», как я всегда понимала это выражение, вовсе не значит «не умереть» от голода, холода, бедности и болезней, то есть не «смерть на скамейке бульвара в большом городе», о которой позже писал Беккет. Не погибнуть значит не опуститься на дно жизни, не примириться с отсут-

¹⁴ Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т.4. С.354.

¹⁵ Железная женщина. С.15.

¹⁶ «...она удовлетворила мое страстное желание близости более полно, чем какое-либо другое человеческое существо. Я все еще так сильно привязан к ней, что действительно не могу оторваться от нее. Не думаю, что есть какой-то элемент самообмана в моем ощущении, что Мура необычайно очаровательна. Огромное число людей любят и обожают ее, восхищаются ею и настойчиво пытаются доставить ей удовольствие и служить ей» (перевод с англ. наш). Цит. по: H.G.Wells in love: Postscript to an Experiment in Autobiography / Ed. by G.P.Wells. Boston; Toronto: Little, Brown & Co, 1984. P.162.

¹⁷ Железная женщина. С.314.

ствием книг, музыки, чистого белья, теплой одежды, с отсутствием вокруг знающих, способных, живых людей...¹⁸

Именно Нине Берберовой мы обязаны знанием многих фактов из жизни Марии Игнатьевны Закревской-Бенкендорф-Будберг. Берберова подняла все возможные документы и с полным основанием сказала: «я написала все, что я могла написать: если бы я написала больше, это было бы незаконно. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает о М.И.Б. больше меня, я буду счастлива, но боюсь, что этого не будет»¹⁹.

Однако Берберова, осознавшая себя во многом похожей на Будберг, подпавшая под обаяние ее личности и в каком-то смысле влюбленная в нее, не только не отбросила мифы жизни Муры Будберг, но создала собственную мифему, не столько открывая фактическую сторону жизни Будберг, сколько интерпретируя ее. Возможно, потому, что в чем-то отождествляла себя с Мурой, тем самым придавая этой личности несвойственные ей черты. Совершенно очевидно, что в биографии Муры Берберовой притягивали не тайны, а личность Будберг, ее личностная позиция, в частности то, что Мура «жила для самой жизни и в этом видела один-единственный ей понятный смысл»²⁰.

Отдавая должное Берберовой, надо отметить, что в «Железной женщине» биография Муры приобрела новую и иную целостность, было восстановлено множество событий и рассказано о том, о чем раньше по разным причинам умалчивалось. Но Берберова, как и многие другие, интуитивно ощущала, что в этих частностях, деталях есть что-то странное, пугающее и отталкивающее, что заставляло быть осторожным. Тут Берберова касалась, как она пишет, «тайны, которая жила вокруг Муры, не как покрывало, сброшенное на нее, и не как построенная искусственно система, но тайны, составившей одно целое с ней самой, излучая ауру особенную и неизменную»²¹.

Будберг ловили на лжи и те, кто ее знал, и те, кто о ней писал, но что же стояло за этой «двойной жизнью»?²²

Была ли она шпионкой, секретным агентом? А если была, то чьим? И что остается от ее «охотничьей» биографии при документировании каждого шага? Парадоксально, но в результате то, что рассказывает Берберова, не менее, а, может быть, даже более интересно, чем «устные предания» Муры. И хотя, как выяснилось, отец Будберг, черниговский помещик Игнатий

¹⁸ Там же. С.175.

¹⁹ Там же. С.13.

²⁰ Там же. С.315.

²¹ Там же. С.171.

²² Так, В.Баранов, считающий М.Будберг агентом ОГПУ и отравительницей Горького, в приложении к книге «Беззаконная комета» дает отрывок из автобиографии Г.Уэллса, фрагменты из которой в русском переводе были напечатаны в журнале «Иностранная литература». Уэллс рассказывает, как Будберг обманула его, утверждая, что не ездила в Россию в 1934. См.: Иностранная литература. 1999. №11. С.205-228).

Петрович Закревский, никакого отношения к графу Закревскому, а, следовательно, и к «медной Венере» не имел; что у первого мужа Муры, Ивана Александровича Бенкендорфа, графского титула не было и он не принадлежал к линии графов Бенкендорфов; что Будберг не была потомком Петра Великого; что она не перевела за шесть лет тридцать шесть книг... и много еще чего «не», – разоблачения эти, как ни странно, сути дела не меняют, и интерес к баронессе Будберг не убавляется – она продолжает владеть странной биографией, и Берберовой как эссеисту и исследователю не удастся преодолеть эту неуловимость своей героини.

Баронесса Будберг имела широкий круг общения, писала и получала множество писем, благодаря своему характеру была постоянно на виду. Кажется, что из отрывочных высказываний о ней различных людей, из оставшихся документов, из писем можно бы составить мозаику этой жизни. Но не получается – не хватает важных фрагментов, одни воспоминания противоречат другим, а документов мало.

Изучение биографии Будберг затруднено и тем, что она не писала мемуаров. По воспоминаниям Берберовой, Будберг сказала: «У меня никогда не будет мемуаров. У меня есть только воспоминания»²³. Будберг ничего не рассказывала, только «вспоминала», – утверждая каждым своим словом право помнить приблизительно и ошибаться в девяноста девяти случаях из ста.

В жизни Будберг Берберова выделила и описала два поразительных эпизода. Они могли бы стать художественной прозой – да они, по сути дела, ею и являются, поскольку не документированы.

Первый из них – это время, проведенное Мурой в холодном революционном Петрограде зимой 1918 года: после потери друзей, близких, дома, каких-либо средств к существованию, любимого человека и, казалось бы, самой надежды на будущее. Большой холодный город и абсолютно одинокая женщина.

Второй эпизод – совместный просмотр с Брюсом Локкартом фильма Майкла Кэртиса «Британский агент» (1931), снятого по воспоминаниям Локкарта (его в фильме играет Стивен Лок), – картины о послереволюционных днях в России, об аресте и освобождении, о романе с Мурой Бенкендорф (в фильме она названа Еленой, ее роль играет Кей Фрэнсис). На этом специальном просмотре были только Локкарт и Мура. Он давно разлюбил ее, а она – возможно, и очень похоже на правду, – никогда не переставала его любить. «В этой пустыне, в темноте, в молчании, она переживала прошлое, не смея дотронуться до его руки, вероятно, боясь, что, если она это сделает, она навсегда потеряет его», – пишет Берберова²⁴.

История ее отношений с Локкартом – именно ее отношений с ним, – так никого и не заинтересовала всерьез. В ней видели что угодно, и чаще всего авантюрно-детективный сюжет, но никак не историю несчастливой любви.

²³ Железная женщина. С.262.

²⁴ Там же. С.209.

Обыкновенно Будберг обвиняют в том, что она была двойным агентом, то есть агентом ЧК, а позже – английской разведки. Эти обвинения могут носить тон академически-нейтральный, бульварно-скандальный или романтический²⁵, как в случае с существовавшим, согласно воспоминаниям, странным устным рассказом Горького «Графиня»²⁶. Рассказ повествовал о кровожадном чекисте (подразумевается Петерс), который расстреливает врагов революции и мечтает о том, чтобы ему в руки попала настоящая графиня (подразумевается Закревская-Бенкендорф), и наконец это происходит. Романтический сюжет романтическим сюжетом, но никто и никогда, по сути дела, не посмотрел на эту историю другими глазами, не увидел ее сугубо приватной сути. Интересно, что сама Мура ни разу не удостоила опровержением ни одного из обвинений, выдвинутых против нее, и никогда не оправдывалась²⁷.

Шотландец Роберт Брюс Локкарт приехал в Россию в 1912 как вице-консул британского посольства в Москве. В России он прожил следующие шесть лет. Любил Россию и русских, имел множество друзей, поднимался по служебной лестнице и в конце концов оказался в буре русской революции. В предисловии к своей мемуарной книге он написал:

В моей бурной и разнообразной жизни случай играл большую роль, чем ему обычно предоставляется. В этом я сам виноват. Никогда я не пытался быть полным господином своей судьбы. Наиболее сильный импульс момента управлял всеми моими действиями. Когда случай вознес меня на головокружительную высоту, я принял его дары с распростертыми объятиями. Когда он сверг меня вниз со своей вершины, я принял его удары без жалобы.²⁸

Будберг, тогда еще Бенкендорф, познакомилась с Локкартом в 1918, в британском посольстве в Петрограде, куда он был послан как специальный британский агент с поручением, касавшимся заключения Россией сепаратного мира с Германией. В дневнике Локкарт записывает свои первые впечатления от встречи с Мурой, называя ее «русейшей из русских» и отмечая ее пренебрежение к мелочам жизни, стойкость, жизнеспособность и особую радостную философию жизни. «Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой»²⁹.

Их связала страстная влюбленность. Его на время – ее, возможно, навсегда.

²⁵ См., например: Железная женщина. С.382; Баранов В. Беззаконная комета... С.13-15.

²⁶ Две версии этого рассказа см.: Железная женщина. С.89; Баранов В. Беззаконная комета... С.30-31.

²⁷ По свидетельству Р.Гуля, Будберг опровергала версию Петерса о «заговоре послов» и своей роли в этом заговоре. См.: Гуль Р.Б. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. М., 2001. Т.1. С.374.

²⁸ Локкарт Б.Р.Г. История изнутри: Мемуары британского агента. М., 1991. С.6; далее – Мемуары британского агента, с указанием страницы.

²⁹ Цит. по: Железная женщина. С.36.

Когда Локкарт по долгу службы был переведен в Москву, Мура уехала и жила вместе с ним. Вместе с Локкартом, обвиненным в организации заговора против советской власти, осенью 1918 она была арестована. Им обоим грозила смерть. Однако сначала была выпущена Мура, потом освобожден Локкарт. Какую роль здесь сыграла его возлюбленная, постоянно писавшая ему письма, носившая передачи и ожидавшая его на свободе, – так до конца и не ясно.

Локкарту позволили уехать. Покидая Россию, он прощался со страной и Мурой. Локкарт не мог взять ее с собой – он был женат, и в Англии его ждала семья. Мура вернулась в голодный и холодный Петербург, бедствовала. К.И.Чуковский познакомил ее с Горьким, к теплому дому которого она и прибилась, освоилась, стала своим и незаменимым человеком – подругой Горького на долгие годы.

Будберг и Локкарт встретились в Вене после шестилетней разлуки. Потерять его она не хотела – они сохранили дружеские отношения на всю жизнь. Позже Локкарт помог ей войти в мир кино и стать помощницей А.Корды. Дневники Локкарта полны записями об их встречах и контактах. Он пишет о ней, ее умных речах и точных замечаниях, но – никогда о любви, с этим было покончено. Мура всегда была только рядом с его жизнью.

* * *

Публикуемые ниже письма представляют собой лишь один из многочисленных недостающих фрагментов жизненной мозаики Марии Игнатьевны Будберг. Мура писала их Локкарту, находившемуся в заключении (судя по содержанию, они адресованы уже не на Лубянку, где Локкарта содержали первые несколько дней, а в Кремль, куда его впоследствии перевели). В письмах неоднократно упоминаются имена Петерса и Карахана³⁰, как будто позволяющие положительно ответить на вопрос о «романе» Муры с ЧК. Это обстоятельство дает основание рассматривать письма как беспристрастный документ, еще раз подтверждающий известную гипотезу. Однако, на наш взгляд, вернее было бы отнести их к разряду «человеческого документа», рассказывающего о двоих – Муре и Локкарте – и многое объясняющего в дальнейшей судьбе обоих.

Разумеется, как и все, связанное с биографией Муры, письма не лишены таинственности: они вызывают много вопросов и предполагают различные варианты прочтения. Такая возможность заключена в самой их ткани, в

³⁰ Петерс Яков Христофорович (1886–1938) – политический деятель. В 1918 – заместитель председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала; в 1920–1922 – представитель ВЧК в Туркестане. Репрессирован, реабилитирован посмертно. Карахан (Караханян) Лев (Левон) Михайлович (1889–1937) – политический деятель, дипломат. В 1918 – член советской делегации на переговорах в Брест-Литовске; в 1918–1930 (с перерывами) член коллегии НКВД, заместитель наркома по иностранным делам Г.В.Чичерина; в 1934–1937 – посол в Турции. Репрессирован.

стилистике, в бросающихся в глаза намеренных умолчаниях и иносказаниях. Можно рассматривать письма как своего рода попытку конспиративной переписки (к сожалению, односторонней, поскольку ответными письмами Локкарта мы не располагаем), содержащей информацию вполне определенного свойства.

Можно предположить, что с помощью писем Мура пыталась подать Локкарту какой-то сигнал, знак: например, хотела сообщить ему о той линии поведения, которой она придерживалась на допросах (если такие были), или о той версии ответов на вопросы чекистов, которую она «изобрела» и от которой предлагала ему не отступать. На такую мысль осведомленного читателя наталкивают мемуары самого Локкарта, в которых он описывает первое свидание с Мурой в тюрьме, во время которого она, не страшась присутствия Петерса, передала ему записку из шести слов: «Ничего не говори – все будет хорошо»³¹. Не исключено также, что в письмах Мура пыталась рассказать Локкарту о сделке, заключенной ею с Петерсом, об условиях этой сделки и о ее возможных последствиях для благоприятного исхода дела.

А можно читать письма просто как душераздирающий документ, свидетельствующий об одном из самых драматических эпизодов Муриной жизни, как повесть о любви, страхе и одиночестве перед лицом смертельной опасности. Вариантов прочтения множество, и кто-то, возможно, попытается поискать ключ к разгадке. Мы же намеренно не предлагаем своего толкования текста, не желая ничего навязывать и стремясь избежать дальнейшей мифологизации. Мы не ставим перед собой задачи разгадать «тайну» писем; пусть они говорят сами за себя, и пусть каждый решает, что кроется за этими короткими фразами, обыденными словами и бесконечно повторяющимся вопросом «Как ты спал?». В конце концов, единственно верный ответ был ведом только Муре...

Письма публикуются по копиям с оригиналов, хранящихся в собрании Локкарта в Lilly Library (Indiana University). Первые несколько писем датированы, хотя и не представляется возможным установить, кем это сделано: самим Локкартом, тем, кто сдавал архив на хранение, или сотрудниками архива. Как бы то ни было, при публикации сохранены датировки и последовательность, в которой письма расположены в архивном собрании. В комментарии оговариваются те случаи, когда предположительная дата письма не совпадает с датой события, указанной в мемуарах Локкарта. Перевод писем, написанных по-английски, наш. Русский текст публикуется с сохранением авторских особенностей орфографии и пунктуации. Подчеркнутые слова выделены курсивом, зачеркнутые – помещены в квадратные скобки, авторские конъектуры раскрыты в угловых скобках.

Публикатор выражает благодарность сотрудникам архива и американскому фонду Фулбрайт, стипендия которого сделала возможной работу в архиве.

³¹ См.: Мемуары британского агента. С.308-309.

1¹

6 сентября 1918

My dear, dear Baby

I have just received your letter through Mr. Peters. Please don't be anxious about me. I am quite well and my only trouble is about you. Mr. Peters has promised to release me to-day¹ but I don't mind waiting at all as long as you are not free. I will be able however to send you linen and things and <?> perhaps he will arrange for me to see you. I love you my dear Baby more than life itself and all the hardships of the past days have only linked me all the more to you for life. – Forgive this incoherent <?> letter – I am still bewildered, anxious about you and so lonely but hoping for the best.

Bless you my beloved.

Your Moura¹

<Перевод:>

Мой бесценный,

Я только что получила твое письмо через Петерса. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. У меня все в порядке, и я лишь беспокоюсь о тебе. Петерс обещал выпустить меня сегодня, но я готова ждать, пока ты не будешь на свободе. Во всяком случае, я смогу послать тебе белье и прочее, может быть, он устроит нам свидание. Я люблю тебя, милый, больше жизни, и испытания последних дней лишь навсегда соединили меня с тобой. Прости мне это бессвязное письмо – я все еще смущена и сбита с толку, беспокоюсь о тебе, одинока, но надеюсь на лучшее.

Храни тебя Господь.

Твоя Мура

¹ На бланке: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Отдел Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров. Москва, Б. Лубянка, 11».

² Локкарт в своих воспоминаниях пишет, что Муру освободили на следующий день после его ареста, т. е. 9 сентября. См.: Мемуары британского агента. С.303.

2

6–8 сентября 1918

Friday

My Baby, my beloved Baby.

I have seen you at last¹ and my heart is bleeding at the thought of you, being there, all alone, all the time. Baby, Baby, did you think me a coward for crying. – I couldn't help it, my little one, my wean, – my heart was breaking.

Baby – we must have courage. – Pray God – everything will turn out well and all this will be nothing but a bad dream.

Saturday. My Baby

Your note to-day sounds <?> more cheeful and I am so glad, my Baby. – How I would love to be with you all through. I have packed up everything in the flat and I hope Mr. Peters will be so kind to arrange an interview before they send me out – so as to know what you want to do with you and keep you safe and well. Are you quite well? I miss you, my Baby. Your Moura.

Sunday.

I have talked to-day with Mr. Peters and he will try to arrange for me to see you to-morrow. So we both must have a little patience.

Au-revoir, my beloved till to-morrow.

Yours Moura

<Перевод:>

Пятница

Мой милый, мой любимый.

Наконец я увидела тебя, и мое сердце обливается кровью при мысли о том, что ты там совсем один, всегда. Милый, милый, ты счел мои слезы малодушием. – Я не могла их сдержать, мой маленький, мое дитя, – сердце мое разрывалось.

Милый, мы должны быть мужественны. Даст Бог – все образуется, и все это будет казаться лишь кошмарным сном.

Суббота. Мой милый,

Твоя сегодняшняя записка значительно бодрее, и я так рада, милый. – Как бы я хотела разделить с тобой все это. Я уложила все вещи в квартире и надеюсь, Петерс любезно устроит нам встречу до того, как меня отправят, – чтобы я знала, что ты собираешься делать, и могла позаботиться о тебе. Здоров ли ты? Я скучаю по тебе, милый. Твоя Мура.

Воскресенье.

Я говорила сегодня с Петерсом, и он постарается устроить нам свидание завтра. Нужно немного потерпеть.

Au-gevoir, любимый, до завтра. Твоя Мура

¹ Локкарт пишет, что первое свидание с Мурой состоялось 22 сентября (см.: Мемуары британского агента. С.308).

3

9(?) сентября 1918

Мой милый.

Случилось это незаметно, в тюрьме, когда я узнала, что тебя перевезли в Кремль¹; я совсем не испугалась, т. к. мне было все все равно, лишь бы ты был жив. – Я даже доктора не видела, а теперь совсем здорова, так что мой ужасный вид – это не от того, а оттого, что я очень несчастна, что не с тобой. – Меня очень удручает, что ты так огорчен. Ты наверно теперь меня меньше любишь. Скажи мне. – И потом отчего это меняет твои планы относительно Швеции? Пойми, если ты не хочешь, чтоб я с тобой теперь ехала я не настаиваю, я готова ждать – но отчего твои планы переменялись, после того как ты узнал, что это случилось. – Я так боюсь, что ты меня не так теперь любишь. Пожалуйста напиши мне сейчас отчего твои планы переменялись. – И не надо горевать – я молю Бога, что дам тебе то же самое еще. – Как ты можешь писать, что иллюзии напрасны. –

Жду твоего ответа, мой милый. – Что касается моего переезда, то конечно для меня это будет счастье. Я сама ни одной минуты не колеблюсь. Письмо тебе послала.

Такие ли ты хочешь тетради? –

Пока целую и жду ответа, милый. –

Mouga...

¹ В момент ареста Мура ждала ребенка, в тюрьме у нее произошел выкидыш. Локкарта, судя по его воспоминаниям, перевели в Кремль 8 сентября (см.: Мемуары британского агента. С.302).

4

Сентябрь 1918¹

Мой милый.

Как ты спал? – Получил-ли ты мое письмо? – Напиши, если тебе что-нибудь нужно. Целую. Mouga.

¹ Далее эта датировка везде по умолчанию.

5

Мой милый.

Посылаю тебе Фукидида¹. Что ты с ним будешь делать? – Надеюсь сегодня увидимся. Как ты спал? – Целую. Моуга.

¹ Ср. воспоминания Локкарта:

Вот что я прочел за три недели пребывания в Кремле: Фукидида, Ренана – «Воспоминание детства и юности», Ранке – «История папства», Шиллера – «Валленштейн», Ростана – «Орленок», Архенгольца <так!> – «История семилетней войны», Бельтце – «История войны 1812 года в России», Зудермана – «Розы», Маколея – «Жизнь и письма», Стивенсона – «Путешествие с ослом», Кипплинга – «Смелые капитаны», Уэллса – «Остров доктора Моро», Голланда Роза – «Жизнь Наполеона», Карлейля – «Французская революция» и Ленина и Зиновьева – «Против течения».

(Мемуары британского агента. С.304).

6

Милый.

Посылаю книги и белье. – Очень надеюсь, что сегодня свидание удастся. Очень хочется тебя видеть. – Постараюсь увидеть Карахана в 2 ч<аса>. – Как ты спал? Целую. Моуга

7

Мой милый.

Я так рада была получить твое письмо. – Отправляю свое сегодня. Как ты спал? – Нужно ли тебе еще тетрадей.

Целую. Моуга

Надо ли тебе еще сгущенного <так!> молока? Насчет тех вещей, которые ты сказал в твоём письменном столе – я их передала Уорвелю¹.

¹ Глава американской миссии Красного Креста в Москве.

8

Мой милый.

Ты не думай, что я забыла про Гамлета. Я его тебе завтра утром принесу. А какую ты хочешь книгу по Японии? – Сгущенное молоко

тоже принесу завтра. – Письмо тебе послала. Известия хорошие.¹ Здоровье мое хорошо, но тоже плохо сплю. – Надеюсь до завтра, мой милый.

Целую. Moura.

¹ Далее – карандашом на верхнем поле страницы.

9

Мой милый.

Еще ничего тебе не могу сказать о свидании. – Был ли у тебя Карахан¹. Я вчера ему звонила и он сказал, что будет. Как ты спал?

Целую. Moura.

¹ По воспоминаниям Локкарта, Карахан был у него за время заключения четыре раза: в конце первой недели, 21 сентября, 26 сентября и 1 октября (см.: Мемуары британского агента. С.306, 308, 310, 315).

10

Милый мой.

Ужасно беспокоюсь за твою руку. Карахан сказал мне, что у тебя ревматизм. – *Очень прошу тебя*, ради меня прими 3 раза в день по порошку, помажь себе руку камфорным маслом и *непрерывно* надень эти фланелевые рубашки. Очень, очень прошу тебя, сделай это. – Я очень беспокоюсь. Может-быть свидание будет сегодня, но боюсь обещать т. к. Петерс так занят. Карахан обещал устроить насчет квартиры; Дора и Иван¹ вернулись. Очень скучаю, все время думаю о тебе. Дай Бог все хорошо кончится мой милый.

Целую. Moura

Напиши что бы тебе еще хотелось есть и вообще что еще надо.

Ты знаешь, что на 1 час перевели назад время?

¹ Слуги в московской квартире Локкарта.

11

Wednesday night

My Dearest

It appears we have got to be patient and wait for a few days before I can see you. It is frightfully hard – but we've got to be brave and bear it.

Baby mine – it seems useless to write and tell you that I constantly think of you, miss you, worry about you. – You are just all my life – you are all my happiness – all my joy of existence. – So I walk about and breathe and pretend to live – but all my soul, all my being is with you, all the time. – You ought to feel my presence there, next to you, in that room, every detail of which has remained in my brain, that day, when I was allowed to see you. – The sofa with the little blue cushion I sent you, where your dear curly head rests – and the litter of books¹; and the patience – and you, you, my Baby, there, alone, away from me. –

I wanted my letter to be cheeful and hopeful – but – I'm so lonely, Babykins, so lonely without you.

Dora and Ivan are back, but they worry the life out of me, crying and remembering their prison experiences. – Dora is ill, directly she will be well again – she will make some scones and I will bring them to you. – How is your arm? I hope it is not too damp in your room. – Do you go out? Shall I bring you your warm blue coat? I am sending some Russian books – tell me if you want some others. –

Well – good-night, my life, my Baby. God bless you and keep you safe and well. –

I kiss you so tenderly, so lovingly, my dearest.

Your Moura²

<Перевод:>

Пятница, вечер

Мой милый,

Похоже, нам придется запастись терпением и подождать несколько дней, пока я смогу тебя увидеть. Это ужасно трудно – но мы должны набраться мужества и вынести это.

Милый мой – какой смысл писать о том, что я неустанно думаю о тебе, скучаю по тебе, беспокоюсь о тебе. – Ты вся моя жизнь – все мое счастье – вся моя радость. – Я хожу, и дышу, и делаю вид, что живу, – но всем сердцем, всем своим существом я всегда с тобой. – Ты должен чувствовать мое присутствие рядом с тобой, в этой комнате, образ которой запечатлелся в моей памяти в тот день, когда мне позволили повидаться с тобой. – Диван с голубой подушечкой, которую я тебе прислала, и на которой покоится твоя милая кудрявая голова, – и разбросанные в беспорядке книги; и пасьянс – и ты, ты, мой милый, там, один, вдали от меня. –

Я хотела написать бодрое и полное надежды письмо, – но мне так одиноко, мой бесконечно милый, так одиноко без тебя.

Дора и Иван вернулись, но они изводят меня, все время плачут и вспоминают, что с ними было в тюрьме. – Дора больна, как только

ей станет лучше, она испечет лепешек, и я принесу их тебе. – Как твоя рука? Надеюсь, в твоей комнате не слишком сыро. – Гуляешь ли ты? Принести тебе теплое синее пальто? Посылаю русские книги – скажи, нужны ли еще какие-нибудь.

Что ж, спокойной ночи, мой милый, жизнь моя. Храни тебя Бог. – Целую тебя нежно, мой дорогой.

Твоя Мура

¹ Ср. мемуары Локкарта:

Заключение мое длилось ровно месяц. Его можно разделить на два периода: первый продолжался несколько дней и был отмечен неудобствами и страхом; второй, длившийся двадцать четыре дня, можно назвать периодом сравнительного комфорта, сопровождаемого острым душевным напряжением.

(Мемуары британского агента. С.298).

² В этом же конверте – записка по-русски:

Милый, исполню все что ты просишь, книги принесу завтра, а также письмо. Свидания может быть завтра не будет а послезавтра. Храни тебя Бог. М.

12

Мой милый.

Петерс обещал мне устроить свидание завтра. Слава Богу, наконец я тебя увижу. Как ты себя чувствуешь. Скучаю, думаю о тебе все время. Получил ли письмо. – Ты действительно думаешь, что я тебе нужна?

Целую. Moura

<Приписано карандашом на верхнем поле страницы:>

Ты не хочешь, чтобы я принесла тебе чаю? Был ли у тебя Карахан. Хочешь ли ты, чтоб я ему позвонила, чтоб он к тебе приехал.

13

Милый.

Как ты себя чувствуешь. Увижу тебя скоро, может быть завтра. – Все будет хорошо. – Был ли Карахан. – Написала тебе письмо – завтра получишь.

Целую. Moura

14

Мой милый.

Еще не получила письмо. – Не знаю будет ли сегодня свидание, т. к. еще не говорила с Петерсом – сейчас буду. Как ты спал. Нужно ли тебе что?

Целую. Moura

15

Мой милый.

Ты не пишешь сделал ли ты что я тебя прошу для руки. – О свидании я говорила вчера с Караханом, он обещал помочь, но м. б. Петерс сделает сам по себе. – Напиши если у тебя хватает еще меду, сыру, мыла, eau de quinine¹ – и т. д. – Мое утешение тебе все это доставать. –

Целую, надеюсь до скорого свидания. Moura

¹ Настойка хинина.

16

Мой милый.

Представь себе – нигде не могу найти [Greek] History of Greece. – Посылаю пока эти <книги?> и атласы. –

Пожалуйста пошли мне сейчас обратно термос который не от кофе. Скоро к тебе приду. Ты хорошо спал?

Целую. Moura.

17

Милый.

Конечно если ты думаешь что это хорошо то я пойду к Карахану. Надеюсь скоро увидеть тебя. Хочешь супу?

Целую. Moura

сардины	рябчик
огурцы	бумага
икра	<1 слово нрзб.>
полотенце	книги
фрукты	чернила

18

Милый мой.

Постараюсь достать еще табак. – Еслиб ты знал как мне хочется тебя видеть. – Как твоё здоровье.

Целую, мой милый.

Moura

19

Мой милый.

Кажется, сегодня удастся, но если нет – ради Бога не волнуйся – не беспокойся, знай, что я сделаю все, чтобы тебя видеть. – Постарайся спать.

Целую. Moura

20

Мой милый, дорогой. –

Меня ужасно беспокоит, что ты видел доктора. Ты наверно скрываешь и рука твоя очень болит. Напиши, что он у тебя нашел. Приношу лекарство. – Позвоню Карахану. Посылаю еще 1/2 ф<унта> табак. – Хочешь ли еще сигар? – Что ты называешь Reklam<?>-Bibliothek? – Напиши подробно. –

До завтра – целую.

Moura

21

Мой милый.

Я так была разочарована, что вчера не удалось свидание, надеюсь, что тебе передали и что ты не долго напрасно ждал. Надеюсь, что сегодня будет удачнее. – Петерс ни за что не хочет чтоб без него¹. Был ли у тебя Карахан. Нужно ли тебе что? Как ты спал, как твоё здоровье.

Целую Moura²

<Приписка сбоку карандашом:>

Сконы² верно очень нехорошие, но Дора совсем больна и лежит, так что придется тебе есть такие!»

¹ Ср. мемуары Локкарта: «На следующий день Петерс нанес мне неожиданный визит. Он привез с собой Муру. Был день его рождения (ему было тридцать два года), а так как он предпочитал не получать

подарки, а дарить сам, в виде праздничного подарка он привез Муру»; «Через два дня (т. е. 28 сентября) приехал Петерс с Мурой. <...> Он сообщил мне, что во Вторник меня освободят. <...> Он оставил нас с ней вдвоем. <...> Мы смеялись и плакали. Потом принялись говорить» (Мемуары британского агента. С.308, 311, 312).

² От *scope* (англ.) – лепешка.

22

Мой милый.

Карахан у тебя сегодня будет. Пока достала тебе 2 таких платка и такую eau de quinine, так как сегодня магазины закрыты. – Сейчас буду говорить с Петерсом. Надеюсь до скорого.

Целую Moura

23

Милый мой.

Получил ли ты мое письмо и вчера Velvet Tobacco? – Попробую еще сегодня насчет свидания, но ты лучше сам скажи Карахану. – Какие ты хочешь немецкие книги? Целую тебя милый мой, думаю о тебе беспрестанно.

Moura

24

Милый.

Очень надеюсь, что сегодня после 4-х разрешат тебя видеть. – Думаю только о тебе – посылаю книги и кофе, масло хлеб мясо, масло, мед.

Целую. Moura

25

Милый

Сделаю все возможное. Будь спокоен. – Посылаю обед.

Целую. Moura

26

Милый

Посылаю пирожки капусту огурцы котлеты. Все мокрое так как такой дождь. –

Может быть свидание будет завтра или после завтра. Употребила все усилия. Напиши что тебе еще надо.

Целую Moura

27

Милый мой.

Еще не была ни у Карахана ни у Петерса, так что о свидании не знаю. – Напиши все ли у тебя есть.

Целую. Moura

28

Милый.

Сегодня Петерс не может устроить свидания – обещал завтра. –

Письмо ты получишь сегодня. – Есть хорошие известия. – Книжки и белье принесу завтра утром. Завтра увижу Карахана. –

Целую. Думаю о тебе все время. Как хорошо ты пишешь по русски. Господь с тобой. Береги себя.

Moura

29

Мой милый.

К сожалению, Петерс не может устроить свидания сегодня или завтра, а в пятницу. Письмо только что получила и пишу тебе сегодня. Будь здоров, мой милый. Спасибо за письмо.

Целую. Moura

30

Мой милый.

Получил ли ты мое письмо. Ножницы принесу завтра. Как ты себя чувствуешь. – Делаю все возможное чтоб получить свидание.

«УЖ ЕСЛИ ЗАТРЕЩАЛИ ГАЗЕТЫ!»

(Из истории эмигрантской периодики)

Три письма М.А.Алданова к Б.К. и В.А. Зайцевым

Публикация и примечания Джона Малмстада

В воскресенье 3 мая 1936 Народный фронт Франции – союз левых партий, которые объединило общее недовольство экономическим положением (застой и возрастающая безработица) и страх перед фашизмом, – победил на общих выборах, получив достаточно голосов для того, чтобы сформировать новое социалистическое правительство. Спустя две недели и еще до формирования нового кабинета Францию потрясло самое большое забастовочное движение в истории Третьей республики. Волна забастовок, которая сопровождалась занятием заводов и фабрик, а затем и кафе, ресторанов, парикмахерских, гостиниц и т. д., начавшаяся в Париже и его окрестностях, вскоре распространилась на провинции, охватив всю страну. Большинство забастовок возникло спонтанно (для левых они оказались абсолютным сюрпризом) и с самого начала имело вполне мирный характер. На предприятиях царил едва ли не карнавальная атмосфера. Но как только стихла одна волна забастовок, тут же начались другие, к смущению как правительства, так и глав синдикатов, потерявших контроль над своими подчиненными. 7 июня представители нового социалистического правительства, профсоюзов и предпринимателей пришли к соглашению насчет главных требований бастующих, которые получили право на коллективный договор, общее повышение зарплаты, сорокачасовую рабочую неделю и отпуск с сохранением зарплаты.

Забастовки, однако, не прекратились, а напротив, еще больше усилились. Больше 300 заводов и фабрик были заняты рабочими. Почти два миллиона бастующих принимали участие в этих забастовочных акциях по всей стране. К облегчению всех сторон, как правых, так и левых, забастовки и многочисленные демонстрации продолжали оставаться мирными, и крупных беспорядков не последовало. Тем не менее публика, вначале симпати-

зировавшая бастующим, со временем стала терять терпение из-за растущих неудобств и усиливающейся опасности (полицейские сами часто не выходили на работу). Некоторые стали говорить о якобы немецком заговоре, большинство же обвиняло коммунистов. Встревожил многих (особенно эмигрантов, нашедших себе во Франции пристанище от беспорядков другого масштаба) Троцкий, который приветствовал происходящее и провозгласил начало новой, «настоящей», великой французской революции. Но лидер Народного фронта Леон Блюм не был Лениным, а Морис Торез, генеральный секретарь ФКП, делал все, что было в его силах, чтобы вернуть рабочих на места, а не усиливать конфронтацию с правительством. К середине июля положение как-то более или менее нормализовалось, но дорогой ценой. Французское общество стало гораздо более, чем прежде, политизированным и опасно поляризовалось. Отчасти в событиях лета 1936 года можно найти причины крушения в 1940.

Избежать роста цен было невозможно. Кто-то должен был платить за повышение зарплат и социальных пособий, которые на 35% увеличили издержки производства. Их увеличение привело к росту цен на все продукты. Газеты и журналы сразу стали стоить на 25% больше. Налог на книги теперь был уже 6%, а не 2% как раньше, и читающая публика должна была принять это повышение цен. Франкоязычные издатели и читатели ворчали, но платили. Русское издательское дело, давно находившееся в стесненном положении, оказалось особенно беззащитным в новых социальных обстоятельствах. Издатели сразу сократили и без того небольшое количество книг, выпускаемых ими, а одна из двух главных русских ежедневных газет во Франции – «Возрождение» – вообще едва не прекратила свое существование.

Публикуемые ниже письма М.Алданова (наст. имя Марк Александрович Ландау; 1886–1957) к Б.К.Зайцеву (1881–1972) и его жене Вере Алексеевне (1878–1965) бросают свет на события июня 1936¹.

* * *

Три письма (машинопись с добавлениями и приписками от руки) публикуются впервые. Орфография приведена к современным нормам. Авторские конъектуры раскрыты в угловых скобках. Подчеркнутые слова выделены курсивом. Оригиналы находятся в фонде М.Алданова в Бахметевском архиве при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

¹ Читая их, я невольно думал, что даже Володя Аллой, будь он жив и активен в то время, не смог бы найти выход из подобного кризиса. К счастью для нас, он жил в другое время, и его огромный вклад в дело сохранения русской культуры и исторической памяти – полки книг, подготовленных и изданных им, – приносят нам (и будущим читателям) пользу, которую трудно переоценить. «Память», «Минувшее» и многочисленные книги остаются свидетельством его проницательности и интеллекта, равно как и его неутомимой энергии, организационного дара и энтузиазма, никогда не ослабевавшего перед лицом экономических проблем, которые он всегда умел преодолеть. Он был очень любим. Его очень всем нам не хватает.

1

11, rue Gudin¹
21 июня 1936

Дорогая Вера Алексеевна,

Сегодня получил Ваше письмо и завтра же отвезу заметку в «П<оследние> Нов<ости>», – они, конечно, поместят и послезавтра, и в субботу². Желаю большого успеха вечеру. Рад, что Вы довольны Монте-Карло, – очень и мне хотелось бы поехать в Ваши места, да где уж! Очень ли Вы встревожены заметкой «Возрождения» о забастовке?³ Это здесь большая сенсация. Обе типографии, наша и «Ваша», предъявили одинаковые требования. Нам они будут стоить – одни говорят 70 тысяч⁴, другие 100 тысяч в год, а Гукасову⁵, по слухам, до 200 тысяч⁶, так как у него в типографии ставки были значительно ниже наших. «Последние Новости» требования рабочих приняли, – поторговались (синдикат ничего не уступил), но с проклятьями приняли, так как выбора у них нет. Таким образом наша газета теперь начнет давать большой убыток. Однако обещают, по крайней мере, до Нового года наших окладов и гонораров не сокращать⁷. Гукасов же, как говорят, отказался принять требования, и сегодня «Возрождение» не вышло⁸. Вчера Лоллий Львов⁹ рассказывал, что Гукасов решил прекратить издание газеты; по другим сведениям, он ее перенесет в другую страну; по третьим сведениям (по-моему, наиболее все же вероятным), он как-нибудь сторгуется с рабочими, – боюсь только, что последуют новые сокращения в редакции. С ужасом думаю, – что будет с 50–60 семьями, если «Возрождение» закроется! Куда денется хотя бы Ваш друг Ходасевич¹⁰? Милюков совершенно его не выносит¹¹, и едва ли может быть речь о том, чтоб он писал в «Посл<едних> Нов<остях>». Если предположить худшее, т. е. закрытие «Возрождения», то очень ли это отразится на делах Бориса Константиновича, и как он намерен поступить? Все это пишу Вам, разумеется, конфиденциально, – можете сообщить только Буниным¹². Да, плохие настали времена для нас всех. Уж если затрещали газеты! Ну, ладно, не буду, – хотя Артамоновна всегда правду говорила, а?

Таня¹³ приезжает 30-го. Уедем мы, если будут деньги, в августе, а куда, еще совершенно не знаю. Сердечный привет Вам, Б<орису> К<онстантиновичу>, Наташе, ее супругу¹⁴ и вилле Бельведер¹⁵. Как здоровье брата В<еры> Ник<олаевны>¹⁶?

Ваш МЛ<андау>

Вчера был обед «рыцарей» в ресторане «Киев». Тэффи пела. Но ей тоже невесело. Я не успел с ней поговорить: далеко сидели друг

от друга, и я рано ушел, – слишком шумное было веселье, и душно до невозможности.

¹ Ср. письмо Алданова к А.В.Амфитеатрову от 16 марта 1936: «Мы скоро переежаем (15 апреля – нашли новую квартиру 11, rue Gudin, XVI, много хуже нынешней, но и много дешевле)» («Парижский философ из русских евреев»: Письма М.Алданова к А.Амфитеатрову / Публ. Э.Гарэтто и А.Добкина // Минувшее: Исторический альманах. Вып.22. СПб., 1997 (далее – Минувшее, с указанием номера выпуска и страницы). С.600).

² Имеется в виду следующее объявление: «Ницца. Вечер Б.К.Зайцева. 28 июня в 8½ часов вечера в Ницце, Вилла Карлония, 13, рю Макарани, Б.К.Зайцев прочтет 1) “Валаам”, 2) отрывки из своего нового романа “Путешествие Глеба”. Билеты в 10, 5 и 3 франка при входе» (Последние новости. 1936. №5569, 23 июня). 23 июня – вторник. Заметка была повторена и в №5573 газеты, который вышел в субботу 27 июня. Ср. письмо Зайцева к Бунину от 30 марта 1936: «Если сможем двинуться, то буду читать в Ницце о Валааме, что-нибудь подработаю» (Письма Б.Зайцева И. и В. Буниным / Публ. М.Грин // Новый журнал. 1982. №149 (далее – Новый журнал, с указанием страницы). С.143).

³ См. заметку на первой странице газеты: «Волна забастовок, прокатившаяся по Франции, затронула и некоторые типографии, в частности, типографию “Навар”, в которой печатается “Возрождение”. Можно ожидать кратковременного перерыва выхода газеты. Ведутся переговоры с синдикатом. Редакция, со своей стороны, примет все меры, дабы национальное дело, начатое газетой одиннадцать лет тому назад, продолжалось» (Возрождение. 1936. №4034, 20 июня).

⁴ Ср. письмо Алданова к А.В.Амфитеатрову от 14 июня 1936: «В частном порядке сообщаю Вам, что типографии, в которой печатаются “Посл<едние> Новости”, повышение заработной платы и 40-часовая рабочая неделя обойдутся тысяч в 70 в год. Это типография немедленно возложит на газету, а газета теперь и так дефицитна (пока еще, после сокращения расходов и построчной платы, дефицит невелик). То же самое, вероятно, будет или уже происходит в типографии “Возрождения” – у них собственная. Долго ли обе газеты просуществуют при таких условиях? Повысить цену они не могут и потому, что читателю и 50 сантимов за номер платить трудно, и потому еще, что во Франции, если газета стоит больше 50 сантимов, то она должна платить налог на оборот, составляющий весьма круглую сумму» (Минувшее. Вып.22. С.601).

⁵ Гукасов (Гукасянц) Абрам Осипович (1872–1969) – промышленник, общественный деятель, основатель и владелец газеты «Возрождение». Его нефтяная фирма субсидировала газету (несомненно

убыточную), контора фирмы выплачивала жалование сотрудникам газеты.

⁶ Ср. письмо Б.К.Зайцева к И.А.Бунину от 8 июля 1936: «Ты, вероятно, уже знаешь, что “В<озрожден>ие” закрылось, Авраам <Гукасов. – Д.М.> не захотел выкладывать 200 тыс.<яч> фр<анков> в год лишних на типографию (требов<ание> синдикатов)» (Новый журнал. С.143). Ср. запись в дневнике И.А.Бунина от 14 июня 1936: «Видел в Ницце Зайцевых. <...> – грустные, подавленные тем, что происходит в Париже» (Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М.Грин. Франкфурт-на-Майне, 1977–1982. Т.3. С.20).

⁷ Ср. письмо Алданова к А.В.Амфитеатрову от 14 ноября 1936: «Не очень много дает и газетная работа: и “Посл<едние> Новости”, и “Сегодня” сократили все гонорары процентов на двадцать» (Минувшее. Вып.22. С.604).

⁸ Ср.: «Вследствие забастовки в типографии, где печатается газета, вчера “Возрождение” не вышло» (Последние новости. 1936. №5568, 22 июня).

⁹ Львов Лоллий Иванович (1888–1967) – поэт, прозаик, литературный и художественный критик. В Париже с 1920, постоянный сотрудник «Возрождения».

¹⁰ Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, критик; старый друг Зайцевых с начала 1900-х в Москве. Начиная с 1927 и до своей смерти возглавлял литературный отдел «Возрождения». 24 июня 1936 он писал Н.Н.Берберовой: «Был в редакции. Ничего неизвестно. Можешь проверять все слухи, плохие и хорошие одинаково, ибо никак нельзя сказать, к чему приведет гукасовское упрямство + семеновская глупость (доходящая до “измены”) + еще всевозможные запутанные обстоятельства. Планы и настроения меняются каждые 5 минут. Если что узнаю – позвоню тебе» (Письма В.Ходасевича к Н.Берберовой / Публ. Д.Бетеа // Минувшее. Вып.5. Париж, 1988. С.311). Ю.Ф.Семенов (1873–1947) был редактором (с 1927) «Возрождения».

¹¹ Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – общественно-политический деятель (кадет), историк, публицист; в марте–мае 1917 – министр иностранных дел Временного правительства. С 1921 в Париже, редактор газеты «Последние новости» (1921–1940). Ср.: «Милюков сказал ему <Ходасевичу> однажды (когда он краткое время пытался работать в его газете “Последние новости”), что он газете совершенно не нужен» (Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С.260).

¹² Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) и его жена Вера Николаевна (урожд. Муромцева; 1881–1961). Они познакомились 4 ноября 1906 на московской квартире Зайцевых. Бунин ушел из «Возрождения» осенью 1927, когда редактор газеты П.Б.Струве был заменен Ю.Ф.Семеновым.

¹³ Жена Алданова, его двоюродная сестра – Татьяна Марковна (урожд. Зайцева; 1893–1968).

¹⁴ Наталья Борисовна Зайцева (род. 1912) 6 марта 1932 вышла замуж за Андрея Владимировича Соллогуба (1906–1996).

¹⁵ Вилла Бельведер (Villa Belvédère) в Грассе (Grasse, Alpes-Maritimes) на Лазурном берегу недалеко от Канн была основной южной резиденцией Буниных с начала мая 1925 до сентября 1939, за исключением краткого периода (1938–1939), когда они жили недалеко от Монако. Зайцевы провели вторую половину июля и август у Буниных. Ср. письмо Зайцева к Буниным от 8 июля 1936 из Ниццы: «Дорогие мои, идем на Вы. Думаем приехать 15-го в среду, на автокаре из Ниццы» (Новый журнал. С.143).

¹⁶ Муромцев Дмитрий Николаевич – брат В.Н.Муромцевой-Буниной, юрист; умер от рака 23 сентября 1937 в Советской России (см. дневник В.Н.Буниной. – Leeds Russian Archive. MS. 1067/412). Ср. записи в ее дневнике от 17 мая 1936: «Получила письмо и открытку от Мити. Писал сам – “Четыре дня прошло от 7 мая, дня операции. <...> Держу себя бодро, не распускаюсь”»; и 30 мая того же года: «Спала плохо: все думала, где достать денег, чтобы Мите хоть месяц отдохнуть» (Устами Буниных... Т.3. С.19).

2

11, rue Gudin, XVI
1 июля 1936

Дорогой Борис Константинович,

Только что получил Ваше письмо. Я очень огорчен тем, что материальный успех Вашего чтения был небольшой. Конечно, в этой обстановке другого нельзя было и ждать.

Вопрос о «Возрождении» позавчера как будто решился. Газета окончательно закрылась. Вчера Ходасевич сообщил Нине Николаевне¹ (а она нам), что позавчера состоялось заседание 15 главных сотрудников². Гукасов сказал речь, что служили национальному делу, «хотя у меня есть и своя маленькая родина, Армения», но больше он тратить деньги не может и газету закрывает; сотрудникам же предлагает вместо этого издавать еженедельник. Поднялся бурный ропот, и сотрудники, в частности, по словам Ходасевича, Майер³, наговорили ему очень неприятных вещей: еженедельник – это значит, Вы хотите нам уменьшить заработок в 7 раз и заодно не заплатить нам ликвидационных, которые нам полагаются по недавнему французскому закону, – так как газета, мол, не закрылась, а лишь стала еженедельной. Присоединился к этому и Тимашев⁴. Прямо с

заседания Тимашев и Любимов⁵ отправились к адвокату, – узнать насчет того, как взыскивать ликвидационные (за предложение создать еженедельник высказался только Ольденбург⁶, по идейным соображениям). Адвокат дал сведения обнадеживающие. Но узнав об адвокате, Гукасов будто бы очень испугался и заявил через Лорана⁷, что сегодня, 1-го, сделает сотрудникам денежное предложение. Они подсчитали, что он им должен уплатить по закону 400 тысяч франков. Думаю, что столько он не заплатит и предпочтет судиться, если сотрудники не уступят. Это, впрочем, суд «прюдом»⁸, довольно быстрый во Франции.

Сообщаю Вам все это, если Вам не сообщают другие, подробно, дабы и Вы могли сделать попытку получить с Гукасова хоть немного денег. Не скрою, Ваше положение спорное: Вы ведь постоянного, определенного заработка в газете не имели. Но все-таки, по-моему, Вы могли бы сослаться на то, что вначале имели какой-то гарантированный минимум или «фикс»⁹ (ведь так?), работаете в газете не эпизодически, а много лет и т. д. Очень Вам советуя передать защиту Ваших интересов какому-либо верному и настойчивому сотруднику «Возрождения» или адвокату. Риск невелик, а может быть, что-либо и получите.

Теперь другое. Тэффи Вы напрасно жалеете. Она получит с Гукасова немалую сумму (ей, говорят, причитается больше всех, чуть ли не 30 тысяч), и немедленно перейдет в «Посл<едние> Новости», которые ей будут очень рады. Я позволил себе, разумеется, по своей инициативе и от своего имени, – позондировать почву в нашей газете, кого еще могли бы пригласить «Посл<едние> Новости» (насчет Тэффи и сомнений не было). Павел Николаевич <Милоков> сказал, что «был бы рад также Зайцеву и Шмелеву¹⁰». Больше ни о ком речи нет, – прежде всего потому, что, как Вы знаете, в «Посл<едних> Новостях» места давно очень мало, – всегда «завал» и бесчисленные жалобы. Теперь как быть? Как Вы к этому относитесь? Хотите ли Вы, чтобы я поговорил уже «официально», от Вашего имени? Предупреждаю Вас: Павел Николаевич – редактор непреклонный, Вы его знаете. Но он к Вам очень «благоволит» и беллетристику Вашу, я уверен, будет печатать очень охотно. Вот насчет Тэффи я далеко не так уверен: вполне допускаю, что из 4 фельетонов он один будет возвращать ей. Все это конфиденциально, – можете сообщить только Буниным.

А вот Ходасевича дело очень плохо. Он, к моему удивлению, вел¹¹, так как рассчитывает получить с Гукасова 18 тысяч ликвидационных (по закону полагается месяц за год плюс два месяца при уходе), а дальше вперед не заглядывает. 18 тысяч – деньги порядочные, но

1) получит ли он их? 2) все же они за 10 месяцев уйдут, а дальше что? Еще гораздо хуже положение бедного Амфитеатрова¹². Да и все остальные – Лукаш¹³, Рошин¹⁴, Ольденбург, Чебышев¹⁵ и др. ...

Ну вот, пишу только о делах.

Целую руки В<ере> А<лексеевне>, всем самый сердечный привет. Вчера вернулась Таня. Она еще спит (8 часов утра).

Жду «Валаама»¹⁶, желаю большого успеха.

Ваш М.Ландау

<Приписка вдоль края первого листа:>

«Посл<едние> Нов<ости>» на закрытии «Возрождения» не разбогатеют. Тираж увеличится, но расходы выросли катастрофически: позавчера повысилась сильно в цене и бумага¹⁷.

¹ Берберова Нина Николаевна (1901–1993) – писательница, третья (гражданская) жена Ходасевича. Разошлась с ним весной 1932.

² См. запись за понедельник 29 июня 1936 в «Камер-фурьерском журнале» В.Ф.Ходасевича: «В Возр<ождение>. (Тэффи). С ней в кафэ (Долинский). В Возр<ождение> (Семенов, Гукасов, Чебышев, Мейер, Горянский, Тимашев, Ренников, Рошин, Долинский, Любимов, Ольденбург, Коровин, Поль...). С подчеркнутыми в кафэ»; и за 30 июня: «В Возрождение (те же)» (Ходасевич В. Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С.280).

³ Правильно: Мейер Георгий Андреевич (1894–1966) – публицист, критик, литературовед, сотрудник «Возрождения» (1925–1940) и «Современных записок». Член Союза молодых писателей и поэтов в Париже.

⁴ Тимашев Николай Сергеевич (1886–1970) – правовед, социолог, экономист, публицист. С 1928 – в Париже; помощник редактора газеты «Возрождение» (1928–1936), где главным образом печатал статьи по вопросам внутренней политики и экономики СССР. В сентябре 1936 уехал в Нью-Йорк, продолжал печататься в «Возрождении». Умер в Америке.

⁵ Любимов Лев Дмитриевич (1902–1976) – журналист, мемуарист; в Париже с 1926. До 1940 сотрудник «Возрождения» (в том числе выступал под псевдонимом «Амадис»), член редакции газеты. Приветствовал приход немцев в Париж, сотрудничал с ними. После войны член Союза советских патриотов, сотрудничал в «Советском патриоте». Выслан из Франции в 1948, вернулся в СССР. См. его мемуары «На чужбине» (М., 1963).

⁶ Ольденбург Сергей Сергеевич (1887–1940) – историк, публицист. Сын академика С.Ф.Ольденбурга, отец французской писательницы Зои

Ольденбург (Zoé Oldenburg). В Париже с 1923. Один из ближайших сотрудников «Возрождения» (готовил первую страницу, освещавшую важнейшие события текущего дня).

⁷ Неустановленное лицо. По-видимому, французский адвокат Гукова.

⁸ Имеется в виду «conseil des prud'hommes» – структура, занимающаяся урегулированием трудовых конфликтов

⁹ fixe (франц.) – постоянная зарплата.

¹⁰ Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – прозаик, публицист. В Париже с 1923; постоянный сотрудник «Возрождения».

¹¹ Ср. письмо В.Ходасевича к Н.Берберовой от 24 июня 1936: «Все это может кончит<ь>ся полной катастрофой, но настроение у меня отличное – так я устал и так опротивело *Возрождение*, что любой развяске я был бы рад» (Минувшее. Вып.5. С.311).

¹² Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) – прозаик, критик, публицист, переводчик. С 1922 – в Италии. Алданов постоянно заботился о его финансовом положении.

¹³ Лукаш Иван Созонтович (1892–1940) – прозаик, драматург, критик, журналист. С 1927 – в Париже. В 1933 выдвинул идею обратиться к Гитлеру с просьбой о создании из русских эмигрантов добровольческого корпуса для войны с СССР.

¹⁴ Роцин (наст. фам. Федоров) Николай Яковлевич (1892? 1896? – 1956) – прозаик, критик; постоянный сотрудник «Возрождения». С 1926 жил периодически у Буниных в Париже и в Грассе. В 1944 вступил во французскую компартию, сотрудничал в просоветской периодике. В 1946 вернулся в СССР, где работал как журналист.

¹⁵ Чебышев Николай Николаевич (1865–1937) – юрист, общественно-политический деятель, публицист, журналист. В Париже с 1924; постоянный сотрудник «Возрождения».

¹⁶ Имеется в виду произведение Зайцева «Валаам. Очерк монастырской жизни», которое печаталось в «Возрождении» с 3 ноября 1935 (№3805) по 8 марта (№3931) 1936. Выпуск отдельной книгой в издательстве «Возрождение» не состоялся из-за финансового кризиса. Книга вышла в Таллине в 1936.

¹⁷ Ср. письмо Зайцева к Бунину от 8 июля 1936: «Марко Богатый (Алданов. – Д.М.) пишет, что и “П<оследние> Н<овости>” будут теперь приносить убыток (ибо и цена бумаги поднялась сильно. Все же у них сразу возрос тираж, и за ними избранный народ)» (Новый журнал. С.143).

11, rue Gudin
10 июля 1936

Дорогие Вера Алексеевна, Борис Константинович,

Получил Ваше письмо, спасибо. Рад тому, что Вы склонны работать в «Посл<едних> Новостях», – неужели Вы сомневались в том, что это газета антибольшевистская?! (Вы пишете: «считаю, что»...) Видите, какие у нас сотрудники появились за одну только последнюю неделю: митрополит Евлогий¹, адмирал Кедров², адмирал Муравьев³, – будет еще какая-то на днях военно-политическая статья адмирала Кононова⁴, – прямо «Морской Вестник»! Без шуток – приедете в Париж, договоритесь как следует и об условиях. Но считайте себя обязанным Вам сказать, что в последние 3–4 дня идут новые слухи о «Возрождении». Ходасевич четыре часа (!) беседовал с Гукасовым⁵ и будто бы убедил его издавать еженедельную газету типа «Гренгуара»⁶. Меня это удивляет, ибо еженедельник им с самого начала предлагал издавать сам Гукасов, и сотрудники от этого отказались, – что ж теперь было его «убеждать»? Говорят также, что Гукасов обещал со временем превратить этот еженедельник в ежедневную газету⁷. Но одним словом последняя информация (в точности, конечно, я не уверен), такова: в ближайшие дни выйдет еженедельная газета на 12 страницах, из которых 6 отводятся литературе, искусству и т. д.⁸ Кто будет редактором, неизвестно, говорят о Долинском⁹, о Ходасевиче. Таким образом, у сотрудников, писавших не чаще раза в неделю, как Ходасевич или Тэффи, либо еще реже, как Вы, заработок теоретически сократиться не должен. Поэтому положение Тэффи или Шмелева, которые уже сговорились с «Последними Новостями» (или почти сговорились, – Шмелев разговаривал не лично, а через Зеелера¹⁰), самое удивительное: уйдут в «Посл<едние> Новости», значит, ушли по своей воле: тогда Тэффи ликвидационных от Гукасова не получит. Между тем сейчас Тэффи не получает от «Возрождения» ничего, и нельзя же так ждать долго¹¹. Жена Ходасевича¹² говорила Тане, что у них уже убыток в 1300 франков и жить не на что. Не знаю, как это все разрешится, но подумайте и Вы: я пока не говорил редакции «Посл<едних> Нов<остей>» о Вашем согласии, Вы можете сделать выбор совершенно свободно¹³. Запросили ли Вы Тэффи?

Очень Вас благодарю за добрые слова о «Бельведерском торсе»¹⁴. К сожалению, я печатаю в газете только отрывки. В чудовищном виде печатаются эти отрывки в «Сегодня», – у меня волосы встают дыбом при виде их подзаголовков¹⁵. Что ж делать: деньги нужны до

зарезу. Возможно и даже вероятно, что мы с Таней поедem в Ваши места, в Канн. В Италию не хватит, вероятно, денег, да и долго ждать визы. Поэтому последний наш план: поехать во второй половине июля в Канн, там пробыть неделю-другую и напоследок съездить на Корсику. Не знаете ли Вы, дорогая оптимистка, есть ли в Канн^e очень дешевые пансионаты: в 25–30 франков в день? Сколько времени Вы пробудете в Ницце по возвращении от Буниных? Мы тогда, как Рюрик, Синеус и Трувор¹⁶, поделим Ривьеру: Ницца – Грасс – Канн. По-моему, на всей Ривьере Канн (да, пожалуй, еще Монте-Карло) – самое очаровательное место (Грасс я терпеть не могу¹⁷). Правда ли, что Бунин уезжает в Нормандию? Он мне писал, да я не очень верю. Хорошо было бы встретиться, – Канн, кстати, в центре, так что съезжаться будем в моей резиденции? Отчего Вы не купаетесь в море? Очень обяжете, если ответите об этом тотчас (т. е. не о купаньи, а об остальном) – открыткой. Если цены в пансионатах высокие, то мы останемся на севере. Но, разумеется, избави Боже, не ищите ничего для нас, – все это вилами на воде писано. Напишите только то, что Вам случайно известно о ценах, и сообщите Ваши планы.

Таня и я шлем Вам (всем 4) самый сердечный привет. Очень Вам кланяются и Полонские¹⁸, я вчера у них был. Они о себе еще ничего не знают.

Шмелева очень, очень жаль. Я у него был и не застал. Слышал о нем от Зеелера, а его не видал со дня похорон¹⁹.

Ваш М.Ландау

¹ Евлогий, митрополит (Георгиевский Василий Семенович; 1868–1946) – глава русской епархии в Париже, назначен в 1922 патриархом Тихоном. См. его газетные публикации: К устроителям летних колоний для молодежи // Последние новости. 1936. №5578, 2 июля; Памяти М.А.Гинсбурга // Там же. 1936. №5581, 5 июля.

² Кедров Михаил Александрович (1878–1945) – вице-адмирал (с 1920). В октябре 1920 возглавил белый Русский флот на Черном море, который увел в Константинополь и далее в Бизерту. Профессор Высшего технического института в Париже, активно участвовал в общественном движении эмигрантских организаций. По всей видимости, это он написал заметку «М.А.Гинсбург» в «Последних новостях» (1936. №5580, 4 июля), но подписал ее «Морской офицер», поскольку был сотрудником «Возрождения». Публикаций под его настоящей фамилией в газете за это время нами не обнаружено.

³ См.: М.А.Гинсбург // Последние новости. 1936. №5583, 7 июля. Заметка подписана: «Адм. П.Муравьев».

⁴ Кононов Иван Анатольевич (1885–1959) в 1918 участвовал в освобождении Дона, командовал Донской флотилией, воевал в Добровольческой армии. Приказом атамана Краснова был произведен в контр-адмиралы. Писал на военно-морские темы. Жил в Париже. Его публикации в «Последних новостях» за это время обнаружить не удалось.

⁵ См. «Камер-фурьерский журнал» Ходасевича, запись за 3 июля 1936: «В Возр<ождение> (все; у Гукасова)»; за 7 июля: «В Возрождение (Гукасов, Арм. Гукасов <?>, Долинский, Семенов, Коровин). С ними в ресторан» (*Ходасевич В. Камер-фурьерский журнал. С.280-281*).

⁶ Имеется в виду еженедельник «Gringoire. Le grand hebdomadaire parisien, politique, littéraire». Выходил в Париже с ноября 1928.

⁷ В конце заметки о возобновлении «Возрождения» (см. примеч. 8) было сказано: «Редакция приложит все усилия, чтобы возобновить ежедневный выпуск газеты в ближайшем будущем». Ср. письмо Алданова к Амфитеатрову от 14 ноября 1936: «О правой газете в Париже и я слышал, но, по-видимому, это еще только в области проектов. Для создания новой газеты ведь нужны очень большие деньги. Более вероятен последний слух о возобновлении “Возрождения” в качестве ежедневной газеты» (Минувшее. Вып.22. С.605). Слухи не подтвердились. «Возрождение» выходило в виде еженедельника до последнего номера – от 7 июня 1940.

⁸ «Возрождение» не выходило с 21 июня по 17 июля 1936. В субботу 18 июля вышел №4035. На первой странице были две сообщения:

Около месяца мы не имели возможности отзывать на события дня. За это время произошло немало знаменательных фактов. Но изменилось ли для нас, русских, что-либо по существу? – Нет! <...> **БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.** <...> Она кончится только в тот день, когда над русской землей снова зареют русские флаги, когда соединятся Россия подъяремная с Россией зарубежной. <...> **ПРОТИВ КРОВАВОЙ ТИРАНИИ КОМИНТЕРНА! ЗА СВОБОДНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ!.**

Второе:

Вследствие забастовки рабочих типографии, в которой печаталось «Возрождение», правильный выход газеты нарушен. Возобновление его потребует некоторого срока. Временно «Возрождение» будет выходить периодически и рассылаться подписчикам в виде увеличенных, по числу страниц, номеров.

С этого выпуска (на 12-ти страницах) «Возрождение» выходило раз в неделю (по субботам, затем по пятницам) на 14-ти страницах. Рубрик стало больше, и они располагались в следующем порядке: передовая статья главного редактора, главные события текущего дня, «О ком и о чем говорят», «Под игом Советов», «Литература и искусство», «Русские

за рубежом», «На экране Парижа», «На досуге», реклама и переводной роман-фельетон. Подвалы с 5-й по 9-ю страницу отдавались художественной прозе постоянных авторов газеты. Амфитеатров, Горянский, К.Коровин, Лукаш, Любимов, Ольденбург, Рошин, Тимашев, Чебышев и другие авторы ежедневного «Возрождения» продолжали сотрудничать в еженедельнике.

⁹ Долинский Семен Григорьевич (1895–?) – прозаик, журналист, актер (один из организаторов Русского Камерного театра в Праге). В 1927 уехал в Париж, где поступил на работу в «Возрождение». К 1930 стал заведующим информационным отделом и вторым секретарем редакции. Семенов оставался редактором еженедельника, равно как Ходасевич продолжал возглавлять литературный отдел. Более подробно о дружбе Долинского с Ходасевичем см.: *Янгиров Р. Пушкин и пушкинисты // Новое литературное обозрение. 1999. №37. С.192-194.*

¹⁰ Зеелер Владимир Феофилович (1874–1954) – юрист, общественный деятель, журналист. Многолетний генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов; секретарь Союза русских адвокатов во Франции.

¹¹ История ухода Тэффи из «Возрождения» освещается в ее письмах к Амфитеатрову от лета – начала зимы 1936: «полное расстройство материальное в связи с догоранием “Возрождения”»; «Теперь неприятная история с “Возрождением”. Гукасов, уезжая, буркнул секретарю, чтобы меня печатали через номер. <...> Затем притяну к ответу и буду судиться. 12 лет без единого пропуска. Гукасов хитрит. Он всех снижает в смысле заработка, для того чтоб, закрыв газету, уплатить ликвидационные по последнему расчету»; «С Гукасовым у меня переписка под наблюдением адвоката. Боюсь, что ликвидационные получить не удастся. Все равно в “Возрождении” не останусь» (Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниным / Публ. Р.Дэвиса и Э.Хейбер // Диаспора; Новые материалы. Т.1. Париж; СПб., 2001. С.403). Тэффи ушла из «Возрождения» и начала печататься в «Последних новостях» в начале января 1937.

¹² Марголина Ольга Борисовна (1890–1942) – четвертая жена Ходасевича (их совместная жизнь началась с октября 1933), племянница Алданова; погибла в концлагере (по слухам, в Освенциме).

¹³ Ср. письмо Зайцева к Бунину от 8 июля 1936: «Тэффи, Шмелев, я и Коровин получаем приглашение от “П<оследних> Н<овостей>”. Спешить некуда, но отклонять не приходится. А капитан? (прозвище Н.Рошина. – Д.М.) Полуслепые Лукаш и Горянский. И прочая наша босая команда?» (Новый журнал. №149. С.143). Зайцев продолжал печататься в «Возрождении».

¹⁴ Повесть «Бельведерский торс» публиковалась в «Последних новостях» с 28 июня по 19 июля 1936. Эта повесть и пьеса «Линия Брунгильды» вошли в книгу Алданова «Бельведерский торс» (Париж, 1938).

¹⁵ Отрывки из «Бельведерского торса» были напечатаны под следующими заглавиями (а не «подзаголовками», как называл их Алданов) в рижской газете «Сегодня» в 1936: «Человек, который погиб страшной смертью (Вазари)» (№174); «Вазари в Сикстинской капелле Ватикана» (№178); «Вазари у молоденькой и легкомысленной колдуньи» (№183); «Старый Микеланджело <так!> среди молодых художников» (№187); «Отложенное покушение на папу» (№191); «Бельведерский торс» (№197). Ср. письмо Алданова к Амфитеатрову от 14 ноября 1936: «Досадно мне, что Вы мои статьи читаете в “Сегодня”. Помимо ужасных подзаголовков – кто их только там выдумывает! – я в “Сегодня” посылаю текст сокращенный и без единого иностранного слова» (Минувшее. Вып.22. С.604).

¹⁶ Имеется в виду легенда о призвании трех братьев-варягов – Рюрика, Синеуса и Трувора: «В год 6370. <...> И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля» (Повесть временных лет. СПб., 1996. С.149).

¹⁷ Ср.: «Алданов усиленно уговаривает Буниных распротиться с Грассом (“Нет ничего печальнее Вашего Грасса” – 27 декабря 1933) и купить виллу в Канн<е>. Бунины же остались в Грассе, чего Алданов не мог им простить: “...Стоило получать Нобелевскую премию, чтобы сидеть в Вашей дыре! Ездили бы по Франции, по Европе, нас в Париже навещали бы”. <...> – пишет он Вере Николаевне 5 мая 1934» (Письма М.Алданова к И.А. и В.Н. Буниным / Публ. М.Грин // Новый журнал. 1965. №81. С.115).

¹⁸ Сестра Алданова – Любовь Александровна (1893–1963), поэтесса и литературный критик, и ее муж, Яков Борисович Полонский (1892–1951), журналист, библиограф и библиофил, соредактор «Временника Общества друзей русской книги».

¹⁹ Ольга Александровна Шмелева (урожд. Охтерлони; 1875–1936) скончалась в Париже 22 июня 1936. Отпевание состоялось в церкви Св. Николая в Бианкуре 24 июня. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. См.: *Зеелер В.* Памяти О.А.Шмелевой // Последние новости. 1936. №578, 2 июля.

Жан-Клод Маркадэ
**«ЗАВЕТНЫЕ РИСУНКИ» ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
ЭЙЗЕНШТЕЙНА¹**

Светлой памяти Володи Аллоя

Создатель «Броненосца “Потемкин”» был величайшим гением и по своей многогранности являл собой человека Возрождения в полном смысле этого слова. Его противоречивому искусству свойствен эпический размах и присущий эпосу вкус к сказочности, к борьбе Добра и Зла, к мифологизации. Пережив бурную эпоху революции 1917 года, которая стремилась преобразить общество, избавить его от всех несвобод, навязываемых капитализмом, Сергей Михайлович Эйзенштейн – S.M.Eisenstein, Sa Majesté, Его Величество Эйзенштейн – познал не только мгновения романтического восторга, свободы выражения и творческого взлета первой половины 1920-х. Ему пришлось испытать на себе и придирки диктаторско-инквизиторской партийной бюрократии, постепенно установившейся в СССР после смерти Ленина в 1924, и цензуру, и сталинский террор 1930-х. Эйзенштейн не был отправлен в Гулаг или расстрелян, как его учитель Мейерхольд, но, тем не менее, этот террор не мог не оказать

¹ Эссе было написано в 1998 по предложению Владимира Аллоя, который совместно с издательством «Seuil» готовил в то время к печати альбом рисунков С.М.Эйзенштейна (эту коллекцию Аллой приобрел у наследников оператора Эйзенштейна Андрея Москвина). Сокращенный вариант эссе опубликован: *Eisenstein S.M. Dessins secrets / Avec des textes de J.-C.Marcadé et G.Ackerman; Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre. Paris: Seuil, 1999.* Все отсылки на рисунки относятся к этому изданию. По-русски публикуется впервые. – *Ред.*

влияния на его здоровье: в 1948 в возрасте пятидесяти лет он умер от инфаркта.

Эйзенштейн был рисовальщиком, театральным режиссером и художником, кинематографистом (причем, одним из самых крупных за всю историю кино), а также художественным критиком и теоретиком. Несмотря на все его многочисленные произведения, как человек искусства он остается загадкой – и не только потому, что многое до сих пор не опубликовано, но и потому, что он никогда не открывался полностью. Мы можем увидеть лишь некоторые грани того или иного проявления его гения, не будучи при этом уверены в том, что «ухватили» этого человека в его сути. Эйзенштейн ускользает от нашего явно нескромного желания узнать о нем больше.

Биограф Эйзенштейна Наум Клейман несколько десятилетий своей жизни посвятил изучению творчества мастера, поднял огромный пласт документов, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва) и издал, пожалуй, наиболее полный вариант «Мемуаров» кинорежиссера из тех, что выходили на русском языке. И все же предисловие к этому изданию Клейман заканчивает следующим замечанием:

Читатель не найдет в этой книге многого из того, что сегодня мы хотели бы узнать от самого Эйзенштейна. О многом он не мог тогда написать – по условиям времени. Кое о чем писать не хотел, полагая, вслед за Пушкиным, что знаменитость, как и любой человек, имеет право на частную жизнь, не подлежащую бесцеремонному публичному обсуждению. Очень многого написать он просто не успел – торопясь исполнить «положенное и возложенное», а вместе с тем реализуя свой трагический освободительный замысел.²

Эти намеки на «частную жизнь», о которой говорит Наум Клейман, порой можно обнаружить в каких-то деталях или эпизодах из фильмов Эйзенштейна (например, «Старое и новое» («Генеральная линия»), «Бежин луг» или «Иван Грозный») или прочесть «между строк» в его литературных произведениях. Но откровеннее всего личность мастера выразилась в огромном фонде его рисунков, которые приоткрывают целый пласт фантазмов и желаний художника. Часть рисунков опубликована, другие еще ждут своей очереди. Многим из них свойствен эротизм – причем, весьма буйный эротизм: таковы, например, «мексиканские рисунки» 1931–1932 годов.

² Клейман Н. Мемуары Эйзенштейна: Система координат // Эйзенштейн С.М. Мемуары: В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1997. Т.1. С.16 (далее – Мемуары, с указанием тома и страницы).

Как тонко заметил Франсуа Альбера, «в киноповествовании фантазии Эйзенштейна всегда увязаны с целостностью идеологического проекта; фильм, выполняющий роль цензуры, позволяет осуществить переход на уровень рациональный (вторичный процесс), представление желания всегда обрабатывается и никогда не выставляется просто, как это происходит в рисунках»³.

Место рисунка в творчестве Эйзенштейна

Рисунок был одним из основных видов творчества Эйзенштейна. «В то время как на составление одной фразы у него уходили часы, за один час он мог изрисовать огромный лист», – пишет его американский биограф и приятельница Мэри Сетон и продолжает:

Визуальные идеи возникали у него так молниеносно, что он мог рисовать сложнейшие карикатуры, остроумнейшие богохульства или наброски к какой-нибудь сцене из будущего фильма или пьесы с такой быстротой и экономией средств, какие присущи великим художникам. Его неопытная рука обладала уверенностью штриха, быстротой и тонким чутьем, следить за ее работой было неизмеримо увлекательно. Из всех этих рисунков остались лишь те, в которых он видел хоть малейшие достоинства. Слабые произведения он тут же выкидывал в корзину, а шедевры щедро раздавал всем подряд. Эти чудесные творения его самого потаенного воображения делались в основном пером или карандашом, а затем обводились более широкими красными и синими штрихами. Все эти рисунки, кроме рабочих эскизов, выражали эмоции, которые он не мог высказать словами: он изливал в них свой гнев, иллюстрировал какую-нибудь скабрезную шутку, патетическую или горькую мысль или вдруг записывал что-то из своей биографии.⁴

Эйзенштейн рисовал всегда. В десять лет заинтересовался Домье, огромное восхищение перед которым пронес до конца своей жизни (при этом Гюстава Доре ненавидел!). В ранней молодости он испытывает живой интерес к карнавальным переодеваниям в работах Жака Калло и «предфутуристической» динамике его штриха. Как отмечает Инга Каретникова, «никогда специально не обучавшись ни живописи, ни рисунку, Эйзенштейн с легкостью осваивает самые различные виды изобразительного искусства – от карикатуры до театральных декораций»⁵.

³ *Albera F. Notes sur l'esthétique d'Eisenstein. Presses Universitaires de Lyon, 1973.*

⁴ *Seton M. Eisenstein. Paris: Seuil, 1957. P.244-245.*

⁵ *Каретникова И. Предисловие // Мексиканские рисунки Эйзенштейна / Сост. И.Каретникова, Н.Клейман. М.: Советский художник, 1969 (на русск., англ. и франц. яз.).*

Как свидетельствует друг детства Сергея Михайловича актер Максим Штраух, его отроческие рисунки уже были заметным явлением:

Рисование было излюбленным занятием, настоящей страстью Сережи. Он мог так просиживать целыми часами и без усталости рисовать все, что ему приходило в голову: жанровые сценки, отдельные фигуры, лица... Этим тетрадей он нарисовал великое множество, ими был завален чердак городской квартиры. С неистощимой выдумкой и огромным юмором, с уверенностью и мастерством профессионального художника набрасывал он свои рисунки, которые напоминали работы Буша и Гульбрансона из «Симплициссимуса»⁶. Это была какая-то бессознательная и непрерывная тренировка фантазии, еще в детстве заложившая основы неповторимого мастерства Эйзенштейна. Я об этом так подробно рассказываю потому, что профессия художника была его второй профессией и сыграла огромную роль в творчестве.⁷

В Петербурге-Петрограде, где с 1915 он учится на инженера-архитектора, молодой Эйзенштейн безуспешно пытается сотрудничать в качестве художника со знаменитым еженедельником Аверченко «Сатирикон»; в эти два года, предшествовавшие революции, он реализует театральные проекты и постоянно рисует. Его рисунки появляются на страницах ежедневных газет северной столицы, таких как «Петербургская газета» и «Биржевые ведомости». Он подписывает их «Сэр Гей» – каламбур на свое имя Сергей! В те времена слово «гей» означало всего лишь «веселый», это во второй половине XX века оно стало общепринятым названием гомосексуалистов...

В течение восьми лет, с 1917 по 1923, Эйзенштейн занимается политической карикатурой, затем делает эскизы костюмов и декораций – и во время службы в рядах Красной Армии (1919), и особенно между 1921 и 1923 – в Пролеткульте, в экспериментальном театре «Мастерская Фореггера» (МастФор) и в Государственных высших театральных мастерских у Мейерхольда. С 1923 он полностью посвящает себя работе кинорежиссера, снимает картину «Дневник Глумова».

В своих проектах костюмов и декораций будущий создатель «Стачки» использует разные стили, начиная со специфического реализма в духе художников «Мира искусства» (Александра Бенуа,

⁶ В своих мемуарах в главе под названием «Как я учился рисовать» Эйзенштейн подчеркивает: «На первых порах – здоровье влияние – острый обнажено-контурный рисунок Олафа Гульбрансона» (Мемуары. Т.2. С.122).

⁷ Штраух М. Эйзенштейн – каким он был // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1974. С.39. Курсив автора.

Александра Головина, Сергея Судейкина) и заканчивая кубо-футуризмом, преобладающим в русском авангарде конца 1910-х. Георгий Якулов, Александра Экстер и Александр Веснин воплощают собой стиль таировского Камерного театра, в то время как Любовь Попова и Варвара Степанова вводят конструктивизм в Театр Мейерхольда: для первых характерна романтическая напыщенность, для вторых – аскетизм сценической архитектуры. Эйзенштейн балансирует между теми и другими. Можно сказать, что его работы в качестве художника-декоратора – к спектаклям «Мексиканец» по Джеку Лондону (1920–1921), «Хорошее отношение к лошадям» В.З.Масса или «Макбет» по Шекспиру (1921–1922, в сотрудничестве с Сергеем Юткевичем), «Кот в сапогах» по Людвигу Тику (1921–1922) или «Дом разбитых сердец» (1922) Бернарда Шоу (неосуществленный проект) – являются блестящей страницей в истории русского советского театрального искусства начала 1920-х. Здесь проявились не только новаторский дух и изобретательность художника, но и его стремление к единству между мизансценой и пластическим аспектом в спектакле⁸, которое он с блеском воплотит в своих последующих киноработах.

Эйзенштейн экспериментирует, пользуясь во всех видах своих работ достижениями русской эстетической революции. Именно в этот период выковывается один из основополагающих принципов всего его творчества – принцип монтажа⁹, ярким примером которого могут служить доселе не известные широкой публике рисунки, публикуемые ныне.

В 1931–1932, находясь в Мексике, Эйзенштейн возвращается к рисунку, в этот, по словам самого художника, «потерянный и вновь обретенный рай графики»¹⁰. Он рисует тогда неистово, самозабвенно. Рассказывают, что, застряв на границе между Мексикой и Соединенными Штатами, Эйзенштейн за одну ночь создал две сотни рисунков на тему «Макбета»¹¹. Эту одержимость графикой сравнивали с автоматическим письмом сюрреалистов¹² или «наброс-

⁸ См.: Юткевич С. Эйзенштейн, художник театра // Эйзенштейн. Театральные рисунки. М.: Союз кинематографистов СССР, 1970.

⁹ См. об этом: Sergej Eisenstein im Kontext der russischen Avantgarde. 1920–1925 // Kinematograph (Frankfurt am Main). 1992. №8.

¹⁰ Мемуары. Т.2. С.123.

¹¹ См.: *Eizenschitz B.* Sur trois livres // Cahiers du cinéma. 1971, janvier-février; цит. по: *Amengual B.* Que viva Eisenstein! Lausanne: L'Age d'Homme, 1980. P.282.

¹² Об этом пишет Мэри Сетон со слов художника Жана Шарло, см.: *Seton M.* Eisenstein. P.282.

ками самопсихоанализа»¹³. По словам Мэри Сетон, он отправил своему американскому продюсеру Эптону Синклеру целый чемодан рисунков, которые якобы произвели скандал среди таможенников, когда те проверяли содержимое посылки...

После спешного возвращения художника в СССР, с 15 октября по 7 ноября 1932 в галерее Джона Беккера в Нью-Йорке прошла выставка его рисунков. Выставлялись двадцать две работы Эйзенштейна – с изображением стигматов, истории Саломеи, сюжеты на тему «Вертера» и «Макбета». Они были названы «дьявольскими, ужасно кровавыми, необузданно динамичными, ужасающими и богохульными»¹⁴. Эти рисунки представляли собой взрывчатую смесь из религии, секса, фольклора и архаических мифов; в них были, по словам толкователя Эйзенштейна Б.Аменгуалья, сплавлены «безбожие, богохульство, развенчание мифов, карикатура и эротизм»¹⁵. Художник заклеил колониальный, империалистический католицизм, разрушающий национальную культуру, – «бога-шарлатана», «бога-фокусника», «бога-паяца»; он до абсурда эротизирует театральность религии (желание пениса, инцест, возврат к материнской груди). Аменгуаль заключает: «Фантазмагоричность всех этих рисунков гомосексуальна в своей основе»¹⁶.

Эротические рисунки

«Заветные рисунки», представленные в этом альбоме, – лишь избранная часть коллекции, о которой идет речь. Они никогда не публиковались по причине той эротической нагрузки, которая выражена здесь в гораздо более явной, резкой и «экзгибиционистской» манере, нежели в уже известных нам «мексиканских рисунках»¹⁷. Известно, что Эйзенштейн, любивший повторять сюжет в различных вариациях, создавал многочисленные серии необычайно эротичных рисунков, на грани порнографии. Виктор Шкловский рассказывает, что даже отказался принять в подарок одно из таких эротико-порнографических произведений, касающееся животных нравов¹⁸.

¹³ Amengual B. Que viva Eisenstein! P.282.

¹⁴ Ibid. P.289.

¹⁵ Ibid. P.283.

¹⁶ Ibid. P.283-284.

¹⁷ О «мексиканских рисунках» см. великолепное предисловие Инги Каретниковой в альбоме «Мексиканские рисунки Эйзенштейна»; см. также: *Эйзенштейн С.М. Возвращение к рисунку // Мексиканские мотивы: Альбом. М.: Союз кинематографистов, 1971. 8 с., ил. (на русск., англ. и франц. яз.)*.

¹⁸ См.: *Шкловский В. Эйзенштейн. 2-е изд. М.: Искусство, 1976. С.100.*

Речь идет о серии рисунков, созданных Эйзенштейном на основе эротической сказки «Лиса и заяц», записанной известным русским фольклористом Александром Афанасьевым. В 1855–1863 Афанасьев составил восьмитомник русских народных сказок, некоторые из которых в XX веке послужили основой ряда значительных произведений искусства – к примеру, «Свадебка» и «История солдата» И.Стравинского (в переработке Шарля-Фердинанда Рамо). Кроме того, Афанасьев составил сборник «Русских заветных сказок». В России они не могли быть изданы, так как считалось, что сказки носят порнографический характер, в связи с этим сборник вышел анонимно в Женеве в 1860¹⁹.

Любопытно, что эту запретную книгу подарил Эйзенштейну именно Шкловский. В СССР, как и в дореволюционной России, по-прежнему царил показной пуританизм: некоторое раскрепощение нравов в 1920-е быстро сменялось «исконностью», и ханжеские настроения в верхах одержали верх и в обществе, наложив цензуру на все, что выходило за рамки «нормы» и «нормального». Об этом свидетельствует тот факт, что представленным в настоящем издании рисункам, первые из которых были созданы в 1931, пришлось ждать почти семьдесят лет, прежде чем мы осмелились достать их из сундука и представить публике, причем публике западной...²⁰

¹⁹ Насколько нам известно, этот сборник также никогда не публиковался в СССР. Однако во Франции вышло репринтное издание: *Contes secrets russes / Русские заветные сказки*. Sainte-Geneviève-des-Bois: Belyi Drozd, 1975. Первый французский перевод появился в начале века: *Contes secrets russes / Trad. d'I.Liseux; Introd. et notes de B. de Villeneuve*. Paris: Bibliothèque des curieux, 1912; репринт: Geneve; Paris: Slatkine, 1981. Издатели репринта 1975 года объявили о выходе нового перевода, поскольку перевод 1912 года «содержит множество неточностей и не передает смысла текста, так как большинство сказок были сглажены в целях благопристойности». Действительно, там, где русский язык употребляет разнообразные суффиксальные возможности вокруг коренного глагола «еть», французский перевод 1912 года дает «потеть над», «наслаждаться» или использует многоточие для обозначения наиболее непристойных выражений. Английский перевод «Русских заветных сказок», сделанный в 1897, вышел под заглавием: «*Ribald Russian Classics*»; более позднее издание см.: *Adult Stories from the Folklore of Russia*. Los Angeles: Holloway House, 1966.

²⁰ В 1998, в связи со 100-летием со дня рождения Эйзенштейна и 50-летием со дня его смерти, в Музее частных коллекций Москвы (филиал музея им. Пушкина) была организована выставка из примерно тысячи (из 6000!) рисунков. Среди них были «работы, ранее не выставлявшиеся по цензурным соображениям: эротические рисунки, циклы работ на евангельскую тематику и визуальные размышления 1937–1939 годов, отражающие эпоху репрессий и террора» (*Пыхов Н.* Выставка рисунков Эйзенштейна // *Независимая газета*. 1998. 5 февраля).

Разумеется, и до выхода настоящего внушительного сборника рисунков производились некоторые попытки показать произведения Эйзенштейна, в которых бы эротизм присутствовал явно, не прикрываясь графическими ребусами, ключ к которым известен лишь художнику. Например, в 1990 в мюнхенском Ленбаххаусе во время выставки «Графическое искусство кинематографистов» были продемонстрированы его работы такого рода. На рисунке «Le dernier roman de Chucho» («Последний любовный роман Чучо»²¹; 17 февраля 1931) изображены во впечатляющем ракурсе с высоты птичьего полета три креста на Голгофе, где распятый Христос склоняется – как «Христос на кресте Святого Иоанна» Сальвадора Дали, – чтобы поцеловать в губы Благоразумного Разбойника²². Та же поза и на рисунке «Immortalité» («Бессмертие»): он представляет собой богохульную картину Распятого, склонившегося к своему собственному эрегированному члену и жадно прикившегося к нему ртом. Самовозбуждение, круговращение, самооплодотворение – вот явный и подспудный смысл этой картины вечного кругооборота смерти (распятие) и жизни (сперма).

На мюнхенской выставке были также представлены рисунки с гомосексуальными сценами, главным образом, с участием мужчин, но также и женщин (каковые во множестве присутствуют в настоящем издании); сцены жестокого садизма; два рисунка, изображающие «détripation» («потрошение» – это название дал одному из рисунков сам автор), где мы видим, как один мужской персонаж вынимает кишки из чрева-влагалища-ануса другого мужского персонажа. В нашем издании эта тема представлена серией иллюстраций к произведению «Феодал» немецкого поэта-импрессиониста Детлева фон Лилиенкрона, ныне вполне забытого, однако оказавшего значительное влияние на развитие антинатуралистской немецкой эстетики на рубеже XIX и XX веков. Эйзенштейн изображает сцены, где женский персонаж погружает ноги во внутренности мужского персонажа, одновременно предаваясь любви с другим мужчиной.

Здесь можно усмотреть сближение с средневековой пародией, о чем писал М.М.Бахтин:

В собственно *телесном* аспекте, который нигде четко не ограничен от космического, верх – это лицо (голова), низ – произ-

С.7). Каталог выставки не издавался, поэтому трудно сказать, были ли на ней представлены рисунки столь же откровенные, как и в настоящем альбоме.

²¹ Чучо – уменьшительное от Иисус на кастильском языке.

²² Von Eisenstein bis Tarkovsky: Die Malerei der Filmregisseure in der UdSSR. München: Prestel, 1990. S.8.

водительные органы, живот и зад. С этими абсолютными топографическими значениями верха и низа и работает гротескный реализм, в том числе и средневековая пародия. Снижение здесь значит приземление, приобщение к земле как поглощающему и одновременно рождающему началу: снижая, и хоронят и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и больше. Снижение значит также приобщение к жизни нижней части тела, жизни живота и производительных органов, следовательно, и к таким актам, как совокупление, зачатие, беременность, рождение, пожирание, испражнение. Снижение роет телесную могилу для *нового* рождения. Поэтому оно имеет не только уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, возрождающее: оно *амбивалентно*, оно отрицает и утверждает одновременно. Сбрасывают не просто вниз, в небытие, в абсолютное уничтожение, – нет, низвергают в производительный низ, в тот самый низ, где происходит зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком; другого низа гротескный реализм и не знает, низ – это рождающая земля и телесное лоно, низ всегда *зачинает*.²³

Другая подборка рисунков Эйзенштейна (из собрания Светланы Акчуриной, Москва) была опубликована в журнале «Литературное обозрение» в 1991. Однако там демонстрировалась лишь одна тема (рассматриваемая, разумеется, как порнографическая) – нормальных, то есть гетеросексуальных отношений (предфеллиниевские гипертрофированные женские формы напоминают рисунки-граффити Давида Бурлюка, сделанные им в 1913 для кубофутуристского сборника «Дохлая луна»). Например, рисунок из цикла по нереализованному сценарию фильма «Виндзорский замок» (1942): один из эпизодов повествует об «аудиенции», которую королева Англии Елизавета I дает своему фавориту – молодому красавцу лорду Лестеру. Последний представлен в виде огромного эрегированного фаллоса, к которому «кумушка» проявляет пристальное внимание (подобные изображения присутствуют на многих рисунках нашего альбома). На другом рисунке костюм Малюты, одного из значимых персонажей фильма «Иван Грозный», украшен огромным penisом, возвышающимся над головой своего обладателя, который держит его, как зная; головка пениса имеет облик полузверя-получеловека – демона-волка-змеи, чей раздвоенный язык высовывается из пасти с заостренными клыками²⁴.

²³ Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. С.28. Курсив автора.

²⁴ Репродукции см.: Литературное обозрение. 1991. №11.

Многие из неопубликованных ранее произведений, которые представлены в настоящем издании, занимают особое место в иконографии «King-Penis» («Короля-Пениса», как называл ее сам автор) – этого некоронованного короля, который с древнейших времен является предметом торжественных культовых обрядов. Гипертрофированная величина мужского полового органа, находящегося в постоянной торжествующей эрекции, несомненно, является частью мира Эйзенштейновских фантазий и в то же время восходит к древнейшим традициям. Обожествление фаллоса наипростейшим образом выражено в рисунке «Suppressed desire of the “New Yorker”» («Тайное желание жителя Нью-Йорка»; 28 ноября 1943), где хоровод вакханок вокруг короля-пениса является пародией на «Танец» Матисса.

Одновременно некоторые сюжеты посвящены чествованию «Королевы-Вагины» («Queen-Vagina»). На одном из рисунков изображена королева-мадонна (без нимба) – нечто вроде христианской Цибелы (повсюду кресты), – влагалище которой представляет собой логово, пещеру, куда устремляются женщины-обожательницы, в то время как «на горизонте» появляется готовая к бою солдатня пенисов со знаменами (как в «Александре Невском»)!. Так выражается идея Эйзенштейна, что в облике мадонн, к которым стекаются толпы паломников, проступают черты древних языческих богинь плодородия и плотской любви.

Рисунки, которые мы имеем возможность представить широкой публике благодаря выходу альбома, позволяют наконец приоткрыть завесу тайны, которая окутывает фигуру этого крупного художника. Думается, нет ничего нескромного и предосудительного в том, чтобы явить миру «внутренних демонов» (слово «демон» здесь можно понимать как в сократическом смысле «daimon», так и в христианском), которые теснились в мятущемся разуме автора «Ивана Грозного», – ведь он и сам испытывал непреодолимую потребность выплеснуть их во всем многообразии, доверившись листу бумаги. В каком-то смысле «заветные рисунки» Эйзенштейна можно рассматривать как его исповедь, как то, что он не высказал в своих воспоминаниях.

Эйзенштейн постоянно дарил рисунки друзьям. Он делал их во множестве и иногда терял, однако, как отмечает один из критиков, это не значит, что он совершенно не дорожил ими – напротив, цену им он знал хорошо:

Эйзенштейн работал лихорадочно, порой надрывно – мучаясь, одолевая препоны правдами и неправдами, сохраняя при этом и трезвость ума, и чувство юмора. Он пробовал небывалые цветовые эффекты, дерзновенно обыгрывал контрастность светотеней,

утрировал драматизм конфликтов и характеров, образную напряженность. Само преодоление трудностей стало добавочным стимулом и раздражителем творческого процесса – талант перестал слушаться привычных «условных рефлексов».²⁵

Эйзенштейн – Леонардо да Винчи – Фрейд

Загадочность личной жизни Сергея Эйзенштейна спровоцировала возникновение самых разных гипотез относительно его сексуальной жизни и ориентации. Выдвигались предположения о латентной гомосексуальности, следы которой обнаруживаются в его фильмах²⁶, говорили о его бисексуальности и, наконец, об импотенции, которая якобы явилась то ли следствием перенесенной в детстве болезни (по версии советских агиографов), то ли – внутреннего психологического подавления (по версии Мэри Сетон). Последняя версия, по-видимому, представляет собой наиболее расхожее мнение²⁷.

Однако если импотенция не имела причин физиологического порядка, возможно, проблема была в партнершах? В том, что Мэри Сетон, кинематографист и американский биограф Эйзенштейна, выдвинула (впрочем, весьма тонко) именно эту гипотезу, нет ничего удивительного: она была явно влюблена в Эйзенштейна, хотя сексуальных отношений между ними не было.

Пера Аташева, секретарь съемочной группы, тоже была влюблена в Эйзенштейна (как минимум, с 1926). Впоследствии, после окончательного возвращения режиссера из Европы в 1932, она станет его официальной женой. При этом говорили, что он якобы был вынужден жениться на Пера Аташевой (с которой, впрочем, никогда не жил вместе) вследствие шантажа, проведенного советскими органами *ad hoc*. Мэри Сетон пишет о глубокой любви Эйзенштейна к Пера Аташевой:

Несмотря на то, что он лишил ее того, чего она более всего желала, его любовь к ней была нерушима. Его чувство было на-

²⁵ Кушнирович М.А. Мир его мыслей. Рисунки Эйзенштейна из собрания С.Акчуриной // Там же. С.85.

²⁶ О гомосексуальных элементах в творчестве Эйзенштейна см.: *Fernandez D. Eisenstein*. Paris: Grasset, 1975; см. также: *Philbert B. L'Homosexualité à l'écran*. Paris: H.Veyrier, 1984; *Dauberman M.B. Hidden from History*. Penguin Book, 1991.

²⁷ О ком только не было подобных толков! По поводу Гоголя, например, в русской эмиграции, да, вероятно, и не только в ней, бытовало мнение, что он был онанистом. См., например: *Karlinsky S. The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol*. Cambridge Mass.; London, 1976 (карманное издание – Chicago; London, 1992).

столько глубоким, что в какой-то момент его жизни она приобрела в его глазах даже большую значимость, нежели его собственное творчество. Тем не менее, он не мог не причинить ей боли. Поскольку не в его силах было освободиться от навязчивых образов инцеста: он видел в ней то мать, то сестру. Эти навязчивые образы заставляли его избегать телесного союза, и к этому пришивалась еще и боязнь импотенции (очевидно, эти страхи были связаны между собой, как можно предположить, читая сообщение Э.Б.Штраусса о психиатрических аспектах импотенции).²⁸

Следует отметить, что Пера Аташева и после смерти Эйзенштейна оставалась ему верным другом. Как редко мы достигаем таких высот благоденствия!

Женщине удобно объяснить импотенцией нечувствительность мужчины к ее чарам. В особенности если она, как Мэри Сетон, всячески отрицает «активную» гомосексуальность у объекта своего поклонения. Что же касается друга Эйзенштейна красавца-актера Григория Александрова, о котором ходили слухи, что эта дружба не была платонической, – то он не страдал никакими сексуальными комплексами, и его любовные приключения и браки не были чем-то мифическим. Американский биограф трактует отношение к нему Эйзенштейна как зависть к физическому обаянию, исходящему от Александрова:

Какое было бы для него счастье, если бы он мог стать таким, как Гриша, которого все встречали улыбками и объятиями.

Внезапно он понял, что не может бороться с Александровым, как он боролся в театре Мейерхольда за корку хлеба. Напротив, он испытывал непреодолимую потребность находиться рядом с ним. Сама по себе физическая красота Гриши ничего не значила для него. О гомосексуальном влечении не было и речи. Но ему хотелось жить так, как жил Гриша. Зная, что это ему не дано, он надеялся хотя бы жить подле него. Таким образом чудовищная психическая деформация только добавила жару к старинной трагикомедии вечного клоуна Пьеро, ветреного любовника Арлекина и нежной Коломбины, которая не умела отличить настоящую любовь от подделки.²⁹

С сентября 1929 по май 1930 Эйзенштейн находится в Европе, он читает лекции в Цюрихе, Берлине, Гамбурге, Париже, Лондоне, Амстердаме и Антверпене. С ночной жизнью этих городов он знакомится в барах и специальных кварталах, бывает и в портах. Свидетельство тому – серия рисунков, на которых изображены матросы,

²⁸ *Seton M. Eisenstein. P.148-149.*

²⁹ *Ibid. P.104.*

травести и откровенные сексуальные сцены. Режиссер рассказывал, что легендарная Кики – модель и любовница многих монпарнасских художников – подарила ему книгу своих мемуаров с весьма остроумной и двусмысленной надписью: «Так как я тоже люблю большие корабли и моряков!»³⁰ По всей видимости, создатель «Броненосца “Потемкин”» разделял вкусы Жана Кокто – того самого Кокто, которого он весьма сатирически, хотя и без злобы, изображает в своих мемуарах и которому зачастую подражает в своих рисунках, вплоть до манеры штриха и цвета.

Со своим «товарищем д’Артаньяном» – театральным деятелем и борцом за коммунистические идеи Леоном Муссином Эйзенштейн отправляется через Коррез, Марсель, Ниццу и Тулон в Канны, чтобы нанести визит Анри Барбюсу. Советский режиссер рассказывает, с каким увлечением он слушал «матросские песни», которые вместе пели Леон Муссин и Поль Вайян-Кутюрье...

В 1929 Эйзенштейн едет в Берлин на премьеру своего фильма «Старое и новое» («Генеральная линия»). Там он с головой окунается не только в интеллектуальную жизнь столицы (именно в Берлине его инициалы «С.М.» – «S.M.» были впервые интерпретированы как «Его Величество» – *Seine Majestät*), но и в ее ночную жизнь, в частности, гомосексуальную³¹. Он посещает знаменитое берлинское кафе «Эльдорадо», где собирались травести, – здесь Сергей Михайлович «впервые в жизни столкнулся лицом к лицу с теми крайними извращениями, до которых доходят мужчины, отвергающие женщин. Завораживающее и в то же время отталкивающее зрелище: размалеванные мужчины и юноши в изысканных вечерних платьях и с резиновыми грудями, которые они, стыдливо потупившись, украдкой выкладывали рядом со своими стаканами»³².

Переодевание, первостепенный элемент «театрализации» (по Евреину) и «карнавализации» (по Бахтину) мира, завораживало автора «Ивана Грозного». Оно является знаком изначального «двуединства» человека. Сюжеты с гомосексуальным переодеванием встречаются во многих рисунках, в частности, в рисунке «Berlin raté» («Осечка в Берлине»; 13 января 1933)³³, который, по всей видимо-

³⁰ См.: Мемуары. Т.1. С.203-204.

³¹ По этому поводу Мэри Сетон замечает: «Распушенность русской революции не могла и сравниться с изощренностью разврата и извращенностью немецкой столицы» (*Seton M. Eisenstein.. P.155*).

³² *Ibid.* P.156.

³³ Название «Berlin raté» несколько загадочное. Может быть, название «Берлин» имело какой-то специальный смысл в эротическом аргю той эпохи? Например, у Хармса в пьесе «Елизавета Бам» читаем: «13. <...> *Петр Николаевич:*

сти, является реминисценцией «Эльдорадо», или же в серии рисунков с моряками, где один из партнеров, обладая всеми мужскими признаками (волосатостью, физической силой), одет в женское кружевное белье. Один из главных рисунков на эту тему – «L'Ange Gabriel» («Архангел Гавриил»): пламенеющий, как и его острокопечный меч, архистратиг является в женских одеждах караульному солдату, покинувшему свою будку³⁴.

В то время Эйзенштейн чрезвычайно занимает феномен гомосексуальности, и он старательно посещает занятия в Magnus Hirschfeld Institut für Geschlechts Wissenschaft – Институте сексологии Магнуса Хиршфельда. Мэри Сетон приводит одно из высказываний Сергея Михайловича на эту тему:

Он думал, что это знание поможет ему научиться распознавать симптомы этого в себе самом и таким образом получить возможность справляться с ними. Хотя среди великих художников было множество гомосексуалов, он чувствовал, что эта практика могла лишь убить в нем творческое начало. Позднее Сергей Михайлович сказал мне об этом так: «Мои наблюдения заставляют меня прийти к выводу, что гомосексуальность является во всех отношениях регрессом – возвратом к состоянию, предшествовавшему делению клеток и размножению. Это тупик. Многие люди говорят, что я гомосексуалист. Я никогда им не был, и сказал бы вам, если бы это было так. Я никогда не испытывал подобного желания даже по отношению к Грише, хотя считаю, что в некотором смысле обладаю бисексуальными наклонностями, – как Золя или Бальзак – в интеллектуальной сфере».³⁵

Нет причин ставить под сомнение свидетельство Мэри Сетон, замечательной, умной и глубоко порядочной женщины, даже если мы не можем согласиться с ее интерпретацией. Очень возможно, что Эйзенштейн действительно рассказал все то, о чем она повествует, но можно ли полностью доверять этому «откровению» великого человека?

Тут следует принять во внимание отношение к мужской гомосексуальности и гомосексуалистам в российском обществе, которое сохраняется и по сей день. В российской традиции гомосексуальность – неисправимый изъян. «Педерасты», как называют их всех без разбора, – отбросы человечества. В колониях, куда гомосексуа-

– Встань Берлином / одень пелерину <презерватив?>» (см.: Хармс Д. Полет в небеса: Стихи, проза, драмы, письма. <Л.>: Советский писатель, 1988. С.192).

³⁴ Отметим, что у Марка Шагала в «Явлении ангела» (1917–1918; коллекция З.Гордеевой) Ангел, который является Художнику, – гермафродит.

³⁵ Seton M. Eisenstein. P.156.

листов отправляли, когда обнаруживалась их «нестандартная» ориентация, они становились изгоями. Знаменитое «русское сострадание» на них не распространяется – даже со стороны интеллигенции. Конечно, когда речь идет о художниках, танцовщиках, музыкантах, писателях, на это закрывают глаза, но и они вынуждены жениться, чтобы сохранить репутацию. И об этом никто публично не говорит³⁶. То, что Мишель Фуко обличает как намеренное сокрытие на протяжении веков неприемлемого сексуального типа, тем более очевидно в истории русской культуры³⁷.

Это несомненно объясняет, почему Эйзенштейн не захотел рассказать «правду» о себе своей собеседнице, которая, как он знал, перескажет ее всему миру. Ведь на этот счет о нем действительно ходили всякие слухи. В разных источниках находим намеки, что в 1931–1932 во время съемок картины «Да здравствует Мексика!» он решил больше не скрывать свою гомосексуальную ориентацию. Дошло до того, что советскому правительству пришлось применить шантаж, чтобы вынудить режиссера вернуться в СССР, затем его заставили жениться на Пете Аташевой.

В архивах КГБ наверняка можно найти «дело Эйзенштейна», содержащее данные, которые позволили бы нам приподнять завесу над некоторыми эпизодами его жизни. Но осмелятся ли открыть это досье, если в нем содержится нечто отвратительное для массового российского сознания, которое, несмотря на значительное раскрепощение, достигнутое в плане морали, по-прежнему настороженно относится ко всему, что представляется как некое «отклонение».

Любопытно, что в опубликованных мемуарах режиссер ни разу не упомянул о своих частых визитах в Институт сексологии Магнуса

³⁶ Одно из немногих исключений из замалчивания гомосексуальности (даже самого слова) в российских публикациях – недавняя монография: *Богомолов Н.А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха.* М.: НЛО, 1996. (Новое литературное обозрение: Научное приложение. Вып.5).

³⁷ Отметим, что даже сегодня, в конце XX века, в публикациях работ Фрейда на русском языке глоссарии старательно избегают понятия и самого термина «гомосексуальность». Так, например, он отсутствует в «Кратком словаре психоаналитических терминов» (см.: *Фрейд З. Психология бессознательного.* М.: Просвещение, 1989), а также в изд.: *Фрейд З. Толкование сновидений.* Киев: Здоровье, 1991. В последнем есть статья «бисексуальность», которая сводится к «некоторому гермафродитизму, находящемуся в пределах нормы (Фрейд)»; в статье «Анальный эротизм» последний сводится к регрессии нормального либидо, неврозам, «проявляющимся в сексуальных извращениях».

Примечание от редакции: Напомним, что статья написана в 1998; за последние годы появилась обширная литература, посвященная разнообразным аспектам сексуальной жизни.

Хиршфельда, хотя бы в плане чисто научного интереса. Зато он рассказал о своем интересе к психоанализу, о встречах с сотрудником берлинского Института психоанализа Гансом Саксом, о том, что изучал работу Сакса и Отто Ранка «Значение психоанализа в науках о духе»³⁸, чтобы взять оттуда материал относительно «эротического происхождения словообразований»³⁹. Его отношение к Фрейдю так и осталось смешанным. Эйзенштейн считал венского мэтра гением, но одновременно разрушителем и деспотом. Последнее относится к той ярости, с какой Фрейд обрушивался на всех, кто отклонялся от его учения – в частности, на «диссидентов фрейдизма» Штекеля, Адлера и Юнга.

Эйзенштейн пишет об этом так:

Подозрительность и ревность тирана.

Беспощадность к тем, кто не тверд в доктрине.

Особенно к тем, кто старается идти своими ответвлениями, в разрезе собственных своих представлений, не во всем совпадающих с представлением учителя.

Рост бунта против патриарха-отца.

Ответные обвинения в ренегатстве, в осквернении учения. Отлучение, анафема...

«Эдипов комплекс», так непропорционально и преувеличенно торчащий из учения Фрейда, – в игре страстей внутри самой школы: сыновья, посягающие на отца.

Но скорее в ответ на режим и тиранию отца, более похожего на Сатурна, пожирающего своих детей, чем на безобидного супруга Мерыпы Лайоса – отца Эдипа.⁴⁰

И вдрут, с характерной для него смесью очарования и коварства, автор делает вид, что говорит не о «курии Фрейда» и круге его фанатичных приверженцев, что на самом-то деле речь идет об «атмосфере школы и театра кумира моей юности, моего театрального вождя, моего учителя. Мейерхольд!»⁴¹.

Чтобы лучше понять Эйзенштейна, следует вспомнить, с каким вниманием он прочел статью Фрейда «Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci» (1910) (в русском переводе печаталась под названием «Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве»). Статья эта была переведена на русский язык в 1913. Эйзенштейн пишет в мемуарах, что проглотил ее залпом в 1918-м, в самый разгар военно-

³⁸ Rank O., Sachs H. Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften. 1913.

³⁹ См.: Мемуары. Т.1. С.277.

⁴⁰ Там же. С.79-80.

⁴¹ Там же. С.81.

го коммунизма. Оттуда он почерпнул объяснение гомосексуальности, корни которой уходят в детство: если мать наделена более сильной натурой, чем отец, ребенок мало-помалу делает ее образцом для себя. Именно так обстояло дело в семье Эйзенштейна, где на фоне «донжуанства» матери (режиссер писал, что она была «over-sexed») не отмеченная значительными событиями жизнь Эйзенштейна-старшего, архитектора и действительного статского советника, совершенно бледнела. Мэри Сетон не преминула провести параллель между Леонардо да Винчи и Эйзенштейном, поскольку сам художник всегда открыто отождествлял себя с итальянским мастером:

Проблема, стоявшая перед Сергеем Михайловичем, заключалась в том, чтобы научиться не поддаваться огромному числу соблазнов, которым, по его мнению, он был подвержен. Суровые понятия Добра и Зла были глубоко укоренены в его душе. Его бессилие перед лицом интимных проблем, и он это понимал, было его слабостью. То, что он знал о да Винчи, ему помогало, хотя временное утешение, которое он испытывал, позднее превратилось в источник страданий. От Фрейда он узнал, что человек способен трансформировать сексуальную энергию в интеллектуальную любознательность и творческую деятельность.⁴²

Американский писатель, который познакомился с Эйзенштейном в 1927, подтверждает несколько «материнскую» доксографию Мэри Сетон, которая, как он говорит, утверждала, что режиссер научился сублимации у Фрейда, а без этого был бы «всего лишь простым эстетом а ля Оскар Уайльд»⁴³.

Тем не менее, Эйзенштейн в своих воспоминаниях явно дистанцируется не только от последователей основателя психоанализа, но и от самого мэтра:

Она (фрейдистская школа. – Ж.-К.М.) мне всегда рисовалась несколько «транзитарной» – «промежуточной станцией» к достижению гораздо более широких и глубоких основ, для которых сексуально окрашенный сектор не более как частная область.⁴⁴

А в другом месте он пишет, что нельзя заниматься только «сохранением метафор», оставляя без внимания «структуру метафоры», перерастающую в «структуру ситуации»; при этом Эйзенштейн

⁴² Seton M. Eisenstein. P.105.

⁴³ Freeman J. An American Testament. 1936; цит. по: Seton M. Eisenstein. P.144.

⁴⁴ Мемуары. Т.2. С.79.

в скобках замечает: «то же, что и Фрейд со своим полустанком сексуализма»⁴⁵.

Для автора «Старого и нового» совокупность, которую представляет собой эротизм, является всего лишь частью более широкой, пралогической совокупности проявления чувств: «Стадия эротической интерпретации <...> никак не есть первичная, базисная или <...> отправная первооснова. Она – не более, чем промежуточный полустанок»⁴⁶, – повторяет он.

Пансексуализм на всех стадиях эволюции

«Заветные рисунки», несущие на себе очевидную печать фрейдистских идей, также демонстрируют и иную концепцию *vita sexualis*, в некотором смысле более обширную, поскольку она более оригинальна и охватывает все стадии эволюции.

В число любимых авторов Эйзенштейна входит Лоуренс; он читает не только «Любовника леди Чаттерлей» или «Влюбленных женщин», но и все, что выходит из-под пера этого английского писателя, у которого находит «сродство» (*affinity*) со своими собственными взглядами на пралогическое⁴⁷. Он видит в Лоуренсе союзника против фрейдовского «кузко-сексуального» запаса побуждающих мотивов, в то время как это запас «шире рамок личного биологического приключения человеческого особей»⁴⁸. Эйзенштейн пишет:

Сфера секса – не более как стянутый в узел концентрат, уже через бесчисленные спиральные повороты воссоздающий круги закономерности гораздо более необъятного радиуса.

Вот почему мне приятны концепции D.H. Lawrence'a, заставляющие его выходить за рамки секса в (недостижимые для ограниченной особи) космические формы целостного слияния. Вот почему меня тянет в по-своему понятый пояс пралогии – этого подсознания, включающего <чувственность>, но не порабощенного сексом.⁴⁹

Эйзенштейн не цитирует дословно опубликованное в 1929 эссе Д.Х. Лоуренса «Pornography and Obscenity»⁵⁰ («Порнография и не-

⁴⁵ См. неизданную рукопись Эйзенштейна «Grundproblem» (на русском языке), которую цитирует и комментирует В.В. Иванов: *Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР*. М.: Наука, 1976. С.68.

⁴⁶ Там же. С.96.

⁴⁷ См.: Мемуары. Т.1. С.280.

⁴⁸ Там же. С.343.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Книга Д.Х. Лоуренса была переведена на немецкий язык: *Pornographie und Obszönität*. Leipzig; Vienne, 1931.

пристойность»)), но, несомненно, его читал. Автор эссе выступает в защиту сексуальности, полностью свободной от запретов (в частности, применительно к нашей культуре, от запретов христианской морали), – чтобы примирить секс и любовь, которые являются жизненно важными побуждениями живых существ.

Если рисунки Эйзенштейна и демонстрируют явный пансексуализм, то этот пансексуализм является фрейдовским лишь отчасти. Корни сексуального влечения уходят далеко в глубь универсального инстинкта. Создавая концепцию о многочисленных стратах, восходящих к зачаткам животного существования, которые заключены в человеке и составляют самые архаические корни всех его пяти чувств, Эйзенштейн опирается на книгу венгерского невролога, ученика Фрейда, Шандора Ференци «*Versuch einer Genitaltheorie*» (1924). Он пишет, что эта книга познакомила его «с нашим наиболее всеобщим предком на низших рубежах перехода от растительного бытия к животному». И продолжает:

Существует он в форме рыбы, наукою считается официальным прародителем и той первой ступенью, откуда берет начало увлекательная эволюционная истина, разгаданная Дарвином.

Зовут этого основоположника будущих эволюционно развивающихся видов красивым латинским именем: *Amphioxus lanceolatus*.

Итак, если мы не прямые потомки золотых рыбок, то, во всяком случае, эволюционно, обладаем одним и тем же предком с элегантной латинской фамилией.

Последнее было бы совсем не так важно, если бы этим самым путем в нашем прошлом – уже не социальном, даже не биологическом, а эволюционно-видовом – мы не имели бы предка, чьи любовные повадки идентичны тем неожиданным формам любви, которые поразили нас в *vita sexualis* золотых рыбок.⁵¹

Так что ничего удивительного, что на многих рисунках мы видим животных, занимающихся любовью. Впрочем, не только животных: рисунок «*Naissance de l'amour angélique*» («Рождение ангельской любви»; 17 мая 1931) являет пример того, как, глядя на совокупляющихся ослов, небесным существам приходит на ум заняться тем же самым. Здесь можно вспомнить о столь дорогом сердцу христианского антополога Рене Жирара первичном миметизме. Сюжет с ослами перекликается с «Золотым ослом» Апулея, он стал объектом интерпретаций в свете теории мифа в работах современницы Эйзенштейна Ольги Фрейденберг, которая адаптировала «генетический

⁵¹ Мемуары. Т.2. С.149.

метод» для понимания литературных текстов. Ослы воплощают телесный принцип и дают толчок к зарождению ангельской любви.

На некоторых рисунках имеет место испускание газов во время полового акта – например, «Léda et le cygne» («Леда и лебедь»). Это пародия на испускание духа. То, что при этом присутствуют два осла, наводит на сопоставление с сюжетом «Въезда Христа в Иерусалим» в интерпретации Рудольфа Штейнера. Стало быть, речь вновь идет о богохульной пародии. Известно, что в 1920 в Минске Эйзенштейн посещал эзотерический кружок розенкрейцеров и участвовал в церемониалах, организуемых Борисом Зубакиным – «архиепископом Ордена Рыцарей Духа», как он называет его в письме к матери:

Начать с того, что он видит астральное тело и по нему может говорить о человеке самые сокровенные мысли. Мы все испытали это на себе. Сейчас засиживаемся до 4–5 утра над изучением книг мудрости Древнего Египта, Каббалы, Основ Высшей Магии, оккультизма... какое огромное количество лекций прочел он нам об «извечных вопросах», сколько сведений сообщил о древних масонах, розенкрейцерах, восточных магах, Египте и недавних (дореволюционных) тайных орденах!⁵²

Многие здравомыслящие умы первой четверти двадцатого столетия, особенно в России, увлекались идеями немецкого философа Рудольфа Штейнера, основателя антропософии, – как, впрочем, и другими эзотерическими учениями. Вспомним Кандинского, Андрея Белого, Бердяева, русских кубофутуристов, которые вдохновлялись «Tertium Organum» Петра Успенского, ученика Гурджиева.

В дальнейшем в одной из глав своих воспоминаний под названием «Le Bon Dieu» («Боженька») Эйзенштейн говорит, что довольно скоро отошел от движения розенкрейцеров, на сеансах которых он то засыпал, то его разбирал неудержимый хохот⁵³. Но его друг и сорежиссер по «Мексиканцу» в Первом рабочем театре Пролеткульта Валентин Смышляев был членом того же кружка.

Возвращаясь к рисунку «Рождение ангельской любви», мы понимаем, насколько богат мифологический, культурный, а также идиолектический комплекс иконологии Эйзенштейна.

Именно змей в цикле по мотивам библейской Книги Бытия показывает путь: рисунки «La bible de Sodome» («Библия Содомы»), «N'ayant pas de sexe propre, ils se divertissent comme ils peuvent» («Не

⁵² Письмо от 20 сентября 1920; цит. по: *Немировский А.И., Уколова В.И.* Свет звезд, или Последний русский розенкрейцер. М.: Прогресс-Культура, 1994. С.95.

⁵³ См.: Мемуары. Т.1. С.61-63.

имея собственного пола, развлекаются, как могут»), «The Serpents lesson» («Урок змия»). Заметим, что мужской половой орган отождествляется со змеем на рисунке «La pomme et le serpent» («Яблоко и змий»; 23 марта 1931) и его варианте «Pommes et serpent» («Яблоки и змий»).

Здесь же находим и две иллюстрации к сказке «Лиса и заяц», которая открывает скандально известные «Русские заветные сказки» Афанасьева. Оба рисунка относятся к следующему эпизоду сказки: придя в ярость от авансов зайца, лиса гонится за ним:

– Нет, косой черт, не уйдешь!

Вот-вот нагонит! Заяц прыгнул и проскочил меж двух берез, которые плотно срослись вместе. И лиса тем же следом хотела проскочить, да и завязла. Ни туда, ни сюда. Билась-билась, а вылезти не может. Косой оглянулся, видит, дело хорошее, забежал с заду и ну лису еть, а сам приговаривает:

– Вот как по-нашему! Вот как по-нашему!

Режиссер признавался, что это его любимая сказка, он даже вставил ее в один из эпизодов «Александра Невского»:

Сказку эту услышит из уст рассказчика у костра Александр. (Хорошо будет показано живое общение князя и войск. Близость воинов и полководца.)

Он переспросит: «Между двух берез зажал?»

«И нарушил!» – прозвучит под хохот восторженный ответ рассказчика.

Конечно, в сознании Александра давно уже маячит картина всестороннего охвата тевтонского полчища.

Конечно, не из сказки он черпает мудрость своей стратегии. Но отчетливая динамика ситуации в сказке дает последний толчок Александру на расстановку своих конкретных боевых сил.⁵⁴

Комизм положений в рисунках – это своеобразная дань Уолту Диснею, как в случае с рисунками «“Fucking” d’après le système Maugard» («“Fucking” по системе Могара») и «Fucking, according to the Best System» («Fucking по наилучшей системе»; 1931, Тетлапай-ак⁵⁵). Эйзенштейн часто подчеркивал, что многим обязан Уолту Диснею, что навсегда сохранил любовь к его героям и что его вдохновляли линии этих рисунков «без тени и оттушевки», напоминающие старинную японскую и китайскую графику⁵⁶.

⁵⁴ Мемуары. Т.2. С.266-267 (глава «Сказка о лисе и зайце»).

⁵⁵ Гасненда, где режиссер снимал один из эпизодов картины «Да здравствует Мексика!».

⁵⁶ См.: Мемуары. Т.2. С.121-122.

Некоторые темы рисунков Эйзенштейна имеют фольклорное происхождение. Сюжет с маленькой мушкой, которая занимается любовью со слоном («Fucking d'après le système Maugard»), напоминает о русском идиоматическом выражении «делать из мухи слона». А также об утверждении Свифта, что слона всегда изображают крупнее, чем он есть на самом деле.

Эйзенштейн любит играть на диспропорции. В «Старом и новом» огромный разжиревший кулак, словно великан или грозный людоед, нависает над маленькой фигуркой Марфы Лапкиной, которая пришла с просьбой одолжить ей лошадь. Этот прием часто повторяется в творчестве кинорежиссера. И так же часто мы находим его на рисунках в изображениях совокуплений: в сценах гомосексуальной содомии, как, например, на рисунках «Socrate» («Сократ»), «Berlin gaté» («Осечка в Берлине») и, в особенности, «La vue» («Вид»; 24 января 1933). Этот же прием присутствует в орогенитальных сценах между гигантским Негром, который, как соломинку, держит в руках женственно-двуполое существо, которое его сосет (тот же прием используется и в сцене фелляции, где некий колосс держит на весу, словно предмет, маленького мужчину), или тот же Негр, непомерно увеличенный, вставляет длинный член в рот совершенно хрупкого создания, как в вазу, этакий сосуд Марселя Дюшана⁵⁷; или в сценах мастурбации (рисунок от 13 января 1933) и цикле о матросах, или рисунок, изображающий огромную женщину без головы, во влагалище которой погружена голова маленького мужчины, выполняющая роль фаллоса; на других рисунках также фигурируют несообразные друг другу партнеры, где чудовищно огромные, грозные женщины готовы поглотить маленьких гомункулов-мужчин; та же диспропорция существует и в лесбийской сценке «Les prisonnières» («Узницы»).

Рисунок «Los dos palomos blancos» («Два голубя») – пародия на Святого Духа; он изображен в виде огромной мифической птицы, вышедшей из самых глубин древнего мексиканского искусства, которая, самоудовлетворяясь, овладевает крохотной Марией в костюме Евы. От этой гротескной сцены веет образами Хосе Клименте Ороско, который был для Эйзенштейна предметом безграничного восхищения, так же как и Диего Ривера⁵⁸. Сюда же можно отнести

⁵⁷ Об этом предмете сохранилось упоминание 1914 года: «On'a que: pour femme la pissotière et on en vit». См.: *Marcadé B. Le devenir-femme de l'art // Féminin-masculin. Le sexe de l'art.* Paris: Gallimard / Electa; Centre Georges Pompidou, 1995. P.25-28.

⁵⁸ Эйзенштейн сравнивал Ривера с Дионисом, а Ороско – с Аполлоном. См.: S.M.Eisenstein. *Cinématisme, peinture et cinéma.* Bruxelles: Complexe, 1980.

быка с рисунка «Le rêve de torerito» («Сон торерито»), или «игру в матрешек» на рисунке «Una alternativa muy complicata» («Очень непростая альтернатива»).

Из японских мастеров решающий импульс русский художник получил не только от Хокусая, но и от известного ксилографа XVIII века Сяраку, прославившегося сатирическими портретами актеров. Эйзенштейн считает, что секрет силы утонченной выразительности Сяраку «заключается в пространственной анатомической диспропорции частей. <...> Пространственное усиление величины одной детали относительно другой и сталкивание ее с размерами, определенными для нее художником, порождает характеристику – суждение об изображаемом»⁵⁹.

С животными происходит то же самое. Заяц овладевает крокодилом, муха – слоном, птичка – жирафом (например, в «L'Annonciation» / «Благовещении»).

Тема зоофилии представлена очень широко. Художник рассматривает ее как часть природы. Делая вид, что он буквально понимает миф о сотворении мира, Эйзенштейн вволю потешается, воображая себе мужчину до появления Евы. Поскольку сексуальный инстинкт присутствует, как еще его можно удовлетворить, если не с животными? И Бог, увидев, что человек набрасывается на все, что имеет половые признаки, «был вынужден сотворить Еву», как гласит надпись на рисунке, изображающем пылкое сношение человека с козой, сильно смахивающей на единорога. Здесь снова диспропорция между человеком и животным, предающимся совокуплению, является источником виртуозных кульбитов, полных гиперболы и юмора, – например, «Fallait bien, il me les gâtait tous» («Ну и ну, он мне их всех попортил»; 7 мая 1931, Тетлапайак) или два рисунка, изображающие человека, совокупающегося со слоном: «Fallait bien lui faire une Eve... il me les fendait tous mes éléphants!» («Надо бы сделать ему Еву, а то он перепортит мне всех слонов!»), и рисунок без названия на ту же тему (7 мая 1931, Тетлапайак). Здесь мы, несомненно, видим аналогию с рисунком Хокусая, изображающим осьминога, который ртом и щупальцами ублажает обнаженную женщину⁶⁰. Любовь к крупному плану, который встречается у него и в фильмах, и в рисунках, по словам Эйзенштейна, была присуща ему с самого детства.

⁵⁹ Из доклада Эйзенштейна «Stuttgart», опубли.: *Albera F. Eisenstein et le constructivisme russe*. Lausanne: L'Age d'Homme, 1990. P.69-70. В своем докладе Эйзенштейн цитирует монографию Юлиуса Курта «Sharaku» (опубли.: Munich: R.Riper, 1922).

⁶⁰ См. рисунок Хокусая на ту же тему в каталоге: *Fémininmasculin. Le sexe de l'art*. P.62-63.

ва, когда он созерцал природу. Позднее он обнаружил то же у Мане и у японских художников, в частности, у Хokusая⁶¹. Рисунок под названием «Amour grec» («Греческая любовь») в своей монументальности отвечает этим характеристикам.

Конечно, автор фильма «Старое и новое», в котором, Невеста – это корова, а Жених – бык Фомка, не обходит стороной зоофилические мифы, в частности, миф о Ганимеде. Можно привести для примера рисунок «Amours divines. Fucking Birds», на котором половой орган несколько исхудавшего орла – настоящий напильник, как и у божественной птахи с рисунка «Los dos palomos blancos». Кроме того, на двух рисунках, датированных 5 февраля 1934, мы видим идилическую, в «греческом стиле», трактовку мифа о Ганимеде. На одном из рисунков пенис превращается в орла путем совершенно театрального переодевания, на другом – Зевс надевает маску орла и крылья ангела. В обоих случаях молодой красавец-пастух явно рад этому визиту. В этом греческом цикле, созданном за день (о способности художника делать бесчисленное количество рисунков в течение дня уже говорилось выше), есть сюжеты со столь же театральной трактовкой мифа о Пасифае, в котором бык является одновременно и человеко-животным, и машиной, готовой принять в себя дочь Гелиоса. Не следует забывать, что от этого союза родится Минотавр – еще один повторяющийся эйзенштейновский сюжет.

Леда и Лебедь на рисунке «When a Bird Comes Down. Ah! Je croyais que c'était beaucoup plus autre chose – les oiseaux» («Когда птица спускается. Ах, я думала, птицы – это что-то совсем другое») представляют собой виртуозно выстроенную композицию, где Леда оказывается зажата со всех сторон (неизменный прием для изображения полового акта у Эйзенштейна) – она находится в акробатическом положении (еще один повторяющийся прием), что не мешает ей играть на тамбурине, который она держит ногами. Сексуальный акт, как и акт рисования, – это игра, танец, карнавал. На другом изображении этой пары Лебедь, который от удовольствия пускает обильные ветры, превращается в свившуюся кольцом змею. Как и во многих других случаях, здесь мы имеем дело с циклическим изображением, с логикой «съеденного едока», «поглощенного поглотителя»⁶².

Аутоэротизм, а также садомазохизм и вуайеризм, судя по всему, были теми видами сексуальной деятельности, которые больше всего интересовали художника. Ярче всего это выражено в фигуре Кен-

⁶¹ См.: Мемуары. Т.2. С.27.

⁶² См. статью Бернара Маркадэ по поводу «L'enrouleur enroulé» (1989) Робера Комбаса, опубл.: Combas. Paris: La Différence, 1991. P.56.

тавра в фильме «Иван Грозный». На рисунке «Scènes de la vie privée des Centaures, или Études en Auto-érotisme» («Сцены частной жизни Кентавров, или Исследования в области аутоэротизма») животная часть тела этого существа представлена массивным задом, соединенным с человеческой частью неким «переходом», смахивающим на фаллос, в то время как настоящий фаллос, торчащий из животной части, входит в бесполого человека.

Зооморфный символ является моделью этого всемирного круговорота, которую Эйзенштейн схематически формулирует так: «Как происходит оформление: растение – кристалл<ом>, зверь – растением, человек – зверем, Бог... человеком!»⁶³. На рисунке «Égotisme. Cover for Stendhal's Works» («Эготизм. Обложка к произведениям Стендаля»; 30 сентября 1934, Ялта) именно фантазии об аутофелляции формируют циклическое тело, принцип совершенного союза, как и в сюжете с Христом на Голгофе на рисунке «Eternité» («Вечность»).

Рисунок «Faute d'amant» («В отсутствие любовника»; 2 октября 1936) изображает сексуальный союз женщины и дерева. Это архетип, который Эйзенштейн исследует отдельно в своем анализе тотемных мифов, наблюдая за движением, исходящим от человека к животному и растению⁶⁴.

Эйзенштейн настойчиво повторяет, что фрейдовский «эдипов комплекс» лишь отчасти дает представление о взаимодействии мужчины, женщины и ребенка. Режиссера особенно интересовали «момент внедрения будущей человеко-единицы в утробу», «первые мгновения утробного бытия», «выход на свет» и «the first spark»⁶⁵. Он охотно руководствуется эссе Отто Ранка «Das Trauma der Geburt» и Шандора Ференци «Versuch einer Genitaltheorie».

Отто Ранк рассматривал акт рождения как источник изначальной травмы человеческого существа, которая в дальнейшем проявляется в страхах и невротическом поведении, а также в творческой деятельности. На рисунке Эйзенштейна «Premiers souvenirs d'Enfance» («Первые воспоминания детства»; 14 сентября 1932) эмбрион в чреве тотемной матери сосет пенис своего отца – этот гиперболических размеров предмет проникает во влагалище матери до самых внутренних. Абсолютно голая фигура отца увенчана сомбреро – это

⁶³ Цит. по: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. С.82.

⁶⁴ См.: Там же. С.83.

⁶⁵ Все это представлено в одной из глав мемуаров Эйзенштейна, многозначительно названной «Monsieur, Madame et bébé». См.: Мемуары. Т.2. С.61-62. «The first spark» – здесь: первая искра жизни (англ.).

молодой мексиканец. На рисунке «La Vierge en danger» («Дева в опасности»; 14 января 1944) представлено попури из мифов, перевернутых до неузнаваемости: здесь смешались язычество и христианство. Смысл в том, что дохристианский сексуальный инстинкт представляет угрозу для христианского запрета на свободную сексуальность. Рисунки на тему обрезания («Circumcisions») изображают отца (его принадлежность к иудейской религии подчеркивает филактерия на лбу), который, скорее, производит кастрацию, нежели ритуальный обряд обрезания крайней плоти. Мать помогает осуществлять кастрацию, протягивая ребенка.

«Vagina dentata», которая, по-видимому, одновременно выражает и желание орально-генитального контакта, и страх полового акта как кастрирующего, является одним из элементов рисунка «...Et le païen glapit: Oh! Grand, grand est le Dieu chrétien» («...И вскричал язычник: О! Как велик христианский Бог!»), где у святой на месте полового органа – маска со страшными зубами, из которых торчит огромный длинный пенис⁶⁶.

Монтаж мифов

Все биографы и толкователи Эйзенштейна отмечают его огромную эрудицию. Виктор Шкловский пишет:

Он был обременен знаниями внутри, в сердце, в разуме, на плечах у него лежали книги. Он шел, таща за собой вагоны книг.⁶⁷

Максим Штраух говорит об «энциклопедическом запасе знаний» Эйзенштейна и «его беспредельной любви к книге»:

Его квартира поражала обилием и разнообразием собранных там книг. Это были книги по этнографии, педагогике, истории культуры, детективу, эмбриологии, теории относительности. Были книги с автографами Эйнштейна, Бернарда Шоу, Теодора Драйзера... Каждая книга хранила множество закладок и пометок на четырех языках, потому что Эйзенштейн писал на том языке, который казался ему в данном случае наиболее подходящим.⁶⁸

Следует отметить, что надписи на рисунках сделаны не только на русском и немецком языках, которые оба для Эйзенштейна были,

⁶⁶ *Примечание 2005 года:* Доминик Фернандес по поводу великолепной сцены сбора сока агавы в фильме «Да здравствует Мексика!» говорит о «зубастой вагине» и «молоке-сперме», см.: *Fernandez D. Eisenstein. 2-e ed. Paris, 2003. P.198.*

⁶⁷ Шкловский В. Эйзенштейн. С.110.

⁶⁸ Штраух М. Эйзенштейн – каким он был. С.40, 56.

можно сказать, родными, но также и на французском, английском и даже на кастильском (например, «Una alternativa muy complicada» – вместо «complicada» – это, конечно же, игра слов; или на рисунке «La Matildona», где этим словом названа шпага, которую матадор вынимает из своего пениса-ножен); один раз даже на украинском – на рисунке «Дид, Трясило, Перлило» (три пениса, одетые в украинские шаровары)... Во время Гражданской войны, между 1918 и 1920, Эйзенштейн начинает изучать японский язык с его сложной системой иероглифов⁶⁹; тогда же открывает для себя театр Кабуки. Режиссер также глубоко изучил труд французского синолога Абея Ремюза «Исследование о возникновении китайской письменности», написанный в начале XIX века, которым он пользуется, объясняя свою технику монтажа⁷⁰.

Его мемуары пестрят ремарками на различных языках, среди которых иногда попадаются неологизмы собственного сочинения или варваризмы, всегда намеренные. Так, кроме русских названий, есть главы, названные по-немецки («Wie sag'ich's meinem Kinde»), по-французски («Monsieur, Madame et bébé») или на английском языке, смешанном с русским («“The knot that binds” – главка о divorce of pop and tom»), – здесь Эйзенштейн обыгрывает ту смесь «французского с нижегородским», которая бытовала в псевдокультурных кругах общества (как в знаменитой поэме Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границу, дан л'этранже» или воляпюк во многих рассказах Лескова)...

Чаще всего на рисунках встречаются французские надписи, которые демонстрируют совершенное владение лексикой и самыми тонкими идиоматическими нюансами, вплоть до арго. Иногда комментарий к рисунку шире, чем просто название, что характерно для французских рисунков XIX века (например, у Домье или Гранвиля).

В цикле рисунков о сексе бесполох («Les sans sexe») это «Le mystère de l'apparition de l'amour Sodom(ite)» («Тайна возникновения содомской любви»); «N'ayant pas de sexe propre, ils se divertissent comme ils peuvent» («Не имея собственного пола, развлекаются как могут»), «Les amours militaires sont toujours les mêmes, même dans l'armée des anges» («Любовь на войне всегда одинакова, даже в ангельском войске»). Надписи, сделанные Эйзенштейном, как бы выражают мысли Бога – старика с белой бородой, совершенно сбитого с толку гомосексуальными объятиями ангелов.

⁶⁹ См.: Шкловский В. Эйзенштейн. С.65.

⁷⁰ См.: Eisenstein S.M. Stuttgart. P.65.

На рисунке, датированном 2 марта 1944, надпись: «Hein! Tu trouves, toi, de jolis moments à te rappeler ta très sainte Mère. – Merde!» («Эй! А у тебя находятся удачные минутки, когда ты вспоминаешь о своей Пресвятой Матери. – К черту!»). Орфографические и синтаксические ошибки встречаются, но они редки, например: «Fallait bien... il me les gâté (надо: gâtaient. – Ж.-К.М.) tous». Эйзенштейн оперирует цитатами, что демонстрирует его прекрасное знание национальной культуры. Так, он использует популярную французскую песню «Viens pou poule...» («Приди, моя курочка...»), чтобы дать название рисунку, недвусмысленно изображающему соитие двух ангелов; или богохульный каламбур в духе сюрреалистов на тему Непорочного зачатия: «Lime à (en)culer cons et pions (mor-)» – явный намек на богохульные иллюстрации Сальвадора Дали по мотивам книги Бретона и Элюара «Непорочное зачатие», вышедшей в 1930.

Хотя Эйзенштейн по идеологическим соображениям отмежевался от сюрреализма, эстетика этого движения в достаточной степени повлияла на его творчество в целом. Это проявляется во многих рисунках данного собрания, задуманных по принципу смешения и столкновения самых неожиданных разнородных элементов. Однако здесь также присутствует и русская традиция «алогизма»⁷¹.

Когда изучаешь литературное творчество Эйзенштейна, которое еще далеко не полностью издано на русском языке⁷², поражает его читательский кругозор и глубина рассуждений по поводу прочитанного. Советский режиссер Лев Кулешов писал о нем:

Какое количество чудес показывал нам Эйзенштейн – и книги, и рисунки, и старинные фотографии, и мексиканские маски, и сомбреро, и детали китайских театральных костюмов, – он вводил нас своими рассказами в глубину веков и в разные страны, знакомил с известнейшими всему миру общественными деятелями и художниками; он рассказывал без конца, и надо было иметь гениальный мозг Эйзенштейна, чтобы все рассказанное и показанное запомнить, зафиксировать навсегда, – мы никогда бы не смогли этого сделать.⁷³

⁷¹ Его родоначальницей в изобразительном искусстве можно считать картину Малевича «Корова и скрипка» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).

⁷² В 1964 вышли шесть томов «Избранных произведений», в то время как Наум Клейман говорил о тринадцатитомном издании, которое так и не увидело свет.

⁷³ Кулешов Л. Великий и добрый человек // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. С.165.

Во время своей поездки в Мексику Эйзенштейн увлеченно читает книгу Д.Фрейзера «Золотая ветвь» (1890), которая в свое время произвела эффект разорвавшейся бомбы и явилась импульсом для возникновения сюрреализма. Читает он и «Мышление у первобытных народов» Л.Леви-Брюля⁷⁴. Книга была переведена на русский в 1930, но Эйзенштейн прочел ее по-французски⁷⁵, и это помогло ему понять мифологическое и пралогическое чувство, которое по-прежнему живет в человеке, даже загнанном в рамки цивилизации.

Эйзенштейна занимали идеи касательно «материальной сопредельности исторического становления», «кругообращения диалектики природы сквозь изменчивые формы реальности», «эстетизированного гегельянства». Б.Аменгуаль пишет, что эти идеи были «вечным искушением Эйзенштейна, особенно ярко проявившемся в <фильме> “Да здравствует Мексика!” (где прошлое продолжает жить в настоящем, как антитеза в синтезе, как солнце в растениях и в угле, как кровь в потомках)»⁷⁶. Это вполне совпадает с современной антропологией Марселя Жюсса или Леруа-Гуррана.

Чаще всего рисунки Эйзенштейна обладают сложной структурой, поскольку сочетают в себе несколько мифических слоев. Впрочем, зачастую бывает трудно с точностью определить содержание некоторых графических изображений. После выхода настоящего альбома, несомненно, станут возможны новые толкования. Несмотря на неприкрытость сексуальных мизансцен, вопреки всему, в этих рисунках присутствует желание завуалировать смысл – оно исходит не только от сознательной и бессознательной самоцензуры, но и от самого художественного решения, благодаря которому «Заветные рисунки» невозможно назвать порнографией. В них действительно видны умелая выстроенность и необычайная продуманность, при этом одновременно создается впечатление абсолютной свободы штриха. К тому же нельзя сказать, что художник с презрением относился к порнографии – известно, что в начале 1920-х он задумал снять порнофильм, и одна из представленных здесь серий рисунков как раз посвящена сценам, зачастую комичным, на съемках такого фильма...

⁷⁴ Lévi-Brühl L. La mentalité primitive. 1922.

⁷⁵ См. письмо Эйзенштейна Максиму Штрауху от 9–10 мая 1931, опубли.: Штраух М. Эйзенштейн – каким он был. С.74.

⁷⁶ См.: Amengual B. Que viva Eisenstein! P.496-504. Автор приводит цитаты из классических исследований о палеонтологических символах и эстетическом поведении из книг М.Жюсса и А.Леруа-Гуррана, см.: Jousse M. L'Anthropologie du geste. Paris: Gallimard, 1974; Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole. Paris: Albin Michel, 1964.

Принцип монтажа в практике и теории Эйзенштейна был полностью перестроен. Его статья «Монтаж аттракционов», опубликованная в 1923 в футуристско-конструктивистско-продуктивистском журнале Владимира Маяковского и Осипа Брика «Леф», предлагала «свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект – монтаж аттракционов»⁷⁷. В 1929, готовясь к лекциям, которые он должен был читать на Западе по окончании работы над фильмом «Старое и новое» («Генеральная линия»), он еще более уточняет свою мысль:

С моей точки зрения, монтаж не является мыслью, состоящей из частей, которые следуют друг за другом, а мыслью, которая рождается от столкновения двух не зависящих друг от друга частей («драматический» принцип).

(«Эпический» и «драматический» в соотношении с *методологией формы*, а не *содержанием и действием*!!)

Как в японской иероглифике, где два независимых идеографических знака (кадры), будучи сопоставлены, *взрываются* в новое понятие.⁷⁸

Идея многоуровневости сознания выражается в рисунках путем столкновения нескольких образных элементов, имеющих самое разнообразное происхождение. Мы видели это на примере иллюстраций к эротической сказке «Лиса и заяц», где, помимо прочего, сюжет Афанасьева органически сочетается с цитатой из Уолта Диснея, – столкновение сексуальной откровенности и якобы детской невинности. Режиссер, в частности, настаивал на «центральной травме», представленной в переходе от чувственного мышления к логическому:

Это движение от диффузного к обоснованно дифференцированному мы переживаем на каждом шагу деятельности от момента, когда мы в быту выбираем галстук, в искусстве от общих выражений «вообще» переходим к точности строгого строя и письма, или когда в науке философии надеваем узду точного понятия и определения на неясный рой представлений и данных опыта. Вот тут наше сознание резко расходится с тем, что мы видим на Востоке, в Китае, например.⁷⁹

⁷⁷ Эйзенштейн С.М. Монтаж аттракционов // Леф. 1923. №3, май.; цит. по: Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т.2. С.271.

⁷⁸ См.: Eisenstein S.M. Stuttgart. P.64-65.

⁷⁹ См.: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. С.65.

Такая запутанность, такая многослойность проявляется во многих рисунках. Этакий монтаж мифов или тем, который производит трансформацию одного мифа, чтобы создать другой, идиологический миф. Невозможно с ходу расшифровать сразу все слои, и каждый раз зрителю приходится совершить некое созидательное или, скорее, воссоздательное усилие. И это лишний раз доказывает, что эти рисунки по сути своей не относятся к порнографии, несмотря на сексуальные подробности, без малейшего стыда выставляемые напоказ. Порнография дает непосредственное физиологическое возбуждение, ей вовсе не требуется какая-либо семантическая сложность.

Инга Каретникова описывает отношения, которые связывают монтаж в фильмах и в графических произведениях:

Монтаж обострил его чуткость к сопоставлениям и контрастам. Кинематографическая шкала пространственных планов и ракурсов натолкнула на неожиданные по своей остроте композиционные построения рисунков. Бег киноленты подсказал такое решение графической серии, где взаимосвязь листов подобна сцеплению кадров. Стихия кинематографа – динамика – ворвалась в рисунки Эйзенштейна. Свойственный его прежней манере штриховой абрис слился в непрерывный контур, линия превратилась в след движения, более того, стала его пружиной. Только в сравнении с полифонией кино Эйзенштейн смог так пронзительно остро ощутить драгоценную хрупкость и тонкость одноголового контура.⁸⁰

Возьмем несколько примеров монтажа – к примеру, распятие быка и тореро. По поводу «сюиты о корридах» сам автор пишет следующее:

«Сюита» на тему «боя быков», где в самых разных сочетаниях эта тема сплетается с темой святого Себастьяна.

Причем то это мученичество матадора, то... быка.

Есть даже рисунок распятого на кресте быка, пронзенного стрелами, как святой Себастьян.⁸¹

⁸⁰ Каретникова И. Предисловие // Мексиканские рисунки Эйзенштейна.

⁸¹ Мемуары. Т.2. С.125. Приведем еще одно высказывание Эйзенштейна на ту же тему: «Недаром в Испании жив до сих пор бой быков. <...> Слияние в единстве Человека и Зверя! Через смерть. <...> Здесь, в смерти, так же как и там, в любви – в сверкании такого же лучезарного мгновения, – погибает обособленность и разъединенность. Но здесь <...> расплатой служит жизнь. Рог пронзает человека. Или: сталь, сверкая, вонзается в зверя. Иного выхода здесь нет. Цена – гибель. Расплата – кровь. За миг свободы, грохочущий в многоголосном реве восторженной толпы, в кровавом мгновении этой жертвы, переживающей миг освобожденности от извечного гнета противоречивости. <...> И в этом великая

На этом рисунке представлена еще более «безумная» комбинация: союз быка-святого Себастьяна (с нимбом, изображение которого Эйзенштейн позаимствовал у христианских барочных скульптур Латинской Америки XVIII века) и тореодора, распятого на одном кресте во время любовного акта (их языки переплетены, и громадный бык, находясь в позе женщины, принимает в себя – подразумевается, как должное, – хрупкого тореро). В традиционное отождествление сексуального акта с корридой здесь вносится свежий мотив – путем отождествления его с распятием. Иконографически это произведение является отсылкой к барельефам инков.

Наиболее фантастический монтаж – в цикле рисунков о корриде (до сих пор эта тема, как известно, фигурировала лишь на рисунках с более или менее завуалированным эротизмом). То, что коррида, начиная с древних митраических закланий быков и кончая условными церемониалами тавромахии в наши дни, мимитически воспроизводит сексуальные ритуалы, достаточно хорошо известно. Человек убивает быка, чтобы завладеть его мужской силой⁸². Одна из эротических открыток из архива Пикассо изображает быка в виде огромного пениса, перед которым тореро-гермафродит размахивает мулетой, сильно смахивающей на женскую юбку. То, что тореро может прикидываться женщиной, чтобы обмануть быка, тоже хорошо известно. У Эйзенштейна тореро зачастую именно женщина. Однако, что, на наш взгляд, является совершенно оригинальным в эйзенштейновском видении кровавого театра тавромахии, так это полное смешение женского и мужского кодов. Бык, предающийся содомии с тореро на рисунке «*Le songe du torerito*» («Сон торерито»), и еще более многочисленные серийные (по принципу матрешки) совокпления быка с тореро и наоборот на рисунке «*Una alternativa tuu complicata*» – это, несомненно, уникальные изображения в истории корриды. К тому же бык у Эйзенштейна совершенно теряет принадлежность к мужскому полу. У него есть все женские атрибуты – груди и влагалище, в которое итифаллический тореро втыкает свои бандерильи. На рисунке «*La Matildona*» тореро вынимает шпагу из своего пениса-ножен, стоя перед быком с грудями матроны. Наконец, на рисунке «*Si on laissait faire ces sales bêtes*» («Если б этим грязным животным было все позволено») бык остав-

магия этого кровавого зрелища». – *Эйзенштейн С.М.* Неравнодушная природа // *Эйзенштейн С.М.* Избранные произведения. Т.3. С.397-398.

⁸² См.: *Marcadé B.* La quadrature du cercle. «Le carré qui débouche sur l'arc-en-ciel». Picasso // *Picasso* // *Picasso. Toros y Toreros.* Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1993. P.35sq.

ляет смехотворно крохотного тореро на арене, чтобы орально ублажить... лошадь пикадора.

Подобное омужествление лошади отнюдь не традиционно. У Пикассо мужественность присуща быку, а лошадь женственна. Эта серия рисунков несет в себе огромную композиционную силу. В ней особенно чувствуется мощь штриха.

Оправдывая это смешение священного и мирского, автор незавершенного фильма «Да здравствует Мексика!» пишет:

Я здесь ни чем не виноват.

Это Мексика в одной стихии воскресного праздника смешивает кровь Христову утренней мессы в соборе с потоками бычьей крови в послеобеденной корриде на городской арене; а билеты на бой быков украшены образом мадонны де Гуадалупе, четырехсотлетье которой знаменуют не только многотысячными паломничествами и десятками южноамериканских кардиналов в багряно-красных облачениях, но и особенно пышными корридами «во славу Божьей Матери».⁸³

Пикассо то же самое говорил Мальро:

Мы, испанцы, это утром – месса, после полудня – коррида, вечером – бордель. А в чем все это смешивается? В грусти.⁸⁴

Точно так же Пикассо «видит тесную взаимосвязь между корридой и распятием», как и Жорж Батай, усматривает «в жертвоприношении возрождающее крещение, которое через жертву приобщает жертвователя к божественному»⁸⁵. Для автора фильма «Да здравствует Мексика!» бык и матадор – жертвы, а коррида интерферирует с искупительным закланием жертвенного Агнца в христианской традиции.

Монтаж на следующей группе рисунков развивает «богохульную тему». На двух рисунках (от 3 июля 1932) изображен Бог, стоящий на некоем возвышении: он, как колбасу, нарезает тесаком свой огромный член на серебряные или золотые монеты, которые сложены рядом кучками, в то время как беременная богомолка со свечой в руке возносит ему молитвы. Не совсем ясно, что хотел сказать художник. Здесь соединено несколько тем. Одна из них – тема Зевса, который в виде золотого дождя входит к Данае и в Данаю, заточенную собственным отцом в медной башне, и делает ее матерью Персея... Тот же сюжет представлен в пародийном ключе на рисунке в

⁸³ Мемуары. Т.2. С.125.

⁸⁴ Цит. по: *Bernadac M.-L. Le gaspacho de la corrida // Picasso. Toros y Toreros. P.53.*

⁸⁵ *Ibid.* P.54.

«греческом» колорите, датированном 5 февраля 1934: на нем изображен Зевс с головой собаки, размахивающий, как поливальным шлангом, огромным пенисом, превосходящим по размеру своего хозяина; из пениса извергается сперма, превращается в золотой дождь и вливается во влагалище толстой гречанки, комично раскинувшей поднятые ноги.

На рисунке, датированном 3 августа 1932, присутствует некая христианская коннотация: Бог осыпает золотом молящуюся. Идет ли здесь речь об еще одной пародии на Непорочное зачатие, которым советский художник был, похоже, одержим? Тогда можно было бы предположить, что святая дева, которая здесь изображена без нимба, была обрюхачена «без семени» и что, в этом случае, половой орган, бесполезный для продолжения рода, служит лишь для того, чтобы делать деньги?

Но здесь обнаруживается и другой подтекст. Говоря о католических паломничествах, режиссер отмечает, что за спиной Богоматери, почитаемой верующими, стоит образ древней языческой «матери богов», и заключает:

Патеры смотрят сквозь пальцы, когда эти пальцы свободны от того, чтобы принимать дары. Не все ли равно, в честь кого их несут за тысячи миль. Важно, чтобы, обращенные в деньги, они бы шли неиссякаемыми золотыми потоками в Рим.⁸⁶

Еще один великолепный образец монтажа мифов – это произведение, озаглавленное «*Châtiment de l'homme qui voulut aller à la chasse le dimanche*» («Наказание человека, который собрался на охоту в воскресенье»). По всей видимости, речь идет о композиции, созданной на основе мифа об Актеоне, внуке Аполлона, который пытался изнасиловать Артемиду (Диану) и похвалялся своим искусством охотника, которому его научил кентавр Хирон. По одной из версий мифа, в наказание за свое святотатство он был сожран собственными собаками; по другой версии, Зевс превратил его в оленя. У Эйзенштейна пенис-единорог Актеона совершает мазохистский акт самонаказания. Рана, полученная от фаллического рога, – это рана Христа, из которой изливается кровь, смешанная с водой. Секс как причина саморазрушения – это определенная установка, которая может многое сказать об арсенале бессознательных импульсов, кипящих внутри всего физического, чувственного и интеллектуально-го существа создателя «Стачки».

Напоследок возьмем более легкий пример монтажа, не так нагруженный смыслами: рисунок «Плясовая» (24 июля 1932). На нем

⁸⁶ Мемуары. Т.1. С.70.

изображен молодой гармонист, какого можно встретить в любой русской деревне, умеющий заставить плясать под свои наигрыши крестьянских девок и парней. Этот деревенский парень превращается у Эйзенштейна в молодого грека, огромного по сравнению со своей гармошкой, под звуки которой пляшет его фаллос, стоящий в позе девушки в косынке: одна рука на бедре, другая машет платком, как это принято в хороводе...

В целом к этим рисункам можно применить заключение Ролана Барта, которое он сделал по поводу фильмов Эйзенштейна – от «Броненосца Потемкина» до «Ивана Грозного». Барт выделил в них три уровня смысла, которые наслаиваются один на другой: идея (message), явный (obvie) смысл и приглушенный (obtus) смысл (дополнительный) и назвал эту семантическую практику «сложной и хитросплетенной»⁸⁷.

Маска

По-гречески маска обозначалась словом «prosôpon» (лицо), а по-латыни – «persona». Человек от природы наделен неким театральным инстинктом, фундаментальной составляющей его «бытия-в-миру». Эту идею развил в своих трудах Николай Евреинов, автор трехтомника «Театр для себя» (1915–1917), он писал о театрализации жизни, ежечасно производимой человеком, который превращается одновременно и в актера, и в зрителя. Идея импонировала Эйзенштейну, который восхищался Евреиновым. Маска – это то, что человек надевает на лицо, чтобы чем-то казаться и скрыть свою суть, но эта маска – та, что актер надевает на сцене, – говорит также и правду.

В своих рисунках Эйзенштейн постоянно возвращается к этой теме. Быть может, он сам скрывает что-то под маской? Ведь маска для него – жизненная необходимость. Она нужна, чтобы выжить в обществе, которое не принимает все то, что не вписывается в им же установленные нормы – особенно в нормы морали. Тем более это относится к обществу с тоталитарным режимом – а в СССР был именно такой режим. В письме Максиму Штрауху Эйзенштейн признается, что в нем живут три разных человека. Помимо Эйзенштейна – человека общественного, сделанного «из железа», «летучего голландца», «конкистадора Америк», у него есть двойник – «старый сентиментальный еврей», который вынужден прятаться в свой панцирь, чтобы не поддаться давлению: «Нежнейший мой двойник со-

⁸⁷ Barthes R. Le troisième sens // Cahiers du cinéma. 1970. №222, juillet. См. исчерпывающий комментарий в: Amengual B. Que viva Eisenstein! P.102-106.

чится кровью ежечасно, и приходится очень завинчивать броню, чтобы... не развинтиться!»⁸⁸. И вот к этим двоим добавляется «тройник»: «Это – тихий кабинетный ученый с микроскопом, вонзенным в тайны творческих процессов и явлений, туго поддающихся анализу»⁸⁹. Так художник определяет три своих маски. Однако все это остается в пределах того, в чем можно признаться.

Как правило, homo sovieticus, если он хотел выжить и при этом не был бездушным роботом, вынужден был иметь два, три лица, иногда и больше. Живя в тоталитарном обществе, он принужден был демонстрировать необходимый социальный облик, а если имел желая, идущие вразрез с законами социума, их приходилось скрывать под маской. Это касалось не только области сексуальных отношений, но и тех зон, которые обычно менее чувствительны к давлению: мысли, творчества, веры. Поэтому нормальный homo sovieticus, чтобы «смотреть на себя в зеркало» не боясь, думает одно, говорит другое и в конце концов убеждает себя в чем-то третьем, являющемся для его собственного сознания компромиссом между первыми двумя. С этой точки зрения Эйзенштейн парадигматичен.

В рисунках же обнаруживается оригинальное использование маски. На рисунке, датированном 16 июля 1932, изображены три фигуры: итифаллическая статуя (эта безрукая фигура – Венера Милосская в мужском обличье!), на нее «насаживается» молодой грек; справа от него находится женщина, которая наблюдает за этой сценой и мастурбирует. Здесь имеет место инверсия ролей – неизменный элемент эйзенштейновской поэтики⁹⁰. (Заметим в скобках, что Бахтин в своих книгах «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» писал, что инверсия, перемена ролей – это один из элементов, имеющих самые глубокие корни в человеке.) В этом рисунке также присутствует инверсия той страсти, которую мужчина порой испытывает к женской статуе. Такой сюжет есть у Плиния в «Естественной истории»: один из его героев, воспылав страстью к статуе Афродиты Книдской Праксителя, удовлетворяет с ней свое желание. Или рассказанная Овидием в «Метаморфозах» история Пигмалиона – он занимался любовью со статуей, которую сам же изваял⁹¹.

⁸⁸ Письмо Эйзенштейна Максиму Штрауху от 9–10 мая 1931; цит. по: Штраух М. Эйзенштейн – каким он был. С.73.

⁸⁹ Там же.

⁹⁰ О проблеме инверсии, переворачивания порядка вещей, в частности и у Эйзенштейна, см.: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. С.104-118.

⁹¹ См. главу о «любви к статуям» в монографии: Marcadé B. Histoires de sculpture. Cadillac; Villeneuve d'Ascq-Nantes, 1984–1985. P.55.

На рисунке Эйзенштейна – мужская статуя, которая служит инструментом для анального соития. Но самая любопытная деталь этой картины – лицо статуи: ему придано портретное сходство с Пушкиным! На первый взгляд, это выглядит странно, но если вспомнить, какое место занимает памятник в творчестве Пушкина⁹², его знаменитое стихотворение, восходящее к «Eregi monumentum...» Горация, то юмористическая составляющая рисунка очевидна.

Известно, что в 1943, после прочтения книги Юрия Тынянова о «неназванной любви» поэта⁹³, Эйзенштейн задумал снять фильм о Пушкине⁹⁴. Его привлекла гипотеза Тынянова, что Пушкин на самом деле всю жизнь любил только Екатерину Карамзину, жену известного писателя и историка России, это ей молодой поэт, еще будучи в Царскосельском лицее, объяснился в любви. Этот эпизод, по мнению режиссера, давал возможность понять «секрет совершенно непонятого <...> увлечения Пушкина Натали Гончаровой», равно как и «поиски Ersatz'a для недоступной возлюбленной...»⁹⁵. Сюжет настолько увлек кинематографиста, что он собирался сделать фильм на тему первой, потаенной любви будущего великого поэта к замужней женщине, о той любви, которую он, по-видимому, пронес через всю жизнь.

Ранее неизвестные рисунки, опубликованные в этом альбоме, посвящены «семейству Геккеренов». Они датированы 15 сентября 1932, – то есть Эйзенштейн задумал пушкинский сюжет задолго до тыняновского эссе. Режиссер представляет свою версию трагедии, которая привела к дуэли и смерти Пушкина. История эта рассматривается с точки зрения гомосексуальных отношений двух «убийц» поэта: голландского посланника в Санкт-Петербурге барона Луи Геккерена и его приемного сына и, вероятно, любовника – молодого французского эмигранта, русского офицера Жоржа Дантеса, который и убьет Пушкина на дуэли.

Эйзенштейн иллюстрирует извращенную интригу Геккерена, который поощряет своего приемного сына в его назойливых ухаживаниях за женой Пушкина, принимавшей их весьма равнодушно, и при этом распространяет ложные слухи, компрометирующие поэта.

⁹² Об этом пишет Роман Якобсон в специальной работе.: *Jakobson R. Pushkin and His Sculptural Myth*. Den Haag; Paris, 1975.

⁹³ Имеется в виду статья Ю.Н.Тынянова «Безыменная любовь» и разработка той же гипотезы в его неоконченном романе «Пушкин» (1935–1943). Третья часть романа была опубликована в 1943 в журнале «Знамя» (№7-8).

⁹⁴ См. статью Эйзенштейна «Цветовая разработка фильма “Любовь поэта”» опубл.: *Эйзенштейн С. Избранные произведения*. Т.3. С.492-499.

⁹⁵ *Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники*. М.: Наука, <1968>. С.403.

Чтобы избежать уже почти неизбежной дуэли, Жорж Дантес женится на Катрин Гончаровой, которая, в отличие от сестры, не блещет красотой, при этом он продолжает ухаживать за Натальей. Это переполнило чашу терпения Пушкина, и 26 января 1837, накануне роковой дуэли, он пишет барону Геккерену:

...Vous avez été paternellement le maquereau de Monsieur votre fils. <...> Semblable à une obscène vieille, vous alliez guetter ma femme dans tous les coins pour lui parler de l'amour de votre bâtard ou soi-disant tel.⁹⁶

В рисунке делается акцент на гомосексуальной связи между Дантесом и Геккерном, а также на подлости интриги: «Et un beau jour l'on décida de tuer le Grand poète...» («И в один прекрасный день было решено убить великого поэта...»). Заметим, что, Эйзенштейн использует перо, пародируя манеру рисунков Пушкина.

Маска играет определяющую роль и в цикле «Поль и Артю», который предлагает совершенно оригинальную трактовку сексуальных и человеческих отношений Верлена и Рембо⁹⁷. Лишь на рисунке, названном «Сердцан Верлена и Рембо» («Aux sœurs de Verlaine et de Rimbaud»), последний похож на юношу с ангельским лицом, склонившегося в поцелуе к Верлену, который держит в руке его эрегированный член. На других изображениях мы видим двойственного Артюра: таящий злобу персонаж, наполовину бык, наполовину летучая мышь с физиономией висельника, ангел Зла, а на его член надета «ангельская», обворожительная маска. Верлен видит лишь маску, которая дарит ему наслаждение – с помощью языка-фаллоса. Юмористическо-богохульная нотка, присутствующая в изображении

⁹⁶ «...Вы отечески сводничали Вашему сыну <...>. Подобно бесстыжей старухе, Вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви Вашего незаконнорожденного или так называемого сына» (*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т.10. М.; Л., 1949. С.620, 878). Об этом эпизоде из жизни Пушкина написано много; см., например: *Hofmann M., Hofmann R.* Le drame de Pouchkine. Paris: Corrêa, 1948.

⁹⁷ Вспоминая о том, как в 1929–1930 в Париже он ходил по парижским книжным магазинам на улице Одеон, об Адриенн Монье, о Сильвии Бич, опубликовавшей джойсовского «Улисса», о «Shakespeare & Co» и букинистах на берегах Сены, Эйзенштейн пишет: «Там верлениана и любая разновидность Верлена, вплоть до запрещенных “Hombres”, которые продаются там из-под полы... совершенно открыто» (Мемуары. Т.1. С.289). Это единственное упоминание о Верлене в воспоминаниях режиссера. То, что он упоминает сборник «Hombres», позволяет предположить, что, вероятно, именно в этот период Эйзенштейн заинтересовался гомосексуальными отношениями Верлена и Рембо, которым он дает здесь весьма личную трактовку. Заметим, что последний рисунок в нашем альбоме называется «Hombre» – это явная отсылка к Верлену.

четок с висящим на конце крестиком в виде фаллоса, – намек на религиозность Верлена (здесь снова мы видим инверсию), превращенную в поклонение мужскому фаллосу.

Целая серия рисунков сделана в конце декабря 1942 – начале января 1943 (большинство из них созданы с 29 по 31 декабря 1942), во время пребывания Эйзенштейна в Алма-Ате, столице Казахстана, где он работал над фильмом «Иван Грозный». Их эротизм носит характер эмоционального эротизма китайской литературы и искусства, который не оставил режиссера равнодушным⁹⁸.

На рисунках изображены женские фигуры в гомосексуальных позах: то две женщины, то одна, то женщина и животное. Фаллоимитатор непременно представляет собой маску, удлинённый нос которой выполняет роль фаллоса. Впрочем, рисунок так и называется: «Маска». Кроме того, этот фаллоимитатор-маска имеет и другие названия: «Le drôle de machin» («Чудная штучка»), «Amour!?!?» («Любовь?!?!»), «Le Bibelot» («Безделушка»). Как мы уже видели, очень часто на рисунках художника пенис закрыт маской. В трилогии «Vorspiel», «Mittelspiel», «Endspiel» женщина, в одиночестве предающаяся утехам, сначала целуется с маской, потом переходит к мастурбации и, наконец, испытывает посторгастическое наслаждение. Но надо ведь еще и уметь выбрать маску по размеру, что, кажется, не так-то просто для худосочной героини рисунка «Nothing doing. The Wrong Shape...» («Ничего не сделаешь. Неправильный размер...»; 13 января 1943).

В серии рисунков, сделанных в конце 1942, животные надевают фаллические маски, чтобы удовлетворять одиноких дам. Рисунок «Quand même» («А все-таки»), например, изображает радость жизни, частью которой является аутоэротизм; на других изображены дамы, которые не любят, когда в них проникает настоящий пенис:

⁹⁸ Философия и искусство Китая сыграли большую роль в мировоззрении Эйзенштейна. Он открыл для себя китайскую мудрость, читая притчи Чжуан Цзы, сборник которых был издан на немецком языке в 1910 знаменитым философом Мартином Бубером. Режиссер неоднократно дает понять, насколько важны для него биполярные принципы китайской философии Инь и Янь, женское и мужское начала, которые «управляют не только искусствами, но и фундаментальными отправными точками науки» (*Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. С.276*). Он прекрасно знаком с классической книгой Марселя Гране «Китайская мысль» (1934), из которой почерпнул идею о «мире символов, состоящем из соответствий и противоположностей», «об эмблемах, которые взаимно притягиваются или взаимно противоречат», об антагонизмах и общностях (Там же). Китайский театр, китайские пиктограммы постоянно присутствуют в творчестве Эйзенштейна.

их партнеры барашек («Pastorale» / «Пастораль»), поросенок («Marie s'amuse» / «Мари забавляется»), диснеевский зайчик («Poursuite» / «Погоня») и даже бык, который вот-вот поднимет на рога своей маски-фаллоимитатора женщину-тореро («Mexico. Laugh in the Afternoon» / «Мексика. Смех после полудня»). Последний рисунок, разумеется, является реминисценцией мексиканского цикла и, кроме того, пародией на роман Хемингуэя о корриде «Death in the Afternoon» («Смерть после полудня», 1932).

Таким образом, маска-пенис является суррогатом, присущим не только лесбийским любовным играм, но тем, для кого физическая близость с реальным партнером стала труднодостижима по причине биологической старости. Таков смысл забавной сценки под названием «The Only Way» («Единственная возможность»), где изображен пожилой мужчина в гротескной позе (он стоит голый, с опавшим членом, в шляпе-цилиндре, опираясь не на трость, а на зонтик, и при этом лицо его украшает красный нос в виде фаллоса), на свой зад он надел (еще одна инверсия!) маску с длинным носом-отростком, готовым войти в молодую женщину, которая, по-видимому, не прочь его принять. Точно так же на рисунках «Toujours» («Всегда») и «Vieillesse...» («Старость...») гойевские старухи демонстрируют нам, что сексуальное желание их не покинуло, и они без всяких комплексов удовлетворяют его на свой манер.

Маска-пенис в дальнейшем становится у Эйзенштейна в каком-то смысле навязчивым сюжетом. Он надевает ее на факел Статуи Свободы Бертольди («Quand même» / «А все-таки»); на пирамиду Хеопса; на шпили готических соборов («The Mistake» / «Ошибка»), которые он уже «использовал», чтобы сажать на них епископов-содомитов; на пушки нацистской Германии («Never mind» / «Никогда»); на фонтан, выпускаемый из ноздрей кита («Flying Fish and Ocean»).

Женщина на рисунке «Sculpteur au travail» («Скульптор за работой»), безутешная вдова, тоскующая по мужу, ждет, пока китайский мастер соорудит ей пенис по образцу, лежащему перед ним. Еще один повторяющийся мотив: утрата женщиной своего влагалища (оно то улетает, то оказывается насаженным на верхушку пагоды, то натянутым на облако-пенис или даже на шею орла), взамен же ей предлагается маска. Здесь также можно заметить инверсию фрейдовского комплекса кастрации. Та же самая смена ролей видна и на рисунке «A beau jeu beau retour» («Хорошей игре – хороший финал»), поскольку Ганимед представлен в виде женщины, в которую входят с двух сторон (вершина горы входит в нее через анус, а орел – через влагалище).

Жестокость

В мемуарах Эйзенштейна есть фрагмент, где он называет источник «океана жестокостей», которыми пронизаны его собственные фильмы: это прочитанные им «Сад пыток» Октава Мирбо, «Венера в мехах» Захер-Мазоха (и иллюстрации к этой книге) и, особенно, один из фильмов компании «Пате», повествующий о событиях наполеоновской эпохи. Там есть кузнец, обманутый муж, который хватает своего соперника-сержанта, обнажает его плечо и клеймит его каленым железом:

Как сейчас помню: голое плечо, громадный железный брус в мускулистых руках кузнеца с черными баками и белый дым (или пар), идущий от места ожога.

Сержант падает без чувств.

Кузнец приводит жандармов.

Перед ними – человек без сознания с оголенным плечом.

На плече... клеймо каторжника.

Сержант схвачен как беглый.

Его водворяют обратно в Тулон.

Финал был героико-сентиментальный.

Горит кузница.

Бывший сержант спасает жену кузнеца.

В ожогах исчезает «позорное клеймо».

Когда горит кузница? Много лет спустя?

Кого спасает сержант: самого кузнеца или только жену?

Кто милует каторжника?

Ничего не помню.

Но сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти.

В детстве она меня мучила кошмарами.

Представлялась мне ночью.

То я видел себя сержантом.

То кузнецом.

Хватался за собственное плечо.

Иногда оно мне казалось собственным.

Иногда чужим.

И становилось неясным, кто же кого клеймит.

Много лет белокурые (сержант был блондин) или черные баки и наполеоновские мундиры неизменно вызывали в памяти самую сцену. Потом развилось пристрастие к стилю ампир.⁹⁹

Здесь мы имеем самое что ни на есть неприкрытое, даже без отсылок к притянутым за уши психоаналитическим изыскам, описание

⁹⁹ Мемуары. Т.2. С.56.

садомазохистских механизмов. По-видимому, сексуальность Эйзенштейна по преимуществу лежала в этой области, содержащей в себе глубинные, архаические силы. Он выражал это в фильмах и рисунках: эротический обряд, театральный инстинкт, перемена ролей, диалектика хозяина-раба, игра любви и смерти.

Несколько рисунков напрямую изображают садомазохистские половые акты. У режиссера была огромная коллекция книг о пытках. Его рисунок «Жестокость», например, мог бы стать иллюстрацией для одного из эпизодов «120 дней Содома» маркиза де Сада¹⁰⁰. Одна из глав мемуаров Эйзенштейна называется «Светлой памяти маркиза»¹⁰¹. В ней он вперемешку рассказывает о своих читательских впечатлениях, а также о «*“das lustbetonte Gefühl”*», сопутствующем жестокости»¹⁰², за которыми следуют рассказы о наказаниях кнутом, об «английском воспитании» в Итонском колледже, о происшествиях (например, о мясниках, срывающих по кусочку кожу с молодого приказчика, которого они подвесили за ноги на крюк¹⁰³), о своей страсти к изображению святого Себастьяна, о своем интересе ко всякого рода публикациям, повествующим о различных проявлениях жестокости.

Влечение и священный ужас перемешиваются в этой приверженности к звериной свирепости человека по отношению к себе подобному (да и к животным тоже). Оба эти чувства присутствуют и в фильмах, поставленных режиссером. Здесь можно усмотреть следствие влияния на Эйзенштейна немецкой культурной страты, бывшего изначально не менее сильным, чем влияние русское. В немецкой иконографии, как, впрочем, и в испанской, и в японском этосе, кровь, раны, извивающиеся тела отнюдь не сокрыты, напротив, их демонстрируют намеренно, пробуждая глубокое ощущение трагизма человеческого бытия.

¹⁰⁰ В наши дни благодаря работам А.Эткинда (см., например: *Эткинд А. Эрос невозможного*. М.: Гнозис; Прогресс-Комплекс, 1996), И.С.Кона и др., стало широко известно, что литература, касающаяся сексуальных табу, всегда существовала в России, хотя никогда не фигурировала на первом плане. Впрочем, мне всегда казалось, что Достоевский должен был знать или даже читать Сада: настолько все его творчество стремится быть ответом на воинственный атеизм маркиза, который не только написал самый оскорбительный из всех когда-либо созданных портрет Иисуса в «Жюстине», но также показал в «120 днях Содома» невозможность существования Бога, который допускает абсолютное Зло (обращение герцога де Бланжи к своим будущим жертвам).

¹⁰¹ См.: Мемуары. Т.2. С.67-114.

¹⁰² Там же. С.82. «*Das lustbetonte Gefühl*» – ощущение сладострастия (нем).

¹⁰³ См.: Там же. С.85-86.

История Саломеи в том виде, в каком ее канонизировали в европейском искусстве Уайльд и Бердслей, стала темой многих произведений Эйзенштейна. Отрезанная голова святого Иоанна Крестителя на его рисунке возбуждает сексуальные чувства дочери Ирода, которая в сладострастном танце приближает свое влагалище к огромным негритянским губам головы казненного. Рисунок «*La méchante besogne de Dalila*» («Черное дело Далилы») дает юмористическое толкование кастрирующей роли женщины в библейском сюжете.

Антикатолицизм, антихристианство, богохульство

Рисунки, представляющие яростную сатиру на внешние проявления христианской религии, навеваны, в подавляющем большинстве случаев, католической культурой. Лишь в двух рисунках из всего собрания присутствуют «православные» элементы; один из них называется «Консультант по вопросам культа» – на нем изображен православный священник, консультирующий пару, которая репетирует сцену анального секса для порнофильма, причем мужчина-партнер увенчан митрой.

На рисунке «*Portail pour mission indienne*» («Ворота для миссии в Индию») показываются педофилические наклонности католических миссионеров. Название другого произведения – «*Supplice atroce de l'un des rares obispos ayant commis le péché sodomite*» («Ужасная казнь одного из редких епископов, совершившего содомский грех») – говорит само за себя. Рисунок «*Grand retable de la Chasteté des nonnes*» («Великий алтарь целомудрия монашек») – это совершенно фантазмагорический монтаж на тему орально-генитального секса, на нем гиперболический фаллос-семисвечник, ветви которого погружены во влагалища монашек, распростертых рядком в экстазе. Отметим, что экстаз – одно из тех проявлений человеческого существа, которые возбуждали наиболее жгучий интерес у создателя «Старого и нового». Он прочел об этом множество томов, наблюдал проявления экстаза во время религиозных обрядов, написал об этом массу заметок. Оргазм – основная форма экстаза.

Здесь вспоминается удивительный эпизод с сепаратором из «Старого и нового». Экстатический восторг на лице Марфы, окропленном молоком, – это тот самый оргазм, который вызывает фонтан оплодотворяющей спермы (взаимосвязь сперма–молоко также представлена на рисунке в этом альбоме – это «*Kiosque à lait*» / «Молочный киоск»). Автор фильма хотел превратить сцену Марфы с сепаратором в аналог Грааля: сперма – молоко – кровь Христова. На рисунке «*The Shadow of the Cross*» («Тень Креста») женщина, распро-

стертая у подножья креста, слегка раздвигает ноги, чтобы ее покрывала тень креста, в то время как капля крови-спермы падает с креста в ее полураскрытое лоно. Тут нельзя не вспомнить рисунок Дали в книге Бретона и Элюара «Непорочное зачатие», на котором изображена стоящая обнаженная женщина, тело которой прикрыто крестом, как туникой Несса. Или «Экстаз св. Терезы Авильской» Бернини в церкви Святой Марии Победоносной в Риме, о которой Лакан сделал знаменитый комментарий, перекликающийся с эйзенштейновским толкованием мистического экстаза.

На других рисунках крест превращается в пенис, монахиня занимается мастурбацией («L'abbesse» / «Аббатиса»; 29 декабря 1942)... Молитва тоже пародируется – на одном из рисунков верующий (стоя на коленях и молитвенно сложив ладони) вставил свечу во влагалище святой и жадно ловит ртом каплю, которая стекает со свечи. На другом рисунке коленопреклоненный епископ «молится» святому Себастьяну, насаживая его на свой длинный фаллос; при этом святой, стоя ногами на цоколе колонны, акробатически изгибает торс, чтобы принять в себя это орудие. На рисунке «Judas faisant sa déposition officielle contre la bande de Jésus» («Иуда, дающий официальные показания против банды Иисуса») мы видим трех «докторов закона», осматривающих зад Иуды Искарриота и, безусловно, констатирующих, что он подвергся насилию «банды»...

Богохульство Эйзенштейна следует рассматривать в контексте антихристианских настроений 1930-х годов. Пикассо изображал эякуляцию на кресте; Сальвадор Дали нарисовал Христа из собора Sacré-Cœur и подписал: «Иногда я из удовольствия плюю на портрет своей матери» (1929), или на одном из эротических рисунков Дали 1931 года среди прочих святотатств можно увидеть распятие с эрегированным фаллосом, который в экстазе ласкает женщина-вахханка.

Заключение

Мы много раз убеждались в том, что, несмотря на свою непристойность, «заветные рисунки» Эйзенштейна нельзя охарактеризовать в целом как порнографические. К доводам, которые представлены на эту тему выше, следует добавить, как очевидный факт, что эти произведения пронизаны юмором во всех его формах: иронией, пародией, гиперболой, гротеском. Мы находимся в мире «аттракционов», с которых Эйзенштейн начинал и которыми закончил, в мире карнавала. И еще в мире цирка, который сыграл большую роль в творчестве режиссера театра и кино. Слово цирк присутствует на многих рисунках, в частности, в восхитительной сценке «Cirque

étrange» («Странный цирк»; 26 сентября 1942), где «Король-Пенис» изображен в виде эквилибриста на канате, привязанном к колышкам-пенисам двух молодых красавцев, и все это происходит в присутствии «Monsieur, Madame et bébé», сильно смахивающих на господина и госпожу Эйзенштейн с маленьким Сережей! Будь то «Principal corridor (with the “size” doors)» (28 марта 1931), «L’antichambre du compartiment nègre (pour dames). Entrée des garçonnières» («Тамбур вагона для негров (женский). Прихожая гарсоньерки»), или «Negro Harlot & Cello» и «Trompette excentrique» («Эксцентричная труба»; 26 сентября 1942) – везде царит атмосфера циркового представления, акробатических трюков, выступлений, пантомим, клоунад. И, как ни странно это может показаться, в рисунках Эйзенштейна наряду с юмором присутствует и чистосердечие – разумеется, извращенное, насколько может быть извращенным чистосердечие, невинность озорного мальчишки-сорванца, который поступает так, как нельзя, вызывающе по отношению к взрослым, нарушает табу.

Не будем также забывать и о том месте, которое занимает театр марионеток в размышлениях Эйзенштейна о пластике. Мы имеем в виду наследие его любимого и почитаемого учителя Мейерхольда, «биомеханический» метод которого во многом навеян восточными театрами кукол. Автор «Стачки» добавил к этому методу немецкую традицию, которая восходит к замечательному эссе Клейста «Über das Marionettentheater» («О театре марионеток»), где кукла рассматривается не с точки зрения ее механики, а ее органики¹⁰⁴.

Клейст утверждал, что «преимущество марионеток в том, что они не зависят от тяготения (antigrav): они ничего не знают о тяжести материи – свойстве, наиболее препятствующем танцу, поскольку сила, поднимающая их в воздух, мощнее, чем та, что привязывает их к земле»¹⁰⁵. Эйзенштейн явно вдохновляла мысль Клейста о том, что «в органическом мире чем туманней и слабей рефлексия, тем ярче и мощней проявляется грация»¹⁰⁶.

В рисунках русского художника мы видим полную свободу штриха, менее озабоченного подражанием, нежели органичностью динамики. В них преобладает «хореографический» стиль. Персонажи и предметы, оторванные от земли, находятся в пространстве в состоянии невесомости (antigrav Клейста), ведомые карандашом-скаль-

¹⁰⁴ См. об этом: *Иванов В.В.* Очерки по истории семиотики в СССР. Р.63 и след.

¹⁰⁵ *Kleist H. von.* Über das Marionettentheater (1810) // Werke in einem Band. Munich: Hanser. P.805. Перевод наш.

¹⁰⁶ *Ibid.* P.807.

пелем художника. К Эйзенштейну применимо то, что Мишель Лейрис написал о А.Массоне (с графическим творчеством которого, в особенности эротическим, Эйзенштейн был знаком, что видно по одному из приведенных в данном альбоме рисунков):

...рисунки развиваются и выстраиваются в несуществующем пространстве листа, не ограниченном даже условными краями. «Плодитесь и размножайтесь!» – такова единственная установка, которой они (без всякой Библии), похоже, следуют.

Так что здесь царит биология, а не геометрия.¹⁰⁷

Графический импульс Эйзенштейн получил не только от древнего мексиканского искусства, но и от Позады, Ороско, Риверы (с его эротическими рисунками), а также от Пикассо и Кокто. Более того, даже если сначала он был наиболее близок к рисовальщикам немецкого круга, то после 1910 уже и в России стал свидетелем полного раскрепощения графического стиля в «неопримитивизме» Ларионова.

Эти различные импульсы присутствуют повсюду. Эйзенштейн полностью приспособил их к собственным творческим потребностям. В его рисунках – неподражаемый «эйзенштейновский» почерк. Иногда он прибегает к перу – например, в «пушкинской» серии, или в той, что была создана для неоконченного проекта фильма «Стекланный дом» (Голливуд, 1930), где жизнь показывалась сквозь прозрачные стены. Тем не менее, большинство рисунков сделаны карандашом, чаще всего цветным. Сочетания синего и красного карандаша или синего, красного и зеленого, отчасти заимствованные у Кокто, придают специфический характер графике художника.

Разумеется, примитивизм является главной отличительной особенностью его стиля, автор совершенно не заботится о подражательной точности в изображении частей человеческого тела, деталей пейзажа или предметов, концентрируясь на их художественной выразительности. Таким образом манера Эйзенштейна, творившего в середине XX века, несет в себе черты эстетики всех архаических искусств: и Нового Света (отсюда идет изначальный импульс, и рисунки 1931 года коренным образом отличаются тех, что он делал в 1917 и 1923), и европейского искусства (например, орнамент напольных плит собора в Отранте или романских капителей).

Вот как художник сам говорит о своем искусстве:

В Мексике <...> я вновь начал рисовать. <...> Здесь <...> влияние этих примитивов, которые я жадно в течение 14 месяцев ощупывал руками, глазами и исхаживал ногами.

¹⁰⁷ *Leiris M. La ligne sans bride // Masson. L'insurgé du XX siècle. Rome: Carte Segrete, 1989.*

И, может быть, даже еще больше сам удивительный линейный строй поразительной чистоты мексиканского пейзажа, квадратной белой одежды пеона, круглых очертаний соломенной его шляпы <...>¹⁰⁸

Собрание «заветных рисунков», публикуемых в этом альбоме, не только блестящим образом дополняет все, что мы уже знали о творчестве, идеях и темах, которые занимали этого крупного художника, но и напрямую, без ухищрений (если не считать усложненности художественного выражения) открывают перед нами самые сокровенные движения его души. Так же как познание самого себя, исследование подсознания или представлений о мире, эти рисунки являются «экзерцициями» – в том смысле, который придавал этому слову Игнатий Лойола¹⁰⁹, – это изгнание бесов, причем с элементами самой безудержной игры. В рисунках проявляется дионисийская мощь Эйзенштейна, та невероятная жизненная сила, которая, независимо от случайностей бытия и общественно-политических обстоятельств, выражает вечное желание человека в самом сердце многотысячелетнего движения живой природы.

Перевод с французского Ольги Акимовой

¹⁰⁸ Эйзенштейн С.М. Возвращение к рисунку // Мексиканские мотивы. М., 1971. С.3.

¹⁰⁹ Известно, что Эйзенштейна привлекали «тончайшие методы экстатической психотехники», см.: Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. С.205.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абаринов В.К. 380, 385
Абеляр П. 470
Абрамов А.Г. 356
Абрамов Ф.А. 176
Абрикосов А.И. 376
Абуладзе Т.Е. 171
Авдеев А.М. 365
Авдеев М.И. 365
Авеличев А.К. 191-195
*Аверьянова Л.И. 397, 414
Аверинцев С.С. 134
Аверченко А.Т. 531
Агафонов В. 102
Агнивцев Н.Я. 299
Агурский М.С. 47, 49, 122, 187, 278
Адамович А.М. 172
Адамович Г.В. 246, 300, 329, 333, 341, 342, 356, 357, 392, 397, 408, 417
Аденауэр К. 368
Адлер А. 543
Азадовский К.М. 45, 426, 427
Азадовский М.К. 423
Азаров Ю.А. 324
Акимова О. 528-574
Аккерман Г. 285, 528
*Акмейчук Н. (А.Мирошкин) 293, 295, 461
Аксакова-Сиверс Т.А. 244, 281, 289
Аксенов В.П. 287
Акчурина С. 536, 538
Албаний, свмч. 89
*Алданов (Ландау) М.А. 188, 300-302, 514-527
Алданова (урожд. Зайцева) Т.М. 516, 519, 523, 524
*Алдан-Семенов (Семенов) А.И. 487, 488
Александр Невский, кн. 548
*Александров (Мормоненко) Г.В. 539, 541
Александров Г.Ф. 381
Алексеев В.С. 397
Алексеев М.П. 419
Алексеева, референт 453
Алексинский Г.А. 310
Алехина Н.М. 365
Алешковский И.Е. (Юз) 104
Аллой В.Е. 7-13, 14-195, 199-272, 274-295, 515, 528
Аллой Р.Г. 25, 47, 52, 54, 56, 58-62, 64, 65, 67, 70, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 104, 112, 132, 136, 137, 143-145, 151, 177, 237
Алмазов Б.А. 102
Алтухов, художник 353
Альбера Ф. 530, 550
Альфонс XIII, король 322
д'Амелиа А. 281, 289
Аменгуаль Б. 532, 533, 556, 562

* Курсивом выделены страницы, где данное лицо выступает публикатором или автором текста (кроме авторов писем). Звездочкой (*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Амфитеатров А.В. 215, 517, 518, 522, 525-527
Ананьев А.А. 488, 489
Андерсон П.Ф. 100, 117, 275
Анджапаридзе Г. 188
Андреев Д.Л. 189, 458
Андреев Л.Н. 215, 244, 284, 292, 356
Андреев Н.Е. 299
Андреева Н. 190
Андреевко-Нечитайло М.Ф. 320
Анненков Ю.П. (*Ю.Темирязов) 223, 299, 302-307, 311, 313-320, 323-332, 334, 342, 343-359, 464, 465, 475
Анненский И.Ф. 465, 477, 478
Антонов В.В. 164
Антонович А.С. 278
Анциферов Н.П. 206, 215, 227, 244, 276, 282
Апулей 546
Архенгольц И.В. фон 506
Архипов М. 13
Арцыбашев М.П. 324
*Аскольдов (Алексеев) С.А. 21, 25, 149
Аташева П.М. 538, 539, 542
Афанасьев А.Н. 534, 548, 557
Афанасьев Ю.Н. 170-172, 175, 192, 262, 269
*Ахматова (Горенко) А.А. 41, 70, 91, 279, 358, 359, 412, 413, 461, 468, 469, 476, 478, 496,
Бабенышев А.П. 165
Багдасарьян С.М. 361, 371, 387
Багрицкая Л.Г. 469
Багрицкий В. 469, 470
Базанов В.В. 422, 424, 450
Байков И. 133-137
Балиев (Бальян) Н.Ф. 344-346, 349, 350
Бальзак О. де 541
Бальмонт К.Д. 291, 292
Баранов В.И. 493, 498, 500
Баранов В.Н. 82, 86
Баранова-Шестова Н.Л. 82, 86, 148, 200, 280
Барахов В.С. 291
Барбюс А. 540
Баринов Е.Х. 385
Барт В.С. 314, 353
Барт Р. 562
Бартнев П.И. 251
Баршев Н.В. 392, 397, 402, 410, 417
Басалаев И.М. 395
Баскаков В.Н. 418, 419, 421, 422, 424, 425, 430, 431, 435, 437, 439, 446, 449, 450
Батай Ж. 560
Баткин Л. 192
Бах А.Н. 371
Бахметев Б.А. 253
Бахрах А.В. 128, 305, 317, 318, 331, 358
Бахтин М.М. 535, 540, 563
Бахтин Н.М. 329
Бахтурина Г. 291
Башкиров К.А. 308
Безыменский Л.А. 367
Бейли Д. 127
Бейлис М. 366, 367
Беккер Д. 533
Беккет Т. 497
Белинков А.В. 67
Белинский В.Г. 442
Белкин Р.С. 365, 385
Белодубровский Е.Б. 13
*Белый А. (Бугаев Б.Н.) 20, 145, 146, 200, 201, 206, 226, 227, 230, 232, 244, 258, 280, 285, 289, 293, 330, 416, 426, 428, 429, 455, 456, 465, 547
Беляев Л.Л. 366
Беляева (урожд. Волковицкая, *Н.Нагье) Н. 332, 356, 357
Бенедиктов В.Г. 472

- Бенкендорф А.Х. 494
Бенкендорф И. 494
Бенкендорф И.А. 494, 499
Бенуа А.Н. 347-349, 351, 531
Бенуа Н.А. 320
Берар Е. 285
Берберова Н.Н. 49, 52, 128, 301, 336, 493-495, 497-499, 518, 519, 521, 522
Берггольц О.Ф. 488
Бердслей О. 570
Бердяев Н.А. 73, 89, 92, 227, 232, 276, 289, 359, 547
Березняк, типограф 107, 122
Березовский Б.А. 158
Бержери Г. 341
Берия Л.П. 258, 384, 385, 396
Бернар Д. 102
Бернар Ж. 102-104
Бернарди В.А. 320
Бернини Л. 571
Бернштейн М.С. 279
Бессонов Б.Л. 181
Бетаки В.П. 129
Бетеа Д. 518
Билибин И.Я. 353
Билинский Б.К. 320, 351
Бич С. 565
Блажнова Т. 292
Блок А.А. 41, 202, 334, 428, 429, 431, 451, 455, 465
Блюм Л. 515
Блюм М.Л. 353
Блюменфельд В.М. 471, 473
Бобренов В.А. 385
Бобрецов В.Ю. 284
Бобринский Б. 71
Бобров С.П. 461, 465
Бобышев Д.В. 277
Богданов Н.Н. 385
Богомолов Н.А. 244, 293, 542
Богораз Л.И. 170
Богоявленский П.И. 375, 376
Богуславская К.Л. 353
Богучарский В.Я. 251
Боже, бухгалтер 18, 48, 147
Бойд Б. 355
Боков, генерал 54, 56
Большев А.О. 488
Бонамур Ж. 152, 244
Бондаренко В. 467
Боннэр Е.Г. 469
Борисов Л.И. 397
Борисов Ю. 102
Борохов Б. 439-441
Борхес Х.Л. 236
*Босх И. (Х. ван Акен) 62
Ботвинник Н.М. 285
Боулт Д. 244
Брагинская Н.И. 164
Брель Ж. 103
Бретон А. 555, 571
Брешко-Брешковский Н.Н. 300
Бриан А. 309
Брик О.М. 557
Бродский И.А. 31, 36, 57, 70, 130, 229, 280, 286, 483-485
Брокгауз Ф.А. 256
Бруно Д. 83
Бруцкус Ю. 440
Брюсов В.Я. 53, 472
Бубер М. 566
Будберг (урожд. Закревская, в 1-м браке Бенкендорф) М.И. 493-513
Будберг Н. 495
Буковский В.К. 30, 31, 33, 41, 42, 124, 131, 142, 153, 280
Буланин Д.М. 254
Буланина Т.В. 13, 254
Булгаков М.А. 304, 336, 478, 479
Булгаков С.Н. 73, 89, 92, 231, 235
Булгакова (Шиловская, урожд. Нюренберг) Е.С. 304
Булучевский Ю. 67
Бундииков А.В. 328
Бунин И.А. 188, 300, 301, 324, 356, 517, 518, 522, 524, 526, 527

- Бунины, семья 280, 516, 519, 520, 522, 524, 527
Бурденко Н.Н. 361, 364, 366, 368-374, 376-382, 386, 387, 389
Бурлюк Д.Д. 77, 411, 412, 536
Бурцев В.Л. 303
Бусоедов Ф.Г. 388
Бухарин Н.И. 171, 310, 353
Бухов А.С. 340
Буш В. 531
Бушмин А.С. 419, 424
- Вавил, художник 353
Вагин Е.А. 84, 85
Вагинов К.К. 397, 412, 413
Вайян-Кутюрье П. 540
Вакар Н.П. 335, 336, 354
Валевский А.Л. 292
Вальстрем Г. 291
Ванеев А.А. 258
Ванеева Е.И. 285
Василевский (*Не-буква) И.М. 301, 316
Василий, архиеп. 120, 278
Васильев А.А. 176
Васильев Д. 189
Васильева М.И. 353
Введенский А.И. 413, 417
Веденеев Б.Е. 368, 383
Вейдле В.В. 28, 128, 319, 351
Вейнбаум А. 353
Вейцман Э. 437, 438
Великанова Е.М. 170
Великанова Т.М. 170
Венгеров С.А. 484
Венгерова Н.В. 484, 489
Вериго М.Б. 391
Верлен П. 565, 566
Верник И.И. 98, 110, 111, 116, 119
*Веселый А. (Кочкуров Н.И.) 393
Веснин А.А. 532
Вешке, художник 353
Вийон Ф. 471-474
- *Вильдрак (Мессаже) Ш. 341
Вильямс Ф. 145
Виноградов В.К. 479
Винокуров Е.М. 472
Виньковецкий Я. 54, 55
Водов С.А. 128, 147
Войнович В.Н. 97, 120, 130, 141, 276, 277, 279
Войно-Ясенецкий В.Ф. 277
*Волин (Фрадкин) Б.М. 316
Волков О.В. 188, 200, 226, 244, 281
Волков С.А. 258
Волконский С.М., кн. 276, 346, 349-351
Воловик Л.Ф. 374
Володарский Б. 336
Волошин М.А. 40, 258, 280, 422
Вольгин Л. 315, 317
*Вольтер (Аруэ М.Ф.) 333
*Волькенштейн (Крандиевский) Ф.Ф. 309
Вольтская Т.А. 252, 284, 285, 291, 293
Воронов С.А. 323
Воронский А.К. 393
Ворошилов К.Е. 396
Вошинский Б. 362
Выропаев Д.Н. 361, 376
Вырубов Н.В. 96, 126
Высоцкий В.С. 101, 103-105, 204, 463, 469, 476
Вышеславцев Б.П. 92
Вышинский А.Я. 381, 382, 386-389
Вяземская Ф.Л. 394
Вяземский П.А., кн. 494
- Гаам А. 437
Газданов Г.И. 21, 356
Газданова Ф.Д. 21
Гайдар Е.Т. 173, 191
Гаккель С., прот. 278

- *Галич (Гинзбург) А.А. 54, 76, 101, 103, 105, 188, 204, 463, 474, 476-478, 481, 482, 483, 485, 486
Галич А.С. 105
*Гальский Г. 488
Гандельсман В.А. 284
Ганелин Р.Ш. 367
Ганс А. 339
Гаранин А.А. 13, 254
*Гарбо (Густафсон) Г. 328
Гарди Т. 327
Гарин В. 353
Гарэтто Э. 244, 254, 257, 517, 522
Гаспаров М.Л. 244, 257
Гасс М. 436
Гдлян Т. 189
Гегель Г.В.Ф. 283, 429
Геккерен Л. 564, 565
Геллер М.Я. 30, 31, 129, 130, 280
Герич Ю. 38-40
Герланд Б. 493
Герман А.Ю. 421
Герра Р. 20, 21
Герц С. 450
Герцен А.И. 430, 442
Герцль Т. 433, 438, 439, 441
Гершензон М.О. 227, 241, 258, 277, 289, 301, 430, 442, 452, 455, 456
Гершман К. 153
Герштейн Э.Г. 162, 244, 281
Гессен И.В. 120, 155, 208, 251, 277, 286
Гете И.В. 61
Гефтер М.Я. 170, 171, 208, 235
Гингер А.С. 332, 357
Гинзбург А.И. 13, 26, 32, 37-40, 42, 50, 87, 125-127, 129-132, 138, 155, 161, 187, 212
Гинзбург И.С. 21, 23, 26, 31, 38, 45, 125, 127, 129, 130, 132, 137, 138, 155, 161
Гинзбург Л. 472
Гинзбург Л.И. 125, 132
Гинзбург Л.Я. 12, 159, 229
Гинсбург М.А. 524
Гиппиус З.Н. 227, 289, 302, 310, 430, 455
*Гитлер (Шикльгрубер) А. 300, 362, 522
Гладилин А.Т. 94, 212
Гладилина А.А. 13
Гладкова Т.Л. 13, 360
Глазунов И.С. 189
Глезер А.Д. 123-125, 130, 132, 286
Глезер М. 124
Глушакова, капитан 388
Глущенко Н.П. 318
Говорухин С.С. 190
Гоголь Н.В. 279, 357, 442, 538
Голдберг А. 37, 130
Голлербах Е.А. 475
Голлербах С.Э. 21
Голлербах Э.Ф. 280, 475-478
*Голль (Ланг) И. 352
Головань В. 339
Головин А.Я. 532
*Голодный М. (Эпштейн М.С.) 393
Гольдберг Б. 440
Гольдштейн А. 440, 441
Гончарова Е.С. 565
Гончарова Н.С. 343
Гораций 468
Горачек, деятель НТС 53
Горбаневская Н.Е. 17, 23, 26, 29, 31, 43-45, 58, 105, 106, 108, 129, 142, 145, 148, 277, 286
Горбаневский Я. 277
Горбачев М.С. 172, 173, 190, 459
Горбачева Р.М. 459
Горгулов П.Т. 340
Гордеева З. 541
Горев Б. 442
*Горький М. (Пешков А.М.) 188, 214, 252, 291, 300, 301, 342, 354,

- 427, 428, 455, 458, 459, 466, 467, 488, 493-498, 500, 501
- *Горянский (Иванов) В.И. 356, 521, 526
- Готье Т. 472
- *Гранвиль (Жерар Ж.И.И.) 554
- Гране М. 566
- *Гранин (Герман) Д.А. 192
- Грановский Х.Н. 353
- Гречишкин С.С. 418, 426
- Гржебин З.И. 300
- Григоренко П.Г. 269
- Григорий (Круг), инок 277
- Григоров Б.П. 456
- Григорова Н.А. 456
- Григорьев Б.Д. 304
- Гризодубова В.С. 368
- Гримм П. 353
- Грин М. 517, 518, 527
- Гринберг С.М. 224
- Грознова Н.А. 418, 419
- Гронский И.М. 214
- Гросс Э. 351
- Грудцова О.М. 393
- Губенко Н.Н. 180, 216, 217
- Гузевич Д.Ю. 13, 242, 274-295, 457-489
- Гузевич И.Д. 13, 487
- Гукасов А.О. 158, 516-519, 521-523, 525, 526
- Гуль Р.Б. 304, 500
- Гульбрансон О. 531
- Гумилев Н.С. 41, 278, 392-394, 413, 457-467, 472-478, 483-488
- Гундоров А.С. 361
- Гурджиев Г.И. 547
- Гусарь А.А. 375
- Гуськов В.А. 292
- Гущина Е.В. 285
- Гыскэ А.В. 365
- Даватц В.Х. 324
- Давидсон А.Б. 485
- Давыдов, чиновник франц. Министерства просвещения 74
- Дадли Р., лорд Лестер 536
- Дали С. 535, 555, 571
- Даманская А.Ф. 495, 496
- Дандамаев М.А. 452, 453
- Данилевский А.А. 331, 332
- Данилевский Н.Я. 69, 337
- Даниэль А.Ю. 170
- Дантес Ж. 564, 565
- Дарвин Ч. 546
- Дедюлин С.В. 45, 145, 177
- Делоне В.Б. 64, 146, 281
- Делоне-Белгородская И. 64
- Демидова О.Р. 493-513
- Деранти Н. 77
- Державин Г.Р. 468
- Дерюгин, инженер 64
- Десей П. 131, 132
- Джамбул, акын 488
- Дзержинский Ф.Э. 302
- Диев И.А. 392
- Дикий А. 84
- Дисней У. 548, 557
- Дмитренко А.Л. 390-396, 414-417
- Добкин А.И. 11, 12, 33, 43, 157, 159, 163, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 191, 193, 202, 208, 215, 217, 218, 221, 227, 231, 232, 235, 242, 244, 246, 248, 252, 253, 257, 261, 262, 267-269, 282-285, 289, 291, 292, 294, 517, 522
- Додин Л.А. 176
- Долгополов Л.К. 134
- Долинский С.Г. 521, 523, 525, 526
- Домбровский Ю.О. 120, 243, 257, 276
- Домье О. 530, 554
- *Дон Аминадо (Шполянский А.П.) 350
- Дора, прислуга Р.Б.Локкарта 507, 508, 511
- Доре Г. 530

- Достоевский Ф.М. 84, 138, 279, 442, 467, 563, 569
Драйзер Т. 553
Дрейфус А. 366
Дремлюга В.А. 142
Дроздовский, капитан 388
Дубнов С.М. 441
Дудко Д. 23, 149
Дунаевская О.В. 256-260, 295
Дымшиц М.Ю. 125
Дьяконов И.М. 424, 452, 453
Дэвис Р. 75, 189, 244, 254, 284, 292, 526
Дюкин В.Н. 83, 85
Дюлак Ж. (урожд. Сассе-Шнайдер) 339
Дюран К. 101, 120
Дюшан М. 549
Дягилев С.П. 238
- Евгения, имп. 136
Евлогий, митр. (Георгиевский В.С.) 523, 524
Евреинов Н.Н. 455, 540, 562
Евсеев Е. 440
Евстигнеев Е.А. 176
Евтушенко Е.А. 459, 476
Егоров, художник 353
Ежов Н.И. 394
Елизавета, имп. 495
Елизавета I, королева 536
Ельцин Б.Н. 189, 190
Ельчанинов А. 69
Ельчанинов К.А. 65, 66, 69, 74, 87, 100, 117, 275
Епифанов А.Е. 367
Ермакова Н. 13
Ермоленко Э.Н. 365
Ерофеев В.В. 97, 120, 243, 257, 276, 279
Есенин С.А. 315, 333, 334, 431, 453, 467
Ефрон И.А. 256
Жаботинский В.Е. 437, 438
- Жажоян М. 230
Жамм Ф. 312
Жанна д'Арк 471, 475
Жванецкий М.М. 92
Жданов А.А. 367, 406, 412, 416
Жемкова Е. 180
Жемчужникова М.Н. 258
Жиглевич Е. 41
Жирар Р. 546
Жискар д'Эстен В. 29
Жуковская М. 291
Журавлев В. 469, 470
Журбенко, майор ГБ 479
Журбин А. 101
Жусс М. 556
- Заболоцкий Н.А. 182
Зайцев Б.К. 74, 188, 514-524, 526
Зайцев В.Н. 194
Зайцев Л.П. 361
Зайцева В.А. 514-516, 521, 523, 524
Зайцевы, семья 518, 519
Зак, владелец галереи 354
Закревская А.Ф. 494
Закревские, род 495, 499
Закревский И.П. 498, 499
Замятин Е.И. 303, 316, 324, 330, 332, 343, 476, 477
Замятина (урожд. Усова) Л.Н. 303
Зандер Л.А. 89
Зарудин Н.Н. 393
Заславский Д.И. 442
Захер-Мазох Л. 568
Збарский Б.И. 371, 377
Зверев В.Е. 13, 53, 109, 110, 137, 157, 162, 186
Зверев Н.В. 186
Зверева Ж.А. 53, 137, 186
Звягин В.Н. 386
Зданевич И.М. 333-335, 343, 353
Зебио, печатник 107, 153

- Зедергольм К. 276
 Зеелер В.Ф. 523, 524, 526, 527
 Зелинский В.К. 146, 149, 280, 286
 Зелинский К.Л. 214
 Зеньковский В.В. 89, 92
 Зернов Н.М. 68, 89, 279
 Зернова М.В. 123
 Зерновы, семья 279
 Зильберштейн И.С. 242, 295
 Зимарин О.А. 193
 Зимина Н. 110
 Зинич М.С. 367
 *Зиновьев (Радомысльский) Г.Е.
 302, 322, 325, 506, 458
 Знаменская И.В. 285
 Зобнин Ю.В. 461, 465, 466
 Золя Э. 541
 Зоря Н.Д. 380
 Зоря Ю.Н. 366, 382
 Зощенко М.М. 358, 359
 Зубакин Б.М. 547
 Зубарев Д.И. 253, 274, 294
 Зубатов С.В. 439
 Зудерман Г. 506
 Зуров Л.Ф. 356
- Ибаньес Б.В.** 322
 Ибсен Г. 451
 Иван IV Грозный 529, 536, 537,
 540, 552, 562, 566
 Иван, слуга Р.Б.Локкарта 507, 508
 Иванов А.С. 350
 Иванов В.В. 346
 Иванов Вяч. Вс. 134, 545, 552,
 557, 563, 572
 Иванов Вяч. И. 200, 456
 Иванов Г.В. 19-21, 72, 128, 135,
 158, 188, 241, 246, 392, 397, 409,
 465
 *Иванов-Разумник (Иванов) Р.В.
 201, 206, 244, 285, 304, 427-429,
 446, 454, 455
 Иванова Л.В. 200, 212, 226, 244,
 282
- Иверни В.И. 129
 Ивинская О.А. 190
 *Ивнев Р. (Ковалев М.А.) 291
 Игнатов Н.Г. 374, 375
 Идельсон А.И. 440, 441
 Иезуитов А.Н. 418
 Иешин А. 480
 Издебский В.А. 320, 321
 Изюмов А.П. 301
 Иловайская И.А. 18, 23, 24, 26-
 31, 41, 42, 120, 127-129, 137, 139,
 142-149, 226, 278
 Ильин В.Н. 69
 Ильина В.Н. 69
 Ильин-Томич А.А. 283
 *Ильф (Файнзильберг) И.А. 146,
 226, 243, 281, 351
 Иофе В.В. 394
 Иоффе Г. 467
 Ирис А. 353
 Иртель П.М. 279
- Каган М.И. 258
 Кадонна Н. 28
 Калинин В. 58
 Калло Ж. 530
 Камбурова Е. 477
 *Каменев Ю. (Розенфельд Л.Б.)
 310, 373
 Каменева О.Д. 313, 373
 Каменский А.П. 303, 304
 Камкин В. 95
 Кандинский В.В. 356, 547
 Кант И. 429
 Кантор М.Л. 305, 329
 Капасте (Капуста), сотр. ЦРУ
 40
 Каплан Б.М. 95, 96
 Каплан Г.М. 95, 96
 Каплан Л. 440
 Каплан М. 95
 Каплун С.Г. 392
 Карамзин Н.М. 564
 Карамзина Е.А. 564

- Карахан Л.М. 501, 506, 507, 509-513
Кардин В. 469
Каретникова И. 530, 533, 558
Карлейль Т. 506
Карнарвон Д.Э. 322
Карсавин Л.П. 92, 258, 276
Карский С.О. 353
Карташев А.В. 274, 455
Картер Г. 322
Карякин Ю.Ф. 172
Катков Г.М. 141
Каухчишвили Н.М. 31
Кафтанов С.В. 385
Квачевский Л.Б. 64
Кедров М.А. 523, 524
Кекова С.В. 252, 284
Келдыш В.А. 291
Кельнер В.Е. 367
Керенский А.Ф. 312, 440
Керн К. 92
Кибальчич В.Л. (*Серж В.) 340, 392
Кики, натурщица 540
Кикоин М. 318, 353
Ким Ю.Ч. 103
Киплинг Р. 464, 506
*Кирдецов (Дворецкий) Г.Л. 315
Киреевский И.В. 337
Кирсанов Д. 339
Кирсанов С.И. 478
Киршон В.М. 478, 479
Клейман Н.И. 529, 530, 555
Клейст Г. фон 572
*Кленовский Д. (Крачковский Д.И.) 188
Клепинина Т.Ф. 276
*Клер Р. (Шометт Л.) 339
Клюев Н.А. 41
Книпер А.В. 245
Кньшевский П.Н. 367
Князев А.П. 114, 116, 118
Князьков С.Е. 290
Кобак А.В. 164, 269, 283-285
Ковалев Б.Н. 374
Ковалев Д. 469
Ковалев С.А. 170
Коваленко Ю. 290
Ковнер В.Я. 103
Коган П.С. 313
Коген Г. 429, 452, 456
Кожебаткин А.М. 426
Козин С.Б. 484
Козинцева-Эренбург Л.М. 310, 312, 353
Козлик Ф. 20, 280
Кокто Ж. 540, 573
Колесников С.А. 261
Колкер Ю. 280, 281
Колкутин В.В. 365
Колмогоров А.Н. 466
Колчак А.В. 245
Кольская, художница 353
*Кольцов (Фридлянд) М.Е. 303, 338
Комаров Г.Ф. 182-185
Комбас Р. 552
Коммиссаржевский Ф.Ф. 319, 344
Кон И.С. 569
Кононов И.А. 523, 525
Консон Л. 280
Константиновский И.С. 353
Копейкин А. 145
Копржива-Лурье Б.Я. 281, 289
Корвин-Пиотровский В.Л. 357
Корда А. 495, 501
Кормер В.Ф. 97, 120, 276
Корнилов Б.П. 464
Коробова Э. 58
Коровин К.А. 521, 525, 526
*Короленко П. 203-204, 293
Коростелев О.А. 242-255, 259, 274-295
Коротич В.А. 458, 459
Корти М. 129
Коско Э. де 55
Косоротов Д.П. 367
Котляр, художник 353

- Котовская М.П. 179
 Крапах Л. 62
 Красин Л.Б. 313, 315, 317
 Краснов П.Н. 525
 Краснушкин Е.К. 365
 *Крейд В. (Крейденков В.П.) 464
 Кривошеин В.А. см. Василий,
 архиеп.
 Кривошеины, семья 72
 Кристи М.П. 343
 *Кроткий Э. (Герман Э.Я.) 333
 Крохин Ю. 483
 Круглая Н. 87
 Круглов С.Н. 369, 387, 388
 Круглый Л. 87
 Крылов И.Ф. 365
 Крымов В.П. 302, 303
 Крыщук Н.П. 205-206, 293
 Крюков В.Н. 385
 Крючков В.А. 180
 Крючков П. 294
 Кублановский Ю.М. 146, 280
 Кудряшова Е.И. 291, 292
 Кузмин М.А. 391, 392, 397, 406,
 407, 413, 414, 417, 428, 542
 Кузнецов А.М. 149
 Кузнецов Ф.Ф. 187
 Кузнецов Э.С. 33, 125, 131
 Кузнецова А. 294
 Кузнецова Г.А. 53, 186
 Кузнецова-Бенуа М.Н. 323
 Кузьмина-Караваева Е.Ю. (мать
 Мария) 278, 356
 Кулакова М. 462
 Кулешов Л.В. 555
 Кундышева Э.А. 391
 Куприн А.И. 300-303, 321, 324
 Курдюмов А.П. 384
 Курепов А. 87
 Курлов А. 460
 Курт Ю. 550
 Кускова (урожд. Есипова) Е.Д.
 343
 Кутафин О.Е. 382
 Кушнирович М.А. 538
 *Кэрролл Л. (Ч.Л.Доджсон) 329,
 458
 Кэртис М. 499
 Лавренев Б.А. 392, 413
 Лавров А.В. 8, 13, 199-202, 224,
 236, 238, 240, 244, 251, 254, 255-
 257, 282-284, 293, 294, 420-456
 Лавуты, семья 170
 Ладинский А.П. 357
 Лазарев Л. 469
 Лазаревский Б.А. 324
 Лазаревский И.И. 317
 Лакан Ж. 571
 Ландау Г.А. 248
 Лапин Б.М. 397, 412
 Ларин А.В. 385, 387
 Ларионов М.Ф. 320, 321, 343,
 353, 573
 Лафонтен Ж. де 349
 Лебедев А. 426
 Лебедев К.А. 375, 376
 Лебедева Н.С. 362, 367, 380,
 381
 Леви-Брюль Л. 556
 Левин М.В. 391
 Левинсон А.Г. 290
 Левинсон А.Я. 328
 Левинтон Г.А. 211
 Левитан А.Ю. 361
 Левитанский Ю.Д. 480-483
 Левоневский Д.А. 393
 Лёгрен, франц. консул 109, 110
 Лежнев А.З. 393
 Лейкин В.А. 484
 Лейкинд О.Л. 227
 Лейрис М. 573
 Лекманов О. 476
 *Ленин (Ульянов) В.И. 313, 316,
 371, 377, 425, 429, 436, 441, 458,
 466, 467, 506, 515, 528
 Леонардо да Винчи 538, 543,
 544

- Леонид, спартанский царь 458
Леонидов В.В. 294, 295
Леонов А. 276
Леонтович В.В. 120, 141, 278
Леонтьев К.Н. 276
Лермонтов М.Ю. 442
Леруа-Гуран А. 556
Лесков Н.С. 69, 442, 554
Лесняк В. 71, 110
Лившиц Б.К. 391, 392, 394, 397,
411-413, 417
Лившиц Е.К. 465
Лигачев Е.К. 459
Лиленкорн Д. фон 535
Липшиц Ж. 343
Лифарь Л.М. 106, 107, 122, 123,
149
Лифарь С.М. 122
Лихачев Д.С. 175, 188
Лобанов-Ростовский Н.Д. 96,
307
Лозанская Т. 41
Лозанский Э. 41
Лозинский Г.Л. 329
Лозинский М.Л. 465
Лойола И. 574
Лок С. 499
Локкарт Р.Б. 493, 494, 499-513
Ломоносов М.В. 468, 472
*Лондон (Гриффит) Д. 182, 532
Лопухина Е. 74
Лоран, адвокат 520
Лорка Ф.Г. 484
*Лосев (Лифшиц) Л.В. 280
Лосский Б.Н. 68, 258
Лосский Н.О. 427
Лоуренс Д.Х. 545
Лукаш И.С. 188, 521, 522, 526
Лукина Е.В. 392
Лукницкий П.Н. 461
Лукомский Г.К. 314, 317
Лукоянов И.В. 367
Лукьянов М.Г. 318
Лукьянов С.С. 315, 316
Луначарский А.В. 314, 315, 426-
428
Лундберг Е.Г. 86
Лунц Л.Н. 291
Лурье Е. (Ю.) 353
Лурье Л.Я. 33, 227, 232, 292
Лурье Я.С. (*Курдюмов А.А.) 33,
146, 162, 212, 226, 252, 281, 285
Лысенко Т.Д. 368
Львов А. 36
Львов Л.И. 516, 518
*Львов-Рогачевский В. (Рогачев-
ский В.Л.) 441
Льдов А. 353
Любарский К.А. 86, 131, 148,
187
Любимов Л.Д. 520, 521, 526
Ляцкий Е.А. 308
Майлстоун (Мильштейн) Л. 339
Майрановский Г.М. 385
Макаров В.Н. 361, 387
Макашин С.А. 242, 251, 295
Маклаков В.А. 223, 253
Маковский С.К. 18, 356
Маколей Т.Б. 506
Мак-Орлан (Дюмарше) П. 315
Максвелл Р. 96
Максимов В.Е. 26, 27, 29-31, 42,
43, 49, 58, 65, 72, 76, 87, 105,
120, 124-126, 129, 187
Максимова Т. 105
Малевич К.С. 426, 555
Маленков Г.М. 374
Малинович, дир. типографии 107
Малмстад Дж. 49, 152, 201, 224,
226, 244, 257, 282, 285, 514-527,
542
Мальмстад Дж. см. Малмстад Дж.
Мальро А. 342, 560
Малявин Ф.А. 320, 321
Малянтович В.Н. 318, 344, 347,
348, 351, 352
Мамонтов С.И. 279

- Мандельштам Н.Я. 91, 121, 277, 464, 478
Мандельштам О.Э. 121, 162, 233, 257, 278, 281, 289, 392, 394, 397, 406-408, 463, 464, 469-472, 474, 478, 483, 485-487
Мане Э. 551
Мансуров П.А. 353
Манухин И.И. 467
Марамзин В.Р. 26, 27, 29, 34, 54, 55, 57, 65, 66, 79, 80, 177, 222, 394
Марамзина Т.М. 27, 54, 55, 66
Марголина О.Б. 523, 526
Марголис А.Д. 13
Маркадэ Ж.-К. 285, 528-574
Маркадэ Б. 549, 559, 563
Маркиш Ю. 38
Маркиши, семья 38
Марков В.Ф. 224
Марков Г. 105
Марков, секретарь горкома 375
Маркс К. 436
Марло (Марлоу) К. 61
Маро К. 474
Масарик Т. 29
Маслов М. 291
Масс В.З. 532
Массон А. 573
*Мата Хари 496
Матвеев А.П. 375, 378
Матерский В. 362
Матисс А. 536
Матусевич В. 489
Матюшин М.В. 426
Махняева Н.М. 13
Махотин С.А. 479, 484
Маяковский В.В. 157, 217, 343, 413, 557
Мейендорф И. 32, 36
Мейер А.А. 146, 200, 226, 243, 258, 280
Мейер Г.А. 519, 521
Мейерсон-Аксенов М. 36
Мейерхольд В.Э. 315, 343, 528, 531, 539, 543
Мейлах М.Б. 45
Мельгунов Б.В. 422, 424, 450
Мельников Р.Е. 362
Мельникова-Папоушкова Н.Ф. 32
Мемелов А.В. 389
Мемелов В.В. 389
Мендельсон Ф. 474
Менжулин В.И. 366
Мень А., прот. 110
Мережковские, семья 301
Мережковский Д.С. 192, 245, 300, 302, 428, 455
Меркулов В.Н. 387
Метнер Н.К. 276
Мешберг Л. 461
Микеланджело Буонаротти 527
Микитич Л.Д. 396, 414
Миклашевский В.А. 391
Миклашевский К.М. 335
Миллер Е.К. 340
Милорадович С.Н. 24-26, 30, 146
Мильштейн А. 29
Милюков П.Н. 128, 158, 516, 518, 520
Минаков П.А. 383
Минден Д. 33-35, 39, 47, 100, 154, 175
Мирбо О. 568
Миронов А.И. 365
Мирошкин А. см. *Акмейчук Н.
*Мистингетт (Буржуа Ж.-М.) 323
Митгеран Ф. 288
Митчел Э. 102
Михайлов А. 477, 478
Михайлов М. 42
Михайлов Н.Н. 484
Михайлов О.Л. 166
Михайлов О.Н. 324
Михайлова А. 318
Мнухин Л.А. 332
Модильяни А. 304

- *Молотов (Скрябин) В.М. 380-382, 388
Монзи А. де 341
Монье А. 565
Морев Г.А. 391, 392
Мороз В.Я. 125
Морозов И.В. 97-99, 101, 104, 106, 111, 113-117, 133, 140, 143
Москвин А.Н. 528
Мотылева В.И. 351
Моцарт В.А. 64, 344
Мочалова О.А. 465
Мочульский К.В. 279, 329, 356
Мошков М. 460
Мошнягер А. (*Arcady) 106, 152, 277, 279, 280
Муравьев, адмирал 523, 524
Муравьева-Логоинова Т.Д. 280
Муратов П.П. 28, 345
Муратова К.Д. 418, 422-424, 446, 452
Муромцев Д.Н. 516, 519
Муромцева-Бунина В.Н. 516, 517, 519, 526, 527
Муссиак Л. 339, 540
Муссолини Б. 192
Мятлев И.П. 554
- Набоков В.В. 48, 54, 224, 246, 289, 305, 355
Набоков Д.В. 48
Набокова В.Е. 48
Набоковы, семья 48
Нагель К. 327
Наживин И.Ф. 300
Назаров Я.С. 53, 57, 186
Найман А.Г. 223
Наполеон I, имп. 325, 506
Наппельбаум И.М. 390-398, 401-406, 411, 413-415, 417
Наппельбаум М.С. 393, 394, 396, 458
Наппельбаум Ф.М. 396
Нарбут В.И. 146, 243, 281
- Наровчатов С.С. 469
Неговский В.А. 371
Недошивина Н.А. 74
Нейль Д. 436
Нейманис О. 146
Некрасов В.П. 52, 105, 188
Некрасов Н.А. 413, 442
Некрасова-Геллер Д. 280
Некрич А.М. 23, 30, 33, 129, 147
Немировский А.И. 547
Немчинов, эмигрант 85
Непржецкие, семья 135
Нерлер П. 473, 476, 483
Нечаев В.П. 214, 215, 250, 294
Николаев Г.В. 13, 23, 82, 84, 85, 95, 97, 144
Николаенко В.В. 291
Николай, митр. (Ярушевич Б.Д.) 361, 368
Никольская Т.Л. 391
Никольский В.П. 388
Никон, игумен (Воробьев Н.Н.) 277
*Никулин (Ольконицкий) Л.В. 316, 343
Нилан М. 327
Ниссенy, семья 26
Нольде Б.Э. 276
Нордау М. 438
Нурымгереева Г.К. 488
Нусберг Л. 103, 275, 276
- О'Тулл П. 34
Оберлендер Т. 368
Обухова-Зелиньска И.В. 316
Овидий 563
Овчаренко А.И. 187
Огарков И.Ф. 377
Огурцов И.В. 84
Одарченко Ю.П. 146, 243, 281
*Одоевцева (Гейнике) И.В. 20, 21, 135, 146, 188, 226, 243, 246, 281, 304, 308, 357, 358, 394, 397, 409
Озерова Н.И. 493-502

- Озолин Н. 71
*Октан (Ильинич) М. 374
Окуджава Б.Ш. 101, 204, 476
Олеша Ю.К. 304
Олсуфьева М.А., кн. 84
Ольденбург З.С. 521
Ольденбург С.С. 520, 521, 526
Ольденбург С.Ф. 521
Ольшанский Б. 367
Ороско Х.К. 549, 573
*Оруэлл Д. (Блэр Э.А.) 329
Осокина Т.В. 360
*Осоргин (Ильин) М.А. 224, 332, 334, 343
Останин Б.В. 164
Остапеня П.В. 388
Остен-Сакен О. 122
Остен-Сакены, семья 72
Островский А.Н. 355
Осьмакова Н.И. 284
Осьминина Е.А. 324
Офросимов Ю.В. 303
Охотин Н.Г. 181, 282
- Пабст Г.-В. 339
Павленко П.А. 394
Павлова М.М. 254
Павлова Т.В. 13, 254, 285
Павловец М. 324
Паганини Н. 484
Пайпс Р. 32, 33, 35, 37, 42, 47, 48, 150, 152, 153, 171, 227, 244, 257, 269, 285, 286, 290
Палиевский П.В. 31, 134, 175
Папоушек Я. 323, 324
Парнис А.Е. 233, 257
Парсаданова В.С. 362, 366
Пархомовский М.А. 242, 294, 295
Паскаль П. 87, 276
Паскин О. 343
Пасманик Д.С. 439, 440
Пастернак Б.Л. 209, 233, 420, 422, 430, 444, 446, 453, 456, 461, 480-482
Пастернак Е.Б. 420, 422, 446, 447
Пастернак Е.В. 420, 422, 446, 447
Пастернак Ж.Л. 280
Паустовский К.Г. 182
Пахмусс Т. 455
Пашинян Г.А. 385
Перелешин В.Ф. 188
Перельман В. 187
Перец В.Г. 390
Перцов П.П. 278
Перченко Ф.Ф. 164, 178, 208, 227, 232, 252, 284
Петерс Я.Х. 500, 502-504, 507, 509-513
Петлюра С.В. 440
Петр I, имп. 495, 499
Петрановская Н.Г. 391
Петрановский В.П. 457-489
Петров Б.С. 361
*Петров (Катаев) Е.П. 146, 226, 243, 281, 351
Петров С.М. 468
Петрова М.Г. 455
Петрова Т.Г. 294
Петросова Н.А. 362
Пикассо П. 360, 559, 560, 571, 573
Пикельный Р. 353
Пименов Р.И. 227
Пинаев С.М. 464
Пинскер Л. 434
Писарев Д.И. 359
Плампер Я. 364
Платон 267, 283
Платонов А.П. 130, 233, 280
Плетнев Д.Д. 373
Плеханов Г.В. 427, 439
Плиний 563
*Поволоцкий (Бендерский) Я.Е. 340
Подрабинек А.П. 187
Позада Х.Г. 573
Поздняков В.В. 367
Познер В.С. 360
Покровская Л.(Ц.)Л. 395

- Полежаев А.И. 486
Полонская (урожд. Мовшензон) Е.Г. 307
Полонская Л.А. 524, 527
Полонский В. 326
Полонский Я.Б. 524, 527
Полторацкий Н.П. 299
Поль В.И. 521
Поляков А.А. 224
Поляков А.Н. 292
Поляков П.А. 370
Полянская Е.М. 489
Полянский А.Ф. 489
Померанцев К.Д. 18, 19, 21, 23, 24, 128, 129, 174, 281
Поплавский Б.Ю. 23, 336
Попов В.В. 304, 307, 310, 311, 313, 336, 339
Попов В.Л. 367
Попов Н.В., проф. 383, 384
Попов Н.В., директор Смоленского мединститута 377
Попова Л.С. 532
Поповский М.А. 120, 121, 149, 277
Поппер К. 244, 265, 266, 282
Посажной, ротмистр 466
Посохов, адвокат 26
Постников С.П. 333
Постоутенко К.Ю. 290, 465
Потапов В. 38, 40
Потапова В. 468
Потапова М. 38-40
Прихненко Н.К. 18, 21
Потемкин В.П. 361
Потемкин П.П. 320
Присманова А.С. 332, 357
Притыкина Т.Б. 179, 224, 230, 253, 254, 261-273, 274-295, 360
Прицкер Е.Д. 13, 210-213, 294
Прозоровский В.И. 366, 382-384, 387
Проскура В.Ю. 289, 291
Прохорова И.Д. 221
Птоломей 481
Пуни И.А. 318, 353
Пурин А.А. 252, 285
Путилова Е.О. 291
Пушкин А.С. 41, 176, 301, 334, 342, 344, 345, 407, 408, 419, 420, 430, 442, 466, 468, 476, 483, 494, 526, 529, 564, 565
Пушкина (урожд. Гончарова) Н.Н. 564, 565
Пыхов В. 534
Пэнкхарст Д. 55, 57
Рабле Ф. 536, 563
Равдин Б.Н. 208
Раев М.И. 152, 244, 254
Раевская-Хьюз О. 307
*Раевский Г. (Оцуп Г.А.) 356, 357
Развозов А.В. 88
Разумовская Е.А. 64, 65
Разумовская М.А. 64, 65
Разумовский А.Г. 495
Райс Э. 280
*Ракитин (Ионин) Ю.Л. 346
Раковский Х.Г. 373
Ракузина И. 24, 25, 145
Раллес М.Е. 76
Рамю Ш.-Ф. 534
Ранк О. 543, 552
Ранке Л. 506
Раннит А. 286
Распутин В.Г. 189
*Распутин (Новых) Г.Е. 84
Рафальский С.М. 174
Ребиндер А.А. 73, 101, 133, 136, 140
Ребиндер С.А. 101
Ребиндеры, семья 135
Рейган Р. 33
*Рейсс И. (Порецкий Н.М.) 340
Рейтблат А.И. 284
Рембо А. 565
Рембрандт Х. ван Рейн 322

- Ремизов А.М. 146, 226, 243, 281, 330, 418, 419
Ремюз А. 554
Ренан Ж.Э. 506
*Ренников А. (Селитренников А.М.) 339, 521
Ренуар Ж. 339
Репин И.Е. 326
Ривера Д. 549, 573
Ризер В. 76, 90
Рихтер А. 271
Рогинские, семья 164
Рогинский А.Б. 33, 43-45, 53, 64, 151, 152, 160, 161, 163, 164, 170-172, 177, 178, 208, 210, 227, 232, 244, 282
Родвин В. 55, 57
Рождественский В.А. 397, 402, 406, 411, 413, 416, 417
Роз Г. 506
Розанов В.В. 83, 258, 278
Розанова М.В. см. Синявская М.В.
Ройтман, художник 353
Роллан Р. 341
Рольник Я. 461
Романов Г.В. 53, 425
Романов Е.Р. 163
Романова И.П. 289
Ромов С.М. 314, 315, 317
Роскина Н.А. 120, 279
Ростан Э. 136, 506
Ростропович М.Л. 286
Рошин И. 461
*Рошин (Федоров) Н.Я. 521, 522, 526
Рубанов Г.И. 330
Рубинштейн Б. 60
Рудаков С.Б. 281
Руманов А.В. 357
Руманов Д.А. 357
Руми Д. 233
Рупин А. 441
Русакова Е.В. 269
Рутман М.И. 391
Рутченко А.А. 34, 35, 120
Рыбаков А.Н. 171
*Рыбаков (Щетинский) Д. 21, 23, 24, 65, 66
Рыжков Н.И. 179
Рысс П.Я. 309, 310, 338
Рязанцев В.Б. 385
Савин А. 120
Савинков Б.В. 90, 311, 312
Савицкий И. 295
Савич А.Я. 343
Сад Д.А.Ф. де 569
Садовский В.Н. 265, 282
Садыкер П.А. 316
Сажин В.Н. 227
Сакс Г. 543
Салова Ю.Г. 285
Сальери А. 344
Сальмон А. 352
*Самарин (Соколов) В.Д. 374
Самарин Ю.Ф. 276, 337
Самойлов А.П. 229-241, 294
Санаи Абу-ль-Маджд 233
*Санин (Шенберг) А.А. 323
Сахаров А.Д. 126, 189, 287
Светлов М.А. 393, 406
Светов Ф.Г. 121, 277
Свит Б. 327
Свифт Д. 549
Святополк-Мирский Д.П. 336
Северюхин Д.Я. 164, 225-228, 280, 281, 295, 315, 321
*Северянин (Логарев) И.В. 308
Сегал Д. 47, 49, 152, 207-209, 244, 248, 294
Сегаль С. 353
*Седых А. (Цвибак Я.М.) 51, 52, 333
Сеземаны, семья 72
Селиверстов Ю. 286
Семевский М.И. 251
Семенов Ю.Ф. 518, 521, 525, 526

- Семеновский П.С. 382, 383, 385-387
Семенов-Тянь-Шанский А.Д. 133
Семенюк В.Ф. 53, 159, 186, 239, 241
Сендеров В.А. 187
Сервет М. 483
Сергеев В. 333
Сергий Радонежский 89
Серебеников А. 37
Серман И.З. 31
Сетон М. 530, 532, 533, 538-541, 544
Сикорский В. 363
Сильва А.Х. да 475
Сильвестр, еп. 32, 89, 116, 117
Симановский П.Ш. 373
Симон, драматург 359
Симонов К.М. 357, 358
Синклер Э. 533
Синявская М.В. 46, 76, 90, 96
Синявские, семья 31, 46, 129, 148, 186, 187
Синявский А.Д. 63, 186
*Сирин В. см. Набоков В.В.
Скворикова Т. 477
Скуратов-Бельский Г.Л. (Малюта) 536
Славинский Е. 59
Слепян В. 77-82
Слепян Д. 465
Смелянский А.М. 159, 175, 176-178, 180, 215, 216-219, 235, 244, 251, 257, 259, 294
Смирнов Е.И. 362, 381
Смирнов И.П. 465
Смирнов К.М. 71
Смирнов Л.И. 372
Смоктунувский И.М. 176
Смольянинов В.М. 382-385, 387
Смоляков А. 476
Смышляев В.С. 547
Снегов С. 472
Соболев М.Ф. 361
Собчак А.А. 158, 192
Соколов В.В. 382
Соколов Н. 439
Солженицын А.И. 30, 31, 37, 41-43, 47, 91, 97-100, 102, 104, 114-116, 118, 120, 126, 127, 137-140, 188, 204, 208, 231, 233, 235, 257, 278, 279, 464
Солженицына Н.Д. 43, 116, 117, 137, 143, 148, 149, 257
Солженицыны, семья 35, 68, 70, 115, 117, 125, 139
Соллогуб (урожд. Зайцева) Н.Б. 516, 519
Соллогуб А.В. 516, 519
Соловьев В.С. 89
Соловьева И.Н. 218, 284
Сологуб М.А. 74
*Сологуб (Тетерников) Ф.К. 291, 395, 397, 406, 428
Солоневич Б.Л. 84
Солониченко В.Г. 385
Солохин А.А. 365, 385
Солохин Ю.А. 365, 385
Сомов К.А. 318
Сорокин Г.Э. 413, 417, 419, 421-423, 430-435, 439, 443-451, 453, 454, 456
Сорокина М.Ю. 284, 361-389
Сорос Дж. 154, 246, 261, 262, 270-273
Соседко Ю.И. 365
Спасский С.Д. 392, 393, 410, 413, 417
Спиридонова Л.А. 350
Спиридонова М.А. 373
Ставский В.П. 394
*Сталин (Джугашвили) И.В. 324, 342, 479, 488, 493
*Станиславский (Алексеев) К.С. 214, 284
Станюкович А.К. 465
Старовойтова Г.В. 192
Стацинский В. 276

- Степанова В.Ф. 532
Степанова Л.Г. 211
Степун Ф.А. 428
Стерлинг М. 353
Стивенсон Р.Л. 506
Стравинский И.Ф. 322, 534
Стратановский С.Г. 291
Стреляный А. 189
Струве (урожд. Ельчанинова) М.А. 69, 92, 117, 140
Струве Г.П. 41, 68, 91, 278, 280, 324, 332
Струве Д.Н. 139
Струве Е.А. 19, 74
Струве Н.А. 9, 19, 25, 30-32, 38, 39, 42, 43, 45, 52, 66-68, 70-72, 74, 81, 90-93, 97-102, 104, 107, 110-112, 114-119, 121, 123, 125, 126, 130-132, 137-141, 143, 144, 147-149, 155, 187, 226, 231, 232, 235, 274, 275, 277, 278, 280
Струве П.Б. 128, 280, 324, 426, 428, 518
Субботин И.Е. 388
*Суварин (Лифшиц) Б.А. 316
Суворин А.С. 93
Суворов, зам. нач. ОВИР 56
Сувчинский П.П. 224
Судейкин С.Ю. 532
Сулакадзев А.И. 465
Сумеркин А. 36, 154
Суперфин Г.Г. 151, 152, 208
Сурвилло, майор 388
Сургучев И.Д. 324
Сурков А.А. 469
Сутин Х. 353
Сыркин Н. 440
Сытин И.Д. 93
Сяраку Т. 550

Табаков О.П. 179
Табаксман Г.А. 263-266
Таганцев В.Н. 465, 484
Тагер Е.М. 393

Тайнен К. 495
Галмадский, архитектор 353
Тарковский А.А. 188
Тарле Е.В. 368, 382
Татищев С.Н. 123, 124, 126
Телицын В.Л. 294
Темкин Д. 331
Терапиано Ю.К. 128, 356
Терешкович К.А. 314, 353
Терновец Б.Н. 313
Терновский Е.С. 27
Тик Л. 532
Тиль В.-М. 124
Тимашев Н.С. 519-521, 526
Тименчик Р.Д. 244, 465
Тимофеев А.П. 53, 84, 85
Тимофеев Л.М. 187
Тиняков А.И. 442
Титбол, представитель УМСА 100, 117
Тихон, патриарх (Белавин В.И.) 524
Товстоногов Г.А. 480
Тоддес Е.А. 391
Толкиен Д.Р.Р. 470
Толстая Т.Н. 224
Толстой А.Н. 299, 302, 303, 307, 309, 312, 316, 362, 368, 383
Толстой И.Н. 293
Толстой Л.Н. 138, 276, 326, 442
*Толстый, актер 87
Томпсон, сотр. «Хиаса» 60, 61
Топорнин Б.Н. 366
Топоров В.Л. 220-224, 260, 290, 292, 293
Торез М. 515
Траинин И.П. 368, 381, 382
Тропин В. 295
Тростников В. 279
*Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 171, 302, 322, 324-326, 373, 413, 414, 423, 433, 515
Тургенев И.С. 430, 442
Тургенева А.А. 20

- Тутанхамон, фараон 322
Туфанов А.В. 413, 417
Тхоржевский С.С. 290
Тынянов Ю.Н. 333, 564
*Тэффи (Бучинская, урожд. Лохвицкая) Н.А. 302, 516, 520, 521, 523, 526
- Уайльд О. 544, 570
*Удушьев И. см. *Иванов-Разумник Р.В.
Уколова В.И. 547
Ульянов М.А. 176, 179
Умеров Т. 263, 265, 266
Унковский В.Н. 303
Усок И. 469
Успенский В.А. 466
Успенский П.Д. 547
Устрялов Н.В. 47
Ушаков Ю. 481
Уэллс Г. 493, 495-498, 506
- Фальк Р.Р. 343, 353
Фасмер М. 350
Фатькин, майор 388
Фауст М. 61, 62, 75
Федер А.Ш. 353
Федин К.А. 304, 416, 445, 454
Федоров И., первопечатник 263
Федоров Н.Ф. 235
Федотов Г.П. 92, 280
Фейгин С.А. 272
*Фейдер (Фредерикс) Ж. 339
Фельдман Д.М. 309, 461
*Фельзен Ю. (Фрейденштейн Н.Б.) 331
Фенелонова Л.Г. 384
Ференци Ш. 546, 552
Фернандес Д. 553
Физ Б.Ю. 111-112, 114, 115, 117, 120, 148
Филиппов А.И. 316, 324
Филиппов Б.А. 23, 25, 40-42, 91, 149, 278, 280
- Филиппов С.Н. 262
Филлипс, сторож церкви 84
Фирсанов К.Ф. 375, 376, 379, 380
Фиш Г.А. 414
Фишер Ф. 13
Флейшман Л.С. 307
Флок Ж. 25
Флок И. 23, 24, 26, 47, 121, 122, 143, 146, 152, 175
Флоренский П.А. 31, 73, 92, 175, 258
Флоровский Г.В. 92, 117
Фомичев С.А. 418-420
Фоняков И.О. 291
Формаков А.И. 330
Форш О.Д. 422
Фотинский С. 353
Франк В.С. 151
Франк С.Л. 92, 426
*Франс А. (Тибо А.Ф.) 333
Фрезинский Б.Я. 292, 304, 307, 310, 311, 313, 336, 339, 343
Фрейд З. 538, 542-544, 546
Фрейденберг О.М. 546
Фрейзер Д. 556
*Фроман (Фракман) М.А. 392, 393, 395, 396, 398, 403, 406, 409, 410, 412-414, 416, 417
Фрумкин В. 56
Фрэнсис К. 499
Фукидид 506
Фуко М. 542
Фучик Ю. 120
- Халайджиева Г. 475
Хаман (Гаман) А. 373
Хананье (урожд. Струве) М.П. 39, 120
Хананье А. 120
Харитон М. 331
*Хармс (Ювачев) Д.И. 413, 417, 483, 540, 541
Хватов А.И. 423, 424, 450

- Хвостенко А.Л. 11, 87, 183, 204, 252, 285
Хейбер Э. 526
Хейфец М.Р. 57
Хеллман Б. 284, 292
Хемингуэй Э. 82, 567
Хенкель Г. 389
Хилькевич А.В. 396, 414
Хиршфельд М. 541, 542
Хлебников В.В. 182, 233, 412
Ходасевич В.Ф. 128, 146, 158, 188, 226, 243, 280, 281, 301, 302, 305, 320, 397, 408, 493, 497, 516, 518-523, 525, 526
Хокинг С. 459
Хокусай К. 550, 551
Холидей Д. 102
Холланд Б. 145, 146, 275
Хомицкий В.В. 356
Хомяков А.С. 69, 337
Хохлов Е.С. 358
Хохолуш В.Н. 120
Храбровицкий А.В. 302
Хьюз Р. 307
- Цадкин О.А.** 353
Царенкова Е.М. 396-414
Цветаева М.И. 278, 291, 292, 308, 426
Цвибак Я.М. см. *Седых А.
Цейдлер В.П. 165
Цендровская Н.К. 13
Цеткин К. 323
Цитронович Я. 353
Цявловский М.А. 468
- Чалидзе В.Н.** 105, 106, 148, 244
Чапаев В.И. 463
Чаплюк Е. 120
*Чарская Л.А. 291
Чебышев Н.И. 521, 522, 526
Чебышев Н.Н. 345, 346
Чевычелов Д.И. 396, 414
Черейский Л.А. 494
- Черешня В.С. 285, 295
Чернев А. 479
Чернышев В., прот. 83
Чернышева Е.А. 83
Чернышевский Н.Г. 359
Чертков Л.Н. 281
Чехов М.А. 346
Чехов А.П. 287, 442
Чехонин С.В. 343
Чжуан Цзы 566
Чичерин Г.В. 501
Чубайс А.Б. 158
Чудакова М.О. 390, 391
Чудинова Е. 462
Чуковская Л.К. 120, 122, 277-279, 469, 496
*Чуковский К.И. (Корнейчуков Н.В.) 323, 501
Чупаев В. 483
Чуприн Е. 461
Чурикова И.М. 475
- Шагал М.З.** 322, 343, 349, 541
Шагинян А. 86
Шаламов В.Т. 233
Шаляпин Ф.И. 135, 187, 188
Шаляпин Ф.Ф. 188
*Шанецкий А. 286
Шапиро Я.А. 353
Шапрон Л. 13
Шарло Ж. 532
Шаров В. 256
Шатров М.Ф. 176, 179, 189
Шатцман Б.М. 353
Шахназаров, ротмистр 466
Шаховская З.А. 24, 48, 49, 66, 72, 127-129, 147, 305
Швайкова М.Д. 382, 383, 385
Шварц Е.Л. 146, 226, 280
Шведе-Радлова Н.К. 393, 394
Шведчиков К.М. 339
Шверник Н.М. 367, 372-374, 377, 378, 382, 388
Шекспир В. 532

- Шекспир, дир. радиостанции
«Свободная Европа» 127
Шелли П.Б. 329
Шемякин М.М. 36
Шенталинский В.А. 394
Шерих Д. 292
Шершавкина С.В. 365
*Шестов Л. (Шварцман Л.И.) 82,
83, 86, 146, 200, 226, 243, 258,
280, 289, 418, 419, 427
Шиллер Ф. 506
Ширман Л.А. 48
Шкваркин В.В. 356
Шкловский В.Б. 304, 333, 533,
534, 553, 554
Шлепянов, врач 312
Шлецер Б.Ф. 346
Шмелев И.С. 520, 522, 523, 524,
526
Шмелева (урожд. Охтерло-
ни) О.А. 527
Шмеман А.Д. 32, 52, 73, 89, 91,
110, 116, 118, 120, 132, 275, 279
Шмеман Н.А. 120
Шнейдерман Э.М. 392
Шоу Б. 532, 553
Штейн В. 35-37
Штейн Э.А. 104
Штейн Ю. 35-37
Штейнберг А.З. 279, 427
Штейнер Р. 20, 145, 200, 226,
280, 405, 416, 547, 552
Штейнман З.Я. 397, 413, 417
Штекель В. 543
Штраусс Э.Б. 539
Штраух М.М. 531, 553, 556, 562,
563
Шульгин В.В. 90
Шумихин С.В. 244, 291, 324
Шутко К.И. 339
- Щеголев П.Е. 251
Щелков О. 69
Щербачев А.С. 381
- Щетинские, семья 72
Щецен Ю. 54
Щукин В. 461
- Эджуков Л.Г. 385
Эдуард VIII, король 322
Эйзенштейн М.О. 544
Эйзенштейн С.М. 285, 339, 528-
573
Эйнштейн А. 553
Эйхенбаум Б.М. 397, 412, 413
Экстер А.А. 532
Эльзон Д.М. 477
Элюар П. 555, 571
Энгельс Ф. 436, 481
Эндерс Ф. 441
Эппель А. 101
Эпштейн А. 353
Эпштейн Ж. 339
Эренбург (урожд. Аренштейн) А.
310
Эренбург Г.Г. 310
Эренбург И.Г. 223, 299, 303-305,
307-313, 315, 333-342, 357-359,
471, 474
Эренбург И.И. 341
Эренбург И.Л. 223, 311, 312
Эррандоне Н.И. 135
Эрхардт И.-Л. 13
Эткинд А.М. 569
Эткинд Е.Г. 28, 33, 46, 54, 64, 76,
129, 145, 148, 225, 226, 472
Эткинд Е.Ф. 64
Эфрон А.С. 353
Эфрос А.В. 176
- Юнг К.Г. 543
Юркун Ю.И. 391, 392, 394
Юткевич С.И. 532
- Яблоков А.Ю. 362, 366
*Яблоновский (Снадзский) А.А.
309
Ягода Г.Г. 479

- Яжборовская И.С. 362, 366
Якобсон Р.О. 564
Яковлев А.М. 366
Яковлева Н.Н. 137
Яковлева О.М. 176
Якулов Г.Б. 314, 532
Янгиров Р.М. 244, 299-360, 526
Яновский В.С. 305, 317, 332, 485
Ястремский В. 462
- Ackerman G. см. Аккерман Г.
Albera F. см. Альбера Ф.
Alexeev W. 364
Amengual B. см. Аменгуаль Б.
Bernadas M.-L. 560
Birstein V.J. 385
Cherronet L. 352
Clair C. 474
Dauberman M.B. 538
Durtain L. 352
Eisenschitz B. 532
Fernandez D. 538
- Forsyth J. 292
Freeman J. 544
Gouzevitch D. см. Гузевич Д.Ю.
Herzstein R.E. 374
Karlinsky S. 538
Kater M.H. 365
Kochavi A.J. 367
Konoroff W. 312
Liseux I. 534
Marcadé B. см. Маркадэ Б.
Marcade J.-C. см. Маркаде Ж.-К.
Nielsen J.P. 290
Paperno I. 364
Philbert B. 538
Polansky V.W. 292
Rogachevskii A. 295
Romains J. 352
Schulte T.J. 364
Seton M. см. Сетон М.
Sorokina M. 292
Stavrou T. 364
Villeneuve B. de 534

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	7
I. IN MEMORIAM	
<i>Владимир Аллой. Записки аутсайдера</i>	17
Дым отчества	157
НЕКРОЛОГИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ	
<i>А.Лаверов. Памяти Владимира Аллоя</i>	199
<i>Псой Короленко. Памяти Владимира Аллоя</i>	203
<i>Н.Крыщук. Степной волк</i>	205
<i>Д.Сегал. Верность</i>	207
<i>Е.Прицкер. Их быт, их нравы</i>	210
<i>В.Нечаев. Памяти Володи Аллоя</i>	214
<i>А.Смелянский. Дело аутсайдера Владимира Аллоя</i>	216
<i>В.Топоров. Уж если покой, то вечный. К сороковинам со дня гибели Владимира Аллоя</i>	220
<i>Д.Северюхин. Памяти Владимира Аллоя</i>	225
<i>А.Самойлов. Память, отнявшая жизнь</i>	229
<i>О.Коростелев. «Зильберштейн и Макашин в одном флаконе...» (Владимир Ефимович Аллой: 1945–2001)</i>	242
<i>О.Дунаевская. Человек-аккумулятор</i>	256
<i>Т.Притыкина. Как мы работали в Фонде Сороса</i>	261

Владимир Аллой. Материалы к библиографии. Составители Д.Ю.Гузевич и Т.Б.Притыкина, при участии О.А.Коростелева	274
--	-----

II.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

<i>Р.Янгиров.</i> Юрий Анненков и Илья Эренбург: Биографии и репутация	299
<i>М.Ю.Сорокина.</i> Операция «Умелые руки», или Что увидел академик Бурденко в Орле	361
«Подвергнутая экспертизе литература...»: Из следственного дела И.М.Наппельбаум. Публикация Е.М.Царенковой, вступительная статья и примечания А.Л.Дмитренко	390
<i>С.А.Фомичев, А.В.Лавров.</i> Дело о «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского дома»	418
<i>Д.Ю.Гузевич, В.П.Петрановский.</i> «Виртуальный» Гумилев, или Аналитические воспоминания	457

СТАТЬИ, ПУБЛИКАЦИИ

Письма М.И.Будберг Р.Б.Локкарту. Вступительная статья О.Р.Демидовой и Н.И.Озеровой. Подготовка текста и комментарии О.Р.Демидовой	493
«Уж если затрещали газеты!» (Из истории эмигрантской периодики). Три письма М.А.Алданова к Б.К. и В.А. Зайцевым. Публикация и примечания Джона Малмстада	514
<i>Жан-Клод Маркадэ.</i> «Заветные рисунки» Его Величества Эйзенштейна	528
Указатель имен	575

IN MEMORIAM
Сборник памяти Владимира Аллоя

Составители Т.Б.Притыкина, О.А.Коростелев

ФЕНИКС–ATHENEUM

ИД № 05957 от 3.Х.2001

Издательство «Феникс»: 191123, Санкт-Петербург,
Кирочная ул., 31

Заказы направлять по адресу:
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
199034, СПб., наб. Макарова, 4
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук
Телефон: (812) 542-52-23
e-mail: dbulanin@sp.ru
<http://www.dbulanin.ru>

Подписано в печать 18.03.2005. Формат 60 x 88/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 38,5 п.л. Тираж 500 экз.
Заказ 3955

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12